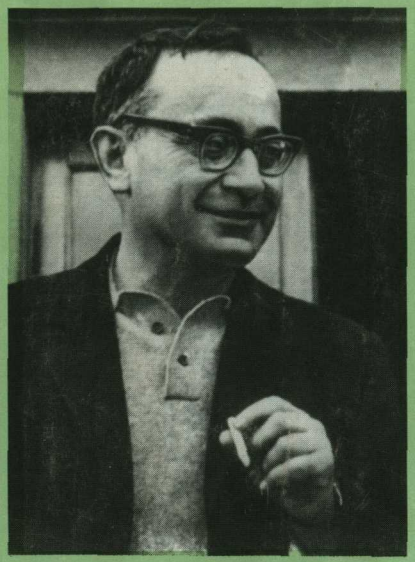
МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ ЛЕВИН



Михаил Львович Левин

Жизнь
Воспоминания
Творчество

Нижний Новгород • 1998

«Значение книги,
на мой взгляд,
гораздо шире задачи
увековечения памяти
серьезного ученого
или хорошего и удивительно
доброго человека.
М. Левин принадлежал
к тому типу людей,
чья профессиональная
фундаментальная
образованность сочеталась
с широчайшей гуманитарной
эрудицией –
почти энциклопедической,
в пресловутом споре
физиков и лириков
он мог
квалифицированно выступать
на любой стороне».

Будимир Метальников
кинодраматург

«Книга прекрасна тем,
что подтверждает –
интеллигентность
и скромность
все-таки иногда
побеждают».

Владимир Корнилов,
поэт

«Дальнейшая судьба
этой замечательной
и бесконечно трогательной
книги, воплощающей в себе
дух и аромат
уникальной культуры,
сложившейся в обстановке
жестокой внешней несвободы
и поразительной
внутренней свободы духа,
всецело зависит от будущего
этой культуры».

В. Е Захаров,
академик РАН

МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ ЛЕВИН

Жизнь
Воспоминания
Творчество

Издание второе, дополненное

Нижний Новгород
1998

Издано по решению редакционно-издательского совета
Института прикладной физики РАН
и при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований

ББК 22.3
М 69

М 69 **Михаил Львович Левин. Жизнь, воспоминания, творчество:** Изд 2-е, доп. – Н.Новгород: ИПФ РАН, 1998. – 592 с.

ISBN 5-201-09309-4

Книга знакомит читателя с необычайно выразительным представителем "мира людей XX века" – физиком и литератором Михаилом Львовичем Левиным (1921–1992).

Он прожил жизнь, в чем-то созвучную доставшейся ему эпохе. Родился в семье научных работников, получил разумное образование и начал заниматься серьезной физикой, но был приторможен властями через арест и огульные обвинения. После освобождения по победной амнистии (1945) ему разрешили работать в Горьковском университете, где он сыграл важную роль в становлении первого в стране радиофизического факультета. Книга его памяти издана по инициативе его горьковских (нижегородских) друзей и учеников.

В книге шесть разделов. В первом приведено краткое жизнеописание, снабженное некоторыми документами, относящимися к наиболее драматическим временам и событиям. Во втором разделе собраны воспоминания друзей и близких. В третьем дан обзор научных достижений, предназначенный в основном для физиков, хотя и здесь кое-что доступно полезное может извлечь любознательный читатель со стороны. Четвертый раздел вобрал в себя избранные литературные произведения М. Л. Левина (стихи, проза, публицистика); сюда, в частности, помещены его очерки о М. А. Леонтовиче, Б. Л. Пастернаке, А. Д. Сахарове, С. Б. Веселовском, Вс. Иванове... Кое-что публиковалось и ранее, но разрозненно. В пятом разделе приведены избранные места из писем М. Л. Левина, рисующие этюдные картинки прожитого. И все это завершается эпилогом, где снова делается пробежка по его жизни – от наполненного восторгами детства до неизбежно грустного конца.

Назначение книги очевидно: она предоставляет возможность узнать, какие люди составляют интеллектуальное богатство общества, и проникнуться к ним чувством благодарности.

Составители
Н. М. Леонтович, М. А. Миллер

Ответственные редакторы
А. В. Гапонов-Грехов, А. Г. Литвак, М. А. Миллер

Редакционная коллегия
Ю. Н. Беляев, С. Д. Жерносек, Н. Н. Кралина, Г. В. Пермитин

ISBN 5-201-09309-4 ©Институт прикладной физики РАН, 1998 г.

Предисловие ко второму изданию

Мы предвидели притягательность этой книги, но все же не ожидали столь проникающего ее воздействия на людей разных жизненных устоев. Вероятно, все мы тянемся сопоставлять свои свойства и судьбы с какими-нибудь "образцами" — предпочтительно "типично необычными". И это обогащает наши жизни новыми смыслами...

Первое издание 1995 года вызвало обилие отзывов: они поступали со всех сторон, состязаясь в доброжелательности, и почти все сетовали на малотиражность выпуска. А после трогательной заметки Татьяны Ивановой "Прогулки с Левиным" ("Книжное обозрение", № 40, 1997) и аналитической рецензии Владимира Захарова "Реквием по Левину" ("Природа", № 7, 1996) заказы на переиздание стали еще более настойчивыми.

В итоге мы решились на второй заход и благодаря поддержке Российского фонда фундаментальных исследований смогли его осуществить примерно с тем же размахом, что и первый. Это не допечатка, а скорее — заново отредактированная перепечатка с небольшими структурными изменениями, но с сохранением общей архитектоники.

Кроме того, в освеженном варианте появились кое-какие дополнения: воспоминания Вяч. Вс. Иванова, М. А. Миллера, А. Г. Литвака, Л. М. Горбунова, В. И. Гельштейн, Ани Марголис, а также красочные этюдные зарисовки, извлеченные из писем самого М. Л. Левина разных лет (в основном тюменских, 50-х годов).

Мы благодарны всем, кто сохранил память о Михаиле Львовиче и тем способствовал продлению его пребывания среди нас, живущих и здравствующих. А еще фактически возникла новая общность людей, не знавших М. Л. Левина при его жизни, но сблизившихся с ним через эти поминальные тексты и тем расширивших круг его друзей.

Спасибо всем!

Н. Леонтович, М. Миллер
Нижний Новгород, 1998

Первого августа одна тысяча девятьсот девяносто второго года после двухмесячной борьбы с навалившимися вдруг болезнями остановилось сердце МИХАИЛА ЛЬВОВИЧА ЛЕВИНА.

Ему шел 72-й год, он прожил, казалось бы, не такую уж короткую жизнь, и все же его смерть оглушила своей несвоевременностью. Друзья и близкие, да и просто знакомые, пересекавшиеся с ним по взаимному влечению, надеялись еще на долгие-долгие сроки; смертельная напасть (рак) настигла его в состоянии приподнятости, воодушевленности, спуртовой энергичности, творческой порывности... прекрасной жизненности.

Есть люди, обозримо возвышающиеся над человечеством. Они известны, почитаемы и возвеличиваемы еще при жизни. Многие (даже от них отдаленные) испытывают на себе их присутствие, осознавая и понимая это.

А есть люди не менее значимые для общества, но пребывающие в состоянии полузаметности, так что другие, затрагиваемые их влиянием (даже в отдалении от них), порой и не догадываются об источнике воздействия. Явственно их роль часто обнаруживается, увы, посмертно — по гулкости оставшихся после них пустот.

По своей главной профессии Михаил Львович Левин (МЛ) был физиком-теоретиком. Но благодаря редкостным сочетаниям логического и образного мышления, щедро расточаемого по множеству любопытств и познаний, он обратил себя в человека-явление, в интеллектуальный феномен особого свойства и предназначения.

Его непрерывно работавший ум удачно соединился с общительным, добронаправленным характером, расположительным ко всем, кому выпала судьба жить с ним рядом или поодаль, кроме тех немногих, кто отвергался его нравственными установлениями — четкими, ясными и в общем-то праведными.

Он обладал одной удивительной странностью, обусловленной, по-видимому, какой-то физиологической аномалией. Она сопутствовала ему всю жизнь, но совсем остро проявилась, когда он уже непоправимо заболел: его организму оказался свойствен симптом притупленности болевых ощущений. Думается, именно поэтому он не отреагировал вовремя на зловещие предупреждения изнутри о грозящей ему смертельной опасности. Как часто бывает в сложных самоуправля-

емых системах (в биологических особенно), недоразвитие одной функции побуждает гипертрофическое усиление других. И вот, насколько была ослаблена чувствительность МЛ к болям собственным, настолько же возрастало его восприятие болей внешних, чужих, даже общечеловеческих. Будто его болевые датчики вывернулись наизнанку. Это примагничивало к нему большое число разнохарактерных, разносвойственных, разновзглядовых, разнодумающих и разноживущих людей, которые сами по себе — без этого центра притяжения — наверное, так и остались бы пребывать в разобщенности.

Эта книга — нечто вроде Поминального Слова о Левине. В ней собраны сведения о его жизни, воспоминания друзей и близких, а также избранные места из его вольного творчества (литературоведение, публицистика, проза, стихи, наброски). Наука представлена сдержаннее: составителям хотелось сделать сборник доступным даже читателям, не обладающим "физической подготовкой". Собственно же физики-профессионалы вполне смогут обойтись обзорными напоминаниями, извлекая подробности из других публикаций, отмеченных соответствующими ссылками. С другой стороны, приятно было бы надеяться, что и люди, далекие от физики, при беглом (скользящем) прочтении научных обзоров сумеют извлечь для себя что-то интересное и насущное.

Тексты приводятся почти без редакторских правок — с сохранением стиля и лексики авторов. Допускались лишь некоторые перестановки и сокращения.

В целом по замыслу составителей памятная книга о Левине должна воплотить несколько намерений: тем, кто дружил с М. Л. Левиным или близко знал его, — помочь сохранить образ этого бесконечно особенного человека, а тем, кому не случилось встретиться с ним при жизни, предоставить эту возможность после его смерти, чтобы узнать, какие люди составляют интеллектуальное богатство общества. Узнать... понять... принять... и исполниться чувством благодарности к ним.

Часть I

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

АВТОБИОГРАФИЯ

Незадолго до своего ухода из жизни М. Л. Левин был нежданно-негаданно продвинут по службе. Веяние новых времен: его имя придавало институту, где он работал, международную респектабельность. Но при этом не были поколеблены и прежние устои. Любое изменение в жизни и должности любого человека нашей исконно странной страны прослеживалось отделами кадров. И каждый на протяжении отпущенного ему срока заполнял множество казенных бумаг, справок, характеристик, анкетных листов малой, средней и большой пухлости. Сему непременно сопутствовало написание так называемой автобиографии от руки — небось, для сдачи образца почерка, а может быть и отпечатков пальцев. Благодаря этому нам представилась редкая возможность открыть Памятный сборник ксерокопией левинской автобиографии, выполненной со свойственным МЛ мастерством лапидарного жанра, и тем самым узнать от него самого, каким жизненным важностям он действительно придавал значение для предъявления властям.

Заодно эта ксерокопия (одна страница которой приведена ниже) может служить памятником самодоносительства: в левом верхнем углу бланка помещен перечень запросов к личности, небось утвержденный на самых верхах.

Воспроизводим текст автобиографии полностью.

Я, Левин Михаил Львович, родился в 1921 г. в г. Саратове, в семье научного работника. В 1926 г. переехал в Москву. В 1938 г. после окончания средней школы поступил на физический факультет Московского университета, который и окончил в 1944 г.

В 1943–44 гг. я одновременно с учебой в МГУ работал в качестве научного сотрудника сперва в теоретической лаборатории завода 465 НКЭП, а затем в той же лаборатории (руководитель — М. А. Леонтович), переведенной в НИИ-108 НКЭП.

В июле 1944 г. был арестован органами тогдашнего НКГБ. Приговорен постановлением ОСО от 3 марта 1945 г. к 3-м годам по ст. 58-10,11 УК. В августе 1945 г. освобожден по амнистии. До этого три месяца работал в так называемой "Кучинской шараге" (точного названия не знаю), где начальником был полковник Ф. Ф. Железов.

В сентябре 1945 г. начал работать на радиофизическом факультете Горьковского университета. В ноябре 1946 г. защитил кандидатскую дис-

Автобиография пишется в произвольной форме, собственноручно, без помарок и исправлений, с освещением следующих вопросов:
1) год и место рождения, гражданство;
2) когда, в каких учебных заведениях учился, какое получил образование и специальность;
3) с какого времени начал работать самостоятельно; причины перерывов в работе и перехода с одной работы на другую;
4) партийность. Налагались ли партийные или комсомольские взыскания (когда, кем и за что, когда и кем сняты);
5) какую выполнял партийную или общественную работу (где, когда, в качестве кого);
6) кто из близких родственников жены (мужа) или сам привлекался к судебной ответственности (когда, за что и где);
7) поддерживают ли или поддерживали ранее оформляемый или его ближние родственники, жена (муж) связи с иностранцами.

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Левин Михаил Львович,
(фамилия, имя, отчество)
родился в 1921 г. в г. Саратове, в семье научного работника. В 1926 г. переехал в Москву. В 1938 г. после окончания средней школы поступил на физический факультет Московского университета, который и окончил в 1944 г.

В 1943-44 гг. я одновременно с учебой в МГУ работал в качестве научного сотрудника сперва в Теоретической лаборатории завода №65 НКАП, а затем в той же лаборатории (руководитель – М.А. Леонтович), переведенной в НИИ-108 НКАП.

В июле 1944 г. был арестован органами тогдашнего НКГБ. Приговорен постановлением ОСО от 3 марта 1945 г. к 3 м годам по ст. 58-10, 11 УК. В августе 1945 г. освобожден по амнистии. До этого три месяца работал в так называемой "Кучинской шараге" (точного названия не знаю), где начальником был полковник Ф.Ф. Железов.

В сентябре 1945 г. начал работать на радиофизическом факультете Горьковского университета. В ноябре 1946 г. защитил кандидатскую диссертацию, после чего занимал штатную должность ассистента, исполнял обязанности заведующего кафедрой теоретической физики

сертацию, после чего, занимая штатную должность ассистента, исполнял обязанности доцента кафедры теоретической физики.

В 1948 г. по "аллилуевскому делу" была арестована моя мать – Р. С. Левина, член-корр. АН СССР. Это усугубило зыбкость моего положения, и в июне 1950 г. я был уволен, не получив на руки характеристику с места работы. Поэтому 1950-51 учебный год провел в Горьком "тунеядцем", зарабатывая на жизнь анонимными переводами научных книг.

С сентября 1951 г. по август 1955 г. работал в Тюменском пединституте, сперва ст. преподавателем, затем и. о. доцента. Осенью 1954 г. смог защитить докторскую диссертацию, написанную еще в 1948 г.

В сентябре 1955 г., после избрания по конкурсу, занял должность профессора кафедры теоретической физики Ивановского пединститута.

В мае 1956 г. Военная Коллегия Верховного Суда СССР отменила постановление ОСО из-за отсутствия состава преступления. Моя мать была полностью реабилитирована еще раньше, в 1955 г.

С сентября 1956 г. работаю в Радиотехническом институте АН СССР. В 1960 г. избран на должность нач. лаборатории, которая в 1977 г. переведена в Московский Радиотехнический институт АН СССР. С декабря 1989 г. нач. теоретического отдела института. Кроме того, начиная с осени 1957 г. являюсь по совместительству профессором кафедры радиофизики МФТИ.

Моя жена – Наталья Михайловна Леонтович, математик, сейчас на пенсии. Дочь – Татьяна, научный сотрудник Гос. Третьяковской галереи. Сын – Андрей, научн. сотрудник Института океанологии АН СССР. Сын – Петр, студент МФТИ.

8 июня 1990 г.
Левин

ПОЯСНЕНИЯ К АВТОБИОГРАФИИ[1]
(некоторые даты, события и факты)

1 февраля 1921 года. В Саратове в семье двух до известного времени в меру преданных большевиков (членов РСДРП с 1918 года) родился сын Миша, названный – по устному преданию – в честь дяди по матери, зарубленного махновцами. Мать – Ревекка Сауловна Левина, отец – Лев Наумович Карлик, впоследствии крупные ученые: она – экономист, член-корреспондент Академии наук СССР, он – физиолог, доктор медицинских наук. А в то время еще молодые люди, начинающие путь из неизвестности в известность (ей 22 года, ему 23). "Ах, Рива, – говорили Ревекке Сауловне сотоварищи, – если ты не сделаешь аборта, ты не сможешь отдать себя нашему делу". Она не сделала аборта, но делу партии отдала себя почти целиком.

[1] Пояснения к автобиографии сделаны составителями сборника. Это относится ко всем примечаниям, если не указано иное.

Уже взрослый М. Левин любил шутить: "Я родился 1 февраля 1921 года, именно в этот день взошла не только моя звезда, а целое блистательное созвездие — Серапионовы братья..." "...Моя мать родилась в Литве, а отец — в Молдавии. И у нас в семье ходили романтические легенды, связанные с пребыванием Наполеона в Литве и с кишиневским периодом в жизни Пушкина..."

1926 год. Семья Левиных — Карликов переезжает из Саратова в Москву. Причин несколько. Но, видимо, главная — выбор жизненного предназначения. Р. С. и Л. Н. посвятили себя науке. Начиналася Земля, как известно, от Кремля. Наука тем более. Р. С. примкнула к школе Варги и, отстраиваясь от политэкономии социализма, занялась изучением экономики США с уклоном в сельское хозяйство. Тогда был в ходу лозунг "догнать и перегнать". Позже Р. С. побывала в Америке в командировке, изучая цели и шансы догона "на практике".

Сначала семья Левиных — Карликов поселилась на Пречистенке в доме Красной профессуры. А позже перебрались к Никитским воротам. Маленький Левин жил под присмотром нянек, родителям было не до него. По левинским воспоминаниям няньки часто водили его в Храм Христа Спасителя, но подвергался ли он там тайному крещению — неизвестно, да и сомнительно, хотя, в принципе, допустимо. Но взрослый Левин стал убежденным атеистом.

В те же времена в одном из залов Красной профессуры произошла "встреча М. Левина с И. В. Сталиным". Люди, склонные к предсказательной мистике, могут придать этому событию оттенок зловещности. Вот как сам Левин рассказывал про свою начальную жизнь (отрывок из его речи на 50-летнем юбилее, 1971 год): "После положенного младенческого путешествия я очутился в Москве и поселился неподалеку от старого Крымского моста в большом доме. В том самом, где теперь учат будущих дипломатов есть икру ложками. И из этого дома я ходил гулять с нянькой на Хамовническое поле, где стояли красноармейские казармы. И пока нянька проводила время с избранником сердца, его менее счастливые товарищи забавляли меня. Судя по опубликованным сейчас воспоминаниям, многие прославленные полководцы последней войны были, возможно, товарищами моих детских игр.

Итак, я жил в доме около Крымского моста. В этом доме размещалось несколько институтов: истории, Красной профессуры и т. д., а одно крыло было отведено под общежитие для иногородних. Вот там я и жил. Вахтеров тогда не было, и однажды, разыскивая мать, я забрел в конференц-зал. Докладчик на трибуне — рябой человек с низким лбом — говорил с грузинским акцентом что-то непонятное и неинтересное. Я ходил по проходам, высматривая мать. Вдруг стало тихо... и потом: «Уберите мальчика...»"

С 1930 по 1938 год М. Левин учился в московской школе № 59. Он поступил сразу в 3-й класс, умея уже бегло читать, но отставая в письме. Задержка произошла из-за перенесенного им тяжелейшего дифтерита с последующими осложнениями на сердце. Лечили его деревенским образом жизни (где-то под Москвой), и, упиваясь чтением зимними вечерами при тусклом керосиновом освещении, он спровоцировал наследственную, прогрессирующую близорукость, которая наложила отпечаток на всю его жизнь и заметно повлияла на ее ход (война и далее)... Пропуск начальных классов тоже имел долго тянущиеся последствия: например, никто не замучивал его чистописанием, и он сам выбрал

себе почерк из раздельно расставленных букв — своеобразная рукописная иерография. Но ведь почерк — это еще и характер, поэтому важно, чтобы они оба формировались ненасильственно (хотя бы на небольшом, но ответственном периоде детского развития).

В 1933–1934 годах М. Левин проводил летние каникулы в элитарном пионерском лагере в Поречье (близ Звенигорода) и подружился со многими сверстниками, сохранившими дружбу с ним до конца жизней (своих или его), в частности с В. Фридом (во взрослости — кинодраматургом) и Ю. Шарвиным (физиком-экспериментатором). Там же М. Левин получил чудное прозвище "папа", видимо, отражавшее его — не по летам — влиятельность на своих сверстников.

В школе у Левина был близкий друг Шура Рабинович. За выпуск стенгазеты (понятие из далекого и даже не очень далекого прошлого) они вместе с М. Левиным победили на конкурсе "Комсомольской правды" и участвовали по этому случаю в каком-то чествовании. По своей интеллектуальной склонности А. Рабинович был гуманитарием антиматематического склада. М. Левин с детства умел (и мог!) взаимодействовать с людьми любого предрасположения ума. Впоследствии А. Рабинович работал в секции N-го Интернационала и сгинул в сталинских лагерях.

Вообще, школьные годы М. Левина пришлись на самые страшные времена Страны Советов — аресты, мифические разоблачения происков врагов народа, подкрепляемые втемяшиванием (с детства!) ком. идеалов и хорошо укрываемые (с детства!) лицемерием, ложью, гнусностью... Левинская школьная подруга Анита Мартинсон (дружба на многие годы!) после ареста родителей подверглась естественному по тем временам гонению и давлению с требованием отречься от предков. Но она выстояла! У нее была любовь к сыну маршала, ставшая вдруг классово недопустимой... И примеры, примеры, примеры, на которых воспитывался Миша. Думается, что и в семье тоже царили страхи, растерянность и скрытность (особенно от детей!).

Трудно допустить полное непонимание того, что делалось в стране, особенно людьми, пребывающими в неотдаленном окружении двора. В 1938 году Ревекка Сауловна родила своего второго сына Володю (ставшего во взрослости математиком). Так же поступили и две ее близкие подруги. Не то чтобы они надеялись, что с грудными детьми не посадят, но на время это позволяло им уйти от активной общественно-партийной заметности. И ведь действительно не посадили, а в случае Р. С. отложили до иных времен.

1938 год. М. Левин окончил школу и — после серьезных раздумий — поступил на физфак МГУ. Физика стала его главной профессией, но не единственной любовью! Одно время он даже был склонен посвятить себя истории, однако, видимо, вовремя одумался (к вопросу об обратной роли истории в жизни личности!). Так что, уйдя в физику, он сохранил себя частично и для "любви на стороне" — к истории, к истории наук и культур, к литературе и искусству.

В МГУ он обрел жизненную нацеленность и нескольких пожизненных друзей. Братья-близнецы Ягломы, А. Боровик-Романов — в будущем крупные ученые, И. Ракобольская — боевая комсомолка и участница всех страшных событий родной державы — трогательная любовь М. Левина. И был там у него закадычный друг Кот (Константин) Туманов (Туманян), переключивший все

свои страсти на альпинизм и погибший в горах в 1957 году. Вероятно, были и другие, менее тесно сблизившиеся с ним люди, но их имена остались от него независимыми. Кроме разве имени А. Д. Сахарова, дружеские отношения с которым упрочивались с годами. Об этом говорится в сахаровских и левинских воспоминаниях.

1941 год. И тут началась война, переиначившая и перекурочившая судьбы всех и вся! Сначала москвичи ринулись в ополчение. И Левин тоже. Но потом его оттуда "попросили". Он видел лишь на несколько метров вперед и как часовой злоупотреблял окриками — "Стой! Стрелять буду!" — с опасностью для своих. Еще до великого драпа города-героя Москвы (15—17 октября) он эвакуировался в Казань. Там его подхватила Ревекка Сауловна, которая вместе с Институтом мировой экономики (где она работала под началом академика Варги) переезжала в Ташкент. Такие передряги тяжелы даже для здоровых людей. Трясучий и дергающийся эшелон доконал левинские глаза, а еще набросилась на него чудовищная субтропическая малярия, потребовавшая какого-то сверх-хинина. В общем — испытание тылом. Но вот парадокс — война, убойное бедствие цивилизации, привела к перемещению носителей культуры (не всех, разумеется) в глубинки, в интеллектуальное захолустье. В Ташкенте собралась малая сборная российских умов. И юный Левин, наделенный редким даром сближения с людьми любых слоев и интересов, обогатил себя знакомствами, определившими в будущем многие его увлеченности (и отвлеченности). Это, например, Женя Пастернак (а через него потом и Борис Леонидович), это Сига (Сигурд) Шмидт, это дети Вс. Иванова (Комка и Таня), и сам Вс. Иванов, который, как говорили тогда, был значительно выше раздавившего его "Бронепоезда", это даже великий Веселовский, воспоминания о встрече с которым даны ниже... Всего не перечислить. Но, главное, то были годы упорных занятий, познаний и дум. Глаза не позволяли ему читать более трех часов в день, оставляя простор раздумьям, а тем самым и самостоятельным поискам взглядов на науку, на жизнь и на самого себя в ней. М. Левин и вкалывал, и метался — освоил работу на рамановском спектрографе, прослушал и отредактированно записал курс лекций Петровского по алгебраическим кривым (впоследствии эту тетрадку он подарил горьковскому математику Д. А. Гудкову)... и даже... попытался поступить в Бронетанковую академию(?!).

Особую роль в научном (и даже нравственном) становлении МЛ сыграло его сближение в Ташкенте с Наумом Мейманом (в дружеском обиходе носившем прозвище Док). Это был один из крупнейших математиков нашей страны (сейчас — соответственно Израиля). Он, учитывая левинскую трудность с глазами, проводил с М. Левиным множество устных бесед-уроков, посвящая его в тонкости математического мышления и отчасти в формализацию построения квантовой механики. Помимо этого Н. Мейман с присущей ему нетерпимостью отвергал непонимание умными людьми творящейся вокруг дикости. "Не понимают, ибо не хотят". Как важно вовремя было подружиться с таким честным "просветителем"!

1943 год. После поворота войны от поражений к победам М. Левин возвращается в Москву и дорывается до настоящих дел, продолжая (форсированно!) доучиваться в МГУ и одновременно работая в радиолокационном (НИИ-108)

институте под началом Михаила Александровича Леонтовича. Эта встреча определила всю его жизнь, сначала научную, а потом и личную. С удивительной преемистостью и быстротой он вместе с М. А. Леонтовичем еще на 4-м курсе обучения в МГУ создал фундаментальную теорию, объясняющую свойства и возможности проволочных антенн, сразу выдвинувшую его в число ученых с мировым именем. К лету 1944 года М. Левин фактически сдал все выпускные экзамены, кроме марксизма (предмет сей назывался О-Мэ-эЛом). Да и к этой последней сдаче он был уже почти полностью готов, доучивая обязательную брошюру Л. Берии "История большевистских организаций в Закавказье"... И тут...

Июль 1944 года. Арест. Подробности описаны далее в нескольких местах. Однако важно понимать, что сталинские аресты были первичнее заводимых дел: последние могли подделываться под намеченные акции с любыми абсурдными сюжетами. Иногда трудно было понять, почему кто-то оставался на свободе. В марте 1945 года МЛ был осужден "всего лишь" на три года и уже направлялся в общий лагерь, как был снят с этапа и переправлен в научную (радиолокационную) шарашку. Пошла полоса везений, шарашки были тоже неплохими "школами мастерства", правда, наподобие тренировки физической выносливости на галерах.

Август 1945 года. Малый срок осуждения допускал освобождение по Победной амнистии. Куратор шарашки Ф. Ф. Железов хотел использовать МЛ для того же "дела" вольнонаемно и бессрочно. Однако М. Левин был освобожден с так называемым "запретом 101-го км" и обязанностью покинуть Москву за двое-трое суток. "Этюдная комбинация" куратора не состоялась. А М. Левин должен был успеть досдать последний экзамен по ОМЛ – науке, в которой он поднаторел за время отсидки "от Канта до упора". Впрочем, экзаменатор, поглядев на его отличные предыдущие "показатели", задал ему фактически главный, определяющий практические знания, вопрос: "А какая у вас была статья?" ...И М. Левин стал дипломированным физиком, получив шанс трудоустройства по специальности.

Сентябрь 1945 года. М. А. Леонтович, немало способствовавший облегчению участи МЛ и ранее, договорился с А. А. Андроновым о зачислении М. Левина в Горьковский университет. Наверняка это было непросто, но Андронов имел не только научный, но и государственный авторитет. И МЛ смог три-четыре года работать свободно и воодушевленно. То были одни из самых научно-плодотворных годов его жизни. Только что созданный радиофизический факультет – первый в стране – привлек великолепную команду ученых и педагогов: из местных – А. А. Андронов, М. Т. Грехова, В. И. Гапонов, А. Г. Майер, Г. С. Горелик, А. Г. Самойлович, из наезжавших Е. Л. Фейнберг, В. Л. Гинзбург, С. М. Рытов, Д. А. Франк-Каменецкий, Б. З. Каценеленбаум... Создавалась обстановка творческого подъема, поддерживаемого и надеждами на послевоенное ослабление государственного прессинга, к сожалению, не оправдавшимися, и даже более того! Началось холодное противостояние, где роль науки стала почти решающей... И наука, как это ни страшно признать, воспрянула: не вся, но по крайней мере те ее разделы, которые не могли быть понятными нашим необразованным властителям, но, однако, прямо или косвенно работали на войну. Физика этим двум требованиям удовлетворяла... М. Левин включился и в науку,

и в разностороннюю педагогику, создал несколько прекрасных лекционных курсов, основы которых сохранялись десятилетиями. Уже в ноябре 1946 года он защитил кандидатскую диссертацию, где раскрывались простые и важные свойства электромагнитного излучения. В Горьком М. Левин обрел множество друзей — и среди ученых, и среди студентов, некоторые из них стали прямыми или косвенными его учениками — А. В. Гапонов-Грехов, М. А. Миллер, Г. Г. Гетманцев, Н. Г. Денисов, В. А. Зверев... Тогда же произошла его кратковременная женитьба на Тане Ивановой, и, увы, на долгие времена разрыв дружеских отношений с выдающимся физиком В. Л. Гинзбургом, — разрыв, от которого многие потеряли многое. И все-таки жизнь МЛ в Горьком была в известном смысле благополучна. Но в нашей стране любое благополучие шатко и подстерегается опасными неожиданностями.

Январь 1948 года. Арестована Ревекка Сауловна Левина. Арест матери привел к резкому изменению положения М. Левина в Горьком. Он не подвергся вторичному аресту, но был всесторонне обложен органами ГБ. Вскоре университет уволил его "за невозможностью использования". А он за эти годы написал уже и докторскую диссертацию по дифракционным излучателям, которую ему удалось защитить лишь в 1954 году в Московском пединституте им. В. И. Ленина. (Смерть Великого Кормчего освободила от гонения даже электромагнитные поля!) В Горьком долго его мытарили с невыдачей характеристики с прежнего места работы (был и такой способ ущемления неугодных!). Фактически без средств к существованию он еще некоторое время продолжал жить в Горьком и участвовать в его жизни. А вокруг, как всегда, творилось невообразимое: шла борьба с космополитизмом, с музыкой, литературой, биологией, с махизмом и проч., проч... В университете под ритуальные пляски выпускали на гибельную волю дрозофил и жгли учебники по менделизму-морганизму, забивая полуживого великого Четверикова — основоположника популяционной генетики. М. Левин видел, как метался физик Г. Горелик, сначала науськанный властями на другого физика С. Хайкина, а потом сам подвергнутый травле на истребление (см. приложение к воспоминаниям Л. М. Горбунова). Одновременно в Горьком была изничтожена передовая медицина как порождение международного и внутреннего еврейства. В этих условиях Левину было заказано, казалось бы, любое продолжение жизни на свободе... Он получал отказы от всех вузов нашей необъятной страны... И вдруг его согласился принять Тюменский пединститут. Загадочно, но факт! То ли "органы" зевнули, то ли им было временно не до Левина. А в Тюменском пединституте как раз сложилась "благоприятная" обстановка. Там был запойный директор, в обязанности которого входило чтение лекций по теоретической физике. Учреждению грозил переход из педагогического в учительский институт. Пьющий директор, имея большой партвес в Тюмени, взял М. Левина на работу и относился к нему вполне расположительно. Так что грехопадение иногда способствует душеспасительству! По свидетельству очевидцев, Левин, получив приглашение из Тюмени, аж исполнил на радостях остап-бендеровское "провинциальное танго удачи".

1951—1955 годы М. Л. Левин провел в Тюмени, доходчиво читая лекции девичьей аудитории, к наукам вяло расположенной. То были не очень выразительные годы его жизни: в Тюмени тогда отсутствовала среда созидания, и

провинциальная глушь обездумливала: для поддержания "физической формы" ему сильно недоставало покинутой горьковской братии, но можно было преуспеть в гуманитарном образовании (впечатления о его жизни в Тюмени можно вынести из писем, см. раздел V). Общегосударственная обстановка тоже не давала поводов для оптимизма: неизвестность судьбы матери, дело о врачах, зловещие слухи о предстоящем массовом выселении евреев... затем напряженное ожидание перемен после смерти Вождя народов и казни некоторых его приспешников. Все это — известные факты истории страны, только мы иногда недопонимаем, что они же и факты жизни каждого из подданных ее.

В мае 1953 года М. Левин женился на дочери своего учителя — Наталии Михайловне Леонтович. Это был счастливый брак, "всерьез и надолго" — пожизненно! Пожалуй, с этого и началось постепенное "возрождение" М. Левина, сперва от тяжкой инфекционной болезни (вторичного дифтерита), а потом и от накопленных судьбою жизненных невзгод. Да и страна как бы откликнулась на его личный подъем политической оттепелью. В 1954 году Ревекка Сауловна Левина, измученная тюремными пытками, была "сактирована по болезни". Еще не реабилитирована полностью "за отсутствием события и состава" (это произойдет позже), а просто выпущена на свободу по соображениям, так сказать, "социалистической гуманности".

В 1955 г. МЛ перебрался в Ивановский пединститут. Близость к столице поддерживала достаточно высокую температуру научно-культурной жизни. Хорош был там подбор математиков: Ефремович, Мальцев, Рохлин. Общение с последним дало МЛ особенно много — и в профессиональном, и в чисто человеческом отношении. Вскоре он получил хрущевскую реабилитацию от всех навешенных на него диких обвинений и начал перебираться в Москву. Правда, это потребовало еще многих преодолений. После безуспешных торканий в разные московские и подмосковные научные места, он, в конце концов, был приглашен в Радиотехнический институт АН. Это произошло благодаря личной привязанности к нему академика А. Л. Минца, прошедшего свой ухабистый путь — от красного конника — через сидельца в шарашках — до выдающегося радиофизика, уважаемого аж в самих кремлях.

1956—1992 годы. На этом, в общем-то, и кончается наиболее драматическая часть биографии М. Левина. Далее следует более или менее нормальная жизнь. Семья, работа, окружение. Его дети (Таня — 1957 г. р., ставшая искусствоведом, Андрей — 1962 г. р., ушедший в математику, Петя — 1971 г. р., в настоящее время сдружился с компьютером) составили часть большого разветвленного семейства Леонтовичей, как бы собранного около академической дачи в Абрамцеве (послевоенное сталинское подаяние ученым). Именно там, в Абрамцеве, М. Левин проводил свои светлые и умные уикенды, и, наверное, там его посетили самые возвышенные вдохновения.

М. Левин впервые спокойно, без рывков и срывов мог заниматься физикой: продолжал развивать любимую свою электродинамику, углубился в изучение свойств плазменных образований, их удержание и ускорение (дружеские связи с М. С. Рабиновичем, В. И. Векслером, Г. А. Аскарьяном, И. Л. Бурштейном и многими другими), соучаствовал в создании монографии по статистической радиофизике (долгая, на всю жизнь, дружба с С. М. Рытовым), а еще много

времени уделял методологии и истории науки. И имел от всего этого естественные, непотревоженные радости жизни, которыми делился направо и налево, в том числе в своих лекционных курсах на Физтехе в Долгопрудном. Работая в более ровном режиме, чем когда-то в Горьком, М. Л. Левин стал приверженцем научной эстетики, красивых и строгих умозаключений. А в мире гонок, соревновательных конкуренций, давки у раздатков грантов, чинов и почестей (увы, захлестнувших все виды человеческой деятельности и, еще более увы, — во всем мире) М. Л. Левин сохранил достоинство истинного интеллигента, что отражалось не только в его нравственных позициях, но даже в выборе физико-математических задач и методов. Люди выше ценят победы в атаках, на передовых рубежах, чем в сложных "позиционных трудах", столь необходимых для укрепления и упорядочения взглядов на Природу, частью которой являемся мы сами.

Итак, если проводить классификационное разбиение на этапы всей научной жизни М. Л. Левина, то оно может выглядеть таким образом: первый этап (до 50-х годов) — резвое вдохновенное начало с высокой результативностью; второй этап (50-е годы) — отлучение от питательной, поощряющей среды, состояние продолжительного упадка, депрессии; третий этап (60-е годы и после) — восстановление активности с посвящением себя совершенствованию Знания.

Но то был еще не весь (и далеко не весь!) М. Л. Левин. Значительная и весьма значимая его часть разошлась по миру, ближнему и дальнему, через живые общения с людьми самых разнообразных профессий и склонностей, — то были физики, математики, ученые почти всех уровней и занятий, литераторы, художники, киношники, политики, вольнодумцы, медики... О, господи, даже в этой попытке перечисления есть что-то нарочито рекламное, чему сам МЛ был всегда чужд. Составители сборника первоначально предприняли попытку привести "списочный состав" хотя бы известных (в смысле именитых) его друзей и долго державшихся рядом собеседников, но были вынуждены отказаться от такой затеи по многим причинам. Во-первых, невозможно зачислять в число персонально близких людей кого-либо без их встречного согласия. Во-вторых, контактность, взаимодействие, доверительность общения не могут быть оценены объективно со стороны — их результативность, влиятельность на судьбы и взгляды определяются просто самой жизнью. В-третьих, взбунтовались некоторые родственники МЛ, посчитавшие такой путь "восхваления" его общественного влияния недостойным памяти МЛ.

Принимая все эти резоны, составители сборника решили ограничить описание этих сторон жизни МЛ теми подробностями, которые приведены далее в разных воспоминаниях и собственных высказываниях МЛ. К сожалению, при этом приходится смириться со многими пробелами, ибо "иных уж нет, а те — далече", — далече и морально, и территориально. Кое-что нам удалось дополнить во 2-м издании запоздало присланными эпизодами. Но в принципе не это главное. Все-таки важно выделить собственные творения МЛ, т. е. нестираемые следы пребывания человека среди людей.

Тем мы и завершим наши комментарии к биографии Михаила Львовича Левина.

ДОКУМЕНТЫ ЖИЗНИ

ПИСЬМО М. Л. ЛЕВИНА О СВОИХ ПРЕДКАХ

Незадолго до своей кончины М. Л. Левин имел переписку с Юдифь Левиной-Фишер, проживающей в США. Они с мужем увидели МЛ по телевизору с рассказом о встречах с А. Д. Сахаровым и усмотрели какое-то внешнее сходство со своими близкими. Поиск общих предков в первом приближении не увенчался удачей, хотя в роду Левиных-Фишер числилась некая женщина, ставшая в России крупным ученым-экономистом, что наводило на Р. С. Левину – мать МЛ. В одном из ответных писем МЛ рассказывает о своих корнях.

Это письмо приводится полностью в обратном переводе с английского языка. Другие сведения содержатся в воспоминаниях В. Л. Левина, а также в некрологе Л. Н. Карлика.

Дорогая миссис Левина-Фишер!

Благодарю Вас за Ваше милое письмо, глубоко тронувшее меня. К сожалению, мои сведения о предках весьма скудны. Мой дед, Саул Левин, был шорником и жил в литовском городе Шавли (впоследствии Шяуляй). За восемь или десять лет перед Октябрьской революцией он переехал в США. Но в Шавли остались его жена и четверо детей. Вскоре после начала Первой мировой войны они эвакуировались в центральную Россию и, в конце концов, поселились в Пензе. Моя бабушка, Мария Левина, умерла в 1936 году в Москве. У нее было двое сыновей и две дочери:

1. Соломон. Как первенец, он был затем усыновлен бездетными соседями (так принято было на Руси в прежние времена, чтобы избежать службы в армии) и потому взял себе фамилию своих приемных родителей – Матус. Он стал профсоюзным деятелем в Сталинграде (теперь Волгоград) и во время чистки 1937–38 гг. его расстреляли.

2. Миша (Мойша или Михоель, я не знаю). Был убит в ранней молодости во время Гражданской войны 1918–1920 гг.

3. Ревекка. Моя мать, рожденная в 1899 г. и умершая в 1964 г.

4. Рахиль. Родилась в 1905 г., умерла в 1982 г.

Моя мать, Ревекка Левина, вышла замуж за моего отца Льва Карлика в 1920 г. В русском языке слово "карлик" означает низкорослый, поэтому мои родители решили дать своим детям фамилию матери. Нас у нее было двое:

я, Михаил, рожденный в 1921 г., физик, и Владимир, рожденный в 1938 г., математик.

Имеется только одно совпадение с вами. Как и упоминаемая в Вашем письме родственница, моя мать тоже стала хорошо известным экономистом в СССР. В 1939 г. впервые в нашей истории несколько женщин были избраны в Академию наук СССР. Среди них оказалась и моя мать. Но в 1948 г. она была арестована по приказу Сталина и освобождена только после его смерти. В начале своей научной карьеры, в 1930 г., она предприняла длительную поездку в США, где в течение 6 месяцев или даже более работала во многих архивах, собирая материалы для своей докторской диссертации, посвященной истории земельного законодательства. Во время этого визита она отыскала своего "сбежавшего" отца, но я не знаю никаких подробностей об этой встрече. Я был тогда еще очень маленьким. Позже она вспоминала, что эта встреча была невеселой.

Я ничего не знаю ни о родителях Саула Левина, ни о родных или двоюродных братьях или сестрах, ни о месте его рождения и т. п. Знаю только, что все его дети от Марии рождены в Шавли.

В письмо вложена моя фотография. На ней я снят несколько лет тому назад на ярмарочной распродаже, моя жена считает, что на этой фотографии я более, чем на других, похож на своего отца.

Приношу извинения за свой бедный английский, надеюсь, что он не обесценит мою информацию.

Искренне Ваш Михаил Левин

ЗАЯВЛЕНИЕ М. Л. ЛЕВИНА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР

Генеральному прокурору СССР
от Левина Михаила Львовича,
осужденного 3 марта 1945 г.
Особым Совещанием НКГБ
на 3 года по статьям 58-10,11,
проживающего в г. Тюмень,
Казанская ул., дом 14-а, кв. 1

Заявление

1 июля 1944 г. я — тогда студент МГУ — был арестован органами бывшего НКГБ по обвинению в принадлежности к антисоветской террористической группе (статьи 58-8-17, 58-10,11 УК РСФСР). В течение всего следствия, длившегося 7 месяцев, и допрашивающие меня следователи, и их руководители (в том числе расстрелянный ныне Влодзимирский) категорически настаивали на абсолютной доказанности инкриминируемого мне по статье 58-8-17 обви-

нения и заявляли, что лишь чистосердечное раскаяние может спасти меня от расстрела. Только в последний день следствия это обвинение было снято.

Несмотря на то, что обвинение, по которому я был арестован, оказалось несостоятельным, я все же был осужден ОСО на три года по статьям 58-10,11.

Никаких материалов, доказывающих мою виновность по этим статьям, в деле нет. С первого и до последнего дня следствия я – несмотря на имевшие место незаконные и преступные методы следствия (лишение сна, угроза избиений, пыток, ареста родных) – отказывался признать себя виновным в возведенных на меня следователем обвинениях. При подписании 206 статьи я снова заявил о своей невиновности.

Находящиеся в моем деле показания сообвиняемых (других "доказательств" нет) носят характер общих декларативных утверждений, не подтвержденных никакими конкретными фактами. После вынесения приговора я встретился в пересыльной камере с рядом сообвиняемых (Фрид, Дунский, Сухов, Сулимов и др.) и узнал, что протоколы с этими утверждениями были подписаны ими под давлением следствия, применявшего вышеупомянутые незаконные методы. По этой же причине они делали голословные утверждения о моей виновности и на очных ставках.

Следует сказать, что и на моих допросах следователи отнюдь не стремились установить какие-либо факты, а добивались подписания общих формулировок, угодных следствию. Стиль следствия вполне характеризуется словами Влодзимирского, сказанными мне на допросе: "Раз вы здесь, значит вы виновны, и чем раньше вы это поймете, тем лучше будет для вашей шкуры!" Из показаний тех, кто это "понял", и сфабриковано мое дело.

В июле 1945 г. я был освобожден по амнистии. По амнистии же в 1953 г. с меня была снята судимость. Но "пятно" осталось. В частности, я, будучи радиофизиком (автором более 30 научных работ, в том числе кандидатской и докторской диссертаций), не могу сейчас работать по своей специальности.

Пробравшиеся в управление бывшего МГБ авантюристы и предатели делали свою карьеру, губя ни в чем не повинных людей. Ныне карьера этих авантюристов окончена. Но справедливость требует, чтобы их жертвы были полностью реабилитированы. Поэтому я прошу пересмотреть мое дело, отменить неправильный приговор Особого Совещания и реабилитировать меня.

Левин М. Л.

ПОКАЗАНИЯ

Показания

Левина Михаила Львовича, 1921 года рождения, уроженца Саратова, осужденного в марте 1945 г. Особым Совещанием на 3 года по ст. 58-10,11, освобожденного по амнистии в июле 1945 г., ныне профессора Ивановского пединститута, доктора физико-математических наук.

1. По существу моего дела.

Я был арестован по обвинению в принадлежности к антисоветской террористической молодежной группе (обвинение по ст. 58-8-17 было снято в последний день следствия при подписании 206 статьи). Несмотря на все незаконные действия следствия я на всех допросах и очных ставках отказался признать себя виновным в приписываемых мне преступлениях, так что в своих показаниях на следствии мне менять нечего. Что же касается показаний обо мне моих однодельцев, то эти их показания — равно, как и их самооговоры — сфабрикованы и сформулированы (как я узнал впоследствии) нашими следователями и после неоднократных репетиций повторены доведенными до соответствующего состояния подследственными.

2. О методах и ходе следствия.

Сразу же после ареста ко мне был подсажен камерный провокатор, некто Фаркаш, уговаривавший меня поскорей подписать все, требуемое следствием, дабы сохранить жизнь и избегнуть пыток. Затем начались физические и моральные методы воздействия: пытка лишением сна, слепящий свет мощных ламп, в течение нескольких часов направленных в лицо, угрозы избиений с демонстрацией дубинок, обещания расстрелять как собаку, арестовать родных и т. п. Все следствие проходило в обстановке абсолютного произвола и беззакония, без каких-либо следов прокурорского надзора. Прокурор не присутствовал и при подписании мною 206 статьи, при котором был грубо нарушен (тогда по юридической необразованности я этого не понимал) закон: мне дали прочесть не все дело, а лишь протоколы моих допросов и очных ставок. Необходимо отметить, что с самого начала следствие проходило под руководством Следчасти по ОВД НКГБ: на первых моих "конвеерных" допросах в Областном Управлении НКГБ присутствовали и задавали тон Родос и Шварцман, руководившие впоследствии нашими допросами в Следчасти по ОВД. Для достижения своих преступных целей следствие создало атмосферу страхов и ужасов, всячески подчеркивая безнадежность и обреченность наших попыток добиться справедливости. Как заявил Влодзимирский: "Раз вы здесь, значит вы виновны, и чем раньше вы это поймете, тем лучше будет для вашей шкуры!"

3. О Сухове и Сулимове.

После вынесения приговора я около месяца находился в одной камере Бутырской тюрьмы вместе со своими однодельцами: Фридом, Дунским, Суховым, Сулимовым, Гуревичем и Левенштейном, от которых я узнал о подробностях нашего дела и способах его разработки следствием. Поскольку Сухов и Сулимов погибли в лагерях, считаю своим долгом сообщить о них и с их слов следующее. Еще на очных ставках меня потрясли их измученный вид, безжизненность глаз и механический тон заученных показаний, делаемых под неусыпным надзором следствия. Состояние их в Бутырской тюрьме в первые дни нашего совместного пребывания нельзя назвать иначе, как полувменяемым: приступы истерии, бредовые ночные выкрики: "не надо, не бейте!", полная душевная подавленность. По их рассказам, их неоднократно били. Сулимова, в частности, один раз избили в кабинете Влодзимирского, завернув предва-

рительно в ковер. Эти избиения и страх перед новыми и заставили их беспрекословно идти на поводу у следствия, возводя на себя и других чудовищные обвинения, составляющие основу следственного сценария нашего дела. Оба решили, что все равно живыми им не быть, а следствие настойчиво навязывало Сулимову "героическую" роль вожака-злодея, которую он и принял. Известную роль в нравственном растлении Сулимова следствием сыграло то, что Е. Бубнова (жена Сулимова) за лишнюю пайку хлеба и миску супа стала — как сообщил ему следователь — камерным провокатором.

4. О себе и моих однодельцах до ареста.

До самого дня ареста я, будучи еще студентом МГУ, одновременно работал в качестве научного сотрудника в оборонном научно-исследовательском институте (НИИ-108), считая эту работу своим патриотическим долгом. Мой отец и моя мать — оба члены КПСС с 1918 года. Фрид и Дунский досрочно закончили обучение в институте и ушли добровольцами на фронт. Сухов, учась в институте, одновременно работал на оборонном заводе, несмотря на тяжелую болезнь сердца. Он же рисовал острые антифашистские карикатуры для заводских стенгазет. Сулимова и Михайлова я знал мало, но мне было известно, что оба — участники Отечественной войны, демобилизованные по состоянию здоровья. Все, что я знаю о тех моих однодельцах, которых я знаю (Каркмасова и Таптапову я просто не знаю), говорит о них, как о честных советских людях, преданных своей родной стране и стремящихся принести ей наибольшую пользу в тяжелое военное время. Наши подлинные человеческие качества и политическое лицо не имели ничего общего с злодейскими "портретами" следственного "дела", сфабрикованного тогдашним руководством НКГБ.

Вышенаписанное прошу принять в качестве показаний по делу надзорного производства 23327-44. Об уголовной ответственности за дачу ложных показаний мне известно.

М. Л. Левин
январь 1956 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ Р. С. ЛЕВИНОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР[1]

Председателю Верховного суда СССР товарищу Волину от Левиной Ревекки Сауловны, проживающей в г. Рязани, Советская площадь, д. 17-а, кв. 78

Заявление

Я — Левина Ревекка Сауловна, рождения 1899 г., член ВКП(б) с 1918 г., с 1939 года член-корреспондент АН СССР. За все годы пребывания в партии вела активную борьбу за ее генеральную линию и в течение ряда лет вместе с товарищами Мехлисом Л. З., Поспеловым П. Н., Юдиным П. Ф. и др. я активно боролась против троцкистско-зиновьевской оппозиции, против правых и всяких других уклонов. Я работала инструктором агитационно-вербовочного отдела Губвоенкомата (1918—1919), сотрудником агитпропа Губкома (1919—1922), завгубженотделом (1923—1924), преподавателем Областного Комвуза (1924—1926), преподавателем Университета им. Свердлова и Института им. Плеханова (1926—1930), руководителем аграрного сектора Института мирового хозяйства и мировой политики (1931—1948) и с 1939 по 1945 г. одновременно и заместителем директора этого же института. Имею около 50-ти научных работ, награждена орденом Трудового красного знамени и другими наградами.

10-го января 1948 г. тяжелобольной (криз гипертонической болезни с явлениями нарушенного мозгового кровообращения) я была арестована МГБ и подвергнута недопустимым приемам следствия, по отношению ко мне были проявлены грубейшее беззаконие и произвол.

Мне были предъявлены абсолютно ложные и несостоятельные обвинения, от меня требовали "признаний" в преступлениях, которых я не совершала и не знала:

1. От меня требовали, чтобы я подписала, что якобы передавала директиву от народного артиста Михоэлса о том, что необходимо воздействовать на директора института и на членов Ученого совета института, чтобы при объединении Института мирового хозяйства и мировой политики с Институтом экономики сохранить еврейские кадры;

2. От меня требовали, чтобы я "призналась" в своих, якобы, связях с Аллилуевой и в том, что я, якобы, знаю о ее и ее родственников попытках воздействия на тов. Сталина в отношении изменения положения евреев в Советском Союзе. Я же никого из семьи Аллилуевой и ее родственников никогда не знала и не видела;

3. От меня требовали, чтобы я "призналась", что, якобы, вела клеветни-

[1] Р. С. Левина после пребывания в тюрьме была помещена в Казанскую психиатрическую больницу, откуда ее удалось вызволить на свободу. Текст обращения в Верховный Суд был отредактирован Л. Н. Карликом. Приводится целиком, без купюр и правок, с сохранением всех тех "партийных аргументов", без которых вплоть до недавних времен нельзя было рассчитывать на успех.

ческую агитацию против национальной политики партии и правительства, якобы выражавшейся в травле евреев.

Я не в состоянии всего вспомнить — в чем только не предлагали мне признаться.

Так как я никаких преступлений против партии, государства и советского народа не совершала, то мне не в чем было признаваться и я, естественно, отказывалась от требуемых признаний. От меня тогда, видимо, решили получить нужные "признания" путем применения жестоких способов ведения так называемого следствия, а именно:

1. Меня — тяжелобольную, с кровяным давлением выше 200 и нуждавшуюся в строгом постельном режиме и медицинском обслуживании — заставляли часами стоять на ногах, пока не становилось дурно и я не падала, это систематически повторялось; меня заставляли стоять часами и тогда, когда следователь после допросов отдыхал или спал, при этом охраняющие меня больно били по ногам.

2. Мне совершенно не давали спать ни ночью, ни днем в течение ряда недель.

3. Начиная с четвертого дня ареста, и почти ежедневно, меня зверски избивали руками, а также и особенной дубинкой с чем-то металлическим в ее обмотке. Били по рукам и ногам, по пальцам, клали на два стула и били по ягодицам, по спине, по половым органам и куда попало. Выбили передние зубы, сбили почку, на теле и сейчас сохранились следы от этих зверских побоев. В избиении участвовали несколько человек, некоторые заменяли друг друга, когда одни из избивавших уставали. Среди избивавших были, кроме следователя Сорокина Григория, полковник Лихачев Владимир, другие подполковники, фамилии которых не знаю. Эти избиения продолжались в течение всего периода следствия[2].

4. Меня сажали полураздетую в карцер, в холодный и сырой подвал, куда лишь на ночь спускали голые доски, на которых я даже лежать не могла из-за многочисленных кровоподтеков на теле, кровоточащих и гноящихся ран.

5. Мне угрожали, что муж и сын будут арестованы и подвергнуты самому суровому наказанию, если не подпишу требуемых следователем признаний.

Я была совершенно беззащитна перед следователем и другими лицами, помогавшими избивать меня. Мои многочисленные протесты против недопустимости подобного обращения со мной — старым членом партии, женщиной и тяжелобольной — были безрезультатны, и меня по-прежнему продолжали мучить.

Меня довели до такого состояния, что я и сейчас не могу все вспомнить и сказать, что же я в конце концов подписала в качестве "признаний".

---

[2] Здесь уместно привести примечание В. Л. Левина: "В послевоенное время пытки и избиения подследственных не были массовым явлением, и мамино дело отмечено в "Архипелаге ГУЛАГ" А. И. Солженицына. Сказав о массовом применении пыток в 1937–1938 гг., Солженицын пишет: "В 1939 г. такое всеобщее широкое разрешение было снято, снова требовалось бумажное оформление на пытку (впрочем, простые угрозы, шантаж, обман, выматывание бессонницей и карцером не запрещались никогда). Но уже с конца войны и в послевоенные годы были декретированы определенные категории арестантов, по отношению к которым заранее разрешался широкий диапазон пыток... После войны же истязали члена-корреспондента Академии наук Левину". (Архипелаг ГУЛАГ, т. 1, ч. 1, гл. 3)".

Лишенная какой-либо возможности защиты, я без суда была 29 мая 1948 г. Особым Совещанием МГБ приговорена к 10 годам по ст.ст. 58-10, ч. 2 и 58-11. Но и эта абсолютно ничем не обоснованная мера наказания была произвольно превышена, и я была фактически лишена права переписки: в течение 5 лет и 9 месяцев после ареста я не получала никаких писем, денег, посылок и самой не разрешали писать, а также обращаться с жалобами в высшие инстанции.

После заявлений моего мужа проф. Карлика Верховный Суд СССР, по протесту Генерального Прокурора СССР, изменил 6 марта 1954 г. определение Особого Совещания МГБ от 29 мая 1948 г., а именно, исключил ст. 58-11, а по статье 58-10 ч. 2 уменьшил наказание до 5 лет и в силу ст.ст. 1, 4, 6 Указа от 27.03.53 освободил меня со снятием судимости.

Начиная с момента ареста и далее в период следствия, осуждения и пребывания в тюрьме, я была лишена какой-либо защиты. Статья 111 Конституции Советского Союза дает мне право на защиту, и это право я желаю теперь осуществить.

Я категорически отказываюсь от применения ко мне амнистии, так как последняя неприменима к ни в чем не повинному человеку. Меня не может удовлетворить свобода с пятном врага, которым я никогда не была — вся моя сознательная жизнь и деятельность были на пользу и благо нашего государства и советского народа.

Единственно справедливым решением может быть лишь полная реабилитация меня к творческой и партийной жизни.

Только доверенное мне лицо из числа советской адвокатуры, после тщательного ознакомления с материалами дела, сможет помочь мне составить объективную и исчерпывающую жалобу в порядке надзора, которая поможет Верховному Суду СССР прийти к единственному выводу, что я абсолютно ни в чем не виновна и должна быть полностью реабилитирована.

Прошу Вас истребовать дело и дать мне возможность ознакомиться с ним вместе с избранным мною адвокатом и составить соответствующую жалобу в порядке надзора, так как я стремлюсь к полному прекращению дела или к направлению его в судебные инстанции для рассмотрения по существу с моим участием, где я смогу доказать полную абсурдность предъявленных мне обвинений.

7 мая 1954 г.
Р. С. Левина

ПАМЯТИ ЛЬВА НАУМОВИЧА КАРЛИКА
(некролог)[3]

21 октября 1975 года на 78-м году жизни скоропостижно скончался один из старейших советских ученых патофизиологов, член КПСС с 1918 г., доктор медицинских наук, профессор Лев Наумович Карлик.

Л. Н. Карлик родился 11 июня 1898 г. в Кишиневе, в семье служащих. В годы гражданской войны Л. Н. Карлик был активным политработником в дивизиях Красной Армии, участвовавших в разгроме деникинских армий. После окончания в 1924 г. медицинского факультета Саратовского университета он был оставлен при кафедре общей патологии в аспирантуре, по окончании которой работал преподавателем кафедры патологической физиологии 2-го МГУ.

В 1932 г. Л. Н. Карлик окончил Институт красной профессуры естествознания и возглавил отдел патологической физиологии Медико-биологического института в Москве. В этот период Л. Н. Карлик одним из первых в стране разрабатывает вопросы участия гипофиза в физиологических и патологических реакциях организма. Будучи (с 1934 г.) заведующим отдела патологической физиологии Института экспериментальной эндокринологии, он продолжает работать над этой проблемой. Итогом его многолетних исследований в области экспериментальной эндокринологии явилась монография "Роль гипофиза в физиологии и патологии". Это первая отечественная монография, в которой приведены экспериментальные факты ведущей роли гипофиза в регуляции функций желез внутренней секреции и охарактеризована его роль в различных физиологических и биохимических процессах.

С 1938 г. Л. Н. Карлик – профессор, заведующий кафедрой патологической физиологии III Московского медицинского института. Одновременно он заведовал кафедрой патологической физиологии Московского стоматологического института. С 1936 по 1945 г. были изданы его учебники "Патологическая физиология", "Руководство к практическим занятиям по патологической физиологии", не утратившие своего значения и в настоящее время. Его лекции, отличавшиеся глубиной, простотой и логичностью изложения, доступностью для восприятия, привлекали внимание студентов и широкой медицинской общественности.

В 1941–1942 гг. Л. Н. Карлик организовал и возглавил кафедру патологической физиологии Ижевского медицинского института. С 1943 г. Л. Н. Карлик заведовал кафедрой патологической физиологии Московского медицинского института Министерства здравоохранения РСФСР, а после его перевода в 1950 г. в Рязань до 1968 г. – кафедрой патологической физиологии Рязанского медицинского института им. акад. И. П. Павлова.

В течение более чем 40-летней научной и педагогической деятельности Л. Н. Карликом опубликовано более 130 научных работ, из них 13 монографий, учебников и учебных пособий. Его перу принадлежат известные работы о жизни и творчестве видных отечественных и зарубежных ученых-медиков. Многолетний

[3] Опубликован в журнале "Патологическая физиология и экспериментальная терапия", 1976, № 3, с 96.

научный поиск, посвященный жизни и научной деятельности основоположника экспериментальной физиологии и патологии Клода Бернара, получил отражение в ряде статей и монографии "Клод Бернар", за которую он был награжден золотой медалью Французской Академии наук.

Много сил и энергии Л. Н. Карлик отдавал общественно-научной деятельности. Его лекции по различным актуальным вопросам биологии и медицины, в том числе по философским проблемам медицины, основам медицинской библиографии, проходили в переполненных залах научных медицинских библиотек Москвы и Рязани. Он был активным пропагандистом медицинских знаний среди населения, не оставляя этой деятельности и после выхода на пенсию. За плодотворную общественно-педагогическую деятельность Л. Н. Карлик был отмечен правительственными наградами. Память о Льве Наумовиче Карлике навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

Правление Рязанского
городского общества
патофизиологов

Часть II

ВОСПОМИНАНИЯ

М. А. Миллер

НЕГРУСТНЫЙ ПОРТРЕТ

Михаил Львович Левин был моим Учителем и Другом. Я впервые встретился с ним осенью 1945 года. Я был тогда еще студентом, а он — преподавателем, и, естественно, между нами существовала разница в "положении в обществе". Правда, война и связанные с ней нарушения однообразия хода жизней вполне способствовали расшатыванию возрастных преград. Мы быстро сблизились, а потом и сдружились. И уже не теряли друг друга на протяжении всех отпущенных нам судьбой сроков совместного пребывания на Земле.

В этой книге я выступаю в нескольких ролях: как один из составителей сборника, как обозреватель научных достижений МЛ (см. далее "Леонтович — Левин. Творческое взаимодействие") и просто как вспоминатель. И мое первое воспоминание я хотел бы посвятить не частным эпизодам, а общему впечатлению о М. Л. Левине, тем предваряя конкретные рассказы других.

Сколько свойств у человека?

Можно ли установить полный набор свойств — отдельных, самостоятельных, непересекающихся, дискретных, да еще столь представительных, чтобы при обратном соединении воспроизводился образ человека, близкий к истинному? Вряд ли такое достижимо, но иного способа оценки самих себя люди пока еще не придумали.

Говорят, разумно подобранный состав должен содержать, по крайней мере, 12 качеств. И многие антропологические, физиологические и даже психоаналитические классификации подтверждают это или подлаживаются под это. То ли тянется традиция сия от 12-ричного исчисления, то ли от числа официально признаваемых посланцев-апостолов Иисуса Христа, то ли заложено в непознаваемых тайниках Природы?

Но МЛ никогда не был мистиком и тем более с религиозными склонностями, не говоря уже об иудаистически-кабалистическом ("нумерологическом") погружении, где каждое число обогащается смыслом какого-нибудь космического навета. И потому он заведомо простил бы мне "неполноту излишества". Я постараюсь поделиться лишь теми его особенностями, что приметно выделяют его из обычного ряда.

Всем людям естественно свойственна эволюция свойств, — они непрерывно досоздают себя сами — на ходу, при движении по жизни, однако в доброжелательной памяти друзей обычно закрепляются лишь итоговые черты, обретенные уже после побед над срывами и заблуждениями. Впрочем, это все сильно зависит от причуд впечатлений, от продолжительности сближений... и от многого другого, разумению не поддающегося.

И я, скорее всего, буду пропускать "промежуточные состояния", обрисовывая образ МЛ, приближающийся к сложившемуся (математический термин — асимптотическому).

Уважение к себе

Если кому-то было бы предложено задать себе всего лишь один-единственный, и потому наиболее значимый вопрос, выбор должен пасть, как мне кажется, на такой: "Ваше отношение к самому себе?" Некоторые мудрецы средневековья предпочитали в ответ отшучиваться — главное, мол, никогда не принимать себя излишне всерьез. Приятная, удобная, но отнюдь не универсальная тактика.

Подтрунивание над собой было свойственно и МЛ тоже, но он пользовался этим обычно на дальних рубежах обороны. А в глубинной сущности своей относился к себе с высоким, истинным уважением, а значит, вполне серьезно. Это совсем нелегкое дело — пронести через всю свою жизнь (сознательную, понимаемую и принимаемую самим собой!) неподрываемое уважение к самому себе, основанное на неких выработанных жизнью представлениях о нравственности и на стремлении соответствовать им. И многие его качества, черты характера, поступки, действия, а по-крупному и убеждения, вытекали, следовали из этого главного достоинства — самоуважения. А жизнь не скупилась на проверку, "заботливо" выставляла многопутные непутевости. Как вести себя в житейских перипетиях? Или в научных передергиваниях? А как относиться к игрищам разнузданных палачей с раздерганными жертвами? Где предел самооправдания при сговоре с самим собой? Как идти по жизни в обложении страхами и ложью? И при этом находить свой смысл среди чужих и чуждых? И иметь сдерживаемое честолюбие и не вовлекаться в давку около раздатков благ?

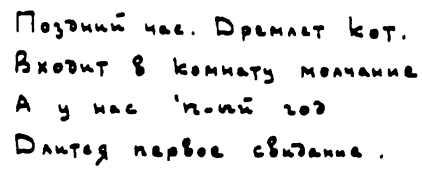
МЛ и на воле, и в застенках проявлял мужественное достоинство и не во имя неких высоких идей (никогда никто что-то не замечал в нем веры в блаженное общественное совершенство), а из Высокого Внутреннего Уважения к себе. Многие примеры и свидетельства, раскиданные по разным эпизодам его жизни, недоступны пониманию без опоры на эту первичную стойкую черту его характера.

Сбалансированное логически-образное мышление

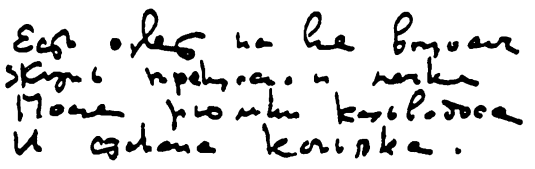
"Амбидекстровость" — так неврологи, занятые изучением ментальных функций человека ("умно-логи" или "мысле-веды") обозначают равноудачное и равновесное развитие правополушарного (образного) и левополушарного (логического) мышления. Связь между полушариями осуществляется через нейронные сплетения, объединенные в так называемые комиссуры (черно-красный

юмор по этому адресу очевиден: голова каждого, "даже беспартийного", координируется комиссароподобными органами!). Так вот МЛ обладал отлично развитыми комиссурскими связями. Кстати, такое часто свойственно переправленным левшам (а он-таки им и был). Где надо — безукоризненная логика, где можно — азартная игра воображения. Вот два образца его почерка:

внимательный



"летательный"



(Кстати сказать, "левый" почерк МЛ ближе к отцовскому, а "правый" — к материнскому. Возможно, что это показатель более основательных наследственных преемственностей.)

Для примера приведу киплингоподобный стишок, написанный им для братишки его будущей жены в книжку о Ф. Нансене (эта книга сейчас хранится где-то в музее в Норвегии):

Когда среди льдин
Ведешь ты один
Упряжку голодных псов,
Нужно иметь
Длинную плеть
И пару больших усов.
Усы — не груз,
Но каждый ус
Дает мужчине вес.
Расти усы
Не для красы,
А для полярных мест.

Прекрасное сочетание словесной четкости и образной зарисовки. Так неплохо поработали тут левинские комиссуры!

Общительность

Левинский Дар притягательности, Дар Дружбы тоже отчасти связан с природными особенностями его мозга, психологическим складом его личности, но какую-то роль сыграли и воспитанные приобретения. По многим проявлениям МЛ выглядел как экстраверт, даже, пожалуй, как экстраэкстраверт. Правда, разделение людей на экстра- и интравертов, введенное некогда К. Юнгом, убедительно только в крайностях. Считается, что экстраверт всегда раскрывает себя вовне, через непринужденные, открытые общения с окружением, тогда как интраверт сосредоточен на самом себе, на размышлениях, не рассчитываемых на внешний отклик. В большинстве случаев, однако, возникает двойственное

принадлежание. И для МЛ оно было более чем характерно — оба состояния непротиворечиво совмещались в нем: и экстраинтравертность (глубокое самопогружение) и экстраэкстравертность (широкая общительность).

Обычный (рядовой) обыватель связан не более чем с сотней близких ему людей. Примерно. С возрастом число индивидуумов, которых он должен бы знать, растет, а которых он мог бы запомнить, уменьшается. Равновесие наступает в районе начала "официального клеточного старения" — где-то около 40 лет. Профессиональные политики или дельцы (в почитаемом значении этого слова), а может быть и некоторые известные люди от искусства, контачат самостоятельно (плюс используя подсказки) с тысячей, ну десятком тысяч людей, страдая часто при этом (или в силу этого) от одиночества. МЛ превышал все нормы, "установленные" для лиц, не имеющих командно-управленческих поползновений, и поддерживал взаимные общения на уровне порядка тысячи людей, не теряя ни их имена, ни подробности их жизней. Память его была всеохватна и отменно каталогизирована.

В наше время расползающейся разобщенности "гуманитариев" и "естественников" ("два мира — две культуры") существование таких связных "социальных комиссуров", каким был и посмертно остается быть МЛ, наверное является первоважнейшим условием обеспечения устойчивого суммарного обоюдоздравого Интеллекта Общества (или, по крайней мере, его умственно развитой оболочки!). Проанализировать все связи невозможно. Мне кажется, никто из близких МЛ людей не в состоянии перечислить всех тех, с кем не бесследно пересекалась его жизнь.

Дар благодарности

МЛ умел в любых трудных и запутанных жизнью отношениях с людьми выделять что-то доброе, располагающее к доверию, надолго-надолго сохраняя свои чувства благодарности. Это ведь тоже своеобразный талант — талант признательности. Именно от него многие впервые узнали присказку физика А. А. Витта (сгинувшего в 30-е годы в советских бойнях): "Все плохое сократится, все хорошее останется". Правда, придумывалось сие когда-то для утешения людей, застрявших в формульных выкладках, но афористическая просторность провозглашенного оптимизма очевидна. Вот пример одного из наиболее суровых "испытаний на благодарность".

Нетрудно догадаться, что на протяжении большей части сознательного пребывания на Земле МЛ находился под неусыпным попечением "органов" (прозвище, прямо скажем, унижающее физиологическое совершенство животного мира!). И потому он бывал довольно-таки плотно обложен осведомителями разных мастей (от профессионалов до любителей). Теперь многое вроде бы рассекретилось, и обнаружилось, что "товарищам оттуда" не очень-то требовалось истинное знание хода событий, главнее было воздействовать на психику жертвы, в широком подходе — на психику всего и вся (включая собственную!). Но в те времена (а может быть, и в наши тоже) не всем и не во всем дано было разобраться. И были люди, которые, приняв "задание на доносительство" (возможно, под действием жестких принуждений), выходили в открытую на МЛ, и в какой-то

мере облегчали ему оценку ситуации и выработку линии поведения. Он ясно и многоопытно понимал опасную скользкость двойной игры и оставался на долгие времена благодарен этим людям за риск, как бы "сокращая все плохое".

Можно привести и другие — менее резкие — примеры проявления благодарности, — они рассеяны почти по всем его связям с близкими и дальними. МЛ умел возводить всякую чуткость к нему в ранг непреходящих, памятных, даже, если угодно, праздничных событий. "Радость дарения, — любил он говаривать, — должна быть пропорциональна жалости расставания с предметом дарения".

Поисковость

Допускаю, что подразумеваемое качество не очень точно обозначено. Речь идет об умении отыскать среди многочисленной пустячности нечто наиболее важное, ключевое. В физике это представляется как задача выделения полезного сигнала, утопленного в бессмысленных шумах (беспорядочных помехах). Тут МЛ был просто чудесником и на протяжении всей жизни оттачивал и совершенствовал свое загадочное мастерство. Наиболее впечатляюще оно проявлялось при чтении. Чтение разных текстов сродни поиску разведчиков в разных условиях: и чтец, и разведчик должны, прежде всего, обладать регулируемой наблюдательностью: когда надо — широко, обзорно определяться "на местности", когда надо — следить без пропусков за всеми подробностями, вживаясь в обстановку, а когда надо — быстро находить главные ориентиры (особые точки композиции) и, фокусируясь на них, отметать невзрачный фон. Многие друзья и сейчас представляют МЛ уткнувшимся в текст с карандашом для отчеркивания (text-liner) значимых мест, он обычно держал его в левой руке (удобно для опережающего заглядывания вперед слева направо). Несмотря на сверхдиоптрийную близорукость (за несколько лет до ухода из жизни ему, всю жизнь страдавшему глазами, сделали несколько сложных операций в федоровском офтальмологическом центре, и он увидел мир подробным и многоцветным!), он осваивал тексты со сверхскоростями, извлекая из них самое главное. Причем, как заметил один из его друзей, МЛ как бы внюхивался в текст, держа его в задевающей близости от почти всех "датчиков чувств". Казалось, он вступал с текстом в интимно-интуитивную связь. А как легко было состоять при нем "вторым номером", т. е. читать проработанные им материалы — они уже походили на своеобразное произведение публицистики, на дайджест, со слегка навязанными наведениями на "взгляды и нечто". Наверное, МЛ мог бы отменно исполнять функции референта-интеллектуала при умном правителе, и он, кстати говоря, одно время увлеченно "тренировал" себя в этой роли, выбрав в качестве "второго номера" академика М. А. Леонтовича, который состоял в его друзьях и заодно был его тестем.

Но читательское мастерство — лишь показательная иллюстрация дара поисковости МЛ, фактически же он имел универсальную направленность. Он мог найти махонький ремешок в копне сена (точный факт!) и вообще преуспевал в бытовых розысках, как будто руководствуясь нашептыванием внутреннего голоса. А мог и из любого вороха второстепенностей извлечь находку высшей

категории редкостности, раритетности — будь то физика, история, литература или просто... жизнь![1]

И уж совсем прекрасное применение — отыскивать в сложносочиненных характерах людей совпадающие и сочетающиеся черты и склонности и соединять их друг с другом... именно друг с другом! И он владел этим искусством.

Порывность творчества

Всегда интересно узнавать, как протекает у человека процесс творения (от Всевышнего до всенижнего, так сказать). Встречаются творцы регулярные, "ни-дня-без-строчечные", равномерно карабкающиеся к своим вершинкам; им противоположны "взрывники", копящие себя в долгих и ленивых паузах, а потом вдруг разрешающиеся бурными выбросами. МЛ придерживался, пожалуй, комбинированной стратегии; его паузы были рабочими, продумывательными; кишение идей происходило в нейронных цепях его мозга в режимах затравки, сопоставления, отбора, самосовершенствования большей частью латентно, ненаблюдаемо извне. Процесс думанья в голове МЛ, казалось бы, был непрерывен, без пауз, — дома, на ходу, на даче, в походе... где бы ни случалось ему пребывать, он думал, думал, думал; даже среди бесед часто создавалось впечатление, что в его голове развивается еще несколько слоев мысли над чем-то иным, не проступающим пока наружу. Но все-таки кое-что прикидывалось на бумаге, вчерне, и следы таких блужданий в его архивах имеются. Но когда созревание идей достигало критической отметины или же сроки выплаты долгов становились беспощадно окончательными, МЛ выходил на режим взрывника, точнее сказать, на режим порыва, всплеска, разовой выдачи результатов в завершенном исполнении, не нуждающихся в перебеливании (одно из любимых его слов!). Этот переход удивлял — он напоминал работу электрического разрядника, когда быстрому разряду предшествует период длительной зарядки конденсатора. Впрочем, может быть, здесь лучше звучит терминология, принятая у скульпторов — taille directe — прямое высечение. И профессиональные лекции МЛ читал без запинок, но как будто только что придуманные, и его любые выступления перед аудиторией производили такое же впечатление. Последние годы он несколько раз "выходил на люди" с воспоминаниями об А. Д. Сахарове даже по ТВ. Медленные, правильно выстроенные фразы из сжатых губ, никогда не выпадающие из общего замысла, но всегда удивляющие своей первичностью. Говорят, число сюжетов, которое в состоянии придумать люди, равно примерно четырем-пяти десяткам, будь то голливудский фильм, научная статья, роман или тостовая речь. (Кстати, примерно столько же предсказано сценариев Апокалипсиса — конца этого Света). И каждый из нас использует только малую часть всего сценарного богатства. Редкие люди достигают в своем творчестве исчерпывающей полноты. К ним приближался МЛ. К сожалению, память

[1] Здесь, пожалуй, нельзя не упомянуть еще и о левинском чутье на книгу. Будь то в огромном, витринном, многостеллажном магазине или в захудалой поселковой книжной лавочке, — он с безошибочностью терьера, специально обученного на поиск наркотиков, сразу кидался к нужному месту и схватывал нужную ему (и, может быть, только ему!) находку. Зрение, как уже говорилось выше, было тут почти ни при чем.

людская очень личная, и многое из чужого не удерживается ею. Особенно страдают от пропажи устные экспромты, байки, присказки, побасенки, часто выполняющие лишь функции связки событий и мыслей. Так и многие сюжетные развороты и повороты, придуманные когда-то МЛ, канули во впечатления, общие восторги и т. п., оставшись документально незафиксированными. Но кое-что, к счастью, сохранилось и помещено в нашем сборнике, рассеяно по разным его фрагментам.

Ненавязчивость

Один из видных литераторов, вовремя смотавшийся за рубеж с намерениями спасти культуру от нашествия собственного народа, указал на три (необходимых!?) признака советского человека: 1) напористость (немотивированная агрессивность), 2) завистливость (глухая, а порой и открытая), 3) пышущее энергией безделье. МЛ по всем этим статьям был "антисовком" и особо гнушался навязыванием себя другим. Какая уж там агрессивность! Уважительность и такт по отношению к партнерам и собеседникам (к недоброжелательным труднее!) обычно достигаются через переживание собственных промахов (так называемых ошибок молодости). Они, разумеется, были и у него; некоторые из них известны и оказали заметное влияние на его жизнь (и не только его!). Однако мы не вправе обсуждать их без его дозволения (и уж тем более посмертно). Но ведь преодоление, пожалуй, даже важнее совершения. Сложившийся МЛ обрел удивительную мягкость и терпимость (правда, как все нормально развитые люди, в определенных "докритических пределах"). И даже в тех разгоряченных спорах, где категоричность царствует над смыслом, он, бывало, оставлял спорщиков "при своих", не перетягивая к собственному, отличающемуся, мнению. Такая ненавязчивость является, наверное, свойством истинного интеллигента, непременным и естественным (и как сходен был МЛ по этому параметру с А. Д. Сахаровым!), она соблюдается обычно в пределах неотступления от главных жизненных принципов. Впрочем, понятие интеллигента, придуманное специально для характеризования чисто российских нравов, похоже, каждый определяет по-своему. Уважительное невмешательство в свободу людей, взаимодействующих с МЛ, очень четко просматривалось в соавторских, коллективных работах. Либо он все исполнение брал на себя, либо предоставлял соавторам "стилистическую вольную", даже когда они применяли приемы и обороты, ему не присущие. А делая замечания и вставки, приспосабливался к их манерам изложения.

Учительство

Отдельно стоит отметить отношение МЛ к ученикам. Независимо от перепадов возрастов и эрудированностей эти связи всегда были товарищескими, не подавляющими индивидуальности. Не случайно же все, вобравшие от него знания и любовь к пониманию природы (включая природу вещей), столь не схожи ни со своим учителем, ни между собой. Изначальное инфантильное подражательство изнашивалось со временем, сохраняя только те главные

наследственности, без которых было бы невозможно любое "породистое потомство". Сам МЛ как-то заметил про своего учителя М. А. Леонтовича, что тот никогда никому не давал заданий на... он лишь заинтересовывал в... (в задаче, в проблеме, в деле). Левину это передалось целиком, даже с некоторым расширением. К сожалению, такое сейчас редкость. Все чаще и чаще нынешние ученики (аспиранты и выше) используются своими руководителями (даже это русское слово содержит что-то держательно-не-пускательное!) в качестве научной обслуги, подсобников, рабочей силы по типу старороссийских подмастерьев.

"Заданиевое обучение" приемлемо на уровне освоения техники, а потом уже начинает поощрять запрограммированное изготовление ухудшенных копий (подражателей) Мастера.

В системе МА – МЛ происходил, в основном, расплод людей свободного творчества. Вот если бы плодить так новые и новые интеллектуальные поросли везде и всюду!

Жадность познавания

Всю свою жизнь МЛ втягивал, вбирал, впитывал, накапливал все возможные знания в неимоверных охватах. Его тянуло и к великим мудростям, и к "мелочам, и к теням мелочей". Познавание происходило, прежде всего, через чтение. Он был великий книгочей! Печатная и рукописная "прорва" заполняла стены его жилищ, столы, ящики, подоконники, расползалась на диваны и стулья.., но, главное, однажды прочтенная, она застревала в его голове надолго-надолго, если не навсегда, и при необходимости могла быть заявочно извлекаема оттуда – быстро, к месту и ко времени. Создавалось впечатление, что он владел тайной многопризнаковой каталогизации знаний, непрерывно самоусовершенствующейся и приспосабливающейся к "выдачам по требованию". (Неосуществленная пока мечта создателей искусственного интеллекта!) МЛ знал массу всего на свете. Само собой понятно, что у него были и любимые слабости, – кое в чем он разбирался сверхдотошно. Например, он был отличным знатоком русской и английской истории, поэзии всех времен и народов... и уж, конечно, почти всех разделов классической и современной физики (речь идет не о созидательстве, а об энциклопедической информированности).

Еще на заре научной юности он придумал себе девиз (сейчас это называется установкой): "Держать себя в состоянии понимания любых новых идей". Сначала это относилось только к физике, а затем стало постепенно распространяться за ее пределы. Конечно, это была научно-романтическая "руководящая крайность" – никакой одиночка не может уследить за всеми успехами науки и искусства, но сила любого девиза более в стремлении, чем в достижении. Связность науки и искусства, воображения и рассудочности, "правого" с "левым", удачно сопровождалась у МЛ связностью и преемственностью времен – он прекрасно знал (и любил знать!) научную классику. Такой неразрывностью времен отличались и его лекционные курсы. (К сожалению, многие "свежие" лекторы сейчас норовят "гнать модерн" в отрыве от драматической предшественности). То же самое отличало его и в просветительских импровизациях, в выступлениях "просто так, по случаю", в беседах с друзьями, в советах... даже

в шутливо-серьезных стишках-посвящениях. В любом его "речении", даже бытовой беседе, прослеживались улики "бездны знаний", накопленные благодаря той неугомонной "жаждности познания", что так славно и справно уравновешивалась щедростью раздавания!

Принципность

Невозможно последовательно проследить, как складывается внутренний мир человека и образуется свод законов (принципов), управляющих динамикой этого мира. В отличие от внешнего мира, законы которого универсальны, мир внутренний весьма индивидуализирован, и многие его движения и даже правила движений самообразуются в процессе жизненных перипетий. Так и внутренний мир МЛ: наследственность, воспитание в детстве и школе, студенчество, военная эвакуация, энкэвэдешные застенки, ссылки, высылки, преследование властями, вхождение в науку и... общения, общения, общения... с разносвойственными людьми разных профессий и возрастов, — все давало свой вклад и знак. (Об этом уже упоминалось там, где речь шла о самоуважении). В итоге, где-то в возрасте 20—25 лет этот мир, как говорят физики, структурно сформировался, а затем уже всего лишь слегка подправлялся под влиянием свежих насущностей. У каждого человека есть три главенствующих долга: 1) перед собой и близкими своими; 2) перед человечеством (обществом людей); 3) перед Вселенной (и/или перед Всевышним). И люди, каждый по-своему, распределяют себя по этим обязанностям, зачастую не отдавая себе в этом явного отчета. У МЛ все три долга были разумно сбалансированы. Но свои принципы он никогда не декларировал. Он следовал им естественно, или, как говорил один из любимых им поэтов, они были ему соприродны. И потому я тоже не буду здесь их торжественно провозглашать и классифицировать, пусть читатели сами вынесут их из собранных нами воспоминаний. Позволю себе остановиться только на некоторых особенностях исполнения им долга второго — перед обществом. Он напрочь не принимал того ком.-фашистского строя и уклада, в коем ему выпал жребий провести жизнь. И поддерживал многих борцов и отступников. Он (и его жена Наташа Леонтович) были почти единственными посетителями А. Д. Сахарова и Е. Г. Боннэр в их горьковской ссылке, во всяком случае из числа продравшихся безразрешительно сквозь госбезопасные заслоны. Он живо реагировал на все политические взлеты и подлости наших и не наших полит. деятелей и на все суразности и несуразности эпохи. Его мнения были открыты, ясны, разумны и, следовательно, часто опасны для него самого. Но он никогда не выставлял себя борцом, подвижником. Ни грамма высокопарности и посвящения себя высшим целям! Все это было для него обыкновением, делалось без всякого надрыва, как бы по команде изнутри, т. е., прежде всего, это было необходимо ему самому (в силу того самого Высокого Самоуважения!).

Преданность науке

Культ науки сопровождал МЛ и в доме его родителей, и в студенческие годы (он писал — "самые умные годы"), и в доме его жены и тестя (Н. М. и

М. А. Леонтовичей), и в его собственном доме, не говоря уже о местах его профессиональных занятий и присутствий, — т. е. во все периоды его юности и взрослости. Наука служила ему, как говорят общепринятые поэты, путеводной звездой, так что его жизнь со всеми ее прихотями, каверзами и искусами нанизывалась на научную рассудительность. Один из великих думателей прошлого столетия, наверное шутя, говорил: "Наука состоит из двух частей — физики и коллекционирования марок", — т. е. из законоустановлений и собирания данных. Конечно, наука ни раньше, ни сейчас не может так оприми тивливаться — она имеет многокомпонентную, многоотраслевую и разнометодиковую структуру. И МЛ был уважительным приверженцем ее в разных ипостасях и на разных этажах иерархии. Для него это отнюдь не исключало признания роли воображательной функции мышления, не только не противоречащей логической линии, но и наоборот, поощряющей творческие неожиданности. Иное дело — лженаука, подделка под научно-доказательное убеждение, иногда из мошеннических побуждений, иногда из неистребимой параноидальной тяги людей к самовозвеличиванию. В этих случаях МЛ овладевала редкая для его характера борцовость. Его поколению выпала доля жить среди двоякомыслия: истинная и ложная системы взглядов почти на все живое и неживое существовали совместно, как вложенные друг в друга пространства. Притом с ограниченным правом выбора. Было совсем непросто распорядиться собой. МЛ выбрался из этой чудовищной кутерьмы (свето-тьмы) благодаря ясному, критическому и веселому умению думать. (Ну, само собой разумеется, власти тоже способствовали его воспитанию "от противного"). А вырвавшись сам, он вытащил из этой трясины многих своих учеников. К сожалению, в последние годы мракобесие совсем перестало стесняться своего облика и пошло гулять в народ (в б. советский народ уж точно). МЛ покинул этот мир, оставив его в разгуле знахарства, колдовства и прочей чертовщины, из которой его ученики должны вытаскивать своих учеников и т. д. — с левинской верой в индивидуальный интеллект и с левинским скептицизмом к "коллективному разуму" толпы.

Заботливость

Казалось, заботливость — вполне нормальная добродетель, тем более, когда речь идет о попечении близких. Но у МЛ она проявлялась все-таки необычно. У него по ходу жизни развилась потребность притягивать к себе страждущих, ущемленных, подвергнутых нападкам судьбы. В каких-то обстоятельствах это было "лечение заслушиванием", в других — методом "упорядочивания мыслей и чувств", а во многих — прямое "сопровождение в беде".

Вот он ходит маятниковым ходом туда-обратно (небось, по тюремной привычке, въевшейся на долгую жизнь), выкуривая множество раздумывательных сигарет. Поразительное свойство людской психики: если разбросанные в истерическом возбуждении факты и доводы собрать в причинно-следственный ряд, то уже это успокаивает людей, мечущихся в запутанностях, и тем ведет к поискам приемлемых выходов. МЛ был непревзойденным целителем в таких историях. И никогда никакой назидательности, а всего лишь вхождение в участь "страдальца", как в свою собственную. Невозможно себе представить число

поддержанных, выправленных, вылеченных им людей, но наверняка каждый благодарно хранит это в памяти, разглаживая оставшиеся шрамы. Помимо таких оперативных "сеансов заботливости", МЛ посвящал себя также и длительному попечительству в отдельных, наиболее тягостных случаях. И в частности, когда его близкие или друзья уходили из жизни медленно и мучительно. Смерть неизбежна, но так хочется, чтобы умирающий не предавался отчаянию, теплил надежду на выкарабкивание, а при понимании безвыходности находил "смысл смерти" в оставлении людям неосуществленных замыслов и дел. МЛ мог, как никто другой, бережливо и самоотверженно исполнять эти грустные поддержки. И бывало, люди выпутывались, поднимались, наполнялись жизнью... Но, увы, видит Бог — не все и не всегда. И тогда он с трогательной аккуратностью старался запомнить их последние воли, пожелания, расставательные слова... Примером служит прощание с М. А. Леонтовичем, с такой честностью и проникновенностью рассказанное им самим в воспоминаниях о МА. И было немало таких прощаний: с Н. Я. Мандельштам, М. С. Рабиновичем... И всякий раз МЛ выступал как соборователь, и в этом была его истинная, внутренняя религия.

Отношение к религии

Наверное, нет людей, проживших просторную для размышлений жизнь и не задумавшихся о смысле своего пребывания в ней. Это отнюдь не означает приближения к ответам. Людям свойственно впадать в крайности, и во взглядах на жизнь тем более. Одна из них — безоговорочный атеизм, предполагающий (часто с воинствующей категоричностью!) появление жизни во Вселенной игрой неодушевленного Случая, ежели и подчиненного чему-нибудь, то только изначально фундаментальным законам Природы. Однако происхождение этих законов и поражающее человеческое воображение их вселенская самосогласованность, похоже, останутся вечно загадочными — равно и для верующих, и для безбожников.

Другая крайняя приверженность — безоговорочная вера в Создателя (Единого, Триединого или Коллективного), помыслы коего простираются на все Движения Мира Сего (а не только на управляющие законы) и потому на все судьбы людей (личные и/или сгруппированные). И все ритуальные отправления, и все жизненные наставления, и все действия людей должны считаться инструктивно спущенными сверху.

Между этими пределами располагается множество промежуточных преклонений. Люди, посвященные в естественные науки, которые уложены в логические схемы, умеют объяснить "все свое" без привлечения каких-либо команд. А когда они чего-то все-таки не понимают (например, законов движения мыслей), то считают, что это все пока, это все временно, это все от сегодняшней недоразвитости. И принятие чего-либо на веру, т. е. без независимых многократных(!) подтверждений, они относят к фактам профессиональной безнравственности.

Во все времена и эпохи существовали и преуспевали в овладевании умами людей бесчисленные чудотворцы и прорицатели, но ни одно из пророчеств (за исключением, конечно, нормальных научных предсказаний) — ни одно(!) — не

подтверждалось несколькократными проверками, разве только иногда выборками ослепленного воображения (да и то задним числом).

Таким образом, с позиций нормальной физики, основанной на нормальной логике (а не на какой-то там диалектической, рецептурные указания которой здравым умом непостижимы!), все эти чревовещатели вненаучны, они шаманны, они прокрадываются в человеческое подсознание и там правят свои шизо-шабаши! Это и есть позиция МЛ, его общий взгляд на науку и на жизнь.

Но, само собой разумеется, любая честная наука обязана соблюдать предупредительную внимательность ко всем экспериментальным неожиданностям, странностям, откровениям, должна быть способной удивляться событиям, не укладывающимся в укрепившиеся и, так сказать, "узаконенные" представления. Либо из-за неумения (пока что) их соединить, либо требующим расширения этих представлений. Вполне приемлемая и вполне научная программа! Одним из важных направлений поиска в ней является исследование влияния слабо интенсивных, но богато информативных сигналов на поведение физических объектов. В переводе на общепринятый язык это, например, когда приказ, отданный еледышащим шепотом, может приводить в действие толпы исполнителей, включать сверхмощные механизмы и даже уничтожать все живое... Сейчас грядет бум по изучению таких слабых (но влиятельных) связей между людьми, между машинами, между людьми и машинами. Наука бескомпромиссно твердо держится концепции (и будет так держаться, доколе не появятся хоть какие-либо намеки на достоверно проверяемые опровержения!), что любая информация переносится физически измеримыми средствами и только. Даже если речь идет о "гомеопатически малых" дозах этих носителей-переносчиков. Информация, а следовательно, и все виды одухотворенности не могут быть "записаны ни на чем", и вряд ли уместно делать исключение для потусторонних записей наших бессмертных душ. И это тоже важнейший аспект левинской убежденности.

Но и эти суждения не исчерпывают всей объемности раздумий МЛ о религии. Неоспорима проникновенность религии в человеческую психику, ее способность создавать нравственные принципы, управляющие поведением людей, ведь без них человечество склонно дичать и вырождаться в первобытное состояние. Разные религии обращаются к по-разному толкуемым установочным мифам. Их гипнотическая сила захватывает и личное, и массовое подсознание людей и может зримо, заметно, существенным образом поворачивать судьбы человечества. Противоречивость воздействий и последствий всех этих влияний МЛ как-то высказал чужими, но сродственными его мыслям словами (каллиграфически старательно выписанными в "тетрадь дум"): "Христианство одновременно сковало и расковало человека, привязывая его к формам абсолютизма и возбуждая в нем смелость чудесной мечты, путая абстрактную логику с ложной комбинацией мученика и палача, интеллектуального рабства и страстного порыва, инквизиторской жестокости с мистической нежностью, сочетанием сияния утренней звезды с мрачным пламенем костра".

В общем МЛ, не рассчитывая на посмертное продолжение себя (во всяком случае, на продолжение, оторванное от людей), вполне терпимо относился к религиозно-нравственной морали и ее роли в обеспечении устойчивого сущест-

вования общества, но в то же время он был абсолютно нетерпим к ханжеству и лженаучному поощрению его.

Левин гневен

"Страшен Левин,
Когда он гневен"

Не должно складываться впечатления о "бессрывности" поведения МЛ в любых обстоятельствах. Но когда пытаешься восстановить образ человека, покинувшего жизнь, невольно "некрологизируешь" его, тянешься к лучшим чертам.

МЛ жил в нервном, издерганном мире и в каких-то пропорциях соответствовал ему, был человеком этого мира — с перепадами настроений, с зациклами, со своим пониманием несправедливостей и своими поводами для гневанья. Причины могли быть разные — от неприятия до недоразумения. Кое-какие эпизоды извлекаются из воспоминаний друзей, помещенных далее. Однако в таких делах особую важность составляют мотивированность входа, контролируемость хода и способность выхода. Чаще всего МЛ входил в гневность (разгоняемую из ворчни) от непонимания поведения людей: он примерял их действия на себя, недоучитывая различия в психоневрологических и поведенческих свойствах.

Не будем касаться житейских раздражений — они тянулись недолговременно и, уж во всяком случае, не выводили МЛ из возвышенного состояния. Иное дело раздражения взглядовые, вызванные идейными несовместимостями. Эти-то западали в него прочно и сохранялись в тайниках памяти, нет-нет, да и выскакивая наружу, как вылазки из осажденных крепостей. Например, он не мог простить горьковским друзьям их необщений с А. Д. Сахаровым, когда тот был выслан советскими правителями в щербинковскую окраину г. Горького. Кое-кто пытался жалостливо оправдываться — ведь госбезопасники поставили и прямые, и косвенные (угрозные) заслоны, и отнюдь не шуточные. Даже несколько человек, пробиравшиеся к узникам с дозволения охранки, воспринимались ими настороженно — полное доверие оказывалось только давним друзьям, проверенным жизнью. МЛ не принимал всех этих объяснений, он был выше расчетливой трусоватости и огорчался измельчением нравов и умов. Его разочарование сохранилось до конца жизни. Впрочем, оно не снизило его отношений с друзьями. Тут проступало что-то общее с А. Д.: они оба допускали свободу выбора — каждому свое.

Взрывные негодования поражали весь организм МЛ, когда он сталкивался с открытым негодяйством и холопским придворничеством. "Он знак подаст, и все хохочут..." или гогочут, или извергают проклятья сообразно указаниям свыше. Сколько выдержал МЛ таких травлей сам и скольким он был со-временником! И почти никогда не пропускал возможности откликнуться: уничтожающими репликами, гневными эпиграммами, а однажды даже целой поэмой "Сорокоуд", где открыл людям глаза на нравственное беспутство некоторых советских академиков (текст поэмы помещен в литературной части книги).

Более снисходительно (но все-таки тоже с уничтожающей прямотой) МЛ относился к идеологически загипнотизированным друзьям: он раздражался, заболевал, вскипал, терял терпение и даже последовательную рассудитель-

ность, но почти всегда концовка спора была эмоционально убедительна, типа "Вот она какая, ваша пресловутая ...!" (вместо многоточия вставляется предмет обсуждения, иногда действительно равносильный бранному слову). Очень редко, но все-таки случалось, МЛ вступал в официальные письменные негодования. Его политические эпиграммы, засылаемые в редакции, никогда (естественно!) не публиковались, но они все равно "шли в народ". Говорят, что иногда работники редакций сами запускали в люди тексты, неугодные "властителям набора", — через друзей и близких, минуя типографские размножители.

Отдельно стоят его научные несогласия. Такие публикации МЛ отличались предельной ясностью изложения позиции и тактичной бескомпромиссностью, в которой, однако, вполне просматривался гневный протест против лжи, передергивания, виляния, недосказанности и других способов "продления себя".

Всего до конца не пояснишь, но, может быть, кое-что нам и удалось: ведь поведение человека в неустойчивостях порой характернее его "движений в режиме покоя".

Левинский юмор

Юмор — это как раз тот случай, когда "упражнения" ценнее "рассуждений". И далее — по всему тексту — будет, надеюсь, приведено изрядное множество веселых, насмешливых, ехидных, когда милых, а когда и саркастически безжалостных участий МЛ в разных соприкосновениях с людьми и событиями. Без этого он непредставим, без этого он может казаться обедненным до "сухаря-очкарика". Ведь юмор "как на прием, так и на передачу" (т. е. как чувство юмора, так и способность к нему) лишает облик человека ореола святости, обостряя и расширяя мысли в сторону "резвящихся парадоксальностей".

Вот МЛ, шаря глазами по выставке в глубинковой тюменской библиотеке, засекает книгу М. Ф. Леви "Противозачаточные средства" (Москва, 1927), а сверху, как полагалось в те времена, трафаретный лозунг-эпиграф "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Это, так сказать, юмор неожиданного взгляда на осточертевшие до обессмысливания картинки из жизни Страны Советов. А вот он пишет детскую(!) азбуку для дочери друга:

Буква З: Закон у нас похож на дышло —
Запор пройдет, когда все вышло...

Или буква Г: Гармонии нехватка в мире —
Говно всплывает, тонет гиря.

Это уже пример "несветского", швейковского юмора.

А вот как-то, сопровождая в качестве наблюдателя приятеля-рыболова и воззря удачу — тот вынул из речки Керженец солидную щучку, МЛ сразу же придумал четверостишие:

Грубым дается щука,
Нежным нужна форель,
А мне, дураку, наука
Блесну не кидать на мель!

Это парафраз по Есенину: он нередко прибегал к таким "переложениям". И ведь – не про рыбалку, а про науку и жизнь.

А вот пример его изящной находчивости. Как-то в нескончаемом грузинском застолье (грузины высоко чтили МЛ за уважительно глубокое знание нравов и культуры своей гордой и нервной страны) посидельцы, уставшие от пития и восхвалений, вдруг провозгласили первым (первым!) женихом Грузии одного из гостей – физика, задержавшегося с женитьбой, и тем несказанно обидели присутствовавшего там видного собственного, грузинского, академика, всем известного перезрелого холостяка. Возникла опасная тишина, чреватая трудно заживляемыми обидами. И тут нашелся МЛ. "А вы, – сказал он, обращаясь к академику, – вы – жених международной категории". И этим междоусобицы были отсрочены до других времен.

МЛ был непревзойденным мастером ассоциаций. Как-то на симпозиуме по дифракции (дифракцией в физике волн называется огибание волновыми пучками разных преград, что делает границу света и тени нерезкой, размытой) состоялись выборы Мисс Дифракции. Ну конечно же, руководствуясь ее чисто женскими, научно обоснованными прелестями. МЛ в момент провозглашения красотки, поднятой на банкетный стол, прямо с места в карьер (со своего места в ее карьер!) выдал точную научную характеристику избранницы: "Ибо она осциллирует в освещенной области и экспоненциально спадает в области тени!" Впоследствии эта реплика стала общенародной байкой (если считать дифракционеров неотъемлемой частью народа).

И кое-что еще...

Я предпринял редкую (а потому отчасти странную) попытку предварить индивидуальные воспоминания о МЛ рассужденческим обзором некоторых его свойств. Было понятно заранее, что и в выборке этих свойств, и в их описании не удастся избежать субъективности. Однако даже в полуклассических тестах (по типу усовершенствованных миннесотских) результат сильно или не очень, но зависит от характеров взаимодействия "подвергаемой жертвы и ее, так сказать, разоблачителя". И все-таки почти каждый из таких тестов удивляет высоким процентом попадаемости в цель. А мне хотелось расширить их возможности, подключая описания, не вписываемые в обычные компьютерноохватываемые вопросники. Но, разумеется, для восстановления истинного образа человека никакие разборы не могут достигнуть однозначной полноты – в этом развернутом, казалось бы, анализе явно недостает жизненности, эпизодности, иллюстративности, доказательности примером. Я рассчитываю, что предполагаемый читатель сумеет извлечь все это из воспоминаний друзей и близких, а также из некоторых фактических материалов, относящихся к жизни МЛ. И прежде всего из его собственного творчества. Но даже независимо от последующих включений приведенный "состав свойств" МЛ показателен сам по себе; кроме того, возможно, он побудит задуматься каждого из нас над самим собой, над долями Добра и Зла в наших характерах и поступках и, главное, побудит это сделать еще при жизни, точнее, еще при незаконченной жизненной активности.

В. Л. Левин

ВОСПОМИНАНИЯ О МИШЕ, НАШИ ПРЕДКИ И РОДСТВЕННИКИ

Миша жалел, что мы мало знаем о наших предках. Немногие сохранившиеся сведения о предках по материнской линии содержатся в его письме к американским квазиродственникам[1]. Я мало что могу к этому добавить.

После ознакомления с маминым следственным делом кое-что уточнилось. Мама родилась в местечке Жагоры, а вскоре после ее рождения семья переехала в Шавли. Она и ее брат Миша, погибший в 1919 году, были близнецами. Их отец, а наш с Мишей дед, Саул Яковлевич Левин, уехавший в США в 1905 году, приезжал ненадолго в Шавли в 1911 году, после чего эмигрировал уже окончательно. В Америке первое время он работал на разных кожевенных фабриках рабочим, в 30-е годы был торговым агентом кожевенной фирмы в г. Люизвил (штат Кентукки). Бабушке, оставшейся с четырьмя детьми, помогал ее брат Шлема Шмуйлович Меламед, работавший агентом на дровяном складе местного лесопромышленника. Он умер в Пензе в 1916 или 1917 году. До 1912 года мама училась в начальном училище в г. Шавли, потом перешла в гимназию, которую окончила в 1918 году уже в Пензе. Я нашел на карте город Жагоры – родину мамы. Он находится на севере Литвы, на границе с Латвией, и теперь называется Жагаре, что, по-видимому, более точно отражает литовское произношение.

О предках по отцовской линии известно больше. После того как в 1963 году я побывал с отцом в Кишиневе и видел улицу, на которой жил отец в детстве, Миша говорил мне, что ему бы очень хотелось увидеть Кишинев и Шяуляй (бывшие Шавли, где мама прожила почти от самого рождения и до 1916 года). Тогда же он сказал, что было бы интересно составить наше генеалогическое древо. У Миши был вкус к таким вещам. Помню, как он с удовольствием показал

[1] После показа в США американского телефильма об А. Д. Сахарове (он демонстрировался также и по нашему ТВ) Миша получил письмо от однофамильцев из Чикаго, предки которых были выходцами из России. Увидев Мишу на экране телевизора, они усмотрели в его внешности общие фамильные черты со своими родственниками. Завязалась переписка. Некоторое (на мой взгляд, небольшое) портретное сходство с Мишей на присланных ими фотографиях можно обнаружить, однако имеющаяся информация об их предках (география, имена и, главное, то, что им неизвестен наш дед Саул, эмигрировавший в Америку в 1905 году), по-видимому, делает родство маловероятным и, во всяком случае, исключает близкую его степень. (Перевод письма М. Л. Левина приведен выше).

мне то место в "Российской родословной книге, издаваемой князем Петром Долгоруковым", где Левины упоминаются среди дворянских фамилий, существовавших в России и Литве до 1600 года. Конечно, мамины еврейские предки не имеют отношения к этим дворянам Левиным, и Миша это отлично знал. Подобные сопоставления забавляли Мишу потому, что у него был вкус не только к истории (русской и всякой другой), которую он знал получше иных профессиональных историков, но и к интеллектуальной игре, основанной на всевозможных совпадениях и сближениях. (С этим связаны присущие Мише чувство языка и любовь к поэзии).

Ниже собрано все, что мне известно о наших родственниках, главным образом с отцовской стороны.

I. Наш отец, Лев Наумович Карлик, родился в Кишиневе 11 июня 1898 года. Его отец, а наш с Мишей дед, Нахман (Наум Самойлович) Карлик родился в 1878 году, тоже в Кишиневе. По профессии дед был бухгалтером. Не отличаясь особой религиозностью, он был большим знатоком Торы и еврейской истории и обладал многими другими знаниями, почерпнутыми из книг. У деда было слабое зрение. Он носил очки с очень толстыми стеклами и, читая газету, держал ее у самого носа. По-видимому, Мишина (и моя тоже) близорукость унаследована от него через одно поколение, так как у папы было всего 2 диоптрии, а у мамы — небольшая дальнозоркость. В письме, отправленном мне в апреле 1950 года (еще из Горького), Миша писал: "Раз ты теперь ходишь в очках, то изволь в таком виде сфотографироваться. А когда я приеду — снимемся все вместе — 4 мужика в очках!" В таком составе мы так и не сфотографировались. Есть фотография, на которой сняты дедушка, папа и я (Москва, 20 мая 1948 года), причем в очках один дедушка. И есть рязанский снимок с двумя очкариками — мы с Мишей, не знаю, до или после смерти деда.

Деда я помню очень хорошо, так как моя жизнь до 15 лет проходила рядом с ним[2]. Помню его в Ташкенте во время эвакуации. (О Ташкенте у меня сохранились яркие, хотя и отрывочные, воспоминания. Хорошо помню дом, где мы жили, и арык во дворе, в котором я однажды едва не утонул. Этот арык упоминается в Мишиных неоконченных записках о С. Б. Веселовском). Помню деда и в нашей старой московской квартире (Б. Калужская ул., д. 13, кв. 6); на даче в Отдыхе (Казанская ж. д.), где я проводил каждое лето, а один раз прожил там с дедом и зиму 1944-45-го (я жил с дедушкой и няней, а родители приезжали на выходные); наконец, в Рязани, куда мы переехали осенью 1950 года (уже после маминого ареста) в связи с переводом туда 3-го Московского мединститута, в котором папа заведовал кафедрой патологической физиологии (Миша в это время жил в Тюмени и, наезжая в Москву один-два раза в году, бывал по нескольку дней и у нас).

Умер дед в 1953 году, в середине июля, пережив Сталина на четыре месяца. Миша находился тогда в Москве. Он срочно выехал в Рязань на похороны и оставался эти дни с отцом. Мне они решили не говорить тогда о смерти деда, и я

[2] Я родился 31.03.38, брату хотелось, чтобы родители назвали меня Василием, и я стал бы тезкой Василию Львовичу Пушкину. Миша и его старые друзья довольно долго звали меня Васей или Васькой, а кое-кто даже думал, что это мое настоящее имя.

узнал о ней немного позже. Тем не менее сами эти дни сохранились в моей памяти благодаря Мишиным письмам, посланным в Отдых, где я тогда находился.

II. Думаю, что смерть деда была ускорена многолетней антисемитской кампанией, которая велась, не ослабевая, по радио и в газетах все эти годы, начиная с убийства Михоэлса[3], разгрома Еврейского театра и борьбы с "безродными космополитами". Результаты этой кампании ощутимо чувствовались в повседневной жизни, а ее вершиной стало известное дело врачей ("врачи-отравители", "шпионская сионистская организация Джойнт", "героическая Лидия Тимашук, простая русская женщина, разоблачившая убийц в белых халатах" и т. д. и т. п.). Папа знал многих, арестованных по этому делу, а с некоторыми из них был в дружеских отношениях.

После первого сообщения по радио о "разоблачении группы врачей-отравителей" (13 января 1953 года, ровно через пять лет после убийства Михоэлса; оно передавалось несколько раз в день; помню, там упоминался и "растленный буржуазный националист Михоэлс") пошли сплошным потоком выступления и письма трудящихся с требованием сурово покарать убийц. В романе Уилсона "Живи с молнией" (переведенном у нас как "Жизнь во мгле") есть сравнение включенного радиоприемника с полным помойным ведром с открытой крышкой. Это абсолютно точный образ всего того, что лилось в те дни с утра до вечера из всех репродукторов и газет.

Сразу же, как началась эта свистопляска, в Рязанский мединститут прибыла из Москвы специальная комиссия во главе с известным хирургом Б. В. Петровским (впоследствии министром здравоохранения СССР), которая выгнала с работы папу и других евреев[4].

В местной газете "Сталинское Знамя"[5] появилась передовица об усилении

[3] Михоэлс был убит по приказу Сталина 13 января 1948 года, через три дня после ареста нашей мамы. Родители хорошо знали Михоэлса, Зускина и Тышлера. С Михоэлсом мама познакомилась в Ташкенте (мы были соседями), а с Зускиным была знакома с 1916 года еще по Пензе. Среди 17 фотографий, которые мне вернули из архива ФСБ (бóльшая часть фотографий, изъятых при мамином аресте, уничтожена МГБ в 1948 году), есть снимок В Л. Зускина с его надписью на идиш. Участие мамы и Зускина в Союзе еврейской молодежи, культурно-просветительной организации, существовавшей в 1916–1918 годах в Пензе при Комитете помощи жертвам войны (мама была в группе репетиторов, а Зускин в драматической секции), фигурировало в обвинительном заключении: "... со времени 1918 года поддерживала преступную связь с еврейскими националистами и проводила активную вражескую работу против партии и советского правительства". Миша рассказывал мне о своем знакомстве с Михоэлсом в Ташкенте; жаль, что он не успел об этом написать.

[4] Некоторое время назад я прочел в "Огоньке" большое интервью с Б. В. Петровским, где среди прочего он вспоминал (очень невнятно и уклончиво) о деле врачей и о деятельности возглавлявшейся им комиссии, но говорил так, как будто у всего этого дела не было антисемитской подкладки Говоря о Рязани, он сумел не назвать ни одной еврейской фамилии и даже утверждал, что главным положительным итогом работы комиссии была защита каких-то (не названных им) хирургов от гонений со стороны обкома. Возможно, что он помешал (или не стал помогать) рязанскому начальству воспользоваться общегосударственной антисемитской кампанией для сведения своих местных счетов, но главным в работе комиссии было отнюдь не это, а как раз проведение в жизнь этой самой кампании. Для этого она была прислана в Рязань и именно этим и занималась.

[5] Помню Мишину шутку с вариантами названий для газет "Сталинское Пламя", "Сталинское Племя", "Сталинское Семя" и "Сталинское Вымя".

бдительности, где говорилось, что обком выражает политическое недоверие профессорам Карлику и Шапиро. После этой статьи папу могли арестовать в любую минуту... Теперь хорошо известно, к чему тогда все шло и прологом к каким событиям должно было стать дело врачей, поживи Сталин еще немного. В общем, "спасибо вам, товарищ Сталин, за то, что жить вы перестали!" – любимое Мишино двустишие того времени. Больше трех месяцев папа был полностью безработным, а в июле 1953 года его снова взяли в мединститут, но на более низкую должность. Папа вновь стал заведующим кафедрой патофизиологии только в октябре 1954 года.

Все это время и отец, и дед (пока был жив) постоянно испытывали сильные стрессовые перегрузки[6], которые и доконали деда (а позже стали одной из причин ишемической болезни сердца отца). До этого, сколько я помню, дед никогда не болел.

III. Нашу бабушку (мать отца) звали Та́бел, или Таубе (по-русски Татьяна Ефимовна). Ее девичья фамилия – Тале́йсник. В отличие от деда, бабушки я не знал; Миша же знал обоих. От папы я слышал, что кроме него в семье был еще один ребенок – девочка, которая умерла в детстве. Как ее звали, я не знаю.

Во время 1-й мировой войны, в 1915 или 1916 году, дедушка с бабушкой покинули Кишинев. Подробности их маршрута мне неизвестны. Знаю лишь, что они оказались в Кустанае и какое-то время, год или два, прожили там. В Кустанае бабушка держала кондитерскую. Потом они уехали и оттуда и, в конце концов, (по-видимому, с 1919 года или чуть раньше) осели в Харбине, который был тогда русским городом.

Примерно в это же время, точнее с октября 1915-го по июнь 1918-го, наш отец находился в Пензе, где окончил реальное училище Хайкина[7], эвакуированное туда в связи с войной, и зарабатывал на жизнь, давая уроки. В Пензе же он встретился с нашей мамой, семья которой попала туда как беженцы. Мама родилась 13 ноября 1899 года. Она окончила гимназию и тоже жила уроками. В 1918 году отец переехал в Саратов, а в начале 1919 года туда же перебралась и мама. Они поженились в начале 1920 года. В Саратове отец учился на медицинском факультете университета, который окончил в 1924 году, и был оставлен на кафедре патологической физиологии. Оканчивал аспирантуру он уже в Москве (1926), на кафедре патологической физиологии 2-го МГУ, одновременно работая научным сотрудником Института высшей нервной деятельности. В Саратове же родился Миша. Сохранилась саратовская фотография (август 1922), на которой сняты родители с маленьким Мишей. С 1926 года семья жила уже в Москве, сначала в общежитии на Пречистенке[8] (там у них была одна большая комната), потом на Остоженке, а затем у Никитских ворот, в доме, где кинотеатр повторного фильма. Квартира была на втором этаже, вход со стороны Никитского бульвара, со двора налево. В этой квартире они прожили около десяти лет и переехали в академический дом на Большой Калужской в

[6] Помню невеселую папину шутку о превращении из субъекта патологической физиологии в объект патологической анатомии.

[7] Это отец С. Э., Б. Э. и М. Э. Хайкиных.

[8] Миша показывал мне этот дом. Он стоит по правой стороне, если идти от центра, между аптекой и Домом ученых.

1939 году, уже после моего рождения (и после того, как мама стала членом-корреспондентом Академии наук). В квартире у Никитских ворот постоянно жили родители, Миша и бабушка Мария (мамина мама), а с 1935 года после возвращения из Харбина там жили также дедушка и бабушка Таня (Табел). Несколько лет, примерно до 1936 года, в квартире был еще один жилец — инженер-немец; потом он уехал в Германию. В 1932 году приехал из Ташкента папин двоюродный брат Шика[9], и какое-то время (в 32-м и 34-м годах) он тоже жил в этой квартире. Шика был старше Миши на 6 лет и учился в Институте связи. Он помнит, как они с Мишей ходили в театры: мама хотела, чтобы Миша видел интересные спектакли, и всегда покупала два билета — ему и Шике.

Миша рассказывал мне о математических способностях бабушки Марии; несмотря на отсутствие образования — она едва умела читать и писать, но не более того — бабушка решала любые школьные задачи, включая и те из них, которые фактически сводятся к системе из двух линейных уравнений или к квадратному уравнению, разумеется, если задача формулировалась не абстрактно, а в виде некоторой житейской ситуации (вроде задачи о купце, продающем ситец и сатин и т. п.) и при условии, что ответ был в целых числах (без дробей). Услышав задачу от Миши или его школьных товарищей, бабушка сразу говорила ответ, который всегда оказывался правильным. Объяснить, каким способом ответ получен, бабушка не могла и даже не понимала, чего от нее хотят. После того как бабушка попала под трамвай, одна нога у нее была ампутирована, и ей был сделан протез. Есть фотография бабушки Марии с внуками — бабушка сидит с Валей[10], стоит Миша. Умерла бабушка Мария до моего рождения.

В 1936 году, в разгар террора, начавшегося после убийства Кирова, неожиданно приехали из Харбина дедушка с бабушкой Табел. Это было летом, родители с Мишей отдыхали где-то на юге, и дома была одна бабушка Мария. Дедушку с бабушкой встретил и отвез домой, на Никитский бульвар, Шика. Он жил в это время отдельно, но часто бывал на Никитском и оставался там прописан. Бабушка Табел имела независимый характер. В Харбине она привыкла свободно говорить обо всем на свете, и ее очень удручала московская атмосфера всеобщего страха, когда люди боялись сказать лишнее слово. Бабушка была тяжело больна (рак пищевода), и ей сделали операцию, после которой она не могла есть как все, а должна была вводить пищу через специальную трубку, вшитую в желудок. Умерла бабушка в 1940 году в Николаеве, где жила тогда ее сестра Песя, к которой она уехала в том же году.

IV. Нашего прадеда (отца деда Нахмана) звали Шмуль (Самуил) Гринберг. Он перешел на фамилию Карлик, приписавшись к бездетной семье, чтобы избежать службы в армии — единственного сына освобождали от призыва

[9] Евсей Исаакович Гальперин, радиоинженер, сейчас на пенсии, живет в Москве. Он родной племянник бабушки Табел, сын ее младшей сестры Песи. "Шика" — уменьшительная форма имени Иешуа.

[10] Валя (род. 1927) и Марина (род. 1937) Пантелеевы — наши двоюродные сестры, дети Рахили, с которыми Миша и я были очень дружны; в разное время они живали у нас дома.

и подобная практика изменения фамилии была тогда широко распространена[11]. По профессии прадедушка был ре́зник (согласно еврейскому закону, забой скота и птицы производится по особым правилам, и человек, который этим занимается, и есть резник). У него было пятеро детей: Давид, Иосиф, Чарна (по мужу Розенблат), Нахман (наш дед) и Бенчик (Беньямин или Бенцион) Карлики. Я не уверен, что перечислил их строго по порядку; определенно известно лишь, что Давид был старшим, а Бенчик — младшим из детей.

Давид был бухгалтером, как и наш дед Нахман, и работал на мельнице; сведения о занятиях других детей прадедушки не сохранились. Чтобы избежать призыва на военную службу, Давид приписался к Левензонам. Позже этот обман раскрылся и Давид попал в тюрьму, следствием чего стала болезнь сердца. Он умер в возрасте 44 лет, оставив восемь человек детей, младшему из которых, Исааку, был год. Фамилия его семьи стала Левензон, при этом в скобках писали: "они же Карлик"; затем стали писать Карлик-Левензон (реже Левензон-Карлик).

После смерти Давида главой его семьи стал второй сын Израиль, которому был тогда 21 год (старший брат Моисей был женат на своей двоюродной сестре Фане, дочери Иосифа, и жил отдельно). Израиль работал в разных городах Украины[12] и одновременно учился заочно на фармацевтическом отделении медицинского факультета Харьковского университета[13]. Работал он на условиях полной "кондиции": пансион плюс жалованье, которое он отсылал домой. Все дети Давида получили образование: Моисей, Израиль, Элиязар и Соломон стали фармацевтами, Исаак — бухгалтером. Израиль окончил университет и, работая фармацевтом, накопил достаточно денег, чтобы открыть в Кишиневе (1903 или 1904) собственный аптекарский магазин. Женился он только в 1910 году. Израиль и его жена Рахиль (1892 г. рожд.) были очень дружны с семьей нашего деда Нахмана, и наш отец хорошо их помнил. В сохранившейся папиной анкете записано, что в 1913–1915 годах он был служащим аптекарского магазина в Кишиневе и, по-видимому, это была аптека Моисея или Израиля.

Когда летом 1963 года я был с папой в Кишиневе (следующим летом он снова ездил туда, но уже без меня), был жив его двоюродный брат Исаак Карлик-Левензон, и в разговорах об их детстве эта аптека каким-то образом фигурировала, однако подробностей я не запомнил. Судя по тому, что я о нем слышал, Израиль был мудрый и очень добрый человек.

---

[11] Аналогичная история случилась с его старшим сыном Давидом (см ниже), а также с нашим дядей Соломоном, родным маминым братом, репрессированным в конце 30-х годов. По паспорту Соломон был Матус, а не Левин. Официально, для властей, он не считался маминым родственником, и мама не указывала его в анкетах. В детстве я о нем ничего не слышал и думал, что его сын Миша Матус ("саратовский Миша") — наш троюродный брат, хотя на самом деле он был двоюродный. Самого дядю Соломона я не мог знать, так как родился, когда его уже не было в живых, но наш Миша (Левин) хорошо его помнил и за несколько месяцев до смерти рассказывал мне о нем.

[12] Он начал работать учеником провизора в Кишиневе, еще до смерти Давида.

[13] Тогда очень нуждались в фармацевтах, и юноши из малоимущих еврейских семей охотно выбирали эту специальность. Для поступающих на фармацевтическое отделение процентная норма была отменена, тем не менее, евреев периодически не допускали к сдаче последнего экзамена на получение звания "провизор".

После того как Бессарабия перешла к СССР (28 июня 1940 года), аптекарский магазин Израиля был ликвидирован. Ему было тогда 62 года, он не смог найти работу. Семья жила на деньги, оставшиеся после ликвидации магазина, и на стипендию дочери Сарры, которая училась в Кишиневской консерватории и получала стипендию как отличница[14], потом стали продавать вещи. В 1941 году Израиль не смог уехать до немецкой оккупации Кишинева, так как был болен — лежал после обширного инфаркта. Он и его жена погибли в немецком концлагере в один день, 24 декабря 1941 года[15]. Сарра была эвакуирована вместе с консерваторией и осталась жива, одна из всей семьи. Ее брат Давид погиб во время войны.

Из всех братьев и сестер Израиля — они же двоюродные братья и сестры нашего отца — эвакуирован был только Исаак со своей семьей; они остались живы и после войны вернулись в Кишинев. Ревекка, Клара, Эсфирь, Фаня (вдова Моисея и дочь Иосифа) с сыновьями и их семьями остались в Кишиневе и все погибли. Соломон эмигрировал в Америку еще в 1913 году (в 1920-м он ненадолго приезжал в Кишинев), Моисей умер в 1932-м, а Элиязар был выслан с семьей перед самой войной, в июне 1941 года. У него была хорошая квартира и собственный аптекарский магазин, и он попал в списки чуждых классовых элементов, подлежащих высылке. Тогда разъединяли семьи — мужчин отправляли на север Сибири, где почти все погибли, а женщин с детьми — в Среднюю Азию. Элиязар погиб, а его жена (вторая) с сыном Давидом так и остались в Средней Азии.

В 1945 году Сарра вернулась в Кишинев и возобновила учебу в консерватории, которую окончила в 1948 году. Учась в консерватории, она одновременно работала концертмейстером, а после окончания к этому добавилась работа по совместительству в музыкальной школе — своего жилья у нее не было и нужно было зарабатывать деньги, чтобы платить за частную квартиру. В 1951 году она уехала на работу в Томскую филармонию, потом работала в Красноярске, Грозном, Ангарске и Иркутске — преподавала в музыкальных училищах и детской музыкальной школе, была концертмейстером филармонии и выступала в качестве солистки-пианистки в лекциях-концертах. В 1961 году вернулась в Кишинев и по-прежнему жила на частных квартирах. Сарра бывала у нас дома еще до маминого ареста, на Большой Калужской и на даче в Отдыхе. Потом связь с ней прервалась и возобновилась после папиной поездки в Кишинев в 1963 году. В 60-е годы мы много общались с Саррой. Моя жена Лора с ней переписывалась, и, приезжая в Москву, Сарра жила у нас на Бережковской Набережной. Миша хорошо ее знал и тогда, и прежде. Сейчас Сарра живет в Израиле, в городе Ашдод.

Кроме Исаака и Сарры, я знал из Карликов-Левензонов еще Соломона — родного брата Израиля и Исаака и папиного двоюродного брата, уехавшего в Америку в 1913 году. Мы с Мишей познакомились с Соломоном, когда в июне 1970 года он приезжал в Москву. Он собирался тогда съездить в Кишинев, но

[14] При румынах она училась недолгое время в Ясской консерватории Ее старший брат Давид (р. в 1911 году) был женат и жил отдельно.

[15] Сначала они жили в кишиневском гетто, а потом были переведены в концлагерь за Днестром, где-то под Котовском. После войны Сарру разыскала семья (мать и две дочери — отец и третья дочь погибли), находившаяся в одном бараке с ее родителями. От этих людей Сарра узнала дату смерти своих родителей и подробности их жизни в лагере.

внезапно заболел, несколько дней лежал в Боткинской больнице и 4 июля улетел в США. В Москве Соломон общался с Саррой, которая всюду его сопровождала, и с нашим папой, специально приехавшим для этого на несколько дней из Рязани. "В субботу с Саррой встречали ее дядю и моего двоюродного брата Соломона. Он должен был вчера отбыть в Кишинев, но ночью почувствовал себя плохо и о поездке в Кишинев уже речи не могло быть. Он останется в Москве до 4 июля и улетит обратно в США", – из папиного письма от 22 июня 1970 года. "Очень рад, что ты и Миша были у Соломона и что он провел и в твоей обители почти весь день. Он очень хороший человек, много невеселого и трудного перенес в жизни. В день моего отъезда в Рязань я с утра несколько часов провел у него в гостинице. Все хотел, чтобы я пошел с ним в "Березку" что-то мне купить, но я не разрешил ему выходить", – из папиного письма из Путивля от 12 июля 1970 года. Помню, как у нас, на Бережковской, Соломон читал наизусть: "Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют", – чтобы показать, что не забыл русский язык.

О других Карликах я почти ничего не знаю. Когда мама была в Америке (1931), она нашла не только своего отца, у которого там была новая семья, но и папиных двоюродных братьев и сестер – детей Иосифа. (Все дети Иосифа, кроме Фани, эмигрировали в США).

Возможно, Миша знал кого-нибудь из Розенблатов – детей Чарны, так как в Ташкенте дедушка и родители с ними общались.

V. Перехожу к родственникам по линии бабушки Табел. Ее родителей звали Хаим (Ефим Львович) и Голда. У них было три сына, Арон, Фи́шел и Лейб (Лева), и четыре дочери, Су́ра (это вариант имени Сарра; ее фамилия по мужу была Глузберг), Фрида, Табел (наша бабушка) и Пе́сел (Песя, по паспорту Полина Ефимовна, мать Шики). Арон был самым старшим, затем шла Сура, самой младшей была Песя. Она родилась в 1890 году (так по паспорту, на самом деле ± 2 года); годы рождения остальных, в том числе и нашей бабушки, неизвестны. Все они жили в Кишиневе. После знаменитого кишиневского погрома[16] Арон, Сура, Фишел, Фрида и Лева эмигрировали в Аргентину и поселились в Буэнос-Айресе, позже Лева перебрался в Сант-Яго (Чили). В дальнейшем их жизнь сложилась благополучно, мужчины стали предпринимателями, а Фишел даже разбогател.

Хаим умер в Кишиневе в 1915 году, а в 1917 году Голда и Песя с детьми, Шикой и Кларой (родилась в сентябре 1916 года), уехали в Кустанай к мужу Песи (Исаак Наумович Гальперин, отец Шики и Клары), который оказался там несколькими месяцами раньше. Они прожили в Кустанае примерно полгода (наши дедушка и бабушка в то время были еще там), а потом переехали в Самарканд и (уже в 30-м или 31-м году) в Ташкент. Все это время у Голды и Песи шла переписка с Сурой и Фридой[17], которая заглохла к середине 30-х годов. Голда умерла в 1929 году.

В 1927 году в Москву приезжал ненадолго младший сын Голды, Лева, и

[16] 6–7 апреля 1903 года. Это был, по-видимому, самый кровавый из еврейских погромов, организованных тогдашними черносотенцами при поддержке правительства.

[17] В 20-е годы Фрида приезжала в Россию и была у своей матери в Самарканде.

для встречи с ним прибыли из Самарканда Голда с Шикой. Наш отец общался тогда со своими бабушкой и дядей, но Миша (ему было 6 лет) их не видел.

После войны Песя с мужем и Клара с сыном Леней вернулись в Кишинев. Когда в 1963 году я был с папой в Кишиневе, родители Шики были еще живы, и я тогда впервые их увидел. Клару я знал и раньше, и Миша тоже хорошо ее знал. Помню Клару с Леней — он был на год моложе меня — у нас на Большой Калужской в 1947 году; была иллюминация по случаю 800-летия Москвы, и мы все долго гуляли по центральным улицам. Последний раз мы с Мишей видели Клару у Шики, когда она приезжала в Москву лет 10 тому назад. Клара всю жизнь проработала учительницей математики, сейчас на пенсии, живет в Кишиневе. Леня еще в юности тяжело заболел, стал инвалидом, часто лежал в больницах и умер в 1989 году.

VI. Выдержки из Сарриного письма от 2 января 1993 года:

"*...привожу все, что помню, начиная с моего первого посещения дома твоих родителей в сентябре 1946-го г., когда я впервые поехала в Москву. ...На мой звонок открыла дверь Ревекка Сауловна (она в это время разговаривала по телефону в прихожей). Я назвала себя и степень родства с семейством Карлик, и Ревекка Сауловна крикнула в дом: "Дедушка! Родственница приехала", и я познакомилась с дядей Нахманом. Тут же Ревекка Сауловна меня накормила и пригласила остановиться у вас в доме. Лев Наумович был в командировке, а сама она собиралась в санаторий в Кисловодск. Она рассказала немного о Мише: в шестом классе, после первого урока физики, Миша сказал дома, что он будет только физиком (то есть будет непременно), и Ревекка Сауловна вменила это в заслугу преподавательнице. Затем сказала, что Миша очень рано защитил кандидатскую, а сейчас ему запрещено проживание в Москве из-за судимости и он работает в Горьком, и тут же Ревекка Сауловна меня наставила быть очень осторожной в разговорах. Хотя Ревекка Сауловна знала, что я встречаюсь в Москве с бывшими соученицами и не скучаю, она купила для меня билеты на два спектакля, причем по 2 билета, чтоб не идти одной. ...Перед отъездом в Кисловодск Ревекка Сауловна настояла, чтобы я обязательно дождалась Льва Наумовича. Лев Наумович очень хорошо помнил моих родителей... впоследствии он нашел для меня фотографию моего отца с дарственной надписью дяде Нахману от 15 января 1901 года... Познакомилась я тогда с Шикой, а вернувшись в Кишинев — с его родителями и Кларой; Клара мне показала фотографию твоих бабушки и дедушки с юным еще очень Львом Наумовичем. ...Ревекка Сауловна рассказала о своей командировке в США, и что там она посетила двоюродных сестер и братьев Льва Наумовича — детей дяди Иосифа. Вот это то, очень немногое, что я знаю о прошлом, которое тебя интересует*".

О мамином аресте и заключении. В воспоминаниях о Б. Л. Пастернаке Миша коснулся истории маминого ареста и заключения. Более подробно об этом говорится в мамином заявлении на имя председателя Верховного Суда от 7 мая 1954 года, когда мама была освобождена, но еще не реабилитирована[18].

Как я узнал из маминого следственного дела, зная о предстоящем погроме в Институте мирового хозяйства и мировой политики, "она в 1945 году ушла с должности зам. директора Института по ряду причин, одной из которых является

[18] Текст заявления приведен в разделе "Документы жизни".

то, что она не хотела своими руками увольнять из института лиц еврейской национальности. Уже в 1947 году встал вопрос о переаттестации отдельных сотрудников Академии наук СССР и тогда же Левина не только показала свое пристрастное отношение к судьбам научных сотрудников еврейской национальности, а и предпринимала практические шаги к сохранению связанных с ней узами дружбы старых кадров". ("Заключение по архивно-следственному делу на Левину Р. С. от 8.09.1953", листы дела 198–202).

Находясь в заключении, мама перенесла инфаркт и инсульт, у нее развились слуховые галлюцинации: ей казалось, что она слышит голоса папы и Миши, которые находятся в соседней камере. После освобождения галлюцинации прекратились. После вынесения приговора она почти все время находилась во Владимирской тюрьме и только несколько последних месяцев — в Казанской тюремной больнице. После освобождения и реабилитации мама часто болела, у нее было несколько микроинсультов, а в 1959 году наступил паралич с потерей речи, после которого она уже не встала. Умерла мама 18 декабря 1964 года.

О папином знакомстве с В. Т. Шаламовым. Папин некролог (см. в разделе "Документы жизни"), конечно, дает о нем представление, но очень формальное и неполное. В последние 10 лет жизни взгляды отца сильно изменились, хотя что-то от прежних идеалов и осталось (Сталина он не любил и не верил ему всегда). В Рязани отец был знаком с А. И. Солженицыным, и А. И. давал ему читать свои ненапечатанные произведения. Был знаком он и с В. Т. Шаламовым. У папиной вдовы Ларисы Александровны Марченко сохранился подаренный папе сборник стихов Шаламова с его дарственной надписью.

В журнале "Звезда" (1993, №5, с. 163–173) напечатана подборка писем В. Т. Шаламова его близкому другу Я. Д. Гродзенскому, жившему тогда в Рязани. С Гродзенским отец был хорошо знаком, а через него познакомился и с Шаламовым. В этих письмах папа упоминается несколько раз, а один раз там говорится и о Мише, в письме от 27 июня 1968 года (№15): "Если увидишь Солженицына — передай ему привет. Карлику тоже. Я видел его сына недавно — в то время, когда отец отмечал 70-летие". Скорее всего, он мог видеть Мишу у Н. Я. Мандельштам.

У Шаламова был паркинсонизм — следствие многих лет колымских лагерей, и иногда в метро и на улицах его принимали за пьяного. Папа написал ему медицинскую справку, где понятным милиции языком говорилось, что это болезнь. В письме от 8 декабря 1970 года (№20) Шаламов пишет: "Сердечно благодарю за срочную помощь и прошу выразить все мои благодарности Льву Наумовичу, хотя у меня с ним разные мнения о путях прогрессивного человечества. Но — разве в этом дело. Медицинская справка — текст профессора Карлика — в высшей степени улучшила мой проект — и уже применялась в объяснениях с водителями троллейбусов, — ибо те имеют те же задания, что и милиция и служащие метро. Собственноручная профессорская установка приводит их в состояние глубокого благоговения".

Конец самого последнего письма (№22, 7 янв. 1971), полученного Я. Д. Гродзенским за несколько дней до смерти: "Карточка Н. Е.[19] и проф. Карлика дает

[19] Н. Е. — Нина Евгеньевна Карновская, врач, жена Я. Д. Гродзенского.

мне необходимую уверенность. Но даже вчера вечером пришлось ее предъявлять прохожему. Сердечный привет Н. Е. и профессору Карлику. В."

Я высоко ценю Шаламова как писателя и человека, и мне было приятно это прочесть. Думаю, что Мишина реакция была бы такой же. Кстати, именно Миша дал мне когда-то прочитать напечатанные на машинке "Колымские рассказы" Шаламова.

Приложение

Письмо В. Т. Шаламова Л. Н. Карлику

Москва, 24 мая 1965

Дорогой Лев Наумович!

Позвольте отблагодарить Вас за столь неожиданный — и незаслуженный мной — подарок, книжку о Клоде Бернаре. Я очень, очень рад, что Вам понравились мои стихи и мои прозаические опыты (их лишь приближенно можно назвать рассказами). Верно и замечание Ваше о "медицинской деятельности, которая не может не оставить следа..." Хотя писательские наблюдения по своей психологической природе и непохожи на ту медицину наблюдения, о которой писал Клод Бернар, тем не менее формула точных знаний входит важным элементом в принципы работы над рассказом. Не та, сознательная организация рассказа в виде монтажа разного рода "документов", вкрапление в текст газетных заголовков и т. п. — а основанная на точном знании, ясно и уверенно произносимая фраза. Я думаю, что усвоенное мной на фельдшерских курсах имело большее значение (в смысле не только литературных находок, но и писательского лица), чем образование, полученное на юридическом факультете. Кроме того, фельдшерские курсы дали мне независимость — непременное условие всякой писательской деятельности.

И еще: по моему глубокому убеждению писатель не должен иметь литературного образования. Литературное образование может только изуродовать мир, испортить почерк, заглушить собственный голос. Нужные литературные знания должны приобретаться "самотеком".

Наконец — третье. У меня много писательских писем, вернее, писем писателей. И всякий раз я читаю похвалы профессионалов как профессиональные похвалы. Всегда думаешь — что стоит за строчками? Не продиктовано ли письмо какимнибудь желанием, далеким от искусства? Не хвалят ли петуха затем, чтобы он похвалил кукушку? Не слышится ли в письме голос футбольного болельщика? Нынче любой мемуар служит этой недостойной цели. Тут дело не в том, что Толстой ругал Шекспира и хвалил Семенова, а в неискренней оценке, продиктованной желанием "привлечь", "завербовать" и т. д.

Ни в одном писательском письме я не нашел нелицеприятной критики (кроме писем одного ныне умершего поэта, которому я не успел показать свою прозу).

Вот видите, как глубоки пласты, тронутые Вашим письмом.

Я очень благодарен Я. Д. Гродзенскому (это мой старый товарищ еще доуниверситетских времен, человек, которого я бесконечно уважаю) за то, что он познакомил Вас с моей скромной работой.

С сердечным уважением В. Шаламов

Л. З. Копелев

МУДРОСТЬ, ПЕЧАЛЬ И МУЖЕСТВО

Зимой, в конце 1958-го или в начале 1959 года, молодой, но уже известный ученый-лингвист Вячеслав Всеволодович Иванов прочитал мне стихотворение, своеобразную двухэтажную эпиграмму.

Когда после присуждения Нобелевской премии Борису Пастернаку началась исступленная травля поэта в газетах, на собраниях, в ней приняли участие некоторые литераторы, еще недавно гордившиеся знакомством с Пастернаком. Эпиграфом к этому стихотворению служили две цитаты:

"...всех учителей моих –
От Пушкина до Пастернака"

(И. Сельвинский)

"Человечье упустил я счастье:
Не забил ни одного гвоздя"

(И. Сельвинский)

И за этим следовали четыре строки:

"Все миновало: слава и опала,
Остались зависть и тупая злость;
Когда толпа учителя распяла,
Пришли и Вы забить свой первый гвоздь".

На вопрос об авторе Вячеслав Всеволодович отвечал, что сочинил не он и не профессиональный литератор, а ученый-естественник, необычайно умный и талантливый человек.

Расспрашивать в таких случаях тогда не полагалось. "Эпоха позднего реабилитанса" выражалась не только в более или менее красноречивых, но умеренных осуждениях "культа личности"; после разоблачительной речи Хрущева на съезде партии в феврале 1956 года бдительные чекисты продолжали неутомимо держать и не пущать "идеологических диверсантов", "ревизионистов-антисоветчиков". В МГУ было арестовано несколько студентов-историков, убежденных марксистов-ленинцев, которые организовали кружок по изучению истории партии, чтобы помогать "преодолению культа личности".

Нобелевская премия Пастернаку вызвала такую бешеную ярость в коридорах верховной власти, которая многим казалась просто необъяснимой, непонят-

ной. О великом, всемирно прославленном поэте говорил председатель КГБ — т. е. министр тайной полиции — публично, в присутствии главы государства, Хрущева, как сварливый полуграмотный склочник на коммунальной кухне или в трамвае. Вячеслава Иванова отстранили от работы в университете и лишили возможности участвовать в международных научных конференциях потому, что он оставался другом Пастернака. Тогда многие считали, что именно он сочинил разяще меткую эпиграмму и отрицает это не из страха перед новыми преследованиями, а потому, что его родители издавна дружны с семьей Сельвинских.

Но вскоре я познакомился с "действительным" автором. Не помню, где именно впервые я пожал руку Миши Левина — в доме Ивановых, Литвиновых или в мастерской Бориса Биргера, но уже в середине 60-х годов и Рая, и я воспринимали Мишу как давнего близкого друга, с которым делишь все горести и радости.

Он был замечательным собеседником, понимающим с полуслова, остроумным, проницательным. Но он редко и мало говорил о себе. Мы знали, что он был арестован, изведал тюрьму и ссылку. Но лишь от его "подельников" мы узнали, что на следствии (1944–1945) он вел себя необычайно доблестно и умно. Ему удалось даже следователям доказать абсурдность их обвинений в терроризме. Арестованные вместе с ним сыновья репрессированных старых большевиков то ли под пытками, то ли от отчаяния "признавались", что хотели убить Сталина, и подписывали фантастические протоколы допросов.

О том, что Миша был однокашником и другом А. Д. Сахарова, мы узнали тоже не от него, а от Андрея Дмитриевича, который говорил, что Миша — не только один из самых талантливых физиков, "но вообще мудрый и душевный человек".

Когда Сахарова сослали, Мише удалось с ним несколько раз встретиться, пользуясь, как он говорил, "своим служебным положением". Он был знаком с руководящими работниками горьковского Института прикладной физики и добывал в своем московском институте официальную командировку в Горький. Там он в заранее точно определенное время "случайно" встречал Андрея Дмитриевича на людной улице. Они гуляли, сопровождаемые озлобленными и растерянными "топтунами", которые не решались подступиться. У Миши, конечно, проверяли документы и сообщали его московскому начальству. На все расспросы он отвечал, как обычно, спокойно, добродушно и "наивно", что не понимает, почему его встреча с коллегой-физиком, старым товарищем по институту, который стал великим ученым, чьи знания, опыт, советы драгоценны для каждого физика, так смущает сотрудников государственной безопасности.

Когда нам приходилось трудно, когда по телефону снова и снова нам обещали "уничтожить гадов", а потом отключили злополучный телефон, когда нас исключали из Союза писателей, "неизвестные хулиганы" били нам окна, меня поносили в "Советской России", всякий раз Миша приходил, и его мудрое спокойствие и неизменное чувство юмора, его письма, даже иногда только веселые короткие записки и лихие стихотворные послания всегда помогали, ободряли и успокаивали. Он писал нам в Кельн. Сейчас мне очень недостает его. И всегда будет недоставать.

Кельн, июнь 1994

В. С. Фрид

О НЕМ, НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ

Взявшись рассказывать о близком человеке, о своих отношениях с ним, хочешь-не-хочешь, а нарисуешь и автопортрет. (Положительный пример из недавних — М. Л. Левин в своих прекрасных "Прогулках с Пушкиным"; отрицательный — пакостные заметки Коры Дробанцевой о Л. Д. Ландау[1]).

Наверное, и мне не спрятаться в тени Михаила Львовича, Мишки Левина, друга моего детства и всей жизни. Но постараюсь писать попроще, как бог на душу положит — без прикрас и, по возможности, без умолчаний.

Познакомились мы довольно давно, году в тридцать четвертом. Был под Звенигородом детский санаторий "Поречье", которым ведала КСУ — Комиссия содействия ученым. Собственно, это был не санаторий, а образцовый пионерский лагерь с очень приличной кормежкой, с медпунктом и богатой библиотекой, с двумя физруками, с площадкой, где дети ученых азартно и неумело гоняли футбольный мяч. Дети ученых — это не совсем точно. Были там и писательские отпрыски, и чекистские, и историко-революционные, как, например, очень славная девчонка Валя Антонова-Овсеенко. (Даже теннисный корт у нас был!)

Но главное из приятных воспоминаний тех лет (не годов, а именно лет: мы с Мишей ездили туда три или четыре лета подряд) — это воспитательница Татьяна Ивановна, Танчик-Ванчик — тридцатилетняя женщина с прелестным грустным лицом. Она была, что называется, педагог божьей милостью — чуткая, мягкая, доброжелательная.

После отбоя Танчик приходила в большую армейскую палатку, где жили старшие, и без труда прекращала безобразия (не очень большие: просто кидались подушками). Она присаживалась на край койки и рассказывала нам что-нибудь на сон грядущий — вместо колыбельной.

Чаще всего Танчик пересказывала приключенческие книжки и делала это артистически. Даже пьеса-памфлет в стихах — кажется, Сельвинского и, кажется, "Пао-Вао", что-то в этом роде, об обезьяне с человеческим интеллектом — в ее пересказе превращалась в увлекательный научно-фантастический роман.

Я так много пишу о Татьяне Ивановне, потому что мы — Мишка и я — вспоминали ее с нежностью и благодарностью каждый раз, когда разговор заходил о детстве. А чем старше мы становились, тем чаще возвращались

[1] Газета "Вечерний клуб", 1992, 24 октября.

памятью в те безмятежные годы. Хотя... Как мне теперь кажется — и с ним мы об этом тоже говорили — такой интеллигентный состав воспитателей и сотрудников "Поречья" объясняется тем, что под Звенигородом, не так уж далеко, но все-таки в отдалении от Москвы, предпочитали пересидеть опасные времена обладатели сомнительных, с точки зрения НКВД, биографий. И Танчик с ее немецкой фамилией (Мишка помнил, а я забыл — что-то с окончанием на "ль"), и ее младшая сестра по прозвищу Рыбка, и рослый "физкультурник" с дореволюционной офицерской выправкой, которого мы звали (за глаза, конечно) Жирафом, — все они, вполне возможно, были "из бывших". Но тогда это нам и в голову не приходило. Веселились, валяли дурака, сочиняли и распевали глупые "цимляля" — двустрочные частушки с припевом после каждой строчки "цим-ля-ля, цим-ля-ля!" Например:

Малахольный Валя Фрид, цим-ля-ля, цим-ля-ля,
От девчат всегда бежит, цим-ля-ля, цим-ля-ля!

А я, и правда, был тогда застенчив и стеснителен. Кто теперь поверит?

Друг другу мы придумывали клички — как правило, не обидные. Исключениями были тощий Сережа Стечкин, Глиста, и Яшка Колли, которого просто по созвучию с именем прозвали Ишаком. А Миша Левин, уже тогда всеобщий любимец, эрудит и третейский судья во всех спорах (он даже знал, кто в кого превращается — аксолотль в амбистому или наоборот!) — Миша получил прозвище Папа. Почему — не помню; может быть, из-за сходства с папой римским Пием, чья очкастая круглая физиономия нам знакома была по красивым испанским маркам и по карикатурам Бориса Ефимова. Меня звали Холя (Валерик-Холерик; близко лежит), Инну Каринцеву — Сабор, как львицу из "Тарзана", монументального Костю Люстгартена — Мамонт, Левку Серебровского — Мопс (и правда, похож мордочкой), Серегу Петерсона — Горилла и т. д.

Ни кастовости, ни зазнайства, ни — упаси боже! — национальной розни у нас и в помине не было. Со всеми ребятами были прекрасные отношения; каждое следующее лето мы встречались в Поречье радостно, как давно не видевшиеся родственники — но на зиму дружба прерывалась. А вот с Мишкой мне не захотелось расставаться осенью. Мы и не расстались.

Жили мы недалеко друг от друга и часто "обменивались визитами". Визиты эти, с точки зрения родителей, протекали довольно странно: с книжками в руках мы садились в разных углах комнаты и погружались в чтение — самое любимое из занятий. Проживал Миша с родителями и дедом на Никитской, в доме, где был "Унион", ставший впоследствии кинотеатром повторного фильма. В большой и не очень ухоженной их квартире имелось множество книг — в том числе дополненный Бодуэном де Куртенэ словарь Даля, в котором, как сообщил мне Мишка, есть все матерные слова — даже такие, которых мы не знаем.

Другой достопримечательностью была "Виктрола" — граммофон со странным звуковоспроизводящим устройством: не трубой и не мембраной, а медной полусферой, вроде опрокинутого котелка. Вместе с набором пластинок ее привез из Маньчжурии дед-харбинец. Мы с удовольствием слушали старинные русские марши "Тоска по родине" и "Порт-Артур". А также "Катю-Катюшу купеческую

дочь" на английском языке:

My sweet Katinka, oh, where could she be?
I loved her so, How could she go... и т. д.

В отличие от меня Миша уже тогда читал серьезные книги и охотно делился со мною вычитанными сведениями. Если бы не он, не знал бы я не совсем пристойных эпиграмм Пушкина, не слышал бы — задолго до фильма — про леди Гамильтон, не читал бы Пастернака. И теперь, когда я, щеголяя эрудицией, пускаю пыль в глаза молодым ребятам на сценарных курсах — они не ведают, что все это "крохи со стола Гомера", то есть с Мишкиного.

Вот чего я не перенял от него, так это увлечения физикой. Детекторные приемники, которые он мастерил у себя дома, остались для меня такой же непостижимой материей, как школьный курс тригонометрии. Миша пробовал натаскивать меня, помогал делать уроки, но вскоре отступился, поняв бессмысленность этих занятий.

Выйдя из пионерского возраста, мы перестали ездить в Поречье. Но и тут нам подфартило: оказалось, что лето по-прежнему будем проводить вместе. Я с родителями жил на даче в Краскове, а Мишина мать, Ревекка Сауловна, член-корреспондент Академии наук, получила в пользование дачу в Кратове. От Краскова до Кратова километров двенадцать. Мы ездили друг к другу в гости на велосипедах.

Кратовская эта дача заслуживает отдельного разговора. До Ревекки Сауловны она принадлежала какому-то большому чекистскому чину, кажется, начальнику ГУЛАГа. Его в 37-м или 38-м посадили, а дача в первозданном виде перешла к новым хозяевам.

В первый же приезд Мишка обратил мое внимание на ставни: они были сделаны из толстого дюраля и запирались изнутри. Ни на ставнях, ни на дверях не было наружных ручек. Даже стол во дворе был железный, врытый в землю. Ощущение создавалось такое, будто прежний владелец каждый день ожидал массированной атаки и готовился к осаде. Кого он боялся — блатных? Шпионов? Диверсантов? Не знаю. Но против своих чекистская крепость не устояла...

С этой дачей связано и более веселое воспоминание. Однажды мы с Ю. Дунским заявились туда нагруженные, как верблюды. Раскладушка, тюфяк, чемодан, расписная граммофонная труба — все это мы приволокли из Москвы, не поленились. И только для того, чтобы прямо от калитки прокричать хором:

— Мы к вам пришли навеки поселиться![2]

Поселяться мы не собирались, задача была совсем другая: испугать и смутить хозяев — для смеха. Кого-то из старших, возможно, и испугали, но не Мишку. Но и смеха особого не получилось.

Как-то само собой вышло, что Миша стал непременным членом моей школьной компании и очень подружился с Монькой Коганом и Витей Шейнбергом, а особенно — с Юликом Дунским. Полюбили Мишку и наши родители. Правда, в этом была и неприятная сторона. Дело в том, что и Юлик, и я учились кое-как, преуспевая только в гуманитарных дисциплинах — литературе, ис-

[2] Знаменитая фраза Васисуалия Лоханкина из "Золотого теленка" — библии нашего детства.

тории, географии. А Миша, который и эти предметы знал лучше нас, блистал успехами в математике, физике и химии. И родители вечно ставили его в пример нам: "А вот Миша... А вот у Миши..." Как мы его не возненавидели — до сих пор удивляюсь! Он ведь и шуточные стихи сочинял лучше нас, и острил смешнее.

Свою зависть и злобу мы выплеснули на страницы пьесы из школьной жизни (начатой в девятом классе, но до конца так и не дописанной). Там был персонаж по имени Миша Левин. На сцене он ни разу не появился, но учителя и родители то и дело поминали его как пример для подражания остальным героям: "А вот Миша Левин... А вот у Миши Левина..." и т. д.

Впрочем, кое-что мы сочиняли и в соавторстве с прототипом этого малосимпатичного персонажа. От Мишки я узнал про "Парнас дыбом" — сборник пародий на "козлов" и "Веверлеев". И мы вдвоем решили потягаться с авторами — тогда анонимными — этих смешных стихов.

Не скажу, что получилось лучше, чем у них. Вместо "серенького козлика" мы взяли за основу всем известную скороговорку: "Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку греку — цап!" И попробовали представить, как написали бы об этом Крылов, А. К. Толстой, Маяковский и Уткин, автор "Поэмы о рыжем Мотэле". В памяти у меня сохранились только отдельные строчки — что само по себе свидетельствует о невысоком уровне нашего совместного творчества. Для наглядности приведу их: "Какой-то армянин, а может быть и грек, но достоподлинно восточный человек из дальних странствий возвращался..." (Это, ясное дело, "под Крылова"). Из пародии на Толстого помню всего одну фразу: "Дороден был рак, грек измученный пал". А из Уткина: "Никогда не везет еврею, даже если он грек".

Но вот другой наш опус я вспоминаю с удовольствием. Тут надо сказать, что мой отец, доктор С. М. Фрид, в годы гражданской войны сочинял так называемые "народные лекции в стихах" — про сыпной тиф, про бытовой сифилис. Мы с Мишей Левиным непочтительно раскритиковали эти лекции, указав автору на неуклюжие обороты и никудышные рифмы, например:

"А беззубый дед Кузьмич
Приказал уж долго жить".

Отец обиделся, стал оправдываться тем, что написал свой "Бич деревни" (про сифилис) всего за неделю. И мы поспорили — не помню уж, на что, — что за три часа напишем больше и лучше. Удалились в другую комнату и через три часа действительно принесли довольно объемистую поэму под названием "Любовь моряка". В ней рассказывалось, как моряк Сема (тезка Семена Марковича) подцепил в сингапурском борделе гонорею и что из этого вышло.

Дней примерно через пять
Начал Сема замечать,
Что неладное творится:
Он не может помочиться,
Неприятное колотье
У него под крайней плотью
И обильный желтый гной.
Сема стал совсем больной...

Поначалу Сему лечил — ненаучным методом — корабельный кок. Это не помогло, пришлось обратиться к лекпому. Тот, разумеется, осудил Семину самодеятельность:

Понимает ли ваш кок,
Что такое гонококк?
Почитай, что говорит
О таких болезнях Фрид —
Знаменитый венеролог,
Также микро он биолог!

Этой строчкой — также микро он биолог — мы особенно гордились; придумал ее Мишка.

К чести Семена Марковича, он великодушно признал свое поражение.

Завоевывать симпатии и ребят, и взрослых Миша ухитрялся, не прилагая к тому никаких усилий. Приведу пример.

В девятом классе я влюбился в восьмиклассницу по имени Валя Фриц — и даже отважился признаться ей в любви. Это было второе признание в моей жизни; первое я сделал в детском саду, но развития тот роман не получил. Впрочем, как и этот. А виноват был Мишка: накануне я познакомил его с Валей, и она сразу влюбилась в него. Он-то об этом даже не узнал, но мне было не легче. Валя Фриц предложила мне свою дружбу, а я, три раза смотревший "Дни Турбиных", уже понимал, что, когда вместо любви предлагают дружбу, дело плохо...

Мы еще продолжали учиться в школе, а Миша Левин успел перейти на третий курс физфака, хотя был всего на год старше нас. Нашей дружбе социальное неравенство не вредило. А когда мы с Юликом поступили во ВГИК, Мишанька стал ходить вместе с нами на учебные просмотры. Это ведь было время, когда в прокат заграничные фильмы практически не попадали. "Большой вальс", две чаплинские картины, три с Франческой Гааль, "Под крышами Парижа" — вот, по-моему, и весь западный репертуар на московских экранах за десять лет звукового кино. (В немую-то эпоху иностранные фильмы шли повсюду).

А во ВГИКе кое-какие картины были: в основном, трофейные, захваченные во время польской кампании 39-го года или вывезенные из Прибалтики.

Но наступил 1941 год, и война разбросала нас в разные стороны. Правда, когда в октябре сорок первого начался "драп нах остен", как называли остряки массовую эвакуацию, мне до смерти захотелось повидаться с Мишкой. Удирал я из Москвы, прибившись к какому-то случайному эшелону, и вот на одной из станций увидел поезд "Москва — Казань". А я знал, что Миша с родителями сейчас в Казани. Попрощавшись с соседями по теплушке, я пересел на подножку казанского поезда — дверь была закрыта. Впрочем, часа через два кто-то из пассажиров впустил меня в вагон.

В Казани я без труда разыскал Левиных: все знали, где живут академики. (Не знаю, быль или легенда; говорят, что когда президент Академии наук благодарил казанские власти за гостеприимство, он свою речь закончил так: "А ведь незваный гость хуже татарина!")

У Миши я переночевал, досыта наговорился с ним и с его родителями — было о чем поговорить! Ведь в те дни нельзя было ручаться даже, что немцы не войдут в Москву... Напоследок я накормил паюсной икрой Ваську — так Мишка называл младшего брата, трехлетнего Володю — и двинулся дальше. Академия тоже готовилась к дороге, ее переводили в Ташкент.

В Куйбышеве я случайно встретил вгиковских ребят и с ними вместе отправился в Алма-Ату: туда эвакуировался наш институт. А на станции Арысь — еще одна случайность. Углядев поезд "Казань — Ташкент", я сказал наугад: "Этим поездом едет в Ташкент мой друг Миша Левин!" И не успел докончить фразу, как увидел Ревекку Сауловну; действительно, все их семейство было тут. Таких случайных встреч было тогда до неправдоподобия много: ведь почти весь поток эвакуации тек на восток по одному руслу... Завидев меня, маленький Васька вместо "здравствуй" сказал: "А икра у тебя есть?" Икры уже не было.

Изо всех моих свиданий с Мишкой это было самым коротким. Через час состав тронулся, и мы снова расстались — как оказалось, ровно на два года.

Осенью 1943 года ВГИК вернулся в Москву. А Миша приехал из Ташкента еще раньше. Он кончал университет и одновременно работал у М. А. Леонтовича, о котором рассказывал с восторгом.

При всей занятости Мишка находил время, чтобы видеться с нами. Он познакомил нас со своими новыми друзьями и подругами: доктором физико-математических наук Наумом Мейманом, которого он — а с его легкой руки и мы — называл Догом (доктор — док — дог), с офицером Женей Пастернаком, с Ирой Ракобольской — университетской девушкой, ставшей в войну начальником штаба женского полка ночных бомбардировщиков, с Таней Ива́новой, не Ивано́вой, а именно Ива́новой, дочерью Всеволода.

Публика разнокалиберная; но каждый и каждая из них были чем-нибудь примечательны: девушка-летчица, блестящий молодой математик, сын великого поэта, дочь знаменитого писателя. На Татьяне, красивой, ироничной, знающей кучу языков, Мишка даже женился. Но вскоре развелся — точнее, она с ним развелась. Отмечу, что и тогда, и потом Миша Левин тянулся к людям ярким, заметным. В этом можно было бы усмотреть что-то вроде безобидного снобизма, если б не одно обстоятельство: сам он и в юности, и в зрелом возрасте был не менее интересен своим знаменитым знакомым, чем они ему.

Среди тогдашних его приятельниц была и ничем особенно не выделявшаяся студентка СТАНКИНа, станко-инструментального института, Нина Ермакова. Это теперь я пишу "ничем не выделявшаяся". А тогда-то я думал совсем не так и влюбился в Нину с первого (нет, все-таки со второго) взгляда. Вместе с Мишей она легко влилась в нашу компанию.

Состояла компания из ребят, с которыми Юлик и я знакомы были с детства. Вернувшись из Алма-Аты, мы с удовольствием обнаружили, что в Москве наши одноклассники Лешка Сухов и Моня Коган, Володя Сулимов, пришедший с фронта после тяжелого ранения, его жена Лена Бубнова и Шурик Гуревич. Этого и Мишка знал — по "Поречью". Стали встречаться — болтали, играли в очко, пили чай с сахарином, а иногда и водку. Собирались чаще всего у меня в Столешниковом, благо родители еще не вернулись из эвакуации и вся квартира была в нашем распоряжении.

Знакомство с Сулимовым и Бубновой обернулось для всех нас — да и для них самих — недобром. Лена была дочерью наркома просвещения, видного большевика; сулимовский отец тоже занимал какой-то важный пост в Наркомате обороны. В ежовщину обоих расстреляли. Вполне естественно, что и Володька, и Лена были под колпаком у "органов". За ними велась тайная слежка, все их встречи "фиксировались", а разговоры по возможности подслушивались. Возможность была: в квартире Сулимовых за тонкой стенкой жило чекистское семейство — вселили после ареста Володиного отца.

Довольно невинной болтовни оказалось достаточно, чтобы превратить нашу компанию в "молодежную антисоветскую группу" и приписать нам "террористические намерения в отношении главы советского правительства и партии", то есть Сталина. (О том, что мы антисоветская группа и террористы, нам стало известно уже на Лубянке, после ареста).

Миша Левин, самый занятой из нас, бывал в гостях реже других: он ведь и учился, и работал, а мы бездельничали, даже в институт не ходили неделями. Поэтому Мишку взяли позже нас — не в апреле, а в июле. Конечно, он чувствовал, что чаша сия его не минует, и внутренне подготовился. Поэтому и вел себя на следствии получше: например, не признал обвинения в терроре, почему и получил срок куда короче, чем мы.

Много лет спустя он рассказал нам с Юликом, что один из его друзей, Дима Линде, после нашего ареста говорил: "Если б мы жили во времена декабристов, мы бы уже рыли подкоп под Лубянку". Пишу об этом с благодарностью и уважением к Диме. Но времена были не те...

По окончании следствия мы все разъехались по разным маршрутам. Правда, перед этим встретились в Бутырках и прожили месяца полтора в "церкви", пересыльном корпусе. Мишка ни словом, ни взглядом не попрекнул никого — а ведь мог бы, это из-за нас он погорел.

Из "церкви" Мишу взяли на этап раньше других — как оказалось, в "шарагу". Мы же с Юликом Дунским попали в разные лагеря, что было в порядке вещей: начальство не любило собирать однодельцев в одном месте. Мы расстались — думали, что навсегда, а получилось, что только на пять лет. На шестой год судьба не без помощи А. Я. Каплера свела нас на 3-м лаготделении Минлага, режимного лагеря для особо опасных преступников. Отбыв свой червонец и выйдя из зоны, мы дали подписку, что не убежим, и остались в Инте на вечном поселении.

Это было в 1954 году. И в том же году к нам приехал Мишка, приехал свободным человеком, привез подарки — фотоаппарат и пишущую машинку с символическим названием "Москва". Этим он как бы выражал уверенность в том, что мы вернемся и станем писателями.

Мы были настроены не так оптимистично, но сделали ответный подарок: рассказ из лагерной жизни, написанный на фене, блатном языке. Посвящен рассказ был Мишаньке Левину. Мы, конечно, и думать не думали, что такое когда-нибудь напечатают. А вот ведь напечатали в этом году — с Мишкиным предисловием и с посвящением ему[3]. Только сам он месяца не дожил до выхода журнала.

---

[3] Журнал "Киносценарии", 1992, №3.

Ничья смерть, после самоубийства Юлика Дунского, не пробила такой бреши в моей жизни, как Мишина.

Если бы надо было выделить, какие чувства главные в моем отношении к нему, я б назвал, наверно, благодарность и восхищение. Он ухитрялся быть рядом именно тогда, когда был нужен; в трудные минуты чужой жизни куда девалась его ирония? На смену приходили нежность и заботливость.

А вообще-то он был одним из самых сложных и интересных людей, которых я встречал. Да что там говорить! Один только маленький пример: доктор физико-математических наук записывает — просто так, для себя — соображения о том, как надо трактовать некое темное место у Шекспира. И шекспироведческий журнал в Англии с радостной готовностью печатает эти заметки... А его блестящие стихотворные стилизации и парафразы?!

Но не об этом я хотел написать. Я не стал даже писать о том, как мы встретились в Москве после реабилитации, как опекали нас Мишка с женой Наташей и вся семья Леонтовичей — даже жилье мы построили на одолженные у них деньги. (Не в первый раз: в Инте Мишка заплатил за хибару, в которой мы жили на поселении — два года вместо вечности).

О послелагерных годах его жизни знают многие, и многие напишут об этом лучше меня. А мне хотелось рассказать о давних временах, о вещах, про которые мало кто помнит — кроме меня.

Приложение 1

М. Левин, В. Фрид

Пародии на тему:

Ехал грека через реку,
Видит грека в реке рак.
Сунул грека руку в реку —
Рак за руку греку цап.

И. А. Крылов

Какой-то Армянин, а может быть и Грек,
Но достоподлинно восточный человек,
Из дальних странствий возвращался.
И приключилась с ним негаданна беда:
Завез ямщик его неведомо куда,
А он мечтой давно уже о трапезе прельщался.
Идут. Тут очутись пред путником Река,
И хоть была она порядком широка,
Решил наш Грек перебираться бродом;
И вот пред всем честным народом
Снимает панталоны он и фрак,
Ступает в воду, видит — Рак!

Что Раки вкусны — всем известно,
И Грек решил, что Рака изловить
И на обед его сварить
Весьма разумно будет и уместно.
Ужо тебе! — с угрозою он рек.
Но только руку в Реку сунул Грек,—
Как Рак клешней зажал ее пребольно.
Бедняга издал вопль невольно
И тотчас Рака отпустил,
А оного и след простыл.

Мораль сей басни: ежели вы Греки —
Не суйте рук в чужие реки!

А. С. Пушкин

Герой мой самых честных правил,
Призваньем повар, родом грек,
На лоно вод речных направил
Свой прозаический набег.
Стремясь поймать на ужин рака,
Он под ночным покровом мрака
Залег в засаде над рекой.
И вот уж трепетной рукой
Схватил усатого урода...
Но рак, собрав остаток сил,
Злодею палец откусил
И с ним ушел обратно в воду.
А грек беспалый ныне франт,
Игрок и гвардии сержант!

А. К. Толстой

Владычеству Ольгову близок конец:
Грек двинул войска от Царьграда.
В пути догоняет усталый гонец.
Ой ладо, ой ладушки-ладо!

Посланье гласит: возвращайся ко мне,
Утеха моя и услада!
Виденье недоброе было во сне...
Ой ладо, ой ладушки-ладо!

Но голосу вещему грек не внимал,
Его обуяла досада:
Испить из Днепра он шеломом желал.
Ой ладо, ой ладушки-ладо!

Вот Днепр перед ним. Дерзновенный эллин
Вкушает речную прохладу...
Вдруг рак выплывает из страшных глубин.
Ой ладо, ой ладушки-ладо!

Но чудища злобного грек не видал —
Оно навалилося сзаду.
Дороден был рак, грек измученный пал!
Ой ладо, ой ладушки-ладо!

Окончена песня дедовских времен.
Хотя и немного в ней складу —
Кто смысл угадает, тот, знать, и умен.
Ой ладо, ой ладушки-ладо!

Александр Блок

Туман тяжелый,
Белый снег...
Что нынче невеселый,
Товарищ грек?

В глухом саду, в пруду заброшенном,
Под сенью илистых коряг,
Лохматый, злобный и взъерошенный
Неска́занный томится рак.
И медленно хвостами двигая,
Над раком окуни плывут.
А он, отягощен веригою,
Не покидает свой приют.

Многомиллионный держите шаг!
Неугомонный не дремлет рак!

Над озером скрипят уключины:
То, покидая синий брег,
Постом полунощным измученный,
Явился из тумана грек.
И каждый вечер в час назначенный
Он мутит воду жадной дланью...
Священным трепетом охваченный,
Внимает рак его желаньям...

Шаг держи многомиллионный!
Рак не дремлет неугомонный!

И кто поймет души излучины...
Над озером раздался крик,
А в небе ко всему приученный
Бессмысленный кривился лик.

Таинственным страхом объятый,
Грек понял значенье всего...
Рак в тину ушел без возврата...
Да святится имя его!

Иосиф Уткин

Никогда не везет еврею...
Даже когда он грек!
Ну, и если нет сельдерею,
Так прикажете кушать... снег?

У Андрокла восемь деток!
И все они смотрят в рот:
Может, какой ошметок
Каждому перепадет?

Греки — они эллины,
И мифов про них не счесть,
Но свои раввины
У них все-таки есть!

И сказал Андроклу ребе:
"Послушай, старый дурак,
Зачем тебе думать о хлебе,
Если в речке плавает рак!"

На безрыбье и рак рыба,
А рыба — уже обед!
И Андрокл сказал "спасибо"
Ребе за совет.

А наутро, раздевшись голым,
Оставив жене лапсердак,
Он отправился с балаголой
К речке, где жил рак.

Соседи над ним куражатся,
И хоть он вовсе не трус,
Но Андроклу уже кажется,
Что у рака длиннее ус...

Жил рак ни с кем не ссорясь,
Но когда пришла беда...
Закричал Андроклу: "Цорес!"
И эллины сказали: "Да".

Творцу не пристало гордиться,
Но — другим не в укор —
Скажу, что эта вещица
Кормит меня до сих пор.

Приложение 2

Эпизоды из воспоминаний В. С. Фрида "58 1/2"*

...К вечеру меня и остальных развели по камерам. От первой из Бутырских камер у меня в памяти никаких ярких впечатлений не осталось... Пробыл я там два дня, ни с кем не успев толком познакомиться, и был переведен в "церковь". Так назывался пересыльный корпус Бутырской тюрьмы, куда собирали всех, получивших сроки от Особого совещания, народных судов и военных трибуналов. До революции это действительно была тюремная церковь. В связи с требованиями нового времени ее перестроили, уложили перекрытия и на двух или трех этажах разместили очень просторные камеры.

Впрочем, просторными они были по замыслу тюремных архитекторов; а в мое время камеру, рассчитанную на пятьдесят человек, населяло сотни полторы арестантов. Взамен коек были сплошные нары, но все равно места на всех не хватало, многие спали под нарами, на полу.

Не успел я хорошенько оглядеться в своем новом узилище, как дверь с грохотом открылась, и в камеру, к великой моей радости, запустили Мишку Левина и Лешку Сухова. А чуть погодя — еще троих однодельцев: Юлика, Шурика Гуревича и Рыбца — Виктора Левенштейна.

Завидев его, в углу — самом удобном месте камеры — поднялся на нарах некто с лихими усами вразлет и радостно заорал:

— Перс! Здорово!.. Иди сюда.

Оказалось, это староста камеры Иван Викторович — вот фамилию не помню... Старостой он назначил себя сам, и никто этому не воспротивился.

На Лубянке они с Витькой сидели в одной камере. Там Рыбцу дали новую кличку "Перс" — а он и был похож на чернобрового красавца перса с иранских миниатюр... Бывшие сокамерники обнялись.

— Это твои? — спросил Иван Викторович. — Ребята, вас-то мне и не хватало. Будете моей полицией?

Мы не поняли, но староста объяснил: он задумал установить в камере закон фраеров. Кто такие фраера, мы уже знали: не блатные. Блатных Иван Викторович решил держать в строгой узде, благо их здесь было мало: наша камера предназначалась для "пятьдесят восьмой"...

Мы согласились стать полицией Ивана Викторовича, получили места на щитах, из которых собраны были необъятные нары посреди камеры — этакий остров, отделенный проливами-проходами от боковых нар, — и стали нести службу по охране фраерского порядка. Она неприятна, хоть и необременительна — нарушения случались нечасто...

Приглядевшись к новым сокамерникам, мы поняли, что попали в другой, сильно отличавшийся от лубянского, мир. Там в основном сидели москвичи, и самым распространенным преступлением была антисоветская болтовня. А здесь

---

* С любезного разрешения автора здесь воспроизводятся некоторые эпизоды из воспоминаний В. Фрида, относящиеся к пребыванию в московских застенках его самого и его "однодельцев", в том числе и М. Л. Левина. Полный текст воспоминаний опубликован в книге: В. Фрид "58 1/2. Записки лагерного придурка". М.: Издательский дом Русанова, 1996.

собрались люди, побывавшие у немцев — кто в плену, кто во власовской армии, кто просто — или непросто — на оккупированной территории. Были тут и арестанты со стажем, привезенные из лагерей на переследствие, были и осужденные по закону от 7-го августа, именуемого в просторечии 7/8 — "семь восьмых" ("хищение государственной собственности в особо крупных размерах", кажется так; это приравнивалось к экономической контрреволюции). Ко всей этой публике нас тянуло обыкновенное мальчишеское любопытство, а их не меньше интересовали мы.

О нашем деле слух, если не по всей Руси великой, то по московским тюрьмам точно прошел. И то один, то другой подсаживался к нашему кутку и уважительно спрашивал, понизив голос:

— А правда, что вы хотели бросить бомбу, и усатого — к ебене матери?

Нет, отвечали мы, не было этого; но нам все равно не очень верили.

На третий день в камере появился Володька Сулимов — наш главарь и идеолог, согласно материалам следствия. Худой, бледный, он с ходу поинтересовался:

— Как вы тут живете? По-блядски, каждый свое жрет, или коммуной?

— Коммуной, коммуной, — успокоили мы его. Дело в том, что только он и Юлик Дунский не получали с воли передач: никого из родных в Москве не было. И оба здорово отощали, особенно Юлик. У него за этот год прямо-таки атрофировались мышцы. Мы просили его напрячь бицепс, он напрягал — а там такой же кисель, как и в расслабленном состоянии.

Но остальным передачи таскали чуть ли не каждый день — здесь это разрешалось, а родные боялись, что нас вот-вот увезут неизвестно куда. И на общих харчах Володька и Юлик очень быстро отъелись...

В Бутырках мы провели несколько месяцев — времени для наблюдений и размышлений хватало. Но, конечно же, в начале этого, в общем спокойного периода все дни напролет мы разговаривали только о своем деле... А поговорить было о чем. Каждому ведь хотелось знать в подробностях, как у других складывалось следствие: били ли, лишали передач, сажали в карцер? Кем из оставшихся на воле интересовались следователи?.. Конечно, многое мы уже знали: ведь при подписании 206-й нам давали — нехотя — прочесть и чужие протоколы...

Но одно дело прочитать, совсем другое — услышать. В первом же разговоре выяснилось, что никто ни на кого не в обиде. А могли бы обижаться: ведь оговорили друг друга все. Правда, каждый на себя наговорил больше, чем на других. Был с нами и Мишка Левин, единственный несознавшийся, но он не заносился над остальными — понимал прекрасно, как на них давили.

Сулимов рассказывал, что его лупили, сажали в какой-то особый карцер — не то холодный, не то горячий. Ребята отнеслись к этому рассказу с некоторым сомнением, но спорить с Володькой не стали. Как-никак, он был центральной фигурой в нашем деле и заслуживал особого внимания чекистов...

Итак, мы лежали на нарах, вспоминали весь прошедший год и поражались. Нет, не тому, что нас арестовали, — арест — это, в конце концов, дело житейское: кого посадили, кому повезло, — а своей ненаблюдательности. Ведь были же громкие сигналы — а мы их не услышали.

Незадолго до ареста Сулимов встретился с очень интересным парнем по имени Аркадий Белинков.

— Он пишет книгу, — рассказывал Володя, — которая делится не на главы, а на сомнения — "Сомнение 1-е, Сомнение 2-е..." Обязательно познакомлю вас!

И повел знакомить — Шурика Гуревича и Лешку Сухова. Поднялся по лестнице, позвонил в дверь и спросил у открывшей ему женщины:

— Аркадий дома?

— Аркадия арестовали.

По словам Сухова, Володька на своей хромой ножке с необычайной быстротой скатился вниз по ступенькам — знакомство не состоялось. Этот арест нас не насторожил: не мы же писали книгу, состоящую из сомнений.

А вскоре одного из нашей компании, трусоватого и большого фантазера, вызвали на Лубянку, о чем он сам тут же рассказал — то ли по простоте душевной, то ли по мазохической потребности как бы повиниться, но и не до конца — в нем была, была достоевщинка!.. В его рассказе история выглядела так. На даче у них ночевал целую неделю один старичок. Ну, ночевал и ночевал. Но старичок-то оказался нелегальный!.. Вот о нем и расспрашивали на Лубянке.

Мы все приняли на веру, даже не стали интересоваться подробностями — не придали значения. И в Бутырках как-то не усомнились. А теперь-то мне кажется, что именно во время этого визита на Лубянку энкаведисты получили какие-то сведения о наших "сборищах" — так в протоколах назывались выпивки, ребяческая болтовня и игра в "очко" на копейки. Сначала, наверное, было донесение сулимовских соседей — чекистского семейства, а затем понадобились дополнительные зацепки...

Припомнили мы и "галошников" (они же топтуны), которые торчали возле Нинкиного дома на Арбате. Потом эти же двое в сапогах с галошами, в одинаковых пальто с белыми шарфами и в кубаночках на голове оказались возле моего подъезда в Столешниковом. С ними была и девица; для правдоподобия они время от времени целовались.

Их увидел и опознал Володька Сулимов. Ворвался в комнату с радостным криком: за нами следят!.. Шутил, разумеется. Посмеялись тогда, всерьез не приняли. А теперь, "в церкви", удивлялись своей тупости.

Поудивлялись немножко и топорной работе следователей: где дедукция, где методы Шерлока Холмса? Но очень быстро сошлись на том, что особой тонкости не требовалось. Ведь они и не думали доискиваться до истины — на кой ляд она была нужна? Нужны были наши подписи под их сочинениями — а этого следствие добилось безо всяких Шерлоков Холмсов. Повторю: ведь Лубянка имела дело не с врагами, а со своими, вполне советскими людьми...

В отличие от судов и военных трибуналов, ОСО поражения в правах на давало — так что, отбыв "командировку", мы сразу становились полноправными гражданами. Но до этого было еще далеко. А пока мы продолжали копаться в подробностях следствия: рассказывали друг другу о соседях по камерам, о вертухаях, о следователях. Суховский, например (не Рассыпнинский ли? Нет, тот вел, по-моему, Сулимова. А потом, лет через пять, он был следователем у Ярослава Смелякова), — так вот, суховский со своим клиентом держался

запросто, называл его Лехой. Однажды спросил — это у них была любимая забава:

— Как думаешь, Леха, сколько тебе впаяют?

— Десять лет?

Следователь захохотал:

— Тебе? Десять?.. Смотри сюда. — Он вытащил чье-то чужое "Дело N..." и прочитал: "Подтверждаю, что являюсь сотрудником польской, английской и американской разведок". — Видал? Вот каким десять лет даем! А тебе... Тебе — восемь!

И ведь обманул: Сухову дали все десять...

Не могу сказать, что настроение у нас было очень унылое — хотя основания для уныния были...

Там, в Бутырках, Володька предложил нам сочинить песню на мелодию из фильма "Иван Никулин, русский матрос". Он ведь работал помрежем на этой картине и в мальчишеской гордыне своей полагал, что из-за его ареста фильм не выпустят на экран. Выпустили, конечно; и хорошая песня "На ветвях израненного тополя" была в свое время очень популярна. Сулимов насвистел мелодию, она нам понравилась, и мы всем колхозом принялись придумывать новые слова. Вот они:

Песни пели, с песнями дружили все,
Но всегда мечтали об одной;
А слова той песенки сложилися
За Бутырской каменной стеной.

Здесь опять собралися как прежде мы,
По-над-нарами табачный дым...
Мы простились с прежними надеждами,
С улетевшим счастьем молодым...

Трижды на день ходим за баландою,
Коротаем в песнях вечера,
И иглой тюремной контрабандною
Шьем себе в дорогу сидора.

Ночь приходит в камеры угрюмые,
И тогда, в тюремной тишине,
Кто из нас, ребята, не подумает:
Помнят ли на воле обо мне?

О себе не больно мы заботимся,
Написали б с воли поскорей!
Ведь когда домой еще воротимся
Из сибирских дальних лагерей...

Складывалась песня быстро, без споров — каждое лыко было в строку. "Контрабандную иглу" придумал, по-моему, Юлик, "по-над-нарами" — любитель стилизаций Миша Левин. Сочинивши, несколько раз громко пропели. Сокамерникам песня очень понравилась, они охотно простили несовершенство стихов. Во всяком случае, когда мы с Юликом вернулись в Москву — это было

уже в 1957-м году — раздался телефонный звонок и чей-то голос пропел: "Трижды на день ходим за баландою, коротаем в песнях вечера..." Это оказался Саша Александров, замечательный мужик — но о нем речь впереди...

А второй раз нам напомнила об этой песне книга века "Архипелаг ГУЛАГ". В конце первого тома Солженицын рассказывает, как московские студенты сочиняли на нарах свою тюремную песню, и приводит два куплета. Вообще-то Александра Исаевича с нами в камере не было: он прошел через бутырскую "церковь" несколько раньше. А песню услышал, наверное, в Экибастузе от Шурика Гуревича — и одну строчку воспроизвел не совсем точно. Но человеку, написавшему "Один день Ивана Денисовича" — лучшее из того, что я читал о лагере, и, возможно, лучшее из всего, что он написал, — этому человеку можно простить маленькую неточность. Тем более что у него получилось интереснее. И потом — шутка ли: благодаря "Архипелагу" наши два куплета оказались переведены чуть ли не на все языки мира. Ни одно из других сочинений Дунского и Фрида такой чести не удостаивалось...

Население пересыльной камеры безостановочно мигрирует — кого-то увозят, кого-то привозят. Ушла от нас большая партия специалистов — электрики, слесаря, радиотехники. С ними увезли и Мишку Левина — потом выяснилось, что недалеко, в подмосковную шарагу...

М. И. Коган

ПРОГУЛКИ С ЛЕВИНЫМ

С М. Л. Левиным жизнь свела меня еще в детстве, и наша дружба продолжалась до последних дней его жизни. Нельзя сказать, что его смерть была для меня абсолютно неожиданной. Во-первых, я пребываю уже в таком возрасте, когда на каждых похоронах поневоле задумываешься над вопросом: кто следующий? А во-вторых, Мишаня в последние годы выглядел очень усталым и больным. Правда, примерно за два месяца до его кончины, в майские праздники, я навещал его в санатории "Успенское" и порадовался за него: он выглядел совсем неплохо, был бодр и жизнерадостен. Мы посидели с ним на обрыве, любуясь пейзажем на противоположном берегу Москвы-реки, посетовали на запущенность старинной усадьбы и парка Вяземских, порадовались за старушек, торопившихся к обедне во вновь действующую церковь, поговорили о том и сем. Он с интересом просматривал свежие газеты, которые я ему привез, расспрашивал о моих адвокатских делах, но сам, как всегда, старался, отшучиваясь, уйти от вопросов о своем здоровье. Через некоторое время после его возвращения домой я узнал, что ему опять стало хуже.

Наташа просила меня достать какие-то дефицитные лекарства, которые ему ранее помогали. Но когда я завез ему эти лекарства, я усомнился в их эффективности, так как видел, что они уже не действуют. Он с трудом поднялся с постели, чтобы по давно заведенному обычаю почифирить со мной, но долго сидеть за столом уже не мог и вскоре опять лег. Через неделю мне Наташа сообщила, что врачи пришли к заключению о необходимости срочной операции, и его уложили в клинику. Но, видимо, было уже поздно. 3-го июля Наташа сказала, что, хотя операция прошла успешно, но состояние его остается, как говорят врачи, тяжелым. Нужны были другие препараты, которых в Москве не было. В тот же вечер я позвонил дочери в Германию, и она экспресс-почтой выслала все, что было надо. Из разговора с дочерью (а она — врач) я понял, что положение Миши совсем тяжелое. Но даже тогда я все равно не верил, что теряю друга.

Года за три до этого мы вместе с Мишаней очень переживали за жизнь Валерика Фрида[1], который после сложной операции тоже находился долгое

[1] Краткие биографические сведения о В. С. Фриде, а также о других упоминаемых в тексте лицах см. в примечаниях автора на с. 111—116.

время в тяжелом состоянии, но все-таки выкарабкался. Так что и в данном случае хотелось верить, что Миша тоже оклемается, тем более что мы всегда считали его физически крепким мужиком.

В последний раз я видел его в клинике примерно через неделю после операции, когда привез полученные от дочери медикаменты. Наташа, увидев меня, постаралась выпроводить других посетителей из палаты, и мы остались ненадолго наедине с Мишей. Я старался удивить его новостями, связанными с ходом дела ГКЧП и работой Конституционного суда, но впервые в жизни увидел, что такие новости уже его не волнуют. Иногда лишь на несколько секунд в его глазах загоралась присущая ему божья искра, но сразу же гасла от гримасы, вызванной болями. Через несколько минут он попросил меня позвать Наташу, и я вышел, чмокнув его в щетину, с самым тяжелым предчувствием. В следующий раз, когда я заехал в клинику, Наташа меня в палату уже не допустила, а через неделю сообщила, что Миши нет. Но он остался со мной навсегда. И основную цель этих записок я вижу в том, чтобы рассказать о нем другим, кто его знал хуже или вообще не знал, хотя думаю, что даже для многих его друзей мои воспоминания о наших с ним встречах, прогулках и беседах могут быть тоже интересными. При этом я, конечно, не претендую на то, что знал его лучше других друзей и близких. Многие из них, я уверен, могут рассказать о Мише не меньше, а может быть, и лучше меня, но ведь в отношениях с разными людьми каждый человек, сохраняя, конечно, самого себя по сути, раскрывается как-то по-разному. Более того, приступая к этим запискам, я думаю, что даже мне, знавшему Мишу около 60 лет, воспоминания о нем помогут раскрыть его с неосознанной мною ранее стороны и во всяком случае более цельно. Я не могу утверждать, что он был моим единственным другом. Мне вообще везло на друзей. Я и сегодня горжусь многими своими друзьями. Но Мишаня всегда занимал особое место среди них. Даже моя мама, как всякая еврейская мама, склонная винить во всех пороках своего единственного сына в первую очередь его друзей, для Миши делала исключение: "Вот Миша Левин — совсем другой человек. Он бы так никогда не поступил". Мои жены, в отличие от многих жен, ревнующих своих мужей к их друзьям, были всегда рады видеть Мишу и никогда не ворчали на меня, когда я задерживался у него или с ним. А мой бедный папа, умудренный талмудом и замученный жизненными невзгодами, виновником которых часто бывал я, спрашивал меня перед очередным моим кульбитом: "А с Мишей Левиным ты посоветовался? Что он сказал?" И уже на смертном одре, узнав о моей очередной женитьбе на моей же бывшей жене, спросил только: "А Миша знает об этом?" Его авторитет в моей семье был непререкаем. Его окружала какая-то аура, вызывавшая всеобщее уважение и восхищение. Не в обиду другим моим друзьям, могу сказать, что Мишаня был единственным среди них, в моральном и интеллектуальном превосходстве которого над собой я никогда не сомневался.

Как-то, не так давно, на очередном моем юбилее после традиционных дифирамбов в адрес юбиляра я в ответном тосте предложил выпить за Мишаню, отметив его значение в моей жизни и высказав при этом мысль, что если бы не он, то, кто знает, я бы мог сегодня оказаться и по другую сторону баррикады. Гости учтиво запротестовали против такого моего самоуничижения, а Мишаня

меланхолично заметил: "Этим ты обязан не мне, а Сталину и Влодзимирскому[2]. Давайте лучше выпьем в память о тех, кто не вернулся".

Тем не менее, я готов и сейчас повторить, что влияние Миши на мою жизнь было огромным. Вот почему мои воспоминания о нем неизбежно будут автобиографичны и даже, может быть, несколько нескромны. Он бы понял и простил меня за это, как и за возможные неточности в хронологии и подробностях событий давно минувших дней.

Надеюсь, что Миша простил бы мне и несколько вольный парафраз в заголовке этих записок. Тот, кто читал его "Прогулки с Пушкиным"[3] и сумеет дочитать мои записки до конца, убедится в том, что моя вольность не содержит никакой иронии, но, наоборот, выражает стремление подчеркнуть емкость Мишиных воспоминаний об А. Д. Сахарове, в которых он сумел описанием прогулок и встреч с А. Д. передать не только его образ, но и свое отношение к нему.

Что касается излишней автобиографичности моих записок, выходящих за рамки заголовка, этот грех я принимаю на себя сознательно. Считаю себя вправе на это, вспоминая неоднократные пожелания Миши оставить о нашем деле подробные воспоминания.

Знакомство

Мне было тогда лет 12 или 13. Учился я в школе им. Декабристов, которая располагалась в здании бывшей гимназии на углу Большой Дмитровки и Петровского переулка. Очень хочется написать, что дух декабристов витал в наших классах, но это было бы преувеличением. Просто это была хорошая школа, в которой основной состав педагогов чудом сохранился из старой гвардии уцелевших еще к тому времени интеллигентов, знавших и любивших свое дело.

Со мной в одном классе учился Валерик Фрид, с которым мы соперничали не только в завоевании сердец наших сверстниц, но и быстроте чтения. Наша классная руководительница Евгения Ильинична любила устраивать такие соревнования. Сейчас Валерик со свойственным ему благородством утверждает, что я всегда якобы выходил победителем этих соревнований. На самом деле мы с ним менялись местами. Так как нам в этих случаях давали читать незнакомый текст из классиков, и Евгения Ильинична по доверчивости нас не контролировала, а следила лишь за тем, чтобы мы читали с выражением, мы иногда прибегали к маленьким хитростям и пропускали отдельные фразы, но так, чтобы не исказить последовательность фабулы. Как правило, нам это удавалось. Но для этого надо было успевать глазами пробегать текст немного вперед, а из-за этого снижалось внимание к читаемому вслух тексту. Помню, как я опозорился перед всем классом, читая отрывок из "Мертвых душ", в котором коляска Чичикова зацепилась за коляску каких-то проезжих барынь. Реплику Селифана

---

[2] Влодзимирский — комиссар госбезопасности, нач. следственной части по особо важным делам при НКГБ СССР, возглавлявший расследование нашего дела в 1944–1945 гг. Расстрелян в 1956 г. вскоре после Берии

[3] "Звезда", 1991, декабрь, с. 116–136. См. также раздел IV настоящей книги.

"А ты что так расскакался" я прочитал: "А ты что так раскакался" — чем вызвал восторг всего класса и особенно Валерика.

Вспоминаю этот эпизод, чтобы показать, что ко времени знакомства с Мишей мы уже интересовались не только девочками и футболом, хотя и эти интересы были нам не чужды. Читали мы очень много и все подряд, начиная с Майна Рида, Жюля Верна и кончая Мопассаном и Бальзаком, не говоря уже о русских классиках и современниках. Валерик был, безусловно, начитаннее меня. Его папа в то время был уже доцентом и как-то следил за его образованием, а мой отец до конца дней своих даже плохо говорил по-русски, так как попал в Россию в 1915 году в качестве военнопленного. Валерик имел еще объективное преимущество передо мной. У него уже тогда была отдельная комната, и ему никто не мешал читать по ночам. А я жил в одной комнате с родителями в коммунальной квартире, в которой проживало еще 6 семей. Моя мама считала, что ребенок в 11 часов вечера должен уже спать, и выключала свет у моей кровати, расположенной за шкафом. Выждав какое-то время, чтобы родители уснули или увлеклись своими делами, я потихоньку с книгой под мышкой выбирался из комнаты и усаживался в общей уборной, где читал до тех пор, пока кто-нибудь из бдительных или нетерпеливых соседей не начинал стучать в дверь: "Моня[4], немедленно выходи. Опять жгешь общий свет. Маме скажу". И вот, как-то встретившись с Валериком после очередных летних каникул, я узнал от него о существовании гениального мальчика Миши Левина, с которым он познакомился в пионерском лагере. Он рассказывал о Мише с восхищением и обещал меня познакомить с ним. После школы мы с Валериком, Юликом Дунским[5] и другими однокашниками часто встречались в скверике на Советской площади, напротив тогда еще красивого трехэтажного здания Моссовета, позади памятника Свободе, установленного в 20-е годы на месте, на котором, как мы знали из литературы, ранее находился памятник герою Плевны и Шипки генералу Скобелеву. Вот в этом сквере я и познакомился с Мишей Левиным. В солнечный и теплый осенний день мы сидели с Валериком на скамейке и обсуждали какие-то свои проблемы. "А вот и Миша Левин", — сказал Валерик. Зная, что Миша старше нас на 2 класса и сам из себя очень умный и образованный, я ожидал увидеть какую-то и внешне выдающуюся личность. На самом деле Миша оказался ничем внешне не примечательным еврейским мальчиком. Он был даже ниже нас ростом, небрежно одет в ковбойку с завернутыми рукавами и мятые брюки. На ногах были модные в те годы белые парусиновые туфли. О его гениальности можно было догадаться только по огромному лбу, обрамленному черными, немного вьющимися волосами, и умным

[4] В семье и школе меня звали в то время Моней. Это мое детское имя позволило следователю величать меня в процессуальных документах очень внушительно: "Коган Марк Иосифович (подпольная кличка "Моня")". Творческая фантазия следователя впоследствии нашла простое объяснение. При встрече с Юрой Михайловым после нашей реабилитации я узнал от него, что на вопрос, что он может рассказать о Марке Когане, он ответил, что такого не знает вообще. Тогда ему предъявили мою фотографию, и он воскликнул: "Но это же Моня!" Так в протоколе и записали: "На фотографии, которая предъявлена мне для опознания, изображен участник нашей антисоветской организации, который известен мне по кличке «Моня»". Дальше пошел я по всем материалам дела с этой "подпольной" кличкой.

[5] См. примечание 2.

прищуренным глазам за толстыми стеклами очков. Войдя в сквер, Миша крутил головой и подслеповато кого-то выискивал. "Мы здесь!" — крикнул Валерик. Миша подошел, и Валерик нас представил друг другу. Услышав мою фамилию, Миша, к моему удивлению, поинтересовался моим отчеством. Узнав, что я "Иосифович", он почему-то очень обрадовался, торжественно протянул мне руку и весело заявил, что рад познакомиться с сиротой. Мои родители, слава Богу, в то время были живы, и я, вытаращив глаза на Мишу, недоуменно спросил, откуда у него такие сведения о моем сиротском положении.

— Да это же многим известно, — с удовольствием ответил Миша и, хитро улыбаясь, нараспев процитировал:

Так пускай и я погибну
У Попова лога,
Той же славною кончиной,
Как Иосиф Коган.

Я подхватил предложенную игру и, тряхнув его руку, заявил, что тоже очень рад познакомиться с потомком одного из самых положительных героев Льва Толстого.

— Ну, какой же Левин положительный герой? — возразил Миша. Ведь он выражал чуждую нам философию Толстого. Владимир Ильич очень высоко ценил Толстого как писателя, но резко критиковал его философские взгляды.

Я растерянно пролепетал что-то вроде того, что писателя вряд ли можно ценить в отрыве от его философии.

— Вот ты какой! — удивился Миша. — Значит, ты придерживаешься точки зрения Короленко. И вообще я не вижу в тебе ничего "монистического".

Из Короленко я к тому времени читал только "Слепого музыканта" и "Историю моего современника", но видел на столе отца и пытался читать работу Плеханова "К вопросу о развитии монистического взгляда на историю". Поэтому, да и по интонации Миши, я принял его слова как комплимент и понял, что первый экзамен на дружбу с ним выдержал.

С тех пор наши свидания и прогулки стали более или менее регулярными, с вынужденными длительными перерывами, радостными встречами и приятными, а для меня, безусловно, и полезными беседами.

Счастливые дни

В те годы я с некоторым успехом подвизался в школьном драмкружке и увлекался модным в то время художественным чтением. Мишаня был иногда моим зрителем и слушателем, но всегда строгим критиком. Помню, как он издевался над моим исполнением отрывка из "Челкаша" и рассказа "Как поймали Семагу". Челкаш, по его мнению, получился у меня очень уж интеллигентным, а я огрызался, что по своей натуре, независимо от рода занятий, он и был интеллигентом. "Странное у тебя понятие об интеллигентности, — скептически заметил Миша. — Вор не может быть интеллигентом, хотя в отдельных случаях и способен на благородные поступки. А у интеллигента благородство — не случай, а образ жизни".

А над моим Семагой он издевался уже по другому поводу. Я читал "Семагу" на каком-то конкурсе юных чтецов, который проходил в театре сада "Эрмитаж". Мишаня опоздал к началу и его не пустили в зал. Слушал он меня по местной радиотрансляции. То ли тогдашняя техника меня подвела, то ли, помня его упреки по поводу Челкаша, я перестарался в передаче бандитского образа героя несвойственным мне басом. Миша после этого долго дразнил меня чревовещателем.

Сегодня, оглядываясь назад, я тешу себя мыслью, что в неприятии Мишаней горьковских героев в моем исполнении проявилось его отношение не только и не столько к исполнителю, сколько к автору.

Право на такое утешение я нахожу в запомнившемся мне диалоге, который состоялся у нас где-то вскоре после смерти М. Горького, похороненного, как известно, с помпой в ореоле славы великого гуманиста.

Естественно, я не могу поручиться за дословную точность этого диалога, но смысл и стиль его передаю правильно.

— А ты с его публицистикой знаком? — спросил Миша, когда я каким-то образом присоединил свой голос к всенародному плачу об усопшем.

— Ты имеешь в виду его статью: "Если враг не сдается, его уничтожают"? — задумчиво попытался я уточнить вопрос.

— Если бы только. Ты почитай его статью "О борьбе с природой", в которой он по-хамски поносит Лосева. Мало того, что он рассуждает о вопросах, в которых ничего не смыслит, он пинает в своей статье человека, который уже к тому времени был арестован. И вообще я думаю, что он Лосева не читал даже.

— Мишаня, а я тоже Лосева не читал.

— Так ты же и не хаешь его, как не хаешь, скажем, Эйнштейна, которого тоже не читал, а если бы и читал, то все равно не понял.

— Миша, а может быть, Горький статью, подписанную его именем, не читал? — не сдавался я.

— А может быть, он и "Клима Самгина" не читал? А может быть, "Мать" за него вообще написал Луначарский?

— Нет, — засмеялся я, сдаваясь, — для Луначарского "Мать" слабовата. Вот "Враги" тот мог, пожалуй, написать.

— А "Девушку и смерть" — Демьян Бедный?

— Ну, что ты. Ведь эта штука сильнее Фауста. Демьяну не под силу будет.

— Демьян — прежде всего коммунист. Партия приказала, и написал.

— Но ведь Горький-то никогда не был членом партии.

— Он был буревестником революции. Это еще хуже. Ведь интеллигенция в начале века молилась на него. Не зря же большевики так обхаживали его в эмиграции и заманивали вернуться. Да и сегодня даже ты оплакиваешь его.

— Мишаня, а "Старуха Изергиль", а "Детство"?

— Он тогда еще не знал учения МЭЛ. А по этому учению, как ты знаешь, бытие определяет сознание. А бытие-то у него было, когда он писал эти поганые статьи, в особняке на Спиридоновке, да еще под надзором Ягоды.

— Миша, а где опубликована эта статья Горького о Лосеве?

— Только в газетах. Пролистай "Правду" или "Известия" за 1931—1932 гг. Точно не помню. Я сам тоже случайно натолкнулся на нее, просматривая подшивки газет. А потом уже тоже заинтересовался Лосевым.

Следующие два вечера я на пару с Лелей Коншиной[6] просидел в читальном зале библиотеки им. А. И. Герцена, что была на Петровских линиях, перелистывая подшивки газет, пока не нашел названную Мишей статью М. Горького о Лосеве, попутно прочитав еще несколько его статей, написанных в том же духе. Больше Горького я уже не читал.

Не одобрял он в моем репертуаре и ура-патриотические стихи Маяковского, и долгие годы, когда я, по его мнению, проявлял сам такой квасной патриотизм, обрывал меня: "Ну, с тобой все понятно. Это комсомольцы Кемпа нит гедайгет песней заставляют плыть в Москву Гудзон".

Отношение Миши к Маяковскому не менее ярко проявилось как-то после того, как он терпеливо высидел в каком-то доме культуры, где я читал отрывок из "Хорошо", начинавшийся словами "Дул, как всегда, октябрь ветрами..." и заканчивающийся — "но дул уже при социализме".

— Ну, как? — спросил я, стараясь выглядеть поскромнее, но втайне надеясь на присоединение его к аплодисментам слушателей.

— Что, как? Явно подражаешь Журавлеву. Но не в этом дело. Ты уж лучше подражай своему любимому Яхонтову, как это делаешь, когда читаешь "Хорошее отношение к лошадям" или "Флейта и немножко нервно". Ведь Маяковский — лирик, а не историк. "Дул октябрь, дул, дул — и надул," — ворчал Миша.

Мы шли к трамваю. Я, обидевшись, молчал, а Миша что-то бормотал про себя. А через пару минут выдал:

Дул ветер, дул
и, что особенно интересно,
испортил Керенскому стул,
а Ленин сел в его кресло.
Ветер, ветер на всем Божьем свете,
даже Блока чуть не сбил с пути,
а Маяковского кинул в сети,
Бог его прости!
За то, что били копыта,
пели будто,
за то, что флейта визжала нервно,
за то, что улица извита и льдом обута,
за пулю, пущенную в отчаянии верно.
За голос его, звучавший гордо,
за облако в штанах с бриками вместе,
но отнюдь не за то, что наступал
на горло
собственной песне.

И, как ни в чем не бывало, пошел дальше к остановке трамвая, не оглядываясь на меня, остановившегося в обалдении.

Но он не всегда критиковал меня. Мне приятно вспомнить, что Мише нравилось мое исполнение пушкинских стихов.

---

[6] Леля Коншина — моя будущая жена. О ней речь впереди.

Как известно, в 1937 году Москва широко отмечала 100-летие со дня смерти Пушкина. Почти ежедневно в самых престижных концертных залах столицы читали Пушкина замечательные профессиональные чтецы: Владимир Яхонтов, Дмитрий Николаевич Журавлев, Антон Шварц. Старались не отстать от них и знаменитые актеры того времени — В. И. Качалов, И. М. Москвин, Михаил Царев и многие другие. Мы с Мишей с удовольствием слушали монолог "Скупого рыцаря" в исполнении В. И. Качалова и "Станционного смотрителя" в исполнении И. М. Москвина, но стихи предпочитали слушать в исполнении профессиональных чтецов, которые лучше передавали музыку пушкинской поэзии. Среди них Миша предпочитал Антона Шварца, а я — Д. Н. Журавлева. В исполнении же Владимира Яхонтова мы оба любили слушать Маяковского, но считали, что при исполнении стихов Пушкина блестящий чтец заслоняет собой великого поэта.

Пушкин в тот год звучал не только в исполнении профессионалов. Школьные вечера, районные конкурсы юных чтецов, а затем городской конкурс в Колонном зале Дома союзов. Я был непременным участником всех этих конкурсов, а Миша — моим советником по репертуару и болельщиком. К сожалению, я не всегда прислушивался к его советам. С его одобрения я успешно читал лирику Пушкина, "Медного всадника" и отрывки из "Евгения Онегина".

Успех на районном конкурсе вскружил мне голову. Не послушавшись Мишу, который советовал мне на городском конкурсе читать "Медного всадника", я выдал в Колонном зале монолог "Скупого рыцаря" и, конечно, провалился.

Мишаня был первым человеком, который познакомил меня со стихами Б. Пастернака, А. Ахматовой, Н. Гумилева, М. Цветаевой и многих других поэтов, творчество которых выходило за пределы школьной программы и моей домашней библиотеки.

Страшные годы

То были трагические для России годы. Как принято теперь писать и говорить, мы многого тогда не знали и не понимали. И тем не менее...

В "Прогулках с Пушкиным" Миша, вспоминая одну из своих бесед с А. Д. Сахаровым, пишет, что события 37-го года он начал понимать после ареста одной знакомой женщины, в которую тогда был влюблен. Не смею с ним спорить.

И вместе с тем...

Каждый из нас и в первую очередь те, кто учились в элитных школах, расположенных в центре Москвы, почти ежедневно узнавали об арестах родителей наших сверстников. Только в одном классе, в котором учился я, были арестованы родители Нины Браун, Майи Владимировой, Наташи Смилги, Леши Гастева, Саши Каменского, Искры Мохор[7]. А многие ребята еще скрывали аресты своих родителей, опасаясь публичного их осуждения, хотя я не помню в нашей среде ни одного Павлика Морозова.

Конечно, я не докладывал Мише о каждой такой печальной новости, касающейся учеников моего класса, как и он не сообщал мне об аналогичных

[7] См. примечания 3–8.

новостях, известных ему. Но думаю, что ему были известны такие новости не меньше, чем мне. И, конечно, мы с ним специально не обсуждали этих событий. Но беру на себя смелость утверждать, что мы, если не все, далеко не все, но кое-что уже тогда понимали. В доказательство этого могу привести один характерный для того времени эпизод из жизни нашей школы, о котором я рассказал Мише, поскольку я был непосредственным героем этого эпизода и посчитал нужным спросить его совета по поводу дальнейшего моего поведения.

На очередном отчетно-выборном комсомольском собрании я выдвинул в состав комитета комсомола школы кандидатуру Майи Владимировой. Мне было хорошо известно, что родители ее незадолго до этого были репрессированы и она осталась одна с младшей сестрой на руках. Я не могу сейчас объяснить толком мотивы своего поведения. То ли я не придавал значения аресту ее родителей, то ли хотел этим как-то поддержать ее морально. Скорее всего, я просто искренне считал, что лучшей кандидатуры в комитет комсомола не может быть. Умница, круглая отличница, всегда доброжелательная и готовая помочь отстающим в учебе, да к тому же еще очень миловидная, всегда аккуратно одетая в темное платье с белым воротничком, с бантиками на косичках, она как будто сбежала с какой-нибудь картины, на которой были изображены воспитанницы Института благородных девиц.

Итак, я ее выдвинул в состав комитета комсомола. Собрание вел, как всегда в те годы, так называемый "освобожденный секретарь комитета ВЛКСМ" (от чего он был освобожден, до сих пор не понимаю). Эти "освобожденные" выполняли тогда в школах роль "государева ока". Их побаивались не только учащиеся, но и педагоги. У нас в школе в то время "освобожденным" был Ваня Барсуков, простой и, как мне казалось до этого случая, неплохой парень, естественно, из рабочих. У меня с ним сложились хорошие отношения. По его поручениям я с выражением читал на каждом собрании текст приветственного письма великому Сталину, а иногда по его просьбе еще и помогал готовить проекты разных решений комитета и резолюций. Короче говоря, никакого подвоха с его стороны я не ждал.

И вот после выдвижения мною кандидатуры Майи Владимировой Ваня ставит на голосование вопрос об исключении из списка кандидатов в состав комитета... Мони Когана "за проявленную им аполитичность и попытку протащить в состав комитета комсомола дочь врага народа"[8].

Зал затих, я разинул рот и потерял дар речи. Встал наш классный руководитель, преподаватель истории Сергей Михайлович Архангельский и, слегка заикаясь, промямлил, что предложение товарища Барсукова он в принципе поддерживает, но формулировку его считает не совсем удачной, так как товарищ Сталин сказал, что сын за отца не отвечает. А Моню Когана, конечно, следует вывести из состава комитета, так как он в последнее время сам стал учиться хуже и к тому же отрицательно влияет на Лелю Коншину, которая сегодня не выполнила домашнее задание.

Сидевшая рядом со мной Леля покрылась краской и тоже разинула рот, а зал уже загудел. Тогда встала наш завуч Прасковья Юрьевна, которая была к

[8] Точно формулировку его предложения я не помню, но смысл был именно такой.

тому же классным руководителем у Лели, и заявила, что Леля Коншина учится вполне прилично, а сегодняшний урок она не выполнила по уважительной причине, но предложение Вани Барсукова о выводе Мони Когана из состава комитета комсомола она считает правильным, так как Моня развалил работу старостата школы[9].

"Возражений нет? — спросил Ваня Барсуков и, не дожидаясь ответов, объявил: — Принято единогласно".

В тот же вечер я позвонил Мише и, захлебываясь от возмущения, рассказал о случившемся, заявив, что завтра собираюсь идти в райком жаловаться на Барсукова.

"Подумай как следует, — сказал Миша. — Достаточно того, что ты отравил Майе существование. Ты лучше завтра зайди к Сергею Михайловичу и Прасковье Юрьевне — поклонись им в ножки. И вообще хорошо, что тебя вывели из комитета. Пусть твой Барсуков теперь сам читает письма Сталину. И вообще ты забыл мудрый совет:

"Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца".

Вспоминая сейчас этот эпизод, а также сомнения Мишани по поводу поведения Бухарина, Каменева, Зиновьева и других "врагов народа" в открытых процессах, а также язвительные оценки им обвинительных речей Вышинского и пресловутой книги Л. Фейхтвангера "Москва — 1937 г.", я не могу поверить, что только арест одной прекрасной дамы открыл глаза Мише на события тех лет.

Но тогда почему же он так сам написал в "Прогулках с Пушкиным"?

Допускаю два не исключающих друг друга предположения. Во-первых, Миша, относившийся всегда к А. Д. Сахарову с великим уважением, не мог иначе ответить ему. Ведь Андрей Дмитриевич так поставил перед ним вопрос, что другой ответ мог показаться просто нескромным. Андрей Дмитриевич не понимал происходивших в то время событий, а он, Миша Левин, был вот такой умный, что уже все понимал. А во-вторых, арест знакомой великолепной женщины (у Миши был всегда хороший вкус) мог быть действительно для него каким-то дополнительным толчком к пониманию событий.

О Мишиной способности не только понимать, но и предвидеть события свидетельствует еще один факт из моей биографии, относящийся к тому времени.

В девятом классе школы (Миша был уже студентом физфака) я по призыву комсомола "Дадим стране 100 тысяч летчиков" поступил в аэроклуб. К весне я сдал зачет по всем теоретическим дисциплинам, летом налетал положенные по программе 34 часа на "У-2" и в августе сдал на "отлично" госэкзамен. Как и все другие выпускники аэроклуба, я сразу после сдачи госэкзамена подал заявление о направлении меня после окончания школы в летное училище. Всех приняли. А меня нет. Об этом мне сообщил со смущенным видом начальник аэроклуба полковник Курдюмов. Он очень хорошо ко мне относился, был знаком с моей

[9] В то время в каждой школе был такой орган "самоуправления", председателем которого я являлся. Функции старостата сводились, по-моему, к тому, что в конце каждого учебного дня он собирал у старост каждого класса сводки о полученных сегодня отметках и вывешивал их на доске, что я делал, естественно, отнюдь не регулярно.

мамой, которая ему ежедневно надоедала по телефону, проверяя, не разбился ли ее сыночек в полетах, а иногда он меня даже прикрывал, когда я с аэродрома убегал в свободное время на свидания к Леле Коншиной.

На мои вопросы, — в чем дело, почему меня не приняли в училище, — он сначала бормотал что-то невнятное, а потом сказал, что меня признали негодным к летной службе.

— Как так — негодным? Я же недавно проходил медкомиссию, и меня признали годным к летной службе, — возмутился я.

— То медкомиссия, а то мандаткомиссия, — ответил полковник.

— Что же мне делать?

— Не знаю. Я разговаривал с начштаба ВВС округа. Он ничего сделать не может. Есть какой-то секретный приказ наркома.

— Ах, так! Я пойду к Смушкевичу[10], — заявил я.

— А что, это, пожалуй, идея, — сказал задумчиво полковник. — Смушкевич, конечно, может помочь.

Совсем другого мнения придерживался Миша.

— Если мандатная комиссия не пропустила, то все бесполезно и Смушкевич тебе тоже не поможет. Против приказа Ворошилова он не попрет.

— Да ведь еще неизвестно, что там в этом приказе написано, — не сдавался я.

— А что там может быть написано? — размышлял Миша. — Ведь ты в анкетах всегда писал, что отец у тебя — выходец из Германии, что и сейчас у тебя есть родственники за границей. Писал?

— Писал.

— Ну, вот и дописался. А вдруг ты завтра наш самолет угонишь в Германию?

— Как угоню в Германию? Там же меня, как еврея, сразу повесят за...

— Ну не в Германию, так куда-нибудь в Финляндию, это еще хуже, — издевался Миша, — в общем, я тебе не советую идти к Смушкевичу, ты его этим только в дурацкое положение поставишь.

— Почему?

— Да он же сам еврей.

— Ну и что?

— А у какого же еврея нет родственников за границей? — смеялся Миша.

Миша как в воду глядел.

Нарядившись в старую аэроклубную форму, я отправился в Хользунов переулок, где находился тогда штаб ВВС. Меня, конечно, долго не пропускали, пытали, по какому вопросу я иду и почему именно к Смушкевичу. Но я не сдавался и заявлял, что иду по личному вопросу, который может решить только Смушкевич. Наверное, помог мне звонок к адъютанту Смушкевича из ЦК ВЛКСМ. Короче говоря, я пробился к Смушкевичу.

Помню его мужественное, красивое, но чуть грубоватое лицо, плотную фигуру, обтянутую почему-то голубой гимнастеркой без знаков различия и орденов. Только широкая портупея через плечо свидетельствовала о его высоком офицерском положении.

---

[10] Дважды Герой Советского Союза Я. В. Смушкевич, участник испанской гражданской войны (1937), командующий ВВС в боях на р. Халхин-Гол (1939), был в то время командующим ВВС РККА. В 1941 г. был расстрелян как враг народа.

Перед ним на столе лежало уже мое личное дело. Я щелкнул каблуками, представился по уставу и замер по стойке "смирно", а он, с любопытством рассматривая меня, скомандовал: "Вольно. Садись. Рассказывай".

Я страшно волновался, лепетал что-то о верноподданнических чувствах, о том, что всю жизнь мечтал летать, о несправедливости таинственного приказа, разрушающего мою мечту и лишающего Родину прекрасного летчика, на обучение которого страна затратила много средств, и что-то еще в том же духе.

Он не прерывал меня, внимательно выслушал до конца, а потом спросил меня только, как относится к моей мечте моя мать. Я сразу же смутился и, грешным делом, подумал, зная энергию моей мамы, не добралась ли она до Смушкевича раньше меня. Соврать ему я не мог и ответил лишь, что я — взрослый человек и сам вправе решать свою судьбу.

— А вот в этом ты не прав, — возразил он. — Взрослый человек обязан думать не только о себе, но и о своих близких. Ты их единственный сын, кто будет обеспечивать их старость, если ты погибнешь?

— Как кто? Государство, конечно.

Он улыбнулся, а затем, выпроводив под каким-то предлогом из кабинета присутствовавшего при нашем разговоре адъютанта, встал из-за своего стола, подошел ко мне, сел на стул рядом со мной и, глядя мне в глаза, медленно заговорил:

— Слушай меня внимательно и постарайся правильно понять. Дело даже не в том, что я не могу нарушить приказ Наркома. Даже если бы я был вправе это сделать, я бы все равно этого не сделал. Мы накануне большой войны. Понимаешь? (Я мотнул головой — мол, понимаю). Я внимательно изучил твое личное дело. Читал там все твои характеристики, из тебя может получиться хороший, нужный стране специалист. Судя по отметкам в аттестате и имеющимся в деле характеристикам, авиация — не твое дело. Я бы мог тебя направить в техническое училище, но зачем тебе это, если ты имеешь право поступить сразу в вуз. Если уж ты так влюблен в авиацию — иди в МАИ. Хорошие специалисты с высшим образованием будут нужны нашей стране и после войны. Понял меня?

Я опять грустно мотнул головой в знак того, что понял. Он пожал мне руку, а когда я повернулся "кругом" — хлопнул меня по плечу и толкнул к выходу.

Когда я вкратце рассказал Мише о своей беседе со Смушкевичем, он сказал:

— Ну, если мне не верил, то теперь хоть Смушкевичу поверь. Пока не поздно, подавай документы в ГИТИС. Я тебе даже репертуар для экзамена подготовил. Будешь читать басню Леонардо, сонет Шекспира и отрывок из "Пиковой дамы".

Но в ГИТИСе документы уже не принимали, и я поступил в Юридический институт, в котором Леля Коншина училась уже на 2-м курсе.

Проучившись три месяца, я по так называемому ворошиловскому призыву, отменившему тогда все отсрочки для студентов, был призван в армию и направлен служить на Дальний Восток в отдельный пулеметный батальон[11].

[11] Моя недолгая служба в пулеметном батальоне, видимо, сыграла определенную роль в моем аресте, так как по сценарию, разработанному на Лубянке, стрелять в Сталина участники нашей группы должны были как раз из пулемета, а кроме Володи Сулимова и меня никто пулемет в глаза не видел.

Моя служба в армии, а затем эвакуация Миши и наших общих друзей из Москвы надолго прервала наши встречи. Они возобновились после моей демобилизации из армии и возвращения из эвакуации Миши, Валерика и Юлика.

Родители Валерика находились еще в эвакуации, и наши встречи в то время происходили чаще всего в его квартире в Столешниковом переулке. Валерик и Юлик учились в то время в ГИКе, вели полубогемный образ жизни, у них жили две очаровательные девицы, Валя и Нора, учившиеся тоже в ГИКе, бывали в гостях не только наши старые друзья, но и многие их новые знакомые, среди которых следует назвать прежде всего Володю Сулимова, Лену Бубнову, Юру Михайлова, Лешу Сухова, Нину Ермакову и Шуру Гуревича, которые вскоре "оказались" организаторами или участниками молодежной антисоветской организации, целью которой, по сценарию НКГБ, была подготовка террористического акта против Сталина.

Миша учился тогда уже на 4-м или 5-м курсе физфака, серьезно занимался наукой, одновременно работал в лаборатории М. А. Леонтовича и даже, по-моему, уже выступал в печати. Помню, как по моей просьбе он тщетно пытался мне объяснить природу квантов и теорию относительности Эйнштейна, которых я, к стыду своему, так до настоящего времени толком и не понимаю.

Но вернусь к нашим встречам с Мишаней в квартире Валерика. Миша из-за своей занятости был там в это время не очень частым гостем, но каждый раз его появление там было радостью для всех присутствующих. Наши беседы чаще всего велись о кино, а иногда и об общей ситуации в стране. Первые победы нашей армии не заслоняли от нас искусственного возвеличивания в этих победах лично Сталина, не позволяли забыть о горечи отступления и поражений в 1941–1942 годах, многочисленных бессмысленных жертвах и материальных потерях, связанных с некомпетентностью Сталина, физическим уничтожением перед войной почти всего высшего комсостава армии. Но, тем не менее, никаких диспутов на эту тему или специального обсуждения этих вопросов не было. Наше понимание зловещей роли Сталина в судьбе России проявлялось, может быть, лишь в отдельных высказываниях в сослагательном наклонении.

Валерик, Юлик и другие киношники рассказывали о выдающихся американских кинофильмах, посмеивались над наивными патриотическими нашими фильмами, отдавая в то же время должное фильмам Эйзенштейна, Пудовкина, Михаила Ромма и других наших мастеров.

В общем, оглядываясь назад и вспоминая наши беседы, могу искренне и категорически утверждать, что ничего антисоветского в наших высказываниях в то время не было. Более того, хотя сегодня нас это вряд ли украшает, смею заверить, что мы тогда еще как-то верили в идеи марксизма-ленинизма, но вместе с тем посмеивались над фактологическими искажениями истории и примитивностью изложения диалектического и исторического материализма в "Кратком курсе ВКП(б)".

Что же касается жертв репрессий, особенно среди старых большевиков и военачальников, мы прекрасно понимали, что никакие они не шпионы и не вредители, а их физическое уничтожение объяснялось исключительно стремлением Сталина к личной диктатуре.

Вспоминая несуразность поведения Зиновьева, Каменева, Пятакова, Бухa-

рина и других "врагов народа" в открытых уголовных процессах, мы наивно объясняли это их преданностью делу, которому они посвятили свою жизнь, и нежеланием противопоставлять себя Сталину, чтобы не допустить раскола в партии и не погубить общее дело.

О пытках и истязаниях, которым подвергали их на Лубянке, мы и подумать не могли. Естественно, мы никогда не допускали и мысли о том, что вскоре сами окажемся там же в качестве арестантов.

На исторической параллели

В апреле 1944 года Валерик и Юлик неожиданно для всех объявили о том, что они подали заявления о призыве их добровольцами в армию и в ближайшие дни их должны направить в часть. Не знаю до сих пор, делились ли они с Мишаней или с кем-либо еще причиной такого своего совершенно неожиданного для меня в то время поступка. Никаких вопросов по этому поводу я, естественно, им не задавал. Раз они так решили, значит — так надо.

Спустя несколько дней после отъезда Валерика мне позвонила его мать, вернувшаяся из эвакуации, и взволнованно сообщила, что ночью был обыск и ей сказали, что Валерик арестован и находится на Лубянке. Я тотчас помчался к Елене Петровне и застал у нее Мишу. Уже было известно, что арестованы не только Валерик и Юлик, но и Володя Сулимов, Лена Бубнова, Юра Михайлов и Леша Сухов. Сидевшие здесь же Валя и Нора были бледны и испуганы[12].

Ни одна из них и никто другой, ни тогда, ни позднее не рассказывал мне о том, что их вызывали и допрашивали по нашему делу[13]. Упоминанием о них здесь я не хочу бросить ни малейшей тени на их до сих пор для меня очаровательные образы. Просто так было.

Не хочу бросить я тени и на образ Леши Сухова, которого, как потом мы выяснили, вызывали и допрашивали до ареста, тем более что он, во-первых, как-то сам старался намекнуть нам об этом, а во-вторых, это ведь не спасло его самого от ареста, и он погиб в лагере, отбывая срок по нашему делу.

Как потом я узнал, вызывали и допрашивали по нашему делу и Лелю Коншину, которая незадолго перед этим вернулась из эвакуации с моим сыном и поселилась отдельно от меня, в квартире своих родителей, живших до эвакуации в том же Столешниковом переулке. Сына я тотчас отправил со своей

---

[12] Нора вскоре после этого бросила ВГИК и уехала из Москвы. О дальнейшей судьбе ее ничего не знаю. Валя успешно окончила ВГИК и работает где-то в кино, по-моему, экономистом. Пару лет тому назад я ее встретил в Доме кино. Она по-прежнему хороша и, судя по ее словам, счастлива.

[13] Уже после нашей реабилитации Валерик мне рассказал, что Нора еще до их ареста сообщила ему и Юлику о том, что ее вызывали в НКГБ и предлагали сотрудничать. До этого она переехала жить к Леле Коншиной, где у нее кто-то выкрал паспорт. Двоюродный брат Лели Герман Рахманин предложил ей сделать новый паспорт. И сделал. После этого ее вызвали в НКГБ и заявили, что ее следует привлечь к уголовной ответственности за пользование поддельным паспортом. Но вообще-то они понимают, что она попала на удочку известного им афериста, за которым они давно охотятся. Она, как настоящий советский человек, должна им помогать и стать их секретным сотрудником. Ей дали 3 дня на размышления. Прямо из НКГБ она прибежала к Валерику и Юлику: "Что делать?" "Соглашайся", — посоветовали они. Уместно заметить, что впоследствии Герман Рахманин работал нач. спец. отдела Президиума АН СССР, а затем в аппарате ЦК КПСС.

матерью на дачу, а сам часто с Мишей и Валериком, которые всегда симпатизировали Леле, заходил к ней.

Как-то раз незадолго до первых арестов мы с Мишей, зайдя к ней, застали у нее странную компанию из нескольких здоровых мужиков с военной выправкой, явно не нашего профсоюза. Среди них мне был знаком только один человек — ее двоюродный брат Гера Рахманин. На столе стояли бутылки с водкой и редкие в то время изысканные закуски, о которых мы давно забыли. Леля нас, естественно, пригласила к столу, но Мишаня незаметно потянул меня за рукав, и мы стали откланиваться под каким-то благовидным предлогом. "Этих евреев не устраивает наша компания", — догадался один из сидевших за столом чудо-богатырей. "Да, не устраивает, — отважно ответил Миша, — но не по национальному, а по социальному признаку и по изобилию на столе. Наши желудки уже отвыкли от такой пищи".

Когда мы вышли от Лели, Миша упрекнул меня за то, что я в последнее время уделяю ей мало внимания, а она связалась с какой-то темной компанией.

На следующий день я тщетно пытался дозвониться до Лели, но никто не отвечал до самого позднего вечера. Встревоженный, где-то около 12 часов ночи я отправился к ней домой. Ключи от входной двери в квартиру (она жила тоже в коммуналке) и от двери в ее комнату у меня были. Но дверь в комнату была закрыта изнутри на ключ, и я не мог ее открыть. Я постучал. Никто не отвечал. Я постучал настойчивей, а затем попросил: "Леля, открой, это я". Откуда-то из глубины комнаты прозвучал ее глухой голос: "Уходи. Я тебе не могу открыть".

Если бы не вчерашняя сцена у нее дома, может быть, я заподозрил бы что-нибудь недоброе, хотя то, что я фактически подумал, тоже "добрым" назвать нельзя. Я просто решил, что она не одна, и гордо удалился.

Рано утром меня разбудил телефонный звонок. Звонила ее двоюродная сестра, проживавшая в той же квартире: "Леля ночью вскрыла себе вены, и ее сейчас увезли к Склифосовскому". Я тотчас отправился в больницу, но меня к Леле не пустили, и не пускали в течение всего времени, пока она там находилась, ссылаясь на имеющееся в больнице указание следственных органов.

После выхода ее из больницы в ответ на мои по мере возможности деликатные вопросы Леля мне объяснила, что у нее не было другого выхода, так как кто-то выкрал у нее паспорт, а Гера ей сделал новый паспорт, который оказался поддельным. Когда ее вызвали в милицию, она не захотела выдавать Геру и не нашла другого выхода из сложившейся ситуации, как уйти из жизни. Больше по этому поводу она мне никогда ничего не рассказывала, а я не считал себя вправе травмировать ее какими-нибудь дополнительными вопросами. Знаю только, что после ее попытки самоубийства милиция отстала от нее.

Отсутствие подробной информации у меня о дальнейших событиях в жизни Лели объясняется не только моим недостаточно внимательным отношением к ней в этот период (за что меня справедливо упрекал Миша), но еще и тем, что сразу после своей неудачной попытки самоубийства она предложила мне расторгнуть наш брак, заявив, что так будет лучше для меня. Мы расторгли брак официально за 4 месяца до моего ареста, что, однако, не мешало нам встречаться и после развода. Фактически наши отношения были окончательно

прерваны после ареста Валерика, Юлика и других моих друзей, когда я понял, что это ей действительно облегчит жизнь.

О том, что ее вызывали в ГБ и расспрашивали обо мне и всей нашей компании, я узнал только после реабилитации и возвращения в Москву от ее двоюродной сестры, которая считала, что паспорт у Лели выкрал сам Гера. Он был влюблен в нее с детства, и за него она вышла замуж вскоре после моего ареста. Знала ли сама Леля о роли ее будущего мужа (если он действительно играл в этом деле какую-нибудь роль), я у нее не выяснял, так как, встретившись с ней после возвращения в Москву, понял, что ей тяжело разговаривать на эту тему и вообще общаться со мной. Правда, я это связывал тогда прежде всего с трагической смертью нашего сына, погибшего за месяц до моей реабилитации. Сама Леля недолго пережила его и осуществила в конце концов свою идею уйти из жизни по собственной воле.

Когда я рассказал о ее смерти Мишане (а я сам узнал об этом не сразу, так как ее постарались похоронить быстро, без широкой огласки), он, внимательно посмотрев мне в глаза, обнял и сказал: "Не казни себя. Если бы ее зацепили по нашему делу, для нее было бы еще хуже".

Но вернусь к апрелю 1944 года, когда мы с Мишаней узнали об аресте Валерика, Юлика и других наших друзей. Практически на свободе из всей нашей компании остались мы с Мишаней и Нина Ермакова. Мы понимали, что наше дело плохо. Но когда клялись несчастной Елене Петровне в том, что ничем предосудительным никогда не занимались, мы были искренни. Естественно, что Елену Петровну эти наши заверения мало утешали, так как она понимала, что с Лубянки обратного хода нет.

Обсуждая между собой сложившуюся ситуацию, мы с Мишаней пришли к выводу, что основной интерес НКГБ в этом деле заключался в Володе Сулимове и Леночке Бубновой, а Валерик, Юлик и остальные арестованные по этому делу попали как куры в ощип, заодно с ними.

За всеми этими рассуждениями о том, кто был действительно нужен НКГБ, а кто попал на Лубянку случайно, на мой взгляд, проявляется понятная в то время логика людей, верящих в то, что НКГБ занимается нужным и полезным для общества делом. Будучи воспитанными в духе оправдания действий органов, мы имели право так думать. Но сейчас, когда стали известны документы и факты, раскрывающие действительные причины и мотивы действий этих органов, повторять такие наши юношеские заблуждения можно только по инерции. Теперь ведь всем, или, по крайней мере, тем, кто интересуется историей России после 1917 года, ясно, что физическое уничтожение интеллигенции было с первых дней Советской власти сознательной политикой Ленина, а затем Сталина, которым из-за их веры в фантастическую догму мировой пролетарской революции было прежде всего страшно и нетерпимо существование в стране мыслящих людей. И поэтому сегодня наше дело предстает в ряду таких же многих других дел совсем в ином свете. В поле зрения органов попала группа молодых людей, способных самостоятельно мыслить и осмеливающихся даже обсуждать, а иногда и критиковать догму. Старая русская интеллигенция к тому времени была уже уничтожена или сломлена. Но из таких молодых людей могла возродиться новая интеллигенция, само существование которой было опасно для

власти. Естественно, что, играя даже между собой в прятки и пытаясь представить начальству и обществу свое грязное дело как великое и необходимое действо, органы выдавали наше дело (как и многие другие в то время) как дело детей ранее разоблаченных врагов народа — мстителей за отцов и матерей. "Яблочко от яблони недалеко падает". Но ведь, во-первых, в нашей группе таких "мстителей" было не так уж много. Во-вторых, та же Леля Коншина была с этой точки зрения более заманчивой для них фигурой. А в-третьих, сколько мы знаем теперь таких молодежных "антисоветских" групп, репрессированных только за то, что они хоть чуток пытались просто заглянуть за страницы "Краткого курса ВКП (б)", что само по себе угрожало личному благополучию сотрудников органов, которые, как правило, сами-то были не способны или просто боялись заглянуть за эти строчки и свято им верили или делали вид, что верят.

Мы понимали, что и нас "заодно" могут замести каждый день.

В некоторых публикациях о нашем деле высказывалась мысль, что мы с Мишаней не признали себя виновными только потому, что были готовы к аресту. Наверное, в этом есть какая-то сермяжная правда. Я ведь учился к тому времени уже на 3-м курсе юрфака МГУ, где пропагандировали теорию Вышинского о том, что признание обвиняемого — царица доказательств. Поэтому мы с Мишей понимали, что главное — не признаваться. Но вместе с тем думаю, что немаловажное значение имел и тот факт, что к моменту нашего ареста дело было уже в принципе сфабриковано. Наши показания уже особенно важного значения для дела не имели. Кроме того, во внутренней тюрьме на Малой Лубянке, где следователи работали грубее и где уже была отработана обвинительная версия, по которой организаторами и наиболее активными участниками нашей антисоветской группы являлись ранее арестованные Сулимов, Фрид и Дунский, мы с Мишаней и Ниной Ермаковой находились недолго, а после нашего перевода на Большую Лубянку Следственная часть по особо важным делам, находившаяся в непосредственном подчинении наркома, которой поручили довести дело до кондиции, только отшлифовала материалы, а мне лично еще повезло и со следователем.

На Малой Лубянке меня "вел" капитан Макаров, о котором Валерик вспоминает очень хорошо, разглядев в нем даже что-то человеческое и симпатичное. Мне же он таким отнюдь не показался. Меня он допрашивал в первые дни после ареста примерно таким образом:

— За что вас арестовали?

— Не знаю, думаю, что по ошибке.

— Ах ты, такой-сякой, вражеская морда, нам же все равно все известно. Рассказывай.

— Если вам все известно, то зачем вам нужны мои рассказы, тем более что по закону бремя доказывания лежит на вас.

— Ах ты, такой-сякой. Забудь все, чему тебя учили в университете. Диплом мы тебе будем здесь выдавать.

Он мне казался психопатом и фанатиком. Маленький, худощавый, всегда злой, усталый и замученный, он, расписавшись у конвойного в получении моей арестантской личности, не обращая на меня никакого внимания, продолжал

что-то долго писать или делать вид, что пишет, а я начинал дремать, сидя на табуретке у стены. Просыпался я от его крика:

— Ты что сюда спать явился? Рассказывай.

— Я уже все сказал, больше мне рассказывать нечего.

— Ах ты гад, мать-перемать, — глаза его загорались диким блеском. — А про пулемет тебе тоже нечего рассказывать?

— Про какой пулемет?

И несколько следующих допросов сводилось только к вопросам об известных мне системах пулеметов. Не понимая, зачем следствию нужны такие сведения о моем пулеметном образовании, но чувствуя какой-то подвох, я, на всякий случай, всячески старался приуменьшить свое знакомство с пулеметами, ссылаясь на то, что моя служба в пулеметном батальоне была недолгой, так как вскоре меня из пограничного укрепрайона, где был расположен этот батальон, отправили вглубь Дальнего Востока, в стройбат, начинавший в то время сооружать военную гавань в бухте Находка.

— Вот, видишь, — радовался Макаров, — твое антисоветское нутро уже тогда раскусили. — И начинал уговаривать: — Ну вот если тебе дать какой-нибудь пулемет иностранного производства, ты ведь разберешься в нем, для этого большого ума не нужно.

— Не уверен, я вообще с техникой на "вы".

— Ты мне брось эти штучки, зачет по стрельбам из пулемета ты сдал на пятерку.

— Так это же из нашего станкового пулемета, а, кроме того, зачет по матчасти я сдал, вы же, наверное, это тоже знаете, еле-еле на тройку.

— Ах ты, мать-перемать, успел подготовиться к следствию. Зря мы тебе дали погулять лишних 4 месяца.

— Зря вы меня взяли...

Так вот и проходили почти все допросы на Малой Лубянке. Только впоследствии я узнал, что по сценарию, разработанному НКГБ, мы должны были стрелять в Сталина, когда он проезжал по Арбату, где жила Нина Ермакова, из немецкого авиационного пулемета. Кстати, впоследствии я узнал также, что окно в комнате Нины, из которого мы должны были стрелять, вообще выходило не на улицу, а во двор.

Но, видимо, осмотрительная скромность в описании моих пулеметных подвигов была не напрасной — в конце концов, самое страшное обвинение в подготовке теракта (ст. 58.8) было с меня снято. Справедливости ради необходимо отметить, что никто из моих однодельцев, как выяснилось впоследствии, и не давал показаний, которые хоть в малейшей степени могли служить основанием для такого обвинения, а некоторые из них даже прямо брали это обвинение на себя.

Но надо вернуться к событиям, предшествующим моему аресту. После ареста Валерика, Юлика и других дни шли за днями, а меня, Мишу и Нину не трогали, хотя иногда нам казалось, что за нами следят. Так прошло почти 3 месяца. 1 июля арестовали Мишу и Нину.

Начался самый страшный для меня период жизни. Я остался один. Никто меня в этом, естественно, не упрекал, но мне казалось, что все меня подозревают в том, что я — предатель. Да и мне самому после ареста Миши и Нины было

непонятно — почему же меня не берут. Особенно неловко я себя чувствовал в разговорах с Мишиной мамой[14]. Внимательно слушая мои заверения в том, что никаких преступлений мы никогда не совершали, и пронизывая меня насквозь своими черными, как у Миши, глазами, она, чеканя слова, делала логический вывод:"НКГБ зря не арестовывает. А тот факт, что тебе не было известно о каких-то их делах или высказываниях, лишний раз подтверждает, что таковые были. Поэтому тебя вот и не арестовали, что ты ничего об этом не знал".

Но иногда она в моих словах ухватывала какую-нибудь, с моей точки зрения, невинную мелочь и ужасалась: "Ну вот, а ты говоришь, что они ни в чем не виноваты! Разве можно так говорить о Сталине. Уже одно такое высказывание — преступление".

Так прошел еще месяц. В ночь на 4 августа 1944 года раздался стук в дверь: "Милиция. Проверка документов". Я сразу все понял и, несмотря на то что давно был готов к аресту, начал вдруг дрожать. Разозлившись на себя за эту неуемную дрожь, я обнаглел и, открыв дверь, пригласил незваных гостей заходить. "Ваши документы!" — потребовал от меня плотный мужчина со стеклянными глазами, одетый в коверкотовый плащ, вошедший первым. Всего их было трое, не считая дворничихи — понятой.

— Что комедию ломать? Давайте ордер на арест, товарищ Бокуров.

— Откуда вам известна моя фамилия? — вытаращились его стеклянные глаза.

— Мы тоже о вас кое-что знаем, — нахально отвечал я. (Его фамилия была известна мне из протоколов обысков, которые он проводил у Валерика, Нины и Миши. Это был нач. Свердловского райотдела МГБ, который "разрабатывал" нашу группу).

— Значит, подготовился уже к обыску и аресту, — сделал он вполне логичный вывод.

Наверное поэтому обыск делали поверхностно и быстро.

У подъезда нас ждала черная "эмка". Меня усадили в середину и привезли на Малую Лубянку. Не буду описывать процедуру приема там. Во-первых, эта процедура уже хорошо известна из литературы. А во-вторых, очень уж противно вспоминать.

О ходе следствия по делу тоже писать не буду, тем более что выше уже кое-что писал об этом. Скажу лишь еще раз, что я и Мишаня не признали себя виновными ни в чем.

Кто из моих друзей как ведет себя на допросах я, естественно, не знал, но в Мише, Валерике и Нине Ермаковой был уверен. Поэтому, когда меня, как упорного "несознанца" после еженощных допросов у Сорокина, а затем Родоса, Шварцмана и Дорона[15] вызвал сам Влодзимирский, который, объясняя бесполезность моего "запирательства", привел мне в пример других моих друзей, я нагло заявил, что если это действительно так, то почему же мне не дают очных ставок с ними. На его вопрос, с кем бы конкретно я хотел иметь очную ставку, я, естественно, назвал Мишу, Валерика и Нину. В следующую же ночь мне

[14] Позднее Ревекка Сауловна была сама арестована, подвергалась на Лубянке жестоким пыткам и вернулась домой в 1954 году инвалидом 1 группы.

[15] Родос и Шварцман были в то время замами Влодзимирского, а Дорон — прокурором, наблюдавшим за делом. Все они впоследствии разделили участь Влодзимирского.

устроили очную ставку с Валериком и Ниной, но с Мишей так очной ставки и не дали. Видимо, скрывая свой "брак" в работе, следователи доложили Влодзимирскому, что мои очные ставки прошли успешно, хотя особенного успеха следствию они не дали. Подробности этих очных ставок я сейчас не помню, но могу заверить, что никаких "изобличающих" меня показаний ни Валерик, ни Нина не дали. Более того, очной ставки с Ниной практически у меня не было. Меня долго держали одного в кабинете Шварцмана, а из соседней комнаты я слышал голос Нины: "Не буду говорить, не буду!" А когда ее, наконец, ввели в кабинет и она увидела меня, она только воскликнула: "Боже мой, что вы с ним сделали!" (Это было сразу после моей неудачной попытки самоубийства и выглядел я, наверное, соответственно). Задав ей пару формальных вопросов, ее быстро увели. Поэтому, когда через пару ночей Влодзимирский вновь вызвал меня и спросил, что же я теперь скажу, я ответил, что ничего нового сказать не могу. Недоуменно взглянув на присутствующего при этом Сорокина, Влодзимирский потребовал, чтобы ему принесли протоколы очных ставок. Бегло просмотрев протоколы и ткнув пальцем в какое-то место, он набросился на меня:

— Какая же ты блядь! Вот же Фрид показал, что ты был его единомышленником.

— Во-первых, он сказал, что это он считал меня своим единомышленником. А во-вторых, я и не оспариваю, что во многих вопросах наши мнения действительно совпадали, но ничего антисоветского в этих мнениях я не усматривал и не усматриваю.

— А вы говорили про Когана, что он волчонок, — обратился Влодзимирский к Сорокину, — да это матерый волк, туда его растуда. В одиночку его.

Кстати, Сорокин был очень доволен моим поведением на очных ставках и у Влодзимирского. Во-первых, очные ставки проводил не он, а во-вторых, он, естественно, опасался, что вдруг я "расколюсь" не у него.

Так с Мишей я на Лубянке ни разу и не увиделся, но из самого факта, что мне с ним очной ставки не дали, понял, что он тоже ничего не признает.

Первая встреча с ним после ареста произошла у меня только в Бутырской тюрьме, куда нас перевели после окончания следствия. Необходимость в нашей изоляции друг от друга уже отпала и нас всех вместе запустили в баню. Глядя на нас со стороны и не зная, где происходит наша встреча, наверное, можно было подумать, что несколько гомосексуалистов встретились после долгой разлуки на своей тусовке. Мы обнимались, целовались, весело гоготали, нежно мыли друг друга и говорили, говорили, говорили все вместе разом. Грустно было смотреть только на Володю Сулимова, который выглядел очень плохо и переживал не столько за себя, сколько за свою жену — Леночку Бубнову.

Естественно, что при этой неожиданной встрече мы прежде всего старались поделиться друг с другом новостями из нашей тюремной жизни. Кто с кем сидел, кто как себя вел, кто дал какие показания. Некоторые гордились своим героическим поведением и рассказывали, как они, издеваясь над не очень грамотными следователями, чеканили показания о своей активной антисоветской деятельности в стиле статей из "Правды" и речей Вышинского.

Нам с Мишаней в этом плане гордиться было нечем, но мы не осуждали наших товарищей за такой героизм, тем более что и они не упрекали нас в

трусости, хотя по их логике непризнание нами своей вины могло выглядеть именно как трусость. У нас не было оснований их осуждать, тем более что они за свой героизм получили более суровые сроки, чем мы.

Из разговоров с Мишаней помню только его реакцию на мой рассказ об аудиенции у Влодзимирского. В это время я регулировал в нашем душе кран с горячей водой. И вдруг он подпрыгнул, выскочил из душа, надел очки и уставился на меня. Я испугался, что ошпарил его. На самом деле оказалось, что он так темпераментно среагировал на пересказанные мною слова Влодзимирского. Я рассказал Мише, что, когда я в одиночке вскрыл себе вену, оставив записку (написанную кровью!), что кончаю жизнь самоубийством в знак протеста против гестаповских методов следствия в застенках НКГБ, после чего меня доставили к Влодзимирскому, он, прочитав мою записку, артистически захохотал, поднялся из-за стола во весь свой внушительный рост и, явно красуясь, изрек:

— Мы, большевики, не боимся исторических параллелей! Но ты хоть и учился на юриста, но плохо знаешь историю. Неужели ты не понимаешь, что гестаповцы — жалкие подражатели. Те методы, которыми они пользуются сегодня... мы от этих методов отказались еще в 39-м году. Ха-ха-ха!

— Эти его слова следует запомнить для истории, — сказал Мишаня. — Хотя думаю, что он тебе соврал для красного словца. А методы у них были и остаются одни. И совершенствуются они, взаимно обогащаясь опытом.

— Правильно, — подхватил, кажется, Юра Михайлов, — у них где-нибудь в Берне, наверное, функционируют курсы по обмену опытом.

Миша печально усмехнулся этой шутке и заметил:

— Нам бы такие курсы не мешало завести.

Курсов таких мы, конечно, так никогда и не завели, но из последующих отрывочных рассказов Миши о его встречах и беседах с А. Д. Сахаровым, Натальей Горбаневской, Флорой и Павликом Литвиновыми, Толей Марченко, Ларисой Богораз и другими диссидентами мне было понятно, что наш опыт бесследно для будущего поколения не прошел.

После бани я оказался, увы, в другой камере и не видел Мишу после этого более 5 лет. Находясь уже в лагере, который был расположен в Ховрино, я знал, что Миша пребывает где-то в "шарашке" под Москвой, а вскоре, поскольку он получил всего 3 года, попал под амнистию и живет в Горьком, работая по специальности, и иногда даже бывает в Москве.

Мне же удалось приехать на пару дней в Москву из Кзыл-Орды, где я находился после лагеря в ссылке, только летом 1950 года и то нелегально. Я получил разрешение на командировку в Красноярск, а маршрут следования мне не был заказан, и я, вместо того чтобы ехать, как само собой разумелось, поездом через Новосибирск, рискнул рвануть самолетом через Москву. По дороге в Красноярск я остановился в Москве у своей тетки, так как боялся появиться дома на родной Петровке, где меня знала каждая собака, в том числе все сторожевые псы. Я пробыл в Москве всего два дня, так как должен был вовремя прибыть в Красноярск и зарегистрироваться в тамошнем УВД. По известному мне домашнему телефону Миши я дозвониться не смог — никто не отвечал. Я попросил свою мать, пока я буду в Красноярске, как-нибудь

сообщить ему в Горький, что через две недели на обратном пути я снова буду в Москве.

И вот в мае 1950 года я снова прогуливаюсь по Москве с Мишаней. Он все тот же. Разве только стал чуть плотнее, а стекла его очков — еще толще. Но радость нашей встречи не заслонила от меня его мрачного настроения, связанного, главным образом, с беспокойством за судьбу матери. Ведь Ревекку Сауловну еще в 1948 году арестовали и никаких сведений о ее дальнейшей судьбе у Миши в то время не было. Ее трагедия мне была понятна. Ведь она, как мне казалось, не допускала тени сомнений в правильности генеральной линии Сталина и его, как тогда называли, карательной политики. Она была членом-корреспондентом Академии наук, работала заместителем директора Института мировой экономики, которым руководил в то время известный академик Е. С. Варга.

Я помню, как в 1943 году, когда мне нужно было сдавать экзамен по политэкономии социализма, а учебника по такому курсу в то время не было (как, по-моему, его нет и сейчас и вообще не может быть), Ревекка Сауловна разрешила мне готовиться к экзамену у них дома по какому-то сигнальному экземпляру подготовленного к выпуску такого учебника (возможно, это была корректура) с личными пометками Сталина на полях. На эти пометки она мне рекомендовала обратить особое внимание. И когда у меня возникали какие-то недоуменные вопросы, связанные с алогизмами корифея науки, никак не укладывающимися в прокрустово ложе марксистско-ленинского учения о социализме, Ревекка Сауловна возмущалась моей бестолковостью и непониманием мудрых мыслей корифея, творчески развивающего идеи Маркса — Ленина.

Поэтому я понимал, что для нее самым страшным потрясением были не физические страдания, хотя в ее возрасте и их было не так просто выдержать, а внезапный и полный крах ее мировоззрения.

Что я мог сказать в такой ситуации в утешение Мише? Единственные слова, которые я нашел тогда, это напоминание о том, что Сталину уже 71 год и, судя по его последним публичным выступлениям, ему уже недолго осталось жить. "Грузины долго живут, да разве дело только в одном Сталине?" — грустно ответил Миша. И, как раньше, чуть нараспев выдал:

Россия казней, пыток, сыска, тюрем,
Страна, где рубят мысль умов сплеча,
Страна, где мы едим и балагурим
В кровавый час деяний палача.

Признаюсь, я тогда воспринял эти прекрасные стихи Бальмонта как собственное творчество Мишани. И как когда-то, стараясь придерживаться предложенного мне стиля беседы, ответил действительно своим собственным четверостишием, которым я утешался когда-то в одиночке на Лубянке:

Но час возмездия настанет,
И неизбежное грядет,
И тот, кто нынче нами правит,
Пред нами завтра ниц падет.

Видимо, по достоинству оценив примитивность моей рифмы и ухмыльнувшись, Миша продолжил:

Пока усатый все-таки живой.
Мы час возмездья ждать не будем,
Давай побродим по Москве с тобой,
А заодно и поедим, побалагурим.

И мы пошли бродить по улицам любимого города, по исхоженным ранее вдоль и поперек переулкам в центре, где почти каждый дом напоминал нам, несмотря на все, годы нашего счастливого детства, вспоминали друзей, рассказывали о себе, обсуждали события в стране, переживали за ее сокрытое во мгле будущее.

Из конкретных тем, которые мы тогда обсуждали, помню, что речь шла, в частности, о трагической смерти Михоэлса, последующем разгроме его театра и всех еврейских периодических изданий, а затем и Еврейского антифашистского комитета. Мы оба не сомневались, что Михоэлс был убит по заданию Сталина, который, зная о его огромном авторитете в мире, не мог, не устранив вначале его, приступить к осуществлению своих грандиозных антисемитских замыслов, уже наметившихся в оголтелой кампании борьбы с космополитизмом.

Помню, что мы прошлись по Маросейке, затем по памятной нам навсегда Лубянской площади, зашли в невиданное ранее мной новое кафе, в котором пиво разливалось, как газированная вода, прямо из автоматов, но там задерживаться не стали, а в конце концов оказались в кафе "Артистическое", напротив МХАТа и там уже посидели, заказав бутылку водки, бульон с гренками и фирменные блинчики с мясом.

Миша рассказывал о своей жизни в Горьком неохотно. Я понял, что там ему с трудом помог устроиться Михаил Александрович Леонтович, под руководством которого он работал еще до ареста. В Горьком он сблизился с многими известными физиками, из которых в первую очередь следует назвать А. А. Андронова и Г. С. Горелика. Несмотря на успешную защиту диссертации и впервые им созданный курс по электродинамике сверхвысоких частот, его всячески прижимали. Видимо, органам не нравилось его общение с Андроновым и другими физиками, которые в то время работали по закрытой тематике. По Мишиному настроению и недомолвкам я понял, что его могут в ближайшее время выпереть из Горького и он обеспокоен поиском работы в других городах.

Неохотно рассказывая о себе, Миша вместе с тем с интересом расспрашивал меня о Кзыл-Орде, о моей новой жене Нине Балабинской, которая по традиции декабристов добровольно приехала ко мне в ссылку из Москвы, о моей командировке в Красноярск.

После второй рюмки я расхвастался своим первым серьезным успехом в юриспруденции, проявившимся в Красноярске, где я выиграл судебное дело против Красноярского УВД, которое предъявило иск к Кзыл-Ординскому мясокомбинату на 2 миллиона рублей (в то время — огромные деньги!) за отгрузку эшелона солонины, настолько по дороге протухшей и кишевшей червями, что начальство УВД не решилось пустить ее даже на кормежку заключенным.

Мишаня внимательно меня слушал и иногда ставил в тупик своими уточняющими вопросами.

Он дотошно расспрашивал меня об этом деле. Дело было довольно тонкое по правовой оценке доказательств, основанных не столько на общих нормах гражданского законодательства, сколько на подзаконных ведомственных нормативных актах и правилах оформления приемки скоропортящейся продукции, которых Миша, естественно, не знал.

Но, выслушав мои подробные пояснения и задав пару вопросов по существу разработанной мною позиции для выступления в суде, Миша неожиданно обнаружил логический изъян в цепочке моих рассуждений, который, как мне казалось, никто, кроме меня самого, заметить не мог. Во всяком случае, этот изъян не заметили ни мои оппоненты-юристы, защищавшие интересы УВД, ни "высокий" Красноярский краевой суд. (Забегая вперед, хочу заметить, что в будущем, когда я уже был достаточно опытным адвокатом, я иногда по наиболее сложным своим делам использовал эту способность Миши к тонкому логическому анализу, чтобы обсудить с ним разработанную мною позицию. И в будущем, как и по моему красноярскому делу, Миша иногда обнаруживал такие, казалось, совсем незаметные передержки в логике моих рассуждений, на которые не обращали внимания даже опытные юристы).

Охладив таким образом мой задор в рассказе о моем первом успехе в суде, Миша заметил, что, конечно, в Кзыл-Орде или даже Красноярске я, может быть, и сойду за хорошего юриста, но нужно думать о будущем, ведь я сам сказал, что "неизбежное" грядет, ну если не "завтра", как я легкомысленно утверждал в своем четверостишии, то через десяток лет. А для того чтобы быть готовым к возврату в Москву и работе по специальности, надо прежде всего использовать время в ссылке, чтобы закончить университет.

А когда я заказал вторую бутылку водки, Мишаня покачал головой и вновь вернулся к этой теме: "Ты вот рассказывал, что твой директор к тебе очень хорошо относится, без тебя даже не обедает и к тому же кормит все областное начальство. Чем пить с ним каждый день и вернуться в Москву алкоголиком, попроси его помочь тебе закончить заочно в Алма-Ате университет".

Я, конечно, и сам все это понимал и собирался так и поступить, но Мишины слова и, главное, его пример придали мне, как теперь говорят, новый импульс.

На следующий день я разыскал в МГУ профессора А. Н. Трайнина, у которого я был до ареста одним из любимых учеников. Выслушав мою исповедь, Арон Наумович обещал мне помочь и свое слово сдержал. Примерно через месяц после возвращения в Кзыл-Орду я получил от него (конечно, через маму) письмо за подписью начальника отдела юридических вузов Министерства высшего и среднего образования СССР, которым мне было разрешено "в порядке исключения" сдать экстерном госэкзамены в Алма-Атинском юридическом институте.

Поэтому в 1956 году после реабилитации я возвратился в Москву уже с дипломом юриста, да еще со справкой об успешной сдаче экзаменов за три курса экономического вуза, что позволило мне еще через год получить второй диплом.

Но до реабилитации и окончательного возвращения в Москву мне удалось свидеться с Мишаней еще летом 1955 года, когда мой директор организовал мне командировку прямо в Москву.

Миша только что вернулся в Москву из Тюмени, где он после Горького проработал четыре года в пединституте, и жил уже на Щукинской у Леонтовичей.

В это время в Пушкинском музее была выставка картин из Дрезденской галереи перед возвращением картин в ГДР. Мы назначили с Мишей свидание прямо на Волхонке, в очереди желающих попасть на выставку. В этой очереди я и познакомился со всей семьей Леонтовичей. Миша представил мне Наташу, с удовольствием заметив, что не только моя жена, как декабристка, приехала ко мне в ссылку, но вот и Наташа за ним последовала в Тюмень. Наташа выглядела еще совсем девочкой, да ей и было всего 20 лет. Она, конечно, была в курсе нашей многолетней дружбы с Мишей и тут же пригласила меня на субботу и воскресенье в Тучково, где у Михаила Александровича был в то время деревенский, а точнее, купленный у раскулаченного попа дом рядом с разрушенной в войну церковью и погостом на высоком берегу Москвы-реки. Я с удовольствием принял это ее предложение и провел в блаженстве два дня в семье Леонтовичей, будучи покорен простым и скромным образом жизни семьи академика.

Миша, очевидно специально для меня, припас бутылку водки, вторую я привез с собой, но под овсяную и даже гречневую кашу, да еще в компании непьющего Михаила Александровича я, чтобы не компрометировать Мишу, старался не очень проявлять свои алкоголические способности, довольствуясь парным молоком, имевшимся в изобилии.

В Тучкове мы обсудили перспективы нашей реабилитации. Я показал Мише специально привезенные для этой цели копии своих многочисленных жалоб, посланных Генеральному прокурору СССР. Миша просмотрел их и посоветовал пойти на личный прием в Главную военную прокуратуру, где, по его сведениям, находилось в то время наше дело.

К моему удивлению, меня там сразу принял полковник юстиции Занчевский. Какую должность он занимал в то время — не помню, но позже он был замом Главного военного прокурора. Когда меня проводили в его кабинет, я увидел на его столе 2 тома из нашего дела. Один том был мне знаком и содержал следственные материалы, касавшиеся лично меня, а второй том — мои многочисленные жалобы, которые он с любопытством перелистывал.

Затем, с интересом посмотрев на меня, Занчевский задал мне только один вопрос:

— А почему вы ни в одной из своих жалоб не писали, что окна из комнаты Ермаковой выходят не на Арбат, а во двор?

Я ответил так, как было на самом деле:

— Я бывал у Нины только вечерами, когда все окна были занавешены из-за светомаскировки.

Занчевский пометил что-то в блокноте и сообщил, что в ближайшее время по нашему делу будет принесен протест в Военную коллегию Верховного суда СССР.

— Есть надежда? — спросил я.

— Наши протесты, как правило, удовлетворяются, — ответил полковник.

— А можно еще один вопрос? — осмелился я. — Вот у меня ответ на мою последнюю жалобу, написанную уже после смерти Сталина, и опять отписка, что все правильно.

Занчевский тяжело вздохнул.

— А вы представляете, сколько у нас сейчас таких дел? Мы не можем автоматически опротестовать все решения Особого совещания. Ведь среди репрессированных были и настоящие преступники. Надо тщательно разобраться с каждым делом. Да еще Берия всячески тормозил нашу работу. А сейчас у нас развязаны руки.

После этого визита к Занчевскому прошло еще несколько месяцев до нашей реабилитации, которая последовала в мае 1956 года.

Но до этого я еще раз встречался с Мишей в апреле 1956 года, когда я был вызван в Москву в связи с трагической гибелью сына, не дожившего месяц до нашей реабилитации. Естественно, что при этой встрече никаких разговоров с Мишей я не помню. Помню только, что он на похоронах больше уделял внимания не мне, а Леле Коншиной, что было вполне понятно, так как из всех присутствовавших на похоронах моих друзей он знал ее раньше и лучше других (Валерика и Юлика в то время в Москве еще не было).

Следующая наша встреча состоялась уже после нашей реабилитации, когда он, Валерик и Юлик встречали меня с женой и нашей четырехлетней дочерью в июле 1956 года на перроне Казанского вокзала.

Снова в Москве

После реабилитации и моего окончательного возвращения в Москву наша дружба с Мишей, Валериком и Юликом еще более окрепла, встречи наши стали регулярными и рассказывать о них можно очень много.

Миша уже был доктором наук, ученым, известным своими фундаментальными работами в радиофизике и по плазме.

Валерик и Юлик вскоре стали известными кинодраматургами, а я еще долгое время прозябал на юрисконсультской работе, так как моя попытка сразу же поступить в адвокатуру была неудачной. Президиум Московской городской коллегии адвокатов отказал мне в приеме, вежливо сославшись на отсутствие вакансий.

Думаю, что об этом периоде жизни Миши Левина расскажут подробнее и лучше другие его друзья.

Многие годы я, Валерик, Юлик и другие друзья Миши любили проводить у него в Абрамцеве Новый год. Большая елка с неизменными стеариновыми свечами, хороший стол и даже лунные пробеги на лыжах по лесу в новогоднюю ночь не были главным удовольствием этого праздника.

Главным событием в Новый год являлся для нас в Абрамцеве всегда острый и остроумный капустник, участником которого бывал сам Михаил.

Надеюсь, что какие-нибудь его стихи или фонограммы этих капустников сохранились у Наташи.

А теперь позволю себе коснуться нескольких эпизодов из своей новой московской жизни, в которых Миша играл опять-таки немаловажную роль.

Первый такой эпизод, имевший важнейшее значение для всей последующей моей жизни, касался моей работы.

Дело в том, что юрисконсультская работа в то время была не в почете и плохо оплачивалась, а мне нужно было содержать семью. Поэтому я серьезно задумывался над предложениями перейти, как говорят, на хозяйственную работу. Среди этих предложений были достаточно заманчивые, по крайней мере материально. Но когда я рассказал Мише об одном таком, как мне казалось, самом заманчивом предложении работать заместителем директора недавно введенного в эксплуатацию нового Останкинского мясокомбината, Мишаня ужаснулся:

— Ты что, с ума сошел? Тебе мало срока, который ты отсидел? Там же сплошное воровство. Тебе придется или участвовать в этом воровстве, или тебя оттуда выгонят через месяц с позором. Но даже не в этом главное: ты же — юрист. И не только по образованию, а по образу мышления. Да, сегодня эта специальность непрестижна и плохо оплачивается. Но хороший юрист может всегда подработать по совместительству. А тебе надо защититься и тогда тебе не смогут отказать в адвокатуре. Там не так много адвокатов со степенью.

Он и на этот раз оказался прав.

Через пару лет я из рядовых юрисконсультов выбился в начальники договорно-претензионного отдела одной крупной торговой фирмы, еще через пару лет защитился и перешел на работу старшим научным сотрудником правового отдела одного ведомственного НИИ, затем стал зав. отделом правовых проблем этого института и в 1975 году был принят в члены Московской коллегии адвокатов[16].

Пока я был на рядовой, юрисконсультской, работе Миша умел незаметно и корректно помогать мне материально, и, что более важно, всегда поддерживал меня морально.

Помню одно смешное судебное дело, которое мне довелось проводить в Харькове и которым Миша и Валерик за меня очень гордились, заставляя меня рассказывать о нем в каждой новой компании, а иногда сами рассказывали о нем[17].

Стоит вспомнить, как Миша и Наташа предоставили в мое распоряжение свою новую квартиру на Соколе, когда я взялся ради заработка составлять сборник действующих законодательных актов по торговле. Я с семьей тогда жил в 12-метровой комнате в коммунальной квартире, в которой негде было даже разложить систематизируемые мною документы. Этот сборник выдержал три издания, и каждый раз я пользовался для работы квартирой Миши.

Считаю необходимым вспомнить заботу Миши и Наташи обо мне, когда я после двухмесячного пребывания в Институте неврологии с подозрением на опухоль мозга потерял веру в себя и пребывал в тяжелой депрессии. Чтобы встряхнуть меня, они уговорили поехать с ними на байдарках в поход по реке Великой с заездом в село Михайловское и Псков. Это было чудесное путешест-

[16] См. примечание 15.

[17] См. примечание 16.

вие, о котором я и моя дочь до сих пор вспоминаем с удовольствием. Кроме того, я, как они и рассчитывали, вернулся из похода совершенно здоровым и вновь уверовавшим в себя.

На следующее лето, наверное из тех же соображений, Миша с Наташей пригласили меня с семьей провести отпуск вместе с ними в Рагациемсе, под Ригой. Там я под неусыпным наблюдением Миши закончил писать диссертацию, над темой которой Мишаня иногда иронизировал. Я не обижался, поскольку понимал, что для физика, привычного к математически точным формулировкам, название моей темы могло показаться курьезным[18].

Между тем, не претендуя, конечно, на гениальность предвидения, я в своей диссертации в то время в меру своего разумения пропагандировал идею отказа от централизованного управления движением товаров и организацией сети так называемых складов общего пользования — прообраза нынешних консигнационных складов.

И еще один эпизод из моей жизни, о котором, вспоминая Мишаню, я не имею права не написать.

В 1986 году я, уже будучи довольно известным адвокатом, защищал подростка, которому было предъявлено обвинение в умышленном убийстве из хулиганских побуждений. Олег (так звали подростка) сам явился в милицию с повинной через 2 дня после обнаружения трупа. Когда его мать обратилась ко мне за помощью, Олег уже 3 месяца находился под стражей. Я ознакомился с материалами дела и побеседовал с Олегом. Для меня не представляло сомнений, что он взял на себя чужой грех. Его показания были непоследовательными и противоречивыми. Это был тот случай, когда этого просто не могло быть, потому что такого не могло быть никогда. 16-летний щуплый мальчишка, да к тому же еще хромой, никогда ни в чем предосудительном ранее не замеченный, ни с того ни с сего убил здоровенного мужика-таксиста, вытащил из автомашины труп весом более 90 килограммов, перетащил его на себе на расстояние около 150 метров и утопил в канаве. Деньги, часы, цепочка и другие ценности убитого оказались на месте. Обращало на себя внимание отсутствие следов крови на одежде Олега, хотя из многих ножевых ран, обнаруженных на убитом, по заключению экспертизы фонтанировала кровь.

Кроме того, я не мог поверить, чтобы подросток, никогда ранее не управлявший автомобилем, сумел отогнать автомобиль убитого из Москвы аж в Ярославль. Олег при первом свидании со мной заявил: "А зачем вам меня защищать? Я убил. Признаю. Не нужно меня защищать". Я ему объяснил, что по закону нельзя судить несовершеннолетнего без защитника. А если он настаивает на своих показаниях, в которых признает себя виновным в убийстве, — это его личное дело, хотя я ему не верю и постараюсь в суде доказать, что он себя оговаривает. И действительно, мне удалось это сделать. Суд по моему ходатайству возвратил дело для дополнительного расследования[19].

---

[18] "Правовое регулирование хранения товаров в торговле".

[19] В конечном счете дело против Олега было прекращено по мотивам недоказанности его вины, а настоящие убийцы так и не были привлечены к ответственности, хотя на дополнительном следствии Олег их прямо указал: один из них работал в милиции, а второй был сыном генерала МВД.

После этого меня вызвал высокий чин из ГУВД Московской области и посоветовал под каким-нибудь благовидным предлогом отказаться от дальнейшего участия в деле. Я, естественно, вежливо ответил, что не вижу никаких оснований для этого. Тогда меня попытались устранить из этого дела, допросив в качестве свидетеля. Я, естественно, опять же вежливо отказался давать показания в качестве свидетеля, сославшись на закон, запрещающий допрашивать адвоката в качестве свидетеля по обстоятельствам, которые ему стали известны в связи с выполнением профессиональных обязанностей защитника.

"Ну, смотрите, вам же будет хуже", — предупредил меня тот же высокий чин.

И мне действительно стало хуже. Пока дело Олега находилось на дополнительном расследовании, в юрконсультации, где я работал, изъяли более 200 регистрационных карточек за последние 6 лет моей работы, в которых были зафиксированы имена и адреса моих бывших подзащитных и клиентов. Их стали вызывать в прокуратуру, пытаясь получить от них какие-нибудь компрометирующие меня материалы. Многие из них мне звонили и рассказывали, как их кого посулами, кого угрозами понуждали дать на меня "компромат". Я понимал, что дело мое плохо. Где гарантия, что среди двухсот человек не найдется хотя бы несколько слабовольных, которые не устоят перед посулами или угрозами?

Я вынужден был обратиться за помощью в прессу и к общественности. "Литературка" дважды выступила с очерками об "истории строптивого адвоката". В мою защиту выступили известные ученые-юристы А. М. Яковлев, И. Л. Петрухин, В. М. Савицкий. Однако все было тщетно. Прокуратура в то время уже перестала реагировать на выступления печати. Все мои официальные жалобы на незаконные действия УВД и прокуратуры оставались без внимания. Днем я выступал в суде по делу Олега, а вечером сам ходил на допросы в качестве подозреваемого. Днем за мной демонстративно следили, а по ночам не давали спать телефонными звонками с угрозами вроде таких: "Ты еще дома, жидовская морда? Тебе уже приготовлена камера в Лефортовской тюрьме".

Моя нынешняя и, надеюсь, последняя жена Валя уже сушила сухари и собирала вещи в дорогу, чтобы тоже продолжить традицию жен декабристов. Ее вызывали на допрос и запугивали, но она держалась молодцом и послала следователя куда следует.

Что же делать? Второй раз в жизни и на старости лет я не выдержал бы тюрьмы.

Все мои друзья помогали, чем могли. В газеты пошли многочисленные отклики на опубликованные по этому делу статьи. Писали ученые, писатели, киношники, простые рабочие. Один из таких откликов академиков на статью В. М. Савицкого был опубликован даже в "Правде". Ничего не помогало. Прокуратура и МВД закусили удила. Дело было уже не только во мне. Незадолго перед этой историей Политбюро приняло очередное (в который раз!) постановление о мерах борьбы за "социалистическую" законность и усилении охраны прав личности (!!), в котором содержалась серьезная критика работы так называемых правоохранительных органов.

И каждый раз одной из практических мер усиления борьбы за "соцзаконность" являлось преследование адвокатуры. Уже прошел процесс, по которому были осуждены два адвоката Московской областной коллегии, был арестован еще один адвокат. "Правоохранительные" органы старались доказать, что корень всех зол в адвокатах. Я со своим делом Олега был находкой для них. Хотя во всех ответах на мои жалобы содержались заверения в том, что возбужденное против меня уголовное дело никак не связано с делом Олега.

Мишаня, естественно, был в курсе моего дела с самого начала. И вот с его одобрения я решил прибегнуть к крайней мере. Ведь в то время Горбачев провозгласил курс на построение правового государства, демократизацию и возврат России в мировое цивилизованное сообщество. Секретарем ЦК, курирующим правоохранительные органы, был назначен Лукьянов. И мы с Мишаней решили (как это нам в душе ни претило), что мне надо обратиться непосредственно к Лукьянову.

До этого я обо всем сообщил моей дочери, проживающей в Германии, и переслал ей все материалы по этому делу. Почти ежедневно я с ней перезванивался по телефону, зная, что все эти разговоры, конечно, прослушиваются. Она меня правильно поняла и демонстративно громко говорила по телефону, что все западноевропейские общественные организации по защите прав человека и даже "Международная амнистия" готовы выступить в мою защиту. Я просил задержать их выступления до результатов рассмотрения моего письма Лукьяновым. На всякий случай весь свой архив я оставил у Мишани, который тоже должен был пустить его в ход при необходимости.

И вот в один прекрасный во всех отношениях день, когда я под окном нашей квартиры копался в двигателе своего автомобиля, Валя через окно крикнула мне, что меня просят к телефону из ЦК. Я вприпрыжку побежал к телефону.

— Вы писали письмо Анатолию Ивановичу Лукьянову?

— Писал.

— Анатолий Иванович вас примет в среду в 15 часов. Не забудьте захватить с собой партбилет.

— Извините, чего нет, того нет.

Пауза.

— Тогда захватите паспорт. На посту будет известна ваша фамилия.

По дороге в ЦК я заехал, конечно, к Мише. Показал ему подготовленную мною справку "О некоторых вопросах, связанных с необходимостью улучшения работы правоохранительных органов и повышения роли адвокатуры в защите прав личности".

Миша текст моей справки одобрил. И на прощанье, хлопнув меня по плечу, сказал:

— Только не робей. Будь самим собой!

Так я и держался. Стоит заметить, что во время моей аудиенции у Лукьянова, продолжавшейся более часа, он не задал мне ни одного вопроса по моему делу. Беседовали "за жизнь". Он угощал меня чаем с молоком. Одобрил все мои предложения, в том числе по разделению функций следствия и проку-

рорского надзора, изменению системы оплаты труда адвокатов, организации союза адвокатов, созданию в юридических вузах спецкурса "Адвокатура" и еще что-то. Все, кроме одного, кроме отмены смертной казни.

— Я лично тоже против смертной казни, — сказал А. И. Лукьянов, — но народ нас не поймет. Я обещаю, что по экономическим преступлениям смертная казнь будет отменена, а по тяжким преступлениям против личности — это преждевременно.

Как я уже написал выше, в беседе с Лукьяновым моего личного дела мы не касались. Он ничего не спрашивал, а я лишь в самом начале беседы сказал, что написал ему письмо отнюдь не только потому, что беспокоюсь о своей судьбе, а считаю, что в моем деле обнажились общие недостатки нашей системы и порочная практика работы правоохранительных органов. Тем не менее, когда после визита в ЦК я через 15 минут явился в Президиум коллегии адвокатов, мне радостно сообщили, что им уже звонили из Прокуратуры республики и просили забрать там все мои регистрационные карточки.

Через неделю я получил официальное сообщение зам. прокурора РСФСР о прекращении моего дела и отстранении от работы следователя Коротаева, который возбудил и вел это дело.

Об участии Миши в общественной жизни наверняка полнее и лучше меня напишут другие. Могу указать лишь, что, когда я как-то (еще в тот период, когда мы наивно верили в перестройку) попросил Мишу взять меня с собой на очередное собрание "Московской трибуны", он мне решительно отказал: "Тебе там делать нечего. Ты за это время можешь помочь хоть какому-нибудь одному человеку. Каждый твой успех в конкретном деле стоит дороже десятка наших резолюций. И кроме того, там полно стукачей. Хотя тебе к ним не привыкать, но твое участие в "Московской трибуне" может лишь тебе повредить. Я беспокоюсь не за твою адвокатскую карьеру, а за судьбу твоих подзащитных. Ты и так зря вылез по телеку против прослушивания телефонов. Это, думаешь, прошло незаметно? Ведь депутат Струков с трибуны съезда тебя не зря поливал за это. Наплевать, конечно, на этого идиота. Но ведь он работает где-то в Курске старшим следователем прокуратуры. А сколько таких идиотов в прокуратуре работает? И каково будет твоему подзащитному, когда он попадет в руки такого идиота. Нет, тебе высовываться, пока ты работаешь адвокатом, нельзя".

По рекомендации Миши ко мне обратился Андрей Дмитриевич Сахаров с просьбой, чтобы я принял на себя защиту в Верховном Суде РСФСР интересов бастующих воркутинских шахтеров. Это был первый в истории советского правосудия открытый процесс, в котором суду предстояло решить вопрос о правомерности или незаконности объявленной шахтерами забастовки. Мы все, конечно, понимали предрешенность исхода дела, но считали необходимым всеми силами поддержать бастующих и использовать трибуну для демонстрации полной зависимости суда от существовавших еще тогда партийных органов. Не знаю, как со стороны, но, на мой взгляд, в какой-то мере нам это удалось.

Андрей Дмитриевич обратился в Верховный Суд с письмом, в котором совершенно обоснованно указывал на неправомерность рассмотрения этого дела в суде на основании Закона о порядке разрешения коллективных споров, спешно

принятого Верховным Советом уже после начала забастовки. По существу, этому закону придали обратную силу. Такое вопиющее нарушение одного из важнейших принципов права было и в данном деле диким, поскольку забастовщикам вменяли в вину несоблюдение предзабастовочной процедуры урегулирования спора с администрацией (точнее, в данном случае с правительством, руководители которого непосредственно вели переговоры с шахтерами), а в момент начала забастовки такой процедуры вообще еще не было установлено.

Но и это нарушение основополагающего принципа правового государства меркло рядом с другим, может быть, внешне не столь значительным нарушением процессуального закона.

Дело в том, что в Верховный Суд РСФСР обратились коллективы нескольких бастующих шахт. Все их дела суд объединил в одно производство. Но на момент рассмотрения дела в Верховном Суде РСФСР кассационные жалобы некоторых шахт в канцелярию суда еще не поступили. Более того, в Верховный суд от этих шахт поступали телеграммы с сообщением о выезде их представителей для участия в судебном заседании.

За всю свою многолетнюю адвокатскую практику я не знаю другого случая, чтобы кассационная судебная инстанция рассмотрела дело по существу до получения кассационных жалоб и явки представителей стороны, пожелавшей участвовать в судебном заседании. Естественно, что первым моим ходатайством в суде было ходатайство о переносе рассмотрения дела на более поздний срок, чтобы дождаться получения высланных шахтерами жалоб и приезда их представителей. "Высокий" (самый "высокий" в республике) суд оказался в затруднительном положении. Был объявлен перерыв на 15 минут, который продолжался фактически более двух часов. Мне было понятно, что судьи побежали к руководству Верховного суда за советом, а руководство Верховного суда запрашивало "мнение" ЦК. Дело в том, что на следующий день была назначена встреча делегации шахтеров с самим Рыжковым, а для разговора с шахтерами Рыжкову не мешало иметь на столе решение суда о признании забастовки незаконной. Выступив по делу с речью, в которой сказал все, что считал нужным и возможным, и заявив о своей уверенности в том, что суд наверняка понимает справедливость моих доводов, но, увы, насколько я понимаю, после двухчасового перерыва не может вынести законного решения, я, извинившись перед присутствующими шахтерами, демонстративно покинул зал судебного заседания, не дожидаясь судебного решения.

Когда я рассказал Андрею Дмитриевичу о том, как проходил процесс, он отреагировал на мой рассказ только одним словом: "Страшно!" Миша был тоже удручен.

Что еще я могу вспомнить об участии Миши в общественной жизни? Он был одним из авторов и консультантом редколлегии сборников "Память", которые выпускал "Мемориал".

Он принимал активное участие в сборе средств (и сам, конечно, давал деньги) для материальной поддержки семей осужденных диссидентов и оставшихся без работы отказников. Но он никогда не рекламировал своих подвигов и предпочитал оставаться в тени своих друзей, являясь на самом деле часто вдохновителем и верным их сподвижником.

Ведь даже о его подвигах, когда он, в 1980–1986 годах отваживался, один из немногих, если не единственный, навещать опального и строго охраняемого А. Д. Сахарова в Горьком, его ближайшие друзья узнавали только *post factum*.

Вскоре после последней поездки в Горький для встречи с Андреем Дмитриевичем Мишу случайно на улице Кирова сбил автомобиль. Подробности происшествия Миша не помнил, так как очнулся только в больнице Склифосовского. У него были установлены переломы ключицы и тазовых костей.

Когда я явился к нему в больницу, он лежал в позе лягушки. Ноги его были растопырены и пропущены через какие-то висячие кольца. Детям он определил свое положение двустишием:

Меж двух растянутых колец
лежит растерзанный отец.

А мне он на вопрос о его состоянии ответил еще короче: "Очки, слава Богу, целы".

Среди других встреч с Мишей в последние годы стоит вспомнить посещение персональной выставки Бори Биргера – одного из героев знаменитой выставки в Манеже. Если не ошибаюсь, это была первая персональная выставка Биргера в России после того, как в Европе прошло уже много таких его выставок.

Выставка картин Биргера заслуживает особого упоминания в этих записках, так как в центре самого большого зала Центрального дома художников красовался замечательный портрет Михаила Львовича Левина, в котором художник сумел схватить и изобразить настоящего Мишу, каким мы его знали и любили. Встретившись уже после смерти Миши с Биргером, я слезно умолял его продать мне этот портрет, но Боря мне категорически отказал, сославшись на то, что портрет Миши он никому никогда не продаст, так как он дорог ему самому как память о Левине[20].

О самых последних встречах с Мишей я писал вначале. В заключение скажу только, что его смерть была самой тяжелой утратой в моей жизни.

До скорой встречи, Мишаня!

Примечания автора

1. Валерий Фрид – наш общий друг, которому я, кроме всего прочего, обязан тем, что именно он познакомил меня с Мишей. Будучи студентом ВГИКа, в 1944 году был арестован по одному делу со мной и Мишей. По решению ОСО получил 10 лет лагерей. После отбытия срока находился на "вольном поселении пожизненно" в Инте. В 1956 году реабилитирован вместе с нами. В настоящее время В. С. Фрид – известный кинодраматург, написавший в соавторстве с Ю. Т. Дунским (о нем см. ниже) сценарии, по которым создано много кинофильмов, некоторые из них, по моему мнению, должны войти в золотой фонд российского кинематографа ("Служили два товарища", "Гори, гори моя звезда" и

[20] Фотокопия этого портрета воспроизведена на страницах этой книги; к сожалению, в черно-белом представлении.

др.). Заслуженный деятель искусств, руководит мастерской на сценарных курсах. Женат. Имеет двоих детей и двоих внуков.

2. Юлий Дунский в то время учился в параллельном классе нашей школы. После окончания школы он вместе с Валериком Фридом поступил во ВГИК. В 1944 году был арестован вместе с нами и получил свои 10 лет. Отбыв срок в лагере, находился вместе с Фридом "на вечном поселении пожизненно" в Инте. После реабилитации окончил ВГИК и в соавторстве с В. Фридом написал много хороших сценариев. В 1976 году Ю. Т. Дунскому, как и В. С. Фриду, было присвоено звание заслуженного деятеля искусств. Страдая много лет астмой, чтобы избавить себя и близких от мучений, вызванных его болезнью, в 1982 году покончил с собой. Его смерть явилась тяжелой утратой для нас всех. Я был вызван телеграммой Валерика из Ужгорода, где в то время находился, защищая "спекулянта" по фальсифицированным материалам только за то, что он отказался от сотрудничества с КГБ. Я запомнил Мишу на поминках Юлика. Он был почти полностью "отключен" от окружающих и находился в состоянии, близком к тому, что медики называют "ступор". Я обнял его и сквозь слезы пытался что-то сказать, но он никак на это не реагировал, продолжая молча смотреть в одну точку, чуть покачивая головой.

3. Отец Нины Браун был в свое время, насколько мне известно с ее слов, левым эсером и неоднократно подвергался репрессиям до 1917 года и еще чаще после. В 1937 году был арестован в который раз и погиб где-то в лагере. Мать Нины тоже была репрессирована как член семьи изменника родины (ЧСИР). Нина окончила школу одновременно со мной и поступила на филологический факультет МГУ. После начала войны пошла служить медсестрой в госпиталь. В 1948 году окончила университет и была направлена на работу преподавателем литературы в одну из московских школ. Перед началом учебного года поехала навестить мать, находившуюся в Воркуте. Через две недели по возвращении в Москву была арестована и по решению ОСО направлена в лагерь на 8 лет. В 1956 году реабилитирована. Работала преподавателем в школе. Оказалась одним из лучших в Москве преподавателей литературы в старших классах. Но болезнь, приобретенная еще в лагере, медленно и верно сделала свое дело. В 1986 году умерла во время очередной операции.

4. Отец Майи Владимировой, член РСДРП с 1899 года, был одним из организаторов профсоюзов в России. В 1907 году был приговорен военно-полевым судом к каторжным работам. После революции был крупным профсоюзным работником. За принадлежность к так называемой "рабочей оппозиции" (1921) был исключен из партии, а в 1938 году расстрелян как враг народа. Мать Майи была также репрессирована (ЧСИР). Майя окончила вместе со мной школу и поступила на мехмат МГУ. Работала по специальности до ухода на пенсию. Благополучно живет в Москве, где мы изредка встречаемся.

5. Отец Наташи – И. Т. Смилга, член РСДРП с 1907 года, до 1917 года неоднократно подвергался репрессиям за свою революционную деятельность. С 1917 года член ЦК РСДРП. В годы гражданской войны – член РВС республики. Один из основателей Госплана СССР. Был ректором Плехановского института. В 1927 году был исключен из партии и репрессирован как лидер левой оппозиции. В 1930 году восстановлен в ВКП(б) и работал на ответственных должностях в народном хозяйстве. В 1937 году вновь арестован и расстрелян за участие в КРТО. Реабилитирован в 1987 году. Сама Наташа, окончив школу, вышла замуж за нашего одноклассника. В 1949 году репрессирована. В 1956 году реабилитирована. Преподавала музыку. В 1970 году умерла от инфаркта.

6. Отец Алексея – А. К. Гастев, член РСДРП с 1907 года. До 1917 года неоднократно подвергался репрессиям за революционную деятельность. В 1920 году организовал Центральный институт труда (ЦИТ). Известен своими работами по научной организации и культуре труда. Выпустил несколько сборников стихов, из которых до сих пор помню: "Мы – кузнецы, и дух наш молод..." Репрессирован в 1937 году и погиб. Мать Алексея также была вскоре репрессирована. Реабилитирована в 1956 году. Сам Леша еще в школьные годы отличался своей эрудицией и способностями к рисованию. Помню, что от него впервые в 7-м или 8-м классе услышал о "вещи в себе" и "категорическом императиве" Канта. После окончания школы в связи с призывом в армию я потерял его из вида. Слышал, что в годы войны он, а также его братья Петя и Юра были репрессированы. Вспомнил о нем, прочитав в газете его талантливую разгромную рецензию на кинофильм М. Ромма "Убийство на улице Данте". В 60-е годы в еженедельнике "РТ" были опубликованы его очерки по истории искусств, а в серии "Жизнь замечательных людей" – блестящие по содержанию и стилю работы о Делакруа и Леонардо. Автор нескольких интересных сценариев, по которым созданы научно-популярные фильмы, из которых помню "Крейцерову сонату" и "Поэзию рабочего удара". Умер в Москве в 1991 году[21].

7. Отец Саши – А. З. Каменский участвовал в революционном движении с 1905 года. В 1906–1909 годах возглавлял военную организацию РСДРП в армии. В годы гражданской войны – член РВС армии. В 1927 году организовал Промышленную академию им. И. В. Сталина и был ее первым ректором. В 1937 году был репрессирован и о дальнейшей его судьбе Саше не было известно. В 1956 году реабилитирован. Саша, окончив школу вместе со мной, поступил в ИФЛИ, после ликвидации которого учился на филологическом факультете МГУ. В 1949 году окончил аспирантуру, но своевременно защитить диссертацию не мог из-за бушевавшей тогда антисемитской кампании по борьбе с космополитами. Однако это не помешало ему стать одним из самых известных в стране историков искусства и художественных критиков. В 1991 году после тяжелой болезни умер.

8. О родных Искры Мохор знаю только, что ее отец был инженером, а мать вроде не работала, но была родной сестрой Ягоды, что само по себе, думаю, решило их судьбу.

Самое яркое воспоминание об Искре – огромные черные глаза и роскошная коса, спускавшаяся ниже спины. Слышал, что она окончила в свое время пединститут и работала учителем в школе. Пытался узнать что-нибудь о ней в "Мемориале", но там о ней ничего не знают.

---

[21] Когда рукопись этих записок была уже готова, прочитал в "Известиях" (№ 230 от 1 декабря 1993 г.) статью А. Васинского "Счастливо оставаться... о тех, кто уехал, кто дома, кто нигде". Автор с восторгом вспоминает Алексея, который, как он пишет, обворожил его "чисто русской одаренностью натуры". Жаль только, что хорошие и правильные слова о талантливости Алексея использованы для убеждения читателя в психологической несовместимости русской натуры и западной ментальности. Со ссылкой на "Свободу" автор пишет о том, что Алексей не прижился на Западе, не вписался, тяготился тамошней жизнью, а поэтому, дескать, и погиб в эмиграции. Между тем, Алексей никуда не эмигрировал из России и захоронен на Кунцевском кладбище в Москве. Автор статьи (или "Свобода"), видимо, перепутали Алексея с его братом Юрием, который действительно эмигрировал в Америку и там умер. Но Юра не был искусствоведом и культурологом, о котором идет речь в статье. Юра был математиком. Эта досадная ошибка в контексте статьи выглядит как-то странно, поскольку автор метко замечает, что людям типа Алеши "везде одиноко, потому что они – ничьи, разве что боговы".

9. Володя Сулимов незадолго до нашего знакомства вернулся с фронта после ранения инвалидом и работал помощником режиссера на "Мосфильме". Получил 10 лет как один из организаторов нашего "молодежного террористического центра". Умер в лагере.

10. Лена Бубнова – жена Володи Сулимова и дочь А. С. Бубнова, участника революции 1905 года, члена Политбюро ЦК (1917), начальника Политуправления РККА и члена РВС СССР (1924), расстрелянного в 1940 году. Во время нашего знакомства Лена – студентка ИФЛИ. Ей дали 5 лет. После реабилитации работала в Историческом музее. Умерла в 1992 году.

11. Юра Михайлов учился в то время во ВГИКе. Получил по нашему делу 8 лет. Возвратился в Москву после реабилитации тяжелобольным и в 1958 году умер.

12. Леша Сухов – учился в то время на втором курсе юрфака МГУ. Получил 10 лет. Умер в лагере, не дожив до нашей реабилитации.

13. Нина Ермакова в то время – студентка СТАНКИНа и одновременно мехмата. Получила по нашему делу, как и Миша, 3 года и была освобождена по амнистии в 1945 году. В настоящее время живет в Москве. Изредка встречаюсь с ней и ее мужем академиком В. Гинзбургом, который одновременно и параллельно с Мишей весьма активно помогал мне в беде (1986).

14. Шура Гуревич в то время – студент мединститута. Отсидел по нашему делу 10 лет. После реабилитации жил и работал в Москве. В 1992 году репатриировался на историческую родину, где через 10 дней после прибытия умер. Его скоропостижная смерть в Израиле могла бы послужить хорошим примером в упомянутой выше статье А. Васинского о психологической несовместимости русской натуры с иностранной ментальностью (во всяком случае, более точным, чем приведенный в статье пример о смерти А. Гастева).

15. Правда, и в 1975 году прием меня в коллегию прошел не очень гладко. В то время по закону об адвокатуре общий надзор за ее деятельностью был возложен на органы юстиции, которые не могли отменить, но были вправе опротестовать любое решение Президиума коллегии. Так вот, на решение о моем приеме в коллегию Управление юстиции принесло протест. Естественно, что в протесте не было ссылок на мою политическую неблагонадежность или ненадлежащую квалификацию. Наоборот, с обычным для этих органов цинизмом управление просило отменить решение о моем приеме в коллегию по тем мотивам, что я, дескать, будучи серьезным ученым, возглавляю научные работы по тематике, имеющей важное народнохозяйственное значение, в связи с чем мой переход в адвокатуру может поставить под угрозу успешное выполнение этих исследований.

Миша тогда очень смеялся над этим протестом, но, к сожалению, этот протест имел все-таки одно негативное для моей адвокатской деятельности последствие. Прежде чем отклонить этот протест, председатель президиума сообщил мне, чтобы я и не думал соваться ни в одно диссидентское дело, так как мне все равно не будет оформлен так называемый "допуск" к делам, следствие по которым осуществляют органы КГБ. Такого допуска я так никогда и не получил. Но отводил душу на других делах, которые формально вели не органы КГБ, а прокуратура, но по подсказке, инициативе КГБ и под его контролем. Таких дел было очень много. Помню одно громкое дело о крупном хищении госимущества (так называемые "цеховики", сейчас абсолютно в законе, успешно занимающиеся коммерцией), первый лист которого представлял собой письмо КГБ на имя

прокурора Москвы с перечнем лиц, против которых следует возбудить уголовное дело. Это были "заказные" или "звонковые" дела, по которым адвокат в лучшем случае мог добиться не очень сурового наказания. Особенно много было таких дел в отношении "отказников", подавших заявления об эмиграции в Израиль, после чего против них вскоре возникали дела о спекуляции, хулиганстве или о других каких-либо якобы совершенных ими преступлениях.

16. Дело было действительно смешным, но не по фабуле, а по разработанной мною позиции. Один из работников нашей фирмы умер, находясь в командировке во Владивостоке. По просьбе семьи наша фирма приняла на себя расходы по перевозке покойника из Владивостока на его родину в Харьков. Для перевозки был выделен отдельный вагон. При приеме покойника к перевозке железная дорога получила с нас немалые деньги. Покойника перевезли в Харьков и там его захоронили. А через несколько месяцев железная дорога спохватилась, что получила с нас меньше денег, чем следовало. По какому-то примечанию к их "Тарифному руководству" при предоставлении вагона для перевозки покойников тариф увеличивается в пять раз. Вот эту доплату и потребовала от нашей фирмы железная дорога в судебном порядке. Возражая против иска, я ссылался на общую норму обязательственного права, по которой договор считается заключенным только в случае, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям этого договора. Одним из самых существенных условий каждого договора является условие о цене. Поскольку при приеме покойника к перевозке была договоренность об одной цене, а сейчас возник вопрос о ее увеличении, с чем одна из сторон не согласна, следует признать такой договор недействительным, а в этом случае, опять же по общей норме Гражданского кодекса, стороны должны быть возвращены в первоначальное положение. Кроме того, я ссылался на их же "Тарифное руководство", где было указано, что, если железная дорога при приеме груза к перевозке на станции отправления недополучила следуемый ей тариф, она вправе его дополучить при выдаче груза на станции назначения, а в случае отказа грузополучателя от такой доплаты железная дорога может реализовать груз по своему усмотрению и таким образом получить свои деньги за счет вырученной от реализации груза суммы. Железная дорога этим своим правом в данном случае не воспользовалась. Основываясь на этих постулатах, я просил суд вынести решение о двухсторонней реституции, т. е. о возвращении сторон в первоначальное положение с возвратом всего исполненного по договору. Труп должен быть в этом случае эксгумирован и перевезен обратно во Владивосток, а нам железная дорога должна вернуть деньги, полученные при приеме груза к перевозке.

Под общий хохот и аплодисменты присутствующих в зале суда местных адвокатов суд, сам улыбаясь, объявил свое решение об отказе железной дороге в иске.

Вячеслав В. Иванов

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О М. Л. ЛЕВИНЕ

Миша Левин был одним из тех людей поколением (или половиной поколения — как считать?) старше меня, с кем я дружил долго и кто наложил отпечаток на мое отношение к жизни. Мне в отрочестве и в юности хотелось ему подражать. Брат, сам с ним друживший, с неудовольствием ловил меня на том, что я непроизвольно воспроизводил его манеру говорить, например, чуть приближать "*ш*" в "*Мишка*" к "*ф*" так, что получалось похоже на "*Мифка*". Те Мишины сильные стороны, которые мне казались тогда особенно привлекательными, — его чувство юмора, умение каламбурить, знание математики и физики, начитанность и многообразие сведений относительно литературы и истории, — все это было настолько выше всего того, что я мог попытаться сделать в этих направлениях, что ощущение его превосходства долгое время было непреходящим. В особенности интриговало и звало к попытке подражания его отношение к жизни — соединение легкости, почти легкомыслия, с серьезностью занятий и основательностью образования.

Я запомнил его еще до знакомства. Я увидел его в Ташкенте зимой 1941-42 года на улице рядом с Женей Пастернаком, мне знакомым еще по довоенному времени, а в эвакуации ставшим вместе со своей мамой Евгенией Владимировной (первой женой Бориса Леонидовича Пастернака) и нашим соседом по помещению бывшего Сельхозбанка Узбекистана на улице Урицкого, куда поселили несколько писательских семей. Рядом с Женей шел молодой человек, мне показавшийся очень уверенным в себе: голова была гордо запрокинута вверх, мне запомнились очки в золотой оправе и усмешка, полупрезрительная. Молодой человек оживленно разговаривал с Женей. Для меня они были как бы из другого мира: уже студенты, а мне еще не было 13 лет. Вскоре Женя привел его к нам. Миша Левин к нам зачастил. Вечером, когда отец (Всеволод Иванов) кончал работу и ежедневное чтение (мы привезли с собой тюк его любимых книг), вся семья выходила во двор Сельхозбанка, где росли садовые деревья и было прохладнее. Выносили во двор стулья, рассаживались, вечеряли. Миша стал непременным участником этих почти ежедневных посиделок, оживлявшихся его остроумием. Но я с ним встречался и отдельно, и чаще многих других членов семьи. Миша жил с родителями и дедом неподалеку от нас в доме, где поселили эвакуированных академиков (его мать Ревекка Сауловна была членом-корреспондентом Академии наук). Там же находилась академиче-

ская столовая (много лет спустя, попав в Ташкент после землетрясения, я тщетно искал помещение Сельхозбанка, наш дом буквально сквозь землю провалился, а академическое общежитие сохраняло свою былую устойчивость, хотя по сравнению с детским восприятием сильно уменьшилось в размерах, может быть, сказалось и отсутствие академиков, на которых я таращил глаза). Моей домашней обязанностью было три раза в день ходить туда с судками за едой для всей семьи. Миша не раз развлекал меня разговорами во время этих моих стояний в очередях, иногда раздражающе долгих (казалось, на них уходит весь день). А потом и стал приглашать заходить к нему. Он жил в большой комнате вместе с другими членами семьи. Но во время часто случавшихся приступов какого-то подобия лихорадки с очень высокой температурой он переселялся в другую комнату, где я его навещал. Он просил приносить ему книги. Его манили книги из заветного отцовского тюка. Я принес ему томик из дореволюционного собрания сочинений Стивенсона. Отец немедленно хватился недостающего тома. Пришлось отнять его у больного Миши. Тот не угомонился в этой жажде чтения полудоступных книг. Позднее ему дал томик из того же довоенного издания Стивенсона мой брат Миша (они были ближе друг к другу по возрасту). Этот томик пропал навсегда, когда Мишу Левина арестовали.

Мишин интерес к отцовским книгам был, мне кажется, выражением части его общей увлеченности нашей семьей и моим отцом. Миша был книжником, он рылся в книгах друзей, как собаки обнюхивают знакомых. Каждая собственная книга у Миши была окрашена биографически. Он мне рассказывал, как в юности "Похвалу глупости" Эразма Роттердамского прочитал, дожидаясь очереди в парикмахерской.

Миша дружил с нашей семьей как целым — отдельно с моей сестрой, в которую влюбился, с братом, отцом, который вел с ним очень откровенные разговоры о политике, с мамой, дружбу с которой сохранил до конца. Часть Мишиного увлечения семьей уже тогда доставалась и мне. Этим я объясняю то, что при тогда очень заметной разнице в возрасте (мне — немного больше 12, Мише — близко к 20) он разговаривал со мной подолгу. После благотворительного вечера-концерта в пользу беспризорных детей, устроенного при участии моей мамы, Миша выслушал мой подробный отчет, прохаживаясь по коридору и по двору академического общежития. Детальность моего рассказа его забавляла. В комнате, где он валялся в лихорадке, а я его навещал, я присутствовал при тщетных попытках Миши написать фельетон для стенгазеты дома вместе с будущим академиком Ю. Б. Виппером, которому шестью годами позже я должен буду сдавать экзамен по Расину и Мольеру. Юный отпрыск академического семейства не очень шел навстречу Мишиному остроумию. Фельетон должен был приветствовать создание душа в общежитии. Миша предложил серию каламбуров вроде "произошло одушевление бездушных". Виппер принужденно улыбался, но с упрямым занудством, уже пророчившим успех его гуманитарной карьеры, отказывался от излишеств Мишиного остроумия. При мне сочинение их общего текста далеко не продвинулось.

На столе у Миши лежал толстый том Соболева, тогда знаменитого своей комсомольской молодостью математика (я познакомился с ним много позднее, когда уговорил его поощрить занятия автоматической дешифровкой рукописей

майя в Новосибирске, что обернулось бессовестной халтурой не только его подчиненных, но и его собственной). А другой молодой математик — Мейман, самый юный доктор наук (оттого кличка Док, которую я часто слышал от Миши), приходил тогда же навещать Мишу.

Миша кое-что рассказывал о своих предвоенных занятиях. Как он проходил практику в Институте Капицы, распевая *It's a long way to...* Поскольку П. Л. Капица (как в Мишиных разговорах многие титулованные, но и заодно и менее известные ученые) непременно величался по имени-отчеству, в моем отроческом воображении Миша стажировался прямо у самого Петра Леонидовича. Едва ли это было Мишиным преувеличением (хотя мне потом иногда казалось, что он не прочь был блеснуть перед мальчуганом своими ранними успехами в науке), скорее, моим не вполне верным восприятием его рассказа.

В чем я больше уверен, это в правильности тогдашнего моего интуитивного ощущения заинтересованности Миши в женщинах и их в нем. Мы вместе с ним проходим по коридору академического общежития и с ним заговаривает очень милая молодая дама, которая собралась вместе с мужем перебраться из Ташкента в другой город. Они уезжают через день или два. "Так вы еще зайдете проститься?" — спрашивает он с непривычным для меня грустно-участливым лицом. Это выражение лица и ее реакция убеждают меня в том, что между ними что-то было. Другой раз Миша со смехом рассказывает мне, что перепутал при отправке два письма, которые он написал своим старым друзьям — мужу и жене. "Ну и что такое?" — недоумеваю я не столько по невинности, сколько по несообразительности. Он начинает объяснять: ну как же, муж получит письмо, предназначавшееся жене.

Но какие бы намеки на Мишину ветреность ни доходили до меня, в то время главным предметом его внимания стала моя сестра Таня. Ее и моего брата Мишу объединяла с Мишей Левиным их общая погруженность в юмор как в способ отношения к миру (я этому сочувствовал, но должен был обучаться их потокам острот, как учат чужой язык, это меня отделяло от брата и сестры еще в детстве). Два Миши вместе делали открытки. Мой брат — начинающий художник — рисовал некоторое подобие тогдашних окон ТАСС, а Миша Левин писал стихи в духе газетных политических сочинений Маршака и других. Он посылал эти открытки нам по почте, и они приходили со штампом, утверждавшим, что они проверены военной цензурой. Изображения и особенно стихи были пародийны, забавы двух шалунов были тогда небезопасны. Все собрание открыток долго хранилось у меня, потом я передал их брату. Приведу на память пример стихов Миши:

Хилый их эрзац-солдат — Наш боец — широкоплечий,
Весь изранен и дегенерат. — Не имеет тех увечий.

Я посильно помогал их деятельности, вылавливая из газет, которые читал старательно, фразы, поддающиеся пародированию. Найдя достаточно идиотское место в какой-то речи Молотова, где он говорил о стремлении Дон Кихота к власти, я показал его Мише Левину, тут же разразившемуся стихами:

Стремился к власти Дон Кихот,
Да вышло все наоборот.
Его приспешник Санчо Панса
Уж не поет теперь романсы.

Миша уже владел системой пародирования советского официального языка, что он продемонстрировал во всей этой массе открыток.

Моя сестра Таня не только участвовала в ежевечерних сеансах остроумия. Миша позднее с помощью своей мамы помог ей устроиться в аспирантуру Института мирового хозяйства и мировой политики, где Ревекка Сауловна была заместителем директора. А тогда он ее водил на интересные гуманитарные лекции в Ташкентский университет, где сам Миша слушал математику у Петровского. Меня они брали с собой. Так я попал на лекции двух старших Випперов — Роберта Юрьевича, академика-историка (чью книгу об Иване Грозном я вскоре законспектировал), деда упомянутого выше Юрия Борисовича Виппера, и его отца, Бориса Робертовича, искусствоведа (я его позже видел в Москве, он давал мне разрешение читать книги по Древнему Востоку в руководимом им Музее изящных искусств). Оба они жили в том же общежитии. По дороге на лекции по римской истории (я слушал о позднем Риме и латифундиях в нем) Миша (кажется, со слов своей мамы) рассказывал о несносном характере старика, всегда перечившего общепринятым мнениям. Роберт Юрьевич склонялся к марксизму в работах начала века, но после революции стал против марксизма и уехал в Латвию (его потом вернули вместе со всей страной). После лекции обсуждалась техника ее чтения: он писал весь текст на очень маленьких записках, исписывал их мелким бисерным почерком.

Лекции Бориса Робертовича были посвящены итальянскому Возрождению. Миша долго продолжал трунить над обилием архитектурных терминов вроде "антаблемента", которыми сыпал сверхинтеллигентный лектор. Эти иностранные слова несколько дней фигурировали в Мишиных пародиях.

Кроме университетских лекций, Миша, вместе с моей сестрой, посещал и доклады литературного характера. Оживленно обсуждалось выступление о Чосере переводчика Кашкина.

Зная мой напряженный интерес к текущей политике, Миша давал мне читать у себя дома что-то вроде "Белого ТАССа" — полузакрытые перечни последних новостей, которые получала его мама. Иногда он пересказывал мне оттуда то, что казалось особенно интересным. До сих пор помню день, когда главной новостью была поездка Неру (тогда вождя оппозиционного движения в Индии и врага англичан).

Летом 1942 года мама получила через Наркомпрос, где она занималась помощью бездомным детям, путевки в санаторий в Чимгане для меня и себя. Отец с моим братом Мишей к нам присоединились в качестве горных туристов. Они пригласили с собой в поход в чимганские горы Мишу Левина. Тогда Миша особенно сблизился с моим отцом, который среди прочего в горах возле ледника — в наибольшем удалении от шумной толпы и всеслышащих ушей — объяснял ему и восточный деспотический нрав Сталина (я узнал об их разговоре уже после смерти Сталина). Когда вскоре после этого, осенью 1942 года, и отец, и Миша вернулись в Москву, они продолжали там видеться уже без нас (мы

всем младшим составом оставались в Ташкенте, а когда мы с братом заболели тифом, мама вернулась к нам, и отец на время остался один). В дневнике отца я нашел запись о том, как он вдвоем с Мишей Левиным придумывает возможные забавные сюжетные продолжения начатого еще в Ташкенте сатирического романа "Сокровища Александра Македонского"; осталась и Мишина записка к отцу о каком-то романе, который он прочитал в папино отсутствие. ("Роман — дрянь",— в своем категорическом стиле вынес приговор Миша). Когда мы вернулись в Москву в 1943 году, я после двухлетнего перерыва начал всерьез заниматься в школе. Осенью по физике проходили закон Ньютона и надо было писать сочинение (это было время ньютоновского юбилея, тогда широко отмеченного в Москве). Миша вызвался мне помочь. Я пришел к нему домой на Большую Калужскую в академический дом. Тогда или позже на его столе лежал толстый учебник или монография Тамма (по электродинамике, если не вру). Квартира показалась просторной. Из его острот в тот вечер мне запомнилось, как он мне предложил поудобнее устроиться у его стола "поверх барьеров". Эта манера говорить переиначенными к месту цитатами из нескольких только нам тогда известных поэтов потом широко распространилась. Я впервые услышал такое от Миши. Мы набросали план и конспект с цитатой из английских стихов о Ньютоне (потом их все стали приводить). Миша не был поклонником тогдашнего выспренного стиля моих школьных сочинений: как-то у меня дома ему попался на глаза мой трактат о былинах с риторическими фразами о фронте, шедшем по степи. Он меня высмеял. С собой Миша мне дал большущий, только что вышедший том с очень интересными статьями о Ньютоне. Я вернулся к Ньютону, опять с помощью Мишиных книг, спустя примерно сорок лет, когда стал заниматься его сравнительно мало известными лингвистическими, филологическими и историческими изысканиями. В Мишиной домашней библиотеке оказались и только что вышедшие английские книги о Ньютоне как историке. Миша пришел на мой доклад на эту тему и стал его со мной обсуждать. Историю науки он знал хорошо. Если не ошибаюсь, по поводу Максвелла он говорил, что всегда предпочитал читать самих классиков — в первоисточнике.

В середине войны Миша наведывался к нам домой довольно часто. Как-то раз он привел с собой одного из друзей — из той молодежной компании, которую вскоре всю посадили. Миша всегда был полон новостей. То рассказывал нам со слов матери о новых сталинских указаниях — не годится "профессорский социализм" (немецкое слово *Katheder* в этом неизвестном контексте меня тогда озадачило), то повествовал об академических дрязгах. Рассказывая о том, как Колмогоров дал пощечину Лузину после объявления результатов выборов, он осуждал Колмогорова: тот — спортсмен, физически сильный человек, а Лузин — старик и его бывший учитель. Как-то у нас Мишу видел Зощенко, которому мы все поклонялись. Зощенко с его несколько старомодной благовоспитанностью нашел Мишу излишне заносчивым, как он мне говорил много спустя; я вспомнил свое первое ташкентское впечатление.

Однажды, сидя рядом со мной у нас дома на Лаврушинском, Миша прочитал мне стихотворение "Декабристы", по тем временам чрезвычайно крамольное. Он знал его уже наизусть. На вопрос, кто его автор, он ответил: "Этого я тебе сказать не могу". Я думаю, что он тогда не знал, что автор —

будущий Коржавин (тогда для нас — Эмка Мандель, я его встречал в кружке поэтов при "Молодой гвардии"). Ответ же его можно было понять и так, что он знает, кто написал, но не может сказать. В этом случае он просто пыжился знать больше, чем мог. Но, может быть, и здесь я его неправильно понял.

Мишин арест летом 1944 года я воспринял болезненно. Больше чем через полгода я написал в постблоковско-ахматовском сентиментальном, романтическом ключе посвященные ему стихи, кончавшиеся строками:

Я сегодня вспомнил о друге,
О потерянном друге моем.

Мише я этих стихов не читал, они отличались от насмешливо-шутливого тона разговора, к тому времени у нас установившегося.

Когда много лет спустя я стал заниматься семиотикой под началом А. И. Берга в Совете по кибернетике, Миша вспоминал о том, как перед арестом во время войны работал в НИИ, где Берг налаживал радиолокацию. Он рассказывал мне о случайной цепи обстоятельств, которые помешали ему в тот день узнать о предстоящем аресте и попробовать от него уклониться и спрятаться (мне это и сейчас кажется по тем временам мало реальным).

Из того, что Миша мне потом рассказывал о своем тюремном опыте, я запомнил, что в тюремной бутырской библиотеке он взял "Клима Самгина" и нашел там фразу, которую процитировал следователю: ее смысл — если в государстве есть политическая полиция, то должны быть и политические преступники.

Миша говорил, что порядок допроса был у всех стандартный. В начале списка был вопрос, не рассказывал ли обвиняемый антисоветских анекдотов, в частности, о колхозах. Этот стандартный вопрос, по его словам, задали и заведомому шпиону, схваченному на турецкой границе с оружием и другими вещественными доказательствами. Тот был поражен бессмысленностью ведения следствия. Мишина смелость и находчивость во время следствия, когда он один напомнил следователю, что из окон, выходящих во двор, по Арбату не выстрелишь, нас всех восхищала и много раз обсуждалась.

Тогда говорили, что Мишина мама Ревекка Сауловна уговорила директора института академика Варгу, чьим заместителем она была, написать письмо Сталину по поводу Миши; Варгу, кажется, упрашивала об этом и его дочка, Мишина подруга детства. Написал ли он и помогло ли это тогда, как мы думали, я не знаю. Но я как во сне помню конец дня, когда узнал, что Миша в Москве и уезжает. Вечер, несколько друзей, братья Ягломы, Кот, вскоре погибший в горах. Темно, мы на улице, провожаем, едва разговариваем. Чувство подавленности. Он на воле, но не может быть с нами.

Кажется, к тому времени, когда, выйдя из заключения, Миша начал наезжать в Москву из горьковской ссылки, относится разговор с ним о соотношении физики и математики. Началу разговора способствовал зашедший ко мне знакомый (сын инженера-генерала, приятеля Сельвинских), занимавшийся математикой. Миша разъярился. Он стал нападать на математиков, которые не заботятся о физическом смысле своих построений. Физики знают, для чего им нужны уравнения, а математики заняты своей техникой независимо от ее

приложений. Я знал раньше от Миши, что он много занимался математикой, притом весьма абстрактной (вспоминается рассказ о его бессоннице и читанной ночью книге по топологии, где в шутку обыгрывались очертания физиономии автора). Но речь шла о направлении занятий, об их смысле. Мой знакомый был изумлен Мишиной горячностью. Я помню, что в тот раз Миша рассказывал мне, как он перечитывает письма Пушкина.

Из других разговоров общего характера, касавшихся физики, помню, как Миша, тоже с жаром и сочувствием, мне пересказывал статью Франка (потом развитую и в книге по философии физики, у нас переведенной). В ней доказывалось, что философы всегда с опозданием берут из физики идею, которая у них застывает в мертвой схеме. Мишино поколение наших физиков чуралось философии или боролось с официальной псевдофилософией.

С большим увлечением Миша пересказывал мне только что вышедшую (тогда еще не переведенную) книгу Шредингера "Что такое жизнь?". У него была отличная память и четкая мысль педагога. Когда года через два я прочитал русский перевод книги, он добавил только подробности к тому, что я уже усвоил с Мишиных слов.

Я пописывал стихи в довольно большом количестве. Миша к ним относился сочувственно, хотя иногда и потешался над строками, казавшимися ему забавными (а они и в самом деле выглядели почти пародийными против моего желания). Одно из моих сочинений, посвященное Ван Гогу, кончалось двустишием, звучавшим, по моему представлению, драматически:

И пил абсент
Ван Гог Винсент.

Миша тут же продолжил:

А Франсуа Вильон
Ел бульон.

Сразу по окончании школы я болел — вернулись старые хвори, опять, как в детстве, уложили надолго. Миша относился ко мне бережно. Сурово осек зашедшего меня проведать общего приятеля Ж. Федорова: "Жора, не кури при Комке!" Развлекая меня, вспоминал классические стихи, упоминающие мифологических персонажей, чьи имена созвучны с моим детским прозвищем: "И бог пиров — веселый Ком!"

По окончании войны Миша женился на моей сестре Тане. Перед тем, как они вместе уехали в Горький, где прожили недолго и, по-видимому, не вполне счастливо, было несколько предсвадебных и свадебных встреч и пирушек у нас дома и у Мишиных родителей с последующим шатанием по городу. Я помню, что пришел домой к Ревекке Сауловне довольно рано. Там уже был Михаил Александрович Леонтович; кажется, вместе с Мишиной мамой они пришли с какого-то академического заседания. Пока все гости не собрались, Михаил Александрович обсуждал с Мишей его маленькую заметку, скорее всего предназначавшуюся для "Докладов". Миша пояснял то, что оставалось не совсем ясным из его до крайности сжатого текста (он его мне показал). А Михаил Александрович по этому поводу говорил, что хочет заинтересовать Мишу

проблемами, лежащими за пределами той достаточно ограниченной области, которую тот выбрал для своих занятий: "Чтобы вы не занимались только этим". Меня просили читать стихи. Ревекке Сауловне они нравились. Какие-то строки (о милиционере, которого не надо бояться и задабривать) она запомнила. Миша мне говорил с ее слов, что она их вместе с другими стихами читала себе, когда оказалась после приговора в одиночном заключении. После сидения за столом у старших Левиных вышли в ночную Москву. Провожали гостей. Ждали автобуса. Кто-то сказал: "Остановка перенесена" — с ударением на третьем слоге от конца, меня это резануло: то ли я слишком москвич, то ли московский сноб, во всяком случае в том, что касается языка и чистоты выговора.

На свадебной пирушке у нас дома на Лаврушинском я, к огорчению Сельвинского (отца первой жены моего брата), прочитал в честь Тани и Миши нахальные стихи в ложноклассическом духе, где назвал Мишу "доцентом Горьковского университета". Тяжеловесный оборот вместился в ямб, но оказался не только ложноклассическим, но и ложным. Миша неожиданно серьезно сказал мне, что он не доцент в Горьком. Я тогда недооценивал шаткость его положения бывшего заключенного.

О жизни в Горьком мне рассказывал и сам Миша, и Таня. По ее словам, беседы о физике с соседом Гореликом могли длиться часами, наукой Миша тогда был очень увлечен. От Мишиных общений с Гореликом мне достался Вийон по-старофранцузски, к надписи на котором я еще вернусь.

Брак скоро разладился. Он трещал по швам еще летом, когда мы всей семьей жили на даче у Сельвинских в Переделкине. Я тогда много писал стихами и прозой письма Мише в Горький. Когда Таня его бросила, он мрачный приехал в Москву и зашел ко мне. Посидел немного, вызвав раздражение и гнев своей бывшей жены (мы вместе жили на Лаврушинском), сказал мне, что пойдет по Москве с друзьями. Мой отец, по маминым словам, осуждал Таню, считал, что она не выдержала трудностей нестоличной и не вполне благополучной жизни. Наверное, она его не любила.

Со мной Миша сохранил очень близкие отношения. Мы переписывались. Он ко мне приходил или встречался со мной на улице, чтобы не сердить Таню. Зимой 1950 года я проводил какое-то время в Переделкине на нашей даче, отстроившейся после пожара. Там мы побыли вместе с Мишей и с моим братом, приехавшим, чтобы с ним повидаться. У нас гостил Ираклий Андроников, потом всячески мне Мишу расхваливавший.

Оказавшись на вольном воздухе, я попробовал заговорить с Мишей о политике, тогда меня очень занимавшей. Он неохотно откликался. Сказал только, что "как подумаешь о народе", становится жаль. Я удивился. Почему о народе? А мы сами что? Ревекка Сауловна была в тюрьме. Миша внутренне не сдавался. Мы шутили, как бывало до того, особенно вместе с братом.

В следующие встречи Миша рассказывал о жизни в Тюмени, куда пришлось перебраться после изгнания из Горького. Он толстеет, если не ходит на лыжах. Тяжело болел. Нашлись люди, за ним ухаживавшие. В Тюмени нет научных книг и журналов. На какой-то конференции слушал доклад К. М. Поливанова, отца моего приятеля. Миша язвительно отозвался о его научных потугах и сверхрафинированной манере изложения. Огорчила Мишу статья В. Л. Гинз-

бурга, обвинившего его в принятии "тепловой смерти Вселенной". Я знал, что причина их дурных отношений личная. Тем обиднее было слышать о наветах, тогда небезопасных. Миша старался сохранить объективность, и, когда Гинзбурга выбирали в Академию, хвалил его в разговоре с Леонтовичем. На оттисках (не только мне, как я потом узнал) он написал: "*Not too many, but* из Тюмени".

В начале марта 1953 года Миша мне прислал по почте свой стихотворный шедевр. В нем в начале имелись в виду мои тогдашние научные занятия, но за ними следовало несомненное медицинское и политическое предвидение, пусть с неточным диагнозом болезни великого вождя и учителя:

Вавилоняне и хетты
Не страдали от рахита,
Но зато у Хирохито
Завелися спирохеты.

Хирохито "сдох", как тут же сформулировал один из его ближайших приспешников. Миша в Москве, лучезарный. Мы обсуждаем с ним перемены. Он верен себе. По поводу триумвиров — Маленкова, Молотова, Берии — "а кто из них *vir*; наверное, один Берия". Во многих деталях происходившего мы с ним тогда одинаково ошибались, и ему нравились довольно слабые вирши, которые я складывал по поводу наступавших изменений.

При Мишином умении сводить существенное к анекдоту, оказалось, что и с хирохито у него был связан анекдот из раннего детства. Он любил рассказывать, как своим неуместным появлением в зале чуть не помешал знаменитому выступлению Сталина, которое многие годы было увековечено особой доской на доме Института философии на Волхонке.

Для Миши многое стало возможным. Он едет на свидание с друзьями-однодельцами — Фридом и Дунским, привозит от них поэму Смелякова, написанную в лагере. Освобождают Ревекку Сауловну. Он узнает о ее страшном тюремном опыте, следах пыток на теле, медицинских последствиях сидения в одиночке. Долгие дежурства у больной матери едва ли не из самых тяжелых испытаний его жизни. Я был на ее похоронах. Товарищи по партии говорили об их вере в общее дело с прежним энтузиазмом.

От Э. В. Шпольского, отца моей первой жены, я узнал о готовившейся (с таким опозданием!) защите Мишиной докторской диссертации. Постепенно к нему вернулась Москва, появилась работа по специальности в институте у Минца. Жизнь стала устраиваться. Мы еще долго встречались, как бы по привычке, почти на бегу, словно мимоходом, на улице, но гораздо чаще. Я впопыхах, как всегда, что-то дописываю и допечатываю, машинистка задерживает. Миша ждет около университета, где я тогда работал, и недоволен моим опозданием. Другой раз он заходит за мной в Институт иностранных языков и уводит меня с заседания кафедры, в этом случае недоволен заведующий кафедрой, с заседания которой я сбежал. Среди общих друзей появляются два Саши — Пятигорский и Леонтович. Из научных сенсаций нового времени — защита диссертации Кнорозова, дешифровавшего письменность майя. Миша мне говорит, что, по мнению М. А. Леонтовича, Кнорозов — достойный кандидат в Академию; к сожалению, до сих пор никто не позаботился об осуществлении этой идеи.

Из Мишиных давних знакомых, с которыми тем временем и я знакомлюсь, — Литвиновы. Я люблю особенно Мишины рассказы об Айви Вальтеровне. Ей кажется, что весь мир говорит по-английски. Мишу она вдохновила на чтение романистов начала прошлого века, у нас мало известных.

Москва в начале оттепели забурлила семинарами. У нас на факультете был семинар по применению математических методов в лингвистике. Миша внимательно слушал мой доклад о нейтрализации в грамматике и лексике и сделал уже после официального конца заседания очень дельное предложение не только терминологического характера: явление это можно было бы считать и называть вырождением. К сожалению, дальнейшему Мишиному участию в семинаре мешало расписание: семинар совпадал со знаменитым гельфандовским. Миша с улыбкой осведомился об отношениях Гельфанда и Володи Успенского, вместе с которым и с Кузнецовым я вел наш семинар: "А Успенский что — не допущен?" Я давно знал, что Миша серьезно относится к занятиям семинаров. Он с похвалой отзывался об одном математике, который никогда не выступал сам на семинаре, но каждый раз задавал очень дельные вопросы.

Весь академический круг, совсем не только близкие знакомые из числа ученых, оставался для Миши своим, ему присущим с детства. Когда я рассказал ему, что у Пастернака на даче познакомился с Шафаревичем, который говорит, что верил в возможности ученых править страной только до тех пор, пока не узнал их ближе, Миша сказал с огорчением, как о проступке члена семьи: "Игорь Ростиславович всегда сказанет что-нибудь". Боюсь, что потом куда более странные проступки увели капризного математика из своего круга.

Когда над Пастернаком разразилась гроза после присуждения Нобелевской премии, вихрем задело и меня. Учредили комиссию, занимавшуюся расследованием моей деятельности в университете. Мишина старая знакомая, вхожая в партком университета, там слышала, что на филологическом факультете есть такой еврей с кучерявыми волосами (я только начал лысеть), сын Бабеля (путаница братьев, как в водевиле или у Марка Твена), выдает себя за русского, будто Иванов. Мне казалось, что со мной может случиться что угодно. В неминуемости моего ареста были уверены и Слуцкий, перепугавшийся, звонивший мне измененным голосом и меня предостерегавший, и Звегинцев, заведовавший моей кафедрой. В то время мы часто встречались с Мишей. Он взял у меня на хранение те части моего архива, за которые я опасался больше, чем за свою свободу.

Хотя французский не принадлежал (в отличие от немецкого и особенно английского) к языкам, для Миши легким, он с удовольствием слушал стихи Вийона, которые ему в подлиннике читал в Горьком Горелик. Я оценил значимость дара, получив от Миши в декабре 1958 года в качестве новогоднего подношения нумерованный экземпляр издания старофранцузских текстов Вийона с иллюстрациями и заставками Дюбу. На нем Миша написал, демонстрируя усвоенное от Горелика старофранцузское (близкое к написанию) произношение, названия "посылки" (*envoi*) в конце баллады:

Принц, хоть шакалов бешен вой,
Хоть Вам грозит петля и ссылка —
Не отступать! — вот Ваш *envoi*.
И это — лучшая посылка.

И из этих стихов, и из всего поведения Миши следовало, что он (как многие) вполне серьезно относился к возможной опасности, которой мне грозило дело Пастернака.

Миша ездил с М. А. Леонтовичем на дачу к Б. Л. Пастернаку в разгар гонений на него. Перепуг некоторых из его близких Мишу огорчал, но он мне говорил об этом в тоне понимания их психологии.

Так же, как Миша бережно сохранил все мои бумаги, возвращенные мне Наташей уже после его смерти, он спас и огромный архив Белинкова. Я как-то пришел к Аркадию незадолго до бегства того из России и увидел Мишу с огромным рюкзаком за спиной: он уносил белинковские бумаги. Потом из окна сверху мы видели, что Миша, при всей его физической закалке, не без усилия нес этот груз по улице. Мы с Аркадием любили писать, поэтому носить Мише приходилось много, и найти для всего место было нелегко. Уже после смерти Аркадия Миша мне говорил, что пытался навести порядок в этих бумагах и был удивлен: среди них оказалось много поздравительных открыток по случаю праздников, ничего не значащих и пустых. Видимо, Аркадий спешил и не успел просмотреть свои бумажные россыпи. Из того, что Миша делал смелого, хранение белинковского архива было одной из самых опасных затей. Через несколько лет после отъезда Белинкова ко мне пришел Дэзик Самойлов и стал рассказывать о самоубийстве своего друга Леона Тоома. В обстоятельствах смерти было много загадочного. Может быть, на крыше, где Тоом оказался, его и убили. А КГБ мог хотеть его устранить, потому что он участвовал в прятании архива Аркадия Белинкова. Сидя напротив сильно выпившего Самойлова, я ощущал драматическую подневольность нашей жизни. Я не мог сказать Дэзику, с которым дружил, кто на самом деле спрятал архив Белинкова. Но Дэзик был безусловно прав в том, что КГБ был заинтересован в выяснении этого.

Я бывал у Миши, когда он жил со всеми Леонтовичами в квартире у Курчатовского института. Но чаще я стал бывать у него, когда они с Наташей поселились в отдельной квартире. Миша мне позвонил с новостью: квартира есть и заказана мебель, ее привезут сегодня. Я вызвался помочь ему в ожидании. Сколько помню, эта мебельная операция была долгой.

На новой квартире собирались старые друзья. Миша обладал редким даром дружбы. Что-то должно было случиться особенное, чтобы его давнишняя дружба пресеклась. За столом вечером собирались друзья из нескольких десятилетий. Я устроен иначе, мне такие отношения кажутся музейными, но я тут, конечно, не прав или не должен высказываться на тему, где я не специалист. В конце концов, я сам на этих сборищах был выходцем из довольно экзотического времени-пространства: Ташкента первого года войны, настолько экзотического, что как раз со мной в конце дружба и пресеклась. Причиной внешне было то, что столкнулись две дружбы, оказавшиеся в тот момент несовместимыми: со мной поссорился из-за семейных дел один из самых старых Мишиных друзей, на сторону которого встал Миша. А потом Миша обижался на меня уже и по мелочам. Мы позвонили ему, чтобы поздравить с днем рождения. Светлана его поздравила и позвала меня к телефону. Я сказал почему-то всплывшей в это время обычной маминой телефонной формулой: "Слушаю". Миша рассердился: "Что ты слушаешь? Что ты, академик Велихов, что ли?" Это прозвучало как

ругательство. Потом с тем старым другом мы помирились. Узнав от меня об этом, Миша огорчился: что же, только со мной ты остался в ссоре? Ссоры потом не было, но былая близость так и не возвратилась.

Но вернусь ко времени до старости, нас обоих портившей и мешавшей дружить по-прежнему. На тех встречах на новой квартире иногда людей было мало. Как-то мы провели вечер у Миши с Михаилом Александровичем Леонтовичем. В тот раз речь зашла о президенте Академии наук Келдыше. Леонтовичу тогда казалось важным, что Келдыш был членом ЦК. Я уже не верил в серьезность ни одной из этих организаций. Но Леонтовича я очень любил и видел, как они с Мишей нужны друг другу. О нем Миша всегда говорил восхищенно. Как Михаил Александрович привез из заграничных поездок целую библиотеку карманных изданий (в бумажных переплетах): Фолкнера и других современных авторов, у нас тогда почти неизвестных. Какой скандал (очередной) Леонтович устроил, когда его не пустили в ФИАН, где он должен был рассказывать о своих (в самом деле замечательных — добавлял Миша) новых работах по ядерной энергии. Но и о былых его скандалах на общественной почве он рассказывал с восторгом. Миша мне как-то занятно описывал, как Михаил Александрович намеками ему говорил о результатах текущих выборов в Академию. Леонтович не мог или не хотел говорить прямо, кто будет выбран. Но Миша нашел способ так задавать ему наводящие вопросы, что ответ сразу становился ясным.

С какого-то момента академические выборы мне стали казаться Мишиным наваждением. Он, так хорошо знавший всему цену и все умевший поднимать на смех, к этой процедуре относился всерьез. То ли он помнил Академию с такого незапамятного времени, когда она состояла преимущественно из больших ученых, то ли слишком завораживала игра вроде вопросов Леонтовичу, но к выборам, в том числе и своим собственным, он стал относиться нервно. Когда меня в 1972 году (когда я все еще был кандидатом наук с докторской диссертацией, утерянной ВАКом) впервые выдвинули в академики, он отнесся к этому, как к важному событию. Через несколько дней в новоарбатском ресторане был банкет по поводу защиты диссертации Левы Юдина. Я зашел туда за Светланой. Миша вышел мне навстречу. Он расспрашивал меня о результатах голосования. Число голосов, поданных за меня, разошлось с его ожиданиями.

Из нескольких московских кружков, к которым принадлежали мы оба, упомяну те, что сложились возле Н. Я. Мандельштам и И. М. Гельфанда. В них входили и Мишины друзья детства: художник Б. Биргер и Е. Пастернак. названный в самом начале моих записок. Мы виделись и у Копелевых (в особенности в месяцы перед их отъездом за границу) — Миша тогда с ними сблизился.

Благодаря одной из давних подруг — Ире Сергиевской — не только Миша, но иногда и другие, попадавшие на слет старых друзей, могли смотреть в студии совсем новые фильмы. Как-то мы условились вечером встретиться с Мишей. Он позвонил мне к концу того дня с извинениями: встретиться не удастся. "Ромм про нас сделал фильм". Он хотел его посмотреть. Это были "Девять дней одного года" со Смоктуновским. Когда немного позже и я посмотрел эту картину, я задумался над Мишиным оборотом "про нас". Строго говоря, не про него. Он не работал в Дубне, его научная биография была сложнее, труднее и богаче.

Но он (в гораздо большей степени, чем я) был заражен духом товарищества. Он принадлежал сразу нескольким сообществам. Физиков он рассматривал как свою компанию. И многих молодых писателей, с которыми сблизился (мы оба были на многолюдных проводах Войновича в мастерской у Мессерера, в одном из немецких сборников Окуджавы напечатана фотография, где все наше тогдашнее общество, мы с Мишей там рядом).

Миша читал всю новую литературу. И плохих, и совсем плохих авторов тоже. Он был пародистом-сатириком, для него это была необходимая пища. Я этой писанины не читал и с трудом мог о ней говорить, хотя и разделял Мишино неприятие большей части того, что тогда печаталось. Но я ценил Мишин широкий вкус в поэзии. В Доме писателей устроили вечер незадолго перед тем погибшего Рубцова. Я позвал на него Мишу. Как и я, он вполне чувствовал силу рубцовского дара в лучших его вещах. Кожиновские попытки "присвоить" поэта на нас обоих в тот вечер не повлияли.

Из поэтических чтений молодых поэтов, где мы присутствовали вместе с Мишей, самой памятной была внезапно устроенная Наташей Горбаневской встреча с приехавшим в 1968 году из Ленинграда Иосифом Бродским в Фундаментальной библиотеке Академии наук на улице Фрунзе. Мы вышли по окончании вместе с Мишей, он довел меня до троллейбуса, не хотелось расставаться. Настоящая поэзия сильно действовала на нас обоих.

Миша продолжал меня знакомить с теми новинками западных авторов, которые к нему попадали раньше, чем ко мне. Я запомнил в подробностях его детальный пересказ научно-фантастического романа английского астрофизика Хойла "Черное облако". Потом, читая английский текст, я поражался точности Мишиной памяти и удачному выбору тех мест, на которые он обратил внимание в своем пересказе (когда, например, мыслящее облако просит исполнить классическое музыкальное произведение в другом темпе). А "На берегу" (роман, по которому поставлен известный фильм о мире после атомной войны) я в основном до сих пор знаю в его пересказе. Он на меня произвел впечатление, а когда Миша достал для меня на короткий срок книжку, она мне показалась скучноватой, а изложение — банальным.

Я жил в родительской квартире в Лаврушинском возле министерства, где Мише приходилось бывать по служебным делам. В такие дни, если я оказывался дома, он заходил ко мне после окончания недолгих дел в министерстве и засиживался на целый день. Его отношения со временем меня удивляли. Он не спешил и всегда был готов к долгой беседе. Ничего похожего на мой непрерывный московский цейтнот у него не было. Но не было и желания просто носиться по городу в погоне за литературными, художественными и другими новинками. Об одном из наших общих друзей, именно этому и предававшемуся, Миша отзывался неодобрительно: зачем бегать по выставкам и конкурсам? У него были интересы глубже и важней.

Когда умер мой отец, Миша очень серьезно отнесся к просьбе моей мамы помочь ей разрешить внезапно возникшие трудности с разделением большой квартиры между ней и семьями ее двух сыновей. И в этом случае, меня самого коснувшемся, и в других подобных (когда Миша принял близко к сердцу имущественные отношения своего старого друга Сахарова с его детьми) Миша

старался быть нелицеприятным и справедливым ко всем участникам семейного разбирательства.

О Сахарове Миша рассказывал мне давно. Он был поражен одним разговором с ним еще задолго до того, как Сахаров вошел в нашу общественную жизнь. Андрей Дмитриевич подвозил его на своей служебной машине. Они ехали по загородному шоссе. Сахаров попросил шофера остановиться, вышел вместе с Мишей и долго прохаживался с ним вдвоем по рощице возле дороги. Он делился с Мишей своими потаенными мыслями. В то время Сахаров изучал работы о последствиях радиации. Его очень волновала ответственность за сделанное им изобретение. На Мишу тогда он произвел впечатление почти нервнобольного, так его глубоко задевало то, о чем говорил.

Во время сахаровской ссылки в Горький Миша подробно мне рассказывал, как и с какими трудностями ему удавалось встретиться с Андреем Дмитриевичем. Среди едва ли не главных трудностей было и Мишино нежелание повредить своим ученикам и друзьям, к которым он приезжал в Горький. Он очень переживал, что один раз ему не удалась встреча, о которой они с Сахаровым уже условились — помешал и приступ той Мишиной болезни с повышением температуры, о которой я уже упоминал. Причины тогдашней невстречи он описал в письме Сахарову, которое показал мне, разорвав для этого конверт, куда он его уже положил для отправки адресату. Там упоминался и Велихов, который после случившегося ездил к начальству, желая облегчить положение Сахарова. Когда Сахаров вернулся из Горького, мы со Светланой все сперва не могли встретиться с ним и Люсей Боннэр, а потом случайно оказались вместе в одной гостинице в Таллинне. В тот вечер Сахаров был необычно резок в оценках людей. По существу, он выделял положительно одного Мишу. Я понял, как много значили для Сахарова встречи с ним среди почти полного горьковского безлюдья.

Из разговоров с другими физиками, касавшихся атомной проблематики, мне запомнился Мишин пересказ слов Ландау. По Мишиным словам, Ландау говорил: "Мы все — люди подневольные. Не можем отказаться от того, что они требуют". Но Ландау утверждал, что создавал только видимость работы "для них". И удивлялся и негодовал по поводу И. Е. Тамма, который не только сам работал всерьез для создания атомной бомбы, но и вовлек в это двух лучших своих учеников — Сахарова и Гинзбурга. Миша был полон рассказов о Ландау. Как молодой Ландау хулиганил вместе с Гамовым: они написали заметку в "*Nature*" по поводу того, в каком направлении жуют коровы, справа налево или слева направо. Как в те же годы Ландау приехал на конгресс, где все были увлечены астрофизикой, и сделал доклад о патоастрофизике. Вместе со всеми нами Миша переживал катастрофу, разрушившую мозг Ландау. По его словам, Ландау все жаловался потом, что у него "болит ножка". И ему казалось, что боли он испытывает из-за возобновившихся пыток: он мысленно вернулся во времена террора, когда его арестовали. Он поверил в то, что мучения не из-за пыток, только после того, как ему вручили Нобелевскую премию в шведском посольстве. Вместе с тем временем вернулась и любовь к жене. А до этого брак уже расстроился. К Ландау домой открыто ходили девицы. Катастрофа вернула его на двадцать лет назад. Друг и одноделец Ландау Румер, после возвращения

из лагеря работавший в Новосибирске, ненадолго приехал в Москву читать лекции о своей "пяти-оптике" (оптике пяти измерений). Румер просил общих знакомых познакомить меня с ним: его интересовал хеттский язык, которым я занимался (он был не только полиглотом, но и понимал направление развития языка). Миша потом мне говорил о своей встрече с Румером, обсуждавшим с ним наше филологическое знакомство. По словам Миши, у Румера оказались друзья среди тогда самых видных академиков-ракетчиков, таких как Королев: они вместе с ним сидели и обрадовались, увидев его на заседании Академии.

Когда арестовали Синявского и Даниэля и готовился суд над ними, Миша был из числа тех, чье осуждение гонителей было деятельным. Ему была близка позиция нашего общего друга М. Л. Цетлина, в одном из тогдашних докладов, совместных с И. М. Гельфандом, говорившего о необходимости широкого юридического образования для всех. Когда Миша Цетлин внезапно умер, Миша Левин, как и я, очень тяжело перенес известие о потере друга. Мы встретились утром. Он сказал мне, что не спал всю ночь. На похоронах в своей речи он упомянул о мыслях покойного "во время неправедного суда".

Мы попали в полосу политических репрессий, судов и наших протестов против них. Павла Литвинова Миша, друживший с его родителями и со всей семьей Литвиновых, знал с детства. Политическая активность Павла привлекла к нему наши симпатии и интерес КГБ. Когда мы с Мишей как-то вечером встречались с Павлом, у входа в квартиру на лестнице залегли двое шпиков, изображавших из себя пьяных. После демонстрации против оккупации Чехословакии Павла судили вместе с Ларой Богораз и другими протестовавшими. Миша позвонил мне, чтобы условиться о встрече в день суда. Мы вместе подошли к зданию суда, около которого потом провели несколько дней, на суд нас не пустили. Павла сослали. Миша попросил меня вернуть залежавшееся у меня Мишино старое английское издание книги Карлейля по истории французской революции: он обещал послать его Павлу, который собирался в ссылке пополнить свои знания по истории.

Наш общий с Мишей друг Ися Яглом привел ко мне Кронида Любарского. Тот собирался начать издавать самиздатовский журнал с литературным отделом и просил моей помощи. Я начал только собирать материалы, как Кронида арестовали. Мы с Мишей подумали, что его может попросить взять на поруки Мишин ученик по Горькому Гапонов-Грехов. Я знал и другого Мишиного ученика Мишу Миллера еще по своей поездке в Горький с лекциями (одну из которых читал на радиофизическом факультете) в начале шестидесятых годов, потом часто видел их обоих у Миши. Андрей Гапонов согласился с нашей затеей, предварительно расспросив меня о Кронида.

На примере Гапонова-Грехова я лишний раз увидел, как заботлив Миша к друзьям. Он тратил массу времени на то, чтобы заказать для него книги, которые тот имел право покупать по академическому списку, но без Мишиной помощи не мог бы это делать, потому что приобрести книги можно было только в Москве.

Мы со Светланой наезжали к Леонтовичам-Левиным на дачу, в частности на Новый год. На людном сборище Миша читал свои специально заготовленные по случаю тексты. Я больше люблю его короткие стихотворные экспромты, как знаменитая эпиграмма на Сельвинского. Но на даче в Абрамцеве Мишины

тексты были уже почти традиционной составной частью большого действа со множеством участников — и семейных, и друзей, и части тех компаний, душой которых был Миша.

Как-то мы приехали на дачу в Абрамцево в тот момент, когда мне нужно было срочно послать в Тарту тезисы для блоковской конференции. Я привез с собой тетрадку, куда записывал данные о статистике форм хорея в "Шагах командора". Миша заинтересовался: "Покажи, что за безобразие ты из этого делаешь?"

У нас на даче в Переделкине Миша с сыном Бамбиком бывал регулярно в ту зиму, когда мы со Светланой там прожили почти безвыездно. Наш сын Ленька ходил там в школу, а я вел кружок для детей по дешифровке древних письменностей и по сравнительному языкознанию. Бамбик был участником кружка и проявил на нем большие способности. Миша присутствовал на всех занятиях. Его вклад состоял также в ритуальной поленице, которую он всякий раз привозил из Москвы для чаепития по окончании занятий. В конце учебного года я устроил зачет, который большинство ребят выдержали с блеском. Миша в нем тоже участвовал шуточными письменными ответами.

Вокруг этого времени Миша бывал на нескольких моих докладах, иногда приводя с собой и сослуживцев, интересовавшихся филологией. Кроме уже упомянутого доклада о Ньютоне, он слушал большое мое сообщение о связи алфавитного письма с клинописью и доклад на семинаре в ВИНИТИ о возможных системах интеллекта, отличных от человеческого. Слушателем, как до того на семинарах, он был очень внимательным и вопросы задавал по существу. Миша прослушал и длинное мое сочинение о стихотворении Пастернака "Бабочка-буря". Он помог мне понять смысл строки "В рядах до крыш горящих сумм", рассказав со слов своего отца, что в Берлине биржевые новости сообщали табло, горевшие у верхних этажей. Я вставил это объяснение в свой текст со ссылкой на Мишу. Когда я писал книжку "Чет и нечет", я вспомнил подробный Мишин рассказ о Рамануджане, чей особый подход к математике его очень занимал. Миша сообщил мне еще много о нем и посоветовал, что почитать. Я воспользовался в своей книжке рассказом Харди о том, как Рамануджан толковал номер его такси. А в моей книжке Миша одобрил мысль о библиотеке как продолжении человека: он мне как-то привел эту мысль по поводу наших с ним книг. Мишу в то время раздражало начавшееся тяготение общества к религии. Похвалив как-то меня за сохранение ясности ума, Миша вдруг взглянул на меня с подозрением и спросил, не сдвинулся ли я в сторону веры. Хотя я никогда не примыкал ни к какой конфессии, мои взгляды на высшее гармоническое начало, вероятно, отличались от Мишиных. Я это почувствовал по его воспоминаниям о Михаиле Александровиче Леонтовиче: он ему представлялся полнейшим атеистом. А я помню разговор с П. Л. Капицей в последние его годы. Он говорил, как Леонтович заходил к ним домой после заседания редколлегии ЖЭТФ и говорил о наличии некоторого высшего начала, которое открывается и в науке. Леонтович в старости понимал религию на свой лад. Капица и сам к концу жизни был близок к такому настроению, может быть, пантеистическому. Но Миша в свои поздние и трудные годы, страдая недомоганием и на многое ожесточась, тоже по-своему стал ценить и самое главное: о

друге, пережившем тяжелую утрату, он с пониманием рассказывал, как тот не спит ночами, думая о смысле жизни и смерти.

Из последних разговоров с Мишей, касавшихся философии физики, существенным было обсуждение посвященной этой теме рукописи Л. И. Мандельштама. Миша дал мне ее читать. Я слышал о ней раньше и знал, сколько Мандельштам значил для своих учеников. Но рукопись несколько разочаровывала: ему приходилось разбирать вопросы, навязанные физике, а не самое волнующее в науке века.

Я показывал Мише свое незаконченное эссе об антисемитизме, где я касался и некоторых посмертных публикаций Розанова. Миша сам развил эту тему в записях о Розанове, которые мне тогда передал.

Весной 1982 года Мишу при переходе улицы сбила машина и он попал к Склифосовскому. Я был у него там в палате. Ухудшение здоровья было заметно. Он сдавал и мрачнел. Потом я навещал его уже дома.

Когда к власти пришел Андропов, у Миши дома жил Миллер. Мы с ним обсуждали политические новости и сплетни о переменах. Миша прервал нас довольно резко, обратившись к Миллеру: "Надоело об этом. Не могу". Потом повернулся ко мне: "Может быть, ты можешь".

Последний наш разговор уже в новое время незадолго до Мишиной смерти состоялся в помещении Моссовета. Мы оба пришли на заседание угасавшей Московской трибуны. Оно было технически плохо организовано: мы ждали в одном месте, а нас ждали в другой части огромного здания. Так и не дождавшись, Миша потом ушел. Но до того было время поговорить, опять в сутолоке, как в доброе старое время. Миша рассказывал, как стал видеть после операции и насколько это непривычно. Говорил, что поэтому прельщает поездка в Ленинград. Но у меня сложилось впечатление, что Миша если не был готов к смерти, то знал о ней заранее.

Не мне, не нам судить, удались ли жизни наших близких. Мишин случай — особый. Внешне все неблагополучно. Научная карьера негромкая. Замечательные эпиграммы при жизни известны немногим. Но без Миши нельзя представить всей жизни того круга, которому он принадлежал и для которого столько сделал. И дело даже не в отдельных чрезвычайно смелых поступках. Он задавал тон. На него равнялись. Будущее его оценит.

Е. Б. Пастернак

НЕОТПРАЗДНОВАННЫЙ ЮБИЛЕЙ

Вплоть до последней своей болезни мой отец верил, что воспоминания спасают человека от отчаяния, в страданиях приходят к нему на помощь, сохраняют его личность в целости. Может быть, они придут на помощь и мне.

...Миша Левин, лежа в больнице после операции и ее последствий, жаловался на страшную усталость. Это очень точное, как все, что он определял, слово. После моих операций профессор Уедероу мне растолковывал, что современные наркозы дают это чувство смертельной усталости, которое, по его словам, в удачных случаях постепенно преодолевается в силу сознания своих возможностей, то есть чувствуешь, что можешь еще многое сделать. Мишеньке Бог не судил узнать, что это такое, хотя он был на удивление способен к самопреодолению. Я — по слабости духовной — не способен.

Мелочи, которые порабощают, прорастают, словно споры плесени, грибов и папоротников. Таковы темные силы, овладевшие нашей страной, — начала разложения и разврата.

Мы все давно это замечали, даже я как-то высказывался по этому поводу, что-то записывал. Но нам казалось, что это — мелочи и извращения, а именно они стали общим законом, политикой и основами жизни. Гниль и пошлость.

Наверное, это моя старость и склероз, но это бессилие воспринимается мной как общая закономерность, упадок и потеря реальности, и теперь, после Мишиной смерти, никто не может разубедить меня чем-либо обоснованным и годным быть точкой опоры. Слова же, что сама жизнь знает, как ей быть, и ее ростки сильнее, — кажутся мне теперь слишком абстрактными соображениями. Так рассуждали все свидетели упадка и гибели с незапамятных, преданных забвению времен.

Как-то я сказал Мише, что об этом надо бы написать большую статью.

— Или лучше короткое стихотворение, — уточнил он.

Да будет милостива к нам воля Твоя, Господи!

Я пишу эти строки в Оксфорде, в старом доме, где прожила почти пятьдесят лет моя тетка, где скончался мой дед. Гуляя по улицам этого старинного и красивейшего в мире города, я вспоминаю, как Айви Вальтеровна Литвинова говорила Мише Левину:

— Из вас получился бы прекрасный оксфордский профессор.

Я почувствовал меткость определения, а теперь могу подтвердить его правильность. Тут он был бы на месте, как легко и свободно он чувствовал бы себя здесь, а об успехе в среде английских ученых и говорить не приходится, он был ему обеспечен.

Каждый раз, когда мы уезжали в Англию, Миша просил меня встретиться с Сашей Пятигорским. Это удалось по-настоящему только теперь. Мы зашли в Институт восточных языков и застали Сашу в его комнате, куда он забежал на несколько минут в перерыве между лекциями. Мы недавно прочли его воспоминания о Мише, и выйдя на Рассел-сквер, я снова со всей остротой почувствовал, что в Англии Миши не хватает почти так же, как в Москве. Не хватает его интереса к людям, его исследовательского взгляда, для которого все важно, все обстоятельства, его умения выспрашивать и выслушивать независимо от того, придет ли он к искомому выводу или нет, и снова спросить, наводя и уточняя.

Мы были знакомы в течение пятидесяти лет. Наша первая встреча была настолько важна для нас обоих, что одним из последних Мишиных желаний было отпраздновать ее юбилей.

Дело было в Ташкенте, в ноябре или декабре 1941 года. Место встречи запомнилось нам обоим. Это было на вечеринке у Зиги Шмидта, теперь Сигурда Оттовича, с которым мы оба независимо были знакомы с детства. Мишка считал позднее, что знакомство с ним было нужно лишь для того, чтобы мы, наконец, встретились у него в гостях, он видел в этом историческое значение нашей встречи.

Он был близок к истине, потому что сам Зига, или Сиг, как шутливо называл его Миша, вскоре совсем выплыл из сферы наших интересов.

Ташкентская эвакуация заслуживает подробного изображения, мы часто вспоминали с Мишей многие частности тамошней жизни, служившей фоном и обстоятельствами нашей дружбы.

Среди разных московских учреждений туда выехала часть Академии наук. Академикам выделили отдельный дом, а сотрудникам помельче — балетное училище Тамары Ханум. Большой зал был разделен простынями на клетушки, в которых ютились "рядовые работники". На подоконниках и около коек стояли керосинки, на которых варилась и пахла разная еда. Людям покрупнее были отведены комнаты в прилегающих коридорах. В одной из таких комнат жила мать Зиги Маргарита Эммануиловна Голосовкер с ним и его верной няней Франей, которая была крепкой опорой их материального благополучия.

На вечеринке собрались разные молодые люди. В углу дивана сидел Миша, включаясь в общий разговор остроумными и меткими замечаниями. Он, помнится, уже тогда носил куртку вроде лыжной и белую рубашку с расстегнутым воротом. Зига был в костюме с галстуком. Кажется, вскоре я оказался на том же диване, где сидел Миша, и мы завели свой, отдельный ото всех, разговор. Вероятно, мы ушли раньше других и, попрощавшись с Маргаритой Эммануиловной, вышли вместе — оказалось, что мы жили совсем рядом и нам было по пути. Пушкинская улица, по которой нам было вверх до Урицкого, была обсажена большими деревьями, — вероятно, тополями. Они облетали, и улица

была завалена по щиколотку палыми, громко шуршащими и горько пахнущими листьями. Журчала вода в арыках, и когда мы дошли до перекрестка, где Мише было через улицу, а мне — за угол налево, — настоящий разговор только начался. Мы еще долго ходили по прилегающим улицам, поочередно провожая друг друга, и не могли наговориться.

Не знаю, что нас сразу сблизило. Меня притягивала Мишина заинтересованность и внимание. Он спрашивал меня о занятиях в университете, и мои ответы развивал так, что они становились значительными и влекли новые вопросы.

Светила луна. Мне запомнились черные тени и яркие освещенные пятна под ногами. Кажется, я придерживал Мишу под локоть — он носил уже тогда очки с толстыми стеклами, но шел быстро и смело, иногда спотыкаясь на колдобинах неровно вымощенного тротуара.

Мишино внимание привлекло то, что я только что поступил на физмат САГУ. Он обсуждал книжки, которые надо читать. Он с восторгом говорил о "Механике" Хайкина, о понимании силы как упругого напряжения.

В Ташкенте осели и читали лекции многие профессора московского университета. Миша давал им меткие и точные характеристики. Сам он ходил слушать Петровского, насколько я помню, курс алгебраических функций высших степеней.

Мы тогда много гуляли с Мишей по улицам Ташкента; как ни странно, высокая вода в речках, ручьях и каналах Оксфорда напоминает мне теперь журчащие арыки того времени, а кучи опавших листьев шуршат под ногами точно так же, как тогда. И так же, или это мне только кажется, пахнет горечью осени. И наверное, в тот вечер мы с Мишей говорили про моего отца. Он вспоминал потом, а может быть и тогда, что видел его в президиуме съезда писателей.

Вероятно, мы снова встретились на следующий день, или вроде этого, во всяком случае, скоро Миша пришел к нам. Он говорил потом, что ему было приятно у нас.

Мы тогда недавно переехали в маленький одноэтажный дом, где раньше был Сельхозбанк, отданный эвакуированным писателям. Нашими соседями оказались Ива́новы, напротив через коридор Фрида Вигдорова с детьми. Вода и все прочее было во дворе, общее. Нам отдали комнату Кирсанова, откуда они с женой недавно уехали. Она была перегорожена свежей глиняной переборкой надвое, из сырой глины росли разные растения. Кирпичная печурка хорошо тянула, и у нас был мешок картошки. Ежедневно я носил маме обеды — тарелку баланды — из студенческой столовой. Вот сюда и пришел ко мне Миша Левин, принеся стопочку книг для моего физматобразования.

Меня восхищала Мишина самостоятельность, умение думать так, что промежуточные стадии выпадали, и результат или вывод поражал своей неожиданной правильностью. Мне трудно теперь понять, что его привлекало к моей совершенно желторотой и инфантильной особе.

Несколько лет назад Миша до слез растрогал меня своим рассказом о том, что всегда помнит мою маму такой, какой она была в Ташкенте. Веселой, молодой, красивой, полной сил и стойкости, совсем не такой, как она запомни-

лась мне, сломленной и мрачной в последние годы. Он помногу разговаривал с ней о Пастернаке и потом, когда я уже был в казарме, и обо мне. Она много работала в Ташкенте, рисовала и Мишу и потом подарила ему портрет, который был забран у него при обыске.

Жизнь в Ташкенте была призрачной и странной. Известия с фронта — это был период наших чудовищных поражений — доходили в далеком от реальности виде и разным людям по-разному. Старались следить за событиями, и любое обнадеживающее известие передавали друг другу с восторгом. Миша пересказывал мне выдержки из писем с фронта, которые получал от Иры Ракобольской. Гордясь своей знакомой, добровольно пошедшей в женский авиаполк Марины Расковой, он описывал, как летчицы на самолетах У-2 — "русс-фанер" — воевали с немецкой пехотой и уходили от истребителей.

Среди университетских занятий был всевобуч — всеобщее военное обучение. Мы маршировали с винтовками в университетском дворе. Накануне Миша условился со мной, что познакомит меня с самым молодым доктором наук. И пришел с Мейманом. Наум Натанович стоял с ним, пока мы заканчивали занятия и что-то острил на наш счет. Потом мы ушли вместе в том же направлении вверх по Пушкинской улице. Миша называл его "док".

Я уже бывал у Миши в доме академиков, ранее — доме НКВД, сохранившемся и поныне. Это было совсем близко от нас — самое почетное и комфортабельное пристанище эвакуированных в Ташкенте. Его матери Ревекке Сауловне, как знаменитому экономисту, дали отдельную квартиру. Миша благоговел перед нею и любил рассказывать, как она за несколько месяцев до войны докладывала от Института мировой политики и мирового хозяйства на заседании Политбюро ЦК и сказала, что Германия в июне 1941 года начнет войну против СССР. Она даже назвала примерно число, Маленков ее оборвал и сказал, чтобы она не вмешивалась не в свое дело и что это провокация.

Я запомнил колоритнейшую фигуру Мишиного дедушки. Удивительно добрый и заботливый, он играл в быту семейства Левиных главную роль. Младший брат Миши Володя, которого в семье звали Васькой, был всецело на его попечении. Мне кажется, что и приготовление еды, и уборка, и многое другое в доме лежало на нем.

Миша очень мучился, что он белобилетник, ему хотелось участвовать в войне. Вообще, всю свою жизнь он любую неполноценность воспринимал ревниво, как оскорбление.

Он тогда плохо себя чувствовал. Сильно болели глаза от авитаминоза, недостатка сахара и прочего. Но, несмотря на это, он стал заниматься экспериментальной физикой и наблюдал спектры Тиндаля. Но ни тогда, ни многие годы потом Миша не читал мне своих стихов.

Я познакомил Мишу с Ивановыми. Он стал вместе с Таней пасти Мишу и Кому. Он сразу влюбился в нее, помню, как они приходили к нам и подолгу разговаривали, сидя рядом друг с другом на моем топчане. Но я застал только начало этой дружбы, потому что скоро попал в казармы, а когда вернулся домой, Миша уже уехал в Москву. Оттуда он вел с Мишей и Комой Ивановыми шутливую переписку в стихах и картинках, по тем временам дерзкую и смертельно опасную.

Миша мне часто рассказывал о физфаке МГУ, о том, как его экзаменовал Л. И. Мандельштам и предложил объяснить теоретически несколько новых явлений, как поздравлял его, выслушав ответ.

Думая о Мишиных душевных качествах, я останавливаюсь на мысли, что он жил естественным и ярким стремлением к совершенству. Еще в первый вечер я рассказал ему о моем мимолетном соприкосновении с войной на окопных работах вдоль верховья Днепра, о немецких бомбежках и высадившемся неподалеку десанте, о возвращении в Москву. Теперь пришло время призываться в армию. Меня таскали на комиссии в военкомат.

Ярким был праздник Нового 1942 года. Мы вместе с Ахматовой были приглашены к Козловским, где был настоящий сваренный мастером-узбеком плов, вино и закуски. Потом братья Козловские в четыре руки играли Вторую симфонию Бетховена. Просидели до утра, проводили Ахматову домой и пошли поздравлять соседей. Я зашел к Мише. Вместе порадовались известиям о контрнаступлении под Москвой. Вечером вместе с ним пекли у нас в печке картошку.

Тем временем я успешно сдавал экзамены за 1-й семестр. Вместе со мной на курсе учился Володя Болтянский, впоследствии крупный математик, будущий сотрудник Понтрягина. Миша был в курсе всех моих дел, всегда готов был помочь, приносил нужные книжки. Его интерес и поддержка помогли мне проявить настойчивость и сдать всю сессию на пятерки. Последний экзамен по астрономии был даже лишним — мне надо было на следующий день идти поступать в военную академию. Мне даже присудили какую-то именную стипендию, и Миша по моей просьбе относил заявление об отказе от нее и уходе из университета.

Дело в том, что мне до последнего момента не хотелось бросать занятия, и я все надеялся, что как-нибудь обойдется. Но маме стало известно, что при танковой военной академии открываются краткосрочные курсы младших воентехников, что давало возможность хоть не в маршевой роте попасть на фронт. Этим же путем хотел воспользоваться мой одноклассник Фаробин, у матери которого были знакомства в академии. Мама уговорила меня записаться на эти курсы. Я колебался и тянул время. Советовался с Мишей Левиным, который тоже как будто сочувствовал этим планам, но, как было ему свойственно, никогда никого не подталкивал и не уговаривал. Свобода решения должна была остаться за мной. А именно это и было для меня самым трудным. И когда меня, наконец, вызвали в военкомат с вещами, мама попросила помощи у Тамары Владимировны Ивановой. Та сняла трубку и позвонила как "жена писателя Ива́нова" начальнику академии генерал-лейтенанту Ковалеву. Тот обещал ей, что меня примут. Меня уверили, что это всего лишь краткосрочные курсы. Я очень не хотел поступать в военную академию.

Я пришел, мне велели написать прошение о приеме и явиться с вещичками в военный городок за пивзаводом.

До проходной меня провожали Миша и мама. Нестерпимо воняло бардой — пивным отстоем, который местные жители разбирали на корм скоту. В эту ночь я уже спал на двухэтажных деревянных нарах в огромном помещении казармы 1-го курса инженерно-танкового факультета военной академии. Краткосрочные

курсы были только ловушкой, попав в которую, я взбунтовался. Но 15 суток казарменного (домашнего) ареста отрезвили меня.

На свете существует защитная реакция. Человек забывает тяжелые периоды своей жизни или трансформирует их в текст для рассказа. Я почти не помню событий начала своей военной службы. Помню, что мы отпрашивались за ворота, но в городе появляться не могли, зверски ловила комендатура — документов у нас не было — и отводила на гарнизонную гауптвахту.

Занятий было много, курс еще не был сформирован — несколько человек, взятых вроде меня по блату, и приехавшие с фронта из училищ и тыловых частей кадровые военные чином до капитана. В свободное от занятий время мы торчали за забором, туда-то и приходил ко мне Миша, и мы с ним бесконечно фланировали от угла и до угла вдоль стены военного городка.

Он мне рассказывал про маму, с которой часто виделся и позировал ей для портрета, про Таню Иванову и ее братьев. Мишин разговор привлекал не сказанным, а услышанным и в ответ спрошенным. Свои посещения он превращал в нечто вроде сводки новостей, передавая мне то, что происходило в промежутке между его приходами. Нам было хорошо не только разговаривать, а и молчать вместе. Это сохранилось на всю жизнь. Вообще Мишино присутствие не обязательно сопровождалось разговором. Перекидывались отдельными словами. Иногда он что-то читал на ходу и передавал содержательные моменты. Совершенно замечательно слушал мою болтовню и бесконечные жалобы. Миша обладал удивительным умением рассказывать, и если это не получалось, значит, он был болен. Болели глаза или была тяжелая голова после бессонницы, которой он страдал всю жизнь.

Миша вернулся в Москву осенью 1942 года. Мы просили его зайти к папе, который приезжал на несколько месяцев из Чистополя, и рассказать ему о нас и ташкентском житье-бытье. Как замечательно он запомнил и потом записал по моей просьбе и мне в подарок ко дню рождения свою встречу с отцом и их разговор!

Когда осенью 1943 года мы приехали в Москву, Миша уже полгода, как работал у Леонтовича. Одновременно он кончал университет.

Я часто приходил к нему в его просторную академическую квартиру, из окон которой был виден сад 2-й Градской больницы и верхушки деревьев Нескучного. Это было удивительное время, начавшееся с наступления на Курской дуге.

Во-первых, чудо самой победы, в которую со дня на день верили все более, во-вторых, рождалась уверенность, что возврат к угнетению довоенных лет невозможен. Победа со всей очевидностью отождествлялась со свободой. Так сказывалась естественная логика понимания исторических событий — Божья воля. До войны в нас вдалбливали, что мы должны готовиться к обороне, что нападение врагов неизбежно. Теперь это было позади, и за устранением причины казалось, что после победы должен был измениться весь уклад жизни. В это верили многие, и мы с Мишей в том числе. Отец писал тогда об этом в своем очерке "Поездка в армию", потом вспоминал эти надежды в эпилоге "Доктора Живаго".

Эти чувства крепко связывали нас с Мишей в те дни. Особенно ярко это воспринималось, когда в Москву с фронта приехала Ира Ракобольская. Миша позвал меня вечером в гости. Мы чего-то ели, пили разведенный медицинский спирт, пели и слушали ее рассказы. Выходили погулять на Калужскую и Крымский мост. С наступлением комендантского часа вернулись к Мише. Утром она уехала. Я спал допоздна. Все было как-то очень чисто и радостно.

Ужас внезапного Мишиного ареста стал началом событий, резко противоречивших, казалось бы, прямому и понятному ходу вещей.

После довольно долгого Мишиного отсутствия я позвонил ему домой, и Ревекка Сауловна как-то неуверенно сказала, что его нет дома и может быть долго не будет. "Он уехал?" — спросил я. Она опять ответила: "Может быть". Уловив в ее словах какую-то недоговоренность, я пошел на Калужскую, где узнал от нее, что его посадили. Не помню, говорил ли он мне о предшествующих этому арестах Фрида и Дунского.

Миша однажды водил меня к Фриду в Столешников. Там было шумно, многолюдно и плавал густой табачный дым. Все довольно театрально ухаживали за Ниной. Общего разговора не получалось, я стеснялся и робел в артистической компании. Милее и проще всех был Юлик Дунский. Мы с ним разговаривали отдельно. Когда мы уходили, Миша сказал, что для душевного разговора не хватило поллитра.

Потом Миша рассказывал мне, что в какой-то записке к нему в тюрьму Ревекка Сауловна написала о маслинах, которые они ели накануне. Так как любовь к маслинам была моей личной характеристикой — ни Миша, ни его мать маслин не любили, он сразу понял, что мать писала ему о моем приходе к ней. Я иногда навещал ее, справляясь о новостях.

Выйдя по послевоенной амнистии, он поселился на даче в Кратове. Носил усы и тельняшку, что его сильно меняло и как-то не шло ему. Вскоре позвонил мне и приехал вечером. Стеснялся чего-то, долго молчал и вдруг спросил: "Ты мне веришь?" Вместо ответа я рассмеялся, интересуясь, не сошел ли он с ума. Облако первой неловкости сразу рассеялось, и Миша снова стал самим собой и уже рассказывал о своих знакомых, отрывочно о шарашке, упоминая только некоторые обстоятельства. Он курил из мундштука, сделанного в камере из жеваного хлеба с табачным пеплом.

Мы ездили вместе с ним в Кратово. Там был чудесный двухэтажный деревянный дом. Было воскресенье. Ревекка Сауловна поила нас чаем на террасе. Потом пошли на Москву-реку, купались. Там был пляж и лодочная станция. Взяли лодку и чуть не попали в беду, когда у встречного буксирного парохода занесло баржу и она готова была втереть нас в обрывочный песчаный берег. Едва выгреблись.

Некоторое время Миша жил в Кратове, вскоре Леонтович устроил его ассистентом в Горький.

Немного погодя возобновился его роман с Таней Ивановой, они решили пожениться. Командовала свадьбой Тамара Владимировна. Меня пригласили на Калужскую, где светское остроумие общества вызывало чувство неловкости. По-моему, Миша тоже стеснялся этого.

Вскоре они уехали в Горький.

В эти годы мы виделись только в его редкие наезды в Москву. У меня шла закрученная жизнь в военной академии, адъюнктура и желание заниматься наукой, сумятица в уме и сердце. Я сдавал кучу кандидатских экзаменов, штудировал вещи, которые мне были не по зубам и не по нраву, такие, как теория танков и разная механика в ее боковых и схоластических частях. Потом отъезд из Москвы, гарнизонная жизнь в Черкассах и Забайкалье. Так что Мишины несчастья — арест матери, переезд семьи в Рязань, поиски работы — я плохо помню теперь. Об этом пусть напишут другие.

Мой отец был убежден и писал об этом, что в науке движение вперед происходит по закону отталкивания, оспаривания прошлых результатов. Мне кажется, что Миша работал так, как, по мнению отца, развивалось искусство — по закону притяжения. Миша всю свою науку строил на верности своим учителям, на оригинальном развитии их мысли. Может быть, это ему даже вредило, но на этом было основано его удивительное благородство.

Я помню, как однажды Биргер на каком-то из дней рождения сказал, что Миша всегда был ему опорой, благодаря своей удивительной доброте. Миша стал горячо возражать в ответ, видимо, это почему-то его задело. Мне хотелось понять, было ли тут что-то более глубокое, чем реакция на комплимент. Мне кажется, что Мишина доброта была не врожденным, а вмененным себе в обязанность и благоприобретенным качеством, основой его благородства и праведности. Главное было в доброжелательной заинтересованности ко всем — к Леонтовичу, Гельфанду, Сахарову, Надежде Яковлевне Мандельштам, горьковским ученикам, тому же Биргеру. Скольких он спасал из денежных затруднений! Если у него появлялись лишние деньги, всегда предупреждал: "Имей в виду, Женька, у меня сейчас есть, если будут нужны, скажи". И при этом всегда был так нежен и ласков к нам обоим, к нашим детям! Его имя — "Мишевелин" — было одним из первых их слов, и взаимная любовь, родившаяся с первых дней их существования, не прерывалась никогда.

Преодолевая плохое самочувствие, почти больной после ряда бессонных ночей, он, не разговаривая, утыкался в книжку и читал, выхватывая что-то похожее на мысль. Подчеркивая волнистой чертой по полю обрывки смысла, он старался уловить, где автор проговаривался, может быть, даже вопреки своему желанию.

Он умел прекрасно рассказывать, но еще лучше умел слушать. Самые разные и скучные люди начинали при нем интересно говорить и думать. На него всегда можно было положиться и не обмануться в своей надежде.

Он с радостью подмечал в людях их интерес к физике и говорил, что из писателей только Всеволод Иванов и Борис Пастернак интересовались тем, как устроена Вселенная. Он писал об этом в своих воспоминаниях о моем отце.

А мне он как-то сказал: "Как тебе повезло! Ты и еврей, и сын великого русского писателя!" Но никогда он не давал мне понять, что на его чувства ко мне влияло восхищение моим отцом. Скорее наоборот, мы вместе могли радоваться и наравне переживать все события его последних лет и делиться на равных соображениями по поводу написанного им.

В конце февраля 1953 года я был в Москве проездом из Черкасс в Читу. Оказалось, Миша тоже здесь, и мы созвонились. Он пришел провожать меня на Ярославский вокзал. Через несколько дней он улетал самолетом в Тюмень, где тогда преподавал. Когда на том же поезде я остановился в Тюмени, он встретил меня на платформе, и мы гуляли по перрону, пока поезд стоял. Это было страшное время, и было жутко заглядывать вперед, но когда я подъезжал к Чите, весь поезд уже плавал в слезах под траурную музыку, отпевавшую покойника. Потом пришло письмо о Мишином дифтерите и приезде к нему Наташи Леонтович.

Летом 1953 года мама навещала его на даче у Леонтовичей в Тучкове и вскоре после этого приехала со свежими рассказами ко мне в Кяхту. Когда я был в Москве зимой в отпуске, Миша все еще был в Тюмени. Мы встретились только весной 1955 года в том же Тучкове. В деревне через реку жил Самуил Маркович Осовец, которого очень любил Михаил Александрович Леонтович и к которому он часто ходил в гости. Миша носил воду в дом из-под обрыва к Москве-реке. Спали мы на сеновале, где нам докучали по ночам тучи комаров. Не спасали никакие марлевые пологи. День уходил на подготовку двух байдарок, палаток и поклажи для совместного путешествия из Тучкова до Можайска. Как неутомимы были все Леонтовичи, как не отставал от них Мишка! Каким никудышным компаньоном оказался я, не понимавший, зачем нужно так уставать, чтобы получить настоящее удовольствие от поездки. Помню, как мы перетаскивали лодки и поклажу через лавы у первого же поселка Марс. Как медленно гребли вверх по Москве-реке два дня до Можайска, как распороли байдарку, потом клеились. Вернулись вниз по течению за один день.

По-моему, в тот же день вечером причалил к тучковскому обрыву профессор Ефремович с семьей из Иванова. Он предложил Мише перевестись из Тюмени к нему, где была вакансия в пединституте.

Следующим летом мы ездили на машине вшестером в долгое путешествие на Украину и в Крым. Надо сказать, что отпускные путешествия у Леонтовичей были обязательным подвигом-страданием. Миша принимал в этом естественное участие. Может быть, оно было для него особенно характерным, потому что он шел по скалам и обрывам почти вслепую, таскал неимоверные тяжести при своих возраставших диоптриях и опасности отслоения сетчатки. Но даже намекнуть на это было нельзя, так ополчался он против всякого ограничения и жалостливого сочувствия к нему.

Радость участия в общем страдании я тогда не мог оценить должным образом, так как совсем не мог соответствовать высоте этой задачи, еще и заболев к тому же в пути. На меня долго не сердились и по-доброму иронизировали над моим неумением вести машину, объясняя его профессиональными привычками вождения танка. Миша чувствовал себя вдвойне неловко, так как позвал меня в поездку и был как бы в ответственности за мою слабость и избалованность.

Помню, как на въезде в Феодосию мы попали под ливень и вели машину на руках по размокшей черноземной дороге. Пришлось после этого всем мыться в море и переодеваться. Миша оказался в шортах и ковбойке навыпуск. Страшно хотелось есть, но в ресторан нас не пустили в таком виде. То же повторилось в

базарной харчевне с мухами и тухлыми котлетами, где запротестовала слободская публика, крича, что сюда приходят с детьми и такого неприличия допускать нельзя.

Я впервые тогда увидел Крым после переселения, привыкши к татарскому свободному и благожелательному отношению. Михаил Александрович вышел из себя, побледнев как полотно, и кричал страшным высоким голосом, Наташа с Татьяной Петровной едва его успокоили. Мы вышли из харчевни, бросив принесенную нам еду, вдогонку Мише кто-то крикнул: "Аид, отправляйся в свою Абиссинию!"

В Коктебеле мы встретили Поливановых, и я познакомил эти два любимых мною семейства, очень похожих своеобразием и верностью собственному укладу. Помню, как Миша с рюкзаком твердо шел по таким местам, куда мне с моим коктебельским любительским скалолазанием страшно было сунуться. На всех стоянках он неизменно заваривал чай в бидончике, не доверяя этого священного дела никому другому. Из Коктебеля поехали в Алушту и Крымский заповедник двумя машинами вместе с Поливановыми и Марией Степановной Волошиной.

В этом путешествии Леонтовичи подружились с Поливановыми, что мне было очень радостно, но я окончательно потерял их доверие, когда отказался помогать Мише и Наташе, которые выгребали камни из-под колес автомобиля, стоя по пояс в холодной воде горного потока. В ответ академику, требовавшему, чтобы я вышел из машины, я ответил, что у меня не хватает для этого энтузиазма. Оправдываться тут не приходится. Миша меня, конечно, презирал вместе со всеми.

Из Симферополя я улетел в Москву.

На следующий Новый год я привел к ним Аленушку.

Большая академическая квартира на Щукинском была полна народу. Пели и танцевали. Были недавно освободившиеся Фрид и Дунский, Яша Сегель, Саша Пятигорский и какие-то "философы"' из друзей Саши Леонтовича. Сильно набравшийся Фрид веселил общество то блатными песенками, то рассказами из лагерной жизни, от которых в жилах стыла кровь, но вместе с тем, как всегда у него, трудно было удержаться от смеха.

Мы поженились 7 февраля 1957 года, и, как мы узнали позже, Миша с Наташей расписались в тот же день. И следующим летом, когда мы приехали в Абрамцево, наши жены обе почему-то отказались от общей игры в волейбол и сидели на скамеечке, как выяснилось, в одинаковом положении. Наш Петенька родился 13 ноября, а Мишина Танечка — 24-го. Но познакомились они только летом, когда Ташку привезли на Бережковскую набережную, где жила тогда Ревекка Сауловна, а потом к нам на Дорогомиловскую. Ташечка оказалась крупной и беленькой, в сравнении с ней наш Петя выглядел совсем малышкой. Но он умел уже сидеть и порывался вставать, тогда как Таша предпочитала лежать на спинке.

Наш Боречка обогнал Бамбика уже на два года, а Лизок — на четыре — Мишиного Петеньку. Но заданная в 1957 году параллельность продолжала сохраняться, и когда наши дети выросли, и старшие стали заниматься у Биргера рисованием, я и Миша, как оказалось с разных сторон, питали тайные желания

как-нибудь их поженить. Но по-прежнему левинско-леонтовичская самостоятельность героической природы отталкивалась от избалованной интеллигентности пастернаковской, и все что-то разлаживалось даже тогда, когда внезапно пробегали огоньки симпатии и влюбленности.

Когда в Москве стало известно, что моему отцу присудили Нобелевскую премию, к нам вечером пришел Миша Левин. Взволнованные и счастливые, уложив Петеньку спать, мы были не в силах сидеть в четырех стенах, и все втроем вышли бродить по улицам.

Как мы радовались тому, что отец получил заслуженную награду и мировое признание, которые никакие завистники и недоброжелатели не в силах теперь замазать и опорочить. Что позади остались все нападки и мучения, которым его подвергали все послевоенное время. Что получение премии означает поездку в Стокгольм и выступление с речью. Как это было бы красиво и содержательно сказано! Победа казалась нам такой полной и прекрасной.

И в который раз наши мечты были посрамлены и растоптаны вышедшими на следующее же утро газетами. Было стыдно и гадко на душе. Мы тогда ездили к отцу в Переделкино каждый день, он был радостен и светел, не читая газет и ничего не боясь. Его интересовало только, не отражается ли на мне эта кампания. Предполагая, что, если его выпустят за границу, его могут не пустить обратно, он спрашивал меня, согласен ли я буду поехать с ним. Я обрадовал его, сказав, что, конечно, мы будем с ним.

Через неделю Миша позвонил мне с просьбой проводить его и Леонтовича в Переделкино. Дело в том, что в тот день "Правда" опубликовала статью о присуждении Нобелевской премии русским физикам Тамму, Франку и Черенкову. В конце статьи объяснялось, что физики получили заслуженную награду, а Пастернак — по политическим соображениям. Леонтович хотел рассказать Пастернаку, что физики так не думают, что газета забраковала статью Арцимовича по этому поводу, потому что он отказался вставить в нее подлый абзац.

Судя по предыдущим дням, когда я видел отца, я думал, что ему будет приятно встретиться с Леонтовичем и Мишей, которого он очень любил, но в этот раз было все по-другому. Была небольшая метель, когда мы подъехали к дому. Я побежал вперед и узнал, что отца нет, он где-то гуляет. Мы встретили его на дорожке, и я не мог узнать его посеревшего, осунувшегося лица. На слова Леонтовича он только повторял одно: "Теперь это все уже не имеет никакого значения. Я сегодня отказался от премии". И он прочел нам наизусть текст телеграммы, отправленной им в Стокгольм: "Ввиду того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я вынужден от нее отказаться. Прошу не счесть обидным мой добровольный отказ".

Он просил также взять в машину Ирочку Емельянову, дочь Ольги Всеволодовны Ивинской, которой нужно было в Москву. Мы потеснились и уехали. Я кинулся просить прощения за то, что никак не ожидал увидеть отца в таком состоянии, что еще вчера он был совсем другим. Но ни Миша, ни Леонтович не увидели в этой сцене ничего странного, и Михаил Александрович резко оборвал меня, сказав, что, напротив, он восхищен той высотой духа, которую встретил у Пастернака.

Мишенька записал в своих воспоминаниях о Леонтовиче эту поездку. Я выразил ему свое огорчение по поводу того, что она записана не точно, и даже о моем присутствии он забыл. Он сказал с оттенком раздражения:

— Ну и запиши сам, как ты помнишь, а я помню так.

Не думал я, что придется писать это, когда Миши уже не будет.

Но тогда Миша появился у нас через два дня, сказав, что сейчас в Доме кино собралась Московская писательская организация с тем, чтобы требовать у правительства изгнания Пастернака из страны. Мы снова долго болтались по темным Тишинским переулкам, подавленные своим бессилием перед совершающимся позором. На площади Маяковского мы посадили Мишу на метро, а сами пошли в Брюсовский переулок к Аленушкиной маме Леноре Густавовне.

Миша очень болезненно переживал письма Хрущеву и в "Правду", которые отец написал. Кома Иванов рассказывал нам тогда, как они с Ариадной Сергеевной Эфрон сочиняли одно из них, как вызывали Пастернака к их телефону в Переделкине, согласовывали текст и требовали новых уступок.

Миша написал тогда по этому поводу очень грустные стихи. Он их как-то потом читал отцу, чем очень его огорчил. Но ни ему, ни мне отец никогда не рассказывал, как его изнасиловали, заставляя составлять и подписывать эти письма. Теперь я понимаю почему, — он не хотел приоткрывать роли той, которая была орудием этого насилия, может быть, невольным.

Во время последней болезни отца я каждый день сообщал Мише о его состоянии. На похоронах он был в числе тех, кто, сменяясь, нес гроб на кладбище. Я все время чувствовал его присутствие рядом с собой. Потом он говорил об этом дне, как о переживании большого религиозного праздника: сочетание скорби и радостной свободы. Все последующие годы он непременно приезжал в Переделкино 30 мая.

Летом 1966 года Миша уговорил нас поехать вместе с ними в рыбачий поселок под Ригу — Рагациемс. Сам он приехал позже, после приема экзаменов, усталый и больной ангиной. Медленно выздоравливал, потом болели поочередно дети. Наташа прекрасно вела хозяйство большой компании, покупали рыбу у местных жителей, купались. Миша катал детей на байдарке вдоль берега. Но основным Мишиным времяпровождением было, как всегда, чтение. Так и помню его стоящим прислонившись к стенке или притолоке двери с книгой в руках, почти вплотную придвинутой к носу, и сигаретой в другой руке, которой он вслепую стряхивал пепел.

Миша познакомил меня с А. Д. Сахаровым и Ю. Орловым в Козицком переулке у Наташи Солженицыной, в один из первых дней после ареста Александра Исаевича. В квартиру буквально валом валил народ, чтобы выразить поддержку, узнать последние новости, принять участие, подписать письмо протеста. Миша взял меня за руку и отвел в комнату, где находился главный штаб и где сидела Наташа. Он сказал, что хочет, чтобы мы были знакомы, и представил меня им. Помню, что в это время они обсуждали работы по возможному приему сигналов внеземных цивилизаций. Позже мы встречались с Сахаровым у Биргера на елке, он потом с удовольствием говорил Мише, что рад был увидеть там нашего Петю. Юрия Орлова мы следующий раз увидели

только в 1990 году в Корнелльском университете. Он уверял нас, что оптимистически смотрит на все перемены у нас: "Лет через 15–20 у вас будет нормальная страна". Когда я рассказал это Мише, он рассмеялся.

Летом 1977 года мы сманили Мишу с семейством в Геленджик. Мы чудесно провели там предыдущее лето и теперь купили путевки на оба семейства. Миша с маленьким Петей приехали раньше, Наташа с Танечкой через две недели. Лето не задалось. Были дожди. У нас тяжело заболела Лизок. Влажная сырость вязкого тумана не давала дышать. Сгорающая от жара девочка. Мишин Петя тоже кашлял и сморкался, ему не позволяли купаться. Он скучал и мучил родителей. Домик, в котором мы жили, был набит битком. К нашему Пете в гости приехал его друг Макс Захарин. Они с Мишей спали на раскладушках в прихожей. И это при Мишиной бессоннице. Он спал урывками с сильным храпом. Тем не менее, он, как всегда, много читал, даже пробовал что-то работать. Он вспомнил, как жил здесь мальчиком с мамой и дедом, как переплывал на пари Геленджикский залив.

Вскоре Наташа с Таней уехали в Москву, а мы с Мишей и Петенькой собрались в Коктебель. Лизочек к тому времени почти поправилась, но с высокой температурой теперь был наш Петя. Ехали мы в общем вагоне на боковых полках на поезде Новороссийск – Киев через Тамань, Керчь и Феодосию. Долго переправлялись на пароме через пролив, откуда видна Керчь с силуэтом горы Митридат и развалинами крепости. Доехали до Владиславовки, откуда взяли машину и приехали в Коктебель.

Ткнулись туда-сюда в поисках комнаты, но это оказалось не так-то легко. Я психовал, Миша читал книжку. Наконец сотрудник музея В. П. Купченко позволил положить совершенно больного Петю в нижнюю комнату волошинского дома, под палубой. Я не выдержал и в совершенной истерике кинулся на ближайшую горку, где находятся могилы Макса и Маруси Волошиной, которая еще недавно так радушно принимала нас в Коктебеле. Когда я вернулся, оказалось, что все как-то распихалось.

Первую ночь мы с Лизком спали в вагончике у зав. почтой Герасимовой, потом нашли комнату на Тапсене. Миша с Петенькой и нашими мальчиками обосновались у нашей обычной хозяйки. Мише было так трудно со своим Петенькой, который не хотел участвовать в общих прогулках в горы, капризничал с едой, ни за что не хотел вылезти из воды, где сидел до посинения. Ему все время было скучно и надо было чем-то его развлекать. Кроме того, вскоре из какой-то газеты Миша узнал о смерти Рема Хохлова, потом, уже после нашего с Лизой отъезда, – о гибели Вити Гапонова. Мы оставили с Мишей наших мальчиков, кроме того, вновь откуда-то появился Макс. Мальчишки, получив свободу от родительского контроля, вели себя отвратительно, коктебельский дешевый портвейн мутил мозги. Одним из самых красочных моментов был приезд в Коктебель Бамбика, которого мерзавцы наши напоили до бесчувствия. Мой Петя до сих пор не может себе простить, вспоминая, как они мучили тогда бедного Мишу. Но Миша, вернувшись в Москву, ни словом не обмолвился об этих трудностях, некоторое представление о которых я себе вскоре составил. Он говорил только несколько туманно и извиняясь, что был в тяжелом состоянии

из-за гибели Вити Гапонова и у него не всегда хватало сил выдерживать их здоровую мальчишескую психологию.

Эти годы мы регулярно встречались у Надежды Яковлевны Мандельштам. Созванивались с Мишей и шли вместе от метро. Сидели около ее постели. Миша рассказывал ей всякие новости. Она очень любила затевать с ним разговоры об английской литературе, об общих знакомых. Пили чай, заваривали в больших кружках. Она часто задавала свой коронный вопрос, просила назвать десять русских интеллигентов. Это было невозможно, с четвертого или пятого начинались евреи, и она радостно ловила нас на слове.

Однажды я условился с Мишей встретиться на платформе метро, чтобы поехать к ней, и сильно опоздал. Он был после бессонной ночи и совершенно пришиблен грохотом вылетавших из туннеля поездов. Встреча была назначена у последнего вагона. Я никогда не видел его таким рассерженным. Почему-то теперь с особенной болью вспоминаются именно те моменты, когда я чем-то огорчал его и делал ему больно. Но удивительно, что тем не менее эти моменты он легко забывал, и они не отражались на наших отношениях.

Самым страшным был разговор осенью 1988 года. Дело в том, что Миша и Наташа отдали Танину квартиру свалившимся на нас после Чернобыля дальним родственникам из Киева. Мы были просто спасены от гибели, потому что они жили у нас и никуда не хотели съезжать. Протасовы были очень странные люди: и мать, и отец, и сын. Мы постоянно давали им деньги, а они жили в Таниной квартире и не освобождали ее, несмотря ни на какие требования. Они вели переговоры, а потом ремонтировали свою киевскую квартиру, чтобы обменять ее на Москву. Наконец, Левины не вытерпели, тем более что квартира оказалась в таком состоянии, что жить там было уже нельзя. Я не представлял себе, что тут можно было сделать, потому что после перенесенных недавно трех операций вообще был в плохом психическом состоянии.

Миша сказал, что ему очень грустно об этом говорить. Что он уже не в таком возрасте, чтобы заводить новых друзей, а терять старых всегда очень больно и трудно. Но ему придется оборвать с нами всякие отношения и даже хуже, если через неделю квартира не будет освобождена и отремонтирована.

Слава Богу, это все оказалось можно поправить. Основную тяжесть взяла на себя Лиза. Как только квартира была освобождена, она наняла бригаду, которая выморила тараканов, расползавшихся черным потоком по стене дома из окна Таниной квартиры. Через кооператив сделала там ремонт, вместе с Наташей они выкинули сломанную и испоганенную мебель, заплатила долги за квартиру и телефон, который был выключен за неуплату, и прочее, прочее, прочее. Мы с Мишей никогда об этом не разговаривали. Это было слишком больно вспоминать.

Два лета подряд мы жили в Абрамцеве в снятой нам Мишей сторожке соседней дачи. Виделись почти ежедневно. Миша был грустный и усталый. Нас волновали известия о том, что делается в Нагорном Карабахе. Мы ходили к Левиным смотреть телевизор.

Сахаров прислал Мише просьбу, чтобы разные люди из академического поселка сочинили и послали срочные телеграммы со своими предложениями,

как можно разрешить конфликт. Но Горбачев на следующем же заседании решительным образом поддержал азербайджанскую сторону, угрожая и затыкая всякие попытки со стороны Армении, — и сразу стало понятно, что сахаровские усилия не будут иметь никакого результата.

Как теперь страшно вспоминать эти дни, — кажется, что все могло пойти по-другому, послушайся тогда Горбачев голоса разума.

Миша всегда с большим интересом относился к событиям, в отличие от меня, они не вызывали у него постоянного ужаса, он верил, что все можно разрешить и устроить, если не сейчас, то в будущем. Ему был очень дорог Сахаров и его намерения. И после его смерти он сохранял верность его сотрудникам и их попыткам разрешить неразрешимое.

Не знаю, чувствовал ли он, что сделал в жизни то, что хотел, в меру своего таланта. Мы никогда не разговаривали с ним об этом. Но мне кажется, что в нем где-то было чувство недохватки, от этого его усталость и скапливающаяся горечь последнего времени. Впрочем, это так характерно для одаренных и самоотверженных людей. Его всеобъемлющая распространенная любовь и постоянный интерес к жизни и разным людям, которых он, как никто, умел находить и очаровывать, требовали полной самоотдачи, что, вероятно, сокращало безграничные возможности его научной самореализации. Но бессмертие человека создается не только сделанными работами, написанными книгами и научными открытиями, а в первую очередь любовной памятью людей, жизнью в других.

Он говорил, например: "Я был в тот день совсем плохой, но позвонил Фазиль, и пришлось идти к нему". Искандер в тот раз что-то писал и хотел прочесть, или, может быть, просто искал житейского совета и сочувствия, и Миша ехал к нему, чтобы его ему оказать.

Гельфанд попросил Мишу ходить на его семинары, потому что, как он сказал, он напоминал ему Мишу Цетлина. "Раз Гельфанд зовет — надо идти", — говорил он и шел.

Как он заботился о своих товарищах по работе, начиная с Рытова и Бурштейна, а тем более — о младших, их диссертациях, отчетах! Он часто обстоятельно и подробно рассказывал обо всех их затруднениях и бедах.

Через несколько лет после смерти Надежды Яковлевны был устроен вечер ее памяти в Перовском доме культуры. Набилась куча народу, говорили прекрасные слова о ней ее друзья, бывавшие в прошлые годы у нее в гостях. Говорил что-то и я. На обратном пути Миша сказал мне: "Пижоны вы все. Говорите красивые слова, а нет чтобы толком рассказать о человеке аудитории, которая ничего о нем не знает. Молодец Миша Поливанов!"

Дело в том, что Миша Поливанов прочел на этом вечере написанную заранее ясную, спокойную и простую статью о Надежде Яковлевне, о ее бездомной жизни и скитаниях, о книгах ее воспоминаний, тогда как все остальные пытались передать любовь и то чувство восхищения, которые она в них вызывала, и по-разному проваливались на этом экзамене.

Подобным образом и я теперь уже не могу вытащить из памяти связного рассказа и дать Мише появиться на этих страницах таким, каким он был для меня всю жизнь.

Как плохо работает память! Переполненная чувством, живо, до галлюцинации, представляющая себе человека, его манеры, интонации, черты лица и мимику, она отказывается пластически передать эпизод, разговор, подробности.

Теперь мы живем в гостях у той самой Лизы Слейтер, с которой когда-то приезжали в Тучково, чтобы показать английской девочке русскую деревню, настоящую избу, о которых она читала в английских переводах Толстого. На старой поливановской "победе" Аленкин брат Егор взял Лизу и нас с детьми и под проливным дождем повез к Леонтовичам. Через Москву-реку ехали по залитому мосту, а на другом берегу машина увязла в грязи. Все вылезли из машины и вместе с Татьяной Петровной, выбежавшей нам навстречу, выволакивали машину на дорогу. Потом мы сидели, сушились и пили чай, ожидая прихода Миши с Наташей. Мне хотелось поговорить с ним о первом трактате Сахарова, который недавно попал к нам в руки. Наивность и детская логика сахаровских рассуждений вызывали недоумение. Миша откровенно сказал, что Сахаров здесь "валял Ваньку".

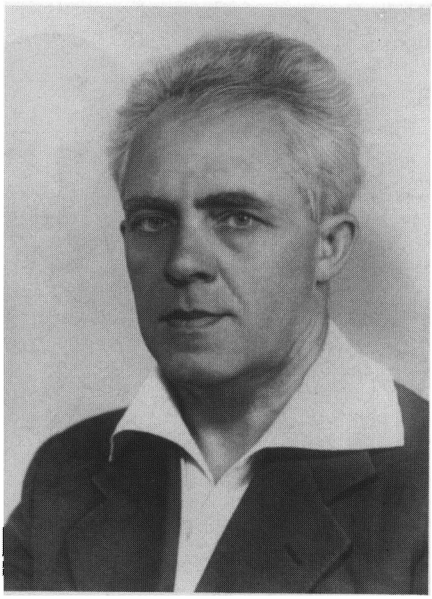
Подвесной мост через Москву-реку полуоборвался, и отдельные доски висели на тросе. По тросу, держась одной рукой за перила, Миша перенес на плечах маленького Лизочка, мальчики и мы сами перебрались, как могли, теряя равновесие от головокружения. Егор с машиной ждал нас на противоположном берегу.

Через несколько лет Миша написал удивительную статью о Гамлете и роли Фортинбраса в трагедии Шекспира. Она показалась очень интересной Лизе Слейтер, которая занималась Шекспиром как постановщиком и писала о нем книгу. Ее отец издавал маленький журнал шекспировского общества "Бард". Лиза перевела Мишину статью на английский и опубликовала ее в этом журнале. Теперь, перед нашим отъездом из Оксфорда, она отдала нам оставшиеся оттиски Мишиной работы.

Последний месяц нашего путешествия мы проводим во Франции и очень мерзнем. Выпал снег, а мы выезжали из Москвы в летних плащах. Снова у меня на столе лежат странички, на которых я пытаюсь зарисовать Мишин незабываемый облик. Он всегда шутил, что похож на Наполеона, и что его прабабушка жила в Шауляе и могла привлечь внимание остановившегося там императора. А мы теперь живем в доме праправнучки наполеоновского маршала Ланна. Как Мише было бы интересно покопаться в бумагах и посмотреть кругом. Тут вроде музея наполеоновских войн, вернее, их начала, потому что Ланн рано погиб, и Наполеон, очень его любивший, жаловался, как ему его недостает. Здесь письмо Наполеона о назначении дня торжественных похорон Ланна, скульптуры, портреты. Под окнами парадного кабинета течет Сена. Рядом улицы Френеля, Фуко. Проходя мимо маленького магазинчика судового оборудования на соседней улице, я вспоминаю, как Миша любил корабли и подробности морского обихода, и ловлю себя на желании что-нибудь купить и привезти ему в подарок.

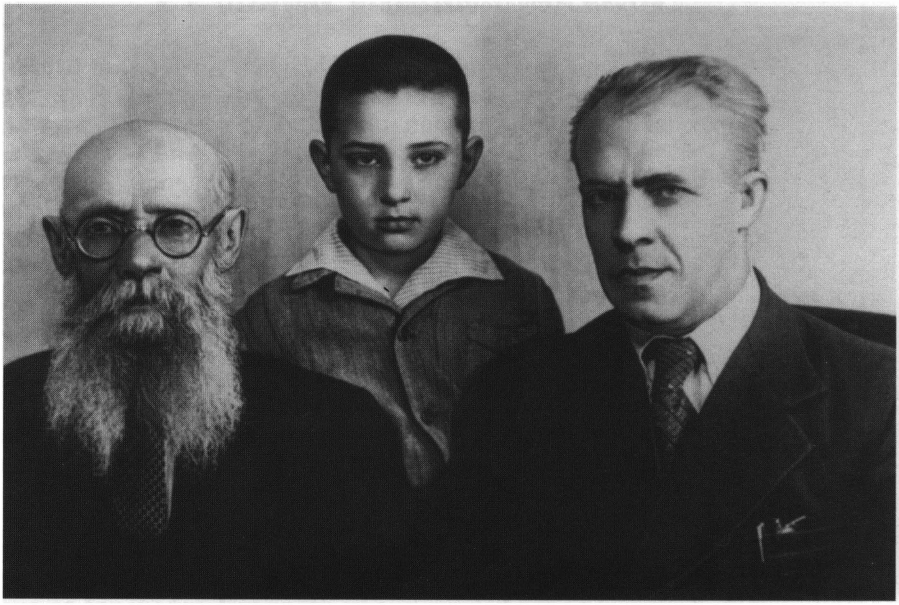
Как-то, когда наша теперешняя хозяйка Жаклин де Пруаяр была в Москве, мы потащили ее в гости к Мише, регулярно каждый год праздновавшему 5 марта как "день людоеда". Стояла на шкафу откуда-то вылетевшая фотогра-

Р. С. Левина



Л. Н. Карлик (1948)

Маленький Миша с родителями (20-е годы)



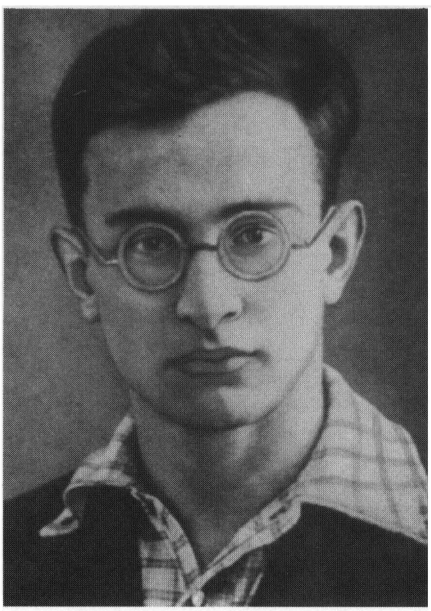
Володя Левин с дедом и отцом (1948)

Пионерский лагерь "Поречье" (1934)

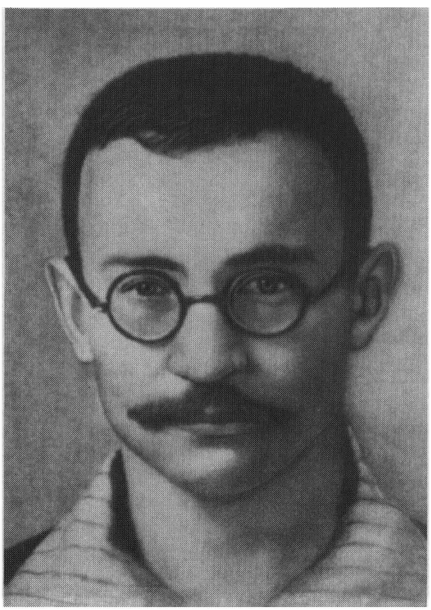
Л. Н. Карлик
с сыном Мишей

Братья Левины — Владимир и Михаил

Костя Туманов и Миша Левин — студенты-первокурсники (1938)



Ташкент, 1942

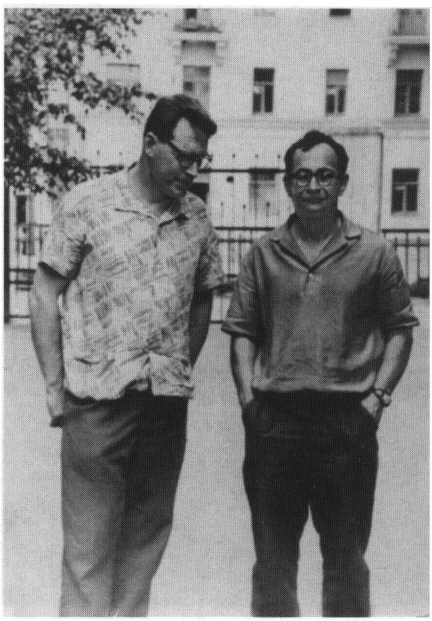


В бериевской шарашке

Ю. Дунский в Инте (1955)

М. Левин и В. Фрид в Инте (1955)

В Горьком в окружении отца и сына Гореликов (1950)



М. Левин и А. Гапонов (60-е годы)

В Тюмени (1952)

С дочерью Таней ("кормящий отец")

С детьми в Абрамцеве (60-е годы)

В дальнем походе (1960)

Счастливое семейство в полном составе (70-е годы)

М. Л. Левин и М. А. Леонтович (1972)

Л. Н. Карлик, М. Л. Левин и Н. М. Леонтович (1972)

С С. М. Рытовым на конференции (1958)

М. Левин, М. Миллер, П. Фридберг, В. А. Фок в Ниде (1965)

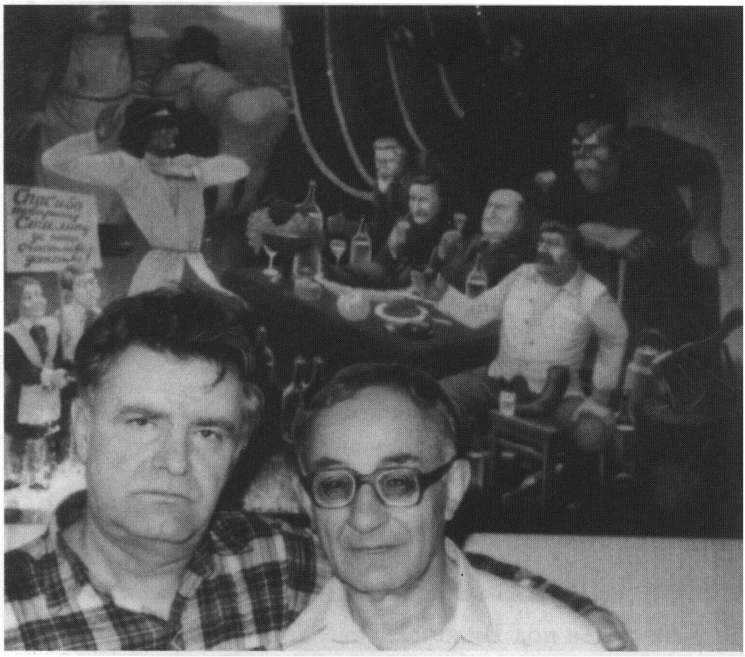
М. Левин,
А. Литвак,
А. Гапонов
в ИПФ
(Горький, 80-е годы)

А. Гапонов, М. Левин и М. Миллер на лыжной прогулке
(Ветлужская школа по нелинейным явлениям, 70-е годы)

Б. Биргер и М. Левин
(февраль 1983 года)

С книгой

"Маленькая" лаборатория



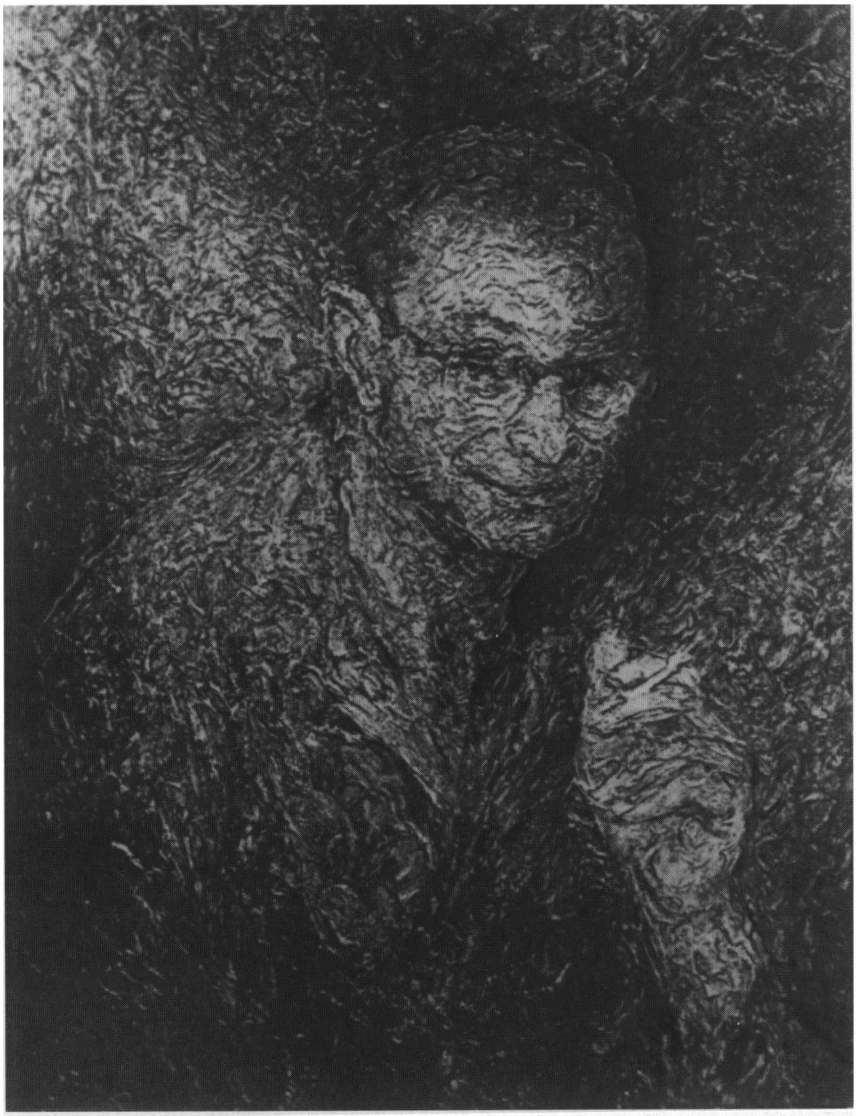
Ф. Искандер
и М. Левин

М. Л. Левин, А. Д. Сахаров, о. Сергий Желудков, В. Н. Войнович,
Ф. П. и М. М. Литвиновы, В. П. Некрасов, В. Н. Корнилов
и М. Л. Литвинова на проводах П. М. Литвинова за границу (1974)

На даче у Литваков под Нижним Новгородом (90-е годы)

Н. Леонтович, М. Левин и М. Миллер (Горький, 80-е годы)

Один из последних снимков всей семьи



М. Л. Левин. Портрет работы Б. Биргера

фия усатого, и Миша пил за то, "чтоб не воскрес". Обычно в этот день он пел сочиненную им песню о смерти Сталина на мотив "Раскинулось море широко", кончавшуюся словами:

И вот в обстановке нервозной такой
Ягломам пошел тридцать третий.

После операции глаз Миша поехал в Ленинград и, вернувшись, говорил, как удивительно видеть большой город, улицы, набережные, дома и дворцы. Он часто ездил в Ленинград до этого, но только теперь он мог увидеть его по-настоящему. Как он радовался бы, увидев европейские города, возможность поехать в которые появилась у него слишком поздно. Он с горечью говорил мне, что теперь он не может это себе позволить из-за недостатка денег и обиделся на Биргера, который предложил ему прислать приглашение. "Не могу же я ехать за твой счет", — кричал он ему по телефону.

Последние несколько лет выработалась привычка непременно видеться каждую неделю. Миша приходил около трех часов дня, когда мы обедали, шутил, рассказывал разные истории, каждый раз предваряя себя словами: "Да я уже это рассказывал". Я отвечал, что нет, никогда не рассказывал, и слушал, как академик Варга обсуждал с кем-то из соседей дома в Старо-Конюшенном балканский вопрос, который "выеденного яйца не стоит". Но вспоминая после третьей фразы, что да, действительно, что-то такое я уже слышал однажды, поражался каждый раз живости его памяти и яркости сохраненных им картин. Он всячески старался рассеять мои чувства неполноценности и подавленности, в последние годы почти постоянные.

Он очень подружился с нашей Лизой, которая занималась русской литературой XVIII — начала XIX века, которую он так любил и так прекрасно знал. Он написал замечательные стихи о собаке Александра Попа, когда она тщетно искала стихотворение "из Попа", переведенное Ермилом Костровым. Миша приносил ей нужные книжки, выслушивал ее рассказы о документах, найденных ею в архивах и старых журналах. В составленном ею сборнике воспоминаний современников об Аракчееве она выразила ему благодарность за помощь, хотя анекдот, который он рассказывал про аракчеевскую реформу солдатских штанов, она не включила в книгу.

В Страстную субботу он звонил нам из санатория в Успенском и делился своей радостью, что какая-то старушка в новооткрывшейся там церкви угостила его вкусной булочкой, которую она называла "припечкой".

"Я всегда, когда пеку куличи, приношу в церковь припечки для старых и убогих", — сказала она ему, подавая.

Он пришел к нам сразу по возвращении из санатория, сильно похудевший, но несколько посвежевший на воздухе. Он рассказывал нам, что много гулял и даже занимался на пеньке в лесу, потому что письменный стол в комнате, которую они делили с каким-то бухгалтером, с утра занимал его сосед, устраивающийся на нем читать. Его доктор поведал ему, что у соседа злая гипертония, и на его вопрос, почему у него не спускается давление тут, в санатории, и что

его все время волнует и раздражает, тот ответил: зависть. Оказывается, он завидовал Мише, которому как язвеннику давали добавочную тарелочку пшенной каши в 12 часов, между завтраком и обедом.

Прошло полтора года. Вокруг все изменилось. Как интересно было бы тебе, Мишенька, посмотреть на эти новости, а мне по-прежнему противно все, и ты уже не можешь меня успокоить и все мне объяснить. Как много ты понимал в происходящем, как интересно тебе было следить за ходом и развитием событий, даже самых страшных и даже в самые подлые времена.

Ты всегда говорил, что не веришь в Бога. Это было свойственно времени и тем учителям, которых ты почитал. Мне кажется, что религия представлялась тебе тем, что создано для утешения слабейших, ищущих высшей поддержки. Тебе это не было нужно и тем более не могло представиться тебе средством самоусовершенствования. Мне думается, что ты больше всего боялся того ложного глубокомыслия, которое называл когда-то "богоискательством" и "богостроительством", цитируя марксистскую литературу. Мне очень нравилась твоя независимость, она была много сильней моей, яснее и проще... Если бы я не боялся одиночества...

Но я помню, как, проводив вместе нашего Петеньку на призывной пункт в Самотечных переулках, мы втроем зашли в Нового Пимена поставить за него свечку. Как сняло это посещение церкви неимоверную тяжесть и тревогу с души и наполнило ее светом надежды!

И теперь мне хочется повторить любимые тобой слова академика Крылова над гробом Л. И. Мандельштама:

"И да будет земля ему пухом, ибо праведник он был".

Т. В. Иванова

МИША ЛЕВИН

Душа в заветной лире
мой прах переживет..

А. Пушкин

У меня была очень дружная семья. При жизни моей мамы Марии Потаповны Кашириной-Сыромятниковой мирно и счастливо уживались три поколения.

Когда старшая дочь Таня вышла замуж за Мишу Левина, он вошел в нашу семью так, как будто всегда был ее членом. Оказался удачным пополнением нашего людного сообщества.

В ЗАГС Таня с Мишей не ходили. Миша находился как политический ссыльный в Горьком. В Москву он приезжал, когда удавалось, на короткую побывку. После одной такой побывки Таня уехала вместе с ним.

Познакомились мы с ним задолго до его ссылки, в Ташкенте, куда эвакуировались наша и его семьи, а также его друг (он нас и познакомил) Женя Пастернак со своей матерью Евгенией Владимировной, первой женой поэта Бориса Пастернака, большого нашего друга.

Еще там, в Ташкенте, все члены нашей семьи, начиная с ее главы писателя Всеволода Иванова и старейшины Марии Потаповны, полюбили Мишу Левина.

Тогда, летом 42-го года, с младшим больным сыном Комой я уехала в Чимганский детский санаторий. Вскоре присоединились к нам Всеволод Вячеславович со старшим сыном Мишей и его тезкой Мишей Левиным. Несмотря на возрастную разницу в целых десять лет, оба Миши очень дружили и придумали себе художественное занятие: они изготовляли почтовые открытки, которые младший Миша (художник) разрисовывал, а старший Миша (физик) раскрашивал.

Миша Левин, кроме своей профессиональной работы (по-видимому, очень ценной: ведь еще до ссылки его взяли из тюрьмы на так называемую шарашку, куда брали только выдающихся ученых), был еще и сатирическим поэтом. В мои 90 с лишним лет память моя ослабла и из Мишиных памфлетов могу привести только конец одного из них, высмеивающий одного поэта, который называл в торжественной патриотической поэме Бориса Пастернака своим учителем ("и за учителей своих от Пушкина до Пастернака" провозглашал он). Когда же началась неистовая травля Пастернака за присуждение ему Нобелевской

премии, отрекся от него. "Когда толпа учителя распяла, пришли и Вы забить свой первый гвоздь", — написал Миша Левин.

Кроме талантливости, Миша отличался еще чрезвычайной добротой и отзывчивостью. Всегда помогал своим друзьям и морально, и денежно, скажем, давал взаймы (когда у самого были деньги) на приобретение кооперативных квартир.

Когда я вспоминаю Мишу Левина, то все мои мысли о нем только светлые. Он был первым новым членом нашей семьи и, войдя в нее, не нарушил уклада, а, напротив, украсил его своим, к сожалению, редким присутствием и прелестными нежно-ироническими письмами из Горького, где он прожил с Таней, к большому моему сожалению, очень недолго. Расстались они, оставшись друзьями.

Я уже написала, что она уехала из Москвы к нему в Горький, и первое время, увы, не долго длившееся, они приезжали в Москву на побывку вдвоем. И вот однажды Таня приехала одна и сказала мне, что не вернется к Мише. Он ничем перед ней не провинился, и она навсегда сохранит к нему дружеские чувства, но, поняв, что ошиблась — не любит его настоящей любовью, решила порвать, пока нет ребенка. Она мне сказала: "Он хороший человек и несомненно найдется достойная женщина, которая полюбит той настоящей любовью, которой он несомненно достоин".

И Таня оказалась права. Миша скоро нашел прекрасную спутницу жизни — Наташу Леонтович, которая родила ему троих детей и создала полноценную семью.

В давние военные времена, когда в Чимган приехал Всеволод Вячеславович с нашим Мишей и Мишей Левиным, жили они не в санатории, а в горах, где раскинули палатку; бродили по живописнейшим окрестностям, навещая нас в санатории. Всеволод был прекрасным охотником, и питались они подстреленной им дичью, жаря ее на костре. Всеволод говорил мне тогда, что лучшего спутника, чем Миша Левин, не придумаешь.

Мишу Левина любил и ценил не только Всеволод Иванов, но и поэт Борис Пастернак, наш друг и сосед по переделкинским дачам, построенным писателям как творческие мастерские.

После смерти Бориса Пастернака Миша Левин не пропустил ни одного дня, когда отмечалась память поэта, и детей своих к этому приучил.

Миша был еще и смелым человеком. Он проникал сквозь все преграды, навещал в ссылке, где сам когда-то побывал, Андрея Дмитриевича Сахарова, великого ученого и непревзойденного гуманиста, которого лишили возможности работать на пользу человечества, загнав его в ссылку.

Мужественно переносил Миша Левин и свою болезнь глаз — надвигавшуюся на него слепоту.

Но, увы, чем больше добра совершает любой деятель, чем он человечнее и творчески плодовитей, тем хрупче его организм, тем более доступен он зловредным раковым клеткам.

Чем богаче одаряет природа человека, тем жестче относятся к нему власть имущие нашей великой, но никак не выбравшейся из варварства страны. Сколько гениев затравливают вместо того, чтобы ценить, беречь и лелеять как гордость страны, их породившей.

Правильно сказал всемирно известный писатель и литературовед Виктор Шкловский: "Современники очень редко способны оценить по достоинству находящихся среди них гениев".

Правильная оценка приходит прискорбно поздно, чаще всего после смерти непризнанного при жизни гения.

Буддистская мудрость вопрошает: "Что есть смерть — начало или конец?" Ответ точен: "Тот, у кого есть душа — совесть, бессмертен. Его душа выпорхнет из мертвого тела, как бабочка из куколки". А вот куда она полетит, остается такой же тайной, как само возникновение и существование Вселенной. Лично мне близка теория переселения души. Я хочу верить, что душа творца — в науке ли, в искусстве ли, в любых добрых делах на пользу человечества — бессмертна и, переселившись в новорожденного, продолжает жить и творить добро.

С. М. Рытов

К ВОСПОМИНАНИЯМ О ЛЕВИНЕ

Каждый, кому посчастливилось неоднократно общаться с М. Л. Левиным и особенно дружить с ним, носит в себе его образ, свой отсвет от этого обаятельного, разнообразно талантливого человека, обладателя высокой общей культуры, множества самых различных познаний и нестандартного поведения. Это яркий пример человека, поднявшегося до самой высокой интеллигентности благодаря собственным духовным силам, собственному обдумыванию и осмыслению всех уроков жизни, общения с людьми и чтения всемыслимой литературы. М. Л. сам говорил, что образованность далеко недостаточна для достижения интеллигентности. Тех, кто полагает обратное, Солженицын обозвал "образованцами". И вот в одной из сопроводительных надписей на подаренном мне препринте М. Л. написал: "Интеллигенту Рытову от образованца Левина". Да еще приписал мне по некоей R-шкале $R = 1$, а себе $R = 1/2$. Это одна из его "штучек", одно из проявлений его неиссякаемого юмора. Конечно, в М. Л. нет ничего от "образованца". К нему вполне применим американский термин self-made man, только, разумеется, не в американском прагматическом понимании, а в духовном. Вспоминать о нем и отрадно, и трудно. Трудно потому, что чаще всего всплывают отдельные слова, фразы, поступки, но, будучи вырваны из его общей цельности, они большей частью недостаточны, чтобы хорошо его отобразить. Он был бесконечно особым, неразделимым на слагаемые, и в этом корень всей трудности воссоздания его портрета im Grossen. Добрый? Да, большей частью он бывал бесконечно добр, особенно по отношению к детям. Моя дочь не может забыть, как на даче в ожидании моего приезда он в течение нескольких часов увлеченно играл с ней, восьмилетней девочкой, в "летающие колпачки". Мои внучки всегда ждали его прихода с нетерпением и восторгом, а теперь так же вспоминают его. Но ведь хорошо помнится и другое — каким он мог быть ядовитым, полным разящей насмешки или иронии, когда речь заходила о некоторых взрослых экземплярах человеческой породы, о словах и деяниях таких экземпляров. Здесь он был беспощаден. Приведу пример.

М. Л. был в прекрасных отношениях с нашим начальником теоротдела ичститута Э. Л. Бурштейном, которого он очень уважал и как работника науки, и как серьезного справедливого человека. Но Э. Л. был партийцем, из тех, кто верил (или заставлял себя верить) в благие цели и методы партии, вопреки тому, что приоткрывалось уже во время "оттепели". Однажды они с горечью и

горячностью поспорили об этих "идеологических" вопросах. В четких и резких фразах М. Л. выложил Бурштейну, каково истинное положение вещей, которое сам он уже давно понял. И подвел итог: "Вот она вам, ваша партия!"

У меня сложилось впечатление, что М. Л. сознательно избегал рассказывать обо всем, что заставили его пережить наши пресловутые "органы". За все почти полвека нашего общения я припоминаю всего два случая, когда он самую малость нарушил это правило.

Один раз он с юмором описал, как "его" следователь обучал его тому, что такое порнография. Согласно следователю существует два вида такого рода фотографий — однографические и парнографические... Другой раз М. Л. как-то вскользь упомянул о тысячесвечовой лампе. Я тут же с ужасом подумал: неужели и таким способом они мучили его бедные глаза? Но спросить об этом напрямую было и тяжко, и неловко. Эмоциональную окраску реакции М. Л. на ту или иную ситуацию или событие еще можно было как-то предвидеть, зная общие черты его мировосприятия. Конкретное же содержание этой реакции, в силу разнообразия его знаний и феноменальной памяти, всегда было непредсказуемо. В нем жило такое количество фактов, имен, сведений из истории и текущего времени, из литературы, науки, из его собственной жизни, что предсказать возникающие у него ассоциации, параллели и антипараллели было немыслимо. Он был неожиданным, поражающим воображение. И вместе с тем он чаще всего был прост и прямолинеен, вплоть до грубости. М. Л. никогда не был комплиментщиком. Заслужить его безоговорочное одобрение или похвалу было нелегко. Именно поэтому мне запомнился следующий факт. Мы писали нашу монографию ("парно"графию) о тепловых флуктуациях в электродинамике. М. Л. прочитал написанный мною параграф, в котором сообщались первые сведения о случайных функциях, и вдруг заявил: "Хорошо вы пишете, С. М., мне бы так писать". Я обалдел. Ведь он сам писал куда лучше меня, доходчивей и ярче. Что же ему так понравилось? Я всегда старался достичь ясности, краткости, простоты, но добивался этого (если добивался) путем многократных правок написанного. А у него те же качества получались без правок, а с ходу... Хотя и до сих пор я не понимаю, что ему так понравилось, но высоко ценю его замечание. Просто потому, что если М. Л. похвалил, то значит было за что.

В июне 1992 года, незадолго до моего отлета в США, М. Л. был у меня, и среди многого прочего у нас зашел разговор о том, как английская королева посетила свою (т. е. Королевскую) обсерваторию в Гринвиче. В той версии, которую слышал я, это была королева Виктория, а директором обсерватории — знаменитый астроном Эйри. М. Л. с порога отверг эту версию. "Это была, — сказал он, — королева Анна, царствовавшая с 1702 по 1715 год". Я предположил, что в таком случае директором был не Эйри, а Брэдли, и М. Л. сразу же с этим согласился. Но, кроме того, он заодно сообщил, кто был королем до и после Анны и выдал характеристику самой Анны ("не очень умная, но не злая женщина"). По рассказу М. Л., Брэдли дал ей посмотреть на Луну, на кольца Сатурна и на другие небесные чудеса. В разговоре между ними выяснилось, что "королевский астроном" получает меньший "оклад", чем молодой баронет, подающий королеве чашу с водой для ополаскивания пальчиков после еды. Анна сразу же решила повысить жалование директора. По версии, которую слышал я, директор

стал просить королеву не делать этого, так как в противном случае в небесную науку полезет всякая дрянь... Но М. Л. поведал мне, что высказывание Брэдли было куда более деликатным. Брэдли сказал: "Ваше величество, если вы это сделаете, то в следующий раз, если вы захотите посетить свою обсерваторию, ее директором будет уже не астроном".

Я привел это воспоминание просто для того, чтобы показать на примере, сколько интересного и занятного можно было нежданно почерпнуть из случайной беседы с М. Л., причем, вне всякого сомнения, он говорил "экспромтом". Работала его замечательная память.

Люди с одинаковыми специализациями мозга легче приспосабливаются друг к другу, ибо обладают более или менее эквивалентными понятийными языками (!)[1]. Я склонен приписать это высказывание самому М. Л. Может быть, в этом я ошибаюсь, но именно он горячо развивал такую мысль во время его визита ко мне, оказавшегося, увы, последним. В качестве примера он привел А. Д. Сахарова и себя, в их студенческое время, т. е. задолго до написания "Прогулок с Пушкиным". Единомыслие их сближало, а проистекало оно в ту пору просто из общности их тогдашних познаний в физике. Вдвоем они сидели рядом на подоконнике в длинном многооконном коридоре МГУ. В торце коридора находилась дверь в так называемую большую математическую аудиторию. Прозвенел звонок, дверь распахнулась, и по коридору потекла толпа слушателей закончившейся лекции. Наблюдаемое А. Д. и М. Л. явление состояло в том, что одни подходили к ним поздороваться и перекинуться несколькими словами, другие двигались сугубо прямолинейно, иногда слегка кивая, а третьи шли, не глядя в их сторону и держась поближе к противоположной стене коридора, т. е. держась подальше от А. Д. Дело в том, что Сахаров уже тогда устремлялся в число тех, кто думал не совсем так, как предписывали правила хорошего советского тона, т. е. в число тех, кого позднее называли диссидентами. Сахаров бросил фразу: "Можно определить отношение заряда к массе..." Для читателей не физиков поясню, что в приборе, называемом камерой Вильсона, если эта камера помещена в магнитное поле[2], поток частиц тоже расщепляется в общем случае на три потока: электрически нейтральные частицы летят по прямой, а заряженные отклоняются от прямой в противоположные стороны в зависимости от знака заряда. При данной скорости частиц отклонение тем сильнее, чем больше заряд и чем меньше масса частицы.

Именно то, что М. Л. тоже был физиком, позволило ему мгновенно ухватить отнюдь не физический смысл реплики Сахарова. Конечно, симпатизирующие А. Д. люди отклонялись к окну, где он сидел, в том или ином смысле нейтральные шли прямо, иной раз даже позволяя себе кивок. А те, кому страх или "спущенная" установка предписывали "не иметь ничего общего", жались подальше от Сахарова. Что здесь играло роль отношения заряда к массе, можно только

---

[1] *Болотовский Б. М., Левин М. Л., Миллер М. А., Суворов Е. В.* Фарадей – Максвелл – Герц – Хевисайд. О согласованности функциональных специализаций мозга. Препринт ИПФ РАН №327. Н. Новгород, 1992.

[2] Как мне сказал П. Л. Капица, эта идея (поместить камеру в магнитное поле) пришла в голову ему самому и он сообщил ее Д. В. Скобельцыну. Она стала главным физическим достижением последнего.

гадать, но, скорей всего, какая-то смесь из страха, карьеризма и партдисциплины.

Я уже упоминал о феноменальной памяти М. Л. Она содержала не только множество знаний, событий и людей, но дополнялась еще и чисто зрительной памятью, которую часто называют фотографической. Просто поражало, с какой легкостью он отыскивал в своем кабинете нужную папку, тетрадку и т. п. Он мысленно "видел", куда и что он запихнул. Точно так же он ориентировался и в печатном слове — газетах и книгах. При этом он явно предпочитал (для скорости) читать сам, а не воспринимать читаемое на слух. Исключением были разные выступления и доклады, которые он не только внимательно слушал, но иногда — при особых перлах мысли или речения — делал заметки-закорючки у себя в тетрадке. Иной раз такие заметки сразу превращались в стишата или эпиграммы. Вот пример.

Во времена, когда после изобретения В. И. Векслером автофазировки заряженных частиц[3] расцвела ускорительная эра и без конца происходили на эту тему сборища физиков, на одной из этих конференций физик Коломенский ответил одному американцу: "*It is necessary but rather difficult*". Произношение Коломенского так потрясло М. Л., что он тут же воспроизвел его в стишке:

Знают все, что в эсэсере
Был ужасный личный культ.
Итыз вери несессери
Бат из разер дификульт.

Сверхбыстрое чтение М. Л. при его все нараставшей близорукости просто изумляло. Казалось, что, читая газету, он просматривает ее "по диагонали". Но это было вовсе не так. От его внимания ничто не ускользало — ни интересное сообщение, ни ошибки и ляпы, ни вранье и противоречия. Видимо, он "фотографически" запоминал страницу и место, где напечатано то, что его заинтересовало.

М. Л. был человеком "спонтанным". Какие-либо систематичность и установленный порядок были ему чужды. Это относится, в частности, и к его рабочему кабинету в РАИАН (ставшим позже РТИАН). Заходя к нему, я каждый раз заставал одну и ту же картину: в комнате царил кавардак. На рабочем столе — гора всевозможных предметов, карандаши и их огрызки, авторучки вперемешку с газетами и письмами, как новыми, так и старыми, какие-то мелкие детали от ускорителей, куски рукописей и т. п. Та же картина была внутри шкафов и на шкафах, где громоздились папки, стопы исписанной бумаги, рулоны чертежей... Все это копилось день за днем и из месяца в месяц. Сам я поклонник порядка. Не из художественных инстинктов, а из чисто практических соображений. Я ненавижу терять время на изнурительные поиски какого-нибудь письма или завалявшейся бумаги. А чтобы не искать, надо знать, где и что лежит, т. е. нужен порядок, какая-то система.

---

[3] В. Я. Френкель и Б. Е. Явелов в своей книжке "Эйнштейн: изобретения и открытия" (М., 1990) сообщают, что многолетний сотрудник Эйнштейна в области техники Л. Сциллард изобрел автофазировку еще в 1936 г. (на 12 лет раньше Векслера), но никакого хода этой идее не дал. Таким образом, ее переоткрытие Векслером было вполне собственным.

Сидя напротив М. Л. за его письменным столом и беседуя с ним на самые разные темы, я непроизвольно начинал наводить порядок, расставлять все по местам: карандаши и ручки отдельно, письма — в стопку и т. д. Результаты моих усилий вызывали восхищенные реплики М. Л., и он сам начинал втягиваться в эту ассенизацию. Большая часть хлама летела в корзину, и, глядишь, минут через пять стол приобретал вполне респектабельный и обозримый вид. М. Л. явно испытывал удовольствие, выражал мне одобрение и признательность, но через неделю-другую кавардак расцветал снова. Вероятно, при потрясающей левинской памяти порядок был не только ему чужд, но и не нужен. Он просто помнил, куда он что-нибудь положил или запихнул, и быстро отыскивал нужное, какую-либо из десятков школьных "тетрадок в клеточку", в которые он аккуратно и начисто (!) записывал свои соображения, выводы и результаты. Для меня это выглядело как чудо, как быстрое нахождение иголки в стоге сена.

Замечу, между прочим, что из-за зрения он любил писать ярким черным или синим фломастером и печатными буквами. Получалось четко и ясно, как на пишмашинке.

Если говорить не об обстановке, а о науке, то здесь у М. Л. не было беспорядка. Особенно четко об этом свидетельствовали его лекции и выступления на семинарах, в том числе и на моем радиофизическом. Вопреки названию семинара, мы часто посвящали его иным вопросам, далеко уходя в сторону — в общую физику, механику и даже в психологию и медицину. Реплики и резюме М. Л. большей частью апеллировали к "первым принципам", как правило, проясняли суть дела и прекращали споры. Я лишь упомяну два примера, говорящих о ясности его научной мысли. При этом здесь на равных фигурировали как в разное время обдуманные вещи, так и экспромты, особенно когда разговор выходил за рамки физики. Это не должно удивлять, если помнить о его широкой и глубокой эрудиции.

На семинаре докладывал один из ведущих киевских физиков. Речь шла о том, до каких отклонений от состояния равновесия остается справедливой ФДТ (флуктуационно-диссипационная теорема). Дискуссия была столь же горячей, сколь и сбивчивой. М. Л. не принимал в ней участия, молча обдумывая вопрос. Под конец я просто спросил его, каково его мнение. Очевидно, он еще не выработал четкой аргументации и поэтому не стал вступать в разгоревшийся спор. Но мне он тихо и коротко ответил: "Я думаю, что ФДТ применима всегда, когда еще можно ввести понятие локальных температур для взаимодействия тел и полей". Не физику это утверждение, конечно, непонятно, но, видимо, это и есть верный ответ, не противоречащий закону Кирхгофа.

В другой раз В. Г. Полевой рассказал о силах теплового происхождения, действующих на скользящие друг по другу поверхности двух движущихся тел и направленных вдоль поверхности касания. Результат был получен Полевым путем довольно сложного расчета. М. Л. уже беседовал с автором и обдумал результат. В итоге он дал простую интерпретацию этих тепловых сил "трения" и даже получил их количественную оценку, исходя из общих соображений о тепловом обмене импульсом между телами.

Интересны взаимоотношения между М. Л. и создавшим РАИАН (РТИ) нашим директором Александром Львовичем Минцем. А. Л. Минц несомненно

был Инженером с большой буквы. Он всегда проявлял поразительную смелость в выборе задач, берясь именно за такие, в которых никто не мог уверенно предсказать успех. Риск в технике вообще куда выше и страшнее, чем в "чистой науке". Решение большой и актуальной технической задачи всегда связано с совсем другой мерой ответственности и за результат, и за расходы, и за потраченный труд. Для благополучного же завершения дела обычно требуется не только то, что уже известно, но и изобретения, и новые технологии, предсказать которые невозможно. Но А. Л. решительно шел на такой риск, изобретал необходимое и поэтому пролагал новые пути в технике.

Наряду с этим А. Л. питал глубокий пиетет к науке и в ней искал опору для решения трудных новых задач. Именно поэтому он создал в РАИАН (РТИ) подчиненный директору теоретический (физико-математический) отдел и старался его укреплять. Во главе отдела он поставил физика высокой квалификации Э. Л. Бурштейна и пригласил на работу в отделе М. Л. Скорее всего, М. Л. и посоветовал А. Л. Минцу перевести меня из ФИАНа в РАИАН. Правда, здесь сыграло роль не только стремление Минца укреплять науку в его институте, но и мое подвешенное состояние в ФИАНе. Я все еще ходил там в "безродных космополитах" и прозябал в моем одиночном "секторе" Лаборатории колебаний имени академика Л. И. Мандельштама.

Пройдя в 1958 году длительное оформление и получив пропуск, я при первом же приходе в новый институт с удивлением и радостью обнаружил, что буду теперь работать в постоянном контакте с М. Л.! Дело в том, что этот фактически отраслевой институт был строжайше "сс". Поэтому до моего окончательного оформления никто, включая М. Л. и самого Минца, не имел права сказать мне ни слова о том, какие задачи решает РАИАН и кто в нем работает. В частности, я лишь *a posteriori* понял, что из моей ФИАНовской "клетки" попал в более обширную, но еще крепче запертую "клетку". И все же, после моей "одиночки" в ФИАНе, наше общение внутри теоротдела РАИАН показалось мне полной свободой...

Интересы Минца не ограничивались радиотехникой. Он печатал статьи об организации науки и развитии промышленности в стране, т. е. был разносторонним, интеллигентным и активным человеком государственного масштаба. Я заговорил об этом потому, что Минц вызывал к себе Бурштейна и меня (как вместе, так и порознь) для обсуждения не только научно-технических вопросов, но и своих публицистических выступлений в печати. Советуясь с нами, он имел все основания предпочитать М. Л. Что до меня, то я приобрел в ФИАНе иммунитет и даже отвращение к философии, идеологии и политике. А Бурштейн все же был связан партдисциплиной. Таким образом, Минц мог услышать наиболее откровенные и свободные советы и мнения от М. Л., чем он часто и пользовался.

Наша с М. Л. "двуграфия" о тепловых флуктуациях в электродинамике вышла в 1967 году. Минц, еще живой и энергичный, начал читать преподнесенный ему экземпляр книги и пришел в восторг... "Это классика! — воскликнул он. — Это научная классика!" Подозреваю, что дальше предисловия и введения он не пошел, но именно они были написаны без всякой математики, что и позволило ему легко ухватить суть дела. Минц не был бы Минцем, если бы сразу

же не воспылал желанием сделать практические выводы. Он их и сделал, а именно, решил выдвинуть авторов на соискание Государственной премии. Идея была довольно наивная: оба автора — скромные евреи, начисто лишенные каких-либо карьерных притязаний, а второй автор (Рытов) хоть и выкрест (лютеранин) от рождения, но космополит, о чем в АН и в ФИАНе никогда не забывали с 1949 года, то есть почти 20 лет. Тем не менее, Минц развил в АН и ООФА бурную деятельность. В частности, надо было написать "представление".

У меня лежит копия этого двухстраничного документа, подписанного А. Л. Минцем 3 декабря 1968 года. Я сделаю из него выписки в той его части, которая непосредственно относится к М. Л.

До этой двуграфии теория охватывала лишь два предельных случая — оптических частот (классическая теория, основанная на геометрооптическом приближении) и очень низких частот (теория тепловых "шумов" в достаточно малых электрических цепях). Объединение всего этого в единую общую теорию, что важно в первую очередь для техники в диапазоне СВЧ, и было сделано в работах М. Л. Левина и С. М. Рытова. Далее следует абзац: "Если принципиальный метод решения этой проблемы (...) сделан впервые еще в монографии С. М. Рытова, вышедшей в 1953 г., то М. Л. Левин, применив к тепловым полям теорему взаимности, внес существенные изменения и дополнения теории, в результате чего она приобрела такую же классическую и физически прозрачную форму, какой она отличалась в простых предельных случаях весьма коротких волн (законы Кирхгофа) и весьма длинных (формула Найквиста).

Существенное научное и прикладное значение имеет также и обобщение полученных результатов на случай гиротропных тел, которое раньше не было сделано даже в рамках теории Кирхгофа".

По поводу этого последнего замечания следует кое-что добавить. Дело в том, что именно благодаря усилиям М. Л. вся теория вообще свелась к "обобщенному закону Кирхгофа", который позволяет находить не только средние квадраты полей в одной (любой) точке пространства, но и двухточечные функции корреляции. Это дает в руки экспериментатору методы измерения всех этих величин, позволяет брать любые частоты и не избегать случая гиротропной среды. Таким образом, именно М. Л. придал теории завершенный вид. Следует также отметить, что учет гиротропности он сделал еще в 1956 году, но не опубликовал, а хранил эту работу в одной из его знаменитых школьных "тетрадей в клеточку". Впервые она увидела свет только в нашей двуграфии.

Приведу еще один абзац, написанный Минцем: "Наконец, следует отметить незаурядное педагогическое мастерство авторов, благодаря которому довольно сложные вопросы, при сохранении строгости и точности изложения, представлены столь ясно, понятно и физично, что книга становится доступной самому широкому кругу читателей, как специалистов-физиков различного профиля, так и представителей прикладных наук".

М. Л., как, впрочем, и я, относился к затее Минца с юмором. Государственной премии нам, разумеется, не дали. Я привел написанное выше, лишь имея в виду, что где-нибудь при упоминании нашей двуграфии оно, может быть, и пригодится.

Кстати сказать, период работы над книгой зачастую был и для М. Л., и для меня мучительным. Гораздо легче писать, если знаешь, о чем уже сказано, а что

еще предстоит, то есть двигаться последовательно, вроде как по плану. Закончив (написав, обсудив и отредактировав) очередной раздел, надо было ехать дальше, а для этого часто было нужно, чтобы именно М. Л. дал текст следующего параграфа. Неделями я дожидался такого текста, и не просто дожидался, а ходил к М. Л. и тянул его за душу. Нет, еще не написал, не успел, не собрался. Я возмущался и ныл, уговаривая его написать поскорее, но тщетно. Он говорил: "Что делать, С. М., что делать? Я ленив". Конечно, я хорошо знаю, что для написания статьи или кусочка книги нужно прийти в некоторое особое состояние, "загореться" или "вдохновиться", что ли. Для этого нужно прежде всего сосредоточиться, не давать любой текучке рвать себя на части. Любой случайный собеседник или телефонный звонок, прерывающий процесс обдумывания и писания, приводит к тому, что потом нужно время для того, чтобы снова стать на рельсы. У М. Л. было достаточно много и посетителей, и звонков, чтобы отвлечь его от дела. Но беда в том, что по мягкости характера он никого не "отшивал". Сказать просто и решительно "я занят" он не умел. А время "релаксации" было у него долгим... И он ссылался потом на свою лень, спасаясь от моей настойчивости. Он сам признался после того, как мы дописали книгу, что без моих понуканий он годами не осилил бы свою (большую) ее часть. Хотя он действительно был ленив, это не помешало ему в свои короткие, но яркие периоды "озарения" понаделать такую уйму интересных вещей, какую он фактически наработал.

Однажды, в конце 1978 года, М. Л. зашел ко мне в комнату. Мы поговорили о всякой всячине, а под занавес, уже взявшись за ручку двери, он произнес загадочную фразу: "Они говорят, что мне надо участвовать в выборах в членкоры". (Выборы предстояли в следующем году). Я спросил, кто это "они", но он не ответил, а снова, с упором на каждое слово, повторил ту же фразу и вышел из комнаты. Я начал думать над словом "они", которое и составляло загадку. Может быть, сотрудники? Думая о "них", я не пропустил и себя: ведь, будучи членкором, я имею право выдвижения в членкоры. Но кто поддержит? Я не сомневался в поддержке со стороны ИПФ, Горьковского университета и МРТИ (Московский РТИ — выделившаяся после смерти А. Л. Минца часть, в которой М. Л. решил продолжать работать). Может быть, неизвестные "они" — это некие люди, которые тоже поддержат?

Начав собирать необходимые бумаги, я наскочил на неожиданный риф. МРТИ прислал весьма положительную характеристику М. Л., но в конце ее сообщалось, что партсобрание института решило не поддерживать выдвижение М. Л. Левина в членкоры! В разговоре с тогдашним директором МРТИ (Алексей Аркадьевич Кузьмин) последний клялся, что сам он якобы всей душою "за", но решение партсобрания связывает его и он ничего не может сделать. Таким образом, получилась нелепая ситуация. Институт, в котором М. Л. проработал десятки лет, признавал его научные заслуги, отказываясь поддержать его выдвижение...

Тем не менее 31 декабря 1978 года я подал в президиум свое дефектное в указанном смысле "представление", и с этим "козырем" М. Л. вошел в число кандидатов. В первом туре голосования он получил 14 голосов "за", чего было достаточно для включения во второй тур. Во втором туре М. Л. завалили. Мне думается, что для такого результата сыграл роль ряд причин.

Многие члены отделения действительно мало знали о М. Л. и не представляли себе, каков вес его научных достижений. Другие знали, откуда идет отказ МРТИ поддержать М. Л., и, разделяя те же богоугодные принципы, голосовали против. Конечно, существенны были и секретные решения "партгрупп" отделения, а может быть, и президиума, и отсутствие у выдвигающего (то есть у меня) связей в решающих инстанциях. В этом отношении я был абсолютно не тем человеком, который мог и умел провести всю необходимую и обширную "подготовку", о коей в свое время мне рассказывал А. Л. Минц.

Но были еще два фактора, которые могли добавиться к перечисленным.

Существуют люди, в том числе талантливые, которые совершенно не умеют отделять свои личные симпатии и антипатии от науки. Враждебное личное отношение к какому-нибудь кандидату неизбежно влечет у таких людей отрицательное отношение и к его научным достижениям. Покойный Г. С. Горелик сравнивал одного из людей этого сорта с сияющим яблоком, в котором есть червоточина. Если же человек такого сорта обладает авторитетом и влиянием, то личная враждебность может привести к противодействию и к научной критике как на простом семинаре, так и на выборах в академию. У М. Л. среди членов академии были личные враги указанного рода, но, не имея прямых данных, я не собираюсь настаивать на моем подозрении.

Второй фактор — наличие среди академиков людей, которые занимают руководящий пост (например, директора института), стремления продвигать в первую очередь сотрудников своего института. Здесь может отсутствовать личная враждебность и даже может быть самое дружеское отношение к данному кандидату, знание и признание его вклада в науку, но побеждает тяга "грести под себя", агитировать за своих кандидатов.

Можно по-разному оценивать оба названных фактора, но жизнь сложна и не дает оснований попросту отрицать их существование. Думаю, что против М. Л. могли сработать и оба, и один из них.

М. А. Леонтовичу были равно чужды оба указанных качества, а превыше всего была научная объективность. Я не сомневаюсь, что Леонтович голосовал за М. Л., но считал для себя невозможным вмешиваться в обсуждение этой кандидатуры. Ведь М. Л. был его учеником и зятем. Леонтович боялся "кривого" истолкования своей поддержки, но не из-за себя, а потому, что она могла повредить самому М. Л. С "кривым" истолкованием мне приходилось сталкиваться не раз, даже со стороны людей, которых я очень уважаю. По отношению к Леонтовичу и к М. Л. люди просто не отдавали себе отчета, с какими высокими стандартами честности и требовательности к себе они имеют дело. Только этим я могу объяснить себе тот случай, когда уважаемый мною человек договорился до чудовищной клеветы, посчитав женитьбу М. Л. на дочери академика Леонтовича проявлением карьеризма.

Остановлюсь на том, как работал М. Л. У каждого свой стиль. Один трубит о родившейся у него идее, жаждет поделиться ею и обсудить ее с разными людьми еще до того, как она дозреет. Может статься, что в таких предварительных дискуссиях идея и дозревает. Наоборот, другой автор все обдумывает и додумывает молча, на собственном фосфоре. Лишь утвердившись и развив свою аргументацию (в том числе и математическую) настолько, что все становится

на свое место и делается чуть ли не очевидным, такой автор выходит к людям и выдает результаты. Мне кажется, что М. Л. работал во втором стиле. Он молча трудился наедине со своей музой и лишь потом, когда все было готово, открывал рот. С этого момента он щедро делился и замыслом, и исполнением, и результатами. Всех поражали новизна, простота и изящество работы, уже с выросшим хвостом примеров и следствий. Черновые усилия М. Л. скрывал или делал в уме, а окончательные результаты и ход мысли каллиграфически записывал в "тетрадках в клеточку". Таких тетрадок у него накопились горы, но далеко не все они включались в публикации.

Конечно, как и всякий физик, он любил точные и красивые решения задач. Но, как известно, подавляющая доля еще не решенных задач допускает лишь приближенное решение — с точностью до каких-либо малых параметров. В умении заранее отыскать такие параметры и с их помощью упростить уже сами исходные уравнения, то есть упростить постановку задачи, М. Л. гнался за своим учителем М. А. Леонтовичем. Напомню как пример, что вся теория тонких ("проволочных") антенн так и выросла в их умелых руках. Думаю, что только чтение работ самого М. Л. может показать специалисту-физику, где и как он шел по стопам Леонтовича.

Любой разговор с М. Л. сразу же становился увлекательным. Но особое впечатление оставляли его доклады и лекции, а еще более — выступления экспромтом.

Лекции он читал не торопясь, обычно прохаживаясь туда и обратно перед слушателями. Текст лекции или доклада был, конечно, заранее продуман и следовал определенному плану (иной раз даже написанному). Но М. Л. не цеплялся за текст, говорил без бумажки и чаще всего оснащал свою речь отступлениями и шутками, возникавшими по ходу дела. От этого лекции становились живыми, похожими на непринужденные беседы. Это проявлялось и в его докладах, а еще ярче — в выступлениях-экспромтах, будь это замечание к чужому докладу или тост к какому-либо событию. Тогда он давал себе полную волю — и по теме, и в ее трактовке. Очень жаль, что все это не фиксировалось, причем в магнитофонной записи, передающей и интонации.

Однажды он выступил с такого рода экспромтом на ученом совете ФИАНа, посвященном 50-летию сотрудника этого института. Обозначу юбиляра буквой К. Потом я упросил М. Л. записать это выступление, что он и сделал. Сейчас этот текст утерян или, точнее, я не могу до него добраться в мой институт, чтобы его там отыскать. Это образец ядовитой и насмешливой речи, но произнесенной так, что с внешней стороны придраться было не к чему. Юбиляр К как-то употребил в одной из своих статей необычно торжественное слово "концепция" по отношению к некоей своей идее. Это поразило М. Л. и после некоторых лингвистических поисков он установил, что в согласии с латынью "концепция" означает зачатие, зарождение. В свое время, когда К поступал в аспирантуру в РАИАН, это было сделано в порядке приказа. М. Л. присутствовал в тот день, когда я впервые увидел К. Тут же мне был вручен приказ взять на себя руководство аспирантом К. Даже в нашем "почтовом ящике" было принято поначалу договариваться, будет или не будет такой-то руководить таким-то. А тут на тебе — приказ и точка. "Таким образом, — заявил под конец М. Л., — я

присутствовал при зарождении (концепции) К в качестве физика, и тот факт, что К любит употреблять слово "концепция" в своих научных работах для меня разъяснился". Все это выступление М. Л. звучит как сымпровизированный анекдот.

М. Л. любил анекдоты. Конечно, анекдоты с изюминкой. Еще больше он любил смешные исторические и литературные факты. Знал он их тьму, и каждый рассказанный им или кем-нибудь другим анекдот мог вызвать с его стороны целый шлейф других историй и версий, близких по содержанию и стилю. Как пример того, что я имею в виду, говоря об истории с изюминкой, я приведу рассказанный М. Л. казус с английским поэтом Джоном Листером. Дело происходило на одном из публичных поэтических состязаний, весьма модных в Англии XYII–XYIII веков. Соперник знаменитого Листера, выйдя на подмостки, ограничился одной фразой.

– John Lister, I lay with your sister (Джон Листер, я спал с твоей сестрой).

– Разве это стихи? – с презрением спросил Листер.

– Нет. Но зато это правда.

Первоначально я думал привести свои отрывочные воспоминания в какой-то (скажем, хронологический) порядок, но потом решил оставить все так, как получилось. Может быть, это и есть наилучший порядок для воспоминаний о таком искрометном человеке, каким был дорогой М. Л.

А. М. Пятигорский

ОН БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ ДРУЖБЫ...

Он был природным человеком дружбы... В коротком нашем поколении — людей, зачатых между концом гражданской войны и началом советско-германской, — Миша Левин выделялся как человек совершенно исключительный. И не столько по обстоятельствам жизни — совсем еще в юности пришлось ему наесться каши, не им заваренной, — сколько по удивительному к этим обстоятельствам отношению.

Помню поразившую меня первую встречу с ним на даче у Леонтовичей. Рассказывая о доносах, допросах, тюрьмах, ссылках, высылках, он сохранял ко всему этому странное, во всяком случае, отношение, которое я бы назвал "чисто стилистическим". Он не сожалел, не жаловался (этого он вообще никогда не делал на моей памяти), не проклинал, не осуждал даже. Рассказ казался мне очень нерусским — при типично русском его содержании: канва была скорее майн-ридовской с легкой примесью Теккерея и, может быть, еще и Конрада. Повествователь был не жертвой, единственным стремлением которой было выжить, а активным участником, преисполненным любопытства и интереса к безумию жизни первых послевоенных лет. Миша в тюрьме и ссылке жил, а не выживал.

Много позднее, уже после возвращения с севера его друзей Валерика и Юлика, в одном из наших долгих застольных разговоров, я осмелился затронуть тему, почти запретную для юнца в компании ветеранов — тему презрения, которой был неизменно окрашен юмор тюремных повествований. Миша очень серьезно сказал: "Борода (он мне дал такое прозвище), будем считать, что презирать — плохо. Но, может быть, это все-таки лучше глухой ненависти. Или, как сказал Доктор Джонсон (один из любимых авторов Мишиной юности), презирая врага, ты еще можешь острить".

Миша презирал "людей режима", но не ненавидел их.

Но главной была другая тема — как тех, так и последующих разговоров — тема творчества при режиме. Люди — друзья, враги, мы сами — писали стихи, сценарии, романы, ставили фильмы, решали математические задачи, строили ускорители элементарных частиц. И было совершенно очевидно, что не делать этого — вы, мы, они — не могли.

В середине 60-х я как-то заехал к Мише на московскую квартиру и застал его читающим стихи Пастернака, и именно те, "несмываемые слезами" строки о стране, времени, судьбе и поэте, где прямой отсылки к Сталину просто нельзя

было не увидеть. Мише, обожавшему Пастернака, можно было бы и не задавать прямого вопроса, но я его задал для затравки, так сказать, ожидая в ответ мягкую критику или решительную апологию. Не последовало ни того, ни другого. Он сказал, улыбнувшись несколько недоуменно: "Борода (я уже лет десять, как сбрил бороду), Пастернак — это современный поэт. Он был со временем, в котором царил Сталин, а в поэзии он сам. Это для него было не вопросом выживания или приспособленчества, а вопросом творчества. Сталин в этих строках не враг, как для Мандельштама, поэта-классика, а антипод по власти над страной и временем".

В начале 70-х я, устав от трехмесячной слежки (она называлась "рабочим сопровождением"), попросил у Миши разрешения несколько дней поработать у него в квартире. Жить при слежке я почти привык, но дописывать срочную работу было решительно невозможно — трусость и нервозность не давали.

Время — "...пойдут на Запад поезда..." (из Алика Есенина) — шло уже вовсю, и Миша очень переживал отъезды друзей. Тон и дух Москвы сильно изменились даже по сравнению с поздними шестидесятыми. Было тревожно и грустно. Тогда произошла наша последняя настоящая беседа — о России.

Миша был не просто верным другом своим друзьям, он был безупречным другом, природным человеком дружбы. И вот, говоря о России, он стал вдруг недоумевать, что же, черт дери, с ней станет без друзей. Забавно, что дня за три до этой беседы шофер такси, везший меня на очередные проводы в Шереметьево, кричал: "Ну, чего уж тут такого! Ну, уедут из России два с половиной еврея и полтора армянина, так не пойдем же мы из-за этого ко всем чертям?" (Мне казалось, все ж таки, что и в его вопросе звучало некоторое сомнение).

В голосе Миши никакого сомнения не было. Он точно знал, что для его России отъезд его друзей — страшное несчастье, о котором сама она, кажется, и не подозревает.

В конце того же вечера пришел Миша Миллер, и разговор зашел о предательстве (тоже — излюбленная русская тема). Мы с Мишей Миллером в один голос утверждали, что без предательства и отступничества России себе вообразить не можем. Миша Левин, весело улыбаясь, стал нас убеждать, что, напротив, время предателей и отступников, серьезных и мучающихся, скоро пройдет, и их место займут... проходимцы, которым нечего будет предавать и не от чего отступаться.

Нам почему-то стало даже весело.

Как жутко жаль, что, если и приеду в Москву, Мишу Левина уже не увижу.

Ю. В. Хижинская

ОН ЗАСЛУЖИЛ СВЕТ

Мне очень трудно писать о Мише; как трудно описать, что дышишь — воздухом... Мы познакомились в 1954 году, и с годами ощущение неразрывности связей, общей жизни только укреплялось. Кто он для меня? Муж ближайшей подруги? Да, с этого началось наше знакомство. Еще — с годами ставший и сам близким другом? Да, но тоже не все... Пытаюсь понять, что ж было основное в моем отношении к нему, чем питались любовь и нежность к этому человеку? Его любили, конечно, очень многие, наверное, большинство знавших его. Хотя сказать, что его "нельзя было не любить", как зачастую принято говорить, неверно. Человек он был, человек! С недостатками, слабостями, которые кого-то, наверное, и раздражали, и шокировали, и обижали. Возможно, злились на него, шипели, злословили, но чтобы не уважали — вот этого, думаю, не было. И пусть бы кто-то высказал неприязнь, вопреки утверждению "о мертвых хорошо или ничего", потому что очень велика опасность, что получится "икона", а это совсем нехорошо, даже как-то оскорбительно для памяти Миши — он уж очень не любил "икон"!

Но что же для меня потеряно с ним главное? Хотя почему "потеряно"? Да, не поговоришь, не спросишь, но то, что получила от него, вошло в меня раз и навсегда — это же со мной и во мне. Вот, видно, я и подошла к основному для меня... Учитель. Для меня он стал и оставался Учителем, на которого я всегда внутренне оглядывалась.

Я благодарна очень многим людям, которые мне в жизни что-то новое открыли, чему-то научили, но, конечно, никто не имел такого влияния на мою внутреннюю жизнь, как Мишка. Я отлично сознаю — именно ему я обязана формированием своей личности. Хотя никогда, ни одного разу он меня ничему не учил! Никогда не было такого, чтобы сесть, обстоятельно поговорить "за жизнь", о прошлом, настоящем и будущем. Все происходило само собой — реакцией на события, какой-то походя брошенной фразой, рассказом о чем-то, поступком — зацеплялось за сознание и заставляло его работать. Вот лежим в палатке, отогреваясь в спальниках после вынужденного (байдарка перевернулась) купанья в Клязьме 1 мая 1956 года. Конечно, у меня в мозгах откровения XX съезда, что-то спрашиваю: не помню, что он говорил, кроме одного: "В 29-м году Сталин сломал хребет крестьянству". Запомнила, видимо, потому, что это было для меня на тот момент особенно удивительно. Начинаешь смотреть, думать, что-то сопоставлять, сравнивать... И внутренняя связь все прочнее и

прочнее... На Соколе я прочитала впервые "Один день Ивана Денисовича", до публикации его в "Новом мире" (забыла, как он первоначально назывался, кажется, "Один день из жизни зека"). Впечатление было оглушающее. В отношении точности описания лагерного быта Мишка тогда сказал: "Не знаю, я же не был в лагере", — а Юлик Дунский говорил, что подписался бы под каждым словом. От Миши же я получала и романы Солженицына, увозила с собой в Ленинград, перепечатывала и возвращала. Так оказались у меня и "Раковый корпус", и "В круге первом", а также "Крутой маршрут" Е. Гинзбург, запись Вигдоровой суда над Бродским и др. Это сторона как бы "политического воспитания". Но не только в этом было его влияние — в определении всей шкалы морально-этических ценностей — ненавязчиво, в каких-то случайных разговорах, одной фразой, иногда насмешливым замечанием или, наоборот, сочувственным словом расставлялись акценты, и приходило понимание, "что такое хорошо и что такое плохо".

Он существенно старше нас, а уж умнее и образованнее — безгранично! Но никогда с ним мы — Наташины подруги — не чувствовали себя неравными, никогда никакого следа ощущения превосходства его; разговор на равных. А ведь масса людей, куда менее эрудированных, перед которыми просто рот боишься раскрыть, чтобы не показаться дура-дурой. Перед Мишкой же никогда не было стыдно "глупость свою обнаруживать". А знания его были громадны и всесторонни. Казалось, просто не было вещи, которой бы он не знал, хотя, конечно, случалось такое, и он даже сердился, когда мы говорили: "Как?! Неужели ты чего-то не знаешь?!"

Читал он всегда, в любую возможную минуту — в правой руке газета или книга, или журнал, в левой (Миша был "двуручным") — карандаш, которым он делал свои пометки и подчеркивания. Вот было удобно после него газеты читать! О его разносторонних интересах говорят покупаемые им книги. Книги — его страсть! И чего только нет в его библиотеке! Естественно, книги по физике, литературоведению, бесконечное количество стихов, но и "Охота на белых медведей" или "Постижерное искусство"... Наташка кричала: "Книги — мои личные враги!" Купив новую книжку, Мишка часто старался спрятать ее среди старых — когда-то еще всплывет, вроде как она всегда лежала...

Авторитетом он пользовался громадным. И видимо, всю жизнь. Уже в пионерском лагере имел прозвище "папа" (лет в 12), а в Бутырке был выбран камерным баландером (разливателем баланды) — свидетельство высокого доверия.

Мишу отличала редкая независимость, она проявлялась во всем; в нежелании примыкать к какой-нибудь партии или оформленному движению, в одежде: галстук он надевал один раз — на защиту докторской диссертации. Он был бесконечно свободен внутренне. Именно поэтому он был крайне внимателен к другим, деликатен — свойства действительно свободного человека, которому не нужно ни перед кем никакое самоутверждение.

В высшей степени был наделен умением дружить. Умел дружить отдавая, а не беря. Он вообще был человеком, конечно, отдающим. Преданный, верный друг, очень любящий. За жизнь, мне кажется, он друзей практически не терял, только приобретал. Школьные — были с ним до конца; университетские — тоже;

мы, Наташины подруги, стали близкими и ему. И уж во всяком случае он никого не потерял по своей инициативе! Жизнь часто вертит людьми, разъединяет их, реже становятся встречи, суетливее, поверхностнее, возникает отдаление, хотя бы формальное, между ранее близкими. У Миши тоже такое бывало, он очень страдал от случаев небрежности, невнимания со стороны дорогих ему людей, но ни на кого не пожаловался, внешне этого не показывал. А уж в трудных обстоятельствах он всегда был готов на помощь и поддержку. Миша был первым (возможно, и единственным?), кто поехал к Фриду и Дунскому в Инту после их освобождения из лагеря. Именно он навещал в Горьком А. Д. Сахарова, хотя и считал его не другом, а лишь однокурсником. И беречь он старался своих друзей. Два раза я видела Мишу очень сердитым. Один раз — на меня. Дело было так. Я и моя дочь приехали перед Новым годом в Москву. Левинская семья уже была в Абрамцеве, в городе на Соколе был только Миша Миллер, живший там после тяжелой операции. Поезд приходил вечером, мне не хотелось тревожить (так я сочла) Миллера, мы переночевали у родственников, а с утра пораньше уехали в Абрамцево. Там Миша сразу спросил про Миллера. Ужасно рассердился, что мы ночевали не на Соколе и не позвонили туда: "Ведь он вас ждал! Он вам кашу сварил! Он беспокоится!"

Помочь материально (попросту деньгами) всегда был готов, хотя считал такую помощь самым простым ее видом. Без Миши и Наташи мне бы не построить своей квартиры. Когда у меня было очень тяжелое положение с жильем, они просто заставили меня вступить в кооператив, весь первый взнос — это их деньги. И мой случай — не единственный.

Мне кажется, если меня спросить, что такое настоящий мужчина, я отвечу: "Это Левин с его стремлением всегда "брать на себя" — в большом и малом..." В первом нашем совместном походе переносил всех через топь в байдарку именно он, совсем не самый сильный, со своими гигантскими диоптриями. И не только "нежных" девиц, но и здоровенных парней, среди которых был и весящий центнер. Он был самый старший и опытный... и на нем были болотные сапоги.

Не терпел хамства или унижения людей, больших или маленьких, все равно. Известна его схватка в Тучкове с "туристами", мутившими питьевую воду. Когда на его глазах один из приятелей в гневе кричит своему маленькому сыну: "Молчать!" — Мишка ему тихо, но жестко замечает: "Мне показалось, что я снова на Лубянке".

Иногда случались и курьезы. Как-то вечером в конце лета в Абрамцеве все улеглись. Я читала в столовой, Мишка курил в кухне (и читал — это само собой). Двери на террасу и дальше в сад были открыты. В саду темно. Вдруг раздался глухой удар и стук падающих яблок. Через минуту еще раз. Зову трагическим шепотом: "Мишка!" Он выходит в сад, подбирая на ходу какую-то палку, направляется к яблоне, говоря: "Что, яблочек захотелось? Помочь, что ли?" Никто не отвечает, но удары чаще, яблоки сыплются градом. Но тут выходит заспанная, но все же зрячая Наташка, тоже бежит к яблоне и начинает хохотать. "Ну, не бойся, иди, я выведу," — кому-то говорит она, смеясь. Оказывается, на участок забрел чей-то теленок, в поисках выхода тыкался в дерево, яблоки падали, наверное, ударяя его, он в испуге тряс дерево еще сильнее.

Мы познакомились в 1954 году, когда наш курс ходил на модный тогда спектакль Ленкома "Годы странствий". Мы первый раз увидели Наташкиного мужа, о котором, конечно, уже много знали, но понаслышке. Из театра кусок пути мы шли вместе, болтали, смеялись, как-то сразу возникло чувство, будто мы знали его давно, чувство какой-то легкости, непринужденности, естественности. Вскоре ему удалось уехать из Тюмени, устроиться в ивановский пединститут. Три дня в неделю он жил в Москве, на четвертый — ездил в Иваново. Тут уж мы стали видеться часто, тем более что через год Миша стал работать в Москве. Вообще, 1956 год — начало веселого времени надежд: прошел XX съезд, возвращались люди, в том числе и Мишины однодельцы, началась реабилитация. Шутили, радовались. Новый год почти всегда встречали в Абрамцеве. С начала 60-х годов на соседней даче образовалась очень музыкальная компания, назвавшаяся Подмосковной филармонией. Они к Новому году готовили спектакль на злободневные темы в какой-нибудь музыкальной форме — опера, оперетта и т. п. — и в новогоднюю ночь показывали его у Леонтовичей. Подготовка достойного ответа была на совести Миши. Он его обдумывал в последние дни декабря, особенно, конечно, 31-го. Затворялся в одиночестве наверху. На вопрос, где Миша, всегда многозначительно отвечали: "Миша болдеет" (от слова Болдино). Никогда не посрамил НАШЕЙ стороны! Было бы очень интересно собрать его новогодние ответы — остроумные описания знаменательных событий минувшего года — иногда общегосударственных, иногда академических или просто семейно-дружественных. По ним можно наблюдать изменение общего настроения во времени — от оттепели Хрущева к застою Брежнева оно менялось от юмористического к горько-ироническому, даже саркастическому.

Мишка любил дарить, чаще всего книги, как правило, с надписями, как правило — остроумными. Подарки всегда "со значением", с веселым намеком на какие-либо происшествия, на черты характера, на повод дарения. Он был остроумен как-то органично; в блестящих шутках проявлялось свойственное ему ассоциативное мышление. Он шутил, можно сказать, до последнего дня своей жизни, как только ему становилось хоть чуточку полегче. (Об этом может рассказать его дочь Таня, дежурившая около него поочередно с матерью и братом).

Не могу не привести последнюю полученную мной Мишину записку от 18 апреля 1992 года: "Дорогая Юля! Шлю тебе свой пламенный двенадцатиперстный привет. Готовлюсь к Успенью. Надеюсь, что тамошняя диета и сан-суси вернут мне былую бодрость. Пока же вижу странные сны из жизни и деятельности 6-го съезда (с участием Хасбулатова). Один даже с поименным голосованием по вопросу об энергии поля в диспергирующей среде. Приняли правильную формулу.

Будь здорова и не поминай лихом. Приветы. Твой М.".

Когда дети были еще маленькие, Левины приезжали ко мне в Питер всей семьей, потом вдвоем с Наташей; иногда — по казенной надобности, на защиту диссертации или на конференции приезжал Миша и один.

Мы как-то гуляли с ним по городу, вышли на Марсово поле. Дело было в июне, светло, подъезжало много машин с новобрачными, молодожены фотогра-

фировались у Вечного огня. Глядя на них, Миша сказал, что в Москве таким ритуально-свадебным местом служит могила неизвестного солдата в Александровском саду.

— Представляешь, подают заявление, а записывающая тетенька спрашивает: "Вам с могилкой или без?"

— Издеваешься, а вот сам что скажешь, когда Ташку будешь замуж выдавать?

— А я скажу — нам с колыбелькой, и пошлю ее к тебе в колыбель Революции.

Когда они приезжали все, бывало и тесновато. Детей старались разместить поудобнее, сами — вторым сортом. Как-то Левину досталось спать на надувном матраце головой под пианино. Регулярно, поднимая голову, о пианино стукался, чертыхался, но сам же и смеялся. Ну, тогда еще мы были сильно помоложе, и сон у Миши не был таким катастрофически плохим...

Когда они приезжали, мне хотелось обязательно сводить их в театр Ленсовета на мою любимую Алису Фрейндлих. Вообще говоря, удавалось. Но только один раз мы попали на стоящую вещь — "Люди и страсти", был такой спектакль-концерт по немецкой классике. В других случаях пьесы были слабые, но Миша меня утешал: "Думаешь, у великой Ермоловой репертуар был всегда первоклассный?! Все равно, шли же на Ермолову, а мы — на Алису Фрейндлих".

Обычно они приезжали, используя какую-нибудь совокупность выходных дней — ноябрьские, майские праздники. А бывало, что съезжались — они из Москвы, я с дочкой — из Ленинграда — в Новгороде и Пскове. Вот в Пскове дети, еще довольно маленькие, шагали по узкому парапету, а моя дочь изрекла: "А Ленин в детстве пытался по канату ходить". Левин тут же откликнулся: "Угу, и шпаги глотать". Бедный ребенок исходил от обиды недоверием. И только много лет спустя в каком-то календарном листочке нами встречено описание этого случая из кокушкинского детства Володи Ульянова. Вот редкий факт, когда Мишка чего-то не знал! И более того — упорствовал в своем незнании!

В бытовых делах он целиком полагался на Наташку. То есть он совсем не был беспомощным, мог сделать все необходимое, но если имел в отношении чего-то конкретное указание, его выполнял безоговорочно. Потому случались и казусы. Перед рождением Бамбика Наташа сложила все, что нужно было принести к выписке из роддома и для себя, и для ребенка. Так случилось, что я как раз проезжала через Москву, возвращаясь из отпуска, когда Бамбик уже родился. Мишка, собираясь встречать его и Наташу, сказал, что все, что нужно, лежит в чемодане. Я все же решила туда заглянуть — оказалось, что он чемоданы перепутал и собирался отправиться с тем, где лежали вообще все детские вещи, но не было ни одеяльца, ни Наташиной одежды.

Для своей работы — научной — никогда Миша не требовал каких-то специальных условий. Сколько раз можно было видеть картину — лежит Левин на животе, пишет в тетрадочке какие-то свои вычисления, а Таня и Бамбик крутятся рядом на том же диване, залезают на него, садятся верхом, смеются и повизгивают. Но, правда, обдумывать работу он любил в одиночестве, на ходу.

Много было всякого, но как-то встают перед глазами чаще идиллические картины. Вот в Рагациемсе ходили за черникой. Мишка не собирает ягоды. Он сидит и рассказывает о войне Алой и Белой розы. Рассказывает, как будто о

близких событиях, о хорошо знакомых ему людях. И Ричарды, и Генрихи как живые, и понятен переход власти от Плантагенетов к Тюдорам. В Рагациемсе целый день была колготня, жили общим хозяйством с Пастернаками, народу много. Но вечером оставались только Левины, Анита и я. Шли какие-то задушевные разговоры, воспоминания. Иногда пели русские песни. И оказался у Мишки очень неплохой баритон. Там же прочитали в какой-то газете новый рассказ Изольда Зверева, кажется, "Что человеку надо", где упоминались имена многих знакомых. Тут же Мишка сочинил прекрасную пародию под тем же названием, подписав ее "Тристан Птицын". Мы скорее красиво ее переписали и послали Изольду. Его реакции я не знаю, по-моему, должен бы порадоваться. А пародия у меня сохранилась.

...Вот на Соколе вечером собралась случайно довольно большая компания. Травят анекдоты, хохочут. Мишка разливает чай — он всегда разливал чай. По какому-то делу пришел И. М. Гельфанд. Его усаживают на почетное место, ухаживают. Видимо, Гельфанд — настоящий чаевник, так как замечает: "Хороший чай, но перекипел". А Мишка перекидывает через руку полотенце, изображая полового в трактире, с поклоном поддакивает: "Ох, перекипел, сволочь, перекипел-с!"

...Вот серебряная свадьба Миши и Наташи. Гостей полон дом. "Невесте" соорудили цветочки из бумаги и фату из марли, "жениху" — пришили на рубашку (он без пиджака) бумажную же хризантему и роскошную черную бабочку. Они оба счастливые, веселые, помолодевшие, вокруг дети...

Народу на Соколе всегда полно; так просто забегали "на огонек", особенно в те дни, когда Наташа была в городе. Почти все время кто-нибудь жил — Миллер по медицинским делам, я, приезжая в командировку, кто-то, оказавшийся на тот момент без жилья. Иногда поочередно, иногда и пересекаясь. Мишка очень любил, чтобы у него постоянно бывал народ, так, запросто, без специального зова.

Был у нас с Мишкой общий дефект — сильная близорукость. Бывало, на Соколе мы даже такое подобие соревнования устраивали — стояли у окошка и перечисляли, кто что видит на улице, что делается напротив у ювелирного магазина. Конечно, мне с ним было не тягаться. У меня больше −12Д не было, а у него −16, потом −20... потом уж никто не считал его диоптрий. Однако вел он себя совершенно уверенно. Как-то у нас на эту тему был разговор. Я с удивлением рассказывала ему, как одна моя сотрудница, имеющая близорукость где-то −5, всегда причитала: "Ах, я же ничего не вижу! Уж извините, я такая слепошарая!" А что же нам говорить?! Мишка тут и напомнил пьесу О. Уайльда "Как важно быть серьезным", где одна из героинь восклицала: "Ах, мама воспитала меня близорукой, позвольте мне посмотреть в лорнет!" — "А нас никто близорукими не воспитывал, вот мы и оказались зрячие".

К сожалению, позже и у него, и у меня к близорукости добавилась катаракта... У него раньше и, похоже, сильнее. Один глаз практически совсем перестал видеть. Смотрели и лечили его разные врачи, в том числе и знаменитости. И все как-то очень критически относились к возможности операции. Уже вовсю гремела слава Федорова, но Мишка почему-то упорно не хотел обращаться в "Микрохирургию" — настолько его убедили, что операция ему не поможет.

Тут и моя катаракта очень стала мешать жить и работать. И мне тоже говорили: "Оперировать нужно, когда полностью созреет, да неизвестно, можно ли при вашей близорукости". Но я не хотела ждать. И пробилась в "Микрохирургию глаза". Операция прошла удачно. И смею считать, что мой пример вдохновил и Мишу решиться оперироваться.

А операции он очень боялся. Уже была она назначена на апрель. И тут кто-то ему сказал, что весной делать — опасно, организм ослаблен, может быть что угодно. Наша общая подруга возмутилась и даже посмеялась над ним. И этот исключительно смелый и стойкий человек вдруг сказал: "Но ты же себе не простишь, если я умру". Боялся именно потому, что это глаза... Пришлось перенести все же на осень. И осенью все кончилось благополучно! Говорят, он восторженно кричал по телефону из больницы: "Кафель в клеточку!" О! Я так понимаю это состояние прозрения и восторга — стоишь в середине комнаты и видишь во все стороны! Из окна — другую сторону улицы и дома дальше... дальше... Большое счастье, что хотя бы последние годы он мог свободно видеть, снова уверенно ходить по улицам... снова разливать чай! Он приезжал в Ленинград, съездил в любимый им Горький. С наслаждением ходил по улицам, смотрел, смотрел. Говорил: "Я же впервые вижу город по-настоящему". Он заметно помолодел после операции, оживился, взбодрился. Просто возродился!

Как Мишка умел писать, теперь, слава Богу, может узнать каждый — замечательные его воспоминания об А. Д. Сахарове "Прогулки с Пушкиным" вышли в "Звезде". И он успел их увидеть! Он всегда говорил, что когда он пишет о ком-то, больше всего его заботит, чтобы на первом плане был герой воспоминаний, а потом — постольку поскольку — автор. "Я стараюсь, чтобы я был виден как можно меньше. Вот когда я буду о себе писать — тогда пусть и я буду на первом месте". И так увлекательно и интересно начинал рассказывать о своих планах... Это было совсем недавно... И вот о себе написать ничего не успел...

Иешуа сказал о Мастере: "Света он не заслужил, он заслужил покой". Никто из нас не знает, что ТАМ, но убеждена, если кто и заслужил Свет, это наш Миша. И видимо, ТАМ тоже нехватка достойных — почему так рано уходят лучшие?! Сахаров... Левин...

Это банальность, конечно, но справедливо:

Не говори с тоской: "Их нет",
А с благодарностию: "Были"...

Мне выпало счастье знать близко такого человека, как Мишка, и для меня он не только был, он есть! И, надеюсь, будет всегда, всю мою оставшуюся жизнь.

Ноябрь, 1992

Л. И. Богораз

ВСТРЕЧИ С МИШЕЙ ЛЕВИНЫМ

Это удивительно теплое, доброе семейство — семья Левиных. С самого начала знакомства с ними (это было году в 76-м, у них дома, еще на Ленинградском проспекте) я оказалась в атмосфере добра, как если бы вдруг пришла в дом близких, хотя еще малознакомых родственников. Таня накормила меня "фирменной" левинской яичницей — с сухариками и тертым сыром, напоила кофе.

Но и дело, ради которого я пришла, не было забыто. В то время мои друзья и я собирали материалы для тогда подпольного исторического сборника "Память", и в первый выпуск сборника планировали включить описание "Дела молодежной террористической организации", дела 1944 года, по которому проходил мой двоюродный брат Володя Сулимов, киношники Валерий Фрид и Юлий Дунский, еще несколько молодых людей и девушек — некоторые из них были детьми репрессированных или расстрелянных видных партийных и государственных деятелей. Довольно случайно я узнала, что по этому же делу были тогда же осуждены Михаил Левин и Марк Коган, друзья Флоры Литвиновой. Я попросила Михаила и Марка дать описание этого дела для нашего сборника (в то время, когда я к ним обратилась с этой просьбой, Коган уже был популярным адвокатом, а Левин — известным физиком, доктором наук, сотрудником радиотехнического института АН СССР). Я, конечно, заверяла обоих, что об их участии в подготовке подпольного издания никто не будет знать.

Сколько помню, Михаил Львович не обратил особого внимания на обещанную конфиденциальность нашего сотрудничества. Он только предложил мне такой план действий: он перескажет мне интересующий меня сюжет, я его запишу (по памяти: с диктофонами мы тогда не работали, да и не было у нас диктофонов), а когда будет готов текст, покажу ему запись, он проверит, все ли точно, и сам проконсультируется с Коганом. Конечно, это было разумно — чем меньше моих необязательных контактов, тем безопаснее для других людей, так или иначе принимавших участие в работе над подпольным сборником. Все понимали, что эта работа будет расцениваться как криминал со всеми непредсказуемыми последствиями. Таким образом, Михаил Львович взял на себя весь риск из-за неизбежных наших контактов, которые и сами по себе могли быть небезопасны: слежка за мной велась довольно плотно, и с этим ничего нельзя было поделать; каждый, кто со мной встречался, неизбежно "засвечивался". Любопытно было бы сейчас посмотреть по архивным материалам КГБ, как в

них отражены наши довольно регулярные встречи. Иногда мы встречались у Литвиновых, иногда Миша заходил ко мне, да вот и к себе приглашал. Я и рада была бы не ставить под угрозу его самого и его положение в институте (думаю, в первую очередь, именно по этой линии его могли ожидать неприятности). Но не мне же было учить Мишу Левина осторожности; да он и сам все прекрасно понимал; да и наши встречи были не единственным криминальным моментом в его досье; и не самым главным. Михаила Львовича очень увлек замысел инициаторов сборника "Память" — собирать и публиковать материалы нашей подспудной истории — мемуары, документы, свидетельства — все, что составляет живую ткань истории, что послужит когда-нибудь материалом для будущих историков, а пока хранится только в памяти живущих современников да в случайных домашних архивах. Конечно, мы с Михаилом Львовичем говорили не о физике, а об истории, литературе, современном общественном движении и прочих гуманитарных сюжетах. Вот тогда я и поняла, что он не только живо интересуется этими сюжетами, но и живет в них и судит о них глубоко и профессионально. В литературе и истории он, во всяком случае, ориентировался куда лучше, чем я, какой-никакой, а все-таки филолог. Заинтересовавшись сборником "Память", Михаил Львович принимал участие и в следующих его выпусках — во всяком случае, помогал мне редактировать те материалы, которые готовила я. Об этом никто из нашей редакции не знал.

И тогда я себя спрашивала, и теперь снова задаю себе вот какой вопрос: отлично понимая, что наше сотрудничество, да и просто дружеские встречи, могут привести к осложнениям в его работе, он нисколько не пытался привнести в них элемент конспиративности: например, не назвать себя по телефону, как это делали некоторые мои знакомые (я их, конечно, вовсе не осуждаю за это; такова была в те годы наша реальность). Вот звонит телефон: "Ларочка[1], доброе утро. Это Миша Левин. Ты дома? Можно к тебе зайти?" И в этом не было никакой бравады. Миша совершенно не афишировал свою отвагу ни передо мной, ни перед самим собой. В этом он не нуждался. Он просто держался так, как если бы на свете не существовало никакой слежки, никакого КГБ. А уж кому, как не ему, было знать, что они еще как существовали!

Как-то, уже в "мирное" время, году в 90–91-м, на даче у Левиных в Абрамцеве я заговорила с ним на эту тему: не правы ли были те люди, которые упрекали диссидентов, правозащитников в непрофессионализме, в пренебрежении элементарной конспиративностью. Мне говорили: ведь вы ставили под удар не только себя, но и других, и само ваше дело — все-таки подпольный сборник. Возможно, это были справедливые упреки. Может быть, мне, да и самому Мише Левину, следовало вести себя осмотрительнее, осторожнее, что ли. Например, не представляться по телефону... Помнится, Миша отвечал примерно так: было бы просто унизительно менять свою манеру общения с друзьями без крайней на то нужды. Известно, что Миша остался верен этому принципу и в более опасной для него ситуации — при поездках в Горький и встречах со ссыльными Андреем Дмитриевичем и Еленой Георгиевной...

[1] Миша почти сразу, как-то совершенно естественно стал называть меня на "ты" и нередко "Ларочка". Об этом я скажу немного позднее.

Я уверена, что так же естественно держался Миша и в 44-м году, во время следствия по делу, с рассказа о котором началось наше знакомство. А тогда он ведь был совсем молод, не имел еще никакого опыта общения с госбезопасностью, и дело-то было нешуточное: группе молодых людей вменялась в вину подготовка к террористическому акту, к покушению на самого Сталина! Тут и вышку могли дать, и применить при следствии "физические меры воздействия". А может, и применяли? Миша об этом не рассказывал. Возможно, что именно Мишино присутствие духа спасло их всех от вышки: он обнаружил явную "липу" в сочиненном следователями сценарии, но молчал об этом до конца следствия, а когда следствие было закончено и даже получены признания некоторых обвиняемых — Миша ткнул следователя в эту "липу", и сценарий полностью рассыпался. Впрочем, кого это обстоятельство могло остановить в 40-е годы! Так что вероятнее другая версия "спасения" юных террористов: МГБ могло счесть очень невыгодным для себя представлять "наверх" так далеко зашедшую подготовку к убийству Самого — еще скажет: "А куда же вы раньше глядели?!" Так или иначе, террор отпал, но все подельники получили свои сроки. Володя Сулимов, мой брат, получил 10 лет и умер в лагере. Не буду подробнее рассказывать об этом деле. Я записала рассказ Миши максимально подробно, да еще он и Марк Коган перепроверили мою запись, и она была опубликована в сборнике "Память", вып. 1 (Москва, 1976; Нью-Йорк, "Хроника Пресс", 1977).

И все же с этим материалом произошло некоторое недоразумение, и я не знаю, как его теперь, после смерти Миши, снять. Когда сборник был опубликован, в "Русской мысли" появилась небольшая заметка (автора не помню), где утверждалось, что Владимир Сулимов, о котором идет речь в публикации, вовсе не тот Вовка Сулимов: действительно, герой публикации — сын предсовнаркома РСФСР, т. е. Д. Е. Сулимова, моего дяди, но многие детали его биографии не совпадают с биографией Володи Сулимова[2], осужденного по делу молодых террористов. Меня смущает в этой темной истории такая деталь: моя тетя, вдова Д. Е. Сулимова и мать Вовки, из лагеря посылала куда-то запрос о судьбе сына и получила ответ, что он погиб на фронте под Вязьмой. Я сказала об этом Мише и показала ему фотографию брата — вроде он, решил Миша. Правда, на сильно довоенной фотографии брату лет 11—12, а Миша знал его уже после фронта и ранения; конечно, трудно сказать с уверенностью. Тете могли в лагерь послать и фальшивое извещение, чтоб не приставала! С другой стороны, у Данилы Егоровича Сулимова могла быть и другая семья, и другой сын примерно такого же возраста, и тоже Володя (тогда среди высшего начальства было в моде иметь несколько жен, и для мальчиков модным было имя Владимир), так что теперь один Бог весть — погребен ли мой брат в какой-нибудь солдатской братской могиле под Вязьмой или в зековском братском рву где-нибудь в районе Норильска. Итак, один Володя Сулимов "пал смертью храбрых", а другой...

Во всяком случае, был у меня единственный брат, хоть и двоюродный, — и его нет. Но, пытаясь распутать эту детективную историю, я приобрела другого

[2] Точные сведения о В. Сулимове — участнике группы, о которой идет речь, содержатся в воспоминаниях В Фрида "58 1/2", опубликованных в журнале "Киносценарии" (1994, №2). (См. также книгу В Фрида "58 1/2. Записки лагерного придурка"). Он был не Данилович, а Максимович.

брата вместе с его большой семьей — Михаила Левина. Он сразу отнесся ко мне истинно по-братски: отсюда и "ты", и нежное "Ларочка". Не было случая, чтобы, встречаясь со мной — "по делам или так, погулять", — Миша по-родственному не расспросил бы меня о Паше, моем младшем сыне, не обсудил бы связанные с ним проблемы, с которыми я сама была не в состоянии справиться, дарил ему книжки, какие сам любил, — и не только покупал их специально для Паши, но сам и привозил их к нам домой — в надежде, что ему удастся пробить защитное поле неприступности, каким окружил себя Павел. К сожалению, эти его попытки не имели успеха; когда-нибудь Павел еще пожалеет об этом. Меня же Мишино участие и согревало, и утешало.

О том, каким Миша был теплым и талантливым человеком, расскажут многие — все, кому посчастливилось дружить с ним.

Я же к своим воспоминаниям хочу добавить лишь одно: кроме участия в редактировании сборника "Память", я вряд ли могу припомнить что-нибудь о других его диссидентских, правозащитных "подвигах": ему ведь абсолютно чужда была всякая показушность.

Даже представить себе невозможно, чтобы он рассказал кому-нибудь о своих взносах в Фонд помощи политзаключенным (я уверена, что он передавал деньги, отнюдь не лишние в его большой семье, но об этом я ничего не знала: "пусть твоя правая рука не ведает о милостыне, которую подает левая").

Но одно мне безусловно очевидно: такие люди, как Миша Левин, и именно он, в первую очередь, составляли подводную часть айсберга, надводная часть которого, видная всем, получила наименование "правозащитное движение 60—80-х годов".

П. М. Литвинов

О МИХАИЛЕ ЛЬВОВИЧЕ ЛЕВИНЕ

Миша Левин с самого моего детства был для меня человеком, к которому я мог всегда обратиться с любым вопросом, прийти за советом и всегда получить серьезный ответ. С ним я никогда не ощущал барьера, который всегда отделял меня от мира взрослых, хотя он был одним из ближайших друзей моих родителей, которые для меня этот мир олицетворяли. Я, пожалуй, не встречал человека с таким удивительным сочетанием — постоянной готовностью сострить, скаламбурить, но не прятаться в шутку от серьезного разговора. Я никогда не чувствовал, чтобы Миша смеялся надо мной или, не дай бог, снисходил до меня, и потому он всегда имел доверие "трудного тинейджера". Миша был для меня первым человеком, который пришел "оттуда", от него я впервые узнал о существовании мира лагерей, и, вероятно, благодаря ему я долго верил, что люди, прошедшие сталинские лагеря, были все воплощением лучших человеческих качеств, — эта вера так до конца и не исчезла, хотя жизнь меня много раз впоследствии наказывала за эту наивность. Из-за Миши и, наверное, Кости Туманова я пошел учиться на физфак (физика из меня не вышло). Физиков он, сам того не зная, поставил на высокий пьедестал в глазах романтического, неуверенного в себе молодого человека: физики занимались чистой наукой, не отравленной всеобщей ложью, в свободное время читали книги, писали стихи и создавали общественное мнение.

С внешней легкостью в Мише сочеталась большая внутренняя работа, продумывание всего до конца, отрабатывание своего внутреннего компаса, того, что его жена Наташа назвала просто и точно чувством самоуважения, постоянно направлявшего его жизнь. Помню (это было где-то в середине шестидесятых годов), мы сидели на кухне на Соколе и по каким-то ассоциациям он начал рассказывать, как приходят в академический институт военные, собирают ученых и начинают спрашивать их совета по всяким возникающим в области вооружений проблемам. "Ученые поначалу слушают иронически, — говорил Миша, — но постепенно увлекаются поставленной задачей, тренированные мозги начинают работать, и кто-нибудь находит решение, над которым военные бились долгое время". Известна эта присущая многим физикам и математикам страсть первым решить "задачку", все бросить и полностью погрузиться в головоломку: из научно-популярного ли журнала, в закрученный ли интеграл или в серьезную научную проблему. Миша по должности тоже должен был сидеть и слушать, и его мозг тоже, конечно, не мог не включиться. "Я сжимался, почти физически

зажимал себе рот и молчал", — говорил он. Миша не пытался никого судить: он просто отметил свою личную позицию. (Разумеется, для многих из тех, кто тянул руку и давал советы военным, не последнюю роль играли и соображения премий, похвал начальства, всяких там прямых и косвенных всем известных советских благ, но это уже было за пределами обсуждения: его интересовали специфические соблазны своего племени — физиков).

В другом разговоре Миша подошел ближе к суждению о поступках другого человека. Речь шла о его старом знакомом, который уже много лет работал на производстве оружия массового уничтожения. Миша изредка продолжал его видеть. "Я не понимаю, как можно давать ИМ такое оружие, такую власть", — сказал Миша. И это было все. Просто он этого не понимал. Его понятия об ответственности ученого восходили к Эйнштейну и Бору и оставались в его глубоком понимании сути советской системы и людей, которых эта система отбирала для руководства страной.

Можно ли сказать, что Миша был диссидентом? Я не люблю этого слова и предпочел бы вообще без него обходиться, но оно существует, и от этого никуда не денешься. Если определить диссидента как активиста движения за права человека, знающего, что открытый протест приведет рано или поздно к более или менее суровым репрессиям против него, и идущего на это, то в этом смысле Миша диссидентом не был. Миша, как большинство людей его круга и поколения, к тому же прошедших сталинскую тюрьму и шарашку, не верил, что систему можно изменить, и считал, по крайней мере поначалу, открытую борьбу против режима безнадежной. Надо сказать, что и многие диссиденты эту точку зрения разделяли. Вспомним известный тост: "Выпьем за успех нашего безнадежного дела".

Но для человека, не выбравшего этот путь, Миша был поразительно открыт в своей моральной поддержке диссидентов-правозащитников, встречался со многими, помогал деньгами, а на личном уровне участвовал гораздо активнее. О многих эпизодах этой его деятельности могут рассказать другие люди. Надо помнить, что Мишин институт был режимным предприятием, и его уязвимость и угроза для его семьи всегда была реальной. Известно, кроме всего прочего, что бывшие зэки никогда до конца не были "прощены" и КГБ продолжал относиться к ним с подозрением.

Расскажу об одном событии в этой связи. Это было в 1966 году, на заре, если можно так выразиться, правозащитного движения. Правительство решило добавить к своему арсеналу борьбы с инакомыслием несколько новых статей уголовного кодекса, нарочно расплывчато сформулированных, чтобы с их помощью можно было карать, когда надо, целый спектр неугодных властям действий: от мирных маленьких демонстраций до распространения самиздата и даже рассказывания анекдотов. Не знаю, кому принадлежала идея организовать письмо известных людей к депутатам Верховного Совета, но я услышал об этом от Петра Якира, с которым познакомился незадолго до этого. (Идея массовых писем, которая позже стала известна как "подписантская кампания", возникнет через несколько месяцев). Я сказал Петру, что знаком с академиком Леонтовичем, и вызвался передать ему текст письма. Прямо поехать к Михаилу Александровичу с этим я постеснялся, а поехал вместо этого к Мише. Миша не

скрыл от меня своего глубокого пессимизма по поводу возможности повлиять на членов Верховного Совета. (Миша был прав в своем пессимизме; забегая вперед, напомню, что Закон о дополнениях к Уголовному кодексу был принят на сессии Верховного Совета в декабре 1966 года, и я был впоследствии одним из многих с его помощью осужденных). Более того, было очевидно, что депутаты письма и не увидят, его перехватят в канцелярии и отправят в КГБ. (Тогда не обсуждалась, насколько я помню, идея размножения письма и рассылки его индивидуально депутатам, это пришло позже с расширением числа участников правозащитного движения). Несмотря на всю очевидную безнадежность и опасность этого предприятия, Миша отнес письмо к Михаилу Александровичу, который не только подписал его, но даже сам предложил его подписать Андрею Дмитриевичу Сахарову. (Напомню, что это было за год до того, как Сахаров приобрел всемирную известность в связи с публикацией в самиздате и на Западе своих "Размышлений", и более трех лет до создания Комитета по правам человека, после чего Сахаров на много лет стал одной из ведущих фигур правозащитного движения). Миша оказал, вероятно, сотни разного рода услуг диссидентскому движению, их даже глупо называть услугами: он просто жил единственно возможным для себя способом среди людей, многие из которых не случайно были в той или иной степени диссидентскими активистами. Смешно называть поездки его в Горький к опальному Сахарову услугами какому-то движению — это был Миша, и все.

Но все же если попытаться выделить главное в Мишиной общественной фигуре — это моральное влияние человека бесконечной доброты и терпимости к людям при четком и безусловном неприятии зла и тихой и бескорыстной помощи всему хорошему, до чего он мог дотянуться. Прибавьте к этому разлитую безудержно широкую и щедрую талантливость и бившее через край остроумие, и вы получите одного из редчайших и, вероятно, влиятельнейших людей нашего времени.

26 ноября 1993 года

Я. Г. Синай

М. Л. ЛЕВИН В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Для нас лицеем
был мехмат...
М. Л. Левин

С Мишей моя жена Лена и я познакомились в середине пятидесятых годов. В это время Наташа вернулась на мехмат и стала студенткой нашего курса, и они с Мишей некоторое время регулярно посещали знаменитый семинар Гельфанда. Семинар был в самом расцвете, собирал огромную аудиторию, и И. М. Гельфанд учил всех нас не только самой математике, но и как воспринимать математику. Среди участников были люди разных поколений, но Гельфанд сразу выделил Мишу, и очень быстро мы почувствовали, что рядом с нами оказался совершенно необычный человек. В дальнейшем у Миши и Гельфанда установились близкие отношения, о которых мы можем судить совсем немного по отдельным рассказам самого Миши.

С Мишей и Наташей мы подружились очень быстро, и в дальнейшем они оба стали частью нашей жизни. И хотя в последнее время встречи были лишь эпизодическими, постоянное ощущение близости было всегда. Нам и сейчас порой кажется, что Миша не ушел из нашей жизни, и поэтому так трудно писать эти заметки.

Несколько лет Леонтовичи и Миша с Наташей брали нас в байдарочные походы на первомайские праздники. Как-то получалось всегда так, что пойти мог только один из нас. Компания собиралась всегда большая — байдарок пять, шесть. В таком походе мы впервые встретились с Ирой Сергиевской, которая потом стала близкой подругой Миши и Наташи и нашей также. В 1961 году мы плавали на байдарках и летом. Вначале нас было шестеро: Миша, Наташа, Ира Сергиевская, я и мой приятель А. Ширяев с женой Олей. Поход был несложный, и мужчины по утрам готовили дамам кофе в палатку, а по вечерам играли в английские шарады. Заросший Миша изображал фразу "Молодая, с чувственным оскалом", которую мы никак не могли отгадать.

Многие годы Миша и Наташа жили вместе с Леонтовичами, и поэтому любой визит к ним был визитом ко всей семье. Один раз, когда мы пришли, М. А. был очень возбужден и рассказывал о своей поездке с Л. А. Арцимовичем в Англию, имевшей в свое время большой резонанс. Поскольку Миша и Наташа

по существу были вовлечены в математический мир, то и М. А. Леонтович благодаря этому знал обо всем, что происходило у математиков. В то время появилась знаменитая теория КАМ (Колмогоров – Арнольд – Мозер), и на семинар Колмогорова, собиравший только математиков, пришли крупнейшие физики Арцимович и Леонтович с докладом о проблеме магнитных поверхностей. В то время это было совершенно исключительным событием. Через некоторое время В. И. Арнольд применил теорию КАМ к этой проблеме и послал свою статью в ЖЭТФ. Статья была отклонена. Как рассказывал сам Арнольд, статья была послана на отзыв Ландау. Он сказал, что ничего в ней не понял, и поэтому никто другой также ничего не сможет в ней понять. Эти два эпизода показывают, как в начале шестидесятых годов начали складываться отношения математиков и физиков. Сейчас уже никого не удивляет, когда математики и физики ходят на семинары друг к другу и математики печатаются в физических журналах.

В 1971 году в институте, где работал Миша, происходило чествование М. Л. по случаю его пятидесятилетия. Пришло очень много людей, была масса выступлений, М. Миллер прислал свою поэму из Горького, С. М. Рытов рассказывал о первых годах общения с М. Л. Левиным, привел одно из первых писем из Тюмени, которое начиналось так: "*Not so many, but* из Тюмени". Вечером все собрались в доме у Миши и Наташи. Петя только что родился, но Наташа осилила огромный прием. М. А., как правило, отправлялся домой немного раньше. Он встал и перед уходом громко сказал: "Дайте мне пятак!" (на автобус). У Наташи пятаки всегда были наготове.

Благодаря Мише в нашу жизнь вошла современная литература. Мы прочитали в те годы "Один день Ивана Денисовича" и "Архипелаг ГУЛАГ", Миша давал нам стихи Мандельштама и Пастернака. Он был не только замечательный физик, но и великолепный поэт. У нас сохранилось несколько его поэм, относящихся к мехмату и к математической жизни, поэма об институте Ландау. Его визиты к нам состояли из двух частей. Вначале шел разговор о науке. Я регулярно рассказывал Мише свои работы и получал часто довольно неожиданные комментарии. Несколько раз Миша приглашал меня на семинар Рытова для подробного доклада. Одно из наших последних научных общений было в Горьком во время зимней горьковской школы. Во всех этих школах Миша неизменно участвовал. После моего доклада на последней школе Миша встал и сказал, что, по его мнению, все рассказанное не имеет физического смысла, и привел ряд доводов. Я принялся его опровергать, но не преуспел. И только много позже я понял, что он был прав. Его конкретные возражения можно было оспорить, но с его общей оценкой я сейчас полностью согласен. Но, конечно же, гораздо чаще мы беседовали о науке к нашему общему удовольствию. Потом переходили на кухню, и начинался интереснейший разговор о литературе, истории, жизни и т. д. В течение многих лет у Миши каждый год была "болдинская осень", продолжавшаяся пару дней перед Новым годом. За это время Миша сочинял поэму, которую читал в ночь на Новый год в ответ на творчество Алеши Абрикосова и его компании, которые регулярно приходили к нему на дачу в новогоднюю ночь. Хочется надеяться, что эти поэмы сохранились и появятся в сборнике.

Миша всегда учил мужеству, а один математик сказал о своем товарище: "Он порядочный человек, ведь он бывает в доме у Левиных". Последний раз мы с Леной видели Мишу в мае 1992 года в Успенском. Это был очень теплый солнечный день. Миша сидел на лавочке во дворе и перечитывал Шиллера. Он сильно похудел и медленно двигался. Тогда все надеялись, что у него язва и небольшая сердечная слабость. Миша очень обрадовался нашему приходу. Мы прошлись по дворику больницы, и Миша замечательно рассказал нам историю своей статьи о Сахарове. Через некоторое время мы стали прощаться, и Миша пошел проводить до шоссе. Он долго стоял и смотрел нам вслед. Он чувствовал, что это наша последняя встреча, а мы надеялись, что нет.

Г. А. Аскарьян

ВСТРЕЧИ С ЛЕВИНЫМ

Говорят, что в последние минуты и секунды жизни человек вспоминает и ясно видит лики тех людей, которые ему запали в душу, запомнились на всю жизнь. Если это так, то мне предстоит видение Михаила Львовича — человека, сыгравшего большую роль в понимании жизни, гуманности, стойкости духа и в пассивно-массивном сопротивлении злу и злодеянию. Его уроки столь могущественны и необходимы обществу, особенно современному, что о нем нужно помнить, писать книгу, а не краткие воспоминания. Дай Бог времени и силы на это.

М. Л. Левин и другие настоящие интеллигенты были тем айсбергом, о который разбился "титаник сталинизма".

(Из выступления на гражданской панихиде)

...Я в лаборатории ускорителей ФИАН, аспирантом у завлаба М. С. Рабиновича, давшего мне свободу творчества с преимуществом вокруг идей В. И. Векслера, который часто приезжал к нам из Дубны с новыми идеями по коллективным методам ускорения. Было решено подключить к их разработке Левина. "Завтра он приедет к нам — будьте на месте", — предупредил М. С. Из разговоров М. С. с другими физиками я многое слышал о Левине, в основном о его классических работах по электродинамике, о его сложной судьбе, о его жене Наташе, приехавшей к нему в ссылку. Каков он в жизни, в науке, в действительности?

И вот навстречу мне по коридору плазменного корпуса идет плотный, невысокий человек, чиркая о стену переполненным портфелем, который он держал под мышкой, и, глядя на меня в упор, через сильные очки, с усмешкой говорит: "Вы Гурген Аскарьян? Я вас вычислил по рассказам М. С. Будем знакомы".

Мы завалились в какую-то комнату и начали с ходу обсуждать последние идеи об ускорении мощными электромагнитными волнами сгустков плазмы, над которыми работал тогда В. И. М. Л. курил, кашлял и ехидничал над ожиданиями получить большие энергии, но, когда я сказал, что у В. И. есть другой путь — получить сверхмощные потоки быстрой плазмы, стал собраннее, и я

почувствовал, что он приготовился к прыжку. В этот день В. И. Векслер не смог приехать, перенеся встречу на завтра.

И вот состоялась встреча вчетвером: В. И., М. С., М. Л. и я. М. Л. говорит: "Я кое-что набросал, и получается нехорошо".

Выходит к доске и излагает четкую упрощенную модель расчета: рассматривая малые (по сравнению с длиной волны) сгустки плотной плазмы, исследуем устойчивость их положения на оси волновода. О их деформации пока забудем. Так вот, в простейших типах волн в волноводе эти сгустки плотной плазмы на оси неустойчивы, и будут сваливаться с оси на стенки. Векслер потрясен, он не может совладать с собой и чуть не кричит: "Вроде так, хоть стреляйся". Я прошу разрешения подумать, прошу не стреляться до завтрашнего дня. Я потрясен простотой модели и подхода М. Л. к проблеме, но интуитивно чувствую, что есть спасительное решение. И оно приходит вечером: нужно взять сгустки не плотной плазмы, учесть плазменный резонанс, и сразу же появилось изменение силы в зависимости от разности внешней и плазменной резонансной частот. Кроме того, мне удалось показать, что для неосновных мод (типа кольцевых распределений) электромагнитных полей появились новые возможности устойчивости.

На следующий день Векслер слушал меня с напряжением и, когда я закончил, произнес: "Великолепный дуэт", — и чмокнул меня в лоб. Вышел к доске М. Л. и, играя мелом, изложил новую главу о деформации сгустков в полях. Опять был мощный прорыв вперед. Работа резко ускорилась. Я сразу почувствовал силу и плодотворность игры с классиком. Какой темп, какая конкретность мышления. Мне почудилось, "он думает глазами" — так четки и экстремально красивы его упрощенные модели.

Векслер сказал: "Пишите скорее доклад на Женеву, я туда поеду и доложу". Мы с М. Л. написали доклад. Меня страшно томило, что авторы доклада — "Аскарьян, Левин, Рабинович", в то время как основной, инициирующий вклад сделал Левин, а Рабинович был ни при чем. Я сказал Рабиновичу, что более справедливо было бы пропустить фамилию Левина перед моей. Так и сделали. Когда Левин увидел текст доклада, он насупился, вызвал меня из кабинета М. С. и стал допрашивать, не оказывал ли кто-нибудь нажима на меня. Я сказал, что это я сам и предложил. "Как вы, а М. С. сказал, что это его предложение". — "Нет, нет и нет — без вас этого ничего бы не было", — сказал я с нескрываемым удивлением, глядя на новую, неожиданную для меня, последовательность авторов. Читатель догадается, кто оказался на втором месте. Неисправимо тщеславие людей.

После этого мы сдружились с М. Л., и он предложил приезжать к нему в гости. Жил он у станции метро "Сокол".

Там кипели страсти, споры, розыгрыши. Часто бывал художник Борис Биргер, А. В. Гапонов, М. А. Миллер и нередко приезжал М. А. Леонтович. Всех их объединяла свобода творчества и радость общения друг с другом.

Прием гостей происходил в свободной манере. М. Л. мог погрузиться в чтение книги, принесенной гостями или взятой с полки (я обратил внимание на длинный ряд книг Большой серии поэта, ее М. Л. знал в совершенстве, часто цитировал и мгновенно находил нужную ссылку по просьбе). Время от времени

М. Л. отрывался от чтения и произносил с сарказмом фразу, уточняющую или усиливающую рассказ гостя. Мне запомнился случай, когда гость опрокинул бутылку с фруктовым нектаром на клеенку и решил втянуть в себя разлитое прямо с клеенки, на что М. Л. изрек, не отрываясь от чтения: "Не чавкай за столом". Часто рассказывали анекдоты из лагерной или горьковской жизни М. Л. и его друзей.

Помню историю со ссылкой на Фрида и Дунского, старых друзей М. Л. по аресту с нелепым обвинением, от которого М. Л. довольно легко отряхнулся, доказав, что они не могли готовить покушение, так как окна квартиры, где они собирались, выходили во двор, а не на проспект. Когда все же Фрида и Дунского послали на лесозаготовки на Север, там они познакомились с выдающимся английским профсоюзным деятелем, организатором бойкота портовиков, потребовавших "руки прочь от Советской России" и отказавшихся грузить войска и вооружение на корабли Антанты, готовившие поход на север России. Его имя было выбито золотыми буквами на доске то ли парламента, то ли здания профсоюзов в Лондоне. Он поддался своей же агитации и решил приехать в Россию, чтобы строить социализм, но попал в лагеря как иностранец и к тому же подозрительный активист. После смерти Сталина все ждали быстрого освобождения, но оно запаздывало. И тогда англичанин, плохо знавший русскую речь, попросил Фрида и Дунского написать за него письмо правительству, чтобы его освободили, учитывая его прошлые заслуги и полную невиновность. Те написали так выразительно, что, читая письмо перед тем, как его подписать, он заплакал, подписал, подумал и приписал еще фразу, затем заклеил конверт и сдал начальнику лагеря. На вопрос Фрида, что он приписал, англичанин простодушно объяснил: "Я написал, что, если нельзя освободить, пусть хоть банку с тушенкой пришлют, кушать хочется".

Неизменным успехом у гостей М. Л. пользовалась история пребывания известного ученого Фелсена в Москве и Горьком. В Москве принимал его я, и так получилось, что Фелсену все время на глаза попадалось оружие охраны: сначала, когда с его плеча охранники с замаха сорвали фотоаппарат, сказав "при выходе отдадим", выдвинули ящик стола, где лежал большой пистолет, а потом при выходе из ФИАНа, когда навстречу Фелсену из проходной вышли пять охранников с пистолетами в руках и с мишенями (шли в тир тренироваться). Насилу я успокоил Фелсена, которому назавтра надо было уезжать в Горький, чего он начал побаиваться, так как был первым иностранцем, которого допустили в этот закрытый режимный город. И его предчувствие не обмануло. Хотя научный прием был проведен на достойном уровне, но, желая показать Фелсену и "крутую жизнь", его повели на танцы в Дом учителя. Там в зале шли танцы под строгим присмотром блюстителей нравственности — бригадмильцев (тогда был апогей борьбы со стилягами и западными танцами). А Фелсен пустился в твист или рок — никто такого не ожидал — и прежде, чем сопровождающие опомнились, Фелсена скрутили, заломив руки, и доставили в свой штаб, где изрядно помяли, так как он сопротивлялся. На вопль ворвавшихся в штаб сопровождающих "это ученый!" был дан ответ: "Эта пьянь до того нализалась, что слова по-русски выговорить не может".

И сам М. Л. с удовольствием травил горьковские анекдоты в широком диапазоне — от докладной участкового "при трупе были обнаружены облигации госзайма, других следов насилия не обнаружено" до случая с записной книжкой с сокращенной записью анекдотов, которые сочли за шифр шпиона и доставили в КГБ, который быстро нашел владельца и тому пришлось доказывать следователю, что это не шпионские записи, а анекдоты, и рассказывать их. На что следователь, сидевший с мрачным лицом, заявил: "А почему у вас все анекдоты против советской власти и ни одного за?" — "Как нет — вот один — за", — вскричал допрашиваемый: "Муж застает у жены любовника, хватает его за грудки и кричит: не будь я членом КПСС, удавил бы тебя. Слава КПСС! — радостно кричит тот". Теперь эти байки читают с эстрады, но многие из них пошли из этой компании. А тогда этот анекдот был рассказан по случаю: меня пытались стравить на соревнование с одним известным математиком — кто кого переанекдотит. Тот с серьезным видом вытащил толстую записную книжку с краткими записями анекдотов, в то время как я травил их бойко по памяти. Была рассказана эта история, и М. Л. сразу поднял мою руку в знак победы.

Я сразу почувствовал, что за этой вольницей идет мощное движение взаимопомощи. Тогда серьезно болел один горьковчанин, и М. Л. делал все, что было в его силах, чтобы помочь ему. От кого-то он узнал, что я попал в тяжелое положение, оформляя открытие эффекта самофокусировки, и сделал незаметно эффективный ход — письмо академика Леонтовича в комитет изобретений и открытий в мою поддержку, на что я совершенно не рассчитывал, зная его отрицательное отношение к оформлению открытий.

Каждый раз уходил я из гостей с верой в то, что есть люди, ради которых нужно жить, нужно не выжить, а выстоять против зла в любой форме.

Теперь мы узнали, как много делал М. Л. для Сахарова, поддерживая его в ссылке и при каждой встрече. И оба любили друг друга не только как друзья со студенческих лет, но чувствовалось в них могучее противодействие лжи и злу, уходящее корнями в народ.

Помню историю с "методом" Дружкина, который в выпуске Общества любителей природы опубликовал свой новый метод решения задач по электростатике, моделируя любые тела навивкой проводящей нити и суммируя поля от всех нитей. При этом Дружкин намекнул, что многие задачи решаются гораздо проще, чем их решают некоторые академики. М. Л. завелся, сразу обратил внимание, что в этой модели Дружкина получаются граничные условия, не совпадающие с действительными, и собирался учинить вежливый погром этому несчастному автору. Я отговаривал М. Л., говоря, что не стоит, хотя бы потому, что у Дружкина есть путь отступления: он будет утверждать, что его способ приближенный, но проще. Но М. Л. довольно резко возразил мне: "Надо бороться за чистоту науки!"

Через некоторое время мне друзья рассказали, что он на пляже, на даче, в жаркий день подойдя к ручью, откуда все брали холодную воду для питья, обнаружил там чьи-то охлаждающиеся бутылки с пивом, замутняющие источник для питья. Он разбросал бутылки по сторонам, подождал, когда ручей успокоится, и наполнил свой стакан. Через некоторое время к ручью подошел верзила — владелец бутылок и, обнаружив их отсутствие, начал ругаться,

собрал бутылки и снова сунул их в ручей. Спокойно подошел М. Л., снова вытащил бутылки и разбросал их на глазах у владельца, который пришел в страшное бешенство, сопровождая все бранью и взятием за грудки. На что М. Л. спокойно сказал: "Тут люди берут воду для питья". И тут он бесстрашно боролся за чистоту источника.

Пролог к расставанию был стремительным.

Дальше жизнь моя пошла быстрее, тяжелее. М. Л. переехал, стал жить близко к моему району. Но из-за ухудшения домашних дел я уже не мог приходить в гости. Мы раза два встречались в магазине Академкнига, причем он меня узнавал по голосу, так как видел совсем плохо. Когда М. Л. натолкнулся на движущуюся черную "Волгу" и попал в больницу Склифосовского, я раза два навещал его. Помню, когда я, желая скрасить его положение, сказал, что у него есть возможность попасть в больницу, а я и этого лишен, так как у меня под присмотром два беспомощных инвалида, я заметил, как погрустнели его глаза. Я и сейчас вижу его как наяву, как он провожал меня, пытаясь помочь мне надеть пальто и приглашая еще и еще раз посетить его.

Сколько людей старались причинить ему вред, но он не принял их мелкой возни, выстоял и помогал другим.

Это был не только классик в физической науке, но и Великий Учитель Жизни.

До скорого свидания, дорогой Михаил Львович. Я счастлив, что был Вашим современником!

М. В. Незлин

КАПЕЛЬКИ ВОСПОМИНАНИЙ

По оценке Михаила Адольфовича Миллера, ближайшего друга Михаила Львовича в течение почти полувека, Михаил Львович — в силу его редкостной общительности, сочетаемой с удивительной чуткостью, и феноменальной эрудиции — имел порядка 1000 активных взаимодействий. Я беру на себя единичку из этого большого числа. Причастность к ней составляет предмет моей гордости, как и надежды на то, что эта величина, хоть она и третьего порядка малости, не является, тем не менее, пренебрежимо малой. С этой надеждой я и адресую читателю те отдельные капельки, которые, возможно, вольются в общий поток воспоминаний о Михаиле Львовиче.

В течение долгого времени мое знакомство с М. Л. ограничивалось короткими "пересечениями" на многочисленных конференциях. Однако, несмотря на их мимолетный характер, присутствие М. Л. было всегда весьма ощутимо — даже если вы успевали "перекинуться" с ним буквально парой слов или наблюдали его только на расстоянии. В то время М. Л. казался мне человеком, чуть ли не главным образом (и с удивительным успехом!) настроенным на юмор. Он был традиционным "заводилой" в стенгазете ежегодной Звенигородской конференции по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу (УТС), которая называлась "Утеесинка" и неизменно светилась умным юмором, доставлявшим участникам конференций весьма чувствительный заряд положительных эмоций. Бывало, М. Л., неожиданно оказавшись у вас за спиной, спрашивал: "А вас не страшит такой состав авторов доклада?" — и указывал при этом на автора по фамилии Коба... Или искусно "провоцировал" двух ученых с именами Владимир Ильич и Лев Давидович на как можно более эмоциональную дискуссию и наблюдал (с веселыми ассоциациями) за ее характером, а потом рассказывал, как уважаемые джентльмены не заметили, что являются объектом левинского эксперимента. С другой стороны, в случае любого вопроса, обращенного к М. Л. (будь то физика или любая другая область человеческого творчества), поражала его редкостная эрудиция, сочетаемая с удивительной скромностью: М. Л. отвечал очень ненавязчиво, как бы намеком, однако уже ближайшее размышление показывало, что этот намек как раз и вел к решению задачи (!). Зная научную глубину М. Л., я изрядно недоумевал, что он, сидя на одном из первых рядов в зале конференции, обычно что-то с увлечением записывал — даже если тот или иной доклад был, на мой взгляд, заведомо скучным. Позже

М. Л. раскрыл мне "секрет" его эпистолярной активности: оказывается, Леонид Дубовой, известный физик и мастер чеканки, зная и высоко ценя выдающиеся поэтические способности М. Л., обещал положить на бронзу "плазменный цикл" М. Л. Имея столь привлекательный стимул, М. Л. писал на скучных докладах отнюдь не их конспекты, а стихи будущего плазменного цикла. Судьба этого "бронзового цикла" мне не известна.

Одним из характерных примеров левинского юмора был его успешный розыгрыш аудитории советских философов, в которой М. Л. делал приглашенный доклад, посвященный 150-летию со дня рождения Максвелла. В этом докладе М. Л. решил, незаметно для аудитории, радикально изменить предмет рассмотрения, уйдя от роторов и дивергенций и обратившись к теме несравненно более понятной философам и, вероятно, более интересной для них. С этой целью он плавно перешел сначала к Кавендишу как к одному из предшественников Максвелла, а затем, воспользовавшись (в стиле марк-твеновского "Принца и нищего") близостью момента рождения Кавендиша и даты рождения выдающегося русского поэта и переводчика И. С. Баркова, стал рассказывать о творческой деятельности этого блестящего человека... В перерыве М. Л. обступили слушатели, старавшиеся (на ухо) процитировать те или иные скабрезные места из стихов Баркова и убедиться в их авторстве. Получив утвердительный ответ, они заливались сочным смехом, что доставляло удовлетворение М. Л. успехом проведенного "эксперимента"...

Вот таким неизменным весельчаком открывался мне М. Л. долгое время, пока я не узнал его поближе. Впервые я увидел "нового" М. Л. во время одной из звенигородских конференций, когда, пригласив меня пройтись вдоль берега Москвы-реки, М. Л. рассказал о том, как он учился вместе с Андреем Сахаровым и как неоднократно посещал его во время "горькой" ссылки, искусно прорываясь сквозь чекистские кордоны. (Об этом читатель может узнать из воспоминаний самого М. Л. – см. "Прогулки с Пушкиным").

Но даже будучи настроенным грустно, М. Л. не переставал светиться остроумием и юмором, в чем, несомненно, проявлялись его природная жизнерадостность и незаурядный инстинкт самосохранения.

Наиболее длительное мое общение с М. Л. относится ко времени нашего совместного проживания в гостинице города Телави, где в 1984 году проходила традиционная Тбилисская школа по физике плазмы. Началось оно по предложению М. Л., на которое я с восторгом согласился, хотя и был удивлен, допуская, что, возможно, мы для этого недостаточно знакомы. Однако вскоре выяснилось, что моментов, нас сближающих, было больше, чем я мог предполагать. Так, однажды, когда к нам зашел Виктор Евгеньевич Голант, М. Л., обычно называвший меня по имени и отчеству – Михаил Вениаминович, назвал меня "Михаил Евгеньевич". На это я заметил, что такая комбинация мне очень симпатична, но М. Л., "оправдываясь", сказал: "Понимаете, мне иногда бывает трудно называть вас по имени и отчеству: ведь в доме Михаила Александровича (имеется в виду М. А. Леонтович. – *Прим. авт.*) вы всегда были Мишей (!)". Последнее меня немало растрогало: поскольку я (физически) не бывал в доме Леонтовичей – Левиных, я не предполагал, что могу там "быть" в каком-либо качестве (тем более, что М. А. тоже называл меня по имени и отчеству). Одной

из точек соприкосновения было также то, что М. Л. нравилась моя книжка по физике пучков в плазме, другой — что наши отцы были врачами. М. Л. "принял на вооружение" два термина, которые употреблял мой отец. Один из них — "квалифицированный профессор", как назвал отца один генерал, которого отец проконсультировал (выяснилось, что других профессоров, с которыми генерал встречался раньше, он так назвать не может). Другой термин — "бесплатная консультация": так называлась поездка отца к больному, когда присылали машину и поэтому отцу не нужно было платить за такси (но чаще бывали "платные" консультации, частную же практику отец для себя не признавал). Однажды М. Л. даже воспользовался этим термином, чтобы "заманить" меня прочесть лекцию в Физтехе, заверив меня, что "консультация" будет бесплатной. Я не мог не согласиться и, в соответствии с левинским обещанием, был доставлен на машине туда и обратно...

Держался М. Л. удивительно скромно. Накануне своего доклада на школе М. Л. неожиданно сказал мне, что ему не хочется делать доклад: мол, это эпизод из математической физики, кому это здесь интересно. М. Л. "сдался" только в знак согласия с приведенным мною доводом, который, кажется, называется "теоремой Гельфанда": красота не может пропасть (!). Как председатель того заседания, могу ответственно констатировать, что доклад М. Л. прошел блестяще, и аудитория (в том числе Евгений Михайлович Лифшиц, соавтор Л. Д. Ландау по знаменитому курсу теоретической физики) оценила красоту должным образом.

Среди материалов, с которыми М. Л. работал в Телави, были тетрадки с отнюдь не физическими надписями "Фазиль", "Натан" (я упоминаю только те, которые попались мне на глаза). Было очевидно, что М. Л. имеет глубинные связи с такими выдающимися личностями, как писатель Ф. Искандер и историк Н. Эйдельман (причем это, разумеется, лишь отдельные примеры).

Вспоминая М. Л. "телавского периода", я не могу не обратиться к "сталинской теме", занимавшей в жизни М. Л. особое место. Поводом к этому в данном случае является тот факт, что в Телави-84 (не знаю, как сейчас) сохранялся один из последних в стране памятников Сталину (белый бюст на постаменте), и мы, конечно, его посетили. Рассказывая об этом посещении Евгению Михайловичу Лифшицу (который жил в одной с нами гостинице), я услышал от него, что это была не первая "встреча" М. Л. со Сталиным. Впрочем, об этом подробно рассказано в нескольких местах сборника. Там же, в Телави (и после, во время нашего совместного проживания на Горьковской школе по нелинейной физике в 1985 году и во время последующих встреч на звенигородской конференции), мне открылась еще одна ярко выраженная черта характера М. Л.: в оценке людей он на первое место ставил этические критерии. Помню, как я был потрясен, когда во время одной из конференций в Звенигороде М. Л. прочитал мне рукопись его статьи, позднее вошедшей в "Воспоминания об академике М. А. Леонтовиче" ("Наука"-90). Напомню, что Михаил Александрович Леонтович, с "подачи" Игоря Евгеньевича Тамма, был в 1951 году привлечен Лаврентием Берией к проблеме управляемого термоядерного синтеза. (Берия надеялся использовать управляемый термояд в качестве средства производства материалов для НЕуправляемого термояда...) Под руководством М. А. возникла и

расцвела выдающаяся школа теории плазмы, которая долгое время была, несомненно, сильнейшей в мире и во многом "сделала" современную науку о плазме. (Что же касается чисто военного аспекта проблемы управляемого термояда, то он, как известно, продолжения не получил.) Можно не сомневаться, что в течение 30 лет, вплоть до кончины в 1981 году, М. А. был счастлив, возглавляя столь замечательную школу, и — с точки зрения *результата* — мог бы быть только благодарен Тамму за его инициативу. Кроме того, было известно, с каким пиететом и любовью М. А. относился к Игорю Евгеньевичу. И все же, когда М. А. умирал, у него вырвалось замечание, звучавшее как глубокое сожаление (или даже упрек) по адресу И. Е. Тамма — ведь И. Е. не спросил М. А. предварительно о его согласии... Конечно, М. А. хорошо понимал, что в той обстановке в стране И. Е. Тамм был вынужден пойти на указанное отклонение от идеальной этики. И тем не менее, сожаление о самом факте этого отклонения М. А., как неожиданно выяснилось, носил в груди в течение 30 лет (!) и "проговорился" только тогда, когда сознание было уже фактически ему не подвластно.

В беседах с Андреем Дмитриевичем Сахаровым М. Л. иногда затрагивал глубоко волновавшую его тему о "предательстве друзей" в так называемое "трудное время". Об этих впечатляющих беседах (некоторые из них, кстати сказать, отнюдь не свидетельствуют в пользу сложившейся легенды о "всепрощении" А. Д.) можно прочитать в журналах "Природа" (выпуск 8 за 1990 год) и в "Прогулках с Пушкиным".

...Перед моей поездкой в Париж осенью 1991 года я спросил М. Л., не нужно ли что-нибудь оттуда привезти. М. Л. сначала ответил отрицательно, но потом позвонил и сказал, что если я буду проходить мимо магазина русской книги и если у меня в этот момент будет немножко франков, то он был бы рад, если бы я приобрел для него 30-й выпуск журнала "Синтаксис", где напечатана его статья "Прогулки с Пушкиным". (Статья посвящена А. Д. Сахарову, с которым М. Л. много говорил о Пушкине, а "игривое" название статьи связано с тем, что журнал издается Марией Розановой, женой Андрея Синявского, написавшего в советской тюрьме книгу "Прогулки с Пушкиным"). Мне удалось купить (последний на тот момент) экземпляр журнала. Чтение его я специально оставил на обратный путь в Москву. В самолете я погрузился в чтение, а когда закончил его, сказал жене: да, у французов есть многое, чего нет у нас (был конец декабря 1991 года, когда полки магазинов в России блестели ослепительной пустотой), так вот, многое у них есть, но Левина у них — нет!

М. Л. был очень рад, что я привез его "французскую" статью: она несколько полнее статьи, опубликованной в 12-м выпуске журнала "Звезда" за 1991 год. Он спросил меня по телефону, не нахожу ли я в его "Прогулках" повода для критики автора. Я ответил, что, конечно, нахожу: на мой взгляд, М. Л. явно нарушил меру, поставив А. Д. Сахарова много выше себя в отношении знания Пушкина и его времени, — мне очень трудно это себе представить. Я это воспринимаю лишь как свидетельство особой любви М. Л. к его старому университетскому товарищу.

Так случилось, что нашу встречу М. Л. откладывал: сначала — до весны, потом — до осени (надеясь отдохнуть в Абрамцеве)... Но летом 1992 года его не

стало, и на похоронах М. Л. я передал журнал его вдове, Наталье Михайловне Леонтович.

Возвращаясь к незабвенному Телави-84, привожу надпись М. Л. на оттиске его статьи, подаренном мне на прощанье: "Кормильцу и поильцу, спутнику безводных дней и ночей от благодарного сокамерника — 305". Эта надпись мне, естественно, дороже самой статьи — в ней явственно проглядывается стиль М. Л.

Я тоже подарил М. Л. свою статью, сопроводив ее словами: "Спасибо за Левинскую премию...", отражавшими не только итог нашего телавского общения, но и благодарность судьбе, благосклонно подарившей мне встречи с М. Л.

М. А. Миллер

УЧИТЕЛЬ

При подготовке второго издания книги случайно отыскались несколько рукописных тетрадочек моих воспоминаний о сближении и общении с Левиным в Горьком в первые послевоенные годы. Когда он был выпущен из ГУЛАГовской неволи и попал в радиофизическую "вольницу". Я постеснялся помещать их тогда, мне показалось, что и без того книга перенасыщена моими включениями. Но сейчас все же смог преодолеть этот ступор, наверное благодаря тому, что многократно исчитанные тексты всегда уже видятся немного чужими, да и горьковская послевоенная "изрядная долька жизни" МЛ почему-то не подпала ни под какие другие воспоминания. Правда, часть помещаемого далее "материала" всплыла из моей памяти, так сказать, "сублиминально" и поместилась еще ранее в изданную недавно книжечку "Избранные очерки о зарождении и взрослении радиофизики в горьковско-нижегородских местах" (Н. Новгород: ИПФ РАН, 1997), однако повторы меня не испугали: и читатели разные, и назначение не одно и то же. А Левин, конечно, одинаков и там, и тут. Ниже приводится слегка подредактированный текст этой залежавшейся рукописи.

Как бы ни были близки люди друг другу, они все равно общаются урывками, эпизодически, с пропусками. И память так же устроена — запоминаются кадры из жизни, перескакивающие во времени. Поэтому, наверное, и не стоит их соединять довообразительно, а лучше выводить на обозрение такими, как есть, — какими они высвечиваются по подсказке Случая.

Я попытаюсь рассказать о своих первых пересечениях с М. Л. Левиным. Он был моим учителем (и по жизни, и по профессии) и другом (тут уж не бывает специализации — другом и все). Но большую часть нашей жизни мы провели врозь, даже в разных городах: он в Москве, я в Горьком-Нижнем. Ну, перезванивались, переписывались, навещались... Казалось бы, это должно способствовать разъединению, разобщению, независимости. Однако, видимо, существовала между нами какая-то скрытая связка, стремление к сверке взглядов и поступков, потребность взаимодействия. Мне всегда хотелось "эмпатировать" Левина в себе, создавать его присутствие внутри себя, вводить его мысленно в мое думанье и представлять его отклик на ту или иную загвоздку, бытовую, научную, какую угодно. Не знаю, насколько это проявлялось взаимно (иногда доходили до меня какие-то отголоски слухов, будто он говаривал: "А вот Миллер

бы, пожалуй, в этом случае..." и так далее), но думаю — я прибегал к такому "приему примысливания" чаще, чем это делал он, — все-таки Левин оставался для меня ведущим, старшим и, главное, более мудрым и эрудированным, почти во всем меня эталоннее. В физике есть такой эффект — обменное взаимодействие. Две одинаковые частицы прижимаются, притягиваются друг к другу, если их поменять местами, поменять даже мысленно, предположительно, допустимо. Это нельзя понять житейским умом, это пребывает "в подмире не представимого, но вычисляемого". Вот и наши с Левиным общения обладали пересекающимися областями взаимного влияния и потому были чем-то сходны с обменным притяжением. Не зря же на взаимодействиях такого рода зиждятся многие химические связи между молекулами, в том числе и жизнеспособными.

Послевоенный Горький. Атмосфера новой жизни. Приподнятость победы над немцами; тогда говорили "над немцами" чаще, чем "над фашистами", и война считалась все-таки не войной коммунизма с фашизмом, а русских с немцами. Сам я половинка на половинку, но внутри меня фронт не пролегал: по думанью, по материнскому языку и по устою жизни я напропалую русский. И победа над немцами была моей — русской победой. Страхи и тревоги войны отодвинулись куда-то на задворки, сменяясь радужными надеждами и блаженными планами на будущее. В войну я учился на радиотехническом факультете Индустриального института (имени А. А. Жданова, между прочим), он назывался тогда спецфаком и обладал повышенной секретностью, даже освобождал от армии (в войну, заметьте, освобождал!). И вдруг летом 45-го по городу пополз слух — в Университете открывается новый, совершенно новый Радиофизический Факультет. Непросто сейчас, из заканчивающейся взрослости, понять, как на заре туманной юности выбирается дорога в жизнь. Было раньше даже такое кино "Путевка в жизнь". Путевка предписывает путь. А кем же выписывается сама путевка? Иногда смутным собственным влечением, иногда наущением родителей, иногда гипнотически модным обалдением, но чаще всего превратностями судьбы... В общем по тем или иным причинам большая группа студентов 2-го, 3-го и даже 4-го курсов спецфака переметнулась в Университет на новый факультет. Чтобы там начать образовываться заново, как принято теперь говорить на американский манер — с новых продвинутых азов.

Не хочется, но приходится вспоминать "бытовину". Капитальное дореволюционное здание Радиофизического факультета когда-то принадлежало реальному училищу. Ах, какие раньше были продуманные обозначения — ведь не воображаемому, а *реальному* училищу. В советские времена там размещалась общеобразовательная школа (между прочим, имени очередного врага народа Бубнова), в войну это здание было измучено госпиталями, а после — пленными немцами. Они что-то чинили, что-то ремонтировали в доме, но в основном засирали его, ибо на центральной улице города, на Свердловке, не работала канализация. Так что первое наше романтическое преодоление было ...через дерьмо в науку...

А наука началась с того, что к доске вышел профессор-математик Майер Артемий Григорьевич (кажется, тогда еще он числился в доцентах) и выдал нам свою первую учебную ориентировку: "Вас научили в технических вузах диффе-

ренцировать и интегрировать, и я не буду вас разучивать, но расскажу вам, что это такое, почему вы делаете это так, а не иначе и когда все делаемое вами перестает быть справедливым!" Пожалуй, этот девиз мог служить паролем ко всему нашему переобучению — из технарей в физики. Будто бы производилось укрепление наскоро сколоченной постройки. И не только в науке, но и в жизни, в понимании окружающего мира и себя в нем. Тому способствовало проникающее воспитательное влияние фактически всего "педагогического состава". В Индустриальном институте мы были приучены к держанию дистанции между студентами и преподавателями. Даже если кто-то из обучателей и пускался в неформальные отношения с нами, это почти всегда отдавало какой-то прагматичной неискренностью, заискивающим преодолением клановых различий. А тут, в Университете, мы встретились с иной психологией взаимоотношений — с дружеским равноправием. Не то чтобы с равенством во всем, такого не бывает вообще, такое не допускает сама природа и уж природа людей тем более. Нет, то было равенство внутриплеменное, человек-человековое, равенство людей, посвященных в общее братство... Я понял уже потом-потом, что именно такие взаимоотношения между разностоящими людьми играют не меньшую роль в становлении самостоятельных научников — думателей и делателей наук, чем наполнение их фактическими знаниями. Ибо это демонстрировало доступность работать науку. Не какими-то жрецами под таинственные пассы и заклинания, а нормальными людьми, преуспевшими (всего лишь!) в преданности и любви к своему делу. Что до способностей, то у них они были уже в раскрытии, а у нас еще только бутонились. Совсем без способностей, конечно, нельзя — как напутствовал поэт: "...жить, говорит, без них будете, а петь, говорит, никогда"...

Такое длинное "преждевременное слово" (термин заимствован у музыковедов) показалось мне крайне нужным для отражения ослепительного впечатления от первой встречи с Михаилом Львовичем Левиным. Мы увидели его впервые в лаборатории общей физики — он вел у нас так называемый специальный практикум. (Здесь слово специальный означает специализированный, а вообще-то оно в русском языке может покрывать все — от спецбуфетов до спецакций!) Левин был заразительно молод, в расхлыстанной ковбоечке, непринужденно шутлив, перенаполненный знаниями очкарик, но без величия и величественности — доброжелательно свой. Будто в духе старого бригадного метода обучения (30-е годы) мы выделили из наших рядов "старшего по знанию" и снарядили его сдавать и принимать зачеты. Все мы были примерно одного возраста. Война перемешала годы рождения. Кто-то отставал на 2—3 года из-за участия в ней (слово участь того же корня, что и участник), кто-то оттыловался по здоровью или по броне (тоже интересная словесная двузначность), и молодые учителя оказывались сверстниками обучаемых ими переростков. И вдруг Левин на глазах у удивленных нас учинил чудодейство: перешел "из наших в ихние". Из бригадиров в лектора, а это уже кое-что посвыше. Левину поручили чтение одного из главных профессиональных курсов "Теория электромагнитного поля", и он, насколько я понимаю теперь, создавал его с ходу в соответствии со своим уже сложившимся к тем временам научным мировоззрением. И ведь создал на многие годы вперед. Даже сейчас в Нижегородском Университете электромаг-

нитные дисциплины генетически связаны с некоторыми тогдашними левинскими педагогическими находками.

Левин читал свои лекции кинематически своеобразно: он ходил туда-сюда вдоль доски с постоянной, как бы выверенной частотой и амплитудой. Мы знали, что он сидел. Сидел в тюрьме. Богатый русский язык позволяет сидеть и ходить одновременно: сидеть в заключении и ходить по камере. Возможно, там он и выверил свои ходовые привычки. Для нас это был первый выпущенный на волю не вор, не жулик, а нормальный образованный интеллигент. (Слово политзаключенный относилось только к старым революционерам царской выделки, даже дом, где они жили, назывался домом политкаторжан, впрочем, их потом тоже всех оттуда пересажали без права переписки). Сейчас многие делятся своими охами по поводу проклятого прошлого. Но для нас оно не было проклятым, для нас оно было единственным. Мы в нем родились и жили, принимая его, как данное, предопределенное стечением природных обстоятельств. Обязательность взглядов, вводимых в наши организмы сызмальства, и все общественные явления вокруг — всякие там проработки, всенародные гневы, аресты врагов и т. п. были для нас нормальными признаками эпохи, правилами пребывания в ней. Выпущенный из заключения Левин эти правила нарушал. Никому не хотелось добираться до самой сути — скорее всего, из чувства самосохранения, а тут пришлось начать вдумываться. Роль Левина в нашем "политвоспитании" — косвенная и напрямик — первостепенна. Я буду еще говорить об этом, но сейчас вернусь к лекциям.

Думаю, я наслушался и насмотрелся за свою жизнь многих лекторов и даже научился классифицировать их по манерам чтения. И опять торкается желание "вглядеться в звучание слов". По-русски лекцию *читают*. А по-английски, например, *доставляют* или *представляют (to deliver)*. У многих лекторов есть такая привычка — держаться написанного текста. Вовсе не потому, что они в отрыве от него слова вымолвить не могут, но в основном для заранее продуманной организации исполнения. А Левин читал как по писаному, но без написанного. Вернее, у него были лекционные тетрадки (глянцованная бумага в клеточку), но в них только формульные знаки да цитатные заготовки. Это я обнаружил потом, разбирая посмертные архивы. А тогда, в студентах, мы вообще не замечали подглядок в эти тетрадки. Казалось, он выговаривал лекцию наизусть. Говорил правильными законченными фразами, размеренно и окончательно, сцепляя утверждения в нерасшатывающуюся логическую последовательность. Возможно, он перенял этот стиль у кого-то из своих учителей или позаимствовал из "классиков", читанных им и перечитанных. А уж историю физики и математики, да и вообще историю всего, он знал проникновенно. Однако несомненно тут были и свои придумки и навыки. Мне в 60-е годы удалось слушать лекции В. А. Фока (ученого, обладавшего редкостным даром выстраивания мыслей). Он тоже говорил, будто думал вслух, правильно и окончательно с постоянной скоростью — одинаково по наезженным путям или по неезженой пересеченке. В этом отношении Левин очень даже был похож на него. Но... у Левина существовал еще и второй план. Он — в отличие от Фока — мог неожиданно (и всегда кстати!) отойти от основного сюжета и начать развивать

художественные экскурсы — исторические этюды, байки, притчи, всплывающие из-под сознания (из подсознания) аналогии... Можно было даже вести двойную запись его лекций, отделяя строгую суть от вольной. Я знаю людей, которые так и поступали и потом ему самому демонстрировали свои лекционные альбомы. Деловые и "развлекательные" томики воспринимались и совмещаемо, и порознь. Наверное, такая двухсюжетность лекций была отражением той самой "амбидекстровости" (сбалансированной двухполушарности) мышления, о которой уже писалось выше, в частности в "Негрустном портрете". Строгость науки и "нелогичность" искусства он воспринимал совместимо. Созвучно, гармонично, спортсмены сказали бы — сыгранно. Он сам и был таким "сыгранным"! К сожалению, записи его лекций у меня не сохранились. А как бы они могли сейчас оживить воспоминания. Эпизоды из текущей жизни редко ценятся нами вовремя — скорее всего, в уповании на более значимые события, которые должны обильно напроизойти потом.., а они возьмут и не произойдут или — что еще хуже — окажутся вполне заурядненькими, вытеснив из памяти истинных конкурентов, опущенных по небрежению. Так-то вот!

Внеуниверситетская сближенность Левина со мной и моими студенческими друзьями-товарищами происходила как бы сама собой. По существу, он заинтересованно общался со всеми, с кем пересекся хоть однажды. Но, пожалуй, я могу выделить Андрея Гапонова, себя, Германа Гетманцева, Николая Денисова, Генриха Сучкина, Николая Фуфаева... и то боюсь ошибиться... почему-то у меня перечислились только мужские фигуры. Из этого ряда А. Гапонову и мне повезло более других: наше дружество с Левиным сохранилось до конца жизни. Сейчас уже невозможно понять, сколько тогда у нас было юношеского боготворения, а сколько жадности узнавания жизни, до той поры нам искаженно ведомой. Усвоения происходили в "перипатетическом режиме". Мы подолгу браживали по городу и окрестностям. Обычно Левин посередке, а мы, как два охранника, по бокам. Закоперщиком (тогда это слово было в бойком ходу) бесед бывал, разумеется, сам Левин, но и мы, конечно, участвовали не одними ушами. Разговоры раскручивались беспорядочно, бессистемно, обо всем вперемешку — нырки в искусство, в науку перемежались с повседневностью — кто, чего, с кем и зачем — и, естественно, с попытками и пытками осмыслить жизнь вокруг и около... Левин и Гапонов были ближе друг к другу по культуре и образованности, а я, вероятно, активнее в придумках. Впрочем, иногда везло и мне. Помню, я очень гордился, вспомнив раньше их повесть Ильфа и Петрова "Светлая личность". (Официоз тогда не больно жаловал этих авторов и даже исподтишка запрещал, а я в детстве откопал спрятанную родителями в чулане подшивку журнала "Красная Нива" за 29-й год и набирался оттуда всякой неожиданной всячины. Такая была у меня изначальная интеллигентность, предоставляющая неистребимые возможности для последующего совершенствования).

Однако моя задержка на старте не препятствовала зарождавшейся дружбе с Андреем Гапоновым, нас связывала общность увлечений, страстная "жадность до науки"... и, в какой-то мере (я открываю для себя это сейчас), любовь к Левину. Левин был для нас обоих Учителем, Учителем — во всех добротных смыслах этого слова. Может быть, даже вроде Хулио Хуренито! Не реша-

юсь сказать Воспитателем, скорее, Питателем и Поводырем по пещерам и храмам.

Времена то были нечестные, и юность наша складывалась невразумительно. Я уже говорил об этом чуть выше. Повторю развернутее. Хотя и понимаю, невозможно наводить на чужую мораль тех читателей, кто не наполнялся ею сам через поступки и события. К тому же сейчас, из отодвинутых лет, взгляды подправляются знанием того, что наслучалось потом. Сейчас всем (ну, почти всем) нам ясно, что тогда мы существовали "*двоежизненно*".

Одна жизнь — открытая, физиологически и психо-неврологически нормальная — восходящая молодость с жадностью до всего через край — нарадоваться, надышаться, навлюбляться, набраться умений и знаний, пока еще организмы податливы к обучению, набраться, чтобы успеть потом сотворить чего-нибудь... такое-сякое, чему не подобрать ни глаголов, ни прилагательных, ни существительных... разве что междометия!

А другая жизнь — ложно сочиненная, по не здравым, чуждым для понимания правилам, с многочисленными запретами, притворствами и вывертами. До перехода в университет мы, не отдавая себе в этом отчета, как бы обволакивались принципом: пусть будет, как есть, так и будет. Но в университете нас начали обучать *беззапретному* думанью над всем и вся, а значит, над природой, над обществом, над самими собой... Занятие, прямо скажем, для первой жизни необычное и даже порой опасное.

Одним из расшевеливателей предстал пред нами профессор физики Габриэль Семенович Горелик — пламенный ученик Леонида Исааковича Мандельштама. Левин дружил с ним и даже одно время жил у него. Без прописки, однако, поскольку сразу по выходе на свободу он имел право только на пригород. Потом, правда, ему дозволили снимать квартиру и в самом Горьком. От Горелика мы эстафетно приняли мандельштамовский пароль (сейчас сказали бы — "установку"), что физика — это *не только предмет* исследования, но и *способ* думанья. (В эту формулировку вместо *не только* можно вставить *не столько*). Общение с Левиным демонстрировало нам все это воочию, в самых разнообразных наглядностях. И мы твердо уверовали: изучая явления и подчинения из *неодушевленной* природы с помощью *одушевленного* мозга, человек отрабатывает тактику и технику думанья вообще, тренируясь на самом удачном полигоне — на физике, которая в отличие от математики (кто-то сказал — "науки, изучающей саму себя") работает с реальными, невыдуманными задачами, взятыми из природных задачников с подсказками и с ответами (иногда, правда, и без!). И всякий думатель над природой неостановимо превращается в вольнодумателя (а потом, может быть, и в вольнодумца), он как ребенок, который, свеженаучившись "чтению с пониманием", не пропускает ни одной уличной надписи, старается не проходить мимо, примеряя ко всему свои бодрые открытия.

Теперь вторая ложная жизнь уже не воспринималась нами такой, как есть, однако в интересах собственного преуспевания — отнюдь не ложного — приходилось затаиваться: знать, что мир устроен совсем не так, но из чувства самосохранения этим знанием не кичиться. Несколько лет спустя, когда Левин

работал уже не в Горьком, не в Тюмени, а в Ивановском пединституте, он с восторгом привез оттуда многосмысловой анекдот (анекдот в старинном его определении, т. е. как некий случай из жизни). На госэкзамене одну девочку расспрашивали о силах, действующих *при подтягивании* лодки к берегу с помощью носовой чалки, и она, запутавшись в наводящих подсказках, выдала ответ-шедевр. "Я знаю, – сказала, – что сила направлена *к берегу*, но физика нас учит, что она действует *от берега(!)*". Анекдот этот пользовался беспроигрышным успехом, всякий раз провоцируя гоготанье в аудитории, где слушатели понимали мотивы непонимания. И только, отгоготавшись, начинали догадываться, что сами-то они бывали не лучше этой милой доверчивой девочки, когда употребляли себя в так называемых общественных науках *тех* (только ли?) времен. Отбарабанивая назначенные ответы, мы тоже ведь знали, *что* происходит на самом деле, а ихние науки учили нас нести всякую ахинею, необходимую для поддержания собственного благополучия.

Преодолев стадию взаимной недоверчивости (а это бывало неизбежно и необходимо при любом обмене взглядами), мы с Гапоновым стали изощряться в придумывании различных моделей советского общества – экономических и политических (отсутствие саморегулируемости, нелепая иерархия власти и т.п.). Сейчас подробности уже затерялись, но что-то вполне разумное там пробивалось через толщу небывальщины. А вот главное заблуждение и сейчас хорошо помнится, поскольку оно свойственно не нам одним. Мы пытались выстроить *правильные*, логически обоснованные и (о ужас наивного невежества!) детерминированные схемы. В них даже коммунистическое общество казалось экономически и политически *допустимым*, хотя и (подумаешь!?) всего лишь (!) *недостижимым*. (Сейчас я не понимаю, в чем его суть и есть ли в этой сути суть вообще?!) И конечно, нам был очень нужен рядом умный и верный "взрослый", который подтолкнул бы нас к ясности. Этим взрослым судьба назначила нам Левина. И сказал-то он всего одну фразу, и она сработала, как кодовая: "Учтите только, что Кремль – это азиатский двор!" Какие уж тут логические построения, если дикость, варварство, жестокость, самопожирание... и шизоидная хаотизация причин и следствий ...стояли во главе управления людьми.

Левин, как Учитель, никогда (ну, почти никогда) не прибегал к прямым наставлениям – ни житейским, ни научным. "Если хочешь, делай, как я! А не хочешь – не делай!" Вспоминается характерный случай из моей семейной практики. Я как-то раз ушел из дому навсегда, ушел среди ночи, распаленный взрывным конфликтом, и мои взбешенные ноги сами привели меня к Левину. Он недалеко снимал просторную комнатку. К этому времени мы уже находились меж собой в доверительной дружбе. Левин принял меня, не расспрашивая, и тотчас начал расстилать раскладушку. Время, повторяю, было позднее. Потом почаевничали, покурили, молча обменялись настроениями и... я вернулся домой! Так просто и так доходчиво! Левин владел редкостным даром успокоения.

В гостях он обычно сиживал в стороне, уткнувшись в очередную книжку и всем своим видом не участвуя в текущих беседах. До поры, до времени, а потом неожиданно резко встревал в общий разговор, ничего, оказалось, существенного не пропустив, и высказывался к месту и в самую сердцевинку, иногда, впрочем,

с иносказательным юмором. Это была его любимая тактика — выжидательного молчания с переходом при созревании в активность, когда нужно — даже в бурную активность.

Левин, например, не очень жаловал мою матушку — ортодоксальную большевичку, и та отвечала ему сдерживаемой взаимностью. Обмен взглядами происходил между ними при молчаливом несогласии сторон. Но вдруг произошло нечто: меня выгнали из Университета из-за какой-то пустяковины — "за курение в неположенном месте и язвительные замечания в адрес ректората...", и еще, конечно, из-за *Миллера Михаила Адольфовича*. Мать моя была чисто русской женщиной Кожевниковой-Миллер Елизаветой Федоровной и занимала тогда достаточно высокий пост Главного санинспектора города. А я на ректорском допросе сказал: отец погиб, мать врач. Левин мгновенно разобрался в этом этюде, где "черные не начинают, но и не проигрывают". Высокое партийное положение моей русской родительницы должно было, на его взгляд, полностью выровнять позицию, подпорченную моими "неумностями поведения". Левин разобрался и организовал активную игру на выигрыш. И провел всю операцию по восстановлению меня в Университете с подключением райкома, деканата, комсомольского комитета и наверняка — затаившихся органов. Провел скорее не как режиссер, а как теневой начальник штаба. Как знать, может, такой прием — засада, мысль, бросок... и я усвоил от него, так сказать, в порядке здравого подражательства.

Сам же он заведомо применял его и в своих научных продвижениях. Я уже писал об этом раньше, сравнивая с режимом накопления заряда в конденсаторе с последующим быстрым разрядным сбросом или с аккумулятивными взрывами. В Горьком Левин за пять-шесть лет без отрыва от довольно плотной педнагрузки, написал кандидатскую и докторскую диссертации, опубликовав десятки статей, к ним относящихся. Все они касались электромагнитных излучателей — металлических и дифракционных (щелевых), размещенных в разных средах и на разных объектах. Он удачно "попал в струю" — в мире кипел бум освоения новых электромагнитных диапазонов, между прочим, прежде всего в интересах радиолокации и радионавигации, причем немалую роль в подогреве этих интересов играли разрастающиеся потребности холодной войны. Это уж — кстати сказать. Ведь Левин был в свое время выпущен из радиолокационной шараги (напомню, это специализированная тюрьма) с намерениями использовать его по тому же назначению как вольнонаемного. Однако один орган не ведал, что творил другой, и Левина выслали из Москвы. А от судьбы не выслали: в Горьком он все равно вкалывал в ту же самую науку. И тем косвенно подкреплял "вольно-невольно" обороноспособность страны. Надо же!

Но это — случайное отступление. По делу я хочу вспомнить, как фактически вытворялась та наука. В Горьком не было профессионалов-электромагнетистов, и Левин почти каждый свой свежий подготовленный для печати результат должен был отвозить в Москву. Его отъезды выглядели для нас событиями жизни. В спешном порядке проставлялись формулы в размноженных копиях статей, исправлялись опечатки и ляпы, обсуждались неожиданные странности некоторых результатов и т. д., и т. п. Обычно в этом участвовали Гапонов, я, иногда Гетманцев... Левин же возгонял себя до самой точки кипения. Позже мы

уже сами устраивали спуртовые рывки при сдаче обязательных к сроку отчетов и обещаний, — мало ли в жизни случается спешек. Удивительно другое — такие гонки допингуют исполнителей, переводят их мозги в режим форсажа и, как правило, повышают качество вдохновения. Тогда как предшествующий им период медленного обдумывания проблемы имеет, по-видимому, иное назначение: происходит вызревание плода в строго отпущенные природой сроки. Наверняка есть люди совсем иных привычек, но Левин действовал именно так, и — не скажу за других — но я эти "манеры умственного труда" перенял, пожалуй, даже без поправок на индивидуальность. Может быть, главное в обучении как раз и состоит не в передаче знаний, а в передаче строя и склада думанья.

Относительное благополучие горьковской жизни Левина кончилось в 1948 году после ареста его матери. Гапонов и я спустя некоторое время, будучи в Москве на практике в Академии Жуковского, зашли к его отцу на Большой Калужской, выполняя какую-то левинскую просьбу, и нас больнее всего поразила опустошенность огромной квартиры. Что уж было говорить об опустошенности близких. Левина начали потихоньку выдавливать из Университета "за невозможностью использования по специальности", несмотря на то, что он уже стал своим и, можно сказать, почти незаменимым. За него сражались такие крупные научные авторитеты города, как академик А. А. Андронов, признаваемый даже кремлевскими властями (он был аж членом Президиума Верховного Совета РСФСР!!!). Андронов, отчаявшийся отстоять Левина в Университете, помнится, сделал попытку устроить его хотя бы преподавателем в Горьковский индустриальный институт — а вдруг распорядители судеб и блюстители госбезопасных нравов сочли бы, что для студентов технических специальностей тлетворное влияние умного еврея, да к тому же сына врагини народа... да еще врагини, прокравшейся к самому главному другу всех народов... не будет так идеологически опасно, как для университетских студентов. Однако и тамошнее индустриальное начальство, подразнив, отказало. Исполнитель отказа — декан или зам. доцент Литвин — видимо, ощущая могущество поддержки "оттудова", выдал формулировочку: "Левин попадет к нам только через мой труп!" И наивный Андронов был готов смириться с наличием трупа, но, как говорится, "обошлось".

Несколько лет Левин маялся фактически без средств к существованию. Он рассылал свои документы по всем конкурсным объявлениям, и все места, где позарез требовались учителя, а в стране они требовались всюду, все места отвечали отталкивающим молчанием. Складывалось впечатление, что "егеря обложили Левина" со всех сторон и поджидают только какого-то своего "момента истины" для повторного изъятия. Сейчас почти ясно, что готовилась всенародная депортация евреев в места действительно отдаленные, готовилась исподволь и многопланово. Думаю, однако, что отказыватели Левину не были детально в курсе этих потрясающих замыслов, но годами развитое "чувство оглядки" позволяло им предвидеть, как говорят физики, качественный ход процесса... И вот в эти самые напряженные моменты ужасного ожидания Левин вдруг получает спасительное согласие из Тюменского пединститута. Стечение благоприятных случайностей?.. Или недогляд "кураторов"?.. Или наоборот — умная

подмога одного из них (редко, но бывало и такое)?.. Тайна сия останется не поддающейся выяснению.

Тем и закончил Левин свое пребывание в Горьком. Но не закончилось его учительство. Он часто потом приезжал к нам на разовые семинары, школы, конференции, да и просто так наезжал. Об этом написано во многих воспоминаниях, заполнивших эту книгу. Однако основное общение с Левиным — мое, моих друзей и горьковчан следующих за нами поколений — происходило в Москве, на его семейных территориях. Квартира его иногда могла сойти за обиталище приезжих из Нижнего Новгорода. Интеллектуальное обиталище — по-старинному надо было бы его назвать салоном, но для этого там недоставало чопорности. Я месяцами жил у Левиных, работал, лечился, мало ли что бывало... и эти времена тоже должны были быть зачтены в мой стаж обучения. Трудно даже просто перечислить людей избранных достоинств, с которыми судьба соблаговолила свести меня через левинское посредничество. Это ведь тоже своеобразное обучение наподобие репетиторства. И все-таки главным Учителем оставался он сам. Левин поддерживал себя в состоянии знания всего на свете! И мог без запинки выдать почти любую историческую, литературную, искусствоведческую справку, не говоря уже о науке. В своем последнем запросе — перед самой его кончиной — я рассказывал ему о лекции в Нижегородско-Кембриджской школе, посвященной расшифровке понятия "волна". Он обогатил мой текст несколькими бесценными вставками и посоветовал в качестве эпиграфа взять слегка переправленный куплет из Британского Гимна:

"Rule! Rule the waves!
And never will be slaves!
...of the waves!"

I am sure Levin himself never was a slave of ... anybody or anything!

Н. Новгород, июль, 1998

А. Г. Литвак

ПАМЯТЬ ДРУЖБЫ

Мне посчастливилось в течение долгих лет тесно общаться и дружить с Михаилом Львовичем Левиным, замечательным человеком, ученым, интеллигентом, гражданином в самом лучшем, классическом смысле этих слов. В этой книге представлены прекрасные образцы мемуарной прозы, воссоздающие образ М. Л. со всеми его привлекательными достоинствами и объяснимыми слабостями. Я тоже решился вспомнить некоторые моменты наших встреч, надеясь добавить какие-то штрихи к его портрету. Ведь дружба с М. Л. оказала сильное, а в чем-то и определяющее влияние на формирование моих взглядов и жизненных позиций.

Мое знакомство с М. Л. произошло 12 апреля 1961 года, в памятный день запуска первого человека в космос. В этот день в Горьковском университете состоялось открытие научных чтений, посвященных 60-летию академика А. А. Андронова, и для участия в них из Москвы приехала группа известных ученых. Помню М. А. Леонтовича, С. М. Рытова, М. Л. Левина, М. А. Айзермана. Я был студентом четвертого курса, но так случилось, что мой руководитель Михаил Адольфович Миллер дал мне посмотреть статью левинского аспиранта, в которой я нашел ошибку и предложил правильное решение, так что в этот момент мы писали уже совместную статью. Миллер представил меня Левину во время посещения москвичами НИРФИ, и я помню, что уже в первую встречу М. Л. произвел на меня впечатление своей доброй приветливостью, которая была неожиданной — конечно же, я слышал много рассказов о хлестком и озорном остроумии М. Л. Левина, сохранившихся в памяти студентов радиофака ГГУ, где М. Л. преподавал во время своей горьковской высылки. Удивила и аккуратная одежда М. Л. — согласно той же легенде, он должен был быть, мягко говоря, безразличным к своему внешнему виду. Во всяком случае, его ученик и последователь М. А. Миллер — один из самых популярных лекторов радиофака, придя на лекцию в чистом отутюженном костюме и не найдя тряпки, мог демонстративно стереть мел с доски рукавом пиджака.

До 1967 года контакты с М. Л. были эпизодическими, он приезжал в Горький, когда случались научные мероприятия. Встречались и на конференциях вне нашего города, из которых наиболее памятны плазменные конференции в Грузии, где М. Л. принимали как очень высокого гостя. Часть этого гостеприимства перепадала и горьковчанам, которых он всегда заботливо и трогательно опекал. От встреч с М. Л. оставалось яркое впечатление, особенно от его

блестящих выступлений, наполненных меткими наблюдениями, афористичными формулировками и едкими эпиграммами. Поражали его широчайшая эрудиция и безупречная память. Он не стремился доминировать в компании или застолье, но стоило ему начать говорить и становилось ясно, кто есть кто.

М. Л. при встречах всегда приглашал заходить к нему в гости, и я во время командировок в Москву иногда пользовался этим приглашением, особенно если в качестве повода имел какое-либо поручение от М. А. Миллера. В ту пору М. Л. вел в Москве полухолостяцкий образ жизни — его жена Наташа постоянно жила с детьми на даче Леонтовичей в Абрамцево и бывала в Москве наездом лишь пару дней в неделю. На выходные М. Л., естественно, сам отправлялся в Абрамцево. Квартира Левиных у метро "Сокол" была своеобразным клубом, в котором всегда можно было встретить очень интересных людей, "забежавших на огонек". Круг общения М. Л. был весьма широк и разнообразен, среди его друзей были многие известные люди из мира науки, литературы и искусства (перечень авторов воспоминаний о нем, помещенных в эту книгу, дает лишь приблизительное представление об этом круге), многих из друзей М. Л. уже нет в живых. Часть посетителей квартиры на Соколе была связана с начинавшейся тогда правозащитной деятельностью, другие не совершали никаких публичных действий, но однозначно сочувствовали диссидентам.

Мне кажется, что мое настоящее сближение с М. Л. произошло после того, как в 1967 году мы со Станиславом Борисовичем Моченевым по предложению М. А. Миллера взялись размножать с фотопленок роман Солженицына "В круге первом". Фотопленки достал Левин, и один экземпляр фотокопий предназначался для него. Соглашаясь на эту затею, я не мог вообразить реальной трудности предприятия: в ванной комнате снимавшейся нами частной квартиры с помощью примитивного фотоувеличителя мне предстояло напечатать около двух тысяч снимков. Да и размножение запрещенной книги, разумеется, могло окончиться для исполнителей весьма печально. Не уверен, что в более зрелом возрасте я бы решился на подобное, но тогда мне было всего двадцать шесть, а моя жена Лера была на последних месяцах первой беременности и еще не успела проникнуться стремлением защищать будущее своих детей. Во всяком случае, книга была отпечатана, я делом подтвердил, что придерживаюсь тех же взглядов, что и М. Л., и, по-видимому, взамен он одарил меня не только доверием, но и возможностью регулярного чтения доступного ему самиздата и тамиздата. Во время моих командировок М. Л. специально доставал для меня такую литературу, причем часто давал ее мне в Горький до следующего приезда в Москву. По правде говоря, дома, в Горьком, я вел себя осторожно и редко делился этими книгами даже со своими друзьями.

В декабре 1968 года в Бакуриани проходила Всесоюзная зимняя школа по физике плазмы. Это было прекрасное сочетание интересного и чрезвычайно представительного научного собрания с катанием на горных или равнинных (по выбору) лыжах и вечерними посиделками. Свободное от заседаний и лыж время мы проводили в основном с М. Л. Были и совместные лыжные походы, в одном из которых участвовали Михаил Александрович и Татьяна Петровна Леонтовичи. Спускались на лыжах к Боржомскому ущелью, лыжня вдоль дороги была очень плохой, и на меня тогда произвело сильное впечатление, что Леонтовичи

шли на лыжах наравне со своими молодыми спутниками. Конечно, сегодня, через 30 лет, участие в подобных прогулках людей, близких мне по возрасту, кажется вполне естественным. Мы жили в бакурианской гостинице, но в обед, как правило, не решались кормиться в тамошнем ресторане и отправлялись с М. Л. в поселок в хинкальню, где с удовольствием употребляли эту грузинскую разновидность пельменей. Пища была острая, но я очень ценил общество М. Л. и потому не щадил свой больной желудок. По вечерам, когда не было банкетов и междусобойчиков, мы отправлялись гулять под звездным небом и обычно заходили на танцы в международный молодежный лагерь "Ласточка", где располагались, взяв чего-нибудь попить, и рассматривали танцующих (это называлось у нас "пойти к этуалям" — от французского "звезда"). М. Л. проявлял большую заинтересованность в подобных мероприятиях, причем этот интерес я наблюдал у него и в более поздние годы.

С конца 1968 года я стал посещать квартиру на Соколе регулярно — тяжело заболевший М. А. Миллер значительную часть времени проводил в Москве под наблюдением московских врачей и жил у М. Л., а я выполнял функции связного между Миллером и Горьким. Часто я приурочивал мои командировки в Москву к моменту отъезда Миллера домой, сопровождая его в этих поездках. Обычно в день отъезда вечером на проводы собиралась большая компания, и если М. А. оказывался в неплохой физической форме, то получалось очень интересное и веселое сборище. Один из этих вечеров описан в воспоминаниях Г. Аскарьяна.

Среди гостей Левина тогда был известный математик И. М. Гельфанд, славившийся своей любовью к анекдотам и даже коллекционировавший их в специальной записной книжке. Травили анекдоты на актуальную тему "Возвращается муж из командировки". По поводу записной книжки Гельфанда был рассказан анекдот, как кто-то нашел подобную книжку, принял краткие записи за шпионский шифр и доставил ее в КГБ. Владельца быстро отыскали, и ему пришлось доказывать, что это не шифр, а кратко записанные анекдоты, на что следователь КГБ мрачно заметил: " Я понимаю, что тут у вас анекдоты, но почему они все против Советской власти и нет ни одного за?" Тут же среди присутствующих на проводах был объявлен конкурс на анекдот за Советскую власть с темой "Возвращается муж из командировки". Все попытки оказались неубедительными, а безоговорочную победу одержал Гурген Аскарьян, который уже на выходе взял слово: «Возвращается муж из командировки, застает жену в постели с любовником и хватает его за грудки. "Эх, спустил бы я тебя с балкона, да партбилет не позволяет". "Слава КПСС!" — вскричал гость, натягивая брюки».

Иногда вечером на Соколе появлялся М. А. Леонтович. На входе он сурово и требовательно спрашивал меня: "А вы что здесь делаете?" Поначалу я пытался объяснять, что вот пришел в гости по случаю, но Михаил Александрович перебивал, уточняя, что интересуется, по каким делам я оказался в Москве. Из разговоров с Михаилом Александровичем почему-то лучше помнится, как он был возмущен тем, что происходило в середине 70-х годов в Новосибирском ИЯФе. Тогда А. М. Будкер после своего первого инфаркта решил сконцентрировать деятельность института около нескольких научных проблем, лично интересных ему, и закрыл многие перспективные работы, уволив известных людей. М. А. был очень озабочен судьбой этих работ, а особенно судьбой людей.

Часто посещая квартиру на Соколе, я оказался в курсе многих событий, связанных с борьбой властей с инакомыслием и начавшимся после Чехословацких событий 1968 года закручиванием гаек. М. Л. в это время оказывал всевозможную моральную и материальную помощь друзьям, попавшим в трудное положение. Мне особенно памятна история Б. Биргера, от которого в МОСХе требовали покаяния в том, что он подписывал разные коллективные письма, но он каяться категорически отказался. Тогда решили не переводить его в члены Союза художников – он в это время был кандидатом в члены союза. Более того, чтобы сделать его тунеядцем, предложили полностью ликвидировать институт кандидатства в СХ, что и было сделано, и только жесткая позиция в защиту Биргера одного из признанных авторитетов в МОСХе Д. Жилинского предотвратила полную расправу. Б. Биргер на многие годы остался чуть ли не единственным кандидатом в СХ. В это время он лишился всех официальных источников заработка, и М. Л., кроме прямой помощи, организовал у себя на квартире распродажу его картин. Замечательные полотна большого художника можно было в то время купить почти даром – за 30 рублей.

М. Л. регулярно общался со многими диссидентами и отказниками, хотя это всегда было сопряжено с риском лично для него. Помню со слов М. Л., как после высылки А. И. Солженицына собирали к отъезду его жену Наташу Светлову с малыми детьми и как М. Л. ездил на проводы в аэропорт, где, конечно же, все участники проводов были оприходованы ГБ. Можно перечислить множество примеров его постоянных контактов с диссидентами и отказниками, находившимися под неусыпным надзором. Все это он делал, работая в режимном институте и, следовательно, постоянно рискуя как минимум лишиться работы. Я не решался обсуждать с М. Л. эту тему, но, мне кажется, что он единожды принял для себя очень важное решение, как себя вести в подобных случаях, и дальше не лез на рожон, но свободно следовал этому решению. Что-то вроде "свободы как осознанной необходимости".

Конечно, наиболее известным примером порядочности и личного мужества М. Л. являются его посещения А. Д. Сахарова в горьковской ссылке. При этом М. Л. старался локализовать около себя возможные неприятности от посещений, не ввергая в эти истории других людей без их согласия. Когда в 1981 году М. Л. встретился с А. Д. и собрался его посетить дома, получив предварительное разрешение на такое посещение от гэбиста, "пасшего" А. Д. (этот случай подробно описан в "Прогулках с Пушкиным"), он решительно отменил посещение после испуганного звонка одного из замдиректоров нашего института о том, что, приехав в Горький по приглашению ИПФАНа, он может доставить дирекции института большие неприятности своим визитом к А. Д.

М. Л. внутренне был интеллигентным, тактичным и добрым к людям человеком. Высокие требования к себе у него сочетались со снисходительным отношением к человеческим слабостям окружающих. Конечно, он глубоко переживал, что никто из его друзей в пору ссылки А. Д. Сахарова в Горький не предпринял попытки наладить научные контакты с ним, М. Л. считал, что этого можно было добиться вполне легально. Но даже справедливый упрек по этому поводу горьковским друзьям был высказан им в очень мягкой форме при выступлении на Сахаровских чтениях.

Не требуя ни от кого жертв, М. Л. в то же время активно не любил людей, совершивших подлость или поступок, который он считал непорядочным. Он мог быть и несправедливым; людям, которых он недолюбливал, не прощалось то, что прощалось друзьям. Так, он не скрывал своего осуждения Я. Б. Зельдовича за то, что тот во время поездок в Горьковскую нелинейную школу ни разу не посетил А. Д. Сахарова, что при положении Я. Б. организовать было не так уж и сложно (это осуждение отразилось и в стихах М. Л.).

1 февраля 1971 года М. Л. исполнялось пятьдесят лет. Очень хотелось сделать ему нетривиальный подарок от горьковчан, и после обсуждений было решено сделать альбом фотографий "По левинским местам", в котором должен был отразиться его жизненный путь с упором на ссыльную жизнь в Горьком. Мы собрали у сотрудников НИРФИ и радиофака и скопировали личные фотографии тех лет, добавили много современных фотографий Левина (довольно много этих фотографий накопилось у меня — в те годы я ездил на разные конференции с фотоаппаратом), и, кроме того, сфабриковали множество снимков, используя периодику, — к фигурам известных политических деятелей монтировали голову Левина или близких к нему людей. Открывался альбом страницей, на которой иллюстрировалась известная легенда о встрече М. Л. со Сталиным в детстве: в верхнем левом углу помещалась изъятая из тома БСЭ фотография Сталина, глядящего на Левина, помещенного в нижнем правом углу. В альбоме были фотографии типа "Тов. Левин читает газету «Правда»", "Возвращение тов. Левина в Москву" и т. д. Все подписи под фотографиями были сооружены из заголовков статей, вырезанных из газет.

Работа была довольно трудоемкая, но, как всегда в таких коллективных затеях, интересная и увлекательная. Очень активное участие в ней принимали Миша Петелин, Светлана Жерносек, Гера Пермитин... сейчас уже всех не помню. Альбом был готов прямо к юбилею, и мы с Петелиным отправились в Москву. Юбилейный семинар в теоротделе РТИАНа показался мне довольно формальным, хотя было и несколько интересных выступлений. Вручение альбома мы приберегли для вечернего домашнего празднования на Соколе, куда М. Л. пригласил нас с Мишей. Альбом имел успех у участников торжества, включая Наташу, жену юбиляра, которую я в ту пору несколько побаивался. Конечно, наш подарок не мог конкурировать с ее подарком к 50-летию мужа, лежавшим в кроватке в соседней комнате, но наши любовь и уважение к Михаилу Львовичу нам удалось выразить. К сожалению, альбом этот у Левиных куда-то пропал, а второго экземпляра мы тогда не сделали, так что сегодня нет возможности оценить уровень нашей продукции.

Начиная с этого юбилея, я, пожалуй, не пропустил ни одного дня рождения М. Л., стараясь приурочить одну из своих частых командировок в Москву к 1 февраля. Для меня было одинаково важно и поздравить лично глубоко уважаемого мной человека, удостоившего меня своей дружбой, и не упустить возможности пообщаться с друзьями Михаила Львовича, которые были мне очень интересны и симпатичны, как те, имена которых были широко известны, так и те, которых я узнал только в квартире на Соколе.

Надо сказать, что уже с первого дня рождения М. Л. я заметил отличие нашего горьковского круга общения от круга друзей Левина — если у нас все

общение строилось на основе "рабочих связей", то в гостях у М. Л. редко можно было встретить кого-либо из сотрудников и учеников. Это даже как-то отметил маленький Петя Левин, спросивший родителей: "Почему в Москве все работают в разных местах, а в Горьком — все в одном месте?"

После переезда семейства Левиных на Садово-Кудринскую дни рождения стали постепенно хиреть, возможно, из-за того, что гостиная комната новой квартиры стала менее вместительной, а может быть, потому, что кого-то из друзей не стало, а с кем-то отношения стали сложнее. К концу 80-х званые дни рождения были отменены, и М. Л. с Наташей даже стали иногда уезжать из Москвы на 1 февраля. Так, в 1988 году они уехали в Горький, и Лера устроила празднование дня рождения М. Л. у нас дома. Дело осложнилось тем, что я с младшим сыном Андрюшей был в это время в Бакуриани на плазменном совещании, которое Нодар Цинцадзе традиционно проводил там в течение нескольких лет. Мы должны были вернуться как раз 1 февраля, но из-за сильных снегопадов вылет самолета из Тбилиси был задержан, так что домой мы прибыли только к полуночи. Гости не расходились, дожидаясь нас, и мы еще успели выпить за здоровье новорожденного. На следующий год уже я оказался в Москве в свой день рождения и, придя вечером к Левиным, попал на небольшой прием, неожиданно устроенный в мою честь.

В 1976 году радиофак горьковского университета отмечал 70-летие Г. С. Горелика. М. Л. приехал на юбилей и выступил с яркой речью, в которой он, кроме воспоминаний о личности Г. С., говорил и о кампании травли Горелика, имевшей место в университете в 1952 году, когда было специально затеяно обсуждение его книги "Колебания и волны". К сожалению, мне не удалось найти записи выступления М. Л., помню только некоторые фрагменты. Отдавая должное Г. С., он отметил, что, к сожалению, тот и сам проявил слабость, приняв до этого участие в аналогичной расправе — дискуссии по книге С. Э. Хайкина. Говоря о некоторых учениках Г. С., фактически предавших его в этой кампании, он пользовался евангельскими аналогиями. Эффектным был конец речи: "И не успел петух прокричать три раза, как они отреклись от учителя".

По окончании заседания я вспомнил, что у меня имелись интересные материалы тех самых обсуждений 1952 года и, в частности, один из оригиналов протокола заседания ученого совета радиофака ГГУ с осуждением книги Горелика. Попали они ко мне случайно. В 1961 году, будучи студентом радиофака, я искал какие-то бумаги в шкафах деканата и неожиданно наткнулся на папку с материалами обсуждений книги Горелика. Там были полные стенограммы заседаний факультетского и университетского ученых советов с личными правками выступавших, были даже некоторые выступления с осуждением Г. С., которые из-за недостатка времени на заседании не заслушивались и были поданы в письменной форме, в их числе выступление одного из аспирантов Г. С., таким образом отрекшегося от учителя. Стенограммы содержали как яркие образцы подлости, предательства или трусости, так и примеры выступлений людей, бескомпромиссно выступивших в защиту Г. С. Среди них особенно запомнились выступление А. Г. Любиной и совместное заявление Е. А. Леонтович-Андроновой и В. Л. Гинзбурга, зачитанные на университетском совете Евгенией Александровной. Это был интереснейший материал. Я не мог упустить

такого везения и тут же договорился с юной секретаршей деканата взять папку на пару дней почитать. В тот же день принес находку в НИРФИ, мы принялись изучать документы, и даже удалось перепечатать на машинке некоторые выдержки. Никто из официальных лиц деканата не знал, что хранится на нижней полке шкафа, но я допустил оплошность: пытаясь продлить срок пребывания папки у меня, напоролся на тогдашнего секретаря факультетского партбюро А. М. Гильмана, который, узнав о чем идет речь, страшно перепугался, немедленно изъял у меня папку и тут же сдал ее в архив. Все-таки некоторые материалы, бывшие не в одном экземпляре, мне удалось, как теперь говорят, "приватизировать", и среди них был тот самый протокол, который я с удовольствием подарил М. Л.

В 1978 году в Сухуми проводился советско-американский семинар по высокочастотному нагреву плазмы. М. Л. попросил меня передать какие-то бумаги Диме Борисову, отдыхавшему в Сухуми с семьей все лето. Он рассказал мне про Борисова, который, будучи кандидатом исторических наук, помогал А. И. Солженицыну в подборе материалов для "Архипелага ГУЛАГ". Уволенный за это с работы и лишенный возможности трудоустройства, он выполнял функции распорядителя фонда А. И. Солженицына в СССР. Интересно, что Д. Борисов и его жена обратились к религии и к описываемому моменту, по-видимому, следуя религиозным канонам, уже имели четверых малых детей, несмотря на трудно прогнозируемое будущее главы семьи. Мне было интересно пообщаться с ними, они оказались очень симпатичными людьми. По возвращении на Сокол я поделился с Левиными своими впечатлениями, и, естественно, возник разговор о возрождающейся среди определенных кругов гуманитарной интеллигенции религиозности. М. Л. и Наташа здесь были единодушны — вера в бога противоречила их воспитанию и образу мыслей. Они могли принять обращение к нравственным основам религии, но совершенно не принимали следования ритуалам православия, расценивая это как моду. Эта тема еще неоднократно возникала в наших разговорах, но оценки не менялись.

М. Л. любил всякие подначки и розыгрыши. Например, в течение нескольких лет он подначивал меня добыть для чтения рукописи пьес одного горьковского драматурга и поэта. Пьесы были посвящены истории Московской Руси, а об их существовании он узнал из опубликованной переписки Ильи Сельвинского. В письмах Сельвинский обсуждал с драматургом — одним из своих учеников по Литинституту — героев пьесы и давал какие-то ЦУ, которые явно провоцировали написание пародии. Хотя у меня было немало общих знакомых с драматургом, я не решился попросить у него рукописи прямо, боясь попасть в неудобное положение. Наконец, после очередного вопроса М. Л. о пьесах я уговорил Светлану Жерносек позвонить автору, представиться поклонницей его таланта и попросить на какое-то время почитать его пьесы. После некоторых колебаний она согласилась и довольно легко получила материалы из рук драматурга, приятно удивленного таким интересом молодой женщины. М. Л. быстро прочел их с многочисленными комментариями и некоторое время в беседах употреблял звонкие цитаты из пьесы про Ивана Калиту (к сожалению, я их уже не могу вспомнить). Чтобы спасти Жерносек от обсуждения пьес с автором, рукописи были возвращены через знакомых. Его реакция на подобную неблагодарность почитательницы осталась нам неизвестной.

Для нашей семьи всегда было большим праздником, если Наташа и М. Л. приезжали в Горький. Летом 1986 года они провели часть отпуска с нами на даче в деревне Галкино под Горьким. Перед этим они посетили дачу Андроновых в Триречье и, переехав к нам, сразу поразили неожиданной информацией, раскапывание которой было так типично для М. Л. Оказалось, что большинство жителей Галкино находится в дальнем свойстве с Наташей, так как отец Юры Белоногова, мужа Жени Андроновой, Наташиной кузины, родом из нашего Галкино, где действительно большинство жителей Белоноговы. Не только мы, но, думаю, что и Шура Андронов не ведал об этом до приезда Левиных. Позднее наша соседка подтвердила это открытие.

С погодой нам тогда повезло. Время проводили в походах в лес за ягодами, (правда, урожай был не ахти какой), купании в речке Черной, автомобильных поездках по округе с посещением местных книжных магазинов, что особенно привлекало М. Л. и меня, долгих застольных разговорах. Наш одиннадцатилетний Андрюша, очень любивший дядю Мишу, не отходил от него ни на шаг, они часто тихо беседовали на какие-то темы. Надо сказать, что М. Л. любил детей и умел находить с ними общий язык. Кроме того, он всегда заботился, чтобы детям было интересно. Например, когда моему Сереже было 8 лет, я повез его в Москву на Кремлевскую елку, а М. Л. специально договорился со своими друзьями Валериком Фридом и Юликом Дунским, чтобы нам показали их уникальную коллекцию оружия. На меня эта коллекция произвела, возможно, даже более сильное впечатление, чем на Сережу.

Одно из дачных воспоминаний того года связано с песнями. Иногда утром я включал магнитофон с бардовскими песнями, которые были очень популярны в нашем доме. В то время появились магнитофонные записи Розенбаума. Его песни встретили у Наташи и М. Л. единодушное неприятие. Я считал, что в лучших песнях (с учетом их мелодичности) Розенбаум подымался до уровня Высоцкого, но дискуссии не получилось, возможность какого-либо сравнения была категорически отвергнута, и мне только осталось сменить кассету.

Когда подошло время Левиным уезжать из Галкино, из Горького пришла печальная весть — умерла наша подруга Дора Черток, поэтому пришлось вернуться в город несколько раньше, чем планировалось. В день отъезда мы отправились на похороны, а Левины сказали, что будут гулять по городу, а потом зайдут к приболевшему М. А. Миллеру. По возвращении с похорон я позвонил Михаилу Адольфовичу, и М. Л. только сказал, что у них все в порядке, подробности вечером. Вечером М. Л. с Наташей за наскоро сооруженным прощальным чаем рассказали нам о встрече с А. Д. Сахаровым и Е. Г. Боннэр. Эта встреча подробно описана в "Прогулках с Пушкиным". Добавлю только, что наши гости очень беспокоились, не повлечет ли эта встреча каких-либо неприятностей для нас. Поэтому они проследили и убедились в том, что после встречи с милиционером и гэбистом, поджидавшими их на выходе от Миллера, никакого хвоста к нашему дому за ними не последовало. Закончив чаепитие, мы подхватили левинские рюкзаки и погрузили в "Жигули", стоявшие в темном дворе около подъезда. При этом Лера, запиравшая квартиру, несколько задержалась и, при выходе из дома, столкнулась с человеком, который, прижавшись к стене, рассматривал номер моей машины. Когда мы выехали со двора, за нами

последовала "Волга" с пригашенными огнями. Левины ничего не заметили, и эта тема никогда нами не обсуждалась. Следующий день был суббота, и начался он для нас со звонка в дверь. Пришел работник Горгаза проверять состояние газового хозяйства. В нашей жизни такое случилось впервые — чтобы газовщик пришел в выходной день без вызова, так что мы однозначно расценили этот визит. Было решено срочно вывезти на дачу нехитрую крамольную литературу, имевшуюся у нас, и там ее запрятать, что и было немедленно реализовано. Единственным видимым следствием этих событий явился повышенный интерес нашего Андрюшки к самиздату, он тут же принялся читать "В круге первом". Меня никуда не приглашали на беседу, никто больше нами не интересовался, возможно потому, что уже наступали другие времена: ровно через четыре месяца А. Д. Сахарову было разрешено вернуться в Москву.

Дружба с М. Л. была очень важным компонентом моей жизни, повлиявшим не только на мои взгляды, но и в чем-то на поведение. На протяжении многих лет я общался с М. Л. регулярно, один-два раза в месяц приезжая в Москву по делам службы. Обычно прямо с поезда я приезжал к дому Левиных (на Сокол или Садово-Кудринскую), заходил в ближайшие продуктовые магазины, загружался мясом, колбасой и сливочным маслом — разжиться этим в Горьком не было никакой возможности. После этого я приходил к Левиным, где все эти харчи оставлялись до вечера в случае однодневной командировки ("обыденки", как говорил М. Л.) или до следующего дня — в случае двухдневной. На поезд я тоже отправлялся от Левиных. За завтраком обычно происходил обмен информацией — М. Л. рассказывал о событиях научной, культурной и диссидентской жизни в Москве, точнее, о том, что его волновало в эти дни[1], я отчитывался о горьковских событиях, которыми он очень активно интересовался. В 80-е годы к этому прибавилась информация о жизни А. Д. Сахарова, которую мне удавалось иногда раздобыть. Например, о посещении А. Д. и Е. Г. концерта Гилельса в горьковском Кремлевском концертном зале и моих наблюдениях за неуклюжей работой КГБ, наводнившего концертный зал и фойе своими людьми, сопровождавшими А. Д. и на улице, или о подробностях организации кражи сумки А. Д. с его мемуарами в стоматологической поликлинике, которые мне стали известны от приятельницы, работавшей там.

Кстати, история эта, по-моему, нигде не рассказывалась. А. Д. определили лечить зубы в областную стоматологическую поликлинику, а заниматься с ним выделили зам. главного врача поликлиники. Обычно А. Д. приходил раз в неделю, и врач принимала его в большом зале, в котором работало еще пять-шесть специалистов. Однажды врач сказала, что из-за ремонта придется перейти в другой кабинет (какие-то мелкие ремонтные работы действительно велись, но других пациентов продолжали принимать в зале). Новый кабинет не был даже оборудован бормашиной, так что врач для работы специально взяла с собой переносную бормашину. А. Д., пройдя на новое место, поставил, как обычно, рядом с креслом сумку, в которой он носил с собой рукопись своих мемуаров, и поверх положил снятый с себя свитер, но врач буквально накричала на него, потребовав оставить вещи за дверью в коридоре, где сидели посетители

[1] Многие из этих событий подробно описаны в воспоминаниях об М. Л. в этой книге.

в очереди в другие кабинеты. После сеанса лечения А. Д. вышел в коридор, сумки не было, а свитер преспокойно висел на вешалке, причем сидевшие в очереди люди описали человека, унесшего сумку. Вызвали милицию, но, конечно, пропажу не нашли. Врачам поликлиники было очевидно, что инцидент специально организовали.

Иногда я привозил М. Л. номера английского журнала "New Scientist", который выписывал по так называемой докторской подписке. Этот еженедельный журнал регулярно, несколько раз в год, публиковал различные материалы об А. Д. Сахарове и его жизни в ссылке, а в мае 1981 года один номер почти целиком был посвящен 60-летию А. Д. и содержал три обзорные статьи о его научной деятельности. Интересно, что, как правило, материалы, посвященные А. Д., не вырезались цензурой, тогда как аналогичные экземпляры журнала, поступавшие в институтскую библиотеку, приходили с вырезанными страницами. Я лишь получал журнал со специальным вкладышем, уведомлявшим, что данный номер журнала прислан книжным отделом Академии наук подписчику только для индивидуального пользования и не подлежит распространению, а на обложке журнала отсутствовал штамп цензора. До сих пор не знаю, чем объясняется подобный либерализм.

М. Л. часто рассказывал о философских семинарах и прочих мероприятиях в Стекловке (Математическом институте им. В. А. Стеклова), которые он посещал как театральные представления. Характер мероприятий определялся патологическим антисемитизмом директора института академика Виноградова и академика Понтрягина. В ряде случаев допускались даже высказывания против власти. Так, не помню, по какому поводу, Понтрягин возмущался, что власти вынудили уехать из страны блестящего виолончелиста Ростроповича и он, Понтрягин, вынужден теперь довольствоваться игрой еврея Шафрана. В Стекловке же было устроено общественное обсуждение хорошей книги Зельдовича и Мышкиса "Математика для начинающих", имевшее целью не допустить ее переиздания. С точки зрения организаторов обсуждения, главным недостатком этой книги была, конечно же, национальность авторов, хотя обвиняли их в других грехах, например, в отсутствии математической строгости. В борьбе обе стороны особенно не церемонились в выборе средств. Так, М. Л. был приятно удивлен, что на обсуждении выступил с яркой речью в защиту книги хорошо известный нам физик, ранее не замеченный в особой общественной активности. Позднее я вынужден был разочаровать М. Л.: оказавшись по случаю у меня дома, этот физик признался, что книгу не читал, а просто согласился зачитать подготовленный его приятелями текст.

М. Л. обладал уникальной памятью. Меня всегда поражало, как он, рассказывая о чем-то, говорил: "Саша, помните, я вам рассказывал?" — и мне приходилось напрягаться, чтобы не ударить в грязь лицом. Тем не менее, сидя на любом заседании, он обязательно делал заметки убористым почерком, его умение увидеть смешное делало отчеты об этих заседаниях очень интересными и занимательными.

Когда началась перестройка, М. Л. с интересом даже конспектировал проводившиеся в МРТИ политинформации, в которых, например, излагались выступления Б. Н. Ельцина на московских партактивах в его бытность секре-

тарем МГК. Мне очень памятны рассказы М. Л. о первых Пастернаковских чтениях, явившихся ярким свидетельством либерализации нашей жизни. Он мне пересказывал эти чтения со своими яркими комментариями в течение нескольких часов, а затем еще и принес магнитофонные записи чтений от Пастернаков. Позднее он подробно рассказывал о заседаниях "Московской трибуны", в которую был вовлечен А. Д. Сахаровым. Под воздействием М. Л. у меня тоже выработалась привычка конспектировать разные мероприятия, эта привычка особенно пригодилась, когда Академия наук выбирала своих представителей по выделенной квоте на первый Съезд народных депутатов. В число выборщиков, кроме членов Академии, были включены избранные в научных коллективах АН делегаты, и я был делегирован от нашего института.

Это было чрезвычайно интересное время: выборы проходили в течение нескольких дней, академия бурлила, на многочисленных встречах кандидатов в депутаты с выборщиками по отделениям АН и пленарных заседаниях было множество интересных выступлений и открытых схваток между академиками, большинство которых занимали довольно консервативные позиции, и делегатами от институтов, жаждавшими демократии. В результате при голосовании поддержку получило либеральное крыло, среди избранных оказалось много общественно известных и уважаемых имен, в том числе друзей М. Л.: А. Д. Сахаров, А. В. Гапонов-Грехов, Вяч. В. Иванов. Я подробно конспектировал все заседания и вечерами отчитывался у Левиных. Материал был уникальным, и мы тогда обсуждали с М. Л., что неплохо бы рассказ записать на магнитофон, чтобы через какое-то время воспроизвести на бумаге, но, к сожалению, этого сделано не было.

Как-то так получилось, что большинство моих общений с М. Л. не касалось наших научных занятий, хотя обсуждения на научную тему тоже случались неоднократно. Когда я познакомился с М. Л., он работал очень продуктивно в науке — я помню, что в мои аспирантские годы он прислал в НИРФИ свои отчеты по проблемам удержания, стабилизации и ускорения плазменных сгустков ВЧ-полями, и я был поражен его плодовитостью. Блестящей была и "*парно*графия" по теории электрических флуктуаций, написанная М. Л. в соавторстве с С. М. Рытовым. Под редакцией М. Л. вышло также несколько переводов классических монографий по электродинамике. Однако после смерти А. Л. Минца, заинтересованного в высоком научном потенциале института, положение М. Л. осложнилось. В МРТИ велись, в основном, закрытые разработки, которых он, по возможности, сторонился. М. Л. продолжал заниматься классическими задачами теории дифракции, воспитывал учеников и преподавал в Московском физтехе, но даже последнее занятие в объеме постепенно сокращалось, потому что при каждой реорганизации (раздел институтов, смена директора и т. д.) на кафедре Физтеха необходимо было найти профессорское место для нового директора. Левин был, конечно, человеком известным и уважаемым, поэтому в МРТИ его не трогали, но и поддержки он не получал. Сначала в конце 70-х годов его лишили возможности участия в международных конференциях, проводившихся в стране, непременным участником которых он был в предшествующие годы. Нужно было получать разрешение на участие (контакт с иностранцами) в вышестоящей организации (ЦНПО "Вымпел"), но

дирекция института отказывалась обращаться за разрешением. Заступничества начальника теоротдела Э. Л. Бурштейна оказывалось недостаточным для этого. М. Л. был очень обижен и глубоко переживал, что люди, которых он учил и поддерживал в свое время, демонстративно отвернулись от него и даже стали интриговать против. Особенно это проявилось, когда С. М. Рытов выдвинул М. Л. в члены-корреспонденты АН. Он обратился к А. В. Гапонову, и наш институт безоговорочно поддержал М. Л. Левина, отметив, что он является одним из основателей нашей научной школы, и большинство членов ученого совета ИПФАНа являются либо его учениками, либо учениками его учеников. Все попытки А. В. Гапонова использовать свой авторитет, чтобы уговорить директора МРТИ А. А. Кузьмина (а у нас с МРТИ были совместные работы) тоже поддержать это выдвижение, натолкнулись на явное сопротивление. По инициативе одного из сотрудников, ранее тесно взаимодействовавшего с М. Л. (называть имена, пожалуй, не буду — не уверен, что этого хотел бы М. Л.), даже была собрана партийная группа ученого совета МРТИ, принявшая решение отказать в поддержке выдвижения. Ситуация была очень неприятной и даже унизительной, обсуждались возможности перехода М. Л. в другой институт, назывались ИОФАН (лаборатория М. С. Рабиновича) или ИКИ, но попытки изменить ситуацию, по-видимому, были не очень настойчивыми или не имели серьезной поддержки среди власть имущих, и переход не состоялся. Подобная гнусная история повторилась, когда Я. Н. Фельд предложил М. Л. совместно выдвинуть на госпремию работы по теории антенн. Сроки были довольно жесткие, и вдруг выяснилось, что М. Л. не может напечатать свои бумаги в срок, так как машинистка в теоротделе то ли больна, то ли занята отчетами, а попросить помощи в институте ему не у кого. В результате я забирал у него все черновики, печатал и размножал бумаги для представления на премию в ИПФАНе.

В конце 80-х вместе с изменением обстановки в стране изменилась и ситуация в МРТИ. Скончался начальник теоротдела Э. Л. Бурштейн, которого М. Л. глубоко уважал. Будучи активным членом КПСС, Бурштейн в течение многих лет ухитрялся отводить от теоротдела (в том числе и от М. Л.) нападки руководства института и более высокого начальства. Теоротдел довольно надолго остался без начальника, обсуждались разные кандидатуры: не так давно перешедший в институт доктор наук с карьеристскими наклонностями, которого М. Л. сразу невзлюбил, секретарь партбюро института, бывший студент М. Л., симпатичный, по отзывам, человек, но ученый явно более мелкого калибра и т. д. Обсуждались и варианты расформирования отдела. М. Л. был очень озабочен ситуацией. Дирекция долго не принимала решения и вдруг обратилась к М. Л. с неожиданным предложением возглавить отдел. Институт начал устанавливать международные контакты, и понадобилось, чтобы теоротдел возглавил ученый с именем. М. Л. отказывался, так как у начальника отдела много административных обязанностей, с которыми ему не справиться, но его заверили, что эти обязанности может выполнять заместитель, а его дело — научное руководство. После некоторых колебаний М. Л. принял предложение. Все-таки это соответствовало его правилу служения близким, а в какой-то степени было даже приятно.

Одной из слабостей, сближавших нас с М. Л., была любовь к книгам. М. Л. очень любил дарить книги, у меня множество книг, подаренных им с шутливыми надписями. У Левиных была богатейшая библиотека, в том числе много книг на английском языке. Одна из особенностей этой библиотеки — полное отсутствие собраний сочинений. Зато книги из серий "Литературные памятники" и "Библиотека поэта" покупались все подряд. Среди подаренных мне были не только дефицитные книги, которые М. Л. удавалось приобрести в нескольких экземплярах, но зачастую и книги, купленные из-за названия, позволявшего удачно пошутить. Например, одну из первых книг он мне подарил еще в 60-е годы, это была монография о крестьянской реформе в России, автором которой был не известный мне Б. Г. Литвак. Книга была подарена с надписью "Брату Саше от брата Бори". Или, наоборот, уже в последние годы он подарил мне довольно любопытный сборник с названием "Мы живем среди людей. Кодекс поведения". Основному посвящению был предпослан эпиграф

И эллин, и иудей —
Мы живем среди людей,
У которых, между прочим,
Денег нет на бигудей.

О. Хайям

А затем следовала дарственная надпись:

"Сто с лишним лет тому назад
Сам Генрих Гейне к слову кодекс
Подрифмовал латинский *podex*
(по-русски это будет: зад).
И я дарю Вам эту книгу,
К ней прицепив для рифмы *пигу**.

* Знает Западная Европа,
Что *пига*, по-древнегречески, попа!

А. Л. от М. Л."

Среди подаренных мне книг есть и издания Ардиса, и некоторые самиздатские публикации. Эти книжки, конечно, М. Л. не подписывал. Я тоже не оставался в долгу, стараясь раздобыть у нас в Горьком дефицитные книги для М. Л. Сейчас уже мало кто вспоминает, что подписка на толстые журналы и многие газеты была лимитирована и являлась привилегией, которую можно было получить либо по чину, либо по блату. В течение нескольких лет я, например, ухитрялся выписывать домой журнал "Новый мир" в двух экземплярах, и один из них регулярно с оказией доставлялся Левиным. Одной из последних книг, подаренных мной М. Л., явилась прекрасно изданная книга И. Шафаревича с его антисемитскими трактатами, которую я купил в магазине в Заволжье и подарил М. Л., когда он и Наташа приехали в Галкино в августе 1991 года на нашу с Лерой серебряную свадьбу. М. Л. очень ухватился за эту книгу, собираясь показать в Москве, что издает Совпис, ссылаясь на нехватку бумаги.

Этот последний визит к нам был всего двухдневным, и большая часть времени, кроме застолья, была посвящена разговорам о политике, ведь это было за две недели до путча. Конечно, обсуждалась роль Горбачева (Ельцин в это время оценивался однозначно положительно). М. Л. и Наташа (она была более активна в дискуссиях) отдавали должное тому, что сделал Горбачев, несмотря на его зигзаги или ошибки. М. Л. в свойственном ему стиле обнаружил у нашего Сережи какую-то брошюру, описывающую систему игры в бридж, и углубился в ее изучение, озадачивая владельца неожиданными вопросами. От празднества осталось несколько фотографий и получасовая видеозапись, сделанная Андрюшей. Если бы знать, что это в последний раз!

Последние годы М. Л. часто прибаливал. Его мучил регулярный недосып, от чего он часто становился раздражительным, обострялась проблема со зрением. Удачная глазная операция на какое-то время вдохнула в него новые силы, у него проснулся интерес к посещению давно любимых мест, которые он теперь мог увидеть. Потом у него обнаружилась язва двенадцатиперстной кишки, которая, к счастью, не доставляла сильных болей, но общий тонус она сильно понижала. Весной 92-го М. Л. чувствовал себя совсем неважно, санаторий в Успенском, казалось бы, помог, он вернулся домой посвежевшим и бодрым, но ненадолго. Последний раз я говорил с М. Л. по телефону, мы с А. В. Гапоновым позвонили ему и разговаривали вместе по спикерфону. Поначалу голос его показался бодрым, и мы попробовали пошутить, но он довольно резко нас оборвал. М. Л. положили в больницу, были какие-то неувязки с операцией, говорили, что прямо перед госпитализацией у него случился инфаркт, наконец его прооперировали. Были еще какие-то надежды — по-видимому, врачам все было ясно, но они темнили. В июле я ездил на конференцию в Брюссель и привез по заказу Наташи набор каких-то устройств на послеоперационный период, но, к сожалению, они не понадобились. Первого августа М. Л. не стало.

Прошло уже почти шесть лет, и хотя за эти годы, пришедшиеся на слом двух эпох, жизнь моя сильно изменилась, оставив очень мало времени для свободного человеческого общения, меня до сих пор не покидает чувство большой и непоправимой утраты.

М. И. Рабинович

КОРОТКИЙ РАССКАЗ О ВСТРЕЧАХ С МИХАИЛОМ ЛЬВОВИЧЕМ

С хорошими людьми я был знаком:
Покуда в Лету замертво не кану,
Ни сукою теперь, ни мудаком
Я им благодаря уже не стану.

И. Губерман

Это был человек, которого я искренне и глубоко любил и с которым почти всегда соглашался. Не потому, что склонен к конформизму, ради Бога. Просто он почти всегда оказывался прав. В 1978 году мы (с Андреем Викторовичем Гапоновым-Греховым) написали обзор по заказу УФН "Мандельштам и современная теория колебаний и волн". Конечно, рукопись повезли Левину. Обзор ему понравился, о чем он прямо и сказал: "Да, хорошо написано, только вот тут в цитате из Рэлея ошибка". – "Ладно, Михаил Львович, уж из книжки-то я могу правильно списать". – "Не знаю, не знаю, сейчас посмотрим". Снял с полки "Теорию звука", нашел нужное место и убедился, что списал я верно. "Видите?" – "Погодите радоваться". Достал стоящий рядом английский оригинал и... оказался прав. На этот раз "махнул" переводчик[1]. Я и сейчас не могу понять, как это он "срезонировал", ведь смысловой ошибки не было, но М. Л. очень тонко чувствовал нюансы. Не зря многие поэты и писатели волновались, давая ему читать рукописи, а некоторые, даже близкие к его Дому, просто трусили и не давали читать.

Однажды на зимней Горьковской школе по нелинейным волнам[2] сразу после открытия (с обсуждением программы), во время которого я написал на доске известное выражение Ричардсона о делении вихрей в турбулентном потоке, М. Л. подарил мне стих:

Big whores make little whores
Which feed on their velocity,
Little whores have smaller ones
And so on into viscosity.

---

[1] Цитату, кстати, мы убрали.

[2] На самом деле школа проводилась на р. Ветлуге под Горьким.

Дело в том, что на доске слово *whirl* (вихрь) в первой строчке было написано с ошибкой: "*whorl*". М. Л., конечно, не мог пройти мимо такой подставки. Тем более, что письменные *l* и *e* топологически эквиваленты. Вручение мне приведенного текста сопровождалось комментарием: "И в нашем замечательном обществе точно так же".

Мне гораздо легче вспоминать про Михаила Львовича "про себя" (или для себя), в крайнем случае устно. Записанная фраза о нем у меня всегда звучит почтительно. Ему же — Человеку Духа — были глубоко несвойственны выражения пафоса, почтения и тем более холуйства. В его искрящемся уме всегда была изрядная доля юмора и даже шутовства.

Помню случай опять на ветлужской школе, на этот раз на 3-й[3]. Участникам в надежде, что они будут аккуратными учениками, раздали удобные тетради в красивом кожаном переплете. Среди черных попали три или четыре красные тетради. Одну из них дали М. Л. (другие оказались у девочек, приближенных к оргкомитету). Известный наш ученый-механик, всеми почитаемый Григорий Исаакович Баренблатт, стоявший вслед за М. Л., также претендовал на красную, но:

Обидели Григорья Баренблатта:
Не дали ему красную тетрадь.
Она досталась Левину "по блату!",
И вновь слезу скупую Баренблатту
Рукой мужскою надо утирать.

Это М. Л. выдал тут же на месте преступления оргкомитета. В ответ на мое восхищение он обронил: "Читайте Байрона".

Вообще, М. Л. знал удивительно много стихов и был замечательным и очень добрым пародистом. После моей лекции "Странные аттракторы и турбулентность" (опять же на Ветлуге в марте 1977 года) он выступил с очень интересными замечаниями по существу дела, а в перерыве подарил моей (тогда еще маленькой) дочке Ире "Стишки на вырост":

Однажды В. Цытович,
А может не Цытович,
А может Рабинович —
Матвей иль Михаил,
На лекции в Ветлуге,
А может не в Ветлуге,
А может быть в Стокгольме,
Чегой-то говорил.

Мели, мели Емеля,
Ландау и Рюэля,
А может не Рюэля,
А может быть Лэре.

[3] Всего их было 9, и М. Л. участвовал во всех, кроме одной, которую он пропустил из-за смертельной болезни М. А. Леонтовича.

Немножко про Рейнольдса,
А может про Арнольдса –
Ведь трудно разобраться
Во всей этой Муре.

Он рисовал аттрактор,
А может не аттрактор,
А может быть форм-фактор,
А может парный граф.

Случайность миром правит,
И это нас забавит,
Но пусть меня поправят,
Коль в чем-то я не прав.

И подписал: "Э. Успенский, 11 марта 1977 г.".

Так получилось, что я никогда не работал совместно с М. Л. над одной задачей и очень грущу об этом. Потому как даже его, на первый взглад, чисто редакционные замечания, при внимательном рассмотрении оказывались очень содержательными по существу.

Последний раз я виделся с Михаилом Львовичем за два месяца до кончины. Он вернул мне статью "Конечномерный пространственный беспорядок" и заметил: "Прочитал с интересом, но замечание только одно – это нашего Рухадзе зовут Анри, а ихнего Пуанкаре звали Henri. Жалко, что не могу прямо сейчас быть полезен по делу, но что-то я не очень..." А сам грустно и тепло улыбнулся сквозь очки. Таким и храню я его в своей памяти.

2 мая 1993 года

Л. А. Островский

НЕМНОГО О ЛЕВИНЕ

Не знаю, смогу ли добавить хоть что-то к тому, что скажут и напишут о М. Л. Левине люди, знавшие его дольше и, надо полагать, лучше, но не хочется упустить возможность вспомнить о человеке, оставившем яркий след в моей жизни.

Кроме того, у меня скопилось много следов его творчества в области "малой литературы", заслуживающих, как мне думается, достаточно широкого интереса.

Не помню точно, когда я познакомился с М. Л., но услышал о нем, вероятно, еще в конце 50-х как о легендарном старшем товарище и вроде бы даже учителе горьковских радиофизиков, включая М. А. Миллера и А. В. Гапонова (хотя разница их возрастов с М. Л. не превышала нескольких лет). Знал я и о знаменитой левинской теории тонких антенн, с которой нас, еще студентов, познакомил М. А. Миллер. А позже приобрел книгу по теории тепловых флуктуаций, написанную М. Л. вместе с С. М. Рытовым. И когда встретил его в Горьком на одной из первых нелинейных горьковских школ, то смотрел на него, конечно, снизу вверх (чему нимало не мешал его невысокий рост). Меня поразила манера общения М. Л. – предельно свободная и вместе с тем предельно уважительная (кстати, тогда и после он обращался ко мне по имени-отчеству, несмотря на солидную разницу в возрасте, хотя это, видимо, было обусловлено просто случайно закрепившейся "начальной флуктуацией"). Так или иначе, он сразу снял все комплексы общения (весьма развитые у меня в ту пору) и поощрял заходить к нему домой, что я время от времени и делал (увы, по стеснительности реже, чем хотелось).

Несколько раз мне повезло быть "поводом для написания" или же объектом дарения М. Л. кусочков своего творчества. Всем известны небольшие стишки-эпиграммы, которые он сочинял по разнообразным поводам, в том числе слушая лекции горьковских нелинейных школ. Приведу то, что сохранилось у меня "документально", в виде его записок.

После одной из моих лекций об океане (в марте 1977-го) он написал стишок по следующему поводу. Я упомянул о синоптических вихрях в океане, которые были открыты сперва советской экспедицией с помощью фиксированных в пространстве (заякоренных) буев, а затем американцами посредством свободно дрейфующих буев, и сопоставил это различие с разницей между эйлеровым и

лагранжевым представлениями в гидродинамике[1]. М. Л. отреагировал на это так:

Среди быстротекущих струй
Стоял на якоре наш буй,
Но та же самая струя
Несла не нашего буя.
Нам подозрителен Лагранж,
А Эйлер — академик наш!

В другом стихотворении на тему этой моей лекции, намекая на слишком плотную завесу секретности, возводившуюся вокруг многих исследований океана, он написал, что то, что океан соленый, есть "*top secret of our state*" (этот стишок "осел", к сожалению, не у меня).

На той же школе, на лекции В. Львова М. Л. передал мне записочку: "Учебный семинар по технике Уайльда проведет В. Львов 17-го марта в 21.00 в комнате №... *(only for men)*".

Здесь М. Л. играл на "однофамильстве": в лекции речь шла о применении так называемой техники Уайльда в теории волновых взаимодействий, предлагая "спутать" автора с Оскаром Уайльдом, известным не только литературной деятельностью.

Другой "урожайной" для меня на левинские стихи была школа 1985 года. Между прочим, в них присутствовал элемент игры: иногда я "заказывал" ему стишки (без темы) за деньги, которые он даже брал, но, конечно, вскоре отдавал обратно. Один из них был дружеским шаржем на лектора, одетого в черный, в обтяжку, комбинезон:

Подражанье Пастернаку

Некто в черном стоял среди дисков
Наобум размещенных светил
И Галактику, как аферистку,
На позор за рукав выводил.

С припиской: *23.3.85. 1 р. 60 к. (1 рубль шестьдесят коп.)*.

Приведу еще образчик "платного" произведения того же времени, написанного уже не на тему лекций, а просто по моей просьбе:

Из школьной азбуки

Охрана писает под кустик.
Островский — сов. и евр. акустик.
Пи Эр квадрат есть площадь круга.
Пузырь ведет себя упруго.

[1] Как известно, в эйлеровом представлении течение жидкости описывают применительно к данной точке пространства и к данному моменту времени независимо от того, какая частица среды находится в этой точке, а в лагранжевом представляют среду как совокупность частиц и "следят" за их движением.

Раскольников убил старуху.
Рэлей умел считать со слуху.
Свинг, как и хук,— удары бокса.
Седов куда сильнее Стокса.
Тор — дважды склеенный квадратик.
Самарский[2] — крупный математик.
Улан храбрее мамелюка[3].
и означает скорость звука
(*и* — латинское) и т. д.[4]

Л. А.! Тут на 4 р. 80 к. (40 к. × 12). Так что теперь Вы должны Незлину 4.80 — 1.40 = 3 р. 40 к.

М. Л. 24.3.85

Он еще добавил на словах: "*евр.*" — *это европейский.*

А вот чуть более поздний образец, школы 1987 года, когда в моду вошли хаос и фракталы:

Фрактален Канторовский Дуст
И с ним Звезда Давида-Коха.
Фрактальны Кафка, Джойс и Пруст.
Боюсь, фрактальна и эпоха.
Весь Божий мир, что был так прост,
Теперь запутан и фрактален,
Везде разрывы в полный рост,
И даже стал фракталом Сталин.
Его третирует[5] весь свет,
Как шельму в яром нетерпеньи.
По мере он сошел на нет,
Но чертовы торчат ступени.
С тех пор как Вечный Судия
Мне дал понятие фрактала,
Фрактальной стала жизнь моя
И новая пора настала:
От побережий до мозгов,
От Ричардсона до Перрена
Веду фрактальный счет шагов:
Фрактальны губка, сыр и пена...
Фрактальны Библия, Коран,
Собранье пестрых глав в Талмуде,
Ряды (Маклорен и Лоран)
И построенья Каца-Муди.

Меня поразили его эрудиция и способность схватывать "из воздуха" новые и непростые идеи; сам я знал не все имена и термины, употребленные в этом стишке.

А из его "школьных" миниатюр, не записанных, а просто произнесенных

[2] Для сохранения размера сделана эквивалентная замена: Тихонов на Самарский.

[3] Вариант: Усатый тор — Арнольда бука.

[4] Чтоб совсем Вас не разорить.

[5] В смысле канторовой процедуры.

вскользь, мне запомнилась его реакция на один из бесчисленных шуточных плакатов, которые со страшной скоростью создавали и вывешивали на стенах наши молодые оргкомитетчики по поводу каждой лекции и которые прославили школу, вероятно, не меньше, чем ее научный класс. На плакате значилось: "Женщина какая не любит Бакая?!" М. Л. тут же поменял ударение в словах "какая" и "Бакая". Было смешно и, уверен, не обидно для лектора.

Вообще, быстрота его реакции на смешное была, по-моему, рекордной. Так, мне довелось быть с М. Л. на одной из "теплоходных" конференций по Енисею. Мы узнали, что наш теплоход "Антон Чехов" был построен в Австрии вместе со своим "близнецом" по имени "Лев Толстой", ходившим (а быть может, ходящим и сейчас, кто его знает) по Волге. Узнав, что этот последний используется как плавучий дом отдыха ЦК, М. Л. с довольным смехом воскликнул: "Я всегда говорил, что Лев Толстой — это зеркало русской революции!"

И наконец, загаданная мне (вероятно, не только мне) "загадка" М. Л. советских времен — откуда цитата:

Поверишь ли: вся партия
Передо мной трепещется:
Гортани перерезаны,
Кровь хлещет — а поют!

Я не помнил, но по размеру стиха угадал, что это Некрасов "Кому на Руси..." (это о партии петухов!), и М. Л. был доволен.

Но был не только юмор.

В 1980-м, во время одного из моих московских к нему визитов, он собственноручно переписал мне замечательное стихотворение, подаренное им когда-то Б. Л. Пастернаку:

Шум затих. Газет умолкла свора.
Жизнь вокруг все глуше и тесней.
Чаша отреченья и позора
Как кошмар в сыпнотифозном сне.
А давно ль холодной анакондой
Извивалась подлости река...
Утром — гильденстерны из Литфонда,
В полдень — розенкранцы из ЦК.
В предзакатном свете снег алеет...
Веря в ясность завтрашнего дня,
Сочиняют фразы Галилея
Мальчики, влюбленные в меня.

И подписал: "*Льву Ароновичу с 20-летним опозданием, МЛ. 20.3.80*". И еще сделал приписку: "*Был еще эпиграф из Шиллера: Для мальчиков не умирают Позы, — но потом я его убрал*". А на словах добавил, что Борису Леонидовичу это стихотворение понравилось.

Быть может, лишь тогда я оценил тот редчайший, по чьему-то выражению, "дар дружбы", которым был наделен Левин. Такие люди, как Пастернак, Сахаров, Искандер, которые во многом формировали заочно наш духовный мир

(не говоря уже о многих лидирующих физиках), по-видимому, принимали (а живущие ныне и принимают) его, как своего и равномасштабного себе. Во всяком случае, имя "Фазиль" (или "Фазыль", возможно, так вернее?) я не раз слышал у него в доме. Помню рассказ М. Л. о юбилее Искандера, о том, как юбиляр нацепил значок с надписью "Партия, дай порулить!" (это, кажется, цитата из какого-то КВН времен позднего Горбачева). Помню мимолетную встречу у М. Л. с уже тогда знаменитым художником Б. Биргером и его молодой женой. Помню у него человека с удивительными, невообразимо черными глазами, заведенными вверх, как у пророка или святого, — А. Пятигорский, известный востоковед. Я тогда показал М. Л. рукопись отзыва очень крупного нашего физика. Взглянув на нее, А. Пятигорский сказал: "Это почерк человека очень талантливого, но душевно очень поверхностного", — чем окончательно закрепил у меня впечатление ясновидца.

Но дело не в "особости" окружавших его людей. В нем хватало доброты и теплоты на всех, включая знакомых "дальнего порядка". Правда, иногда это сочеталось с резкостью и хлесткостью не к врагам даже, а вообще к людям, нарушающим, по его мнению, высокие стандарты благородства. Тогда его беззлобный юмор превращался в жесткую сатиру, и раза два я с удивлением оказывался свидетелем неожиданно резкой реакции М. Л. по не очень, как мне казалось, значительным поводам. Вероятно, прав М. А. Миллер, считая, что эти случаи имели свою предысторию.

Еще немного о моем общении с М. Л. Он увлекательно рассказывал о посещениях в Горьком А. Д. Сахарова (о чем он, к счастью, успел рассказать в "Прогулках с Пушкиным"), о забавных эпизодах на научных семинарах, давал краткие и точные характеристики ученым разного калибра и звания. Когда я должен был ехать в Англию, он сказал, что завидует, поскольку это единственная страна, в которой ему по-настоящему хочется побывать — из-за Шекспира; уровень его "отношений" с Шекспиром теперь известен по тем же "Прогулкам".

Не раз он дарил мне книжки. Особо я радовался прекрасной (с ятями) книге Тиндаля "Звук" с надписью "*Впереди за далью даль, позади старик Тиндаль*". Были и загадки; однажды он подарил подвернувшуюся, видимо, под руку верноподданническую, карманного издания в красном переплетике книжку Бориса Олейника "Кредо" на украинском языке, сделав надпись: "Веруй, потому что лепо!" Я старался не остаться в долгу; однажды мне удалось порадовать его на день рождения старинной книгой автографов (с надписью: "*Не будь я семитомъ неюныхъ годовъ, погрязшимъ в унынии и гневе, я самъ бы автографы клянчить готовъ у Вас, уважаемый Левинъ*"), чем удостоился его благодарности "за царский подарок".

В последний раз я общался с Михаилом Львовичем в Доме кино, куда он взял меня на презентацию документального фильма. И тут я снова убедился, сколь широк круг его дружеских общений, и он легко и охотно вводил меня в этот круг. И не было вовсе чувства, что больше не увижу его живым...

Для меня М. Л. был не только исключительным человеком, "гением по совокупности", но и одной из редчайших духовных отдушин в лихорадке бездуховных научных будней советского времени. И я счастлив, что принадлежал к числу людей, которых он дарил своей симпатией.

Г. В. Пермитин

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Сочиняют.....
Мальчики, влюбленные в меня.
М. Левин

Весной 1967 года М. А. Миллер (МА) обратился ко мне с просьбой "подмочь" — приехал его друг и учитель Михаил Львович Левин (МЛ) с дочкой Тахой, которую надо чем-то занять на время важного разговора... От той короткой встречи на волжском откосе осталось в памяти несколько удивлений. Удивила собственная внутренняя раскованность (обычно мне не свойственная) при знакомстве с классиком электродинамики, одним из создателей теории тонких антенн. Удивил Миллер — в присутствии учителя непривычно умиротворенный и неконкурентный. Но больше всего поразила необычайная щедрость, естественность и необидность левинского юмора.

На следующий день МА "подредактировал" мои впечатления:

— Юмор Левина — совершенно уникальное явление природы, не имеющее аналогов... Но он не всегда бывает мягким и безобидным. Бывает и жестким и, иногда, даже несправедливым... А хотите узнать его мнение о вас?.. Он дал вам удивительную характеристику: "Твой Пермитин похож на Карлсона, который живет на крыше за трубой".

До сих пор не понимаю, и никто не может мне толком объяснить — чем я так похож на "в меру упитанного мужчину в самом расцвете сил". Вряд ли речь шла о такой мелочи, как внешнее сходство (хотя и несомненное). МЛ был тонким психологом, он умел не только распознавать глубоко спрятанные от них самих свойства людей, но и высвобождать. Вот и теперь, находясь под его влиянием, я ощущаю непреодолимое желание немного пошалить и вспомнить, как шалил сам Михаил Львович.

Мне повезло, и наше знакомство закрепилось через пару недель на конференции в столице Туркменистана. Нижегородскую делегацию разместили в центральной гостинице с названием "Ашхабад" и удобствами в пустыне Кара-Кум. Только двоих оргкомитет отделил от нас и направил в местный Дом колхозника (Колгхоз-чи по-тамошнему). Не буду описывать ковры ручной выделки на полу и стенах их необъятного номера — главным его достоинством

был широченный балкон, буквой Г огибавший строение. На балконе стоял круглый дубовый стол размером с вертолетную площадку. За этим столом мы собирались по вечерам и принимали гостей.

Постоянным участником наших вечерних заседаний был Михаил Львович (только поэтому, наверное, они и запомнились на всю жизнь). В один из первых же вечеров после обсуждения серьезных и забавных эпизодов конференции скатились на банальную "травлю" анекдотов. Михаил Львович не стал выражать свое неудовольствие, не ушел, а наоборот, вроде бы, поддержал компанию и внес свою лепту. Он рассказал историю о том, как наш первый посол в Японии Трояновский — "не только старый большевик, но и старый одесский еврей" — уединялся с молодым императором Хирохито и переводил ему на английский соленые анекдоты. Эти "засекреченные переговоры" между микадо и советским послом вызвали переполох в дипломатических и шпионских кругах, слухи дошли до Москвы, и Трояновского отозвали (а потом с невероятным трудом внедряли в Токио доктора Зорге).

Удивительное дело! Был пропет настоящий гимн анекдотам, но все за столом почему-то потеряли к ним интерес и никогда в дальнейшем не пытались "травить" их при Левине. Не берусь утверждать, что МЛ в принципе не любил расхожих анекдотов. Может, он знал их не меньше, чем Трояновский, но не рассказывал их просто так без повода. Он не рассказывал их даже и по поводу, а вкраплял в свои новеллы и интермедии.

Однажды очаровательная аспирантка, "скраденная" прямо из-под носа бдительно опекавшего ее научного руководителя, пела нам под гитару песенки про "белые чайники, эмалированные", про скандал с британским министром обороны Профьюмо, про стойкость нашего маршала Малиновского... Меня несколько удивлял Михаил Львович, который, не проявляя должного интереса к завораживающему пению, сидел бочком к столу, курил и просматривал свежие газеты. Вдруг он с очень важным видом изрек:

— С сегодняшнего дня вступает в силу статья Уголовного кодекса РСФСР об ответственности за оскорбление словом и действием государственных символов и святынь...

Он встал и на наших глазах превратился в самодовольного сановника, одержавшего крупную победу в верхах и пробившего столь важный для народа закон.

— Тех, кому не интересно, хочу предупредить: незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение...

Все притихли, не понимая, почему это Левин так носится со святынями, что с ним случилось и куда он клонит. Было как-то даже не по себе...

Вдруг самодовольный взгляд Левина споткнулся о развевающуюся, как символ, газету... Это уже был взгляд дотошного кабинетного ученого.

— Хм... Составители, однако, допустили непростительный промах... Я намерен немедленно, прямо здесь, за этим столом воспользоваться этим промахом... и, пока власти не спохватились, нанести оскорбление словом одной из главных святынь государства.

Он уже сидел за столом и был привычным, лукавым Михаилом Львовичем:

В Париже проходило международное состязание девиц легкого поведения. Соревнования были упорными и изнурительными. В финал (так это, кажется, принято называть в спорте?), в финал пробились Мари из Марселя и наша Манька из Одессы. В финальных... заездах соперницы шли ноздря в ноздрю. Перед самым последним на два очка вперед вырвалась Манька... Обстановка накалилась до предела. Зрители в экстазе... Последний рывок... и чемпионкой мира становится... Мари из Марселя!

Парторг команды вызывает к себе рыдающую Маню:

— Что же ты, курва, натворила? Неужели не понимаешь, шлюха, какое доверие тебе было оказано партией и правительством? ...Ах, ты еще и надеешься оправдать?!! Да теперь тебя на Дерибасовской последний фраер не захочет!

— А что я могла поделать? Эта стерва, когда последние силы были на исходе, Марсельезу запела!.. А я наших слов не знаю.

Михаил Львович протянул нам газету:

— Можете теперь убедиться, что я не нарушил уголовный кодекс!

Про гимн в указе не было ни слова...[1] В тот раз за круглым столом все имели возможность убедиться, что в М. Левине не погиб великий артист. А вскоре он нам и сам рассказал, как приобщался перед войной к сценическому искусству:

Как-то после стипендии студенты физфака МГУ скинулись и купили довольно большое число билетов в Большой театр (у одного из них тетка работала там билетером). Перед самым началом спектакля билеты продали с рук...

И вот: театр уж полон... Но дальше все пошло не по Пушкину. Ложи, вместо того чтобы блистать, начали закипать... А партер не кипел, как ему положено, а блистал в прямом смысле этого слова... Поперек партера крупными буквами было написано короткое неприхотливое слово, которое очень часто можно встретить на заборах и в подъездах. Но написано оно было не мелом, не краской, не гвоздем... а отборными блестящими лысинами...

Попытки утихомирить публику к успеху не приводили... Примерно через полчаса кто-то из администраторов догадался подняться и оглядеть зал сверху... Еще полчаса потребовалось на рассеивание стройных рядов лысых по залу... Наконец, дирижер взмахнул палочкой.

Вспоминая Ашхабад-67, я кляну себя за то, что сдрейфил и не полетел на один день с Михаилом Львовичем в Самарканд и Бухару. Застращал опекавший меня сослуживец — сказал, что примет все меры, чтобы я никогда, ни на одну конференцию впредь не был послан. Теперь я понимаю, что он просто ревновал Левина ко мне... С тоски я выучил полный набор непотребных туркменских ругательств. Для баланса дополнил его примерно таким же количеством "потребных" слов и сел сочинять на пустующем балконе (без МЛ он потерял всю свою притягательную силу) туркменскую песню. К вечеру песня сложилась, и я, надев свой тельпег, запел ее гнусавым, гортанным голосом.

Нечетные строки были нацелены в нечестивые уши обидчика:

Гот джеляб аял сик.

---

[1] Об отношении Левина к прочим символам можно судить по строкам, написанным им в стиле И. Мятлева четыре года спустя:

... Но обуха не переспорить плетью,
Как говорит российский наш проверб
Про символы, что не вошли в советский герб...

Четные — в никуда:

Чал агран ясман-салик.

Песня переливалась через перила и растекалась по пустынным улицам Ашхабада. Город притих, вслушиваясь в леденящую душу мелодию неведомого акына. И сердца суровых аборигенов сжимались от неясных предчувствий.

Михаил Львович, вернувшийся из аэропорта, откликнулся на мой призыв, поднялся на балкон и утешил меня, поделившись тайной, которую вырвал у камней пустыни в своей поездке. Вот он, считавшийся утерянным.

Секрет бухарского эмира

У эмира Бухары было тысяча жен и много слуг. И был у него визирь, который спас эмиру жизнь, раскрыв коварный заговор. Эмир захотел наградить визиря.

— Скажи! О, любезный мой раб! Что хочешь? У меня всего много. Я дам.

— О, мой повелитель! У тебя тысяча жен...

— Жен не дам!

— О, мой повелитель! Я не прошу твоих жен. Как бы я посмел? У меня своих четыре — и я не могу с ними справиться. Скажи! О, повелитель! Как ты справляешься с целой тысячей? В чем секрет твоего мужества?

Задумался эмир. Как он мог сказать секрет своего рода. Если каждый будет знать секрет мужества, каждый захочет тысячу жен — где взять?.. Но эмир сказал — даст! Эмир — должен дать... Секрет, в конце концов, не жена — без ума не овладеешь.

— Хорошо, раб мой. Я скажу. Но будь внимателен. Это очень опасный секрет. Не выполнишь точно всех указаний — пожалеешь... Готов ли ты слушать — записывать нельзя.

— Готов! О, мой щедрый повелитель!

— Всякий раз перед тем, как взойти к женам, поймай в своем стаде самого белого барашка — белого, как горный снег. Освежуй его. Нанизай на вертел и подвесь томиться над слабыми угольями. Когда барашек начнет выделять сок и сок будет с шипеньем капать на уголья, вспыхивая голубыми огнями, возьми золотой сосуд... Но не спеши. Отрешись от сует, собери всю волю в мизинец левой руки и тогда подставь сосуд... Когда первая капля со звоном разобьется о золотое дно, ты услышишь, как она вошла в твой мизинец и прожгла тебя. Не медли — перенеси себя в безымянный палец левой руки, и все повторится. И так капля за каплей, пока не кончатся пальцы на твоих руках и ногах... И тогда вновь собери всю волю свою, и последняя капля ударится о золотое дно... Выпей содержимое сосуда и взойди к своим женам... Я все сказал... Уходи, раб! Мне надо пасти свое стадо.

Все сделал так визирь, как сказал повелитель... И когда последняя капля ударилась со звоном о дно золотого сосуда, он почувствовал, как что-то чуть-чуть шевельнулось под халатом. Но только чуть-чуть...

"Обманул, шакал! Захотел остаться сильнее меня! Ишь, как он тут капли хитро считал — на каждый палец по одной капле, и на главный орган — тоже каплю!" И тогда снова визирь подставил золотой сосуд под капающий сок, и наполнил его до краев. И ви-и-пил!

И распахнулся халат визиря! Что-то зловещее и огромное смотрело на него. Оно росло, наливаясь кровью. Визирю стало страшно, он захотел остановить рост руками. Но от прикосновения чудище стало расти еще быстрее. Оно всосало в себя всю кровь из тела визиря и лопнуло...

По возвращении Левина на балкон вновь потянулись радиофизики. МЛ, комментируя мою песню, сказал, что знает только одного человека с такими, как у меня, способностями постигать экзотические языки, не зная толком собственного:

Был у них в группе студент по имени Жора. И была у Жоры заветная мечта — совершить подвиг и получить настоящий боевой орден. Кто-то намекнул ему о возможности поехать добровольцем в Абиссинию, где в те года война была. У другого студента дядя работал в генеральном штабе нашей, тогда еще Красной Армии, Жора стал приставать к товарищу — поговори да поговори с дядей, узнай, как бы оформиться добровольцем.

Дядя согласился, выписал пропуска Жоре и племяннику. В большом кабинете, куда их провели, к ним спиной перед картой Африки стоял комбриг и втыкал флажки. Наконец, он обратил внимание на прибывших:

— Я в курсе... Люди нам нужны... Но необходима серьезная подготовка. Все инструкции будете получать через моего племянника.

Первым заданием было — выучить эфиопский язык... Тут Жора всех удивил — через три месяца он с блеском сдал экзамен аспиранту с дружественного факультета ("Это вам, Гера, не «кыз, аял, гечельге»")... Настоящие трудности возникли с внешностью Жоры — яркого блондина. После долгого и упорного сопротивления он сдался, сделал горячую мелкую завивку (перманент) и выкрасил волосы в смоляной цвет...

Наконец, Жоре вручили схему маршрута к сборному пункту и список продуктов, которые он должен взять для обмена на валюту за рубежом... На сборном пункте (даче того же дядюшки) Жору ждала в нетерпении вся группа — на столе стояли только бутылки. Встречен он был вздохом облегчения:

— Вот и закуска прибыла!

Жора бросил рюкзак и убежал. Полгода он не разговаривал с товарищами... А боевой орден все-таки получил. Пошел добровольцем на фронт и совершил подвиг... Остался жив, закончил учебу и теперь членкор.

С годами Михаил Львович утратил интерес к "практической шутке", но не растерял любви к мистификациям. Из единственной строчки в газете, опечатки, случайно оброненного слова он воздвигал фантасмагорические нагромождения, стилизованные, конечно, с неподражаемым изяществом...

Мне самому пришлось стать "жертвой" одного из левинских розыгрышей, и я принял "заклание" без малейшей досады и стремления защитить скучную правду. Мне даже было приятно, что МЛ отступил от нее и сгладил мой предосудительный поступок. В левинской байке я, как Дон Жуан, обращаюсь к изваянию Сталина над его могилой у кремлевской стены: "Дэдушка! Хочеш хорошенький грузинский малчик?" И, был грех, я действительно произносил почти такую фразу (правда, на Курском вокзале). Подлинник отличался от копии одной-единственной буквой — в нем было: "Дэвушка!"

Мистификации Левина были произведениями искусства. Так же, как и его байки, устные рассказики, письма, проза и поэзия. Он блестяще пользовался литературным приемом, названным Виктором Шкловским "остранением". Все его фантасмагории были стилизацией реальных фактов и событий, их воздействие было рассчитано, в основном, на узнавание слушателями самих себя, известных событий, товарищей и начальников. И чем мудренее была левинская маскировка, тем большее удовольствие доставляла расшифровка.

Но Левин пошел дальше в развитии приема "остранения" и внес в нашу литературу оригинальный вклад. Он вкраплял в свои произведения мотивы, целые куски, ритмы лучших поэтических и прозаических достижений нашей и англоязычной литературы. Особенно удачно он делал это в своих стихах. Думаю, сейчас нет ни одного человека, способного полностью воспринять и оценить его поэзию — слишком экзотичен и необъятен был левинский фон (или background — не знаю, как правильнее).

Сам Михаил Львович называл себя версификатором, а не поэтом. Наверное, он слегка лукавил. Левин поднял свежий, никем не паханный пласт поэзии, который только сейчас начинает входить в моду (наиболее ярким представителем "левинского" направления является Т. Кибиров).

Осенью 1974 года М. А. Миллер взял меня в Москву в качестве "языка". Он был в полном безречье, и ему предстояла операция на единственной почке. Квартировать меня определили у Левиных "на Соколе". Семья в те времена постоянно жила на даче в Абрамцеве, старшие дети учились там в местной школе. В московской квартире около станции метро "Сокол" Михаил Львович жил один, и мое "подселение" не было слишком обременительным. Я не воспринимался в доме как гость, и сам гостем себя не чувствовал. Иногда все наше общение за целый день сводилось к одной фразе:

— Гера, ужинайте без меня. Я что-то не хочу...

Это означало, что МЛ подавлен, недоволен собой, что у него дикая головная боль. Удивительно, что при полном неприятии лекарств ему удавалось как-то ее превозмочь. Как правило, он все-таки появлялся часам к десяти — к полдесятому из своего логова, и начинался непременный вечерний "телемарафон". Телевизора у них в доме тогда не было по принципиальным соображениям, и "теле", в данном случае, от "телефона".

С телефона, кстати, и началось мое освоение территории "на Соколе", (я бывал там и раньше, но мимоходом). В субботу, когда еще Миллер был дома, я умудрился расколотить телефонную трубку. Увидев содеянное, МА написал:

— Гера! Что мы (!!!) наделали? Телефон для МЛ не средство общения, как для прочих, а один из способов существования.

Пошли искать телефонную станцию. Нашли. Но оказалось, что заказ может быть принят только в понедельник. Мы не могли позволить себе повторить вслед за Штирлицем: "Доживем до понедельника". Произвели "шмон", нашли нераспакованный японский магнитофон, распаковали и подсоединили нужные проводки к его усилителю. Телефон ожил...

Вечером "на Соколе" собралась довольно большая компания — пришли проводить Миллера в опасный путь. Наше изобретение получило должную оценку. Речь ничего не подозревающего абонента на том конце провода, воспроизведенная чисто, ясно и громко, на всю комнату, где собралась далеко не скучная компания, производила эффект хорошо поставленного и отрепетированного эстрадного номера... Только хозяину не хватило чувства юмора. Он бросил взгляд на содеянное мной безобразие, сухо поздоровался со всеми и скрылся в кабинете-спальне. МА написал мне:

— МЛ очень осерчал на нас. Магнитофон ему подарили на юбилей, но он

ему совершенно не нужен. Поэтому он берег его для переподарения. А теперь мы лишили эту вещь подарочной девственности, залапав своими руками.

Терзался я недолго, так как встретил в тот вечер "девушку моей мечты" — Наташу Васильеву, художницу с огромными серыми глазами, с волной пепельных волос — легкую и звонкую. Я распустил перья, растерял всю свою наблюдательность и потому не помню, как среди нас вновь оказался Левин. Он сидел у "телемагофона" и лукаво дирижировал своим собеседником. Теперь я думаю, что он первым понял всю опасность нашего изобретения и взял его под контроль.

В понедельник спозаранку я уехал по делам, вернулся к обеду. Телефон был уже в полной исправности. Я был даже слегка раздосадован оперативностью столичного сервиса, так как был лишен доступа к "потусторонней" половине левинских телефонных диалогов. Но и слышимая их часть поражала мое воображение. Интересовались, например, кандидатом в академики. Добро бы речь шла о физике или, на худой конец, математике. Нет, спрашивали о каком-то "общественнике". И МЛ подробно излагал, что кандидат писал в начале пятидесятых, что во времена хрущевской оттепели, что говорил на последнем съезде "сописов"... Или спрашивали о каком-нибудь "темном месте" в критической статье из последнего номера "Вопросов литературы" (я долго не мог понять, о каких "воплях" идет речь). МЛ разъяснял, на что намекает автор. Говорил о недобросовестности цитирования, что приведенная цитата оборвана с искажением смысла, и приводил ее полностью... Иногда мне становилось по-детски обидно за Михаила Львовича — ведь абонент на том конце мог подумать, что МЛ держит в руках журнал, зачитывает какие-то заранее заготовленные выписки. А у него все умещалось в голове!

Не знаю, когда заканчивались левинские телемарафоны. Я начинал клевать носом, и МЛ уходил с телефоном на кухню. Зато утром я вставал раньше и успевал к пробуждению Левина сбегать в булочную и за газетами. Когда он первый раз перечислил, какие газеты мне надо купить, я счел его заказ несерьезным. Мне казалось, что такую прорву невозможно даже просмотреть. Но однажды вечером я нашел купленную мной утром стопку — все они были испещрены аккура́тными левинскими подчеркиваниями. Попробовал найти в газетах хоть что-нибудь интересное, но пропущенное Левиным. Не нашел!

В канун Дня Благодарения Миллера положили в больницу, и мы с Михаилом Львовичем остались в квартире одни. Встречались мы, в основном, на кухне. Это была "нейтральная территория", где все было "по гамбургскому счету" — любимое и часто повторяемое выражение Левина. Остальная квартира была без всякого уговора поделена на "зоны влияния". Я никогда не переступал невидимую черту, отделявшую от гостиной комнату, где исчезал МЛ. Но и мне был выгорожен стеллажом "уголок уюта" в гостиной, где МЛ был нашим с Нюшей гостем. Немного о Нюше...

Против "моей" софы на стеллаже висела довольно большая картина без рамки, с которой я сроднился и подолгу разглядывал. Из хаоса светлых однотонных мазков постепенно проявлялись контуры обнаженного женского тела. Размытые формы наливались, обретали осязаемую упругость. Невозможно было понять: были ли на полотне видимые детали, или это только плод моего

воображения. Голову и лицо никак не удавалось ни разглядеть, ни домыслить. Более того, при таких попытках ускользало и все остальное, только что четко видимое. Может быть, в этом и состоял основной замысел неведомого мне мастера: не ищи, мол, в женщине разумное начало — потеряешь ее всю...

Мне думалось, что эта нимфа была проявлением личной заботы Михаила Львовича обо мне, надолго оторванном от женской ласки... Как-то он перехватил мой взгляд:

— Вам нравится эта работа, Гера? Мы называем ее "Нюша". Вы часто пользуетесь греческой буквой ν?

Я ответил, что более физичной считаю циклическую частоту ω, к тому же проявляющиеся на этой картине формы больше напоминают именно эту греческую букву. Затем поделился менее серьезными своими наблюдениями. Михаилу Львовичу было явно приятно, что его предусмотрительность не пропала втуне, он назвал автора "Нюши" (Бориса Биргера) и стал рассказывать о других картинах в комнате...

Дошли до маленького темного холста, никогда не привлекавшего моего внимания.

— А это — "Доктор Живаго" Бори Биргера. Помните, Гера:

Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Я не помнил, так как не читал "Живаго". Но было все-таки странно, что тьма довлеет в картине над светом...

Добрались, наконец, до последнего экспоната — висящего у самой двери светло-сизого полотна, напоминающего мне иллюстрации к статье про шизофрению в медицинской энциклопедии, о чем я не преминул сообщить экскурсоводу...

Все бы кончилось мирным чаепитием на кухне, если бы не моя бестактность:

— Мне кажется, что картин здесь слишком много, слишком плотно они развешаны и слишком разнородны — не создают общего настроения. Может, лучше держать большую часть ваших приобретений где-нибудь в чулане, время от времени меняя экспозицию в зависимости...

— Вы ошибаетесь... Я не собиратель, не коллекционер. Ни одна из находящихся здесь работ не является моей собственностью.

Прозвучало это непривычно сухо. А потом — совсем непонятное:

— Я маршан... Это французское слово. Ближайшее английское — "*merchant*". Если и это вам недоступно — "купец". Но на жаргоне богемы означает более конкретную профессию — посредник при продаже картин... Я — маршан.

Второй раз он произнес это пугающее меня слово и застыл в состоянии бесстрастной окаменелости. Тяжелый, равнодушный взгляд был направлен мимо меня... Передо мной стоял неумолимый скупщик, назвавший свою цену.

Я растерялся и не поддержал предлагаемую Михаилом Львовичем игру. Надо было выступить в роли покупателя и приобрести пару-тройку полотен — глядишь, сейчас был бы миллионером (в $) или миллиардером (в рублях). Потом я узнал у Наташи Васильевой (которая была ученицей Б. Биргера), что МЛ действительно помогал продавать картины, но не те, которые висели на стенах —

они принадлежали Биргеру, и он не собирался с ними расставаться. Продавались лишь "творческие искания" Биргера, предназначенные им на выброс. Они хранились во встроенном стенном шкафу. Один раз я видел, как их оттуда извлекали и показывали потенциальному покупателю.

Прежде чем закончить тему живописи, скажу еще об одной картине Биргера. В маленькой комнате, занимая почти всю стену, висел портрет Варлама Шаламова. Миллер объяснял мне:

— Главное в этом портрете — руки. Вы посмотрите, Гера, как удивительно выписаны руки!

Поддакивать не хотелось... В портретах меня привлекает взгляд, а там его не было. Формально был, но не было в нем жизни. Может, и в этом был замысел мастера, который как бы хотел сказать:

— О какой жизни может идти речь в этой стране?

Именно в "шаламовке" состоялось мое посвящение в опасную тайну... Был ясный солнечный день. Мы мирно беседовали и никуда не спешили. Я рассказывал о том, как был уличен в читальном зале замдиром по режиму НИРФИ в сличении вариантов "Апрельских тезисов ЦК" к 100-летнему юбилею Ленина в "Правде" и "Коммунисте" (они различались цитатой оппортуниста Отто Бауэра, приписанной незадачливыми ИМЛовцами вождю). Михаил Львович отреагировал с неожиданной торжественностью:

— Гера! Я хочу познакомить вас с очень важным документом. Он проливает свет на некоторые зловещие обстоятельства моего появления на свет. Обычно я все свое ношу в себе. Но эта тайна так гнетет меня, что хочется с кем-нибудь разделить ее тяжесть. Вы не откажете мне?

— Михаил Львович!!!

Интонация, видимо, удовлетворила его, и он, не нажимая никаких секретных кнопок (!), взял открыто стоящий в шкафу "Ленинский сборник XXXVII" за 1970 год. Подсел ко мне на диванчик под портретом Варлама Шаламова, раскрыл на странице 279 и прочитал, давая и мне следить глазами, но не выпуская из рук важный документ — записку предсовнаркома наркоминделу:

"т. Чичерин! Я получил это в прилагаемом конверте. Кто это? Будьте архиконспиративны и выясните, пожалуйста, кто это и как надо поступить.

29/I [1921] Ленин"

— Вам не кажется что-нибудь странным в этом документе?..

— ...

— Ну, ладно. Я дам вам наглядный урок работы с историческими документами. Обратите внимание — какие вопросительные местоимения употребил автор?

— "Кто". Вот, два раза повторил: "Кто".

— Правильно! Это вас не удивляет?

— Теперь удивляет. "Кто" относят обычно к одушевленным существительным, а здесь отнесено к тому, что было принесено в конверте. Это странно... Если бы один раз, а то — два раза. Может, из конверта выбежал таракан?

— Гера! Будьте серьезнее... В работе с документами есть такое правило, если дело зашло в тупик, надо изучить окружение загадочного места. Принесите, пожалуйста, Ожегова... Найдите слово конверт и прочитайте...

"КОНВЕРТ, 1. Пакетик из бумаги... 2. Род одеяла специального покроя для грудных детей".

— Михаил Львович! Я — тупица! Еще три года назад я выгуливал свою Нинку в кон-вер-те!!

— Гера! У вас есть вкус к слову. Это хорошо сказано — выгуливал Нинку... Но в конвертах детей не только выгуливают, но и ...подкидывают!

— Михаил Львович! Неужели Ленину (!) посмели подкинуть ребенка.

— Гера, это делается не от избытка смелости. Интереснее другое: кто был в конверте?

Я был озадачен... Но тут Левин убрал закладку, которой он все время прикрывал низ страницы. Там был комментарий. И сразу резануло черным по белому напечатанное: М. Л. Левин (!!).

— Михаил Львович! Это были Вы??!!

— В таких случаях принято говорить: комментарии излишни.

Я тупо уставился в книгу, которую Михаил Львович теперь отдал мне в руки, видимо переста так дорожить кошмарным документом, разделив гнетущую тяжесть со мной. Мне даже показалось, что он не пожадничал и скинул мне ее всю без остатка, а теперь, довольный собой, прохаживался по комнате... Вдруг мне удалось воспользоваться уроком учителя и найти еще одну неувязку в книге. Там говорилось, что М. Л. Левин — один из основателей Коммунистической партии Баварии. МЛ отбросил мои сомнения с небрежностью:

— Доверять, Гера, надо документу, а не комментариям.

Но мой исследовательский порыв было уже не удержать:

— А вот еще! Вы родились 1 февраля, а подбросили вас 29 января! Вас это не смущает?

— Смущает, Гера, очень смущает. Это одно из самых трудных мест. То, что записать подкидыша могли любым числом, меня не удивляет. При нашей-то путанице. Смущает другое: когда же мне теперь принимать подарки?

— Михаил Львович! Есть идея! Всем известно, что Ленин часто путался: ноябрьскую революцию называл октябрьской, мартовскую — февральской... Вам было... полторы недели от роду!

— Гера! Вы — гений! Я все вспомнил и теперь так отчетливо слышу папочкин голос: *"Убе'ите майчика!"*

— Михаил Львович! Люди обычно помнят себя с трех-четырех лет. Только один человек утверждал, что... — но МЛ опередил меня:

— Это распространенное заблуждение. Граф Лев Николаевич Толстой, например, помнил себя с внутриутробного периода...

Мы были крайне довольны друг другом.

— Гера! Я доверил вам тайну. Доверяю теперь и хранение этого очень опасного для страны документа.

И он надписал мне "Ленинский сборник":

"Ге'а, будьте а'хиконспи'ативны! Моя честь в Ваших 'уках.

М. Л."

Вспоминая эту сценку, я испытываю некоторое смущение. Ведь отлично помню, что тогда был солнечный день... А днем я должен был дежурить в больнице... У МА была отдельная палата. У окна стоял столик, пара кресел и

диванчик, на котором, помню, в одно из посещений уютно расположился Михаил Львович. Он был улыбчив и расслаблен. Чувствовалось, что ему хорошо и никуда идти не хочется.

Для точного описания диалога с МА (в то время, конечно) требуется привлечение слишком большого числа поясняющих глаголов: писал, читал, говорил, кивал... Я приношу в жертву эту точность, чтобы не искажать плавный и покойный характер беседы в тот день. Иногда она даже сходила на нет, учителю и ученику было достаточно просто смотреть друг на друга.

В один из таких идиллических моментов в МА шевельнулся ген, доставшийся ему от немецких предков, — он (ген) напомнил, что именно сейчас, минута в минуту, надо заполнить одну из многочисленных баночек для урологических анализов.

МА пошел в предназначенный для этих целей угол, но вдруг замер, прислушался, поддернул быстро штаны и вернулся к столу. Снова прислушался.

— Нет. Это не Кан.

— Что с тобой, Миша? Кто из нас не Кан?

— Услышал шаги — подумал, что сюда идет Кан. Но теперь слышу, что не он.

— Ты, Миша, стал здесь настоящим толстовцем.

МА выразил недоумение...

— Снимаешь штаны только к приходу профессора.

Недоумение не рассеялось. И тогда Михаил Львович рассказал старинный анекдот:

Почтовый поезд подходит к Ясной Поляне. Пассажиры высыпали из своих купе и прилипли к окнам — смотреть, как Лев Николаевич пашет. Возникла давка... Вышел проводник:

— Господа! Успокойтесь и займите свои места. Граф выходят только к курьерскому!

Здесь я должен отвлечься и хоть немного сказать о Дмитрии Вавиловиче Кане. Он был одним из двух наших медицинских светил в области урологии, его называли даже "королем мочеточников". К тому же был удивительно обаятельным и отзывчивым человеком. Это, наверное, и предопределило решение Миллера и его друзей "ложиться" к нему. По возвращении домой в Горький меня ждала неожиданная встреча с Каном. Просматривая журнал "Акушерство и гинекология", который выписывала моя жена, я наткнулся сразу на две статьи Д. В. Кана. Так я узнал, что он не только уролог, но и гинеколог. После этого я не пропускал ни одной его статьи в указанном журнале — было приятно встретиться с ним хотя бы и таким образом. Однако мои познания в области гинекологии пополнялись не только рассказами жены и статьями Кана. Был даже некоторый практический опыт — я помогал принимать роды у коровы в деревне. Но главный урок в области акушерства мне преподал Михаил Львович Левин!

Я излагал длинную и красивую легенду о приключениях нижегородцев в Бурятии на дифракционной школе. Был в ней незначительный эпизод, когда я оказался в бараке на темной окраине Улан-Удэ в очень стесненных обстоятельствах. У меня был выбор: либо немедленно применить рецепт бухарского эмира, либо трусливо бежать (но тогда накрывалась интересная поездка в Священный

буддийский Дацан и два ящика копченого омуля). Я нашел третий выход — выдал себя за врача-гинеколога. Агрессивное настроение аборигенок сразу сменилось на благоговейный трепет. Но я не рассчитал всех последствий. Меня заставили провести профилактический осмотр! Пришлось обмерять портняжным сантиметром ромбы Михайлиса обнаженным буряткам, запястья, щиколотки и т. п. После этого я с важным видом изрекал:

— Должен предупредить: вас ожидают очень трудные роды!

Диагноз был совершенно объективным, но... выгодным для меня — он подстраховывал от внезапных смен настроения ветреных красоток.

В ответ Левин поведал мне "Притчу о настоящем ученом".

Маститый английский ученый Джон Бернал был и внешне очень мастит. Огромный костистый череп, глубокие глазные впадины, выпуклые надбровные дуги, кустистые брови, тяжелый скелет... На шестом десятке он страстно влюбился в молоденькую аспирантку, и она полюбила его. Они поженились и очень хотели иметь ребенка, но не просто ребенка — а мальчика, и не просто мальчика — а настоящего маленького Бернала. Дело, вроде, нехитрое... Однако Бернал был настоящим ученым. Он решил предварительно изучить проблему. Обложился специальной литературой, справочниками, сделал все необходимые замеры (Как вы сказали? Параллелограмм Михайлиса?.. Ромб? Но ромб, если не ошибаюсь, частный случай параллелограмма! Вы просто не в духе и придираетесь ко мне). *Итак, Бернал произвел все необходимые измерения и расчеты. И установил — если у его юной жены родится мальчик, настоящий маленький Бернал, то исход может быть только один из трех. Либо погибнет мать, либо погибнет мальчик, либо погибнут оба...* (Я же, кажется, говорил вам, что у Бернала была очень крупная голова? А у его юной жены были, видимо, какие-то нелады с этим самым ...квадратом Михайлиса. Что? Ромб? Ну уж квадрат-то точно частный случай ромба!.. Что? В норме этот ромб и должен быть квадратом? Зачем же вы мне голову морочили?)

Бернал был настоящим ученым. Он снова засел за расчеты, не спал ночами, выводил формулы и строил графики. Наконец, он нашел... Если его жена первыми родами родит мальчика, но не настоящего Бернала, а так — не крупного, но и не мелкого, то вторыми родами она может родить настоящего маленького Бернала. И он принялся обмерять головы и запястья своих знакомых. Среди них нашелся один очень подходящий...

Бернал сделал другу лестное предложение. Тот был возмущен выше всякой меры. Но Бернал показал ему формулы, графики, таблицы... Друг тоже был настоящим ученым — он согласился...

Через четыре года по дому бегали два счастливых братишки. Младший был настоящий маленький Бернал.

Мое пребывание "на Соколе" подходило к концу. М. А. Миллеру сделали операцию. "Языка" сменила "нянька". У меня было два совершенно свободных дня, и я намеревался обойти своих новых московских знакомых, развлечься... Но Михаил Львович распорядился по-другому — он дал мне на сутки почитать "Архипелаг ГУЛАГ":

— На дольше — не могу. Завтра вечером мне его надо возвратить...

Сутки я не спал и не ел. Книга просто раздавила меня. Забирая ее, Михаил Львович поинтересовался моим мнением. Я объяснил, как умел. Но потом добавил, что не считаю эту книгу художественной литературой, скорее, это публицистика.

— Я не согласен с вами... По своей образности и эпичности проза Солженицына не знает ничего равного со времен "Войны и мира".

И Левин на память прочел мне длинный отрывок из Солженицына, где описываются стертые ступени лестницы на Лубянке.

— Я сам это видел... Это очень точный и емкий образ.

Я позволил себе не совсем согласиться с ним, стал говорить о прозе Солженицына вообще, что мне нравится, что не нравится... Михаил Львович слушал внимательно, но как-то незаинтересованно... Вдруг он оживился:

— Мне тоже очень нравится "В круге первом"... Ведь мне довелось побывать в подобной шарашке.

И он начал с удовольствием и юмором, даже как-то мечтательно, рассказывать про шарашкинские порядки, нравы, про начальников...

Одной из самых больших потерь в моей жизни я считаю то, что "заспал" тогда самый интересный, из слышанных мною, рассказ Левина. Он ушел тогда относить опасную книгу владельцу, а я свалился на софу рядом с Нюшей и мертвецки заснул, не успев перекатать рассказ по своему мозгу необходимое для отправки в долговременную память число раз. Запомнилась только последняя сонная мысль, к которой я потом неоднократно возвращался: "Как же так? Вот я только что прочел о невообразимых ужасах, об атмосфере страха и террора. И вдруг человек, испытавший это на себе, вспоминает о тех событиях без всякой злобы, без пафоса, с милым юмором и даже с какой-то мечтательностью и теплом. Он вспоминал так, будто речь шла о лучших днях его жизни!"

Я уезжал домой в Горький и уже тогда понимал, что отмечен Судьбой — в моей жизни была Левинская Осень.

Почти за год до описанных выше событий, в феврале 1974 года, я оказался в Москве в командировке, один. Мне исполнилось тридцать три года, взгрустнулось, и я поехал за подарком. Повезло. Михаил Львович только-только переступил порог, возвратившись с работы. Был он необычайно возбужден и подтянут. В этот день выдворяли А. И. Солженицына. То, что самолет вылетел, было уже известно, а как долетел — нет. Михаил Львович попросил меня настроиться "почище" на вражеский голос. Пока я крутил ручки VEFa, Михаил Львович ходил по кухне и говорил больше для себя, по крайней мере не заботился о степени моего понимания. Было что-то тревожное в его незапомнившихся словах... Неожиданно вспомнил об обязанностях хозяина:

— Встретил в метро Женю Евтушенко... В очень красивой дубленке и в стельку пьяного. Бросился ко мне: "Это я!.. Я позвонил Андропову и сказал: "Что ж это вы творите? Не трогайте Исаича! Выпустите его!" — Послушались гады!!"

Левин помолчал и добавил:

— Врет, наверное... Впрочем, если и врет, то вполне искренне... Хотел, наверное, позвонить, выпил для храбрости и незаметно напился. А с похмелья померещилось, что и в самом деле звонил...[2]

Подоспело время новостей. Оказалось, что самолет благополучно приземлился во Франкфурте-на-Майне, где его встречал Белль. Солженицын отказался

---

[2] Михаил Львович с такой любовью говорил об ЕЕ, что я пересмотрел свое негативное отношение к его хвастовству. Настоящий поэт, наверное, и не должен "вымирать от скромности"...

дать интервью в аэропорту... Напряжение на кухне немного спало. Я показывал рисунки моей дочки, рассказывал о НИРФИнских новостях... И все ждал, когда же он вспомнит о том, какой и еще сегодня день. И он вспомнил:

— Гера! К величайшему моему сожалению, нам сегодня не удастся посидеть всласть. Я скоро должен уходить в гости на День рождения. Павлику Литвинову исполняется сегодня 33 года — Христов возраст. К тому же он скоро улетает в Америку, получил разрешение. Будут еще к тому же и проводы...

Я уткнулся в спасительный VEF, чтобы не выдать себя... Прорезался политический обзор. Говорили об уже отошедшем в историю: о подробностях ареста, об обыске, о пресс-конференции тещи... Может, вполне к месту, а может пытаясь подавить нахлынувшее отчаяние, я начал намурлыкивать под нос:

И вот приносят мне повестку
на бумаге
В московский райвоенкомат.
Мамаша в обморок упала —
с печки на пол...

Михаил Львович вздрогнул и застыл:

— Гера? Что это? Откуда? Почему я не знаю?

Объяснил, что это послевоенная песенка "московских дворов". Сказал, где услышал. Даже попытался спеть, попутно вспоминая слова.

— Наверное, это прошло мимо во время вынужденного отсутствия. Гера!.. Как это принято говорить?.. Спишите слова. Если не трудно.

Он принес тетрадку и фломастер. Я старался изо всех сил, даже вспомнил вариацию: "Бежала по полю Аксинья — морда синя..." Потом в архиве Левина нашли текст этой песенки, аккуратно переписанный его рукой. Видимо, ему надо было "ощупать" слово не только ухом и глазом, но и рукой, чтобы встроить в загадочную структуру его феноменальной памяти.

Я и раньше подмечал за Михаилом Львовичем неумение оставаться в долгу. Я очень любил ему рассказывать о своих приключениях. Более благодарного слушателя невозможно себе представить. Он не пытался перехватить инициативу у рассказчика. Иногда подыгрывал, если тот начинал скисать. Но понятие "благодарный слушатель" в случае Левина приобретало и другой оттенок — он "отдаривался".

Я не могу припомнить, как и когда он успел меня расколоть:

— Как?!! Вы не читали "Сон Попова"? Гера... Как я завидую вашей девственной невежественности! Как много вам открытий чудных готовит просвещенья дух! А мне, с моей идиотской начитанностью, никогда уже не испытать свежесть первого лобзанья. Как я вам завидую. Но, Гера, я намерен сегодня стряхнуть с вас пыльцу невинности. Я намерен подвести вас к одному из высочайших пиков мировой литературы. Окажите мне такую честь.

Я чувствовал, что это не обычное и привычное подтрунивание надо мной, он был очень взволнован. Цитата из Швейка была мне вполне доступна:

— Михаил Львович! Я же не гашековская девица — не зареву, подводите.

Михаил Львович принес томик А. К. Толстого, как-то очень ритуально уселся посреди кухни, раскрыл книгу и, не заглядывая в нее, стал читать "Сон

Попова". Только иногда он опускал на мгновение взгляд на страницу, как бы подчеркивая, что он ничего не добавляет от себя — все прямо вот так и написано! В сияющих глазах его читался вопрос: "Ну, ты видишь? Видишь, сапог ты валеный? Видишь, что такое "Сон Попова"?!!"

Михаил Львович кончил читать, дал подержать мне реликвию в руках и быстро ушел, дав понять, что обсуждения не будет.

Потом, дома, я часто перечитывал язвительную поэму и каждый раз открывал что-нибудь новое для себя, но мистической трепетности, которую заподозрил в МЛ, не испытывал. В конце 1977 года случился забавный (невероятным наложением нелепостей) эпизод, после которого я стал невыездным. Попытка пересказать этот эпизод Михаилу Львовичу натолкнулась на глухую стену безразличия. Он зацепился лишь за одну деталь: оказывается, мне для поездки в капстраны были положены телохранители!! Он третировал меня ими с постоянством капающей на темя воды в китайской пытке. Может, поэтому я преждевременно облысел и, взяв в очередной раз в руки "Сон Попова", прочел его по-новому. Ирония мудрого графа была направлена против меня! Я и есть настоящий Попов, постоянно теряющий штаны и не замечающий этого... Примерил новое ощущение к знакомым — всем впору. Только Левин в моих миражах упорно сопротивлялся. У него был какой-то жизненный принцип, запрещающий терять штаны, — я слышал о нем, но уж больно в аллегоричной форме...

А "телохранители" так и не перестали аукаться мне. На мартовской лыжне, когда мысли далеки от мирской суеты, Михаил Львович давал волю своей зависти:

— Гера! Вам вредно так много и так резво бегать на лыжах. Вы худеете прямо на глазах.

Я втягивал живот — мне нравилось худеть.

— Ваши телохранители останутся без работы. Им скоро нечего будет хранить.

Он был д'Артаньяном слова — его разящие выпады приводили в восторг, даже жертву. Я счастливо смеялся и убегал от завистника по звенящей лыжне...

Но это так — для красного словца. Ни о каком побеге от Михаила Львовича я никогда не помышлял, и не помышляю...

P.S. В тексте 19 раз встречается мое имя. Получилось совсем по Астрид Линдгрен: "Добро пожаловать, дорогой Гера! Ну и вы, Михаил Львович, тоже заходите..." Было бы легко и просто проявить скромность с помощью компьютера и одной командой вычистить все сорные слова. Но когда я писал и правил эти заметки, мне слышался голос Левина, а ему (голосу) особенно хорошо удавалось слово "Гера". Так красиво меня никто и никогда не называл — ни мать, ни любимые женщины... Другие "мальчики" и "девочки", влюбленные в МЛ, а таких не меньше, чем было жен у бухарского эмира, со мной, конечно, не согласятся. Каждый думает, что левинскому голосу гораздо лучше удавалось другое имя: Саша, или Ира, или Миша, или... (см. "Святцы"). Не буду переубеждать их — пусть заблуждаются.

А. Марголис

ВЫПИСКИ ИЗ ПРОШЛОГО, КОТОРОЕ БЫЛО ТАК НЕДАВНО

Что вообще такое воспоминания? Это то, что и кого человек помнит. Иногда это факт, событие, разговор. В раннем детстве это прежде всего отдельные картинки. Я об этом пишу потому, что Дядю Мими я помню с тех пор, как мне шел второй год. Да, именно Дядю Мими, а не Мишу Левина и не Михаила Львовича, так как у нас не было никаких научных, литературных или каких-либо других деловых интересов. Он был исключительно другом.

Мое первое в жизни воспоминание-картинка — это мои брат и сестра, Миша и Катя. Катя держит меня на руках, а Миша качается на качелях под большим деревом. Второе воспоминание — изображение небольшого домика: слева от открытой входной двери, на траве, стоит стул, на котором сидит человек в толстых очках и с книгой в руках. Это Дядя Мими, первый человек, которого я помню, после разве что брата и сестры.

Тогда мы жили в Аглоне и виделись практически каждый день. Приходили на Катины и мои августовские дни рождения Дядя Мими, Наташа и Петя. Бамбик и Ташечка приезжали позже, уже в конце августа. Кроме замечательных подарков от Наташи: кукольного столика, фарфоровой чашечки с блюдцем, от Пети: тележки с кубиками и моего любимого деревянного ослика, на мое трехлетие я получила потрясающий подарок от Дяди Мими — акростих, такое стихотворение, которое если читать только первые буквы составляет три слова "Анне Леонидовне Марголис". Тогда я, правда, его не запомнила. Я его нашла и прочла только два года назад, но зато теперь знаю наизусть.

...В 87-м году мы переехали на новую квартиру на Садовой, как раз напротив Левиных-Леонтовичей, и все они, конечно, пришли на наше новоселье. Дядя Мими принес книжку Драгунского "На Садовой Большое Движение", на титульном листе был аккуратнейшим почерком выведен стишок. Кажется, он успел сочинить его пока шел к нам — это только дорогу пересечь! Вот он, этот стишок:

"На Садовой Большое Движение",
Все торопятся в дом № 6,
В атмосфере висят выражения,
Те, что с русского не перевесть.

Где причина такого веселия?
Это НО-
Это ВО-
Это СЕЛИЕ.

Сочинили ваши соседи, Поклонники Мистера Блюма (Феди).
(Мистер Блюм (Федя) – общий знакомый.)

Иногда мама оставляла меня у Левиных, когда куда-нибудь уходила. Везде мелькали цветные корешки книг. Когда Дядя Мими не был занят, он показывал и рассказывал разные интересные вещи. На шкафу лежала громадная раковина, в которой, по словам Дяди Мими, был слышен шум моря. Он рассказывал мне про все, что меня интересовало, а так как меня интересовало все, рассказов этих было очень много.

Несколькими годами позже Дядя Мими начал давать мне уроки русской истории. Это была, конечно, его идея. Проходил этот урок так: мы шли на Патриаршие пруды (которые Дядя Мими всегда называл "Патриками"). Он курил, я брала его за руку и, покачиваясь, ходила по бордюрчику. Так мы обходили пруд несколько раз и по ходу этой церемонии я пыталась понять, чем Игорь отличался от Олега и зачем Ольга подожгла город. Рассказывал Дядя Мими, как я уже говорила, очень интересно. Помню, когда зашла речь об изготовлении оружия, он взял спичку (которой перед этим зажег сигарету), подождал, пока она не догорела до середины, затем стряхнул обугленный конец. Получилась маленькая заостренная палочка: "Вот так раньше делались и большие настоящие копья!" Меня эта находка со спичкой чрезвычайно поразила. Я потом часто демонстрировала ее разным людям... Поговорив о чем-нибудь вроде этого оружия, мы еще раз обходили пруд, не раз меняя тему, и когда я понимала, что окончательно запуталась в незнакомых, но очень значительных для истории именах, и пруд был изучен со всех сторон, Дядя Мими отводил меня домой, рассказывая какую-нибудь смешную историю. К сожалению, этих патриковских уроков было очень мало...

Больше ничего существенного я написать не могу. Это не значит, что я плохо помню Дядю Мими. Дело в том, что к тому, что кажется было так недавно, трудно относиться как к воспоминаниям... Дядя Мими просто был. Ходил, курил, говорил, слушал, читал и улыбался.

P.S. Я не могу утверждать, что все, что я тут написала, стопроцентно точно. Так я запомнила тот или иной случай, а я все-таки была очень маленькой, когда Дядя Мими приезжал в Аглону, когда мы переехали, я еще не ходила в школу, да и в пору уроков истории мне было только 10. Может оказаться и так, что в тот далекий летний день читал он газету, а не книгу, что курил сигареты, а не папиросы, но это все мелочи, а в целом все так.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ...

...А. М. Яглома

С Мишей связан огромный пласт моей жизни. Еще до войны мы многократно вместе готовились к экзаменам в его квартире на Б. Калужской, сидя за разными столами и занимаясь по разным книгам. Я и не понимал, как можно "готовиться вместе".

...На первом курсе одна знакомая моего брата-близнеца Иси (Исаак Моисеевич Яглом, математик) спросила у него, почему он говорит, как Миша Левин, и мой брат с возмущением ответил, что никакого Мишу Левина он не знает. И то была святая правда: тогда Мишу знал еще только я. Он говорил очень ярко и, по-видимому, его интонации я непроизвольно заимствовал, и мой брат также непроизвольно подхватывал их от меня...

Миша много учил меня поэзии... Всему другому нас с братом учил отец, он читал художественную литературу на 5 языках, знал и понимал ее чудесно, но слабо разбирался в поэзии... Миша мог читать мне стихи несколько часов подряд, в его чтении я впервые узнал Пастернака и многих других поэтов, о которых до этого ничего не знал...

Когда за 3 дня до последнего госэкзамена по марксизму мне в МГУ на Моховой сказали про арест Миши, я тут же поехал на Калужскую и три дня прожил с Ревеккой Сауловной и Львом Наумовичем (я их очень любил, особенно Р. С.). На госэкзамене я сказал, что у меня произошло несчастье и сдавать экзамен я не могу, но объявил (раньше это скрывал), что в 1942 году я окончил Свердловский университет по специальности "математика" и показал диплом и справку об отметках. Комиссия посоветовалась, и мне зачли старый экзамен. Я подозреваю, что председатель комиссии, физик, чья дочь училась на нашем курсе, понял, в чем дело, во всяком случае, никто не спросил меня, что за несчастье...

Я уже писал, что Миша читал мне очень много стихов самых разных поэтов — Пастернака, Ахматову, Блока, Брюсова, Белого, Маяковского (мало), Сельвинского, Тихонова, Светлова, Багрицкого, Уткина, Жарова (не любил), Гусева (не любил), — читал и тех, кого не любил, но читал с усмешкой... При этом стихов мы с ним никогда не обсуждали — Миша тогда вообще не любил разговоров на литературные темы... Кстати, он очень любил Хемингуэя...

Про политику мы тоже тогда не очень-то говорили, хотя по отдельным замечаниям я видел, что у нас различий во мнениях мало... Чаще про политику говорили с братом и во многом разбирались вполне правильно, хотя, например,

считали, что Кирова убили по бабской линии, и Сталин гениально это использовал... И с Андреем Сахаровым, которого знали с 8-го класса, мы с братом о политике тоже не говорили... Нам казалось, что Андрей политикой вообще не интересовался, а вот в случае Миши было такое чувство, что он думает так же, как и я, но говорить на эти темы не хочет...

Вообще после встреч с Мишей Левиным у меня оставались разные ощущения — то отдаленности от него, то — чаще — очень большой близости и теплоты. Чем объяснить такую разницу — не могу сказать... Прощаясь, перед моим отъездом в Штаты, мы обнялись, и он вдруг сказал: "Мне тебя будет очень не хватать; ведь таких старых друзей, с которыми можно вспомнить всю жизнь, у меня больше нет..." Я думал, что такие сентиментальности ему несвойственны в отличие от меня.

...Покойную Ревекку Сауловну я очень любил — она была удивительно милая женщина, и мне с ней всегда было хорошо. О ее заслугах в области марксистской политэкономии я ничего не знаю, и, вообще говоря, я всю эту науку считал "малонаучной". Как-то я даже и Мише не очень деликатно ляпнул, что не верю в то, что марксистская политэкономия имеет какой-то смысл, и Миша не то кивнул, не то сказал "да, конечно", — и я снова почувствовал, что здесь мы не расходимся, но что подробнее говорить на эту тему он не хочет...

Ревекка Сауловна была в жизни очень милым, общительным и теплым человеком. А вот Лев Наумович говорил со мной охотно, но всегда кратко.

Я близко общался с Р. С. и непосредственно перед ее арестом. Она лежала в Боткинской больнице с какой-то серьезной болезнью (в спец. корпусе для влиятельных лиц). Последний раз я посетил ее за несколько дней до ареста — она мне обрадовалась, и мы довольно долго беседовали (больше всего, разумеется, о Мише — он был тогда в Горьком). На прощанье она меня крепко расцеловала, как мне показалось, необычно. Через несколько дней я позвонил в больницу, мне ответили, что ее здесь нет, и ответ почему-то мне не понравился (тоном ли, словами ли — не помню, но не понравился). Я не знаю (и тогда не знал), арестовали ли ее в больнице или выписали и сразу же забрали дома — во всяком случае, она еще не поправилась — в этом я уверен. После звонка я решил зайти к Р. С. домой. Мне открыл Л. Н., дома был беспорядок, а Л. Н. бледен и вообще в плохом виде. На мой вопрос, где Р. С., он ответил, что ее нет... Я, растерявшись, не сразу понял, хотя понять было легко. А когда я, наконец, понял и спросил когда, он назвал число и добавил: "Я думаю, вам не стоит сюда заходить, лучше не заходите и не звоните".

...А. М. Гутерман

Мне кажется, что я знала Мишу всегда, хотя на самом деле он пришел в нашу школу уже в третий класс и учились мы с ним в параллельных классах, но что-то выделяло его и привлекало к нему. Скорее всего, это было остроумие (иногда приправленное сарказмом), его необычные реплики и, конечно же, доброта.

...Миша вообще учился хорошо, но по физике и литературе он, пожалуй, был

просто на совсем другом уровне, чем все остальные. Наш преподаватель физики (очень артистичный преподаватель!) Григорий Иванович Фалеев сразу же его приметил, считая самым способным и проча ему блестящее будущее. Он говорил, что такого способного ученика у него никогда не было.

...Мишина порядочность проявлялась, например, в том, что он старался помочь, как мог, тем, чьи родители были арестованы (1936–1938). Такая участь постигла Люсю Ратнер, в которую Миша был влюблен. И он старался смягчить этот удар, ненавязчиво, тактично, но стойко. А это было не так уж просто. На комсомольских собраниях присланный к нам комсорг неоднократно требовал осуждения ребят за отсутствие бдительности в отношении родных... Он много помогал и Аните Мартинсон, у которой после ареста родителей остались на руках младшие их дети, а средств для жизни не было никаких... Аните пришлось пойти работать, и наши преподаватели дали ей возможность кончить школу без посещения (и даже подкармливали!)... Сейчас, наверное, трудно оценить эти поступки, но для того времени они были скромным, но рискованным героизмом.

...После войны мы редко встречались с Мишей, но все же иногда ходили в консерваторию.

И вот однажды, когда мы небольшой группой возвращались оттуда, Миша отозвал меня в сторону и рассказал, что арестовали его ближайших друзей В. Фрида, Ю. Дунского. Он не знал, в чем их обвиняют, но был почти уверен, что его также арестуют. И просил, если это случится, сказать Ревекке Сауловне, что он не чувствует за собой никакой вины и что его арест связан только с арестом Фрида и Дунского, которые – он был уверен – тоже ни в чем не виновны. Вскоре Миша был арестован, и, как только мне стало известно об этом, я поехала к Ревекке Сауловне и передала ей Мишины слова. После я часто бывала у них дома и сопровождала Ревекку Сауловну, когда она отвозила передачи для Миши...

Все мне известные друзья Миши не только не отреклись от него, а наоборот – старались своим вниманием хоть чуть-чуть смягчить горе Ревекки Сауловны и Льва Наумовича.

...В день освобождения Миши (по амнистии в связи с окончанием войны) у него дома без приглашения собрались многие из его друзей. Радость была безмерна, Миша был растроган, но он понимал, что ему предстоит новая жизнь вне Москвы с неизвестными трудностями.

...И. М. Капчинского

Мы встретились с Мишей Левиным впервые 1 сентября 1938 года на физическом факультете МГУ, в длинном коридоре, ведущем в большую Ленинскую аудиторию. И сразу нашли друг друга. Мы сошлись на общей любви к стихам.

Помню, на какой-то лекции мы уселись в последних рядах Ленинской аудитории, и я читал Мише свои стихи. Пятьдесят пять лет тому назад мне мои стихи очень нравились. У Миши был абсолютный поэтический вкус, но любовь к стихам у него была так велика, что он выслушал меня и, как выяснилось, стихи запомнил.

Это же происходило и в последующие годы. Я очень ценил снисходительное отношение Миши к моим стихам. Он по старой дружбе ни разу не поехидничал по поводу моих строчек.

А потешаться Миша умел и сразу схватывал юмористическую сторону неудачных строк. Миша часто откликался легкими стихами на окружающие серьезные события и находил в этих событиях смешную сторону. Помню, в 1972 году на семинаре по коллективным методам ускорения Миша прислал мне записку:

"Вперед, колечки сжатые,
по векслерской тропе..."

Миша обладал необыкновенной памятью на стихи. Он запоминал стихи сразу и на всю жизнь. Помню, был такой случай. В 1990 году вышел том "Зарубежная поэзия в переводах Б. Л. Пастернака". Миша позвонил мне: "Илья, в этом томе есть перевод "Песни о ненависти" Гервега. Ты ведь еще в школе переводил это стихотворение. Пришли мне твой перевод". К своему стыду должен сознаться, что я сумел вспомнить только половину перевода.

Я очень любил бывать у Миши дома на Большой Калужской. Чаще всего собирались с Котом Тумановым и Кикой Ягломом. Но если оставались с Мишей вдвоем, то читали стихи. Царил культ Пастернака. Не забыть теплой атмосферы, которую создавали в семье Ревекка Сауловна и Лев Наумович, родители Миши.

В 1942 году мы с Котом Тумановым доучивались на физфаке МГУ в Ашхабаде, Миша застрял в Ташкенте. Он очень скучал. Просил, чтобы мы ему писали каждый отдельно с тем, чтоб он мог получать больше писем от друзей. Но нам обещал писать только на общий адрес "письма удвоенной интеллектуальной силы".

В августе 1943 года я вернулся в Москву из эвакуации. Поезд пришел ночью. Город был затемнен. На платформе вокзала — ни зги. У меня украли чемодан, где было все мое достояние. Миша был уже в Москве и узнал об этом в тот же день. Через час он и Кот появились у меня. Время было военное, суровое. Миша принес мне трусы, а Кот — майку. Так друзья помогли мне начать мою жизнь в науке.

08.01.93

...А. А. Павельева

Я познакомился с М. Л. в конце 70-х годов через Г. И. Баренблатта. И с тех пор мы встречались с ним на даче, в Абрамцеве, куда я заходил или один, или с Г. И. Баренблаттом. Летом 1986 года М. Л. Левин, Г. И. Баренблатт и я написали заметку "Еще раз о культуре перевода". Разговоры с М. Л. всегда были для меня большим событием. Для него был характерен острый интерес к окружающей жизни. Он часто подмечал такие связи между событиями в жизни и литературе, которые до него не видел никто, а потом уже видели все.

В середине мая 1991 года я стоял с М. Л. на одном собрании. Организаторы его поместили себя на какое-то возвышение перед телекамерой. Их было

довольно много и стояли они там очень тесно. Когда один из выступавших употребил словосочетание "крестный путь", М. Л. сразу же заметил: "А на Голгофе-то тесно. Давка на Голгофе".

Проницательность и ироничность М. Л. в сочетании с доброжелательностью и готовностью помочь делали общение с ним необычайно привлекательным и интересным. И общаясь с ним, я имел возможность вести себя так, как хотел бы вести себя всегда, если бы это было возможно.

...Ф. А. Искандера[1]

Михаил Левин был, по мнению людей его профессии, ярким, талантливым физиком. Эта сторона его жизни для меня была закрыта, да он и мало распространялся о ней в той среде, где мы встречались. Я его знал как великолепного знатока литературы и на редкость начитанного человека.

Я любил его, мы дружили, хотя, к сожалению, мало встречались. Он писал, а чаще импровизировал шутливые, а иногда и весьма едкие эпиграммы.

Задумываясь над тем, что такое истинно интеллигентный человек, я бы остановился на таком определении. Интеллигентный человек — это такой человек, который когда-то, вернее всего в юности, дал самому себе присягу на порядочность. Теперь Миши нет, и можно сказать, что он до конца своих дней остался верен этой присяге. А как часто в сложных российских условиях люди, сохраняя общественное лицо как некую индульгенцию, в личных отношениях допускают сомнительные поступки.

Порядочность или универсальна, или ее нет.

В годы сталинских репрессий, еще совсем молодым человеком, Михаил Левин попал в тюрьму. Вместе с компанией друзей он посещал какую-то квартиру на Арбате. Внезапно стали брать всех, кто там бывал. "Шили" серьезное дело. Сталин иногда проезжал по Арбату. Молодые люди якобы готовили террористический акт против Сталина именно из этой квартиры. Брали постепенно, по мере узнавания, кто бывал здесь. Вероятно, многим, если не всем, грозил расстрел.

Когда Михаилу Левину следователь предъявил обвинение, тот ему сказал:

— Как же мы из этой квартиры могли устроить покушение на Сталина, когда она всеми окнами выходит во двор, а не на улицу?

И следователь растерялся. Многотомное дело рушилось. О расположении квартиры как-то не подумали. Но имело ли это значение в те времена? Вероятно, дело было задумано так широко, что могло заинтересовать слишком больших людей, может, самого Сталина, и тут такая неряшливость могла быть опасной. Оставалось или срыть дом, или изменить статью. Никого, конечно, не выпустили из тюрьмы, но статью изменили. Кажется, антисоветская пропаганда.

Обо всем этом и о многих других достаточно драматичных вещах, связанных с тюрьмой и ссылкой, Михаил Левин рассказывал с неизменным юмором, никогда не впадая в пафос.

---

[1] Текст печатается по журналу "Звезда" (1993, №4, с. 180).

Я благодарен судьбе, что достаточно близко общался с человеком абсолютного этического слуха. Ни одной фальшивой ноты. Может, это слишком лично и неуместно, но хочется, чтобы читатель об этом знал.

...С. А. Ковалева

С. А. Ковалев описывает историю принудительного увольнения группы сотрудников межфакультетской лаборатории МГУ за участие в правозащитном движении в 1969 г. Руководитель работ Израиль Моисеевич Гельфанд пребывал в затруднении, опасаясь за судьбу всей лаборатории. Сработала типичная для тех времен — да и не только тех — логика уступных компромиссов, — пойти на "небольшие жертвы" ради спасения большого дела! В результате И. М. Гельфанд предложил "запятнанным сотрудникам" упреждающе уволиться по собственному желанию. Они же хотели вести борьбу открыто и не облегчать задачу начальству...

«...Чтобы убедить в своей правоте, И. М. пустил в ход тяжелую артиллерию — пригласил в третейские судьи нашего общего друга, физика Мишу Левина. У Гельфанда было обыкновение в сложных случаях жизни советоваться с каким-нибудь определенным человеком — "консультантом по нравственным вопросам". До своей смерти в 1964 году таким консультантом был для него Миша Цейтлин... после его смерти это место занял Левин.

Но Левин неожиданно для И. М. встал на мою сторону. Гельфанду, который все пытался построить какие-то модели ("А если мы поступим так-то, то партком предпримет то-то", "А если тот-то примет такое-то решение, то мы не сможем выдвинуть такое-то возражение" и т. д.), он заметил: "Израиль Моисеевич, а зачем вы такой умный? Побудьте раз в жизни дураком". И. М., обескураженный, прервал спор»[2].

Правда, спустя какое-то время С. А. Ковалев вместе со своим, так сказать, "подельщиком", решили все-таки уволиться "по собственному желанию", поскольку, как известно, "правды нет и выше"...

...В. И. Гельштейн

Мы (мой муж Гдаль Гельштейн и я) познакомились с Мишей где-то в середине 60-х годов — то ли в доме у Н. Я. Мандельштам, то ли в мастерской у Бориса Биргера. Среди огромного числа людей, с которыми пересекались в этих местах Миша и Гдаль, оба как-то по-особенному заметили друг друга, а потом стали встречаться, испытывая взаимную симпатию. Оказалось, мы близко живем (на Соколе) и можем приходить друг к другу в гости, да и просто так приходить. Как врач, Гдаль наблюдал мать Наташи — Татьяну Петровну. В разговорах скоро выяснилось, что у Гдаля и Миши очень широк круг общих друзей и знакомых. Особенно сближало то, что отец Миши — Лев Наумович Карлик — был в приятельских отношениях с дядей и учителем Гдаля —

[2] Отрывок заимствован из журнала "Новое время" (1997, № 19).

Элиазаром Марковичем Гельштейном. Они долгие годы работали вместе во втором мединституте: Л. Н. Карлик — профессором, зав. кафедрой патологической физиологии, Э. М. Гельштейн — профессором-терапевтом. Оба пережили тяжелые дни, особенно с 1947 по 1953 годы — во времена кампании "по борьбе с космополитизмом" и травле "врачей-убийц".

Для обоих дата 1953 стала знаменательной вехой в их жизни. Тем не менее Миша, по-моему, не драматизировал этот период, а вспоминал лишь некоторые эпизоды, с юмором их рассказывая. Помню, как-то во время одного из застолий в нашем доме он выдал историю, вызвавшую всеобщий смех. Сказал примерно следующее.

— Гдаль, а я ведь тебя знаю очень давно. Однажды приходит мой папа домой и говорит, что у его друга — Э. М. Гельштейна — есть замечательный ученик, прекрасный врач — Гдаль, который очень много работает и успешно готовит материалы по электрокардиографии, которые... и т. д., и т. п. А ты, говорит, — шалопай и бездельник. (Это Миша-то, который к тому времени уже проявил себя как выдающийся физик-теоретик!). Бери с него пример...

Мишина шутка, помню, была очень весело принята.

Еще их сближала тяжелая близорукость, и они любили затевать прилюдно спор — у кого больше диоптрий. Оказалось, у обоих 20D! При этом Гдаль, бывало, хвастался: "Зато у меня видит только один глаз, второй я потерял после отслойки сетчатки". А Миша ему в ответ: "Зато у меня катаракта!" И дальше: "Повезло тебе, Гдаль, что ты был врачом уже в 1941 году и тебя все-таки взяли на фронт. А вот меня выгнали из ополчения, так как там надо было уметь стрелять, а мне это не удавалось".

Перечитывая книгу воспоминаний о М. Л. и особенно коротенький раздел "Общительность" в "Негрустном портрете", я почувствовала себя счастливой тем, что могу себя и Гдаля причислить к лицам, с которыми Миша поддерживал взаимное общение, "не теряя ни их (друзей) имена, ни подробности их жизней".

В нашей семье неизменно справляли день рождения Гдаля — 22 сентября. Никого специально не приглашали, ждали только тех, кто помнит. Собиралось до 40 человек. И не помню случая, чтобы Миша и Наташа пропустили этот день. В качестве подарка всегда была уместная к случаю книга с шутливо-иронической надписью. (Одна из них, посвященная 60-летию Гдаля, помещена в этой книге).

С 1979 года у нас появилась трагическая дата памяти нашего сына Марика, а с 1989 года еще и дата памяти самого Гдаля. И мы почувствовали на себе особый дар Миши — дар заботливой дружбы: он никогда не забывал и навещал нас в эти дни. И бывали долгие беседы "обо всем и ни о чем", а иногда просто молчание.

Последний раз Миша с Наташей были в нашем доме 26 января 1992 года (день рождения Марика и день кончины Гдаля). Как всегда, по зову памяти, без приглашения. На вопрос о здоровье ответил, что его беспокоит старая язва, но он старается экономить лекарства, которые присылает ему Борис Биргер из Германии, потому что Биргеру они обходятся дорого. В тот раз я дала ему папку со стихами Гдаля, которые тот писал в последние три года жизни, вплоть до своей кончины. К этим стихам я не могла относиться объективно и считала, что только Миша (в отличие от всех "профессиональных поэтов") может дать им настоящую оценку.

В мае 1992 года, уже будучи тяжело больным, он звонил мне из санатория Успенское и сообщил, что дело идет на поправку (врал небось!), что скоро принесет стихи Гдаля со своими замечаниями. Среди них, сказал, есть стоящие. В начале июля я узнала о тяжелом состоянии Миши, но в больницу идти не решилась, а 1 августа его не стало... В моей памяти он остался самым ярким и светлым пятном, непревзойденным эталоном подлинного Человека!

...Л. М. Горбунова

Обстоятельства, при которых я познакомился с Михаилом Львовичем, не сулили ничего хорошего для наших взаимоотношений. Но все получилось им вопреки, и в течение последующих долгих лет мы очень тепло относились друг к другу.

При воспоминании о Михаиле Львовиче из глубин памяти сразу всплывают его доброжелательные глаза за толстенными стеклами очков, его застенчивая улыбка, его негромкие рассказы, сопровождаемые хрипловатым посмеиванием.

Пожалуй, нельзя сказать, что мы были очень близки, и поэтому я не решился принять участие в подготовке первого издания книги о нем. Наверное, подумал я, есть люди, знавшие его лучше. Но прошло время, и я изменил свое мнение. Я подумал, что история нашего знакомства, а также документ, который Михаил Львович мне передал при этом, могут быть интересны молодежи для осознания того времени, о котором можно услышать сейчас весьма разноречивые, а зачастую даже некомпетентные суждения.

В середине 50-х годов В. И. Векслер, понимая тупиковость вакуумной техники ускорителей, организовал работы по так называемым коллективным методам ускорения плазмы. Исследования начались в разных местах. В частности, в ФИАНе разрабатывался радиационный метод ускорения плазменных сгустков. К этому был привлечен и РТИАН, где работал М. Л. Левин. В те годы физика плазмы делала еще только свои первые шаги, и представления о самой плазме были наивными. Многие расчеты и оценки базировались на упрощенных моделях, в которых сгусток плазмы заменялся твердым диэлектриком или даже куском металла. Эксперименты не давали согласия с результатами расчетов, и к началу шестидесятых годов стало ясно, что нужны другие, более реалистические модели для описания плазмы. Прорыв в понимании происходящего возник в середине 60-х, когда В. П. Силин показал, что плазма, помещенная в сильное электромагнитное поле, неустойчива (так называемая параметрическая неустойчивость). Это означало, что представление о регулярном ускорении плазменного сгустка с неизменной формой неверно. По сути, вывод о неустойчивости плазмы подтвердили и эксперименты.

Именно в это время один из сотрудников М. Л. представил диссертацию, основанную на работах, выполненных еще в 50-е годы. М. С. Рабинович поручил нам написать отзыв на эту диссертацию. Естественно, что мы, ученики В. П. Силина, уже знали о неустойчивости плазмы и смотрели на старые модели с большим скептицизмом. На каком-то семинаре я выступил и рьяно, с задором молодости, заявил, что рассмотренные диссертантом вопросы не имеют никакого

отношения к реальной плазме. К счастью, это не помешало успешной защите. Но именно в связи с моей горячностью и безапелляционностью М. Л. при следующей нашей встрече подарил мне копию документа, который приводится ниже, надписав сбоку на уголке: "Дорогому Леониду Михайловичу для оценки асимптотических возможностей". В этой надписи звучит и предостережение, и мудрость старшего, и скрытый совет. Для себя я сделал очень важный вывод — критика должна быть доброжелательной и направленной не на разоблачение, а на помощь.

Я надеюсь, что читатель, ознакомившись с этим документом, поймет, сколько вреда и бед для всех нас могут принести наделенные властью словоблуды.

Примечание составителей.

В 50-е годы почти одновременно с разгромом генетики и расправой над "неугодными искусствами" назревал неудержимый напор властей по вправлению мозгов представителям всех других наук — почти без разбору. Угождающим критерием было признание руководящей роли "науки всех наук" — марксистско-ленинской философии. Поскольку толком никто не знал, в чем она заключается, то "дискуссии" сводились к изощренному словоблудию и "поруганию нечестивых" с применением силовых воздействий — вплоть до отлучения от работы и тюремных репрессий... Но физики смогли избежать полномасштабного погрома, так как разрабатываемые ими средства массового истребления людей были необходимы большевикам для осуществления мировых коммунистических пертурбаций. (Подробности этого "спасения" описаны в книге А. С. Сонина "Физический идеализм: История одной идеологической кампании". М.: Наука. Физ.-мат. лит., 1994).

И все же оголтелые сражения местного значения вспыхивали то там, то тут. В частности, в Горьковском университете была затеяна травля профессора Г. С. Горелика, одного из основоположников радиофизики, ученика Л. И. Мандельштама. Его обвиняли во всех тяжких грехах и, прежде всего, в колебательно-волновом единении физических процессов различной природы, т. е. именно в приверженности к тем фундаментальным идеям, на которых была взращена Радиофизика как самостоятельная отрасль науки. Некоторые эпизоды этих событий обрисованы в книге М. Миллера "Избранные очерки о зарождении и взрослении радиофизики в горьковско-нижегородских местах", изданной Институтом прикладной физики РАН (Н. Новгород, 1997).

М. Л., естественно, переживал эти поругания; к этому времени он был уже выдворен из университета "за невозможностью использования по специальности" (см. примечания к его жизнеописанию) и метался в поисках нового места работы, что вскоре закончилось его переездом в Тюмень (см. выдержки из тюменских писем). Помимо всего прочего, Г. С. Горелик был другом М. Л., и вакханалия с обсуждением книги "Колебания и волны" наносила М. Л. Левину личную травму, не говоря уже о переживаниях из-за непристойного (мягко говоря) участия в этом "показательном судилище" некоторых его бывших коллег.

Здесь приводятся кое-какие места из соответствующего постановления ученого совета радиофизического факультета, бережно хранимого М. Л. Левиным, — они характеризуют и эпоху, и обстановку, в которой ему пришлось вращаться после выпуска из ГУЛАГовской научной шараги. Копия этого документа как раз

и была передана Л. М. Горбунову с поучительной надписью. Для читателей, далеких от математики, поясним: асимптотическое представление описывает приближенное значение функции при больших (обычно) значениях параметров, однако его возможности ограничены — при стремлении достичь большей точности оно может давать заметные отклонения. Смысл пожелания М. Л., по-видимому, состоял в просьбе учесть это свойство и вовремя останавливаться.

Итак, ключевые фразы постановления совета (март 1952 г.).

...Обсудив содержание книги Г. С. Горелика "Колебания и волны", Совет пришел к заключению... Наряду с... книга характеризуется низким идейно-теоретическим уровнем и рядом ошибок... Автор обязан был дать историю возникновения и развития идеи общего учения о волновом и колебательном движении (А. Г. Столетов, Лебедев и их ученики)... В книге нет материалистической методологической основы при толковании явлений... Автор всячески старается остаться в рамках "чистой" науки и предоставляет читателю самому делать философские выводы... Автор не говорит ни слова, понимается ли под физическим явлением внешнее выражение сущности материи... Не делает попытки предотвратить толкование "целесообразности" объединенного рассмотрения колебательных явлений с точки зрения махистского принципа "экономии мышления"... Нигде нет материалистического толкования понятия опыт... Раз ставится под сомнение существование закономерностей вне опыта, то тем самым ставится под сомнение существование вне опыта и того объекта, которому эти закономерности присущи, т. е. материи... Автор ни слова не говорит о материалистическом понимании связи между случайностью и необходимостью и о той ожесточенной идеологической борьбе, которая идет в связи с этим вокруг принципа причинности... А ведь Маркс учил: "...свойство данной вещи не создается ее отношением к другой вещи, а лишь обнаруживается в таком отношении..." ...А по проф. Горелику получается, что тот набор цветов, который мы наблюдаем в белом свете, создается прибором, и в конечном счете человек сам создает свойства материи и ее закономерности... Автор настойчиво проводит мысль, что наличие законов природы обусловлено не объективным существованием материи, а предписывается целесообразностью... В своей гениальной работе "Материализм и эмпириокритицизм" В. И. Ленин писал по адресу махиста Пуанкаре: "Для Пуанкаре ... законы природы суть символы условности, которые человек создает ради удобства"... Трудно провести грань между "целесообразностью" проф. Горелика и "удобствами" А. Пуанкаре... Итак, позиция автора, хочет он этого или нет, привела его к идеалистическим выводам, потому что он не усвоил того, что должно стать непременным законом для советского ученого и о чем писал В. И. Ленин: "...без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного мировоззрения"...

Совет рекомендует..., считает..., осуждает..., предупреждает..., что если проф. Горелик Г. С. ...не.., то Совет будет вынужден ходатайствовать об отстранении его от педагогической и научной работы в университете.

После смерти Вождя всех времен и народов "идеологический кошмар" на радиофизическом факультете несколько рассеялся, и многим членам совета стало постепенно становиться стыдно вспоминать об этом постановлении — принятом (слава Богу!) все же не единогласно... Но вся эта история закончилась, однако, уходом профессора Г. С. Горелика из Горьковского университета.

М. И. Шапир

МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ ЛЕВИН

На восхищенное любование им судьба отпустила мне совсем немного времени — меньше, чем всем, кто о нем написал или еще напишет. Тем не менее, его смерть, мучительная и преждевременная, стала для меня большой личной трагедией: эмоциональные ее последствия я очень остро ощущаю по сей день. Так получилось, что уже вскоре после нашего знакомства он сделался на какой-то срок едва ли не главным моим адресатом — воображение охотно рисовало его первым и наиболее желанным читателем тех работ, которыми я был тогда занят и прочесть которые он не успел. Может быть, слишком дерзко я рассчитывал на его одобрение, надеясь найти в этом оправдание моральной и интеллектуальной поддержке, которую он мне щедро оказывал и в которой я так нуждался. Сбыться этим надеждам, к несчастью, не довелось.

Несмотря на то, что иногда я имел возможность присматриваться к нему с довольно близкого расстояния, собственно воспоминаний у меня почти нет: история наших отношений была небогата событиями. Поэтому мои заметки есть скорее опыт вос-понимания, попытка не помянуть, а *понять*, чтобы *поймать* и *поиметь*, уловить и сохранить черты внешнего и внутреннего облика, недвусмысленно говорившие о его человеческой значительности.

Он воспринимался как законченное произведение искусства: артистизм, грация, изящество жеста и поступка — одним словом, совершенный пластический образ, но вместе с тем резко очерченный, лишенный всякой округлости, в том числе в характере, и к тому же не чуждый крайностей, всегда милых моему сердцу. Мне нравилось, что он мог позволить себе быть несправедливым — это казалось мне признаком подлинности и органичности (примеров не привожу хотя бы потому, что самому мне "жертвой" такой несправедливости не приходилось быть никогда: ко мне он бывал разве что несправедливо добр). Думаю, только такой человек способен противостоять злу: отклонение от "золотой середины" в одну сторону можно отчасти компенсировать, отклонившись в сторону противоположную; в ином случае несправедливость лишь смягчается и приуменьшается.

Речь его была очаровательна: манера говорить, тембр и высота голоса, а главное, удивительная легкость и красота в обращении со словом, будь то монолог или диалог, придавали его разговору ни с чем не сравнимое обаяние. Его речевое поведение было настолько естественным, что, казалось, не он

владеет языком, а язык владеет им. Это было непрерывное, хотя и неприметное творчество, находившее свое выражение в остротах, каламбурах, в тонких замечаниях и проницательных наблюдениях, в построении фразы, в выборе слов, да мало ли в чем еще. Впрочем, в полной мере это было свойственно только его устной речи: в ней соотношение искусственного с безыскусным было, на мой взгляд, идеальным. Слово письменное как более условное, нарочитое удавалось ему меньше: видимо, вынужденная литературность была ему противопоказана. Случалось даже, что на письме ему отказывал речевой такт: теряя чувство меры и нарушая единство стиля, он мог соединить книжный шаблон с шокирующей разговорностью — в живой речи подобный диссонанс был бы для него невозможен. По-моему, свободнее всего он чувствовал себя в жанрах, тесно связанных с повседневным общением: таковы, например, фамильярное письмо или стихи на случай. По той же причине из его воспоминаний о Леонтовиче, о Сахарове и о Пастернаке мне особенно нравятся первые, самые далекие от литературы и по предмету, и по методу.

Масштаб его личности, незаурядное научное и литературное дарование, обширные исторические и филологические познания, по глубине которых он превосходил большинство специалистов, оставляли у знавших его ощущение огромной потенции, отнюдь не до конца реализованной. До некоторой степени это иллюзия: счастлив, кто сумел осуществить себя в ярко, полно, талантливо прожитой и пережитой жизни (а не готовился жить, как я). Но не исключено, что известная недовоплощенность, действительная и мнимая, есть общий удел тех немногих, *кем* и *в ком* живет культура: при всей несомненной ценности его собственной культурной деятельности, во всяком случае, не меньшую ценность имела его личность, понятая как продукт надличностной деятельности самой культуры. Он казался мне не столько создателем, сколько созданием, не субъектом, а объектом культурного творчества, результатом которого я не могу не восхищаться. (Этот эстетический восторг тем более бескорыстен, что является восторгом человека со стороны, который, проявляя немалый интерес к культуре, никак не может вызвать ее равного ответного интереса: преобразующее ее воздействие на "дикость" моего сознания, психики или поведения представляется мне относительно незначительным и несоразмерным затрачиваемым мною усилиям).

Не без риска повториться скажу, что, постоянно отдавая и поглощая массу творческой энергии, он в первую очередь был не производителем и не потребителем. Он — это уникальная культурная среда, в которой реально осуществлялась связь разных областей бытия, разных миров и эпох. К нему стягивались нити, идущие из многих сфер искусства и науки, из чуть ли не всех областей точного, естественного и гуманитарного знания. В жизни таких людей я вижу оправдание культуры, ее спасение от распада. Смерть их приводит к исчезновению целых культурных пластов: обрыв нитей рождает провалы в живой памяти человечества.

Часть III

О НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ М. Л. ЛЕВИНА

М. А. Миллер

ЛЕОНТОВИЧ – ЛЕВИН. ТВОРЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ[1]

Татьяне Петровне Леонтович,
Наталии Михайловне Леонтович –
хранительницам очага

1. ВЫБОР ТЕМЫ

Оргкомитет предложил мне прочесть лекцию к 90-летию Михаила Александровича Леонтовича. На любую тему, мною избранную. Известно, что советский человек (даже из бывших!) шалеет от свободы выбора. Видимо, понимая это, Виталий Дмитриевич (ВД) Шафранов дисциплинировал меня пожеланием, чтобы я сделал упор на научное продолжение и развитие идей Михаила Александровича (МА). Постараюсь, как смогу, следовать этому напутствию. Однако я часто делаю не совсем то (или совсем не то), что ждут от меня заказчики, а потому заранее хотел бы заронить в слушателях (а потом и в читателях) предупреждение о некотором своем служебном несоответствии.

Прошлым летом умер мой учитель и самый близкий друг Михаил Львович Левин (МЛ). Многие годы он жил и работал рядом с МА. Они составляли как бы слаженно действующее совместное умственное предприятие. Мне выпала удача видеть их взаимодействие в "ближней зоне"[2]. И я решил поделиться некоторыми наблюдениями и, главное, следуя заданию ВД, рассказать о продукции этого

---

[1] Предлагаемый текст приблизительно совпадает с содержанием лекции, прочитанной на традиционной конференции по физике плазмы и термояду в феврале 1993 г. в санатории "Поречье" (близ Звенигорода, Подмосковье). Письменный вариант, однако, несколько расширен в пояснении формульных утверждений и тех подробностей, которые были сжаты или опущены из-за жесткости регламента. Кроме того, в текст вставлены – по памяти – некоторые экспромтные замечания, оживлявшие общение с аудиторией.

[2] Выступление предполагало присутствие профессионалов-физиков, и потому местами текст заклиширован профжаргонами. И только потом некоторые символы и словечки вдруг засветились вторыми (житейскими) смыслами. Так, в теории излучателей есть понятие ближней и дальней зон как областей существования поля, тогда как в советском обиходе за словом "зона" закрепилось (увы!) совсем иное употребление...

совместного предприятия. Она настолько богата и в валовом, и в ассортиментном (на языке деловых людей) исчислении, что я смогу сделать лишь пробежку с остановками по требованию, скорее всего по требованию собственных пристрастий.

2. СЦЕНАРИЙ

Мною избран такой сценарий. В начале сообщения я слегка коснусь проблемы психосовместимости, в частности тех особенностей характеров, которые объединяли МА и МЛ. Затем приступлю к описанию схемных фигур: пройдусь по именной ветви МА – МЛ, взращенной в горьковско-нижегородском направлении (фиг. 1), и прокомментирую развитие влияний МА в укладке на эту ветвь (фиг. 2, 3, 4). Я осмысленно и вынужденно ограничусь электродинамическими идеями МА и нижегородскими их разветвлениями: именно здесь роль МЛ была весьма проявительна, да и для меня эти вопросы наиболее досягаемы.

3. СПОСОБЫ МЫШЛЕНИЯ

Пожалуй, как только люди начали проникаться величием собственного Разума, они разделили всю Вселенную на две примерно равно важных Подвселенных – Внешнеприродную и Внутримозговую. Американцы даже иногда называют вторую Трехфунтовой Вселенной (*The Three pounds Universe*). Знания о наружной Вселенной всегда опережали (и продолжают!) знания о Вселенной внутренней: труднее, видимо, "глаза вовнутрь направить". И все же заметное подтягивание – даже рывок – наступило во второй половине нашего века. Сразу и в физиологии мозга, и в его моделировании (подражательном воспроизведении некоторых его отправлений). А в 1981 году R. Sperry получил Нобелевскую премию за исследования по специализации мозговых полушарий человека. Клинически (т. е. феноменологически, наблюдательно) это было ясно давным-давно, а теперь уже непосредственно прямой диагностикой людям удалось показать, что последовательное (математики связывают это со словами алгебраическое или логическое), образное (параллельное, геометрическое) и интуитивное (подсознательное, неаналитическое) виды мышления имеют в общем различные территориальные прописки: левополушарную, правополушарную и, по-видимому, глубинно-слойную, "подкорковую". Конечно, такое представление очень уж категорично[3], и физиологи-профессионалы иногда в этом месте вздыбливаются от оговорок и уточнений. Но впадание в идеализированные крайности, как подсказывают нам физические модельные удачи, обостряет начальное понимание сложных, перехлестывающихся ситуаций. Соответственно и люди встречаются с разными преобладаниями типов мышления. Если ограничиться только лево (left) и право (right) полушарными признаками, оставляя в стороне загадочные интуитивные свойства, то можно различить три группы "мыслителей": ($l > r$) – "логики", ($l < r$) – "образники", ($l \sim r$) – "равнодумники".

[3] Особенно когда речь идет об интуитивных свойствах, способы "измерения" которых, т. е. способы переизложения на языке логического и/или образного типа, честно говоря, совершенно неясны, а может быть и в принципе недопустимы.

Последних иногда называют "амбидекстрами" – двоякоправыми, одновременно они и двояколевые. Но слова эти в русской лексике приживаются неохотно.

Исаак Моисеевич Яглом, кажется, был первым, начавшим думать на эту тему в истории науки. Он опубликовал страстную статью "Почему высшую математику открыли одновременно Ньютон и Лейбниц? Размышления о математическом мышлении и путях познания мира" [1].

Одна из последних работ, до которой дотрагивался М. Л. Левин, была посвящена изучению объединения "разнодумающих" людей в научные связки (коллективы) и научные последовательности (эстафетные цепочки). Опорной там была "эстафетная команда" Фарадей – Максвелл – Герц – Хевисайд, составленная из выдающихся одиночек [2]. А я сейчас попытаюсь перенести эти идеи научного взаимодействия на слаженно работающий мини-коллектив Леонтовича – Левина, где и равносвязанность, и эстафетность неразделимо соединились.

4. СВЯЗКА ЛЕОНТОВИЧ – ЛЕВИН

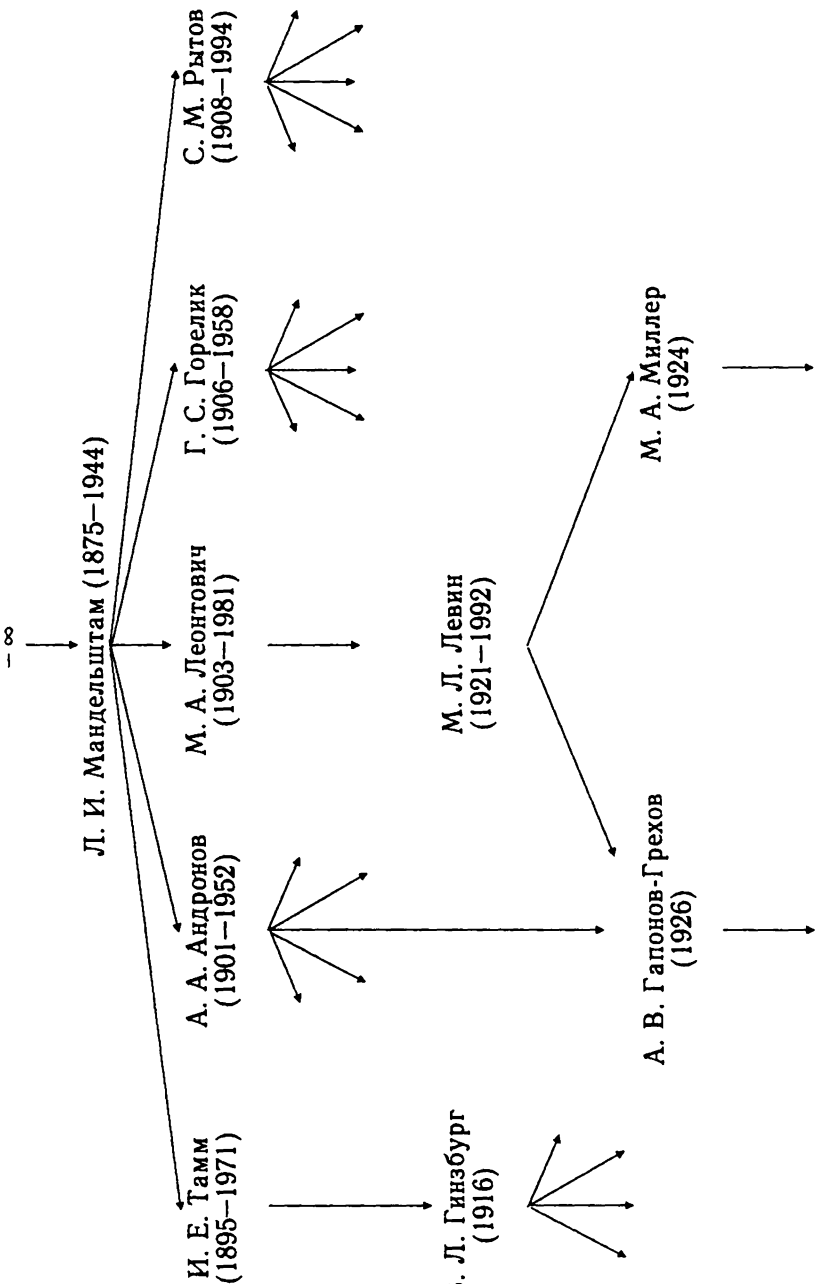
О М. А. Леонтовиче опубликованы обширные воспоминания, обогащенные сказами-легендами [3–6]. Это был человек редкостного типа мышления. Все его научные тексты, выпущенные в свет, написаны в четкой левополушарной манере, а все его жизненное поведение скорее правополушарное, эмоционально широкое, можно сказать, "гуманитарное" (но в очень осторожных кавычках, ибо такое "эпитетование" само по себе правополушарно!). Символически эти свойства обозначаются слабым неравенством ($l \geq r$)! Сбалансированность с преобладанием логичности! Причем довольно часто возникновение новых идей происходило в голове МА "справа налево" ($l \leftarrow r$) – да еще зажигательно, точечно, неожиданно – в репликах, в беседах, в раздумьях вслух, и тем самым в незамедлительной передаче людям. Кто-то назвал это "осеменение осенением". В некоторых случаях МА решал формализовать свои замыслы сам, но чаще предпочитал "ветровое опыление", дающее при удачном попадании и выживании вполне жизнеспособное потомство.

М. Л. Левин обладал аналогичными качествами, но как бы с зеркально отраженным перекосом: ($l \leq r$)! [7–10]. Его ум был хорошо уравновешен ("амбидекстрован", что часто свойственно левшам), но с преобладанием "художественности" (тоже в осторожных кавычках) [9, 10]. Так и сплотилась эта великолепная связка ($l \geq r$)+($l \leq r$), поддерживаемая удачным стечением жизненных обстоятельств. "Подмога случая" необходима, но без внутренней потребности друг в друге, без тяги друг к другу любая "спарка" либо неустойчива, либо слаботворна.

Я не буду (и не сумею) вдаваться в детали механизма их взаимодействия. Значение МЛ в этом "думательном дуэте", боюсь, недооценивалось: а ведь фактически в нем он перебрал все роли попеременно – от доктора Ватсона до Шерлока Холмса, тогда как со стороны виделся чаще лишь как эксперт, ибо отлично знал классику и – до удивления оперативно – успевал следить за ключевыми достижениями дня.

Убежден – он немного припозднился на встречу с МА (ну, года на два, на три), но ни в чьей власти судить сие сострадательно.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ВЕТВЬ (GRAFTED SHOOT) ЛЕОНТОВИЧА (Фиг. 1)



И. И. Антаков (1927), А. М. Белянцев (1931), В. И. Беспалов (1925), В. М. Боков (1928–1965), А. Л. Гольденберг (1936), Л. А. Островский (1934), М. И. Петелин (1937), М. И. Рабинович (1941), В. А. Флягин (1929), Г. И. Фрейдман (1931), В. К. Юлпатов (1937), Е. И. Якубович (1934)

Д. М. Браво-Животовский (1926), А. И. Весницкий (1939), В. Б. Гильденбург (1936), Л. С. Долин (1936), В. Н. Дымский (1921), Б. Г. Еремин (1935), Ю. М. Жидко (1933), И. Г. Кондратьев (1936), А. Г. Литвак (1940), Г. В. Пермитин (1941), Ю. А. Романов (1934), В. И. Таланов (1933)

А. А. Абрашкин, Э. Б. Абубакиров, О. Л. Антипов, И. С. Арансон, А. А. Бабин, Ю. Н. Беляев, А. А. Бетин, В. Л. Братман, В. А. Валов, Ю. К. Веревкин, Н. С. Гинзбург, К. А. Горшков, Г. Г. Денисов, М. Н. Дроздов, В. Ю. Зайцев, А. А. Игнатов, А. М. Киселев, С. В. Кияшко, Н. Ф. Ковалев, В. А. Козлов, З. Ф. Красильник, А. М. Кубарев, М. А. Моисеев, Г. С. Нусинович, М. М. Офицеров, А. Б. Павельев, В. В. Папко, Т. Б. Панкратова, Г. А. Пасманик, Е. Н. Пелиновский, А. С. Пиковский, В. И. Пискарев, В. П. Реутов, А. В. Сморгонский, И. А. Соустова, Ю. А. Степанянц, А. М. Сутин, М. М. Сущик, Ю. И. Троицкая, В. Г. Усов, В. М. Фортус, В. Е. Фридман, М. И. Фукс, В. И. Хижняк, Л. Ш. Цимринг, В. Н. Шастин, В. Г. Яхно...

Д. И. Абросимов, В. С. Авербах, А. Я. Басович, В. В. Баханов, Я. Л. Богомолов, М. П. Бриженев, Ю. Я. Бродский, В. Л. Вебер, А. Л. Вихарев, С. Н. Власов, С. В. Голубев, В. Л. Гольцман, Е. М. Громов, В. Ф. Дряхлушин, Л. А. Егоров, С. А. Ермаков, А. А. Жаров, Т. М. Заборонкова, В. Г. Зорин, О. И. Иванов, В. А. Исаев, А. В. Ким, А. В. Костров, А. К. Котов, А. В. Кочетов, В. В. Курин, А. Г. Лучинин, Г. А. Марков, Н. Д. Миловский, В. А. Миронов, С. Б. Моченев, А. Г. Нечаев, В. А. Петрищев, Б. К. Полуяхтов, В. П. Попов, Л. Л. Попова, В. А. Савельев, В. Е. Семенов, А. М. Сергеев, Я. З. Слуцкер, А. И. Смирнов, Ю. М. Сорокин, А. Н. Степанов, В. И. Титов, А. М. Фейгин, А. А. Фрайман, Г. М. Фрайман, И. В. Хазанов, А. И. Хижняк, Ю. Б. Щегольков, А. Д. Юнаковский...

5. РАСПЛОД УЧЕНИКОВ

Наиболее показательным критерием эффективности научного предприятия, наверное, является расплод учеников. Сам М. А. Леонтович вышел, как известно, из школы Л. И. Мандельштама (ЛИМ) [11, 12], а тот считал себя учеником Брауна (Нобелевская премия за радио вместе с Маркони, но без Попова в 1909 году) [109]. Кое-кто пытался пройти по родословной далее, в глубь веков, но, насколько мне известно, столкнулся там с многопереплетенной неопределенностью — эффектом рассеяния предков по чужим ветвям.

МЛ был одним из первых учеников МА, он приблизился к нему еще в свою студенческую пору (сороковые годы). Однако в июле 1944 года был отторгнут от него и посажен в сталинские застенки, а затем — по дикому везению, но и не без влияния настойчивых ходатайств МА — выпущен по "победной" амнистии и получил разрешение на жительство в г. Бор — через Волгу от Горького, однако с правом переплытия реки и преподавания в Горьковском университете. И фактически весь "нижегородский расплод" МА осуществился через МЛ, но, разумеется, при участии других высококлассных "производителей", таких как А. А. Андронов, Г. С. Горелик, М. Т. Грехова, А. Г. Майер, В. И. Гапонов, С. М. Рытов, В. Л. Гинзбург, Е. Л. Фейнберг и др. [110].

Естественно назвать эту ветвь привитой, привойной (очень выразительный английский термин *grafted shoot!*), поскольку прорастание происходило по типичным отечественным образцам — продвижение культуры на периферию (преимущественно в восточном направлении) путем выселения "трегеров", властям в центре неугодных. В русской ботанической лексике это так и называется — культурной прививкой! Из фиг. 1 видно, что расплод получился взрывным, как на почвах, не истощенных однообразной эксплуатацией. Начиная со второго поколения, векторные "стрелки породнения" так сильно переплетаются, что пришлось их опустить во избежание неразберихи или недоразумений. При некоторых именах указаны годы рождения (иногда, увы, и смерти)[4]. Замечу попутно, что существуют, возможно, какие-то общие законы разрастания научных древ, ветвей и кустов с различными вероятностными функциями распределения узлов разного порядка (если пользоваться языком теории граф), но историкам науки что-то сейчас не до того, не до генеалогических второстепенностей.

Информация на фиг. 1 оборвана на третьем-четвертом поколении. А что дальше? Рост? Вряд ли. Скорее всего, снижение или выход в осцилляторный, а может, в хаотизированный режим... Ведь любое научное древо произрастает и ветвится в социальном окружении, а этому древу выпала участь развиваться еще и в такой среде, как наша, — плотно набитой бифуркационными точками. Так что поживем — увидим, е. б. ж. (если будем живы), как любил выражаться наш Великий Граф (антизеркало антирусской антиреволюции!).

---

[4] Составление древа встретилось с неожиданными трудностями: некоторые "участники" тяготели к перескокам вверх — через поколение — и, честно говоря, не без оснований, потому что влияние учителя сказывается — даже прямо контактно — на двух-трех коленах. Чтобы избежать разнотолков, древо рисовалось по решению сверху, т е. "нижестоящие ученики" как бы утвердились снова "вышестоящими учителями".

6. ДРЕВЫ ИДЕЙ

Приступим теперь к "озвучиванию" древ идей. Я выбрал три электродинамические проблемы, решение которых исходило от МА. Теория тонких антенн (ТТА), граничные условия (ГрУс) и параболическое (диффузионное) уравнение для волновых амплитуд (ПарУр). Именно они хорошо прижились в нижегородском оазисе. И именно здесь вклад — а иногда и просто "при-том-присутствие" — МЛ был особенно ощутим. Изображенные на фиг. 2, 3, 4 "участки работ" не соединены причинно-следственными стрелками из-за фактической многозначности путей развития идей и важной роли обратных связей, благодаря которым следствия могли подправлять причины и делали это. Получилось древо без ветвей, на котором развешены плоды, а каждому "наблюдателю" предоставлены возможности по-своему довоображать порядок их созревания. Порой кажется, что такие объективно-субъективно-объективно...сти как раз и отражают обычные подходы историков (и не только историков науки!) к освещению сюжетных ходов прошлого.

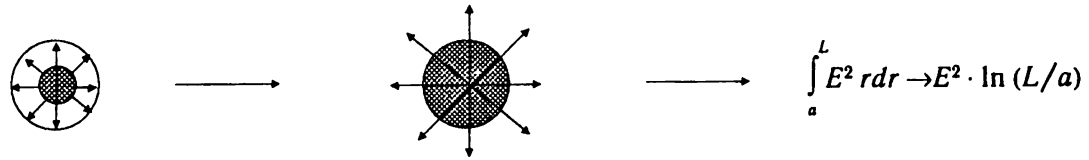
Имена и годы (см. фиг. 2)

Левин [15—17];
Леонтович [18], Фельд [19], Левин [20—24];
Левин [20—25], Гапонов [25—28], Миллер [29];
Губо [30], Вайнштейн и др. [31—32];
Таланов, Миллер [33], Пистолькорс [34], Олинер и др. [35];
Миллер [36—37], Цейтлин [26], Миллер, Цейтлин [26];
Губо [30], Каценеленбаум, Гапонов и др. [38];
Каценеленбаум, Гапонов и др. [38,39];
Ким, Марков, Смирнов и др. [40,41];
Леонтович, Левин [14], Зельдович [42], Левин [43—45], Миллер [46,47];
Крупин, Оболенский [48], Докучаев [49,50];
Штейншлегер [51], Горбачев, Заборонкова [52];
Абрамович, Немцов, Эйдман [53];
Андронов, Чугунов [55];
Андронов, Городинский [54];
Мареев, Чугунов [41];
Hallen [56], M. Gray [57], King, Middleton [58,59], Фелсен, Маркувиц [60], Кинг, Смит [61] и др.;
Витт [62].

Все рисунки скопированы (слегка видоизмененно) с лекционных плакатов, которые скорее были рассчитаны на впечатление, чем на полноту информации. И они заполнены нарочито предвзято — с несколько нескромным выставлением нижегородских участий. В принципе было бы заманчиво совместить древа имен и идей, но, во-первых, это сотворило бы такую сложноиспещренную картину,

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ ТОНКИХ АНТЕНН (Фиг. 2)

ПРОИЗВОДЯЩАЯ ИДЕЯ (1938–1942)



УРАВНЕНИЕ ЛЕОНТОВИЧА – ЛЕВИНА (1942⇒) [13, 14]

$$\frac{d^2I}{dz^2} + k^2 I = i\omega\dot{\varepsilon}\chi^{-1}\{E_z^{CT} + E_z[I, z]\}; \qquad \chi = 2\ln L/a$$

(a) ВХОДНЫЕ ИМПЕДАНСЫ

(b) ЩЕЛЕВЫЕ АНТЕННЫ

(c) АНТЕННЫ В ВОЛНОВОДАХ И РЕЗОНАТОРАХ

(d) ОДНОПРОВОДНЫЕ И ПОЛОСКОВЫЕ ЛИНИИ

(e) ВОЛНЫ С УТЕЧКОЙ

(f) ИМПЕДАНСНЫЕ АНТЕННЫ

(g) АНТЕННЫ С УСИЛЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ

(h) ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ И СТЕРЖНИ

(i) ПЛАЗМЕННЫЕ ОБОЛОЧКИ

(j) ТОРЫ

(k) УТОЛЩЕННЫЕ ВИБРАТОРЫ

(l) НЕЛИНЕЙНЫЕ АНТЕННЫ

(m) ДВИЖУЩИЕСЯ АНТЕННЫ

(n) ИЗОТРОПНАЯ ПЛАЗМА

(o) ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИСПЕРСИЯ

(p) АНТЕННЫ В ПЛАЗМЕ

(q) ИНОВЕТВЬ

(r) ОТДАЛЕННОЕ ПРЕДШЕСТВИЕ

которая не способствовала бы пониманию связей, а, во-вторых, в нашем исполнении, акцентированном на нижегородские успехи, могло возникнуть ложное представление о местечковости наших взглядов. Любая наука всеобща, и в развитие идей МА вложились разные и очень "влиятельные люди" со стороны, т. е. вне привойной ветви: МА → МЛ → ∞. Но в некоторых случаях мы все же сочли необходимым указать имена этих "агентов влияния" (здесь более подходит понимание слова "агент" в химическом его значении)[5].

7. ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬСТВА

Похоже, что все три изначальные догадки по всем трем электродинамическим проблемам, рассматриваемым далее, "засветились" в голове МА почти разом, перед войной, а затем уже проходили длительную стадию "выхода в убедительность". Сказывалась, поди, мандельштамовская традиция непоспешения публиковаться до полной и окончательной (!) убежденности! ЛИМ любил говорить (кого-то цитируя): "Первый открыл тот, кто открыл убедительно", – и сам очень многое делал очень убедительно, но с запоздалым обнародованием. А тут еще предвоенная и военная информационные изоляции. В палеонтологии (и не только!) есть такие чуды – территориально изолированные скопища тварей много-многажды поколений развиваются однотипно. Я не знаю профессионального термина и называю сей феномен "принципом независимого сходства аборигенов". Разумеется, каждому такому процессу соответствует характерное время, разное для вирусов, дрозофилл и царей природы. Тоталитаризм, национальные самодовольства, межрелигиозные распри опускают "железные занавесы" (первоначально, кстати сказать, имевшие только противопожарное назначение!), и можно (благодаря этому!) убеждаться опытным путем в сложности аборигенной эволюции развития научных идей[6].

В общем, у МА были и предшественники, и одновременники – как зависимые от него, так и не зависимые. Мы привели некоторые их имена; особенно кучно они представлены в теории антенн: здесь МА вторгся в насыщенную изобретательными умами инженерию [56–62].

А вообще по такому поводу я люблю не пропускать возможности цитировать покойного Л. А. Вайнштейна (тоже одного из первых учеников МА): "Не успеешь что-либо открыть, как тут же набегут предшественники!"

---

[5] Составители схем заранее приносят извинения за пропуски, пробелы, а возможно и некоторые неточности – никакого умысла в этом не было, хотя согласно классику: "*To err is human, to forgive, divine*".

[6] Здесь мы прикоснулись к довольно любопытной социально-психологической проблеме – оптимальной степени взаимодействия научных коллективов (равно и сообществ, и индивидуальностей!), которые в своих исследованиях тянутся к одинаковым тематическим целям. Сильная связанность ведет к захвату однообразием, модным и общепринятым. Слабая связь (в пределе изолированность) способствует независимому творчеству, повышает вероятность неожиданного всплеска идей, но замедляет общее развитие. Причем наука и технология имеют разные режимы оптимальности.

8. ПРОИЗВОДЯЩИЕ ИДЕИ

Перейду к изложению научного содержания древ.

Почему-то мне кажется (и эту навязчивую мысль я протащил в сборник воспоминаний о МА [3]), что все три замысла МА имеют общую интуитивную наводку — в сложной совокупности полей выделяется простейшее осцилляторное движение, и на нем прослеживаются главные свойства всего физического процесса в целом. При этом хорошо просматривается методическая приверженность мандельштамовской триаде: параметр → модель → теория. Я допускаю, что в какой-то степени захватываюсь этим объединением, но считаю такую параноидальность здравой и, главное, достаточно плодотворной (согласно апостолу Павлу — это то безумие, которое рождает мудрость)[7]. Руководствуясь этими соображениями, я буду двигаться фронтально — сразу по всем трем направлениям: ТТА + ГрУс + ПарУр, примерно следуя временному ходу развития и обогащения идей.

9. ПРОИЗВОДЯЩАЯ ИДЕЯ ТТА

Проволочные антенны вошли в радиообиход еще со времен А. С. Попова, и к сороковым годам достигли обильной распространенности. Дальнейшее их совершенствование сдерживалось недопониманием законов распределения тока вдоль провода и незнанием соотношений между полями, локализующимися (сосредоточивающимися) около антенны, и полями, отрывающимися от нее и излучающими энергию в окружающее пространство[8]. Исходной моделью может служить коаксиальная линия, вдоль которой токи распределяются по строго синусоидальному закону. (Здесь и далее речь идет — если не оговорено что-либо иное — о чисто гармонических временных процессах, записываемых с помощью фактора $\exp(+i\omega t)$. Предполагалось, что у читателей имеется необходимый минимум знаний, так что некоторые утверждения, и уж тем паче общепринятые обозначения, даются как само собой разумеющееся. Но это не исключает скользящего прочтения текста также и читателями, не отягощенными профессиональным пониманием, — они, можно надеяться, извлекут из доклада некое общее представление о чем-то чужом, но важном).

Если постепенно удалять внешнюю оболочку коаксиала, то получится переход к одиночному проводу. Параметр прижатия поля к нему определяется, по-видимому, единственно разумным образом — через быстроту убывания плотности электрической энергии

---

[7] Здесь снова смысловое цитирование, да еще с несколько тенденциозным толкованием. В каноническом русском переводе призыв апостола Павла таков: "Никогда не обольщай самого себя; если кто из вас думает быть мудрым в веке своем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым" (Первое послание к коринфянам святого апостола Павла, Глава 3, песнь 18). Однако, к моему изумлению, в английском переводе — *The King James version* [106] — соответствующее место выглядит несколько иначе : "*If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise*". Первоисточниковый текст был, увы, мне недоступен.

[8] Пояснения по обычаю даются для излучающих (передающих) антенн, а затем по взаимности (если, конечно, она работает) переносятся на приемные и рассеивающие антенны.

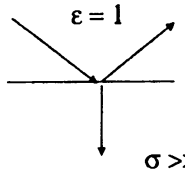
ЭВОЛЮЦИЯ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ ЛЕОНТОВИЧА (Фиг. 3)

Предшественник
А. Н. Щукин (1940) [111]

"Одноделец"
Г. А. Гринберг
(1942) [65–68]

Математические
обобщения
∞ !

ПРОИЗВОДЯЩАЯ ИДЕЯ
(1938–1948) [63, 64]



$$\Rightarrow \boldsymbol{E}_\tau = \eta \cdot [\boldsymbol{n}, \boldsymbol{H}]$$

"Одноделец"
Я. Л. Альперт
(1940) [69–71]

Обобщения
на волны
любой природы
∞ !

ОБОБЩЕНИЕ НА ИМПЕДАНСНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ [36, 37, 72, 73]

Щелкунов < 1940, Леонтович, Миллер (1951)

$$\frac{\varepsilon = 1}{\varepsilon, \mu >> 1} \quad \Rightarrow \quad Z_{\alpha\beta}(\omega, \boldsymbol{k})$$

$\sigma \to \infty$

РАДИОВОЛНЫ
НАД ЗЕМЛЕЙ

Леонтович, Фок (1946)
[66, 74, 75]

ПОВЕРХНОСТНЫЕ
ВОЛНЫ

Миллер (1952) ⇒
[72, 76–78]

ДИФРАКЦИЯ НА ТЕЛАХ С ИМПЕДАНСНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Уфимцев, Келлер, Кондратьев (1960→) [81–83]

ВОЛНОВОДЫ И РЕЗОНАТОРЫ С КОНЕЧНОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ СТЕНОК

Левин (1948), Вайнштейн (1950) и др. [20, 31, 32]

ВОЛНЫ С УТЕЧКОЙ

Ценнек, Леонтович, Левин, Олинер, Миллер, Таланов (1944, 1960→) [80, 63, 33, 35]

НЕЛИНЕЙНЫЕ ИМПЕДАНСЫ

Литвак, Миронов и др. (1990) [84]

ДВИЖУЩИЕСЯ ИМПЕДАНСНЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ

Миллер, Таланов (1961), Эйдман (1965) [78, 79]

КВАЗИПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОЛНЫ В СВОБОДНЫХ И ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ПЛАЗМАХ

Кондратьев, Романов (1960→) [85, 86]

ДИФФУЗИЯ ВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ (Фиг. 4)

Предшествие:
Юнг (1809) [88]
Зоммерфельд (1909) [87]

ЗАДАЧА ЗОММЕРФЕЛЬДА
(Диполь над импедансной поверхностью)
Леонтович (1944) [74]

САМОФОКУСИРОВКА

$$-2ik\frac{\partial U}{\partial z}+\Delta_{\perp}U+\alpha|U|^2U=0$$

Аскарьян, Таланов (1960→) [93]

УРАВНЕНИЕ ЛЕОНТОВИЧА

$$-2ik\frac{\partial U}{\partial z}+\Delta_{\perp}U=0$$

КВАЗИОПТИЧЕСКИЙ ПУЧОК

Малюжинец (1959) [88,89]

ЛЕНГМЮРОВСКИЙ КОЛЛАПС

$$\Delta(i\Psi_t+\Delta\Psi)=\operatorname{div}(u\nabla\Psi)$$

$$u_{tt}-\Delta u=\Delta|\nabla\Psi|^2$$

Захаров (1972) [95]

КВАЗИОПТИЧЕСКИЕ ТРАКТЫ
оптические линии
линзоподобные среды

Таланов, Каценеленбаум,
Власов (1962–1990) [90, 91]

ВОЛНОВЫЕ ПАКЕТЫ

$$-2ik\frac{\partial U}{\partial z}+k\frac{\partial v}{\partial \omega}\frac{\partial^2 U}{\partial \xi^2}+\Delta_\perp U+\alpha|U|^2U=0$$

$$\xi=z-vt$$

Таланов, Литвак (1967) [94]

АНИЗОТРОПНЫЕ СРЕДЫ

$$-i\frac{\partial U}{\partial z}+\frac{\partial^2 U}{\partial \xi^2}-\frac{\partial^2 U}{\partial \eta^2}+|U|^2U=0$$

Литвак, Сергеев, Жарова (1979) [96]

ОТКРЫТЫЕ РЕЗОНАТОРЫ

Таланов, Вайнштейн

(1962–1966) [90, 31]

Приведение волнового уравнения к виду параболического

$$\Delta\Phi-\frac{1}{c^2}\cdot\frac{\partial^2\Phi}{\partial t^2}=0$$

$$\tau=z-ct,\quad \xi=z+ct,\quad \Phi=\exp(ik\xi)\cdot G_k(\tau, r_\perp)$$

$$4ik\frac{\partial G_k}{\partial \tau}+\Delta_\perp G_k=0$$

Brill (1891), Bateman (1915), Brittingham (1983) [97, 98]

НЕОДНОРОДНЫЕ СРЕДЫ

$(x, y)\to(\tau, \xi)$ – лучевые координаты

$$-2ik_0\frac{\partial U}{\partial \tau}+\frac{\partial^2 U}{\partial \xi^2}-k_0^2\cdot\Phi_m(\tau)\,\xi^m U=0$$

$$m>1$$

Кондратьев, Пермитин, Смирнов (1973–1980) [92]

$$W = \frac{1}{8\pi}\int E^2 dS \sim \frac{1}{2}\int_{r=a}^{L} E^2 r dr \sim E_0^2 \chi,$$

где $E = E_0 \ a/r$, $\chi = 2 \ln L/a$, причем обрезание логарифма рекомендуется производить на расстояниях, где поле начинает заметно отличаться от двумерно кулоновского $L \sim \min\{L_A, \lambda \sim 1/k\}$, L_A — длина антенного провода или радиус кривизны, достаточно превышающий собственный радиус этого провода $r = a$.

Несмотря на то что фактор прижимаемости — логарифмический и, значит, параметр малости, увы, слабоват, однако, как это часто бывает в физике (в природе?), приближение работает лучше, чем ожидается, и точность выделения осцилляторной части распределения тока может быть более или менее строго проконтролирована.

Вот оно — интегродифференциальное уравнение для тока I, текущего вдоль одиночного антенного провода, носящее имя Леонтовича — Левина [13][9]:

$$\frac{d^2 I}{dz^2} + k^2 I = i\omega\varepsilon\chi^{-1}\{E_z(I, z) + E_z^{ст}\}. \qquad (1)$$

Здесь $\chi = 2 \ln L/a$; $E_z(I, z)$ — некий, довольно-таки сложно устроенный, но уже явно определяемый оператор, зависящий от тока I и продольной координаты z, а $E_z^{ст}(z)$ — внешнее (стороннее) электрическое поле, возбуждающее антенный провод и задаваемое на его поверхности или на разрыве антенны (соответствующее англоязычное слово *gap*).

Итак: а) параметр — характеристика прижатия (локализации) поля; б) модель — тонкий цилиндрический провод; в) теория — интегродифференциальное уравнение для тока вдоль провода; г) пределы применимости — малость параметра прижатия; д) одновременники — прежде других Hallen [56].

10. ПРОИЗВОДЯЩАЯ ИДЕЯ В ГрУс

В случае ГрУс МА отталкивался от одной из самых древнейших (по-честному, все-таки средневековейших) задач — законов Снеллиуса (Снелля), которым подчиняются световые лучи при отражении и преломлении на границах раздела двух сред. МА догадался, что если показатель преломления велик и комплексен (а именно таким свойством обладают проводники с проводимостью $\sigma >> \omega$, параметр малости $(\omega/\delta)^{1/2}$, то преломленная волна уходит (быстро затухая) в глубь среды почти перпендикулярно к поверхности — при любом угле падения, даже скользящем. А это значит, что структура поля в нижней среде (см. фиг. 3) фиксирована и с большой точностью совпадает со структурой поля плоской волны, уходящей от границы в перпендикулярном направлении. И потому

[9] Впрочем, о наименованиях мы поговорим позднее. Тем более, что в ТТА были — по другую сторону железного занавеса (кто от кого и от чего оказался в противопожарной изоляции!?) — одновременно получены аналогичные уравнения с аналогичными приемами обрезания логарифмических расходимостей (столь популярными сейчас в физике вообще!). Это были Hallen, Grey [56–57].

воздействие нижней среды на поле сверху может быть сведено к ограничению, навязанному замороженной структурой поля снизу. Таков смысл Граничного Условия Леонтовича, связывающего тангенциальные составляющие электрического $E_{тан}$ и магнитного $H_{тан}$ полей на границе с хорошо проводящими средами.

Итак: а) параметр $(\omega / \sigma)^{1/2}$; б) модель — преломление электромагнитных волн на границах раздела; в) теория — однородные ГрУс вида

$$\boldsymbol{E}_{тан} = \text{const} \cdot (\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{H})_{тан}, \qquad (2)$$

где $\boldsymbol{n}$ — нормаль к границе, $\times$ — знак векторного произведения; г) — пределы применимости: радиусы кривизны границ, волновых фронтов и других характерных величин в верхней среде должны заметно превышать толщину скин-слоя в нижней среде; д) одновременники — "внутриаборигенные", видимо, инициированные (или просто оплодотворенные) самим МА. Взаимные ссылки наличествуют: Гринберг [65], Альперт [69]. Взаимодействие М. А. с А. Н. Щукиным мне неизвестно [111].

Вообще это было устное творчество МА, распространившееся по стране широко и быстро, как примерно в те же времена чудная песня "Катюша", и причина та же — доступная простота.

11. ПРОИЗВОДЯЩАЯ ИДЕЯ В ПарУр

В случае ПарУр производящая идея, возможно, возникла у МА как результат размышления над устройством волнового уравнения [74]. Размышления физика над математикой! Рядом был его друг и свойственник (муж родной сестры) А. А. Андронов [107], развивший качественную теорию дифференциальных уравнений: узнавание свойств решений по характеру и виду уравнений. Дифференциальные уравнения — локальные связи величин — это законы их изменения в малых окрестностях и на малых временных интервалах. А решение уравнений — это поведение величин в целом — на больших масштабах. Интуитивное предугадывание — по свойствам в малом увидеть поведение в большом — требует большой сноровки, мастерства и навыка. Если отвлечься (временно) от узко математических целей и позволить себе пофилософствовать (в хорошем смысле этого слова), то такое сродни многим человеческим занятиям — по молекулам составить представление о веществе, по биоклеткам — об организме, да, в конце концов, по нашему малому окружению охватить умом всю Вселенную. А тут задача все-таки попроще. Дана связь в малом — в виде волнового уравнения

$$\Delta \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}, \qquad (3)$$

которое может быть возвеличено, как одно из самых удивительных и представительных уравнений в физике (а значит, и связей в природе!). Удивительных — по многообразию решений, представительных — по их значимости при описании физических процессов. Думаю, оно входит в десятку важнейших уравнений

физики[10]. В нем как бы "упрятаны" и плоские, неограниченно протяженные волны, и одиночные локализованные импульсы, и волновые пучки (лучи!) с более или менее резкими очертаниями. МА нашел способ оценить и вычислить эту более или менее резкость. Если представить, что волновой пучок (как и предполагаемый монохроматичным) образован совокупностью слегка расходящихся плоских волн,

$$\exp(i\omega t - i(\boldsymbol{k} + \Delta\boldsymbol{k})\boldsymbol{r}), \quad \Delta k \ll k,$$

то как-то само собой захочется поискать пучковое решение уравнения (3) в виде слабо модулированного осцилляторного распределения

$$\varphi \sim \exp(-ikz)\, u(\boldsymbol{r}_\perp, z), \quad \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_\perp + \boldsymbol{z}.$$

И тогда в предположении медленности изменения амплитуды волнового поля в масштабах длины волны ($\lambda = 1/k$), усредняя по быстрым колебаниям, можно получить уравнение для модулирующей огибающей. Это и есть уравнение, выведенное Леонтовичем для диффузионного, плавного расплывания той самой более или менее резкой границы волнового пучка [74]:

$$-2ik\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \tag{4}$$

По виду оно и впрямь совпадает с уравнением теплопроводности или диффузии (правда, с комплексными коэффициентами).

Итак: а) параметр малости $(kL)^{-1} \ll 1$ (L – характерные протяженности огибающих полей); б) модель – слабо модулированное колебание; в) теория – диффузионное уравнение (параболического типа) для амплитуд; г) пределы применимости – точность по kL-разложениям. И был (д) – Великий Предшественник – Томас Юнг (1773–1829) [88], который задолго до возникновения математической формализации описал наблюдаемую нерезкость пучковых границ как диффузии амплитуд, качественно, гипотезно, интуитивно... Мир физического мышления все-таки соразмерен с миром природы: так много в нем просторности как для рассудительных педантов, так и для воображательных образников, не говоря уже о загадочных интуиторах.

12. О ВОЗНИКНОВЕНИИ ИДЕЙ ВООБЩЕ

Л. И. Мандельштам [11, 12] говорил, что физика (как занятие) есть умение допросить законопослушную природу, а следовательно, и уравнения, ее описывающие (это не цитата, а воспроизведение смысла высказывания). Действитель-

[10] Выделение "призеров цивилизации" – троек, пятерок, десяток, сотен и т. д. – всегда затруднено отсутствием четких числовых (односкалярных) критериев [99]. Кто-то, небось, считает это занятие "баловством нечестивцев", но от таких оценок никуда не уйти, ибо речь идет, по существу, об установлении факторов (событий, людей, идей...), оказавших наибольшее влияние на развитие общества. И на этом поисковом пути пригодны самые разные привлечения: от капиталовложений до цитат-индексов и несомненно усреднений по опросам людей разной, в том числе и выделенно высокой, значимости. Выходит, как часто встречается в жизни, кажущаяся объективность незаметно сводится к самосогласованной субъективности (если эту фразу вообще можно объективно понять).

но, как много в науке и жизни зависит от удачно заданных вопросов, да еще заданных вовремя, в момент или около момента истины. Аналогия с детективами, со следственными и судебными допросами даже богаче, чем кажется на первый взгляд. Здесь и последовательность (тактика) вопрошания, и психологичность взаимоотношений спрашивателя и ответчика (ответчицы!). Даже такое неблаговидное (в человек-человековых допросах) явление, как навязывание допросникам своей линии ведения дела, имеющее отдаленное отношение к его существу, и то встречается в допросах природы — так иногда хочется подчинять природу собственной выдумке. Хотя развитие данной аналогии искусительно, однако это отвлекло бы нас от главных сегодняшних намерений. Но все-таки хотелось бы отметить ее работоспособность и выделить важность первого слова, осеняющей догадки, необычного (нестандартного, не укладывающегося в скучные предсказания) вопроса, взывающего к продуктивному ответу. В первой модели (ТТА) такой вопрос-догадка связан с обрезанным прижатием поля к одиночному проводу, во второй модели (ГрУс) — с неожиданным свойством сильно преломляющих сред. Вроде бы простенькие частности, однако их богатство (а потому и красота) заключается во множестве закодированных намеков на обобщения. Третья же модель — наоборот — почти сразу в чистом виде претендует на всеобщность: это как бы проявление Великого Принципа Дополнительности, доказуемый переход от одного уровня масштабной иерархии к другому. Перефразируя классика, сей переход можно было бы описать с помощью несколько витиеватой рекомендации: "Сотри (усредни) случайные (быстро изменяющиеся) черты, и ты увидишь мир прекрасным (доступным образному восприятию)".

13. ПЕРВОЕ КОЛЕНО ТТА

Я не знаю роли МЛ на эмбриональной стадии зарождения электродинамических замыслов МА. Думаю, предполагаю (и уже говорил об этом), — он не поспел к "танцу хромосом". Но уже в первом колене развития и в культурных насаждениях на нашей нижегородской земле (словообразование "культурные посадки" показалось мне здесь двусмысленным!) участие МЛ было весьма действенным и плодотворным. Малый параметр (несмотря на свою логарифмичность, т. е. слабо уменьшающуюся малость) повел себя физически незлодейски, и даже для толстоватых антенных проводов, и даже при сильных их искривлениях, ТТА, опирающаяся на уравнение Леонтовича — Левина (1), оказалась инженерно приемлемой. А заодно МЛ обобщил эту теорию на излучатели разных форм в разных пространствах. Отдельно стоит его кандидатская работа [15—17], где он связал входной импеданс антенны с распределением полей вдали и около. Активный импеданс определяет потери на излучения и выражается (по теореме Пойнтинга) через интеграл по замкнутой поверхности, окружающей антенну. Это хорошо и давно известно. Реактивный же импеданс, обусловленный пульсирующей перекачкой электрической энергии в магнитную (и обратно), выражается через объемный интеграл по всему пространству, охватывающему антенну. То был уже новый результат. И, пожалуй, тогда впервые в электродинамике возникло понимание неоднозначности разделения энергии на так называемую запасенную и так называемую диссипирующую

(излученную). Для меня, например, то было первое произрастание общефизической проблемы из малоприметного "инженерного пустяка"[11].

Сразу после кандидатской диссертации МЛ приступил к докторской, посвященной щелевым антеннам [20–24]. Спешка вызывалась по крайней мере двумя причинами: первая нормальная, научная, обусловленная взрывным развитием дифракционных излучателей (поджигателем этого взрыва был, кстати сказать, Я. Н. Фельд [19], один из продолжателей дела МА); вторая же определялась соображениями личной безопасности в борьбе с безопасностью государственной. В 1948 году посадили (арестовали) его мать – видного экономиста Ревекку Сауловну Левину – и нужно было срочно упрочивать свое положение: либо под солнцем (на свободе, с шансами обрести положение нужного для страны еврея – *Staatsjude*), либо в дебрях ГУЛАГа (с шансами обрести положение в какой-либо привилегированной шараге).

Электромагнитным знатокам известно, что в силу принципа двойственной инвариантности уравнений Максвелла тонкая металлическая антенна сопоставима с узкой щелью, прорезанной в идеальном металлическом экране, а электрический ток в антенне – с фиктивным (и одновременно эффективным!) магнитным током, текущим по следу щели в металлическом экране. Таким образом, перенос ТТА на щели в принципе очевиден, а все остальное (как любят говорить спортивные комментаторы) лишь дело техники. Но физика позволяет себе вести себя вольнее математики.

Очень длинный одиночный провод напоминает скорее не антенну, а линию передачи. И как уже было пояснено выше, при удаленной внешней коаксиальной оболочке такая линия, выполненная из идеально проводящего материала, способна лишь частично (логарифмически слабо) локализовать поле около себя и принадлежит к системам, направляющим квазилокализованные волны; позже они были, по-видимому по инициативе А. Олинера [35], названы волнами с утечкой (leaky-waves). Чтобы получить полную локализацию, надо усилить прижимаемость поля к направляющему стержню; это делается либо путем введения конечной проводимости, либо путем применения тонких диэлектрических покрытий. Эти улучшения смыкаются с предложениями, исходившими еще от Ценнека [80] и Губо [30] и др. и породившими множество удивительных последствий. А вот в случае тонкой длинной щели, прорезанной в бесконечно протяженном плоском идеальном металлическом экране, переход к точной локализации осуществляется физически более естественно, ибо щель в экране конечных размеров (скажем, обрезанном с краями, параллельными этой щели) превращается в двухпроводную линию передачи, обеспечивающую строгую локализацию. Выходит, уже в первом колене теория Леонтовича – Левина как бы вернулась к исходной производящей задаче – двухпроводной линии передачи. В свое время мне казалось это и занимательным, и знаменательным, да я и сейчас сохранил способность этому удивляться, правда, уже не так безраздумно.

[11] Для читателей, профессионально осведомленных в этих вопросах, напомним, что унос энергии – ее излучение – производится чисто бегущими (убегающими) волнами, которые сами по себе тоже обладают запасенной энергией, так что соотношение между накопленной и излученной энергиями зависит от выбора условной границы, разделяющей область, где энергия как будто запасается, от области, куда она как будто бы излучается

14. ПЕРВОЕ КОЛЕНО ДРЕВА ГрУс

Граничное условие Леонтовича практически в безызмененном первородном виде — для сильно скинирующих границ — как-то сразу прижилось во всех задачах распространения и захвата электромагнитных волн — в искусственных (волноводы, резонаторы...) и в естественных (земля, ионосфера...) средах[12]. Однако замысел МА допускал очевидные обобщения. В самом деле, если на идеально проводящую подложку нанести слой диэлектрика или магнетика или магнито-диэлектрика с достаточно большими проницаемостями, то внутри слоя формируется плоская стоячая волна, фиксирующая на входной поверхности слоя произвольное (в зависимости от свойств среды и оптической толщины слоя) соотношение между тангенциальными компонентами $E_{\text{тан}}$ и $H_{\text{тан}}$ [36]. В практической системе единиц (СИ) отношение $E_{\text{тан}}/H_{\text{тан}}$ имеет размерность импеданса, а в гауссовой оно безразмерно. Поэтому такие поверхности стали называть импедансными, и граничные условия Леонтовича стали частным случаем импедансных граничных условий. И вот непредсказуемый парадокс. МА был яростным противником СИ и с уничтожающим негодованием относился к приписыванию вакууму черт знает каких-то 376,8 ома. Поскольку я к этому импедансному святотатству имел некоторое отношение, мне удалось (кажется!?) несколько смягчить возмущение МА, оперируя с величиной $4\pi/c = 120\pi$ Ом, равной импедансу вакуума в гауссовых единицах и выражаемой через приличествующие физике универсальные константы. Но со стороны МА это смягчение было похоже на уступку хулиганствующим молодчикам, не более того! Так и осталось в электродинамике обобщенное граничное условие Леонтовича обозначенным противным МА словом импедансное.

Честно говоря, все эти споры и тяжбы по большей или меньшей соприродности разных (из числа внутренне непротиворечивых) систем единиц напоминают религиозные распри, порой отнюдь не дружественные; каждая система имеет свои аргументированные преимущества и ограниченные удобности, а потому и приверженцы тех или иных верований часто пребывают в непересекающихся пространствах достоинств. Так, МА любил приводить в качестве разгромной "нефизичности" СИ разноразмерности компонент единого 4-х тензора электромагнитного поля, а его оппоненты ответно сетовали на гауссову разноразмерность в тензоре энергии-импульса и т. д. Отдельным пунктом всегда фигурировала зряшность лишних констант в СИ, вступавшая в противоречие с известным принципом Оккама (не вводить лишних сущностей без особой надобности). Но и по этой части возраженцы упорствовали — неужели удобства не составляют надобность (и наоборот). Да и кроме того, вся физика заминирована намеками на нечто неразгаданное. Как писал наш въедливый классик: "Ничто есть разновидность нечто, а нечто это тоже что-то, из чего можно извлечь кое-что". Тоже ведь своеобразная религиозно-философическая установка. Кста-

[12] Кстати, великолепное по лапидарной точности изложение вывода этих условий, а также их интерпретацию и оценку пределов действенности дал М. Л. Левин во втором томе свежего издания "Физической энциклопедии" [64]. (К сожалению, последнее время наши справочные издания сокращают свои выпуски и по тиражам, и по охватам, тем самым следующие поколения отучаются от умения розыска знаний, по крайней мере от одного из старомодных способов такого розыска).

ти сказать, ко всем этим размежеваниям МЛ относился с добродушным юмором, но держался ближе к взглядам МА.

Вернемся, однако, к "первоколенным моделям", реализующим произвольные связи между E и H. Соответствующие магнитодиэлектрические слои могут быть реально выполнены из естественных или искусственных сред, а могут быть просто мыслимыми. И в этом обобщении, кстати, скрыта некоторая нетривиальная возможность, некогда подсказанная МА + МЛ, — возможность модельно-физического доказательства математических теорем.

Действительно, задача о решении волнового уравнения внутри некоторого объема V, ограниченного поверхностью S, на которой заданы условия Дирихле (закреплена искомая функция) или условия Неймана (закреплена ее нормальная производная), может быть сведена простой подменой среды к задаче с однородными граничными условиями, по крайней мере для фиксированных частот. И, следовательно, все теоремы — типа единственности, взаимности и т. п. — не требуют передоказательств. Сейчас таких примеров физических (или компьютерных) вставок в ход чисто математических рассуждений накопилось немало, а в те времена было в новинку и радовало освежающей неожиданностью [36]. Рассказ о всех физических и технических системах с импедансными границами, как и о теоретических приемах, использующих такие средства для качественного и количественного понимания явлений, свелся бы к символу — далее ∞ ! Частично мы еще вернемся к некоторым важным конкретностям при обсуждении второго колена достижений.

15. ПЕРВОЕ КОЛЕНО ПарУр

Мое повествование неисторично: оно подправляет фактический ход событий, отдавая предпочтение мыслям перед делами. МА придумал факторизирующую подстановку (в виде произведения быстро и медленно изменяющихся функций — в духе классического ван-дер-полирования) для решения задачи о распространении радиоволн вдоль земной поверхности (действие которой заодно свелось к импедансу!). И в этом распространительном направлении была довольно быстро получена уйма массовых результатов: метод сильно выигрывал в наглядности по сравнению с фундаментальными строгими решениями (А. Зоммерфельд [87], В. Фок [75] и др.), ибо Земля, поддерживающая радиоволны (как, впрочем, и многое другое), столь не идеальна и не ровна и не очень-то приспособлена для строгих математик. Поэтому мне хотелось бы первое колено пустить в сторону теории более совершенных волновых пучков. (Я пытался эту поднауку назвать "волнистикой", но русскоязычники предпочитают сейчас что-нибудь поинороднее, типа *wave-ology*). Поначалу следует отметить восстановление репутации Т. Юнга. Мною упоминалось уже, что Юнг каким-то сверхчутьем угадал диффузионный характер растекания волнового пучка (затекание в область геометрооптической тени)[13].

[13] Как-то в 60-х годах в Тбилиси на симпозиуме по дифракции волн выбрали прелестную Мисс Дифракцию, и МЛ, поздравляя ее экспромтно, провозгласил: "Она высококачественно удовлетворяет решению Леонтовича — Фока: осциллирует в освещенной области и экспоненциально спадает в области тени". Я очень люблю этот образец научно-популярного юмора и сочувствую людям, которым этот юмор недоступен (в силу не той образованности или в силу не той моральности...).

Г. Д. Малюжинец — тоже один из учеников МА — кстати сказать, ярко выраженный правополушарник с еретическим складом ума — подтвердил юнгову словесность формульно и вообще поощрительно способствовал прославлению физматической красоты генетического богатства, заложенного МА [88, 89]. И пошла волна работ по нанизыванию пучков, описываемых уравнением Леонтовича, на геометрооптические лучи. Невозможно перечислить всех и все. Появилась даже какая-то чудная псевдоанатомическая терминология типа "обрастание дифракционным мясом геометрооптического скелета" и т. п. А тут еще подоспела квазиоптика (перенос оптических методов в другие частотные диапазоны), и когерентная оптика, и разные другие лучеподобные подходы в разных ветвях физики. Параболическое, диффузионное уравнение для волновых амплитуд заработало во всю ширь (по-русски в таких случаях говорят — во всю ивановскую!). И в открытых резонаторах, и в квазиоптических линиях передач, и даже при слежении за поведением одиночных импульсов появилось и упрочилось понятие дифракционных потерь, оцениваемых по диффузионным разбуханиям. Я уж не говорю об успехах в классической теории дифракции (рассеяние и искажение полей проводящими и диэлектрическими телами разных форм и свойств), где с легкой руки Келлера, Вайнштейна, Боровикова, Кинбера, Уфимцева и других [81, 82, 102] внедрилось понятие дифракционных лучей — огибающих, прижимающихся, отрывающихся, и чего только не делающих в этой самой волнистике. И снова пробивается некоторая общность натурфилософского толка: разделяй и властвуй, непрерывное поле разбивается на дискретные моды, и тем облегчается понимание, а может и самоорганизующееся существование вообще.

И грустно, и забавно, и странно, что и в этом случае имя Леонтовича постепенно стало исчезать из обращения. Формально уравнение Леонтовича совпало с уравнением Шредингера (а по физическому смыслу — с комплексным уравнением диффузии), и как-то сама собой произошла пересадка имен. Хотя я считаю, что здесь есть какая-то неразбериха: даже по отношению к каноническому уравнению Шредингера может быть применен метод МА (быстрые осцилляции по одной координате ведут к возможности описания по огибающим). Но ничего не поделаешь — процесс назначения имен неуправляем и подобен прилипанию прозвищ к людям — когда по сходству, а когда и по раздражающему несходству с чем-то!

16. УХМЫЛКА ДЬЯВОЛА

Сделаем паузу в озвучивании древ идей — вернее, экскурс, отступление, уход в несколько неожиданное, но необходимое (так мне думается) воспоминание.

Однажды в беседах о судьбах физики (присутствовали МА, МЛ, я и кто-то еще, но рассуждения на эту тему, видимо, повторялись неоднократно) МА, раздумывая вслух о подпитке физики из военных бюджетов, высказал простую, но весьма едкую мысль... К сожалению, я забыл точные слова, а они обычно бывали разящими и выразительными и исполнялись с невоспроизводимой артистичностью. Опишу своими средствами. МА говорил, что любое начинание физики (да и других наук, честных и не совсем) рано или поздно подхватывается милитаристами. Ухмылка дьявола (оскал милитариста) подкарауливает физи-

ков в засадах. И каждый должен открыто понимать, где пересекается граница между Добром (изучением Природы как таковой) и Злом (использованием знаний для преднамеренного убиения жизни). Иногда сами первопроходцы сразу же заступают на обслуживание убийств. Но чаще втягиваются (или влипают!) их продолжатели. Вероятно, это непредотвратимо и подчиняется нефизическим законам, но понимание каждым из нас своего вклада в эти дела рук человеческих необходимо, это наш долг, если угодно, перед Вселенной![14]

17. БУЙНОЕ РАЗРАСТАНИЕ ВСЕГО И ВСЯ

Моя дальнейшая задача облегчается козьма-прутковским предостережением: "Нельзя объять необъятное!" Все три ветви переплелись и разрослись своими побегами. В духе времен, увлечений и вовлечений.

Антенны, импедансные поверхности, волновые пучки и одиночные импульсы помещались в разнообразно-свойственные среды: неоднородные, анизотропные, нелинейные, переменные во времени, движущиеся, обладающие временной и/или пространственной дисперсией и т. п. (хотя даже непонятно, что еще осталось для "и т. п."). На фиг. 2, 3, 4 по мере удаления от места и времени запуска изначальных идей шрифты названий работ должны мельчать и далее сливаться в сплошной перечисленческий фон. Поэтому я остановлю внимание только на некоторых ветвлениях, невольно руководствуясь в выборке личными привязанностями. Что поделаешь? В реальном, историческом времени развитие происходит иначе, чем в любом описании. И даже великое достижение человеческого гения — дарвинская эволюционная теория, основанная на непрерывном совершенствовании живущих и борющихся тварей (так и называется — градуализм!), небезуспешно подрывается теорией дискретных, скачковых, мутационных продвижений (так и называется — пунктуализм). Так что и развитие идей, и история развития идей, и история историй тоже может выглядеть пунктирно, а значит и более зависимо от наблюдателя.

18. СИСТЕМЫ С УСИЛЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ПОЛЯ

Системы с усиленной локализацией поля разветвились в нескольких направлениях. Во-первых, это импедансные антенны, как стержневые, так и плоские. Одновременно с тонкими металлическими антеннами стали разрабатываться диэлектрические и магнитодиэлектрические, в которых могла регулироваться степень локализации поля по длине: сильно прижатая волна запускалась с входного торца и постепенно расправлялась, отрываясь от стержня к излучательному выходному концу. Очень похоже на постепенно расширяющийся волноводный рупор, только с выпирающими снаружи полями. Такие диэлектрические стержни так и стали называться — диэлектрическими волноводами. И

[14] Я считаю (и неоднократно ратовал за то), что у каждого человека есть три Высших Жизненных Долга: 1) перед собой и ближними своими; 2) перед обществом; 3) перед Вселенной. Один мой знакомый ночь не спал, но не мог ни понять, ни вспомнить, что же он должен Вселенной: и так кругом в долгах, а тут еще один, да и, по-видимому, не из пустячных.

это, пожалуй, уже во-вторых, — однопроводные металлические линии с утекающими волнами модифицировались в диэлектрические — с хорошо локализованными полями с оптической точки зрения (концепция Бриллюэна) за счет эффекта полного внутреннего отражения. Сначала диэлектрические волноводы применялись в сантиметровом диапазоне длин волн, где их возможности сильно сдерживались качеством диэлектриков (потери, неоднородности), но с появлением когерентной оптики они получили новое, даже в какой-то мере неожиданное, развитие в виде стекловолокон с оптическими пучками внутри. С некоторой долей восторженного преувеличения можно считать, что все три электродинамические идеи МА сплелись воедино: стержневые антенны дали потомство диэлектрическим волноводам с локализованными модами, их фиксированная структура позволяет (правда, не всегда) использовать импедансные условия на границах (изнутри и/или снаружи), а параболическое уравнение для волновых пучков является основным инструментом понимания и расчета режимов распространения сигналов по стекловолокнам на гигантские расстояния.

19. ЭВОЛЮЦИЯ ТОРОИДАЛЬНЫХ АНТЕНН

Эволюция тороидальных антенн происходила не менее остросюжетно, нежели металлических стержневых с превращением последних в диэлектрические. МЛ был, кажется, первым в построении собственных мод тороидальных металлических экзовибраторов. Сейчас этот термин уже состарился, а в послевоенные времена, следуя традиции Абрагама, когда-то вычислившего частоты и декременты радиационного затухания идеально проводящей эллипсоидальной болванки, различали колебания полостей внутри металла, называя эти резонаторы эндовибраторами, и снаружи металлических (а потом и диэлектрических) образований (шары, сфероиды и т. п.), называя их экзовибраторами. МЛ, свернув антенну в тор, т. е. образовав так называемую кольцевую антенну, смог решить задачу об излучателе с произвольным параметром (уже параметром немалости!) [43, 44]. Долгое время эта система и это решение пребывали в невостребованности. Однако затем они как-то вдруг заиграли новыми свойствами. В квазистатическом пределе физически точечных торов, обтекаемых квазистационарными токами, получается исчерпывающе полная система элементарных источников вихревых электромагнитных полей. И уж совсем в статике азимутальная токовая мода создает вовне магнитодипольное поле, а другая соленоидальная токовая мода создает внутри тора полоидальное магнитное поле, а снаружи — дипольно подобное поле вектор-потенциала $\boldsymbol{A}$. Совсем из других соображений сначала эта система была названа А-наполем, а потом прижился термин тороидальный момент [42, 46, 47].

Тороидальные токовые распределения, как выяснилось, имеют выделенное особое, даже, можно сказать, элитарное значение в топологии векторных и, следовательно, электромагнитных полей. Тороидальные токовые конфигурации расширили технические возможности устройств различных назначений (антенны, плазменные кольца и т. п.). Они по сути своей обогатили наши представления о механизмах излучения как в классической, так и в квантовой электродинамике. И, как часто бывает в науке и жизни, все началось с рядовой,

малоприметной задачи. Впрочем, я чувствую, что это рассуждение становится моим навязчивым пунктиком, или, как стало модным сейчас говорить, становится "обратным общим местом" (репатриируемый афоризм).

20. СИСТЕМЫ С ИМПЕДАНСНЫМИ ГРАНИЦАМИ

На следующем этапе создалось впечатление, что страсть импедансизации охватила все волновые науки – те самые, которые мы попытались назвать объединенной волнистикой. Самая экзотическая встреча у нас в Институте прикладной физики Российской АН произошла аж на дне морском (!) – акустические свойства дна в приемлемых приближениях вполне адекватно природе вещей могут быть описаны некоторым эффективным поверхностным импедансом. Во избежание недоразумений (подозрений в преувеличенном восхвалении) подчеркнем еще раз, что речь идет именно о полевых поверхностных импедансах в системах с распределенными параметрами, что и было инициировано предвоенными начинаниями МА; что же касается импедансов в системах с сосредоточенными параметрами, которым уже более чем сто лет от роду, то это совсем иное направление, получившее развернутое (в основном, радиотехническое) развитие, в какой-то мере независимое (и породившее, в частности, в теоретической радиофизике матричное описание цепочек дискретных многополюсников...).

Важное обобщение ГрУс наступило при понимании того, что поверхностный импеданс может быть не универсальным, а слегка (через конечное число параметров) зависимым от определяемых им полей. Самым популярным является, пожалуй, случай импедансов с пространственной дисперсией, в фурье-представлении сводящийся к зависимости от волновых векторов или их проекций, что вывело импедансные граничные условия в разряд условий, достаточных для сшивания полей на любых поверхностях. Это уже не просто круг задач, это уже заявка на идеологию, на принципиальный вклад в "волновую цивилизацию". И, как нередко бывает, среди леса перестают быть видны деревья... и ссылочные связи с первозачинателями как-то сами собой утрачиваются. Идеи МА, как песни, подхваченные народом, потеряли авторство. Когда-то Гарфильд, родоначальник *Current Content*, отмечал, что такая категория признания стоит уже над цитат-индексом, а он ведь был одним из его выдумщиков или претворителей [103].

21. НЕЛИНЕЙНЫЕ ОБОБЩЕНИЯ

Нелинейные обобщения во всех трех электродинамических (волновых) занятиях, порожденных МА, возникали как-то сами собой, то опережая общие тенденции (увлечения), то отставая (но не на много!) от них.

Например, антенны с нелинейными сосредоточенными импедансными нагрузками фактически появились раньше самих антенн, как таковых, – на заре радио Попов применил детекторы-когереры, вставленные в разрывах приемных рей. Да и вообще любой зонд с детектором, используемый для измерения электрических полей или чего-то другого (в плазме, например), может быть отнесен к нелинейным устройствам. Именно приемные и рассеивающие стержни с нелинейными импедансными вставками явили собой дискретные модели

антенн с усредненно распределенными импедансами. В некоторых проектах снабжения Земли дополнительной солнечной энергией, трансформируемой внеземными ретрансляторами в сверхвысокочастотные колебания, их прием "дома" должен будет осуществляться протяженными полотнами, состоящими из так называемых ректенн — тонких антеннок с детекторными вставками, преобразующими энергию высокочастотных колебаний в энергию постоянных (или слабо модулированных) токов. В этом деле еще много неосознанных проблем и загвоздок — экономических, экологических... и даже междоусобных, некоторые считают проекты сии пока что научно-прикладной фантастикой. Но даже независимо от перспектив превращения этой сказки в быль она воплощает в себе объединенное применение теории нелинейных тонких антенн и теории нелинейных импедансных поверхностей. Удивительная встреча идей Леонтовича и Левина в обретении новой жизни, как в буддистской мифологии!

Не менее привлекательным (да и неожиданным тоже) мне кажется взаимодействие пучков с нелинейными импедансными поверхностями, когда на линейном уровне пучки испытывают нормальную "леонтовичскую диффузию" (лучше бы сказать — "юнго-леонтовичскую"!), а на нелинейном — становятся прижимающимися к поверхностям, локализованными вблизи них, нерасплывающимися. Какие-то хиромантические черты этого явления просматривались еще в первой публикации МА о направленном излучении диполя вдоль импедансной поверхности Земли. Только там все еще было линейно — времена тогда были еще слабоинтенсивные!

Несколько слов о самой плодовитой нелинейнизации — о пучках и импульсах в нелинейных средах. Благодаря удобному подходу — описанию с помощью усредненного уравнения для волновых огибающих, — исходящему от МА, обобщение на нелинейные системы, среды произошло с какой-то изящной и массовой элегантностью. В результате возник (и продолжает развиваться!) Новый Мир Нелинейных Огибающих — импульсов, пучков, комбинированных полевых возмущений. Мир и реальный, и виртуальный, и физический, и математический со своими особыми существами-объектами — Солитонами и Бимионами (самоподдерживающимися импульсами и пучками). Они умеют схлопываться (коллапсировать), самофокусироваться, коллективизироваться в динамические макросреды, хаотизироваться и еще черт знает что выделывать[15]. Невольно вспоминается впечатление Г. Герца от уравнений Максвелла — решения ведут себя как самостоятельно живые существа — соединяются, размножаются, возникают и исчезают... А он тогда еще и не догадывался о существовании нелинейных миров.

22. МОРАЛЬ

А ведь все эти "штучки-дрючки" можно рассматривать как разбушевавшихся детей из идейного потомства МА. Показательно, что первые догадки были извлечены им из, казалось бы, сугубо частных задач (даже отчасти "заказных"!)

[15] Невозможно перечислить работы, определяющие даже только новые идеи, ибо это целая страна чудес. Поэтому в самом тексте опущены все имена, а ссылки на некоторых авторов даны прямо из приведенных схем. Причем меня все время преследовало чувство опасности обидеть кого-либо неупоминанием. Заранее приношу уверения в отсутствии непочтения к кому-либо и непреднамеренности неизбежных пропусков.

и только потом уже они развернулись почти до уровня общефизической (не решаюсь сказать – натурфилософской) общности. А значит, МА оставил нам заодно в наследство мораль прекрасную и насущную – не чураться неброских задач, относиться к ним с внимательным уважением и пристальностью, ибо часто именно с них может начаться взрывное размножение достижений, порой воистину ведущих к успехам, которые, по образному немецкому выражению, могут "*Epochen machen und Brand brechen*". Перефразируя Евангелие от Иоанна (но, естественно, без богохульных помыслов!), можно сказать: "Вначале было Слово, и Слово это от Мысли, и Слово это Мысль!" А в начале Мысли всегда стоял вопрос, неожиданный, необычный, захватывающий. И МА был Великим Мастером такого вопрошения себя и природы. А МЛ олицетворял собой прекрасного Наводчика, Расшифрователя и Продвигателя ответов. И еще одна подправленная цитатка: «Как важно уметь в любом деле "чувствовать вкус Начал"».

23. БЛАЖЬ

Я думаю, что уже выбрал отведенные нормы сроков и протяженностей текста. Но все же хочу под занавес сделать два странноватых замечания, обозначаемых мною как блажь. Согласно словарю Даля, блажь – не только дурь, шаль, временное помешательство, но и несбыточные мысли, желания. Кроме того, слово "блажь" однокорневое с "блаженством" и "блаженным".

Первое блажное замечание относится к невозврату в прошлое, а второе, наоборот, – к проникновению в будущее.

Когда МА свел приближенно волновое уравнение к диффузионному, и он сам, и его последователи все-таки пропустили возможность задать себе один необходимый вопрос – а не бывает ли случаев точного, строгого, безоговорочного преобразования уравнения одного типа к другому. Прозевали, ибо отрицательный ответ казался всем очевидным. И он на самом деле таков, если где-то негласно подразумевается, что решение волнового уравнения (3) должно соответствовать полю источников, уносящих энергию от себя вовне. Математически это обеспечивается выполнением зоммерфельдовских условий излучения на бесконечных удалениях от источника. (Кстати сказать, им тоже может быть придан вид импедансных граничных условий леонтовичского типа). Вот эта закомплексованность очевидностью, широкая образованность и хорошее знание предмета исследования, видимо, иногда заслоняют блажные варианты.

А вот в конце прошлого века люди, обладающие "свежестью невежества" и еще не ведавшие о каких-то там условиях излучения, учинили такое точное сведение волнового уравнения к диффузионному. Оно комбинируется из факторизованных функционалов, содержащих и запаздывающие (уносящие энергию от источника), и опережающие (приносящие ее к источнику) аргументы. Приведем эту прошловековую находку в современной манере. Решение волнового уравнения

$$\Delta \varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0 \qquad (5)$$

при подстановке $\tau = z - ct$, $\xi = z + ct$ представляется таким:

$$\varphi = \exp(i k \xi) \cdot G_k(\tau, r_\perp), \tag{6}$$

где функция G_k является строгим решением диффузионного уравнения вида

$$4 i k \frac{\partial G_k}{\partial \tau} + \Delta_\perp G_k = 0, \tag{7}$$

совпадающим с уравнением Леонтовича (и, разумеется, уравнением Шредингера).

Функция (6) описывает великолепный экзотический экземпляр "волнового животного". Основная несущая волна мчится со скоростью $+c$ в одну сторону, а ее диффундирующая огибающая несется навстречу со скоростью $-c$. Впервые это волнообразование было получено в 1891 году (Brill). На русском языке оно предъявлено Г. Бейтменом [97] в его поражающей воображение книге "Математическая теория распространения электромагнитных волн" (М., 1958) ("The mathematical Analysis of Electrical and Optical Wave-Motion on the Basis of Maxwell's equations", 1915–1955).

Бейтмену зоммерфельдовское ограничение уже было известно, но он все же указал на решение (6), как на некое диво. Вообще в этой книге содержится такое обилие догадок и необыкновенных матфизических открытий, что я не удивлюсь, если въедливые читатели найдут там даже кое-что из токамачной электродинамики...

Но этим не завершается драматизм подстановки (6). Вдруг совсем недавно ее переоткрыли ученые янки [98], то ли ошибочно забыв, то ли осмысленно игнорируя условия излучения. Впрочем, в принципе решение (6) может быть реализовано в ограниченном пространстве между двумя разнесенными источниками и антиисточниками с нужным образом подобранными импедансными (!) условиями на концах.

Почему же я отнес это к разряду блажи? Да потому, что было то временным умопомрачением – все испугались запрета Зоммерфельда. Забавно, что в свое время сам Зоммерфельд в задаче о сверхсветовом электроне "испугался" запрета Эйнштейна на движение материальных объектов со скоростями, превышающими скорость света в вакууме (не распространяющегося, между прочим, на движение источников излучения), хотя и ссылался на Хевисайда, который догадался до будущего излучения Черенкова в среде с любым (!) показателем преломления [104].

Второе замечание будет уже блажью в ином значении этого слова, в значении несбыточности желаний. В 1961 году МА вдруг решил обобщить знаменитое соотношение Крамерса – Кронига на процессы с временной и пространственной дисперсией, используя релятивистское толкование причинности [108]. Напомним, что это соотношение определяет ограничение на зависимости параметров сред и систем от частоты, исходя из однонаправленного течения времени. А МА связал между собой запреты, которые накладывает принцип причинности на любые движения в (r, t)-пространстве. Незадолго до кончины МЛ мы с ним (видимо, на сей раз не побоявшись тягот переобразованности) задались поистине блажным вопросом [105]: а почему, собственно говоря, мы считаем себя живущими в (r, t)-пространстве? Ведь все объекты и их переме-

щения в (r, t)-пространстве однозначно преобразуемы в объекты и их "перемещения" в $(\omega, \boldsymbol{k})$-пространстве. Во многих отношениях эти два пространства элитарно и парно выделены в ряду других, но, вообще говоря, существуют бесконечные наборы изоморфных пространств, математически эквивалентных между собой[16]. Мы же предпочитаем быть "прописанными" там, где принцип причинности выражается наипростейшим образом: однонаправленность времени между всеми временеподобными событиями. Вероятно, без этого невозможно построить интеллект — ни естественный (антропизм!), ни искусственный (выдуманный, но, скорее всего, по нашему образу и подобию!); помехой может служить причинно-следственная неустойчивость: причина — следствие — причина и т. д. до абсурда (опять же в нашем понимании). Выходит, если строить искусственный интеллект в пространстве $(\omega, \boldsymbol{k})$ — а почему бы и нет? — нужно твердо держаться ограничений Крамерса — Кронига — Леонтовича.

Если все это когда-нибудь получит приложение и продолжение, то можно сделать поразительный вывод, что МА как бы подсмотрел сквозь свой магический кристалл в загадочное интеллектуальное будущее и запасся для него необходимыми заготовками.

24. КОНЦОВКА

Не знаю, насколько мне удалось выполнить свой сценарный замысел. Поэтому укажу явно, в чем он состоял. Мне хотелось возложить на себя приятно-ответственные обязанности экскурсовода на выставке произведений МА и МЛ и их продолжателей (преимущественно нижегородских). Как и положено для вернисажей, экспонируется только часть наличия, подобранная под избранную тематику, в то время как еще много не менее ценного неизвлеченно хранится в запасниках. Но даже эта предъявленная композиция поражает воображение. Ведь если только чисто электродинамический подвид и, в основном, если только его нижегородская поросль развертывается в такую панораму имен и претворений, которые в свою очередь дают зачатки новых взрывных побегов, то сколько же всего сотворил МА за жизнь и сколько же всему он дал вовлечение в физику, в свою физику, в свою манеру думать о ней и ее работать!

И еще одно. Понятно, что предъявленное мною изобилие сведений и иллюстраций могло быть изготовлено лишь целой бригадой делателей. Все исполнялось с любовью, вкусом и придумками. Я не в состоянии перечислить имена соучастников, но они красуются на ветвях древа на фиг. 1.

В наше время так работают только люди, сохранившие почтение и преданность предкам своим. Может быть, это самая значимая часть наследства, оставленного после себя МА и МЛ и не растранжиренного поколениями преемников.

---

[16] Перефразируя известный афоризм Оруэлла, можно утверждать: все изоморфные пространства равны между собой, но некоторые из них равнее других. *All isomorphic spaces are equal but some spaces are more equal than others.*

Примечание. После публикации препринта "Леонтович – Левин. Творческое взаимодействие" я получил строгий отклик из Лос-Анджелеса от П. Я. Уфимцева. Он обратил мое внимание на некоторые неточности или недосказанности.

Прежде всего, это касается импедансных граничных условий, первые опубликованные данные о которых содержатся в книге А. Н. Щукина "Распространение радиоволн" (М., 1940). Ссылка на эту книгу содержится в статье М. А. Леонтовича, и я не указал на это, скорее всего, по недоразумению. Тем более, что иногда соответствующие граничные условия упоминаются как условия Щукина – Леонтовича. Насколько я знаю, оба они никогда не позволяли себе никаких приоритетных препирательств, а высказывания М. А. Леонтовича по разным научным поводам значительно опережали его публикации. Мне кажется, в данном случае речь должна идти о независимом продвижении, тем более что только в 50-х годах соответствующие связи были поняты как универсальные граничные условия. В отличие от многих споров по части первооткрывательства моя "размолвка" с П. Я. Уфимцевым оказалась плодотворной – она стимулировала появление толковой разъяснительной статьи в том полушарии, где, по-моему, не очень-то чествуют ни Щукина, ни Леонтовича.

Другое сердитое замечание как бы умаляет мою оценку значения уравнения Леонтовича – Левина для токов в тонких антеннах из-за "мухобойной сложности". Но ведь очень часто первые результаты выражены методически неоптимально.

За последующие годы были достигнуты отличные успехи по упрощению записи и интерпретации этих уравнений. Увы! С большой невыгодой для своего замысла я забыл упомянуть о работах П. Я. Уфимцева и соавторов по применению метода параболического уравнения, опубликованных в 1968 году в ЖВММФ (№6). Заключая нашу переписку по поводу лекции о Леонтовиче – Левине, П. Я. Уфимцев называет меня философом, и я не знаю – то ли это относится к моей недооценке чужих работ, то ли к эпически спокойному отношению к разногласиям.

Сентябрь 1994 г., февраль 1998 г.

ЛИТЕРАТУРА[17]

1. *Яглом И. М.* Почему высшую математику открыли одновременно Ньютон и Лейбниц? (Размышления о математическом мышлении и путях познания мира). М.: Знание. Число и мысль, 1983. № 6.

2. *Болотовский Б. М., Левин М. Л., Миллер М. А., Суворов Е. В.* Фарадей – Максвелл – Герц – Хевисайд. О согласованности функциональных специализаций мозга: Препринт ИПФ РАН № 327. Н. Новгород, 1992; Прикладная нелинейная динамика. 1996. Т. 4, №2.

3. Воспоминания об академике М. А. Леонтовиче. М.. Наука, 1990.

4. М. А. Леонтович (к 70-летию со дня рождения) // УФН. 1973. Т. 109. С. 613.

5. 80 лет со дня рождения М. А. Леонтовича // Физика плазмы. 1983. Т. 9, № 1.

6. *Левин М. Л., Рытов С. М., Шафранов В. Д.* О работах М. А. Леонтовича в области электродинамики // УФН. 1983. Т. 139, вып. 4. С. 667.

7. Михаил Львович Левин (к 60-летию со дня рождения) // Физика плазмы. 1981. Т. 7, вып. 4. С. 709.

8. *Болотовский Б. М.* Ученый, человек, друг // Русская мысль, № 3943, 28 августа 1992. См. также статью этого сборника.

[17] Поскольку речь идет об электродинамических идеях М. А. Леонтовича и их последующем развитии М. Л. Левиным преимущественно в нижегородском (горьковском) "очаге физики", подбор литературы сделан несколько тенденциозно – он является скорее иллюстративным материалом и не преследует целей исторической полноты. Автор заранее приносит извинения за пропуски и возможные недооценки иных влияний.

9. *Левин М. Л.* Прогулки с Пушкиным // Звезда. 1991. № 12; *Левин М. Л.* Воспоминания о Б. Л. Пастернаке // Звезда. 1993. № 3. (См. также наст. сборник)
10. Михаил Львович Левин. Жизнь, воспоминания, творчество (настоящая книга).
11. Академик Л. И. Мандельштам. К 100-летию со дня рождения. М.: Наука, 1979. С. 312.
12. Воспоминания о Л. И. Мандельштаме. М.: Знание, 1980.
13. *Леонтович М. А., Левин М. Л.* К теории возбуждения колебаний в вибраторах антенн // ЖТФ. 1944. Т. 14. С. 481.
См. также: *Леонтович М. А., Левин М. Л.* О возбуждении вибраторов в антеннах // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1944. Т. 8. С. 156.
14. *Леонтович М. А.* // Сб. научных трудов НКЭП. 1945. Вып. 1.
15. *Левин М. Л.* // Кандидатская диссертация / ГГУ. Горький, 1946.
16. *Левин М. Л.* О входном сопротивлении антенны, находящейся в волноводе // ДАН СССР. 1946. Т. 54. С. 599.
17. *Левин М. Л.* Об одном новом методе нахождения характеристического реактанса тонкой антенны // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1947. Т. 11. С. 117.
18. *Леонтович М. А.* Об одной теореме дифракции и ее применении к дифракции на узкой щели произвольной длины // ЖЭТФ. 1946. Т. 16, вып. 6. С. 474.
См. также: *Леонтович М. А.* Избранные труды. Теоретическая физика. М.: Наука, 1985.
19. *Фельд Я. Н.* Основы теории щелевых антенн. М.: Сов. радио, 1948.
20. *Левин М. Л.* // Докторская диссертация / Горьковский университет — Тюменский пединститут. 1946–1954.
21. *Левин М. Л.* К теории щелевых антенн // ДАН СССР. 1947. Т. 58. С. 1039.
22. *Левин М. Л.* Резонансные щелевые антенны в волноводе // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1948. № 12. С. 310.
23. *Левин М. Л.* Теория кольцевой резонансной щели в волноводе // ЖТФ. 1948. Т. 18. С. 639.
24. *Левин М. Л.* О возбуждении полубесконечного волновода через отверстие в его дне // ЖТФ. 1948. Т. 18. С. 653.
25. *Гапонов А. В., Левин М. Л.* К теории тонких антенн в эндовибраторах // ДАН СССР. 1954. Т. 95. С. 1193.
26. *Цейтлин Н. М.* Применение методов радиоастрономии в антенной технике. М., Сов. радио, 1966; *Миллер М. А., Цейтлин Н. М.* Антенны // Физическая энциклопедия. М., 1988. Т. 1. С. 91.
27. *Гапонов А. В.* К теории тонких антенн в полых резонаторах // ЖТФ, 1955. Т. 25. С. 1069.
28. *Гапонов А. В.* Возбуждение полых резонаторов тонкими антеннами // ЖТФ. 1955. Т. 25. С. 1085.
29. *Гапонов А. В., Миллер М. А.* Возбуждение круглого волновода кольцевой антенной // ЖТФ. 1949. Т. 19. С. 1260.
30. *Georg Goubau* Поверхностные волны и их применение для передачи // J. of Appl. Phys. 1950. V. 21. P. 1119.
31. *Вайнштейн Л. А.* Электромагнитные волны. М.: Радио и связь, 1988.
32. *Вайнштейн Л. А.* Теория дифракции и метод факторизации. М.: Сов. радио, 1966.
33. *Миллер М. А., Таланов В. И.* Поверхностные волны, направляемые границей с малой кривизной // ЖТФ. 1956. Т. 26. С. 2755.
34. *Пистолькорс А. А.* Распространение электромагнитной волны вдоль щели в проводящем экране // ЖТФ. 1946. Т. 16, вып. 1. С. 3–11.
35. *Tamir T., Oliner A. A.* // IRE Trans. 1962. V. 10, № 1. P. 55.
36. *Миллер М. А.* Применение однородных (импедансных) граничных условий при решении задач о распространении поверхностных э.-м. волн и при исследовании колебаний тонких антенн: Канд. дис. / ГГУ. Горький, 1953.
37. *Миллер М. А.* Применение однородных (импедансных) граничных условий в теории тонких антенн // ЖТФ. 1954. Т. 24. С. 1483.
38. *Каценеленбаум Б. З.* О распространении э.-м. волн вдоль бесконечных диэлект-

рических цилиндров на низких частотах // ДАН СССР. 1947. Т. 63, № 7. С. 1317–1320.

39. *Каценеленбаум Б. З.* Симметричное возбуждение бесконечного диэлектрического цилиндра // ЖТФ. 1949. Т. 19, № 10. С. 1168–1181.

См. также: Несимметричные колебания бесконечного диэлектрического цилиндра // ЖТФ. 1949. Т. 19, № 10. С. 1182–1191.

40. *Ким А. В., Марков Г. А., Смирнов А. И.* Антенны с плазменным покрытием // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15, № 5. С. 34.

См. также: *Kondrat'ev I. G., Kudrin A. V., Zaboronkova T. M.* Radiation of annular current in whistler waves // Radio sci. 1992. V. 27. P. 315.

41. *Мареев Е. А., Чугунов Ю. В.* Антенны в плазме / ИПФ АН СССР. Н. Новгород, 1991. 230 с.

42. *Дубовик В. М., Чешков А. А.* Мультипольное разложение в классической и квантовой теории поля и излучение // Физика ЭЧАЯ. 1983. Т. 14. С. 1193.

См. также: *Зельдович Я. Б.* // ЖЭТФ. 1957. Т. 33. С. 1331.

43. *Левин М. Л.* Круговая антенна // Сб. науч. трудов НКЭП. М., 1945. В. 1. С. 41.

44. *Левин М. Л.* К теории тороидальных вибраторов // ЖТФ. 1946. Т. 54. С. 599.

45. *Левин М. Л.* О равновесном распределении поверхностных зарядов и токов на тонком торе произвольного поперечного сечения // Физика плазмы. 1983. Т. 9, № 1.

46. *Миллер М. А.* Зарядовая и токовая электростатика, нестационарные источники статических полей // УФН. 1984. Т. 142, вып. 1. С. 147–158.

47. *Миллер М. А.* Неоднозначности обратных задач в макроэлектродинамике. Сферические и тороидальные источники э.-м. полей // Изв. вузов. Радиофизика. 1986. Т. 29, № 9.

48. *Крупин П. И., Мушка В. И., Оболенский Л. М., Яшин Ю. Я., Яшнов В. А.* Об импедансе несимметричного вибратора при изменении его длины и формы // Техника средств связи. Сер. техника радиосвязи. 1978. Вып. 9 (25). С. 86–90.

49. *Докучаев В. П.* Новый параметр в теории электрических вибраторных антенн // Волны и дифракция — 1990: Матер. конф. М., 1990. Т. 1. С. 308–312.

См. также: Препринт НИРФИ. № 298. Горький, 1990.

50. *Докучаев В. П.* Входной импеданс электрического вибратора в изотропной холодной плазме: Препринт НИРФИ. № 350. Н. Новгород, 1992.

51. *Штейншлегер В. Б.* Нелинейное рассеяние радиоволн металлическими объектами // УФН. 1984. Т. 142, вып. 1. С. 131–145.

52. *Горбачев А. А., Заборонкова Т. М., Бабанов Н. Ю., Ларцов С.* Рассеяние радиоволн на системе излучателей с нелинейными помехами // Сборник по ЕМС. В печати.

53. *Абрамович Б. С., Немцов Б. Е., Эйдман В. Я.* Неустойчивость системы плазма — движущийся проводник // Физика плазмы. 1987. Т. 13, вып. 7. С. 682.

54. *Андронов А. А., Городинский Г. В.* Дипольное излучение плазменных волн // Изв. вузов. Радиофизика. 1963. Т. 5. С. 234.

55. *Андронов А. А., Чугунов Ю. В.* Квазистационарные электрические поля источников в разреженной плазме // УФН. 1975. Т. 116, вып. 1. С. 79–113.

56. *Hallen E.* Theoretical investigations into the transmitting and receiving qualities of anttennas // Nova Acta Regial Soc. Sci. Upsalcensis. 1938. V. 4. P. 1–44.

57. *Gray M. C.* A modification of Hallen's solution of the antenna problem // J. Appl. Phys. 1944. V. 15, № 1. P. 61–64.

58. *King R., Middleton D.* The cylindrical antenna: current and impedance // Quart. Appl. Math. 1946. V. 3. P. 302.

59. *King R.* The theory of linear Antennas // Cambridge, Massachusetts: Harward Univ. Press, 1956. 944 p.

60. *Фелсен Л., Маркувиц Н.* Излучение и рассеяние волн. М.: Мир, 1978. Т. 1, 2.

61. *Кинг Р., Смит Г.* Антенны в материальных средах. М.: Мир, 1984. 822 с.

62. *Витт А.* Неоднородная нагруженная антенна // Журнал прикладной физики. 1928. Т. 5, № 1. С. 3–21.

63. *Леонтович М. А.* О приближенных граничных условиях для э.-м. поля на поверхности хорошо проводящих тел // Исследования по распространению радиоволн. Т. 2. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948.

64. *Левин М. Л., Миллер М. А.* Леонтовича граничное условие // Физическая энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1990. Т. 2. С. 581.
65. *Гринберг Г. А.* О береговой рефракции радиоволн // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1946. Т. 10, № 2.
66. *Гринберг Г. А., Фок В. А.* К теории береговой рефракции э.-м. волн // Исследования по распространению радиоволн. Т. 2. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
67. *Гринберг Г. А.* Избранные вопросы математической теории электрических и магнитных явлений. М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
68. *Grinberg G.* // J. Phys. 1942. V. 6. P. 185.
69. *Альперт Я. Л.* // ЖТФ. 1940. Т. 10. С. 1358.
70. *Альперт Я. Л.* О распространении э.-м. волн низкой частоты над земной поверхностью. М.. Изд-во АН СССР, 1955.
71. *Альперт Я. Л., Гинзбург В. Л., Фейнберг Е. Л.* Распространение радиоволн. М.: Гостехиздат, 1953.
72. *Миллер М. А.* Распространение э.-м. волн над плоской поверхностью с анизотропными граничными условиями // ДАН СССР. 1952. Т. 87. С. 571.
73. *Миллер М. А.* Поверхностные волны в прямоугольных канавках (с импедансным дном) // ЖТФ. 1955. Т. 11. С. 1972.
74. *Леонтович М. А.* Об одном методе решения задач распространения радиоволн по поверхности Земли // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1944. Т. 8, № 16.
75. *Леонтович М. А., Фок В. А.* Решение задач о распространении эл.-м. волн вдоль поверхности Земли по методу параболического уравнения // Исследования по распространению радиоволн. Т. 2. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
76. *Миллер М. А., Таланов В. И.* Поверхностные э.-м. волны / Труды УРСИ. 12-я Генеральная ассамблея. 1957.
77. *Миллер М. А., Таланов В. И.* Поверхностные э.-м. волны / Труды УРСИ. 13-я Генеральная ассамблея. 1960.
78. *Миллер М. А., Таланов В. И.* Поверхностные э.-м. волны // Изв. вузов. Радиофизика. 1961. Т. 4, № 5. С. 795.
79. *Эйдман В. Я.* Излучение поверхностной волны зарядом, проходящим границу раздела двух сред // Изв. вузов. Радиофизика. 1965. Т. 8. С. 188.
80. *Zennеck J.* Ueber die Fortpflanzung ebener electromagnetischer Wellen langs einer ebenen Leitflache und ihre Beziehung zur drahtlosen Telegraphie // Ann. d. Phys. 1907. V. 23. P. 848; // Phys. Zs. 1908. V. 9. P. 50.
81. *Уфимцев П. Я.* Метод краевых волн в физической теории дифракции. М.: Сов. радио, 1962. 244 с.
82. *Keller J. B.* Geometrical theory of diffraction // J. Opt. Soc. Amer. 1962. V. 52, № 2. P. 116.
83. *Кондратьев И. Г., Миллер М. А.* Двумерные э.-м. поля, направляемые плазменными слоями // Изв. вузов. Радиофизика. 1964. Т. 7, № 1. С. 124.
См. также: Отражательные характеристики неоднородных плазменных слоев // Изв. вузов. Радиофизика. 1968. Т. 11, № 6. С. 885.
84. *Богомолов Я. Л., Кочетов А. В., Литвак А. Г., Миронов В. А.* Возбуждение нелинейных поверхностных волн электромагнитными пучками // ЖЭТФ. 1990. Т. 96, вып. 4. С. 1193.
85. *Заборонкова Т. М., Кондратьев И. Г.* Рассеяние высокочастотных электромагнитных волн на эллиптическом плазменном цилиндре и геометрическая теория поверхностных волн // Изв. вузов. Радиофизика. 1974. Т. 17, № 9. С. 1269.
86. *Романов Ю. М.* Электромагнитные волны в полуограниченной плазме // Изв. вузов. Радиофизика. 1964. Т. 7, № 2. С. 242.
87. *Sommerfeld A.* // Annalen der Physik. 1909. V. 28. P. 665.
88. *Young Th.* // Phil. Trans. Roy. Soc. 1802. V. 20.
См. также: *Малюжинец Г. Д.* Дифракция волн // Физический Энциклопедический Словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1960. Т. 1. С. 606.
89. *Малюжинец Г. Д.* Развитие представлений о явлениях дифракции // УФН. 1959. Т. 69, № 2. С. 321.

90. *Авербах В. С., Власов С. Н., Таланов В. И.* Методы селекции типов колебаний в открытых квазиоптических системах // Изв. вузов. Радиофизика. 1967. Т. 10, № 9–10. С. 1333.

91. *Каценеленбаум Б. З.* Высокочастотная электродинамика. М.: Наука, 1966.

92. *Кондратьев И. Г., Пермитин Г. В., Смирнов А. И.* Распространение широких волновых пучков в плавно неоднородных средах // Изв. вузов. Радиофизика. 1980. Т. 23, № 10. С. 1195.

93. *Аскарьян Г. А.* Воздействие градиента поля интенсивного луча на электроны и атомы // ЖЭТФ. 1962. Т. 42, № 6. С. 1567.

См. также: *Таланов В. И.* О самофокусировке электромагнитных волн в нелинейной среде // Изв. вузов. Радиофизика. 1964. Т. 7, № 3. С. 564.

94. *Литвак А. Г., Таланов В. И.* Применение параболического уравнения к расчету полей в диспергирующих нелинейных средах // Изв. вузов. Радиофизика. 1967. Т. 10. С. 539.

95. *Захаров В. Е.* Коллапс ленгмюровских волн // ЖЭТФ. 1972. Т. 62. С. 1743.

96. *Литвак А. Г., Сергеев А. М., Шахова Н. А.* Об особенности самовоздействия квазиоптических пучков в магнитоактивной плазме // Письма в ЖТФ. 1979. Т. 5. С. 86.

97. *Бейтмен Г.* Математическая теория распространения электромагнитных волн. М.: Физматгиз. 1958.

См. также: *Bateman H.* The mathematical Analysis of Electric and Optical Wave-Motion on the basis of Maxwell's equations. Dover Pub. Inc. 1915–1955.

98. *Brittingham J. B.* // J. Appl. Phys. 1983. V. 54. 117D.

99. *Миллер М. А.* Размышления о размышлениях: Препринт ИПФ РАН № 315. Н. Новгород, 1992; Прикладная нелинейная динамика. 1994. Т.2, №5–6.

100. *Марков П. Т., Чаплин А. Ф.* Возбуждение э.-м. волн. М.; Л.: Энергия, 1967. 375 с.

101. *Фейнберг Е. Л.* Распространение радиоволн вокруг земной поверхности. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 546 с.

102. *Боровиков В. А., Кинбер Б. Е.* Геометрическая теория дифракции. М.: Связь, 1978. 248 с.

103. *Хайтун С. Д.* Цитат-индекс как метод анализа научной деятельности // Природа. 1980. № 3.

Там же: *Гарфилд Ю.* Что такое цитат-индекс.

104. *Болотовский Б. М.* Оливер Хевисайд. 1850–1925 / Под. ред. акад. В. Л. Гинзбурга. М.: Наука, 1985.

105. *Миллер М. А.* Волны, волны, волны: Препринт ИПФ РАН № 332. Н. Новгород, 1993; Изв. вузов. Радиофизика. 1993. Т. 36, №3. С. 576.

106. Библия. Послание Св. апостола Павла к коринфянам. Глава III, песнь 18. Синоидальное каноническое издание.

См. также: Holy Bible. The new King James Version.

107. *Андронов А. А., Витт А. А., Хайкин С. Э.* Теория колебаний. М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1981.

108. *Леонтович М. А.* Обобщение формулы Крамерса – Кронига на среды с пространственной дисперсией // ЖЭТФ. 1961. Т. 40, вып. 3. С. 907.

109. *Миллер М. А.* Об изобретении радио... и не только. Н. Новгород: ИПФ РАН, 1997.

110. *Миллер М. А.* Избранные очерки о зарождении и взрослении радиофизики в горьковско-нижегородских местах. Н. Новгород: ИПФ РАН, 1998.

111. *Щукин А. Н.* Распространение радиоволн. М., 1940.

Р. З. Муратов

В МАЛЕНЬКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Мне посчастливилось работать у Михаила Львовича Левина и сотрудничать с ним чуть более тридцати двух лет (с марта 1960 года до его безвременной кончины). Именно в шестидесятом в теоретическом отделе Радиотехнического института АН СССР была сформирована небольшая лаборатория, которую с самого начала и практически всю оставшуюся жизнь возглавлял М. Л. Левин.

Коллектив

За три десятилетия существования лаборатории немногочисленный ее состав почти не обновлялся: политика постминцевских администраций института была направлена на сокращение численности теоротдела. Не грех поэтому научных сотрудников лаборатории назвать поименно. Итак, у М. Л. Левина работали: В. Н. Старкова, С. Н. Бреус, Р. З. Муратов, М. В. Самохин, В. В. Жуков, В. Н. Курдюмов, В. Н. Белоозеров, М. Г. Никулин, Ю. В. Богомолов, С. П. Ефимов (перечень дан в порядке, приблизительно соответствующем хронологии заполнения лаборатории). В этом списке пять выпускников физфака МГУ, четыре — физтеха и одна выпускница МИФИ. За время работы в лаборатории ими защищено семь кандидатских и две докторские диссертации. К этому можно добавить еще три кандидатские диссертации, защищенные левинскими аспирантами В. В. Клавдиевым, М. Л. Глушаковым и А. В. Масюковым, которые, правда, сотрудниками лаборатории не значились.

Всем нам, ученикам Михаила Львовича, было известно, что он, следуя Г. С. Горелику, подразделял (в первом приближении) научных руководителей на два типа: один — это чуткий наставник, настойчиво подставляющий горшок под своего ребенка-аспиранта и традиционными возгласами способствующий успешному протеканию процесса; другой — уверенный в правильности исповедуемой им методы тренер, спокойно и решительно выталкивающий не обученных плаванию подопечных щенят в мутные волны для самостоятельных действий. Сам М. Л. Левин тяготел ко второй из этих "гидродинамических" моделей. По-видимому, указанное обстоятельство объясняет отчасти не только "неусредненность" сублевинских диссертаций (в смысле сохранения индивидуальности их авторов), но и сравнительно широкий их тематический диапазон. Объектами

диссертационных исследований были явления переноса в плазме; вопросы нагрева, удержания, ускорения и фокусировки плазмы высокочастотными электромагнитными полями; эффект Вавилова — Черенкова; электродинамические и магнитогидродинамические модели и механизмы процессов в ионосфере и магнитосфере; вопросы проникновения электромагнитных волн в ограниченную магнитоактивную плазму; методы реконструкции волновых и гармонических полей; теория низкочастотной дифракции на эллипсоиде.

Наш коллектив при всей разношерстности составлявших его характеров и различии нетрудовых увлечений (спортивных — альпинизм и горный туризм, горные и водные лыжи, яхта и велосипед, дельтапланеризм, волейбол и теннис, и мало спортивных — резьба по дереву, разведение кактусов, шахматы, музицирование, комплектование фонотеки, любовь к филологии и языкознанию, библиофильство) объединяли интерес к своей работе и глубокое уважение к ее олицетворителю — Михаилу Львовичу Левину.

Задачи

В момент создания (1960) наша лаборатория была ориентирована на изучение взаимодействия высокочастотных электромагнитных полей с плазмой. Это диктовалось потребностью в развитии (количественных и качественных) теоретических представлений о физических процессах, наблюдаемых в созданных в РТИ для удержания плазмы ВЧ-полями установках (сферической — "Глобус" и тороидальной — "Дельта"). Одновременно нам поручалось продолжить начатые М. Л. Левиным в РТИ за три года до образования лаборатории исследования устойчивости, фокусировки и транспортировки плазменных сгустков, ускоряемых радиационным давлением. Работа велась в тесном сотрудничестве с теоретиками и экспериментаторами ФИАНа. К 1972 году по указанным проблемам лично Михаилом Львовичем была опубликована 21 работа.

К концу 60-х годов, когда наш коллектив вместе с руководителем насчитывал уже десять сотрудников, трансформировались и направления работы. Теперь лаборатория занималась: 1) теорией сильноточных релятивистских пучков различных конфигураций; 2) низкочастотной электродинамикой неоднородных пучково-плазменных образований и дифракцией на малых телах; 3) исследованием процессов в магнитосфере, дальней ионосфере и солнечном ветре; 4) кинетической теорией взаимодействия волн с плазмой; 5) применением лингвистических методов для кодирования трековой информации. Сам Михаил Львович активно работал по первым двум направлениям. К сожалению, из-за навязанного лаборатории в 70-е годы сокращения некоторых сотрудников были оборваны исследования по двум последним направлениям.

В конце 70-х и в 80-е годы, являясь уже структурным подразделением Московского радиотехнического института АН СССР (куда она была переведена из РТИ), левинская лаборатория наряду с оставшимися тремя направлениями исследований занималась разработкой теории и расчетом оптимального режима мощного усилителя СВЧ, коллективными методами ускорения, квазистационарной электродинамикой тороидальных систем. Последнюю из перечисленных проблем разрабатывал лично Михаил Львович.

Труды

Научная продукция М. Л. Левина, отраженная в списке его печатных трудов, хотя, конечно, и стимулировалась проблематикой лабораторных планов, но отнюдь не определялась только ею. Полезно провести классификацию опубликованных работ Михаила Львовича, чтобы составить некоторое "макропредставление" о характере его научных интересов. Подобная классификация — вещь субъективная и неоднозначная, но в этом нам поможет сам М. Л. Левин, поскольку сохранились сделанные им соответствующие наброски, относящиеся к временам аттестации 1977 года, когда список публикаций содержал 94 наименования. Здесь мы используем (тоже неполный) список из 110 наименований, не отвергая при классификации и то, что было сделано М. Л. Левиным до его прихода в РТИ.

По (физико-, иногда геометро-) тематическому или жанровому признаку левинские труды можно разбить на дюжину разделов, которые мы будем нумеровать. Результаты такого разбиения удобно представить в виде таблички, сходной с квадратом для игры в "морской бой":

Десятки	Единицы										Годы
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0		1	1	1	10	1	1	1	2	1	1944–1947
1	1	1	1	11	1	2	2	2	7	1	1948–1950
2	1	1	1	7	2	2	3	3	1	3	1951–1955
3	3	2	7	3	3	7	7	7	5	5	1955–1959
4	4	4	4	4	2	4	12	7	2	7	1959–1961
5	4	7	5	4	5	5	7	7	8	3	1962–1964
6	2	4	4	7	3	4	3	11	8	5	1964–1968
7	4	5	7	9	8	5	4	9	6	6	1969–1972
8	6	6	6	6	3	9	9	6	8	9	1972–1977
9	6	8	7	7	3	7	8	10	7	3	1977–1980
10	9	12	11	10	11	4	8	8	7	10	1980–1986
11	7										1987

Каждая клетка таблицы соответствует порядковому номеру работы в списке трудов, причем число десятков этого номера определяет строку, а число единиц — столбец, где находится клетка. Внутри каждой клетки проставим номер тематического раздела, а справа от каждой строки будем указывать годы публикации работ, охваченных строкой.

Теперь (очень кратко) о самих разделах.

1. Высокочастотная электродинамика (тонкие металлические и дифракционные антенны). В 16 работах, относящихся сюда, рассмотрены интегродифференциальные уравнения, интегральное представление для реактанса, собственные колебания, возбуждение волноводов.

2. Высокочастотная электродинамика (излучение и распространение волн в волноводных системах). Цикл включает 10 работ.

3. Теория флуктуационных полей теплового происхождения. По этой проблематике опубликовано 11 статей и написанная в соавторстве с С. М. Рытовым монография "Теория равновесных тепловых флуктуаций в электродинамике" [66], в которую вошли результаты работ [29, 30, 33, 34, 59, 64].

4. Удержание и стабилизация плазмы с помощью ВЧ-полей. 13 работ этого направления содержат общую теорию и дают анализ конкретных установок.

5. Теория радиационного метода ускорения плазменных образований. Этому методу, предложенному в свое время В. И. Векслером, посвящено 8 работ.

6. Формирование и динамика релятивистских электронных колец. Сюда относятся 8 работ, в основном связанных с предложениями, выдвинутыми А. Л. Минцем, и посвященных рассмотрению способов продольной группировки электронов в одиночном кольце (гиромагнитная компрессия) и созданию плотного кольца при помощи компрессии цуга колец (суперклистронная группировка).

7. Общие вопросы физики (в особенности электродинамики и акустики). Здесь представлены 19 работ, по отдельности довольно разноплановых, но имеющих, безусловно, общефизическую ценность. Значительную группу составляют статьи методического характера. Отметим, в частности, цикл работ [56, 63, 72], посвященный методу изображений в магнитостатике[1]. Сюда же отнесены почти все работы конструктивно-критического характера [23, 36, 37, 98, 110] (см. также [103]).

8. Теория дифракции. В нашей таблице это направление представлено 8 работами. Вновь, однако, проявляется условность проводимой классификации: например, работу [59] М. Л. Левин относил и к третьему, и к восьмому разделам.

9. Потенциалы эллипсоида. В 5 (учитывая, что [73] и [77] — это дублет одной работы) статьях даются точные решения задач о ньютоновом потенциале неоднородного эллипсоида и об однородном диэлектрическом эллипсоиде в неоднородном статическом поле.

10. Тор в задачах электродинамики. Три последние из четырех статей, сведенных в эту небольшую группу, посвящены решению электро- и магнитостатических задач о тонком торе и (как цикл работ) хронологически являются завершающими в научном наследии М. Л. Левина.

11. Историко-научные и научно-популярные работы. Их четыре.

12. Прочее. Сюда отнесены две статьи, рассматривающие, если так можно выразиться, узко конкретные вопросы на основе сильно идеализированных моделей и претендующие на оценочные результаты.

---

[1] В конце 1991 года среди новых поступлений в библиотеку МРТИ мне попалась статья A. Sezginer, W. C. Chew "Image of a static current loop over a superconducting sphere" (IEEE Trans. on Magnetics, 1990, 26, 1137), ознакомившись с которой, М. Л. Левин сообщил, что последняя есть "один к одному" его собственная работа [56]. К сожалению, что-либо предпринять в связи с этим Михаил Львович (хотя и намеревался) не успел.

Из приведенной рубрикации можно видеть стойкий, на протяжении десятилетий, интерес Михаила Львовича к отдельным проблемам. Таковы, например, направления, отмеченные номерами 3, 4, 8. Конечно, за кадром классификационного рассмотрения остается свойственное М. Л. Левину филигранное умение подбирать ключи, открывающие пути наиболее простого, эффективного и физически убедительного решения проблем. Впечатляет, например, его мастерское применение разнообразных теорем взаимности для получения результатов, различающихся и масштабом, и жанром. Так, электродинамическая теорема взаимности помогла в работе [31] оценить порядок погрешности, вызываемой заменой выпуклого проводника плоским экраном при расчете излучения. Та же теорема взаимности в сочетании с флуктуационно-диссипативной теоремой (в свою очередь, допускающей доказательство на основе электродинамической теоремы взаимности) привела М. Л. Левина к фундаментальному результату — обобщению закона излучения Кирхгофа на произвольные, включая гиротропные, тела (см. [66]). Статические теоремы взаимности не только облегчили в [91] исследование дифракции волноводных полей на малых телах, расположенных в "узловых" областях возбуждающего поля, но и существенно упростили самый вид найденной ранее в [89] формулы для дипольного момента эллипсоида, находящегося в неоднородном статическом поле. Наконец, обращение к теореме взаимности для стационарных токов позволило в [96] без труда подтвердить формулу для магнитного момента эллипсоида в переменном поле, полученную первоначально в [68] довольно витиеватым образом.

Соавторы

Почти половина опубликованных М. Л. Левиным научных трудов выполнена в соавторстве. Эту особенность левинского списка работ не следует понимать слишком буквально. В любом научном коллективе можно найти устойчивую по составу группу исследователей, совместно разрабатывающих определенную проблему. У теоретиков подобные группы, объединяемые не столько проблемой, сколько личными качествами (по "принципу дополнительности" или взаимному притяжению), по численности вырождаются чаще всего в своеобразные тандемы или даже в "сиамских близнецов". В подавляющем большинстве левинских совместных работ соавторство имеет иное происхождение.

Во-первых, следует выделить единичные случаи [55, 62, 65] с аномально большим числом соавторов. Такие сингулярности вызваны искусственными обстоятельствами, как-то: регламент конференции (уменьшение количества докладов путем их объединения), сводно-итоговый характер сообщения. Во-вторых, многочисленны работы, в которых угадывается стремление Михаила Львовича поддерживать контакт (в том числе и в форме сотрудничества) с теоретиками, профессионально работающими в области его собственных научных интересов (С. М. Рытов, Г. А. Аскарьян, М. С. Рабинович, В. Н. Цытович и др.). В-третьих, значительно количество работ, выполненных совместно с учениками — сотрудниками лаборатории (С. Н. Бреус, В. Н. Белоозеров, В. В. Жуков, В. Н. Курдюмов, Р. З. Муратов, М. Г. Никулин). Четвертую группу составляют работы, выполненные в соавторстве с сотрудниками других лабораторий отдела

(Э. Л. Бурштейн, Г. В. Воскресенский, И. Л. Коренев). Наконец, к последней, пятой, группе относятся статьи, в которых М. Л. Левин вместе с А. Л. Минцем (автором метода аксиальной инжекции) и технологами-конструкторами РТИ Е. Д. Науменко и Т. Н. Филимоновой анализируют различные варианты создания сверхплотных электронных колец.

Сотрудничество Михаила Львовича с большинством соавторов носило кратковременный характер (одна-две статьи). Имеются, однако, и примеры многолетнего сотрудничества. Так, вместе с С. М. Рытовым за период с 1950 по 1983 годы М. Л. Левин опубликовал десять работ.

Эллипсоид

К числу долговременных относится и наше сотрудническое взаимодействие с Михаилом Львовичем, итогом которого явились двадцать публикаций, приходящихся на период с 1961 по 1985 годы. Тексты наших статей, за исключением отдельных, редких случаев, готовились лично М. Л. Левиным. Меня всегда покоряла манера левинской подачи материала: последовательность, стиль и язык изложения, глубокое знание предыстории вопроса и критически уважительное отношение к предшественникам, компетентное указание областей, для которых актуальны полученные результаты, видение перспективы и направлений дальнейших исследований. И хотя как соавтору мне были известны все конкретные результаты работы, по прочтении написанного М. Л. Левиным текста возникало удивительное ощущение соприкосновения с чем-то незнакомым и очень поучительным.

Начиная с 1968 года почти во всех наших с Михаилом Львовичем совместных работах в качестве геометрической модели физического объекта фигурирует (в буквальном смысле) трехосный эллипсоид. В этих работах дело сводилось, как правило, к рассмотрению в новой постановке одной из трех старых задач: о ньютоновом потенциале эллипсоида, о диэлектрическом эллипсоиде в статическом внешнем поле, о рассеянии волны на малом эллипсоиде. Хрестоматийные решения этих задач связаны с однородным случаем (однородное тело, однородное или квазиоднородное внешнее поле) и принадлежат Гауссу и Родригу (ньютонов потенциал), Пуассону (диэлектрик в поле), Рэлею (низкочастотная дифракция). Уже сам перечень этих имен и почтенный возраст задач объясняют настроение, которое сопутствовало М. Л. Левину, глубокому знатоку и ценителю классической науки, при обращении к указанной проблематике. Это настроение удачно, как мне кажется, передает фраза: "Об эллипсоидах должно говорить гиперболами", — принадлежащая Ю. В. Богомолову и нравившаяся Михаилу Львовичу. Новое в наших работах об эллипсоиде было связано с рассмотрением неоднородного случая и (что любопытно) достигнуто благодаря отказу от использования криволинейных координат, т. е. от "гиперболизации" эллипсоида.

Особую роль эллипсоида по сравнению с другими геометрическими моделями (шар, сфероид, тор), к которым также обращался М. Л. Левин, рассматривая различные проблемы квазистационарной электродинамики и теории колебаний, он характеризовал следующими словами: "Знание статических потенциалов и полей объемного распределения источников необходимо для изуче-

ния динамики плотных сгустков заряженных частиц, для нахождения кулоновских сил внутри возмущенных ядер, в приближенном методе решения задач длинноволновой дифракции. Поэтому очень важно иметь хорошую модель, описывающую реальный односвязный сгусток и в то же время обладающую аналитическими решениями. Качествами такой модели счастливо наделен трехосный эллипсоид с неоднородной плотностью. Этой модели не свойственны черты частичного или полного вырождения, присущие фигурам более совершенной симметрии, а два геометрических параметра вместе с большим набором законов распределения плотности позволяют хорошо аппроксимировать самые разнообразные реальные объекты". Эти слова относятся к 1974 году. Пять лет спустя родилась более компактная левинская формула: "Все живое — из яйца, все аналитическое — из эллипсоида". Еще через пять лет Михаил Львович заключает: "Эллипсоид так же неисчерпаем, как и атом". Для меня это прозвучало как пожизненное поручение.

Завершим эту тему двумя замечаниями. Широко распространенным является мнение, что учет анизотропии тела благодаря использованию эллипсоидальной модели лишь уточняет оценку какого-либо эффекта, полученную на модели шара, не изменяя порядка величины такой оценки. Существует, однако, немало случаев, когда в отличие от эллипсоида модель шара оказывается непригодной даже для грубой оценки явления. Обнаружение и исследование подобных случаев (см. [89, 91, 96, 106]) вызывали особое удовлетворение М. Л. Левина.

В связи с солидным (измеряемым столетиями) возрастом задачи об эллипсоиде и многочисленностью случаев обращения к ней различных исследователей, М. Л. Левин предсказывал, что какие-то из относящихся сюда существенных результатов могли на момент публикации остаться незамеченными или невостребованными, а впоследствии — фактически забытыми. Поэтому можно понять настроение Михаила Львовича, когда такого рода результаты (феррерсовы потенциалы, 1877; формулы Лиувилля, 1846) удавалось обнаружить и дать им вторую жизнь во вполне современных задачах [91, 106].

Лекции

Левин-лектор — это состояние, в котором руководитель нашей лаборатории пребывал значительную часть своей сознательной жизни. Уже с осени 1957 года, т. е. еще до образования лаборатории, Михаил Львович стал по совместительству профессором кафедры радиофизики МФТИ и не оставлял этой деятельности до конца своих дней. Студентам он читал курсы электродинамики СВЧ и физики плазмы. Время от времени М. Л. Левин читал специальные циклы лекций по теории волн в плазме, по теории колебаний, по новым методам ускорения, по теории дифракции для сотрудников Радиотехнического института. Неоднократно выступал он с лекциями и на различных всесоюзных школах (по дифракции, по физике плазмы, по теории колебаний). На одной из таких школ был проведен анонимный опрос слушателей для выявления лучшего лектора. Пальму первенства разделили М. Л. Левин и С. М. Рытов. Случалось, что физикам Михаил Львович читал лекцию о поэзии (например, Ивана Баркова),

а гуманитариям (к примеру, очаровательному коллективу библиотеки МРТИ) докладывал о состоянии современной физики или (в ответ на настоятельные просьбы) о собственном вкладе в шекспироведение.

В Левине-лекторе оптимально сочетались оратор и рассказчик. При полнейшей неприметности и обыденности внешнего облика (невысокий рост; отсутствие как полноты, так и худобы; неброскость и непритязательность одежды; простейшая прическа) Михаила Львовича, он очень быстро овладевал вниманием аудитории и, казалось, преображался сам. Неторопливый темп речи, четкая и достаточно громкая манера произношения, уверенный тон, безупречность литературной отделки фраз, логически стройная последовательность изложения, умение заменять изощренные математические выкладки понятными физическими рассуждениями, паузы для размышления, сменяемые компактными сгустками информации. Взгляд, устремленный на доску, заполненную каллиграфически аккуратными крупными формулами и типографски ровными рисунками, только что произведенными поочередно то правой, то левой рукой. И новичка, и сведущего одинаково захватывали и пафос левинского рассказа, и его подход к теме с неожиданно удачной новой точки зрения, и своевременное переключение, и точная дозировка малоизвестных исторических подробностей, и что-то еще, не поддающееся скрупулезной инвентаризации. Приходится сожалеть, что эта сторона левинского дарования не получила своего полиграфического отображения.

Книги

Речь пойдет не о прекрасной домашней библиотеке физико-математической литературы, собранной Михаилом Львовичем и его семейством, и не о его литературно-художественных пристрастиях как читателя (тема, совершенно непосильная для составителя данного текста. Могу лишь изречь, что ему всегда нравился Вальтер Скотт). Здесь мы просто вспомним о книгах на русском языке, издание которых связано с деятельным участием М. Л. Левина. Сюда входит уже упоминавшаяся монография "Теория равновесных тепловых флуктуаций в электродинамике" (М., "Наука", 1967), написанная совместно с С. М. Рытовым. Это единственная научная книга с авторским участием Михаила Львовича. Три книги были выпущены в переводе с английского под редакцией М. Л. Левина: Л. Спитцер "Физика полностью ионизованного газа" (М., "Мир", 1965); Л. Фелсен, Н. Маркувиц "Излучение и рассеяние волн" (М., "Мир", 1978) в двух томах; Дж. К. Максвелл "Трактат об электричестве и магнетизме" (М., "Наука", 1989) в двух томах. К этому можно добавить книжную продукцию, выпущенную до начала работы Михаила Львовича в РТИ, причем об одной ее части мы располагаем информацией в явном виде, а о другой — в неявном. К первой относится вышедшая двумя изданиями научно-популярная брошюра "Радиолокация" (Гостехиздат, 1947; Воениздат, 1948), написанная в соавторстве с Г. С. Гореликом. О существовании второй свидетельствует фраза из автобиографии: "Поэтому 1950/51 учебный год провел в Горьком "тунеядцем", зарабатывая на жизнь анонимными переводами научных книг".

Отзывы

Время от времени всякому научному работнику доводится составлять отзывы и рецензии на опубликованные и неопубликованные труды других авторов. Для нас, сотрудников лаборатории, представление об этом жанре профессиональной деятельности своего руководителя складывалось на основе тех довольно регулярных случаев, когда объектами левинских отзывов становились наши собственные работы. Парадокс, однако, заключается в том, что, представляя себе точность, краткость, убедительность, корректность и бескомпромиссность левинской оценки рецензируемой работы (статьи, книги, диссертации, доклада), мы не подозревали об истинных — внушительных — масштабах деятельности Михаила Львовича в качестве рецензента. Это объясняется, конечно, конфиденциальностью журнальных рецензий и дальностью зоны срабатывания диссертационного отзыва. В связи со сказанным может представить интерес список соискателей (скорее всего, неполный), на диссертации которых М. Л. Левиным готовился отзыв (в установленных случаях официального оппонирования буква, соответствующая искомой степени, выделена полужирным шрифтом).

Последним в этом алфавитном списке оказался случай официального оппонирования, вызывавший горделивую улыбку Михаила Львовича, который, по-видимому, рассматривал факт своего участия в акте защиты как единственную представившуюся ему возможность личного вклада в умиротворение ближневосточного конфликта.

Ю. И. Алексахин	**(к)**	Д. П. Костомаров	**(д)**
Г. А. Аскарьян	**(к)**	В. Б. Красовицкий	**(д)**
Ф. Баимбетов	**(к)**	В. И. Курилко	**(д)**
Г. М. Батанов	**(д)**	А. И. Морозов	**(к)**
Ф. В. Бункин	**(д)**	В. М. Пироженко	**(к)**
В. К. Бушманов	**(к)**	А. И. Плис	**(к)**
Т. Ф. Волков	**(к)**	Р. П. Поплавский	**(к)**
Б. Н. Гершман	**(д)**	М. Д. Райзер	**(к)**
В. Б. Гильденбург	**(к)**	Л. И. Рудаков	**(к)**
Н. Г. Денисов	**(д)**	А. А. Рухадзе	**(д)**
С. М. Журав	**(д)**	В. В. Рыбин	**(к)**
П. Р. Зенкевич	**(д)**	В. П. Силин	**(д)**
Н. В. Зернов	**(д)**	Л. С. Соловьев	**(к, д)**
А. М. Игнатов	**(к)**	В. И. Таланов	**(к)**
Б. Б. Кадомцев	**(д)**	П. Я. Уфимцев	**(д)**
Н. Н. Калачевский	**(к)**	П. Ш. Фридберг	**(к)**
Б. З. Каценеленбаум	**(д)**	Н. Л. Цинцадзе	**(д)**
Ю. Л. Климонтович	**(д)**	В. Н. Цытович	**(д)**
И. Г. Кондратьев	**(к, д)**	М. Я. Эль-Ашри (APE)	**(к)**
М. В. Костин	**(к)**		

Гораздо более интенсивная деятельность М. Л. Левина в роли рецензента журнальных статей лежит за пределами возможностей нашего учета. Мы ограничимся поэтому, преследуя чисто иллюстративные цели, воспроизведением рецензии (последней из сохранившихся и, вероятно, вообще последней), где вполне узнаваема левинская манера работы в этом жанре. Имя автора статьи мы, естественно, опускаем.

Отзыв
о статье ... "Немаксвелловская электродинамика"

В статье рассматривается некое поле, потенциалы которого связаны с характеристиками точечного источника не формулами Льенара – Вихерта, а предложенными автором соотношениями (2). К электродинамике все построения статьи, местами содержащие логические и математические ошибки, не имеют никакого отношения[2]*, и уже поэтому статья не подходит для журнала "Электричество".*

Впрочем, она может представить интерес для читателей, желающих узнать, чем занимаются в Отделе теоретических проблем АН СССР, который сейчас, небось, влился в Российскую Академию Наук.

М. Л. Левин 15.01.92

Человек

Эти заметки, носящие (отчасти в силу заданности темы) сводно-статистический характер, подходят к концу. Напоследок хочется спросить свою память: "Каким человеком был М. Л. Левин?"

Это был порядочный, интеллигентный человек, всегда корректный по отношению как к другим людям, так и к науке, которой служил.

Это был мужественный, сдержанный человек, стойко переносивший неоднократные моральные и физические травмы, уготовленные ему судьбой.

Это был добрый, чуткий человек, щедрый на внимание и участие к другим.

Этот человек был очень обязательным и надежным во всем, кроме соблюдения сроков подачи письменных материалов.

Это был очень любознательный, много прочитавший и много знавший человек, прекрасно запоминавший даты, фамилии, обстоятельства. Круг его интересов был настолько обширен, что лучше и не браться его очерчивать. Как о гурмане, о нем можно говорить только применительно к духовной пище.

Это был веселый, любящий шутку человек, охотно и активно участвовавший в лабораторных, отдельских и институтских празднествах. Однажды ему довелось исполнять песню на свои стихи в составе отдельского "хора мальчиков".

Это был хороший, мудрый человек, общение с которым духовно обогащало.

Это был бесконечно дорогой нам человек.

К числу книг, которые нравились М. Л. Левину, относится изданный небольшим тиражом в 1946 году в Ленинграде роман английского писателя Найджела Бэлчина "В маленькой лаборатории". В личности самого Михаила Львовича немало общего (в частности, полное отсутствие административных начал) с персонажем романа профессором Мэйром, руководителем лаборатории. Использование названия романа в качестве заглавия этих заметок – не только дань симпатиям и аналогиям. Выбранный заголовок согласуется с предпринятой здесь попыткой описать деяния руководителя и (в меньшей степени) созданной им исследовательской группы за время существования лаборатории. Дополнительным аргументом в пользу выбранного заголовка является то, что первые буквы именных частей речи в нем совпадают с инициалами М. Л., которыми часто заканчивались левинские письма.

17.03.94

[2] По этой причине я не разбираю указанные математические ошибки. – *Прим. М. Л. Левина.*

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ М. Л. ЛЕВИНА
(печатные)

1. *М. Л. Левин, М. А. Леонтович.* К теории возбуждения колебаний в вибраторах антенн // ЖТФ. 1944. Т. 14. С. 481-507.

2. *М. Л. Левин, М. А. Леонтович.* О возбуждении вибраторов в антеннах // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1944. Т. 8. С. 156-163.

3. *М. Л. Левин.* Круговая антенна // Сб. науч. тр. НКЭП. Вып. 1. М., 1945. С. 41-55.

4. *М. Л. Левин.* К теории тороидальных эндовибраторов // ЖТФ. 1946. Т. 16. С. 833-844.

5. *М. Л. Левин.* К теории антенн // ДАН СССР. 1946. Т. 54. С. 599-601.

6. *М. Л. Левин.* О входном сопротивлении антенны, находящейся в волноводе // ДАН СССР. 1946. Т. 54. С. 693-695.

7. *М. Л. Левин.* Об одном новом методе нахождения характеристического реактанса тонкой антенны // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1947. Т. 11. С. 117-123.

8. *М. Л. Левин.* Излучение электрона, движущегося по круговой орбите в ограниченном металлическими стенками пространстве // ЖТФ. 1947. Т. 17. С. 1159-1164.

9. *М. Л. Левин.* К теории щелевых антенн // ДАН СССР. 1947. Т. 58. С. 1039-1041.

10. *М. Л. Левин.* Резонансные щелевые антенны в волноводах // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1948. Т. 12. С. 310-321.

11. *М. Л. Левин.* Теория кольцевой резонансной щели в волноводе // ЖТФ. 1948. Т. 18. С. 639-652.

12. *М. Л. Левин.* О возбуждении полубесконечного волновода через отверстие в его дне // ЖТФ. 1948. Т. 18. С. 653-656.

13. *Г. С. Горелик, М. Л. Левин.* Радиолокация. М.: Гостехиздат, 1947. 32 с. М.: Воениздат, 1948. 40 с.

14. *М. Л. Левин.* Собственные колебания тонких металлических и щелевых антенн // ДАН СССР. 1948. Т. 63. С. 661-664.

15. *М. Л. Левин.* Распространение плоской электромагнитной волны в периодической слоистой среде // ЖТФ. 1948. Т. 18. С. 1399-1404.

16. *М. Л. Левин.* О связи между энергетическими коэффициентами, характеризующими антенные устройства в волноводах // ДАН СССР. 1948. Т. 60. С. 787-789.

17. *М. Е. Жаботинский, М. Л. Левин, С. М. Рытов.* О телеграфном уравнении для обобщенных линий с малыми потерями // ЖТФ. 1950. Т. 20. С. 257-281.

18. *М. Л. Левин.* К теории эффекта Черенкова // ЖЭТФ. 1950. Т. 20. С. 381-383.

19. *М. Л. Левин.* О теории металлических антенн // Ученые записки Горьковского ун-та. Сер. физ.-мат. Горький, 1950. Вып. 16. С. 233-260.

20. *М. Л. Левин.* К теории щелевых антенн в круглом волноводе // ЖТФ. 1951. Т. 21. С. 772-786.

21. *М. Л. Левин.* К выводу основного уравнения теории щелевых антенн // ЖТФ. 1951. Т. 21. С. 787-794.

22. *М. Л. Левин.* Щелевая антенна с направляющим устройством // ЖТФ. 1951. Т. 21. С. 795-801.

23. *М. Л. Левин.* О рассеянии звука в слабо-неоднородной среде // ЖТФ. 1951. Т. 21. С. 937-939.

24. *М. Л. Левин.* О геометрическом смысле условий существования поперечно-электрических и поперечно-магнитных полей в криволинейных координатных системах // ДАН СССР. 1951. Т. 79. С. 589-590.

25. *М. Л. Левин.* Пассивные излучающие системы в волноводах // ДАН СССР. 1953. Т. 91. С. 807-810.

26. *М. Л. Левин.* К теории пространственной корреляции шумов циклического перемагничивания // Памяти академика А. А. Андронова: Сб. науч. тр. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 681-690.

27. *М. Л. Левин.* О термодинамическом рассмотрении равновесных электрических флуктуаций // УФН. 1954. Т. 52. С. 486-494.

28. *А. В. Гапонов, М. Л. Левин.* К теории тонких антенн в эндовибраторах // ДАН СССР. 1954. Т. 95. С. 1193-1196.

29. *М. Л. Левин.* К электродинамической теории теплового излучения // ДАН СССР. 1955. Т. 102. С. 53.

30. *М. Л. Левин, С. М. Рытов.* Тепловое излучение тонкой прямолинейной антенны // ЖТФ. 1955. Т. 25. С. 323-332.

31. *М. Л. Левин.* О влиянии кривизны поверхности выпуклого металлического тела на излучение источника, находящегося на этой поверхности // ЖТФ. 1955. Т. 25. С. 2396-2397.

32. *М. Л. Левин.* Элементарный вывод формулы для электромагнитной энергии в диспергирующей среде // ЖЭТФ. 1955. Т. 29. С. 252-255.

33. *М. Л. Левин.* Тепловое излучение хорошо проводящих тел // ЖЭТФ. 1956. Т. 31. С. 302-316.

34. *М. Л. Левин.* Наведенные тепловые шумы в антеннах // ЖТФ. 1956. Т. 25. С. 2313-2318.

35. *М. Л. Левин, С. М. Рытов.* О переходе к геометрическому приближению в теории упругости // Акуст. журнал. 1956. Т. 2. С. 173-176.

36. *М. Л. Левин.* Об эффективном показателе преломления некоторых искусственных сред // Радиотехника. 1958. Т. 13. С. 66-67.

37. *Э. Л. Бурштейн, М. Л. Левин, Ю. В. Поляк.* Об одном новом методе решения задач электростатики // Радиотехника. 1959. Т. 14. С. 76-77.

38. *G. A. Askarian, M. L. Levin, M. S. Rabinovich.* On the Stability and Focusing of Plasma Bunches Accelerated by Radiation // Int. Conf. High-Energy Accelerators and Instr. CERN, Geneva, 1959. P. 315-327.

39. *М. Л. Левин.* Плазменные кольца в волновых полях // Научные труды РТИ АН СССР. М., 1959. Т. 1, вып. 1. С. 5-24.

40. *М. Л. Левин.* К теории стабилизации малых плазменных сгустков волноводными полями // Научные труды РТИ АН СССР. М., 1959. Т. 1, вып. 2. С. 36-71.

41. *М. Л. Левин.* К расчету сферической установки для удержания плазмы высокочастотным полем // Научные труды РТИ АН СССР. М., 1960. Т. 2, вып. 1. С. 3-25.

42. *Э. Л. Бурштейн, М. Л. Левин.* К теории установки для удержания плазмы бегущим магнитным полем // Научные труды РТИ АН СССР. М., 1960. Т. 2, вып. 1. С. 26-50.

43. *М. Л. Левин.* Об устойчивости плазменных сгустков в волноводе // Атомная энергия. 1960. Т. 8. С. 134-135.

44. *М. Л. Левин.* Основная волна в коаксиальной линии, почти целиком заполненной веществом с большой магнитной проницаемостью // Научные труды РТИ АН СССР. М., 1960. Т. 2, вып. 4. С. 3-26.

45. *М. Л. Левин.* О динамике тонких плазменных шнуров в переменных внешних полях // Научные труды РТИ АН СССР. М., 1961. Т. 3, вып. 2. С. 3-32.

46. *С. Н. Бреус, М. Л. Левин, Р. З. Муратов.* О влиянии асимметрии потенциала на вольт-амперную характеристику зонда // Научные труды РТИ АН СССР. М., 1961. Т. 3, вып. 2. С. 51-65.

47. *М. Л. Левин.* К термодинамическому выводу формулы спектральной плотности равновесного излучения // Научные труды РТИ АН СССР. М., 1961. Т. 3, вып. 4. С. 3-9.

48. *М. Л. Левин.* К теории конических линий передачи // Научные труды РТИ АН СССР. М., 1961. Т. 3, вып. 4. С. 9-15.

49. *М. Л. Левин, В. Н. Цытович.* Об учете инерции во взаимодействии токов // ЖТФ. 1961. Т. 31. С. 936-938.

50. *М. Л. Левин.* Об удержании заряженных частиц вблизи поверхности плазмы высокочастотным потенциалом квазистационарного магнитного поля // Научные труды РТИ АН СССР. М., 1962. Т. 4, вып. 1. С. 3-18.

51. *М. Л. Левин.* Влияние металлического экрана на устойчивость ориентации токового кольца // Научные труды РТИ АН СССР. М., 1962. Т. 4, вып. 2. С. 3-11.

52. *Г. А. Аскарьян, М. Л. Йовнович, М. Л. Левин, М. С. Рабинович.* Транспортировка и удержание движущихся плазменных сгустков // Nucl. Fusion. Supplement. Part 2. P. 797.

53. *М. Л. Левин, М. С. Рабинович.* Метод сильной фокусировки для стабилизации прямых и тороидальных разрядов // ЖТФ. 1963. Т. 33. С. 164-172.

54. *М. Л. Левин, Р. З. Муратов.* О силах, ускоряющих малые плазменные сгустки в волноводных полях // Научные труды РТИ АН СССР. М., 1963. Т. 5, вып. 2. С. 3-31.

55. *В. И. Векслер, И. Р. Геккер, М. Л. Левин и др.* Радиационное ускорение плазмы: Междунар. конф. по ускорителям (Дубна, 1963). М.: Атомиздат, 1964. С. 1017-1022.

56. *М. Л. Левин.* О решении одной задачи квазистационарной электродинамики методом изображений // ЖТФ. 1964. Т. 34. С. 395-398.

57. *М. Л. Левин.* О равновесном распределении электрического заряда на тонких проводниках // Радиотехника. 1964. Т. 19, вып. 9. С. 16-22.

58. *М. Л. Левин.* Об одной модификации дифракционного интеграла в теории объемного рассеяния: Третий всесоюз. симпоз. по дифракции волн (Тбилиси, 1964). М.: Наука, 1964. С. 119.

59. *М. Л. Левин, С. М. Рытов.* Дифракция и тепловое излучение: Третий всесоюз. симпоз. по дифракции волн (Тбилиси, 1964). М.: Наука, 1964. С. 22-23.

60. *М. Л. Левин.* Об излучении продольных волн в средах со слабой пространственной дисперсией // Изв. вузов. Радиофизика. 1964. Т. 7. С. 180-181.

61. *М. Л. Левин.* О стационарных полях и токах, возбуждаемых в плазменном кольце бегущей магнитной волной // Научные труды РТИ АН СССР. М., 1964. Т. 6, вып. 2. С. 161-169.

62. *С. Н. Бреус, М. Л. Левин, В. Н. Курдюмов и др.* Новые результаты исследования взаимодействия высокочастотной электромагнитной волны с плазмой на установке "Дельта-2" // Plasma Phys. and Controlles Nucl. Fusion Research. 1966. V. 1. P. 537-547.

63. *В. Н. Белоозеров, М. Л. Левин.* Метод изображений в магнитостатике при сферической проводящей границе // ЖТФ. 1966. Т. 36. С. 3-6.

64. *М. Л. Левин, С. М. Рытов.* К электродинамической теории теплового поля // Научные труды РТИ АН СССР. М., 1966. Т. 8, вып. 4. С. 62-76.

65. *С. Н. Бреус, Ю. В. Богомолов, М. Л. Левин и др.* Теоретические исследования вопросов удержания и ускорения плазмы высокочастотными электромагнитными полями//Научные труды РТИ АН СССР. М., 1966. Т. 8, вып. 4. С. 148-157.

66. *М. Л. Левин, С. М. Рытов.* Теория равновесных тепловых флуктуаций в электродинамике. М.: Наука, 1967. 307 с.

67. *М. Л. Левин.* Как свет побеждает тьму (В. Р. Гамильтон и понятие групповой скорости) // Научные труды РТИ АН СССР. М., 1968. Т. 10, вып. 1-2. С. 289-291; УФН. 1978. Т. 125, № 3. С. 555-557.

68. *М. Л. Левин, Р. З. Муратов.* О магнитной поляризуемости эллипсоида // ЖТФ. 1968. Т. 38. С. 1623-1629.

69. *М. Л. Левин, Р. З. Муратов.* О собственных квазистатических колебаниях плазменных сгустков // ЖТФ. 1968. Т. 38. С. 1999-2001.

70. *М. Л. Левин, К. В. Ходатаев.* Взаимодействие плазмы с удерживающим ее ВЧ бегущим полем // Plasma Physics and Controlled Nucl. Fusion Research. 1969. V. 2. P. 461.

71. *М. Л. Левин, Р. З. Муратов.* О межмультипольном вырождении собственных частот плазменного сгустка и его влиянии на резонансную силу радиационного давления // ЖТФ. 1969. Т. 39. С. 1712.

72. *В. Н. Белоозеров, М. Л. Левин, М. Г. Никулин.* Взаимодействие диамагнитного шара с кольцевым током // ЖТФ. 1970. Т. 40. С. 669-672.

73. *M. L. Levin, R. Z. Muratov.* On the Internal Potential of Heterogeneous Ellipsoids // Astrophys. J. 1971. V. 166. P. 441-444.

74. *M. L. Levin, R. Z. Muratov.* On the Diffraction Characteristics of Small Bodies with Nondegenerate Symmetry. Теория электромагнитных волн: Тез. докл. междунар. симпоз. (Тбилиси, 1971). М.: Наука, 1971. С. 533-535.

75. *М. Л. Левин, Р. З. Муратов.* Об электрических мультипольных моментах плазменного сфероида // ДАН СССР. 1972. Т. 203, № 3. Р. 574-576.

76. *М. Л. Левин.* Стационарные поля и токи, возбуждаемые в толще плазменного цилиндра хорошо скинированным высокочастотным полем // Труды РТИ АН СССР. Физика плазмы. 1972. № 8. С. 27-35.

77. *М. Л. Левин, Р. З. Муратов.* О потенциалах неоднородного эллипсоида // Труды РТИ АН СССР. Физика плазмы. 1972. № 8. С. 49-58.

78. *М. Л. Левин.* Продольные силы в цилиндрической конфигурации вращающихся релятивистских электронов // Труды РТИ АН СССР. Ускорение электронов. 1972. № 9. С. 136-143.

79. *М. Л. Левин, А. Л. Минц, Е. Д. Науменко.* Генератор вращающихся релятивистских электронных кольцеобразных сгустков // ДАН СССР. 1972. Т. 204, № 4. С. 840-843.

80. *Г. В. Воскресенский, И. Л. Коренев, В. Н. Курдюмов, М. Л. Левин.* Омические потери интенсивных электронных колец в волноводе // Симпоз. по коллективн. методам ускорения (Дубна, 1972) / ОИЯИ Д9-6707. С. 53-56; ЖТФ. 1972. Т. 42. С. 2536-2539.

81. *М. Л. Левин.* О силах в полых цилиндрических конфигурациях вращающихся релятивистских электронов // Симпоз. по коллективн. методам ускорения (Дубна, 1972) / ОИЯИ Д9-6707. С. 49-52.

82. *Г. В. Воскресенский, В. Н. Курдюмов, М. Л. Левин.* Джоулевы потери при движении интенсивных электронных колец в волноводе с конечной проводимостью стенок // Труды РТИ АН СССР. Теория и техника ускорителей. 1972. № 11. С. 192-201.

83. *М. Л. Левин, А. Л. Минц, Е. Д. Науменко, Т. Н. Филимонова.* Гиромагнитная компрессия мощных релятивистских плотных электронных потоков трубчатой формы // ДАН СССР. 1973. Т. 211, № 5. С. 1085-1088.

84. *М. Л. Левин, С. М. Рытов.* "Кирхгофовская" форма флуктуационно-диссипативной теоремы для распределенных систем // ЖЭТФ. 1973. Т. 65, вып. 4. С. 1382-1391.

85. *М. Л. Левин, Р. З. Муратов.* О потенциальных факторах неоднородного эллипсоида // ЖТФ. 1974. Т. 44, № 2. С. 263-266.

86. *М. Л. Левин, Р. З. Муратов.* О некоторых суммах, возникающих в теории потенциала // Труды РТИ АН СССР. Теория ускорителей. 1974. № 19. С. 69-73.

87. *М. Л. Левин, А. Л. Минц, Е. Д. Науменко, Т. Н. Филимонова.* Аксиальный генератор релятивистских электронных колец // Радиотехника и электроника. 1975. Т. 20, № 12. С. 2524-2530.

88. *М. Л. Левин, Р. З. Муратов.* Дифракция на малом эллипсоиде, находящемся в узле электромагнитного поля // Теория дифракции и распростр. волн: Матер. 7-го Всесоюз. симпоз.: М., 1977. Т. 3. С. 325-328.

89. *М. Л. Левин, Р. З. Муратов.* Диэлектрический эллипсоид в неоднородном статическом поле // ЖТФ. 1977. Т. 47, № 12. С. 2464-2471.

90. *М. Л. Левин, Е. Д. Науменко, Т. Н. Филимонова.* Изменение параметров цуга релятивистских электронных колец при продольной компрессии // Радиотехника и электроника. 1977. Т. 22, № 11. С. 2430-2432.

91. *М. Л. Левин, Р. З. Муратов.* Дифракция волноводных полей на малых дисках и

отверстиях, расположенных в "узловых" областях поля // ЖТФ. 1978. Т. 48, № 8. С. 1545-1552.

92. *М. Л. Левин.* О равновесном распределении заряда на тонких проводниках // Корректные и некорректные задачи электростатики. М.: Наука, 1978. С. 19-20.

93. *М. Л. Левин.* К вопросу о плотности заряда на линейных проводниках // Корректные и некорректные задачи электростатики. М.: Наука, 1978. С. 21-22.

94. *М. Л. Левин, С. М. Рытов.* О возможности измерения спектральных характеристик ближнего теплового электромагнитного поля // Вестник МГУ. Сер. физика, астрономия. 1978. Т. 19, № 4. С. 165-166.

95. *М. Л. Левин.* Поле объемного заряда для эллиптических пучков с неоднородным распределением плотности по сечению // Труды РТИ АН СССР. Теория и техника ускорителей. 1978. № 31. С. 106-108.

96. *М. Л. Левин, Р. З. Муратов.* Проводящий эллипсоид в низкочастотном электромагнитном поле // Изв. вузов. Радиофизика. 1979. Т. 22, № 6. С. 740-749.

97. *М. Л. Левин.* Статические кольцевые мультиполи // ЖТФ. 1979. Т. 49, № 9. С. 1793-1800.

98. *М. Л. Левин.* О результатах векторно-параметрического метода решения задач электростатики. Сб. трудов МОИП, 1980.

99. *М. Л. Левин, В. Г. Полевой. С. М. Рытов.* К теории теплообмена, обусловленного флуктуационным электромагнитным полем // ЖЭТФ. 1980. Т. 79, вып. 6(12). С. 2087-2103.

100. *М. Л. Левин, Р. З. Муратов.* О потенциалах эллиптического диска // ЖТФ. 1980. Т. 50, № 9. С. 1809-1814.

101. *В. В. Жуков, М. Л. Левин.* Джоулевы потери вторичных токов, индуцируемых в проводящей среде пульсациями радиуса цилиндрического пучка заряженных частиц // Физика плазмы. 1981. Т. 7, № 2. С. 276-281.

102. *М. Л. Левин, М. А. Миллер.* Трактат об электричестве и магнетизме // УФН. 1981. Т. 135, № 3. С. 425-440.

103. *М. Л. Левин.* О равновесном распределении поверхностных зарядов и токов на тонком торе произвольного поперечного сечения // Физика плазмы. 1983. Т. 9, № 1. С. 171-175.

104. *М. Л. Левин, С. М. Рытов, В. Д. Шафранов.* О работах М. А. Леонтовича в области электродинамики // УФН. 1983. Т. 139, № 4. С. 667-671.

105. *М. Л. Левин, М. С. Рабинович.* О силе, действующей на плазменный шнур в поперечном магнитном поле с мультипольной геометрией // Физика плазмы. 1985. Т. 11, № 1. С. 51-52.

106. *М. Л. Левин, Р. З. Муратов.* О резонансном возбуждении квазистатических мультипольных колебаний плазменного эллипсоида // ЖЭТФ. 1985. Т. 89, № 1(7). С. 53-55.

107. *М. Л. Левин, Р. З. Муратов.* Матрица присоединенных масс и колебания газового эллипсоида в жидкости // Акуст. журн. 1985. Т. 31, № 6. С. 356-361.

108. *М. Л. Левин.* Расплывание эллипсоидального сгустка заряженных частиц в собственном кулоновом поле. Сильноточные электронные пучки и новые методы ускорения // Сб. трудов РТИ АН СССР. М., 1985. С. 121-132.

109. *М. Л. Левин.* Приближенный метод решения задач квазистационарной электродинамики для металлических торов произвольного сечения // ЖТФ. 1986. Т. 56, № 8. С. 1472-1480.

110. *М. Л. Левин.* Уравнения Максвелла и трансформатор // Радиотехника и электроника. 1987. Т. 32, № 3. С. 632-634.

111. *M. L. Levin.* Fortinbras // The Bard. 1979. V. 2, № 2. P. 71-74.

112. *Б. М. Болотовский, М. Л. Левин, М. А. Миллер, Е. В. Суворов.* Фарадей – Максвелл – Герц – Хевисайд. О согласованности функциональных специализаций мозга: Препринт ИПФ РАН № 327. Н. Новгород, 1992; Прикладная нелинейная динамика. 1996. Т. 4, №6.

Часть IV

М. Л. ЛЕВИН. СТИХИ И ПРОЗА (ИЗБРАННОЕ)

Михаил Львович Левин был не только необыкновенным человеком, но и литератором тоже необыкновенным: он знал и любил чужие успехи. Это относилось к любому виду творчества — и к научному, и к художественному. Считается, что знания сковывают новаторство: кажется, "все сказано на свете — несказанного нет", и лучшие мысли, сюжеты, строки давно откуплены другими, что должно стеснять собственное творчество и поощрять проникающее сомнение в собственных возможностях. Ничего похожего в Левине не было.

Толковые словари русского языка не умеют толком различать понятия тщеславия и честолюбия, но если эти качества присутствуют в гомеопатически малых количествах, то тонкости несовпадения несущественны. М. Л. Левин обладал патологическим нестремлением к возвеличиванию себя и потому был свободен от любого внутреннего подцензурного угождения кому бы то ни было. Он легко объединял свои и не свои строки, цитировал, пародировал, подражал, оригинальничал, вышучивал и грустносерьезничал... и делал это с легкостью человека, ни перед кем не отчитывающегося, не стесненного законами жанров, кроме законов естества. О себе он любил говорить: "Я не поэт, я — версификатор".

Ниже приводится подборка стихосложений М. Л. Левина разных лет, разных "форм и созвучий". Многие из них шли от осенения мыслью, от ума и писались под "текущий момент", их тематика часто привязывалась к определенным событиям и людям. Б. Л. Пастернак как-то сказал Левину по этому поводу: "Злободневность и локальная привязка — опасная ловушка, через несколько лет они — эти произведения — уже нуждаются в комментариях" (приближенная цитата из воспоминаний Левина). Однако стремление к литературоведческому уровню понимания не всегда оправдано, и некоторые вещи вполне достигают цели (т. е. воспринимаются читателем адекватно авторским замыслам) без подробных разборов (кстати сказать, в ряде случаев составителям даже недоступных)[1].

Большая часть стихов извлечена из архивов М. Л. Левина и обнародуется, следовательно, без его прямого дозволения (но с согласия его вдовы Н. М. Леонтович). Редко что публиковалось при жизни автора, но кое-что ходило в списках и в устных передачах.

---

[1] Что касается комментариев, то составителям была очевидна невозможность придерживаться норм академических изданий — раскрыть все имена, события и намеки на какие-то взаимоотношения выше наших возможностей. В то же время оставлять левинские строки совсем без пояснений — значит, обрекать стороннего читателя на почти полное непонимание. В результате, был избран серединный вариант — что-то снабжать комментариями, а до чего-то молчаливо не дотрагиваться, как будто бы так и надо. Комментарии составителей вынесены в конец данного раздела, в качестве подстрочных оставлены только комментарии самого МЛ.

В связи с этим мы — составители — испытывали некоторые стеснения. Изобилие продукции приводило нас в состояние растерянности. Сравнительно немногие произведения были доведены М. Л. Левиным до публикационной готовности. Кое-что он предполагал подправить, перебелить (любимое его слово), да руки, видимо, не доходили, или утрачивался интерес. Но большую часть архива заполнили незавершенные наброски — стерженьки неслучившихся куплетов или поэмок. В общем, в каждом из этих случаев мы были вынуждены принимать решения несогласованные: или публиковать полностью, или с купюрами, а иногда — выборочно. И прорва, прорва всего пребывает в состоянии нетронутости.

Итак, вирши М. Л. Левина из разных лет, местами перемежающиеся с поэтической прозой.

Блажен, кто молча был поэт
И терном славы не увитый,
.....
Без имени покинул свет.

Б. Л. Пастернаку

Для мальчиков не умирают Позы...
Шиллер "Дон Карлос"

Шум затих. Газет умолкла свора.
Мир вокруг все глуше и тесней...
Чаша отреченья и позора
Как кошмар в сыпнотифозном сне.

А давно ль холодной анакондой
Извивалась подлости река:
Утром — гильденстерны из Литфонда,
В полдень — розенкранцы из ЦК.

В предзакатном свете снег алеет...
Веря в ясность завтрашнего дня,
Сочиняют фразы Галилея
Мальчики, влюбленные в меня.

Декабрь 1958 г.
(На мотив "Три танкиста")

И. Сельвинскому

...всех учителей моих —
От Пушкина до Пастернака!
(Из старых стихов И. С.)

Человечье упустил я счастье:
Не забил ни одного гвоздя.
(Из новых стихов И. С.)

Все позади — и слава,
и опала,
Остались зависть и тупая злость...
Когда толпа учителя распяла,
Пришли и Вы — забить
свой первый гвоздь.

1959

***

С времен Очакова и Трои
Литературные герои
Не брезгуют военным строем...
Идет, как на парад, шеренга
От Тауэра до Лубянки:
На левом фланге сэр Ivanhoe[1],
На правом — вертухай Ivanco[2].

Один погиб в бою смертельном
При Иоанне Безземельном.
Другой,
чей герб —
стульчак сортирный,
Сам стал
Иванькой Бесквартирным!

***

Отхожу от гонорарной кассы,
Вкруг меня товарищи орут,
Спорят: гениален ли Пикассо,
Иль Пикассо — шарлатан и плут.

Говорил я нынче очень вольно,
Горячо отстаивал его...
Что же мне так грустно и так больно?
Жду ли я, боюсь ли я чего?

Не боюсь начальственного взора,
И не жаль мне нынешнего дня...
Но хочу я брани и укора,
Я б хотел, чтоб высекли меня!

Но не тем сечением обычным,
Как секли при Сталине еще,
А другим, какое счел приличным
Продолжатель Ленина — Хрущев.

Я б хотел, чтоб для меня собрался
Сразу весь Президиум ЦеКа,
Чтобы мат приветный раздавался,
И стучала по столу рука.

---

[1] Герой романа баронета В. Скотта.
[2] Герой повести графа В. Войновича.

Сталин с Ждановым секли нас против,
А теперь секут нас только за.
Я хочу, чтоб по моей охоте
Зад мой разукрасила лоза.

Чтоб поэт — народных дум властитель,
Возлежа под свежею лозой,
Знал бы, что страны руководитель
В этот миг скорбит о нем душой.

Подражание Асееву

Отчего ж ты, Россия, в небо смотрела,
Когда Павла Васильева увели для расстрела?

Почему не завыла, поминаючи милого,
Когда пуля пробила затылок Корнилова?

Не под ясной луной в апельсиновой роще —
Их убили куда прозаичней и проще:

В коридоре глухом, перед самым рассветом...
Так в России тогда умирали поэты.

А убийцы потом спецконьяк попивали
И из Песни о Встречном слова напевали.

Исаковские знали и Асеевы знали...
Почему же от боли их стихи не стонали?

Что ж поэты молчали? А они не молчали!
Они в песнях и одах Палача величали,
И за то величанье ордена получали.

Твои барды, Россия, до сих пор дальнозорки
И молчат о своих, вспоминая о Лорке.

Только Лорка не ваш. Он остался поэтам.
Лорка с теми, убитыми перед рассветом.

***

Вот дом,
Где жил знаменитый Корней.

А это творческая единица,
Которой хочется поселиться
В доме,
Где жил знаменитый Корней.

А это джигит из Литфонда Алим,
Который Высоким Начальством ценим
За то, что содействует той единице,
Которой хочется поселиться
В доме,
Где жил знаменитый Корней.

А это юристка с фамилией Збарская,
Которая, чуя желания барские,
Делает так, как велит ей Алим,
Который Высоким Начальством ценим
За то, что содействует той единице,
Которой хочется поселиться
В доме,
Где жил знаменитый Корней.

А это куратор писателей Верченко,
Которым судебное дело заверчено,
Которое крутит юристка Збарская,
Которая, чуя желания барские,
Делает так, как велит ей Алим,
Который Высоким Начальством ценим
За то, что содействует той единице,
Которой хочется поселиться
В доме,
Где жил знаменитый Корней.

А это само Начальство Высокое,
Которое ходит вокруг да около,
Чем очень тревожит куратора Верченко,
Которым судебное дело заверчено,
Которое крутит юристка Збарская,
Которая, чуя желания барские,
Делает так, как велит ей Алим,
Который Высоким Начальством ценим
За то, что содействует той единице,
Которой хочется поселиться
В доме,
Где жил знаменитый Корней.

А это Корнеева внучка Люша
(Не Борина дочь и не дочь Колюши!),
Которая — лично! — издала Чукоккалу,
Которой начхать на Начальство Высокое,
Которое ходит вокруг да около,
Чем очень тревожит куратора Верченко,
Которым судебное дело заверчено,
Которое крутит юристка Збарская,

Которая, чуя желания барские,
Делает так, как велит ей Алим,
Который Высоким Начальством ценим
За то, что содействует той единице,
Которой хочется поселиться
В доме,
Где жил знаменитый Корней.

А это друзья мои Лева и Рая,
Которые из своего капрая
Вовсю помогают той внучке Люше
(Не Бориной дочери и не Колюши),
Которая — лично! — издала Чукоккалу,
Которой начхать на Начальство Высокое,
Которое ходит вокруг да около,
Чем очень тревожит куратора Верченко,
Которым судебное дело заверчено,
Которое крутит юристка Збарская,
Которая, чуя желания барские,
Делает так, как велит ей Алим,
Который Высоким Начальством ценим
За то, что содействует той единице,
Которой хочется поселиться
В доме,
Где жил знаменитый Корней.

6.04.82

Фазилю
на Новый 1990 год и до конца тысячелетья

И я бы мог...
Пушкин

И ты бы мог — не приведи Господь! —
Писать рондо, сонеты иль октавы
Лишь для себя, а не в надежде славы
Или добра. Хотя в колодках плоть,
Свободен дух. О времена, о нравы...
Их надо выжигать, а не полоть!
...И ты бы мог — не приведи Господь! —
Писать рондо, сонеты и октавы...

Поэтам Москвы

Нет подлее до Алтая
Полевого Николая,
И глупее нет от Понта
Полевого Ксенофонта.

Соболевский

От вышибалы Грибачева
До воздыхалы Щипачева —
Поэзии полки.
От поэтических соитий
До политических наитий —
Все темы ей с руки!

От овладения Казанью
До иудеев наказанья[1] —
Во времени размах!
Над ней несется Мести муза,
Пред ней трясется, как медуза,
Эмпирьокритик Мах!

От сикофанта А. Суркова
До элефанта Михалкова —
Вот твой Парнас, Москва![2]
От всех понтов до гор Алтая,
От тундр хантов до стен Китая
Гремит о нем молва!

---

[1] См. стихотворение в прозе Н. Грибачева в журнале "Крокодил".

[2] "Мир, — учил он, — мое представление".
А когда ему в стул под сидение
Сын булавку воткнул,
Он вскричал: "Караул!
Как ужасно мое представление!"
(С. Маршак)

Из послания к Б. Сарнову

Дорогой Бен!
С наслаждением прочитал в 6-м номере Воплей твою выволочку Б. Но под конец тебя малость занесло, чему и обязано появление на свет прилагаемых виршей...
Твой М. Л.

Сару, жену твою, не называй
Сарою, но да будет имя ей: Сарра.
Бытие: 17, 15

Поэт, не отмеченный чем-либо новым,
До смерти останется Ивановым.
А тот, кто и старое видит заново[1],
Получит право на имя Ива́нова.
Ну, а который прославлен, как Симонов,
Подписывается анапестом: Ива́нов.

Но тут возникает проблема наследства[2]:
Вот Кома Ива́нов — Ива́нов с детства.
Жена же его — уклада основа —
Ива́нова или пока Ивано́ва?

Ах, если б цветаевский Казанова
Переиграл биографью по-новой:
Завел бы ансамбль по примеру Хазанова
И сразу бы стал Джако́мо Каза́нова.

На фоне воплей и гвалта базарного,
Как звуки орга́на, писания Са́ррнова,
О коих Белинский, Сарно́вым задерганный,
Небось отсигналил и в орган, и в органы:

"Врет, лежа с цезурою на канапе[3],
Про Когана И. и про Когана Пе!
И вообще на продукции Са́ррнова
Не видно *нашего* знака товарного.
Мои ж удодные чудачества —
Со знаком качества!"

1985

---

[1] Ну, скажем, Аве заместо Авва...
Иль нашей Славе даст имя Славва.
Ведь было же: жовтоблакитная Рада
Писалась, как дочь конокрада — Радда.

[2] См. "Комс. правда" от 7 июня 1985 г.

[3] Желая довесить Сарнову аморалку, Белинский щеголяет тут образованностью ("Домик в Коломне"), однако путает цезуру с гетерой.

Подражание Е. Маркину в манере Е. Храмова

Исаич, Тимофеич и Иваныч –
Великие мужицкие цари,
Хотя вы не читали Маркса на ночь,
Не брали Энгельса в поводыри,

И на груди заместо партбилета
Носили вы нательный медный крест –
Поют вам славу русские поэты
Рязанских, тульских и московских мест.

На стрежне у истории, как бакен,
Поставил вас навечно сам народ.
Пусть заливаются опричные собаки:
Собаки лают – караван идет!

Удел поэтов – горький путь Кассандры:
К пророчествам столетия глухи.
Все знают про победы Александра.
Кто помнит македонские стихи?
Старое стихотворение,
Еще до выдворения...

Примечания для редакторов толстых журналов:

1. Исаич, Тимофеич и Иваныч – Иван Исаевич Болотников, Степан Тимофеевич Разин и Емельян Иванович Пугачев.
2. "Собаки лают – караван идет" – восточная пословица.
3. Александр – Александр Македонский.

***

Мороз в дугу согнул деревья –
                    ексель-моксель,
Гудит поземка февраля...
Ребят всех переворошили –
                    диссидентов,
Настала очередь его.

И вот приносят в дом повестку –
                    на бумажке –
В прокуратуру СССР.

Рванула теща к автоматам —
кроя матом,
Жена корзинку собрала —
для беседы.

Начальство выдало команду —
к Вилли Брандту
Везти злодея в чем он есть.
И в ту ж минуту —
нетто-брутто —
Кассий с Брутом
и Иуда, курва буду, —
Проложен по небу маршрут —
ганц капут.

Летят по небу самолеты —
Ерофлота,
И сочинителя везут —
вира-майна,
в град на Майне
прямо к Беллю
на неделю...

И тут начался ексель-моксель,
вексель-штепсель,
Тарапунька,
ну-ка сунь-ка
гаду в рыло!
Будет мило,
что прошло.
И пошло:

Вставайте, братцы-новобранцы, —
матерь вашу.
Идейный бой уж начался!
Шлют письма творчески союзы —
прямо в лузу!
Крестьянство и рабочий класс.
И два героя-педераста —
8 х 100:
Шарик-Тузик,
Гусик-Пусик,
из Академии наук.
Интеллигенция России —
морда синя —
Анафематствует взахлеб,
Чать, счас не времена Толстого —
право слово —

Успей сметану подлизать —
прямо с полу!
А с подоконника в Европу —
Товстоногов
Прислал отдельно письмецо —
налицо.
Когда же вышло разрешенье —
взад на печку,
Начался новый заворот —
трюфель в рот!
Бежала по полю Аксинья —
утром рано
из романа
В больших кирзовых сапогах.
За нею когти рвал Григорий,
хоть отменных категорий, —
С клистирной трубкою в зубах.

Клистир был вытащен из зада —
Донокрада,
А вставлен был издалека —
врага рука.
Не то чтоб так уж вероятно —
но приятно,
Тем боле — творческий запор —
с давних пор.
Судьба играет человеком —
ексель-моксель,
Как поднятáя целина...
Они за родину сражались
(надо б кончить...),
Течет кудай-то Тихий Дон.
Пора кончать мне эту песню —
ну хоть тресни!
Пора срывать аплодисмент —
айн момент.
А то подъедет санитарка —
стюдебекер —
И отвезет меня лечить —
на казенные харчи —
Я согласен —
только боком!

1974

***

"Жить на вершине голой,
Писать простые сонеты
И брать от людей из дола
Хлеб, вино и котлеты..."

Котлеты? Из первой диеты!
Заместо вина — уколы...
Сердца уж не жгут глаголы —
Вот так кончают поэты...
Свое житье на Парнасе:
Стишки на протертом мясе
Идут в сравнение разве
С кипящим бульоном Торквата,
Текущим во Храм? Чреваты
Бульоны при приступах язвы...

30.12.84

Стансы

Добра не ищут от добра...
Он в гости ездил без боязни,
Хоть годы юности Петра
Мрачили мятежи и казни.

Настала новая пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы набирая,
Нуждалась в знаниях Петра.

И он явился перед нами,
Как битва, светел и могущ,
Душою тверд, как тезка-камень,
Как гелий, мыслью сверхтекущ.

Вождям — советник, а не раб! —
Он изронял златое слово.
И из антихристовых лап
Он вырвал Льва полуживого!

Но, может быть, сказать пора,
Имея юбилей в предмете,
Мы в честь Великого Петра
Своих детей назвали Петей.

2.07.1974

Дорогой Петр Леонидович!

От всей души поздравляю Вас с давным-давно заслуженным отличием. На радостях я позволил себе добавить Post Scriptum к Стансам, написанным в дни Вашего юбилея, но не пропущенным тогда на сцену.

С тех пор прошло четыре года...
Вдруг Глас раздался поутру:
Карл Премию вручит Петру
Под клики шведского народа.

Vivat! Ура! Согнулись шведы,
И мы дождалися победы.
Ликует друг, лукавит враг...
Шьют в ателье Капице фрак!

***

По средам в 6.30 р. т.
Садится на сцену Капица.
На нем украинская свитка
Иль скромный ковбойский наряд.

По средам в 6.30 р. т.
Берет он большой молоток
И смотрит под ноги в тот ряд,
Где маршалы теоротдела.

По средам в 6.30 р. т.
На сцену выходит докладчик.
Он бел, как в руке его мел,
И дробь выбивают колени.

***

В магнитном поле
Который год
Пасется в холе
Странный скот.

***

Мы за чертой столицы древней,
А все, что выросло потом,
Считается большой деревней...
Все это так, но дело в том:
У нас — научная граница, —
Чего б ни строил Моссовет, —
И не пройдет ученый бред
Там, где таможенник Капица.

2.07.74

Петя (ПЛ) и Волк (ЛП)

(Сергей Прокофьев. Симфоническая сказка для взрослых, сочинение 67-б)

То ли в Нигерии, то ли в Либерии
Не было Сталина, не было Берии

Жил-поживал на белом свете
Очень умный мальчик Петя.
В Петином доме был Васька-кот —
Тоже ученый, не обормот.
В городе насупротив планетария
Жил Волк Лупус в своем лупанарии.
Волк был лыс, но не перестарок,
Он обожал молодых пулярок.
Волк ненавидел мальчика Петю,
Было им тесно вдвоем на свете.
Бог не выдаст, свинья не съест —
Говаривал Пете Дед Эрнест.
Только какой в пословице толк,
Если заместо свиньи съест волк?
При появлении лысого волка
Хитрый Кот Васька рванул на елку:
Волк — что твой ферзь, а Васька-то — пешка,
Тут знай одно: поспевай, не мешкай!
А мальчик Петя Волка не боялся...
Маятник у него качался
Книзу подвесом, согласно науке —
Петя умел ученые штуки.
Волк лез на стенку, ярости полный.
Петя по стенке гнал вязкие волны.
Все с нетерпением ждали развязки,
А получилось прямо как в сказке:
В день рождения мальчика Пети
Волк угодил охотникам в сети.
Волка ведут на суд и расправу,
Слава охотникам, Пете — слава!

Слово к товарищу Рытову

Оно пришло, не ожидая зова,
Пришло само — и не сдержать его...
Позвольте ж нам сказать Вам это слово,
Простое слово сердца самого.

Тот день настал. Исполнилися сроки:
Полтысячный разменен семинар!
Спасибо ж Вам за подвиг Ваш высокий,
За Ваш холодных чисел жаркий дар.

Вы были нам оплотом и порукой,
Поводырем в науки светлый храм.
Позвольте же пожать Вам крепко руку,
Земным поклоном поклониться Вам.

От многих городов и разных наций
Мы принесли почтительный привет
Владыке всевозможных флуктуаций
На протяженьи стольких бурных лет...

Бывало, у разбитого корыта,
Не видя в формулах ни ме, ни бе,
Мы так Вам верили, товарищ Рытов,
Как, может быть, не верили себе.

Спасибо Вам за истину без лести,
За Вашу мудрость и за Вашу честь,
За то, что Вы все время с нами вместе,
За то, что Вы — такой, какой Вы есть.

Подражание Канцоне

Неужели я увижу скоро —
Слева сердце бьется, лейся слава —
Прядь волос над полысевшим косогором,
И услышу голос твой картавый.

Словно в перевернутом бинокле
Еле различу я пункт опорный.
Красный цвет и желтый не поблекли,
Но всего устойчивей цвет черный.

Этот город был моей отрадой,
Несмотря на беды и обиды.
За окном видны дома-громады,
Где была лишь деревушка-гнида.

Не уложишь в ямбы и хореи
Тракт с тюрьмою старой, Арзамасский...
Я скажу "селям" куратору Андрея
За его малиновую ласку.

И припомню, чтобы подивиться,
Сколько у истории завалов —
При Елисавет-императрице
Был уже куратором Шувалов...

.....
.....
.....
.....

На столе фисташки, мед и творог —
Выложено все, что было в доме...
Неужели разменяли сорок,
Сорок лет, что мы уже знакомы?

Лишь держатель акций знает сроки
Птиц широкогрудых перелета.
От меня ж — на память эти строки
Прозорливцу — дар от стихоплета.

Май 1981 г.

***

Вот дом,
Который очень нужен НИРФИ.

А это вот секретарь обкома,
Который может помочь в смысле дома,
Который очень нужен НИРФИ.

А вот на трибуне ученый заслуженный
Стоит под дождем, хотя и простуженный,
Чтоб видел его секретарь обкома,
Который может помочь в смысле дома,
Который очень нужен НИРФИ.

А вот семья из полуподвала,
Которая дружно голосовала,
Чтоб стал депутатом ученый заслуженный,
Который стоит на трибуне простуженный,
Чтоб видел его секретарь обкома,
Который может помочь в смысле дома,
Который очень нужен НИРФИ.

А вот с портретом под красным стягом
Идет из НИРФИ простой работяга —
Кормилец семьи из полуподвала,
Которая дружно голосовала,
Чтоб стал депутатом ученый заслуженный,
Который стоит на трибуне простуженный,
Чтоб видел его секретарь обкома,
Который может помочь в смысле дома,
Который очень нужен НИРФИ.

А вот портрет вождя из столицы,
К которому год не может пробиться
Тот самый ученый, который заслуженный,
Который стоял на трибуне простуженный,
Чтоб вождь тот поверх министерств и обкома
Дал бы ЦУ о строительстве дома,
Который очень нужен НИРФИ.

***

Если мой маленький внук
хочет есть, он плачет.

И. Лифшиц

Вдоль казенного забора,
Кедами пыля,
Топает дорогой Бора
Дедушка Илья.

Он умеет много гитик,
Знает сто наук,
Конформист[1] и аналитик,
Гуманистов[2] друг.

Пусть рисует галльский кочет
Схемы катастроф.
Мальчик плачет — кушать хочет
Или нездоров?

Скоро будешь в первом классе —
Напевает дед —
Подарю тебе я кляссер,
Лупу и пинцет.

У него ума палата,
Полон марок дом,
И помощники Халата[3]
Деду нипочем.

У Халата лбов довольно:
Сядут — полон стол,
Только лакомы уж больно —
Любят женский пол.

Пусть цитируют Давидов,
Лифшица и др.
Дед видал различных видов
Кудри черных дыр.

---

[1] В смысле конформного отображения.

[2] Увы, в смысле гуманитариев, рыцарей науки.

[3] Речь идет о нынешних помощниках, а не о тех временах, когда Х. защищал докторскую диссертацию.

***

...поутру
Линейкой нас не умирать учили.
Б. Пастернак

Когда прямой была дорога
И нам Вселенной был мехмат,
Мы все учились понемногу
У Кишкиной и Айзенштат.

Как рекрутов — сено, солома! —
Они гоняли вверх и вниз
Всех: от Арнольда до Яглома,
Всех Надь, всех Лен и всех Луиз,

На их зачетах, холодея,
Плыл будущий лауреат.
Несть эллина, несть иудея
Для Кишкиной и Айзенштат.

Тем, у кого мечта сломалась,
И тем, которых занесло,
Нам всем от этих двух досталось
Святое наше ремесло.

Позор тому, кто теша тушу,
Трясясь за кафедральный зад,
Спокойствие души нарушит
У Кишкиной и Айзенштат.

***

На Ветлужской зимней школе
Время медленно течет,
Перед ленинградской Олей
Парень формулы сечет.

Помнит перемены знака,
Знает вычет, знает чет...
Хорошо сечет, собака,
Убедительно сечет!

Есть ответ на все вопросы,
Жизнь прекрасна и легка
После рюмки кальвадоса
И стакана коньяка.

16.03.77

Рождественская песнь группы членов АН, имеющих также большую честь...

Нам не страшны опалы и невзгоды
(Ах, в этой жизни — Vita brevis),
Мы громогласно требуем свободы
Анджелы Дэвис, Анджелы Дэвис.

Крутые времена наступят скоро —
К инакомыслам наш век неласков,
Но мы потребуем отмены приговора
По делу басков, по делу басков.

Прав человеческих попрание вандалье
В стране доллара, в стране песеты.
Бывая там, мы это все видали
И прочитали потом в газетах.

Одни из нас уже обнобелились,
Другим охота обфордиться.
Но надобна начальственная милость,
Чтоб вволю ездить по заграницам.

И потому мы свято чтим законы,
Хоть армии Пагуошской солдаты.
Нам не нужны их доллары и кроны —
Устроят нас сертификаты.

Мы соль земли и двигатель прогресса
(Не в круге первом седьмая спица...),
Сам Михалков про нас напишет пьесу,
А не какой-то там Солженицын.

Нам наплевать на бронзы многопудье,
Нам наплевать на мраморную слизь...
Сочтемся выручкой — ведь мы свои же люди!
И на фиг нам абстрактный гуманизм!

***

Как начал таять снег окрест,
Он лыжи навострил в Триест...
Сошли снега, прошла капель,
Две Пасхи разменял апрель,
И к нам вернулся невредим
Ученый-гражданин Вадим
Припасть к земле СССР
Перед поездкой в ГДР,
И — низкой прозой говоря —
Взять справку у секретаря
Парткома в том, что В. Цытович
Иных кровей, чем Рабинович.

15.04.77

***

Очутившись в заграницe,
Встретил я ворону-птицу
И спросил ее в упор:
Чтоб потом не осрамиться
В белокаменной столице,
Где бы мог я подучиться?
Каркнул ворон: Ливермор!

Я толкую: Друг ворона,
Мне б узнать, что сделал Ионас?
И какой у них ток ионный
Сквозь разрядный прет зазор?
Где бы мне узнать законы
Поведенья электронов?
Каркнул ворон: Ливермор!

23 апреля 1978 г.
Из баллады Эдгара P.
В переводе Эдгара Q.
Под редакцией Леонгарда R.

Из незавершенного романа

I

Ноябрь. Зимянин, торжествуя,
К успехам пролагает путь.
И информат, навар почуя,
Уж не плетется как-нибудь.
Ликует чистая наука...
Но, Боже мой, какая скука
Глушить ночами люминал
И ждать, что выдаст терминал.
Вот прибежал дворовый Тишка,
Самарского опередив,
Он пьет, как конь, аперитив,
Лягая Маслова и Вишка[1].
Поскольку — говорю а parte —
Лишь до пупа ему Декарт[2].

II

.....
.....

Там спят, но не спина к спине...[3]
И видится в том странном сне
Собранье монстров и чудовищ.
Им корм — с копья, их дань — копью.
Все черной метки ждут от Пью,
Как в старом "Острове сокровищ".
Простое имя Ферапонт
Для них звучит "Железный Понт".

III

.....
.....

А, впрочем, что ему Гекуба?

---

[1] Ср.: Мнишка в "Борисе Годунове".
[2] См. статью П. С. Александрова в УМН.
[3] Стих Вознесенского.

Иль пограничник Карацуба?
Ведь лучше, ежели поэт
Возьмет возвышенный предмет[1].
Пусть возложив на струны пальцы,
Сказать по-старому — персты,
Достигнув горней высоты,
Где ждет его Аркадий Мальцев,
Иль разве меж его друзей
Двух, трех великих нет людей?

IV

Но все наследники Ивана
(Тот самый... Из Великих Лук)
Увы, не моего романа
Герои. Истина мне друг:
Чтоб петь птенцов гнезда Стеклова,
Нет слога у меня Белова[2],
И не пылает угль в груди
(Все это, может, впереди...),
А то б и я воспел Евгенья:
Как шепчет он "ужо тебе!"
И весь еврейский ка-ге-бе
За ним пускается в движенье.
Блестят от ваксы прохаря...
Ужасна поступь упыря![3]

V

Но это все воображенье,
Игра смятенного ума...
И не грозят бедняге Жене
Ни дом казенный, ни сума,
Ни койка жесткая в психушке.
Лишь надо ушки на макушке
Держать востро.....
.....
.....

---

[1] В черновике:
Был пет коллежский регистратор.
Так, значит, может и куратор
Ходить в героях... И Фуад,
Который сам тому не рад.

[2] См. "Наш современник", 1986, № 7, 8.

[3] В черновике: И расступаются моря!

VI

Со дней Очакова и Трои,
Тем боле в наши времена,
Мечтой об истинном герое
Была поэзия полна.
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
(Он сын Людмилы и Петра)
Вам познакомиться пора.
Сережа, добрый мой приятель,
Окончил некогда мехмат.
Я там учиться был бы рад,
Да не судил мне, знать, Создатель
Стать математики пажом —
Гулял я ниже этажом[1].

VII

Имел он дядю честных правил.
Тот был комплексный полубог[2].
Он всей наукой нашей правил
И лучше выдумать не мог.
Хотя вокруг героя дяди
Роились сволочи и бляди,
Но дядю в этом грех винить:
Порядок общий изменить
Не могут ни тюлень[3], ни плотник,
Ни академик, ни герой —
Нам задан действующий строй,
И в том строю ты лишь работник
На пайке иль на спецпайке,
В партере или на райке.

VIII

Перекрестясь, начнем ab ovo.
По-тюркски значит "он пришел" —
Фамилья дяди. Право слово,
Значенье это хорошо
И для войны и для совета,
Для дозволенья и для veto.

---

1 В старом здании на Моховой.
2 Мнение Жана Матье.
3 Поэтическая вольность. Надо морж, как в "Алисе".

А имя гордое Мстислав
Хранит настой варяжских трав.
Родись ему осьмью веками
Пораньше... Норовом медведь,
Привычно резал бы Редедь
Перед касожскими полками.
А после б слушал, медом пьян,
Как врет хвалу ему Боян[1].

IX

Всяк должен знать свои масштабы:
Битюг велик, а пони мал,
На передок владыки слабы —
Все это дядя понимал.
Мальчишкой став питомцем ЦАГИ,
Он твердо знал, зачем в овраге
Крутится вихрь, и как крыло
Себя в том вихре бы вело.
И вот ввели в Семью Большую[2] —
Попал в созвездие трех К[3].
Он президент... Он член ЦК...
Он одесную... Он ошую...
И как последний марафет —
Гусиный шаг и артлафет.

X

Пора. Перо покоя просит —
Я девять строф нарифмовал.
Ловлас Кларису поматросит
И бросит. Краток страсти шквал.
Так и поэт. Томясь по Музе,
Бренча на лире иль комузе,
Он ей клянется написать
Поэму песен в двадцать пять.
Но, проведя без сна две ночи
И потеряв товарный вид,
На Музу даже не глядит,

---

[1] Здесь автор смешивает зарезавшего Редедю Мстислава Владимировича Тмутороканского (1036) с Мстиславом Всеволодовичем Городенским, жившим 800 лет тому назад.

[2] Большая Семья — правящий клан у туземных племен.

[3] Маршак иль, может, Наровчатов
Вещал в торжественных стихах,
Что Русь стоит на трех китах —
Се: Келдыш, Королев, Курчатов!

И больше ничего не хочет.
А накропал едва-едва
От силы листик или два.

Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено...

Юбилейные ямбы

1534 — 1984

Имеет, кажется, в петличке орденок
За третье августа....
"Горе от ума"

...Проведали мы ныне,
Что вдовую Великую Княгиню
Елену Глинскую покрыл кобель Овчина,
Князь Телепнин, и в этом, знать, причина
Большой порухи в нашем государстве:
Коль баба задницей подмяла царство,
Так ею же подмахивать негоже
Бугаю-князю, будь он всех пригоже.
За то, что по́ял бабу не по чину,
Бояре порешили князь-Овчину.
Коль на Руси пошел Шемякин суд,
Тут никакие связи не спасут.

Прошло четыре века с половиной,
Господь, чай, отпустил Овчины вины...
Но, как любил цитировать сам Маркс,
Трагедья повторяется как фарс.
Сейчас кобель Овчинников, как суку,
Употребил Великую науку,
Которой Биохимия названье,
А изученье липосом — призванье.
Его звезда сильней трехзвездья Зельда:
С собой в загранку возит Блюменфельда
И лижет — при свидетеле! — Европу
Куда ни попадя, а чаще — в жопу,
В фирмовых джинсах, преклоня колена,
Как будто перед ним сама Елена
Прекрасная (не Глинская-задрыга!)
Иль даже Афродита-Каллипига.

И вот уж близок день, когда кобель
Дождется от варягов Prix Nobel.

"Но есть, есть Божий Суд,
наперсники разврата!"
(Стихи-то хороши, да веры маловато[1])
Овчину погубил Шемякин суд,
А у Овчинникова свой есть институт
Того же имени. Вот так-то, братцы!
По-прежнему желаете качаться,
Чей будет верх? Иль вспомнили вы стих,
Что бабушка сказала на двоих.
Не наводите тени на плетень —
Теперь у бабушки всегда лишь Юрьев день!

Что физику чужая эта рана?
Должно быть, разделяет нас мембрана
И пропускает боли и обиды,
Хотя лептоны вовсе не липиды.

***

Над всей страною ветер вольный,
Но Академия — не Смольный,
А власти филиал дочерний,
Форпост маститых против черни.

Март 1984

[1] К тому ж у нас юстицья глуховата:
"Жените молодца, хоть девка виновата".

***

По радиостанции вольной
Л. К. сотворяет кумир...
А мы со своей пепси-кольни
Смотрим на божий мир:

Дюны, смолистый воздух,
Берега полукольцо...
А ночью над нами звезды
Без пяти и шести концов.

И мы не бормочем всуе
Обоймы высоких слов...
Август в Нарве-Йыэсуе –
Слепой удачи улов!

13.VIII.79

Другу моему Кике Яглому

"Эс ист айне альте Гешихте..."

(Г. Гейне – немецкий поэт еврейской национальности)

Советская гражданочка
Еврейской национальности,
Как дура, пошла на свиданочку
К ученому по специальности.

А дело было в Эстонии –
Где замки и бани финские,
Где полдни полны истомою,
А ночи почти афинские.

И этот ученый прославленный
Еврейского происхождения
К бабенке, баней расслабленной,
Отнесся без снисхождения.

Его специальность узкая –
Локальные взаимодействия...

И после усушки[1] с утруской[2]
Он начал гнусные действия.

По старым рецептам Овидия,
Как во времена Марона[3],
Ее капитально обидел он,
Нарушив законы Арона[4],

Который учил математиков,
Что секс — это дело теории.
Но жизнь посрамила догматика!
Эс ист айне альте История...

Считалка перед 6 марта

Все живое из яйца,
У яйца — два конца.
А из этих двух концов —
Двое братьев-близнецов.
Этому брату —
В гости ходить,
Этому брату —
Нынче водить.

К столетию (50 + 50) Ягломов

Три дня в кабинете покойник лежал,
В военную форму одетый,
Дыханьем Чейн-Стокса он редко дышал,
Как нам сообщили газеты.

— Дыханье Чейн-Стокса, надежды уж нет, —
Профессор сказал недобитый.
В глазах загорелся у Берии свет,
Блеснула слеза у Никиты.

— Товарищ, не в силах я вахту держать, —
Булганин шепнул Маленкову, —
Боюсь, объегорит нас Берия, блядь,
И снова пойдет все по-новой.

---

[1] усушка — температура в финских банях доходит до 150°С.

[2] утруска — расстояние от бани до проруби взрослая голая женщина покрывает (по оценке Н. Брушлинской) за 15 — 17 скачков.

[3] Марон — фамилия римского поэта Вергилия.

[4] Арон — имя видного советского ученого Моисеева закона.

И маршалов тоже не видно вокруг,
Которых в боях уцелели.
Попробуй пойми, кто тут враг, а кто друг,
Кто первый дорвется до цели.

Вдруг Молотов взвизгнул и к телу приник —
У Вия поднялося веко,
Раздался пронзительный Берии крик —
Тут можно понять человека.

Напрасно Светлана ждет папу домой,
Ей скажут — она зарыдает.
Запомнит навек Кагановича вой,
И как Ворошилов икает.

Все флаги опущены, трубы трубят,
Последний парад наступает.
Раздавленные штабелями лежат,
Поэты стихи сочиняют.

А слезы текут всенародной рекой,
Охранники плачут, как дети.
И вот в обстановке нервозной такой
Ягломам пошел тридцать третий.

5 марта 1971

***

Несть Еллина, несть Иудея
Для Максвелла и Фарадея...

Ах, нет приема против лома
Ни у меня, ни у Яглома.

И вот уже Яглом стал беженцем,
Нет положенья хуже Кикова...
А мне, дай Бог, поехать в Лыково,
Что пораскинулось над Керженцем.

Там, где теченье турбулентное
Меняется на ламинарное,
Все радости — стационарные,
А горести — одномоментные.

Оттуда далеко до Бостона
И до прославленной Чарлз-Ривер,
Где вдруг увидишь в пенной гриве
Водой изъеденные остовы.

Пирог эпохи "Чаепития"...
...Во сне ладьи плывут по Керженцу,
За веру старую здесь держатся,
И доллары для них — событие.

Тут счета нет на СКВе,
Как в Богом проклятой Москве*.

6–7 марта 1992 г.

* Гоненье на Москву?
Не мил нам Новый Свет?**
Где ж лучше? Где нас нет. (*Грибоедов*)

** Зачем Колумб Америку открыл?*** (*Гумилев*) как раз 500 лет тому назад.

*** **Задача**: Найти три простых числа, произведение которых равно интервалу лет между первыми мартовскими идами, когда Европа потеряла Божественного Юлия, и вторыми мартовскими идами, когда Яглом покинул Европу ради дочери своей Юлии. Сумма же этих трех чисел равна сроку, отпущенному судьбой на нашу с ним дружбу.

(Ответ: 5, 11, 37)

***

Москва без Яглома —
Как кража без взлома...

Серенада М. Хайкину

Когда легковерен и молод я был,
В одном Заведенье я с Мишкой служил,
Я сек интегралы, ты чтой-то паял,
А выбился в люди варяг-адмирал.

Там было немало закрытых дверей,
За каждой сидел на еврее еврей.
Мы писем не слали по АИР МАИЛЬ,
И не было даже страны Израиль.

У Роммеля в войске нес службу Насер,
А мы укрепляли мощь ЭсЭсесер.
Забыв про родных, про девчонок, про сон,
Мы делали СОН, и мы сделали СОН.

Но тут в моей жизни случилася течь,
И мне припаяли, а ты начал сечь
Сперва интегралы, а после людей,
Но это уж песенка не для детей.

Прошло, пролетело с тех пор 30 лет,
Ты стал дирижером, я вышел поэт
И с грустью гляжу на седеющий ус,
А все вспоминаю тот дом у Миус,
Где нам выдавали селедку пайком,
И прямо из окон смотрелся райком.

***

В спектакле "Кабала Святош"
Король хорош, Бутон хорош;
Прелестна молодая дрожь,
Когда Арманде невтерпеж.
Риваль в колготках хороша –
И тело есть, и есть душа!
Но лучше всех Мольер – Кваша:
То в мыле, то едва дыша,
То по-пластунски, то круша,
От entre nous до антраша –
Все может! Вялых рифм лапшу
Смиренно я простить прошу –
Не так бы надо петь Квашу...
А лучше б так, начавши заново,
По замышлению Боянову:
Игорю слава и дружине!

13.11.81

К женитьбе академика Р. З. Сагдеева на внучке генерала Эйзенхауэра

Дорогой Ролик! Прими в качестве эпиталамы два лимерика:

There was a great Tartar deflowerer –
A namesake of the Polar explorer.
He was sharp like a knife,
And he took for a wife
The granddaughter of famous Warrior.

Знать, губа у Роальда не дура:
Взял жену по закону Ленгмюра!
Счет годов и детей
Без особых затей
Подогнал он под Чайльда – Ленгмюра.

$$\frac{57}{38}=\frac{3}{2}$$

10.01.90

Н. Я. Мандельштам

When all jump like a clown on the rope
And we have every month a new Pope
I am constantly ready
To do homage to my Lady
For her name and her motto is Hope.

In the East where all stories begin
There were Sadat and Begin.
For their joint enterprise
They received Nobel Prize
And dealt out it at Camp-David's inn.

31.XI.78

Е. Пастернаку

Все началось с кусочка фарта:
В стране, где проживают сарты,
Нас познакомил Сиг.

С тех пор мы отмахали мили...
Нас дьявольским дерьмом кормили
В корытах толстых книг.

Пусть эта тоненькая книжка
Тебе напомнит — как отрыжка —
Тот давний бешбармак,

Когда я уезжал в надежде,
Что встретит, чай, не по одежде
Московский Пастернак.

23 сентября 1942—1977

***

Дорогая Флора!
...В припадке ярости расцепил даже пушкинский стих, что по мнению всех профессионалов просто невозможно. Впрочем, "Тэм хуже для пушкинистов", как сказал бы покойник.

ДИАНЫ ГРУДЬ – не для Филипа,
Хотя б и был он трижды Данн!
И вот под выкрики и всхлипы
Ведут Филипа на майдан[1].

Девчонки прыгают заране,
Бормочет что-то капеллан,
И на большом телеэкране
Все могут видеть крупный план.

Сверкнула острая секира,
Слышны последние слова,
И отскочила у банкира –
Нет, милый друг, – не голова!

Такая казнь – другим наука[2],
И поделом злодею мука.

Семь дней на пике близ Виндзора
Торчит преступная елда...
Но полно. Краскою стыда
Покрылися ЛАНИТЫ ФЛОРЫ.

1987

Любимому Гдалю...

Зача́тому при Николае,
Обрезанному при Кере́нском
Прожить еще сто лет желаем
На радость гражданам вселенским:
Гори, гори твоя звезда,
До сорок пятого съезда́!
Виз лав, мит либ, авек амур
В наш общий праздник Йом-Кипур.

22 сентября 1977

[1] Tyburn.

[2] А то, глядишь, российский лапоть
Принцесс британских будет лапать.
Иль слух пройдет, что эфиоп
Дюшессу Йоркскую у...

***

Течет вода из крана,
Забытого заткнуть...
(Народное)

I

Почему канючит Петрушка?
Он хочет спать или пить?
Петрушка хочет игрушку,
Обещанную купить!

II

Давно уж заснул Бамбишка –
Считают отец и мать...
А Бамбик читает книжку,
Неуспетую днем дочитать.

III

О том, что с Танею станет,
Гадают отец и мать...
А наверху ждет Таня,
Забытая поцеловать.

Фазилю Искандеру

Дарю тебе духовный харч –
The book of March for 6th of March.

Прочти с улыбкой иронической
Убогий стих макаронический.

Пиша про то, про се, про это,
Учите физику, поэты!

Я начал ею заниматься,
Когда мне стукнуло 17,

И вот уже который год
Пасу в полях магнитных скот[1].

[1] Однажды Резерфорд вывел Капицу в свет. Какая-то герцогиня осведомилась о роде его занятий:
– Магнитные поля, – ответил ей Капица.
– И много скота пасется на ваших полях?
– Пока я один!

Держись подальше от скотин —
Your age is 3 × 17[1].

Пусть столько ж лет хранит Господь
Твой светлый ум, а также плоть!

6 марта 1980 г.

Стансы с энтро́пией[2]

Сочинение по случаю успешной защиты диссертации "К-системы и геодезические потоки на многообразиях постоянной отрицательной кривизны"

Жуя апельсины, ситро пия,
Помни: растет энтропия.

(Тюменские стихи)

Во времена питекантропьи
Никто не думал об энтропьи!

В те баснословные поры́,
Когда пророк сошел с горы,
Его синайские скрижали
Энтропии не содержали!

В своем кремлевском мизантропьи
Средь холуев и палачей
Покойник не любил врачей,
Жидов, поэтов и энтропий[3].

Давно истлел питекантроп,
И нет вождя, и нет пророка...
И хоть новейший синантроп
Опять бедой грозит с востока,

---

1 Читается: three times seventeen.

2 Из поэтических соображений мы ставим в этом слове провинциальное ударение.

3 То было в дни, когда Синаю
Еще не снилась Лена Вул.
Как видишь, я припоминаю
Истории древнюю главу...

Но все же нынче век иной:
Живут жиды, щебечут музы,
Полны газеты целиной[1],
Цветут початки кукурузы.

Да, мы вступили в новый век,
Век исторических свершений
И исторических решений
(О, где ты, прошлогодний снег?).

Век положительных героев
И отрицательных кривизн.
Железный век, когда мы строим —
Уж не впервые — коммунизм.

Век отпущения козлов
И совмещенья санузлов!

Век венерических тарелок
И баллистических ракет,
Век сателлитов, Белок, Стрелок,
Летающих промеж планет.

И не заткнуть нам эту течь,
"Но можно выгоду извлечь!"

Прошло совсем немного лет...
На удивленье всей Европе
(Читатель ждет уж рифмы... нет!)
Синай нашел поток энтропий.

Отныне и вовеки знаю:
Теперь энтропия течет
Не просто так, а по Синаю.
Синаю слава и почет!

---

[1] Но не одной лишь целине
Посвящены у нас газеты:
О том, как жарил Делоне
Для Александрова котлеты,
Была статейка в "Комсомолке".
И уж повсюду слышны толки,
Что в "Правде" ректор МГУ
(Иль ЖГУ — тут много споров!)
Расскажет миру о рагу,
Каким его кормил Егоров
После ученых разговоров.

***

I

Ура! Мы ломим. Гнутся шведы!
И в предвкушении победы
Плывут за синие моря
Советских три богатыря –
России гордость и краса!
И каждому по полчаса
Дано начальством на обзор.
Все молоды, как на подбор,
И с ними дядька Колмогор...

II

Арнольдов знаменатель мал!
Кириллов день еще не миновал...
Но Муза – ветреная и шальная –
Желает петь про одного Синая!
Как женщину ее легко понять:
Последняя задрипанная блядь
И та мечтает о коте-герое!
Хотя, казалось бы, героев трое,
Но много ль радости лежать в пыли
От непрерывно трущихся групп Ли?
И в монотонности путей планет
Для молодой бабенки смаку нет!
К чему в любви почти-периодичность?
Заманчивей и слаще эргодичность,
Когда без динамичного нажима
Любое место равнодостижимо...

III

На отсеченье голову отдам,
Что каждая из вероятных дам
Готова распластаться, как Даная,
Под золотым дождем идей Синая!

***

Грише с опозданием на две недели

"Все куплю", – сказало Злато,
"Все возьму", – сказал Булат.
Но не взять вам Баренблатта!
Неподкупен Баренблатт!

У него ума палата,
У него талантов клад.
Кто не знает Баренблатта?
Всем известен Баренблатт!

Есть Иуды, есть Пилаты...
Но побьюся об заклад:
Не сломить им Баренблатта,
Всех умоет Баренблатт!

Поведенье тонких трещин
И законы топких блат
Нам открыл провидец вещий
Многомудрый Баренблатт.

Слава — яркая заплата
На ширинке у скопца...
Только слава Баренблатта
И в упругости конца.

Груз богатый шоколата[1]
И мерзавцев сотни три
На счету у Баренблатта,
Так сказать, его Гран-при.

Отмотав свои пять дюжин,
Он устроил ля-фуршет,
Но на юбилейный ужин
Не успел, увы, поэт.

Я не был на пиру и не пил там вина
(Но это только моя вина),
Так что дальнейшее изложение
Есть плод убогого воображения.

При трех звездах и при третьей жене
Прибыл Герой на ударной волне.

Хотя в рассуждении Кальвадо́са
Нет ни Халата, ни Абрикоса.

А к сахару Бродского с чаем Высоцкого
Нет однофамильца супруги Троцкого.

Зато присутствует Шиш исполинский
Нашей механики — А. Ишлинский,
Избранник Юрмалы и туркменского Каспия...
Пора кончать. Ведь все же не Распе я.

24 июля 1987 г.

[1] Тонкий намек на сластолюбие юбиляра.

Б. Б.

Сыны Израиля и гои
Учились у Франсиско Гойи
Уменью разных мах нагое
Подмахиванье малевать.
Тебя гордыня обуяла
(Что нам Иордан, что нам Каяла),
Смотри ж, Капричиос Куньяла...
Нам в этом доме не бывать?

В Моздок
Ты больше не ездок?

Раз честным мы живем трудом,
То не про нас казенный дом.
Чать, я не тать, чать, я не вор...
Но есть, есть Бог и Прокурор!

1.04.77

***

There was a fair woman named Flora
Who was born in the Russia before a
General defloration
Of the great Russian nation
But remained pure and innocent Flora.

Два сонета

Жемчужина гельфандовой короны
Гельфанду шлет поклоны из Аглоны,
Где не в ходу ни доллары, ни кроны,
И пивом не торгуют на галлоны.
Хотя стихи расшатывали троны,
Великие к поэтам благосклонны:
Ведь если есть в бессмертие талоны —
Их раздают поэты, не бароны!
Как поучал Учитель из Кумрана:
В дни юбилея нужен рог барана.
Пусть Вам всего лишь семь десятков лет,

Поэты и бараны Сомерсета[1]
Учителю Новейшего Завета
Израилю Гельфанду шлют привет!

Скажи, зачем играть с Фортуной в прятки,
Иль жмурки, иль тянуть счастливый фант?
Когда так просто с помощью десятки,
Успешно заменяющей талант,
Взобраться без оглядки на запятки
Кареты славы, где сидит Гельфанд.
(Но Боже упаси меня от взятки —
И так в моих штанах короткий бант[2]...)

Мою десятку приобщила Мила.
Слышны слова: "Не суй свиное рыло
В добропорядочный кошерный ряд".
А судьи кто? Таких судей на мыло!
И все ж мне жаль, что то, что было, сплыло,
Хоть старые костры еще горят.

Сент. 1983

Октава

Куплеты в день рожденья Кати
Аглона ждет, как пашня тука.
Трике (мосье) тут был бы кстати —
Его пример другим наука...
Родня в великолепном платье,
И Блюменфельды в чистых брюках
Несут подарки на забаву.
А мы — мы дарим ей октаву.

Тебе исполнилось eleven.
Ликуют Левина и Левин!
Хоть наш талант убог и тих,
Зато октава — акростих!

7.08.84, Аглона

---

[1] Так называлась Аглона при прежнем режиме.
[2] Этим понятием я обязан М. А. Миллеру.

Элегия на вырост

Английский Бард любил игру сонета,
Наш Пушкин тоже дань ему отдал.
Нет лучше испытанья для поэта,
Егда поэт на ноги твердо стал.

Ласкаюсь я надеждой в это лето
Еще не раз поднять за Вас бокал,
Отрада наша, милая Анетта –
Наикраснейший детства идеал!
И я скажу в день Вашего трехлетья:
Да, обуха не переспорить плетью –
Одной цвести, другому время тлеть.
Все ж этот стих примите благосклонно,
Нас разделяет модуль Вавилона –
Едва ль успеете Вы мне составить треть.

Мне не дожить, боюсь, до девяноста,
А Вам тогда лишь стукнет тридцать лет.
Раз так – давай сегодня примем по сто!
Гори огнем и дама и валет!
Октавой закруглим подобье тоста –
Лавировать меж рифм уж мочи нет.
И в День Рождения Марголис Ани
Стишок прочтем из Вепхис Ткаосани:

Ах, родителям на горе
У меня губа не дура!
Знаю, тигровая шкура
Мне понадобится скоро.
Ваше кроличье манто
Мне теперь уже не то!

11.08.84

Баллада

Henry I Beauclerc died of an illness brought on by eating immoderately of the fish called lamprey...

(Kings of England)

Королева Британии тяжко больна
И смертельно Король занемог
Потому, что угрями объелась она,
А король обожрался миног.

Был ученым Король, но ужасная боль
Извела королевский живот.
Говорили врачи, чтоб не ел он харчи,
Если рот у харчей круглорот.

Но пока из Парижа врачей привезешь,
Им обоим настанет конец.
И Король посылает двенадцать вельмож
Знахарей привести во дворец.

От зари до зари старики знахари
Королевский готовят клистир.
Но клистир не помог от злосчастных миног —
Бедный Генрих покинул сей мир.

Королева Британьи осталась живой —
Отходили ее знахари.
Королева Британьи осталась вдовой —
Знать, миноги страшней, чем угри.

Подражание Смелякову

Высыхают губы
посредине лета...
Отойдем в сторонку,
сядем под забор.
Станция Аглона,
город Сомерсета...
Легкий, несерьезный
долгий разговор.

Мы еще не жили,
а уж напоролись,
А уж слышны крики:
— Граждане, атас!

И тебя увозит
в "москвиче" Марголис,
А меня на "ладе" —
молодой Протас.

Ты меня забыла
из-за ради денег...
Лаковые туфли,
а на каждой бант...
И с тобой гуляет
свежий академик —
Семидесьтилетний
Израиль Гельфанд.

Что же ты забыла,
как меня любила?
Как порой ласкала
пылко-горячо?
Лучше б гад Марголис
сдал тебя на мыло,
Чем с тобою спал бы
сука Скулачев!

Лучше б я уехал
в городишко Прейли,
Выучил б английский,
подал бы в ОВИР...
По утрам читал бы
"Тайм" иль "Бостон дейли",
А не Льва Толстого
про Войну и Мир.

Обо мне б писали,
как о Вере Зиман,
Я попал бы в список
для мадамы Вайль...

Пусть проходят лета,
пусть проходят зимы —
Ничего не надо,
никого не жаль.

Жаль собак бездомных
и себя немного...
Тех, кто нас обидел,
пусть Господь простит.
Выхожу, как тезка,
ночью на дорогу...

Только путь кремнистый
чтой-то не блестит!

Может, брать уроки
у Озерной школы?
И поэтов ихних
шпарить наизусть?
Только я ведь здешним
нашим невеселый...
Так что не нужна мне
импортная грусть.

Будь я помоложе,
так купил бы хутор,
Выбрал бы обои,
взялся бы за ум.
И ко мне б приехал
лучший в мире тьютор —
Послефестивальный
славный мистер Блюм.

Мы бы не тужили
в вёдро и ненастье,
Мы бы не искали
от добра добра...
Лишь бы ежедневно
слышать флейту Насти,
Каждый лад которой
лит из серебра.

На фига тогда нам
золотые трубы,
И кафе на Трубной —
тоже на фига:
Там официантки
говорят сквозь зубы,
И не отличишь там
друга от врага.

Здесь же с кардиналом
по-соседски Болес —
Только пожелай мы —
познакомит нас.
До свиданья, что ли,
гражданин Марголис?
Слышишь, до свиданья,
молодой Протас!

1 авг. 1985, Аглона (Сомерсета)

Сонет

За тридцать веков стихотворная мощь
Пошла и на то, и "про это".
Воспели поэты достоинства рощ,
Лугов, бездорожья, кюветов;
Писали про жен и невест, но про тещ
Пока не певали поэты!
Я ж тещу пою, хоть талант мой и тощ,
Как лошадь колхозная летом.

Итак, я — новатор! Я теще хвалу
Ввел в строгую форму сонета:
Мне теща — что Джунглям премудрый Балу,
Что нищему в храме — монета.
Без компаса штурману проще,
Чем мне в чистом поле без тещи.

Зять

***

Надо утром умываться,
А потом какао пить.
Табаком не баловаться,
Ассигнаций не копить.
Штоб в лице играла кровь,
Ешь натертую морковь!

Нерпы и тюлени в океане,
Ангелы в бездонной синеве,
Тигры и тигрессы в Индостане,
Аксолотли и сомы в Неве
Шлют тебе через меня поклоны.
Если можешь, будь к ним благосклонна!

Август 1952

***

Вспомним, Павловна, юные годы:
Наша юность — годы Ягоды,
Годы первых выстрелов в спину,
Нами понятых вполовину.

Погорюем... И вспомним снова
Времена наркома Ежова,
Златоуста Вышинского речи,
И прощания... каждый вечер.

Вспомним годы глухого безверья
И опричников маршала Берия,
И убийцы лицо рябое
С темной тенью над верхней губою.

А начнешь забывать про это —
Пусть напомнит судьба поэта.

1956

***

Слов вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
Рванулись к брюкам наши руки,
Но лишь пространство обрели.

Но будь покоен, бард: судьбе
Не забодать нас "волгой" черной —
Я наг, но перед КГБ
Я не склоню главы покорной.
Хотя "лягушкою" лежим,
Но сердцем мы для чести живы.
Мой друг, отчизне посвятим
Порывы, вздохи и позывы.

Днем чувствуешь себя на дне,
А по ночам бывает жутко,
Когда в кошмарном полусне
Куда-то уплывает "утка".

Наш скорбный труд не пропадет,
Хотя в тоске безмерной трудно
Понять: за кем пойдет народ?
За тем, кому послушно судно!

Осень 1982

***

Античный буян и нахал Ахиллес
Не смог бы пройти сквозь ненскрырчатый лес!
Долла́р бы убавил герою телес!
Растенья по тамошним склонам
Его б приучили к поклонам...
Юмс — этот кумир Подмосковья

Полил бы кустарники кровью.
Роланд знаменитый посеял бы рог,
Илья-богатырь бы остался без ног
В тех чащах и в тех лавровишнях!
Едва ли и Сам бы Всевышний
Там плоть бы свою проволок!

Август 1952

М. М. Литвинову

Папаша твой знавал Л. Красина,
Сестра якшалася с Корнеем,
А ты читай на сон Ж. Ра́сина,
Не путая его с Корнелем.

Употребивши Андромаху,
Не посылай Гофолью на фиг.

Чтение знаменитой Федры
Заменит тебе коньяки и тетры.

Британик напомнит леса Альбиона,
Где ты родился во время оно.

Удел Береники невинной,
Которую Тит молотил,
Напомнит судьбу Палестины
В плену сионистских аттилл.

Сейчас элитная Россия
Из-под полы берет Расина.

Даже те, кому книги
Взамен люминала,
Отвалят барыге
Три номинала.

Потому, как тонко заметил Расин,
С чтивом у нас дела — керосин!

От потрясенного Китая
До стен недвижного Кремля
Лишь "Новый мир" страна читает,
В котором "Малая земля".

18.02.78

Из письма К. Туманову[1]

Великий или Тихий переулок
Шлет улице Воровского привет!
Сестра моя! Ты — место для прогулок
Бессмертного Кота, его триконей след
Есть на тебе. В ночной тиши так гулок...
Однако что же мне писать: сонет,
Иль, затмевая байронову славу,
Нанизывать октаву на октаву?

Мила определенность мне в сонете:
Как ни крути — четырнадцать лишь строк.
В октаве — восемь. Но октавы эти
Берут числом. Не ведая дорог,
Не зная броду, попадая в сети
Случайных рифм (кто будет с рифмой строг?),
Несется по октавам мысль поэта...
Но я, не дожидаясь крика: Veto...

***

В эту зиму, с моим разноглазьем,
Я в стихах сочиняю роман.
Но Пегас опускается наземь:
Лед на крыльях, болтанка, туман...

14.02.1990

[1] См. письмо М. Л. Левина К. А. Туманову из Горького 25 сентября 1949 г.

***

Борис Иваныч Фоминых
Любил пощупать фам иных,
И прелести шершавых фам
Расписывал он по графам.
Но приходили фамы в ярость,
Узнав про эту фамильярность[1].

11 мая 1954

***

Весна. Трещат приличий скрепы.
Кипит и резво скачет кровь.
Неумолимо и свирепо
Влечет нас за город любовь!
И вот: Убежище Монрепо;
Хозяйка смотрит, как свекровь;
Нежнее пуху, слаще репы
Моя желанная Любовь...

К чему морали и манеры,
Когда есть будка из фанеры!
Чем будка хуже шалаша?
Роскошествуя и обмирая,
Летаем мы по сферам рая
И прилетаем, чуть дыша.

5 мая 1952, 6 утра

К событиям в Ватикане

А. Толстой, П. Катин[2]

На днях ансамбль песни и пляски МВД СССР с успехом выступал в Ватикане. Папа Римский восторженно аплодировал советским исполнителям... (Из газет, март 1988 г.)

Взбунтовалися кастраты,
Входят в папины палаты:

[1] См. письмо из Тюмени Н М Леонтович 11 мая 1954 г.

[2] Толстой Алексей – русский поэт и мистификатор, православный. Катин Папа – советский ученый и популяризатор, католик (судя по имени).

"Мы уж стали сиповаты,
Поючи кантаты!

А не хочешь ли для дива
Сам пропеть нам Casta diva?
Да не грубо, а пискливо,
Тонко особливо!"

Папа думает: "Оно-де
Было б даже не по моде
Щеголять мне в среднем роде!"
Шлет за де Мероде.

Де Мероде ж той порою,
С Хомейни готовясь к бою,
Занимался под горою
Папской пехтурою.

Подбегает Венерати:
"Вам, – кричит, – уж не до рати!
Там хотят, совсем не кстати,
Папу холощати!"

Затрубили тотчас трубы,
В войске вспыхнул жар сугубый,
Так и смотрят все, кому бы
Дать прикладом в зубы!

И хотя душой кастраты –
Робеспьеры и мараты,
Но когда вошли солдаты –
Стали трусоваты.

Де Мерод, тряся мудями,
Обзывает их блядями:
"Заменю вас медведями,
Сиречь эМВэДями!

Нам добыть певцов недолго:
По законам интердолга
Их пошлют Рифей и Волга
Быстро и надолго!

Чтобы усмирить засранцев,
Хватит в СССР "афганцев"
И для пенья, и для танцев
Без американцев!"

Ах! Поняв его буквально,
Венерати моментально
В телетайп континентальный
Текст сует фатальный...

Буря кончилась в стакане...
Наши пляшут в Ватикане,
Держат Папу на кукане
После брака в Кане.

Нет в помине деспотизма,
Казнокрадства, непотизма.
Всюду дух эсперантизма[1]
И патриотизма!

Кардиналы — право слово! —
Все в подрясниках лиловых
Вслух читают В. Белова
В церкви и в столовой.

Лишь бедняга Венерати,
Переставши ссати-срати,
Не встает уже с кровати —
Хочет помирати...

Casta diva воют менты.
Временному контингенту —
Папины аплодисменты
И по блоку "Кента"!

А кастраты с де Мероде
Распевают на свободе[2]
"Во саду ли, в огороде"
Или что-то вроде.

Бунт в Ватикане

Вы, конечно, уже знаете подробности встречи с папой...

(Из частного письма)

Поцелуй злодею ручку...

"Капитанская дочка"

Это было под городом Римом,
Где служил Вячеслав Иванов.
Там ходил он по церкви с кадилом,
Сочинивши латинских стихов.

И по случью его юбилея
Собрался там ученый синклит.

---

[1] От латинского корня, означающего "надежду".

[2] Вариант для клеветников России. Распевают по "Свободе".

Толковали гои и евреи,
У кого и про что где болит.

Мокрый дождик прошел Ватиканом,
Рая с Левой пошли по сморчки.
И заходят до Римского Папы,
Так как дома забыли очки.

Папа быстро с лежанки сорвался,
Он надел свой узорный пинжак,
Он напялил чугунную митру
И спустился скорей в Бельведер.

Леву с Раей он обнял рукою:
— Ах, зачем в Колизей вам гулять?..
Хоть я вам не духовный папаша,
Но придется туфлю целовать!

Лева гордо качнул головою,
Затряслася его борода:
— В Колизей, так и быть, — ни ногою,
А туфлю целовать — никогда!

Тут взыграла кровь польская в Папе,
С Раи ножки туфлю он сорвал
И, налив до краев бормотухой,
Осушил, как хрустальный бокал.

И узнали и в мире и в Риме,
Как обхезался Копелев Лев,
Потому что не знал по-латыни,
А по-польски умел лишь "пся крев"...

***

Высокие каблуки, высокие напряженные ноги,
расклешенная юбка... "Тут есть, что держать..."
Взглядом она уже была с ним на ты.

Григорий Бакланов (ЛГ, 14.02.73)[1]

Переходя на ты, оглянись по сторонам

Весна. На крышах хриплые коты
Уж переходят с кошками на ты.

Из хлева рвутся на луга скоты,
Чтоб перейти с скотинами на ты.

[1] О чем, прозаик, ты хлопочешь —
Давай мне мысль, какую хочешь.

И я, устав от зимней маяты,
От подоконников в чужих подъездах,
Хочу переходить с тобой на ты —
Я одурел, скользя, как швед над бездной.

И вот в лесу, где травка и цветы,
Иду на вы! Перехожу на ты!

1 марта 1973 г.

Шафаризада — 89

I

Я не мог бы умереть спокойно...
И. Шафаревич "Русофобия"

Спокойно умирай. Душок в твоем эссее
Твой прах переживет и тленья убежит...
Ты Памятью храним, доколь в Расее
Жить будет хоть единый жид.

II

O, mein lieber Augustin...

О господи, как совершенны[1]
Исканья высокой души:
От лемм Огюстена Коши
До схем Огюстена Кошена.

III

Еврейская мелодия на персидский мотив

Нет, я не Байрон, я другой...

Нет, Есенин, это не насмешка

Вновь открылася былая рана,
Пьяный бред туманит душу мне —
Шафаревича и Шаферана
Довелось увидеть мне во сне.

[1] Из отзыва Л. С. Понтрягина о научных трудах И. Р. Шафаревича.

Стая звезд падучих с небосклона...
Перебор тальянки при луне...
Нес один портрет Ален Делона[1],
А другой — Бориса Делоне[2].

Шли, слегка шатаясь, после пира —
Знать, опять попутал тезок бес...
И далекий предок их Шапиро
Улыбался благостно с небес.

***

Читая Пестеля в постели,
Предположите — хоть на миг,
Что отличился в жарком деле
Детю де Трасин ученик.

Что, окажись в полках столичных
Четырнадцатого декабря,
Он взял бы верх... Но нам-то лично,
По правде (русской) говоря,
Чего с того? Стальной нагрузкой
К свободам был бы дан парфорс...

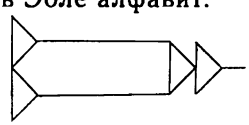
Всего ж забавней в Правде Русской
Шапитр секонд, сексьон каторз[3].

Тезисы доклада Вяч. Вс. Иванова

Не от эллина, а от праиудея
Первого алфавита идея.

Говорил семит семиту:
Худо вам без алфавиту.

И вот ученый прасемит
Придумал в Эбле алфавит:



а на самом деле —
ракету
с разделяющейся
боеголовкой.

[1] Кумир Игоря Шаферана.
[2] Учитель Игоря Шафаревича.
[3] Chapitre second, section catorze.

Семит семиту говорит –
Вези таблички в Угорит:

Горит под Эблою земля –
Идет Саргон Аккадский,
И с нашим городом он, бля,
Поступит по-солдатски[1].

Трудно жили человеки
В страшном двадцать третьем веке,

Хоть было их во время оно
В той Эбле четверть миллиона.

16.10.79

***

Поздний час. Дремлет кот.
Входит в комнату молчание.
А у нас n-й год
Длится первое свидание.

Под луной облака
Выполняют свои функции.
И от n к $n + k$
Перейдем мы по индукции.

Мне на ухо скажи
l признаний романтических,
А от l к $l + j$
Дорифмую механически.

Много лет, много зим
Получаю с песен ренту я.
Но теперь нужен ЗИМ –
Лейся ж, песня рекуррентная!

[1] Вариант прочтения клинописи: по-садатски.

Баллада

Я, синьора, ваш любимый —
Сын ученого раввина
Израиля в Сарагосе...
Гейне

Половина на половину
Растасованы, в общем ровно:
Короли — два юных раввина,
Дамы — две молодые поповны.

Вниз по Гауе плывут по речке
На байдарках через пороги.
Две поповны белы, как свечки,
Два раввина смуглы, как йоги.

Две палатки стоят у овина —
Синагога и церковь словно.
И в одной — молодые раввины,
А в другой — молодые поповны.

Наползают страсти лавиной,
Беспощадной смолой любовной,
А раввины еще невинны,
И условно невинны поповны.

Соловьи бьют колена неровно,
Ночь шаманит ухью совиной,
И поповна Светлана Петровна
Полюбила младого раввина.

Не заштопать службой церковной
Безрассудных поповен вины.
И динтойра за грех с поповной
Проклянет молодого раввина.

Но зачем нам идти с повинной?
И считать нашу страсть греховной?
Пей, гуляй, поповна с раввином!
Обнимайся с раввином поповна!

Есть для цимеса фарш морковный,
Сало есть, есть водка и вина...
И поповны на все готовны,
И согласны на все раввины!

Что Евангелье нам? Что Тора?
С разрешения нотариата
Обкоранит мулла нас скоро
По всем правилам шариата!

Июль 1973

Полубаллада в манере Гейне

It is the lark that sings so out of tune.
Rom. and Jul. III, 5

Круг пророков ныне скуден...
Государственные ж люди
(Госжиды или Staatsjuden)
Знают все, что есть и будет.

Их устами золотыми
(Хоть протезы из фарфора)
Изроняется то имя,
Что достойно стать членкором.

Три звезды (дай Бог навечно!)
На груди такого ида
Козырней шестиконечной
Голубой звезды Давида.

(Кстати, сын один Давида,
Но не тезка Соломона,
Называл прилюдно гнидой
Госжида во время оно...)

Все течет. Sic transit gloria
Mundi. Льва сменил шакал...
А останется ль в истории
Кто алкал и что лакал?

Даже жаворонка пенье,
Не имевшее идей,
Заимело направленье:
Стало славить гослюдей,

И при этом очень пылко.
В заключение
Посылка:

Государственные бляди
(Госпичуги иль Staatshuren)
Не останутся в накладе
При любой номенклатуре.

"А ларчик просто открывался". (*Крылов*)

30.XII.84

P.S. У Шекспира еще есть:
Some say the lark and loathed toad change eyes (Rom. and Jul. III, 5).
Но я давно не видел Жаботинского, а Ларкина вообще не наблюдал в натуре...

Ире

Когда бы был я Афанасий
(8 х 7),
Который Тютчев или Фет,
Ну, словом, истинный поэт.
Как Пушкин в Болдинскую осень
(7 х 8),
Я сочинил бы триолет...
Увы, ушли младые лета.
Триолета
Уж мне теперь не потянуть.
Я сам просрочен, словно вексель,
(Йоксель–моксель!)
Прочти, порви и позабудь.

22.05.90

Вино и Вода

(Вольный перевод из Честертона)

Старый Ной держал страусих вместо кур — во всем он любил масштаб:
Он за завтраком яйца половником ел, усевшись под баобаб,
В обед он ел уху из китов и с кашей слоновий бок,
Но больше всех слонов и китов был винный его погребок.
С женою за стол в ковчеге садясь, Ной всегда говорил одно:
"Мне все равно, куда льется вода, — только бы не в вино".

Водопадом хлынул сверху поток через райских скал края,
Вот-вот он смоет звезды прочь, как смывает пену струя;
Все семь небес с ревом ринулись вниз, чтоб глотки ада залить;
А Ной прищурил глаз и сказал: "Начало моросить.
Альпы, Урал, Пиренеи, Олимп — теперь уже моря дно,
Но мне все равно, куда льется вода, — только бы не в вино".

Старый Ной грешил, и грешили мы, и вот допились до беды —
Разгневался Бог и проклял нас страшным Проклятьем Воды:
"Будет течь вместо крови в венах вода, и с водою придет к вам страх;
Будет литься вода в речах и статьях, в романах и стихах;
Все зальется водой: мозги мудрецов, школы, театры, кино..."
Но мне все равно, куда льется вода, — только бы не в вино!

15 января 1954 г.

Грузинская песня дежурного руководителя Союза писателей СССР

Право первого исполнения
принадлежит Л. З. Копелеву.
М. Л. 9.04.80

Мы еще не пили, а уж нас разводят,
Утром спозаранку ставят на дозор:
Я стою у сквера, мой напарник ходит
От угла до будки, за которой двор.

Чисто бескорыстно мы, как Дон Кихоты,
Бодро отрешились от житейских благ
И стоим на стреме по своей охоте,
Чтобы незаметно не пробрался враг.

По Большой Грузинской движется мужчина —
Рослый, импозантный, с тростию в руке.
За зеленой дверью у него малина
В двухэтажном с гербом том особняке.

Там в тепле и холе час сидит и боле,
Пьет заморский виски, хавает икру...
Пьет и не додует, как здесь холодует
На ветру коллега по перу.

Вижу Дульсинею... Я бы рад за нею...
Раз бы оттолкнуться — и опять как штык!
Но у руководства с этим неудобства:
По подъездам шворить я уже отвык.

Я ходил в альфонсах у одной Альдонсы.
В шелковой пижаме спал на канапе...
Оставаясь в доску, поднабрался лоску —
Сделался начальством в самом Се-Се-Пе.

А ведь было время: с гадом бородастым
Обмывал портвейном целые штаны,
Что мне подарила мама Осповата:
Им штаны для друга — будто хны!

Вместе со штанами — томик Сервантеса
Надписал мне Лева Осповат.
Так я испанистом стал для интереса.
Испанист — но партии солдат!

Подражание Е. А. Долматовскому

"Французская булка"

Чтобы в высшей инстанции
не казниться виною,
я поехал во Францию
с ней... с законной женою!

Лучше ездить с нагрузкою
по веселой Европе,
чем за блядь, за французскую,
заработать по жопе.

А французские улочки
и бульвары в каштанах
забастовкою уличных
нас встречают нежданно!

В пионерском движении
мы с тобой вырастали,
с детских лет уважение
к забастовкам питали.

И с супругою русскою
ночью... это... не буду,
потому как сочувствую
я французскому люду!

Продержу свое тело я
в одинокой постели, —
ничего не поделаешь,
раз бастуют бордели.

Только рано ты празднуешь,
второпях забывая
иль не зная, что разные
забастовки бывают.

Этой схватки участницы —
не трудяги панелей,
а буржуйские частницы
и хозяйки борделей!

Положение скользкое.
Ну, Европа, смотри же, —
сплю я с бабой московскою,
как штрейкбрехер в Париже!

1966 г.

Песенка тридцатых годов

б. з/к ЛЗК от сочинителя
9.IV.1978

Очень много зека в коллективе –
От шестерок до членов ЦК.
Можно быть сталинистом ретивым
И сидеть от звонка до звонка.

Как же так: член ЦК,
А потом вдруг зека?
Почему, растолкуйте вы мне?
Потому, что у нас
Новый правящий класс
В нашей славной бесправной стране!

По баракам, шарагам и зонам
Строим мы сообща светлый мир.
Можно быть знаменитым ученым
И ходить с вертухаем в сортир.

Как же так: светлый мир,
Вертухай и сортир,
Почему, растолкуйте вы мне?
Потому, что у нас
Новый правящий класс
В нашей славной бесправной стране.

А в поэзьях и прозах журналов
Лебедою цветет лабуда.
Тароватые жополизалы
Ходят нынче в Героях Труда.

Как же так: лабуда
И Герои Труда...
Почему, растолкуйте вы мне?
Потому, что у нас
Новый правящий класс[1]
В нашей славной бесправной стране!

[1] Как напишет Джила́с.

КОММЕНТАРИИ К СТИХАМ

К стр. 307

См. левинские воспоминания о Пастернаке.

К стр. 309

Написано в связи со стихотворением Н. Н. Асеева "Песнь о Гарсия Лорке" (1956 – 1958), в котором есть строки:

Почему ты, Испания, в небо смотрела,
Когда Гарсия Лорку увели для расстрела?
Андалузия знала, и Валенсия знала, –
Что ж земля под ногами убийц не стонала?!
...Увели, обманув, к апельсиновой роще...
...А жандармы сидели, лимонад попивая
И слова его песен про себя напевая.

См.: Н. Н. Асеев. Стихотворения и поэмы. Л., 1967. С. 371.

К стр. 312

Эпиграф – эпиграмма С. А. Соболевского на Н. А. и К. А. Полевых (1827 или 1828). См.: Русская эпиграмма (XVIII – начало XX века). Л., 1988. С. 307.

К стр. 313

Написано в связи с полемикой о современной стихотворной пародии между Я. Белинским и Б. Сарновым (Вопросы литературы. 1985. № 6. С. 162–179. статьи "Плоды непонимания" и "О плохих стихах и хороших пародиях"). Статья Б. Сарнова завершается пространным пассажем о том, что "как только писатель Иванов обретает свое лицо, ... он тотчас становится в нашем сознании уже не Ивановым, а Ивановым..." (с. 179). В полемике упоминается также стихотворение Я. Белинского "Ночь", в котором есть строчка: "Удачи спит удод" (отсюда "удодные чудачества").

К стр. 314

Написано, в частности, в связи со стихотворением Евгения Храмова "Отчизна в закатах парчовых..." (Е. Л. Храмов. Осеннее равноденствие. М., 1973. С. 35–36), где есть строки:

Возьми ты меня в Пугачевы
С веселою саблей в руках!..
...А я бы там был идеолог
Движенья трудящихся масс!..
...Я все разъяснил бы толково,
С историей классов знаком...
Чтоб вместе со мною в столицу
С победой вошел Емельян! и т. п.

К стр. 314

Написано на мотив одной из "Песен нашего двора":

С деревьев листья облетали,
Пришла осенняя пора.
Ребят всех в армию забрали –
хулиганов, –
Настала очередь моя –
главаря.

Послевоенная песенка была популярна в Москве, пока Михаил Львович был в ссылке, – он услышал ее впервые в день высылки А. И. Солженицына (13.02.74). Левину понравилась структура, позволяющая сочетать поэзию с откровенной бранью.

К стр. 317

Эпиграф – из Саши Черного, стихотворение "Два желания" (1909). См.: Саша Черный. Стихотворения. Л., 1960. С. 9.

К стр. 318

Посвящено П. Л. Капице. "Льва полуживого" – Л. Д. Ландау.

К стр. 319

О "странном скоте" см. авторское примечание на с. 341.

К стр. 321

К 500-му рытовскому семинару по "Статистической радиофизике". На эти семинары собирались специалисты со всей страны, выступать на них считалось большой честью. Проходили они обычно в ФИАНе.

К стр. 322

Подражание "Канцоне" О. Мандельштама (май 1931). Посвящено А. Д. Сахарову.

"Деревушка-гнида" – д. Щербинки, на месте которой вырос микрорайон, знаменитый теперь ссыльной квартирой А. Д. Сахарова.

К стр. 323

НИРФИ – Научно-исследовательский радиофизический институт в Нижнем Новгороде (Горьком).

К стр. 324

Посвящено Илье Михайловичу Лифшицу. Халат – директор ИТФ АН И. М. Халатников. Подражание стихотворению А. К. Толстого "Илья Муромец". См.: Сочинения гр. А. К. Толстого. С.-П.: Изд. Маркса, 1907. Т. 1. С. 304–306.

"Черные дыры" – гравитационные коллапсы крупных звезд.

К стр. 325

Зоя Михайловна Кишкина, Наталия Давыдовна Айзенштат – преподаватели математического анализа на мехмате МГУ.

Эпиграф из стихотворения Б. Пастернака "Брюсову" (1923).

К стр. 325

Зимние школы по "Нелинейным колебаниям и волнам в распределенных системах" устраивались по нечетным годам в марте в "Лесном курорте" на берегу Ветлуги. Михаил Львович был на них непременным и самым дисциплинированным "школьником".

К стр. 326

Vita brevis (лат.) – жизнь коротка. Из афоризма Гиппократа "Vita brevis, ars longa" – жизнь коротка, наука обширна.

К стр. 327
Ливермор – крупный научный центр в США.

К стр. 332
"Вот начало..." – раскавыченная цитата из предисловия к первому изданию первой главы "Евгения Онегина" (1825).

К стр. 334
Л. К. (а в дальнейшем Л. З. К., "копельмейстер") – Лев Зиновьевич Копелев – известный германист, диссидент, друг Левина.

К стр. 335
"Считалка" – для однояйцовых близнецов Ягломов (Акива Моисеевич и Исаак Моисеевич).

К стр. 336
Надпись на книге Максвелла Андерсона по случаю безвозвратного отъезда друга-физика Акивы Моисеевича Яглома в заморские края. В обиходе его звали Кикой.

К стр. 337
С М. С. Хайкиным Левин работал еще в старом ФИАНе.
СОН – станция орудийной наводки (радиолокационная).

К стр. 338
Роальд Сагдеев – известный физик, ученик М. А. Леонтовича. Закон Ленгмюра (или закон трех вторых) связывает напряжение U и ток I в вакуумном диоде в режиме развитого пространственного заряда: $I \sim U^{3/2}$.

К стр. 339
Надпись на книге "333 Limerics", подаренной Н. Я. Мандельштам.

К стр. 339
Сиг – Сигурд Шмидт (сын Отто Юльевича).

К стр. 340
Отклик на великосветский скандал, связанный с "посягательством на честь" принцессы Дианы. Журнал с описанием этого скандала прислала М. Л. Левину Флора Павловна Ясиновская (Литвинова) во время своей поездки в Англию в 1987 г.

К стр. 341
Детей Михаила Львовича и Натальи Михайловны зовут: Татьяна, Андрей и Петр. В семье старшую дочь звали Таха. За средним прочно закрепилось имя Бамбик, произведенное от латинского названия древесной украинской лягушки.

К стр. 341
Надпись на книге "Physics for Poets" by Robert H. March, McGraw-Hill, 1978.

К стр. 342
Посвящено Я. Синаю и его жене Лене Вул.

К стр. 344
Посвящено Г. И. Баренблатту – физику, механику, математику.
А. Ю. Ишлинский – механик, был депутатом ВС СССР от Юрмалы и Туркмении.
Распе – Рудольф Эрих Распе (1737–1794), немецкий писатель, автор "Приключений барона Мюнхгаузена".

К стр. 346
Б. Б. – Борис Биргер – художник.

К стр. 346
"Жемчужина гельфандовой короны" – Л. Б. Марголис, биофизик.

К стр. 352
Акростихи – Н. М. Леонтович (будущей жене).

К стр. 353
Надпись на книге стихов П. Васильева, подаренной Ф. П. Ясиновской (Литвиновой).

К стр. 353
Написано в день смерти Л. Брежнева в больнице Склифосовского, после того как Левина сбила черная "Волга".
"Лягушка" – медицинский жаргон.

К стр. 354
Акростих – Андрею Леонтовичу (12-летнему шурину).

К стр. 356
Б. И. Фоминых – коллега Михаила Львовича по Тюменскому пединституту.

К стр. 356
Здесь "Любовь" – не чувство с большой буквы, а имя женщины.

К стр. 360
Огюстен Коши – великий французский математик.
Огюстен Кошен – историк Великой Французской революции, автор теории "малого народа", на которую ссылается И. Р. Шафаревич в "Русофобии".

К стр. 361
Глава вторая "Русской Правды" П. И. Пестеля – "О племенах, Россию населяющих"; § 14 – "Народ Еврейскій" (См.: Восстание декабристов. Документы. Т. VII. М., 1958. С. 146–148).

К стр. 368
Отсылка к книге Милована Джиласа "Новый класс".

СОРОКОУД[1]

Сразу же после появления письма сорока действительных членов АН я сочинил поэмку "Сорокоуд". В ней было куда больше злости, чем таланта, и Андрею, как мне показалось, понравилось только примечание к названию... Отдавая Андрею тетрадку с "Сорокоудом", я похвастался маленьким открытием: на листке календаря от 29 августа 1973 г. отмечена юбилейная дата Ульриха фон Гуттена, одного из авторов "Писем темных людей"[2].

М. Левин (из "Прогулок с Пушкиным ")

Сегодня я — гений.

Блок

I

Что хуже: сорок одинов
Или один сорок?

Детский стишок

Шесть сороков[3]
академиков
Числятся в списках АН.
Шесть сороков
академиков,
Каждый — действительный член!
Сорок отборный,
проверенный
Сформировал Президент.
"Выпад, — сказал, —
злонамеренный
Сделал сочлен-диссидент.
Господу богу помолимся,
Старый обряд сотворим..."

---

[1] Уд — член (рука, нога и т. д.). Например, в "Повести Временных Лет" о выборе Владимиром веры: "Но се ему бе нелюбо, обрезанье удов..."

[2] "Письмо сорока" опубликовано в "Правде" 29 августа 1973 г.

[3] Сорок — единица счета на Руси. Обычна при подсчете мехов ("мягкой рухляди") и шкур.

II

Девиця бо погубляет красу свою бляднею,
а мужъ свое мужество татбою.

Даниил Заточник

Дверь затвори,
В зеркало посмотри,
И увидишь не 73,
А 37...
Темь, темь...

Кто помнит прошлогодний снег?
Собралось сорок человек.

В старинном здании
Было заседание.
Получив задание,
Обсудили –
Постановили:
"Доводим мы до сведенья
Общественности всей:
Порочащие сведенья
Распространял злодей!
Он от науки отошел,
И нынче до того дошел,

Что поднял руку на наши, на...
Знай это общественность и страна!"

Написали.
Подписали:
Впереди –
Четыре Б,
Позади –
Один на Э.

А где-то на К – сам Президент.
Пора задуматься, диссидент!

III

Поднято ярости масс – 3.

Ильф и Петров

Подняли страну,
Пустили волну!

Широкая общественность
Сработала в момент:

"Пусть понесет ответственность
Преступный диссидент!"
Воскликнули писатели:
"Он наше сало ест!"
Им вторят председатели
Колхозов и Обществ.
Руситы чешут в бороде:
"Насчет сала
Веры мало –
Уж больно сомнительны эти А. Д.
Абрам Давыдыч Сейхеров –
Известный сионист!
Абрам Давыдыч Сейхеров –
Троцкист и маоист!"
От души, не по приказу
Врежем гаду промеж глаз!
Лучше сорок раз по разу,
Чем ни разу сорок раз!
"Не бяшет ли, братие, – философы пышут, –
Этот вопрос заострить колом?"
...А композиторы оперу пишут
В новой манере – открытым письмом...

IV

И уды его вострепеша вси...
"Прение Живота со Смертию"

И в Академьи де Сиянс
Начался неоподписанс...
Кому до феньки,
Кому – тоска...
Ведь это ж деньги –
Полкуска!
Для ради будущих сирот и вдов...
Чем дальше в лес,
Тем больше дров!
...А может, впрямь попутал бес
Четверку Б
И одного в конце на Э?
"Что, коллега, ты не весел?
Что, дружок, оторопел?
Что ты голову повесил?
Аль Андрюху пожалел?
Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!

Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!"

Лишь тот может быть елевой[1],
Кто в ногу идет с державой.
Кто там шагает левой?
Правой!
Правой!
Правой!
Уж лучше быть, чем просто слыть...
Нам путь статьею ТАСС указан:
Кто пожелал ученым быть —
Тот патриотом быть обязан!

"...в квартал на потреотизм..."
Салтыков-Щедрин

18 сентября 1973 г. (см. эпиграф)

[1] Елева — молодой ученый (см. "Письмовник" Курганова).

СЦЕНЫ ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН

По Томасу Мэлори

Действующие лица

КОРОЛЬ АРТУР
КОРОЛЕВА ГВИНЕВЕРА
СЭР ЛАНСЕЛОТ ОЗЕРНЫЙ
СЭР ГЭВЕЙН
СЭР КЭЙ СЕНЕШАЛЬ
СЭР ЭГРЕВЕЙН
ЯНКЕЛЬ БЕН-АКИБА
МЕРЛИН
Менестрель Элиот, рыцари, карлик

Рыцари Круглого Стола

Сцена I

ЯНКЕЛЬ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУР

Круглый Стол в Камелоте. Король Артур, королева Гвиневера, Мерлин, сэр Гэвейн, сэр Ланселот, сэр Кэй Сенешаль и другие рыцари Круглого Стола.

ГЭВЕЙН

Так я скакал без роздыху три дня
За чашей Грааля, плывшей предо мной.
И ночью продолжал я трудный подвиг —
Ведь мне светило небывалым светом
То облачко, которым был укутан
Божественный сосуд — посланец неба.
На третью ночь я доскакал до края
Твоих земель коронных, сэр Артур,
И на обрыве белых Дуврских скал
Мой верный конь стал на дыбы, и я
Увидел вдалеке французский берег,
К которому в небесной вышине
Неслась, подобно сказочной ладье,
Под парусом из алого батиста,
Святого Грааля Чаша. И услышал
Я тихий голос: "Рыцарь, в понедельник
Вернется чаша в ваше королевство
И всю неделю будет здесь гостить,
Чтоб рыцари Артурова Двора
Себя на добродетель испытали".

АРТУР

Сегодня день субботний. Для молитв
У нас в запасе есть еще две ночи,
А в понедельник с утренним лучом
Мы соберемся около капеллы,
Которую построил мой отец
Во искупление грехов постыдных,
Что в буйной юности он совершил.
Поедут все. Лишь сэру Ланселоту,
Чьи раны от недавних битв свежи,
Повелеваю оставаться дома.

ЛАНСЕЛОТ

Король Артур и братья по Столу!
Желаю вам успеха в авантюре,
Которая начнется в понедельник.
А я, как полузагнанный медведь,
Зализывающий в берлоге раны,
Отправлюсь для леченья на свою
Озерную, наследственную мызу.
Но я вернусь в наш славный Камелот,
Чтоб пищу дать завистливому слуху.
До скорого свиданья, сэр Артур.
Храни Господь тебя и королеву!

(Уходит.)

ГВИНЕВЕРА

Что это? Стук копыт и звон оружья...
Кого еще несет сегодня к нам?

ГЭВЕЙН

Должно быть, это сарацинский рыцарь,
Сэр Паломид — мой благородный пленник.

ГВИНЕВЕРА

Как пленник? Сэр Гэвейн, ведь Паломид —
Давно уж рыцарь Круглого Стола.

ГЭВЕЙН

Да, только не по-рыцарски повел он
Себя у Дуврских скал. Когда поводья
Я опустил и, задремав, доверил
Дороги выбор верному коню,
Прервали сон мой вопли и стенанья.
И что же вижу? Рыцарь Паломид
И с ним четыре подлых арафата,
Как мерзкие стервятники терзают
Какого-то паломника. Вскипел я.
Подумать только: пять на одного!
По нашему старинному обычью
Я закричал им громко: защищайтесь!
Потом коня пришпорил и с налету,
Пока сэр Паломид искал копье,
Снес головы четверке арафатов
Своим мечом, а во втором заходе
Я выбил из седла сэр-Паломида,
Но жизнь ему оставил, с тем чтоб он
Явился бы с повинной головою
И с безоружной жертвою своей
К тебе, Король, на суд иль на прощенье.

АРТУР

Кого ж они терзали?

ГЭВЕЙН

Чужестранца
С звездой шестиконечной на одежде.

(Стук в дверь.)

АРТУР

Пускай войдет один лишь чужеземец.
А Паломида отвести к шатру
Племянника, и пусть сам сэр Гэвейн
Его судьбу решит как победитель
Сражения у белых Дуврских скал.

(Входит чужестранец, кланяется Королю, Королеве и рыцарям.)

АРТУР

Как звать тебя и из каких ты мест?

ЧУЖЕЗЕМЕЦ

Моей страны давно уж нет в помине,
Как нет в помине и казны богатой,
Которую оставил дед отцу.
Отец мой звался, Государь, Акибой,
Я ж — Янкель, бен-Акиба по отцу.

АРТУР

Таких имен не слыхивал я сроду!
Как говоришь ты: Янкель? Ну и ну.
Но за столом никто у нас не лишний
И по заслугам каждый награжден.

КЭЙ

Вот именно, Король, что по заслугам...

АРТУР

Сэр Сенешаль, заслуги взвесим позже.
Скажи, чтоб слуги принесли бедняге
Чего-нибудь поесть.

КЭЙ

Лови, сэр Янкель,
Кость окорока, что моя собака
По лени не успела обглодать.

ЯНКЕЛЬ

Прости меня, сэр Рыцарь, но по вере
Такое кушанье не для меня.

КЭЙ

Тогда, сэр Янкель-бен, сиди голодный!
По вашей вере нет у нас еды.

МЕРЛИН

Не презирай младого чужестранца
И не позорь устава Камелота!
Вам имя Янкель кажется потешным...
Так слушайте пророчество мое!
Пройдут века. Косматая звезда
Еще не раз вернется к нам из дали
Небесных сфер, откуда шлет ее
К земным пределам Божия Рука.
И позабудут люди имена
Всех паладинов Короля Артура.
Бан, Багдемагус, Саграмур, Балан,
Неровенс, Дегревант — те имена,
Которые сегодня без запинки
Вам перечислят свинопас и пекарь,
Потомки наши будут полагать
Названьями чудовищ допотопных,
Чьи кости иногда в земле находят
Строители соборов и дворцов.
Как говорят: sic transit gloria mundi...
А имя Янкель — Яков (он же Джемс) —
Звездой хвостатой поплывет над миром.
На севере соседнем это имя
Дадут шести шотландским королям.
Король Британии Иаков Первый
Подарит нам Священное Писанье
На языке родном. Второй Иаков
За веру потеряет свой престол.
Оплотом главным этой веры будут
Иберии гористой государи,
И их военный клич "Сант-Янкель-Яго!"
Мир не забудет до скончанья дней.
Наступит время, и Британья станет
Владычицей морей, и в океанах
Ее владенья дивно приумножит
Вожатый кораблей сэр Янкель Кук.
Потом пройдет совсем немного лет,
И пар, который крышку поднимает
В котле с похлебкою на очаге,
Могучим властелином обернется.
А сделает его владыкой мира
Кудесник и искусник Янкель Уатт!
Затем наступит время приручены
Небесных сил, что в молниях таятся,
И наш островитянин Янкель Максвелл
Все свойства этих сил опишет враз.
Потом волшебники с цепи сорвутся
И сделают чудовищную бомбу...

АРТУР

Мне Мерлин — друг, но истина дороже!
Такого даже слова нет у нас.
В начале ж — как Писание нас учит —
Должно быть слово.

МЕРЛИН

Извини меня,
Но я не властен над своим искусством
Грядущие событья прозревать...
За гулом непонятных, темных слов —
Атомный век, век водородных бомб —
Слышна мне поступь лютого дракона,
Чьи серой огнедышащие пасти
Вот-вот слизнут людей с лица земли.
И этого дракона сотворят
Не злые силы ада, а такие ж,
Как все вы здесь, рожденные от женщин,
Простые люди. И средь них я вижу
Другого Янкеля, единоверца
Сегодняшнего гостя твоего.
Но вместо голубой звезды Давида
К нему пришпилены три золотых звезды.

ГВИНЕВЕРА

О, Господи, спаси нас и помилуй!

МЕРЛИН

А в остальном тот Янкель — добрый малый, —
Любитель виршей и ходок по бабам,
Как сэр Гэвейн, иль Сенешаль сэр Кэй,
Хоть рыцарского, вправду, мало в нем.

ГВИНЕВЕРА

Ужели рыцарей не станет в мире?

МЕРЛИН

Печалиться не надо, Королева,
Как раз о них хотел я говорить,
Когда Артур прервал мое виденье.
Я далеко на западе, за морем
Увидел в том же будущем страну,
Где перемешаны народы мира,
Но говорят на нашем языке.
И главный рыцарь той страны заморской —
Боец бесстрашный сэр Рем Янкелевич —
Защитник дам и юных демозелей,
Томящихся в мучительном плену
У страфондилов и гипербореев,
Где, кстати, обитает дивный рыцарь,
Которому нет равных в их породе,
Загадочным и странным притяженьем
Он манит дух мой через тьму веков.
Ведь до него все рыцари сражались
Друг с другом, или с дикими зверями,
Или с колдуньей, иль с самим драконом,
Но каждый раз противником их был
Иль ОН, или ОНА, или ОНО,
В конце концов имеющее облик.
А этот рыцарь в битве победит
Бесформенный и беззаконный Хаос!

АРТУР

Он стал бы украшением Стола!
Как звать его, скажи?

МЕРЛИН

Конечно, Яков!
Ведь речь моя сегодня лишь о тезках
Спасенного Гэвейном иноземца.

АРТУР

А как нам отличить его от прочих,
Которыми наполнен твой рассказ?

МЭРЛИН

На шлеме у него три черных пряди
Из чистой шерсти в честь прекрасной дамы,
Которой он свой подвиг посвятит.
А на шитье его изображенье
Горы священной, где Господь когда-то
Нам Десять Заповедей даровал.

(Долгое молчанье, все смотрят на чужеземца.)

ГВИНЕВЕРА

Прими, сэр Янкель, из моих ладоней
Немного хлеба и немного меда —
Их разрешает есть любая вера.

ЯНКЕЛЬ

Спасибо, Королева Гвиневера,
Пусть Небо ниспошлет тебе в награду
Успех в работе, счастье в личной жизни.

ГВИНЕВЕРА

Моя работа — гобелен настенный,
Где вытку я всех рыцарей Стола.
А личной жизни нет у королев!
Но все равно, спасибо.

ЯНКЕЛЬ

Королева,
Прости за неуклюжие слова.
Позвольте мне теперь кой-что добавить
К тому, что мудрый Мерлин здесь сказал.

КЭЙ

Ну, хватит, ешь, что дали, и молчи!

АРТУР

Сэр Сенешаль, не ты хозяин здесь!
Пусть гость заморский дальше говорит.

ЯНКЕЛЬ

Мой дар убог и голос мой негромок,
Не мне тягаться с Мерлином великим
В пророчествах и вещих предсказаньях,
Но все ж и я через туман веков
Грядущего кусочек прозреваю.
Не знаю я, чьи имена проглотит
Бегущее прожорливое время,

Скажу лишь, что останутся в потомстве
Артур и Мерлин, Мерлин и Артур.
Но только Мерлин по своей привычке
Пойдет дорогой перевоплощений:
То станет утицей, то серым волком,
И, наконец, ударившись о землю,
Он обернется девой голоногой —
Секс-бомбой Мерлин, Мерилин Монро.

ГЭВЕЙН

Какой такою бомбою, сэр Янкель?
Не той ли, о которой толковал
В своих зловещих предсказаньях Мерлин?

ЯНКЕЛЬ

Вопрос, конечно, очень интересный,
Но я ответа на него не знаю...
Одно лишь ведаю, что эта бомба
Несет погибель только мужикам
И не страшна для женщин и девиц.

ГВИНЕВЕРА

Но чьей же дамой станет дева Мерлин?

ЯНКЕЛЬ

Ей будет поклоняться целый свет
За годом год, но вот наступит день,
И белогрудую, как лебедь, Мерлин
Обкрутит и заманит черный ворон
По имени Артур.

МЕРЛИН

Какой он ворон?
Он — мельник! Иль, по-нашему, он Миллер.

ЯНКЕЛЬ

Стена веков мне застилает зренье,
И я подробностей не различаю,
Но все ж осмеливаюсь возразить:
Артур тот — мельник только по отцу,
А сам — король историй и мистерий,
Которым будет удивляться мир.
Он станет славен...

МЕРЛИН

Ломаное пенни
Цена его историям и мистериям!
Заместо первородного греха,
Убийства Авеля, Страстей Христовых
Или хотя б купания Сусанны
И приключенья Лота с дочерьми
Опишет он смерть коммивояжера,
Да казнь каких-то ведьм...

ГВИНЕВЕРА

Мой Государь,
Устала я от этих препирательств
И непонятных словосочетаний.
Позволь подняться мне на антресоли,
Чтобы смешать бальзам для исцеленья
Кровавых ран на теле Ланселота.

АРТУР
(тихо жене)

Свободна ты в поступках, Гвиневера,
Но я б хотел услышать напоследок
Твое сужденье о предмете спора.

ГВИНЕВЕРА
(тихо мужу)

Я не судья в таких словесных преньях.
Но если честно говорить, то оба:
Сэр Янкель и — пока не дива — Мерлин,
Взопревши, одинаково воняют.

Интермедия

Антресоли. Большой ларь, на стенке которого нарисована змея, обвивающая фиал. Гвиневера и Ланселот.

ГВИНЕВЕРА
(поет)

В понедельник, до субботы
Я уеду к Ланселоту,
Полежу, позагораю
На ракушечном пляжу...
Хорошо в озерном крае.
Этот край мне будет раем.
А о том, что будет ночью,
Никому не расскажу!
На неделю, на неделю,
До субботы, до субботы

Я уеду к Ланселоту,
А в субботу в Камелоте
Замолю свои грехи.

ЛАНСЕЛОТ
(поет)

Всю неделю до субботы
Не поеду на работу.
Пусть другие бьют драконов,
Ну а я беру отгул.
Не нужна мне Чаша Грааля,
Ждет меня такая краля!
Позабавимся на славу...
Но об этом ни гу-гу.
Всю неделю, всю неделю,
До субботы, до субботы
Буду для нее вельботом —
Покачавшись всласть на волнах,
Вместе мы пойдем ко дну.

Сцена II

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ, или КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

Светелка Королевы. Гвиневера, Ланселот.

ГВИНЕВЕРА

Еще одно, последнее лобзанье...

ЛАНСЕЛОТ

С охотой, дорогая Гвиневера!

(Лобзает.)

Но почему последнее? Надеюсь,
У нас еще в запасе много дней,
А главное, ночей...

ГВИНЕВЕРА

Меня тревожат
Зловещие предчувствия, любимый.
Мне кажется, что скоро злые люди
Навеки нас с тобою разлучат.

ЛАНСЕЛОТ

Какие злые люди, Гвиневера?
Вокруг одни лишь Рыцари Стола,
Которые, как и Король, сквозь пальцы
Давно смотреть привыкли на любовь,
Соединившую, как меч и ножны,
Меня с тобой. Да что там говорить!
О нас слагают песни менестрели,
И думаю, народ в душе гордится,
Что первое копье в подлунном мире
И первая красавица Британьи —
Как два ядра в одном лесном орехе,
Покрытые единой скорлупой.

ГВИНЕВЕРА

Британии лишь первая? Так значит,
В чужих краях есть женщина прекрасней?

(Дает пощечину.)

И может, в этом и лежит причина
Всегдашней вашей тяги к приключеньям,
Что авантюрами зовете вы?
Не тесно ли вселенскому мечу
Лежать в ножнах простой британской кожи?

ЛАНСЕЛОТ

Тут в тесноте не может быть обиды!
Шучу, шучу. Нелепою обмолвкой
Не укоряй.

(Лобзает.)

А впрочем, мне приятней
Тебя во гневе видеть, чем в тоске.

ГВИНЕВЕРА

Любимый мой, меня Мордред тревожит:
Его глаза всегда на мне. И в них
Горит угрюмый тусклый огнь желанья...

ЛАНСЕЛОТ

Чего же тут бояться, Гвиневера?
Что рыцарей твое смущает тело,
Которое сквозь царские одежды
Мерцает, как сапфир на дне морском?
Пусть смотрят на здоровье, Королева!

ГВИНЕВЕРА

Другие пусть, но только не Мордред!

ЛАНСЕЛОТ
(лобзая)

А чем других он хуже, Гвиневера?

ГВИНЕВЕРА

А тем, что я ему не просто тетка,
Как думает весь город Камелот,
А мачеха. Да, да! Король Артур
Прижил его с Морганой-феей прежде,
Чем взял меня в стране Камелиард.
Но это государственная тайна.
Кто знает — навсегда теряет право
Пересекать границы королевства.

ЛАНСЕЛОТ

Ты — мачеха Мордреда? А Мордред —
Твой пасынок? Ну что ж, у нас в полку
Когда-то был аналогичный случай.

ГВИНЕВЕРА

Я слов твоих не понимаю, милый.

ЛАНСЕЛОТ

Я сам-то понимаю их не очень.
Их старый Мерлин, кто скакать умеет
По прошлым и по будущим столетьям,
Как белка по ветвям, принес за Стол
Из тех времен, когда объединят
Всех рыцарей в какие-то полки,
А самый знаменитый рыцарь будет
Носить прозванье странное — сэр Швейк.

ГВИНЕВЕРА

Какой же случай был у вас, любимый,
В твоем так называемом полку?

ЛАНСЕЛОТ

Ну, не совсем в моем. Про этот случай,
Которому без мала тыща лет,
Нам Мерлин рассказал.

ГВИНЕВЕРА

Я вижу, милый,
Что все твои познания в истории
Древнейшей, Новой и совсем Новейшей
Идут от Мерлина.

ЛАНСЕЛОТ

Нас грамоте Господь
Не умудрил. Умею я рубиться,
Владеть копьем и женщин обнимать.

(Лобзает. В окне появляются острия копий. Слышен легкий шум, который Гвиневера и Ланселот, занятые лобзаньем, не замечают.)

ГВИНЕВЕРА

Да, этому Господь тебя сподобил!
Но расскажи аналогичный случай,
Которым Мерлин позабавил вас.

ЛАНСЕЛОТ

Изволь, любимая. В те времена,
Когда к нам приплывали финикийцы
За синей глиною и оловом тяжелым
Из тех краев, откуда ныне родом
Сэр Паломид, наш рыцарь-сарацин,
Не доходя тех мест, где он родился, —
Пустынь анатолийских, но на бреге
Того же теплого большого моря
Жила царица Федра. Муж ее
Был так же знаменит, как наш Артур.
И при живом и даже бодром муже
Царица воспылала буйной страстью
К царевичу младому — Ипполиту,
Который был ей пасынком.

ГВИНЕВЕРА

Положим,
Здесь сходства нет. Скорей наоборот.
Ведь я Мордреда люто ненавижу,
А он греховно смотрит на меня.
Но все равно, продолжи свой рассказ.

ЛАНСЕЛОТ

Так я ведь не сказал, что случай схожий,
А "аналогичный" означает
Вот именно как раз наоборот.

ГВИНЕВЕРА

И что же дальше было с Федрой, милый?

ЛАНСЕЛОТ

Под ночь приходит Федра к Ипполиту,

Одетая в нарядные одежды,
Надеясь в них недолго оставаться,
И говорит...

(Громовой стук в дверь. Крики. Бряцанье доспехов и мечей.)

МОРДРЕД
(за дверью)

Предатель, выходи!
Ты обманул коварно сюзерена,
Ты отнял честь у Короля Артура,
И нет тебе пощады. Выходи!

ГВИНЕВЕРА

Предчувствие сбылось!

ЛАНСЕЛОТ

Ах, Гвиневера,
Сейчас не время воплям и стенаньям,
Заламыванью рук и женским слезам.
Беда лишь в том, что я в одном исподнем,
Доспехи же остались в шатре.
Я их не взял, чтоб скрежетом и звоном
Они не разбудили бы всех слуг.
Вот если б был при мне хотя бы меч...

МОРДРЕД
(за дверью)

Бессмысленно твое сопротивленье:
Со мною вместе брат мой Эгревейн
И с ним двенадцать рыцарей Стола.

(Дальнейшее идет под бряцание.)

ГВИНЕВЕРА

Постой, любимый.

(Лезет под кровать и вытаскивает меч.)

Наконец, нашла
Тот старый меч (смотри, как заржавел!),
Который разделял в постели нас,
Когда, еще в начале нашей страсти,
Пытались мы невинность соблюсти.

ЛАНСЕЛОТ

Хвала Всевышнему! Ну, старый друг,
Теперь тебе придется поработать!

(Отодвигает засов и слегка приотворяет дверь. Подпираемый сзади, в светелку влетает рыцарь и растягивается плашмя. Ланселот наваливается на дверь, задвигает засов и успевает врезать рыцарю. Тот падает бревном.)

За дело, Гвиневера!

(С помощью королевы облачается в доспехи рыцаря.)

ЭГРЕВЕЙН
(за дверью)

Ланселот,
Сдавайся, и, быть может, наш Король
За прежние заслуги и позволит
Тебе остаток жизни довлачить
В каком-нибудь глухом монастыре.

ЛАНСЕЛОТ

(Распахивает дверь и закалывает Эгревейна.)

Я помяну тебя в моих молитвах!

(Приканчивает еще пару рыцарей.)

Ну, кто еще клобук монаший хочет
Напялить на меня?

(Вытесняет нападающих из светелки. Шум схватки удаляется.)

ГВИНЕВЕРА

Теперь конец всему...
Я не узнаю, что сказала Федра,
Любимого со мною больше нет[1].
И сохнет сердце у меня, как сохнет
Куст можжевельника, что пересажен
Из нашей ласковой сырой земли
В сухую Анатолии пустыню,
Откуда к нам приехал Паломид.

(Занавес опускается. За сценой менестрель Элиот поет под аккомпанемент лютни.)

ЭЛИОТ

Гвиневера, Королева,
Лодегранса дочь,
Но гульнуть слегка налево
Завсегда не прочь.

[1] Здесь на полях карандашом написано (возможно, самим Лапиным): в московском произношении эта строка будет звучать так: "Любимова со мною больше нет!?"

Пробираясь по дорожке
В рыцарский шатер,
Промочила Гвинни ножки...
Ланселот хитер:

У него губа не дура!
Он силен и смел,
И избранницу Артура
Обольстить сумел.

Если кто-то лез в светелку
В сумрачной ночи,
Не кричи, мой друг, без толку —
Лучше помолчи.

Ведь какая нам забота,
Как в глухую ночь
Забавлялась с Ланселотом
Лодегранса дочь?

От издателя

Машинописные листы с текстом "Сцен" доставлены нам уборщицей Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, извлекшей их из корзины для выброшенных бумаг в кабинете бывшего председателя Гостелерадио С. Г. Лапина на другой день после его ухода на пенсию.

К сожалению, первый лист, где, очевидно, были и название произведения и Ф. И. О. авторов, не сохранился. Последняя же страница подписана лишь инициалами Т. К. и М. С.

По остроумной догадке одного нашего знакомого ученого в области точных наук (часто выезжающего в капстраны и потому пожелавшего остаться неизвестным) этим инициалам соответствуют популярные журналисты-международники Томас Колесниченко и Мэлор Стуруа. Оба они, пользуясь служебным положением, знали, что в 1985 году весь англоязычный мир отмечал 500-летие выхода из печати в типографии Кэкстона романа Томаса Мэлори "Смерть Артура". Поразительное совпадение комбинации их собственных имен с именем автора "Le Morte D'Arthur" дало, естественно, толчок к объединению творческих потенций, а дух и надежды Женевы позволили предложить свою продукцию средствам массовой информации.

Хотя эта убедительная догадка имеет и количественные подтверждения (одинаковая относительная частота употребления местоимения "который" здесь и в газетных публикациях Т. К. и М. С.), мы приводим ее с большой неохотой, опасаясь, что она даст основания будущим Мищенкам и Постниковым какого-нибудь 25-го века утверждать, что и бессмертный роман "Смерть Артура" есть подделка, сработанная в эпоху ускорения советскими журналистами.

Конечно, иной читатель может заподозрить в авторстве издателя, которому на самом деле принадлежит лишь проверенное временем и прошедшее цензуру название "Сцены рыцарских времен". Для доказательной убедительности (и только по этой естественной причине!) мы решаемся привести здесь стихотворение собственного производства, навеянное чтением "Сцен" и подготовкой их к печати:

А мне приснился сон...
Лорд Альфред Теннисон,
Поэт — лауреат,
Любимец королевин (Виктории)
Толкует: "Как я рад,

Райт хонорабель Левин,
Что всюду — от Стрэтфорда до Пикадилли —
Сменили балетных Одетт и Одиллий,
Дуче, фюреров и каудилий
Герои моих "Королевских идиллий".

Любому мало-мальски понимающему в поэзии человеку ясно, что автор таких тяжеловесных виршей с их претенциозным макаронизмом, вымученными рифмами и ломающимся размером, просто не смог бы вытянуть четыре сотни стихов, написанных великолепным пятистопным ямбом!

М. Левин, 1985 г.

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЕОНТОВИЧ[1]

В последний предвоенный учебный год на физфаке МГУ были объявлены лекции М. А. Леонтовича по физической оптике для студентов 4-го курса. Эти лекции незаконно посещала и небольшая группа третьекурсников. Делали мы это не от хорошей жизни: нам с самого начала не везло с лекторами. Вместо Г. С. Ландсберга и С. Э. Хайкина, поочередно читавших общую физику, у нас ее вел А. Б. Млодзеевский*[1]. Термодинамику и статистическую физику, которые счастливые старшекурсники прослушали у М. А. Леонтовича, нам читали Е. Г. Швидковский (это был его дебют в качестве лектора) и А. К. Тимирязев, который сразу объявил, что экзамен будет приниматься по его книге "Кинетическая теория материи", которую можно иметь при себе, готовя ответ на билет. К этому времени И. Е. Тамм уже перестал преподавать на физфаке, и мы, не ожидая ничего хорошего в дальнейшем, решили самовольно слушать лекции М. А. Леонтовича, хотя курс электродинамики, на который, естественно, опирались эти лекции, нам еще не был прочитан.

Вот так получилось, что для меня первым знакомством с настоящей физикой оказались (не считая, конечно, занятий в общем практикуме и спецпрактикуме) лекции по физической оптике. Леонтович не был блестящим лектором в общепринятых вариантах этого понятия. Он никогда не воспринимался как лектор — сосуд знания, умело переливавший порции этого знания в аудиторию. Ему были чужды тонкие методические подходы с заранее расставленными логическими ловушками и парадоксами, которые в нужный момент эффектно снимались. Было другое — ежеминутное ощущение непрестанной работы мысли, и хотя в кармане его пиджака торчала свернутая в трубку тетрадка (он называл ее "лекционные тряпки"), которая иногда вытаскивалась в середине длинной выкладки, все равно вас не оставляло чувство, что он, глядя в какую-то невидимую точку, расположенную перед ним на расстоянии вытянутой руки, отвечает на только что поставленный кем-то (природой?) вопрос, отвечает, приводя свои соображения или вспоминая мнения Френеля, Стокса или Рэлея. И когда, рассказав о молекулярном рассеянии света, Леонтович после небольшой паузы вдруг сказал: "А вы когда-нибудь смотрели на небо через

[1] При подготовке второго издания книги в бумагах М. Л. Левина были обнаружены материалы, почему-то не вошедшие в этот очерк, — то ли из него исключенные, то ли его дополняющие. Чтобы не нарушать первоначальной складности изложения, мы собрали все эти вставки в конце текста, пометив места их возможного размещения звездочкой с цифрами.

николь? Мне кажется, что вообще иногда полезно смотреть на мир через николь", – то ни у кого не было сомнения, что эта мысль пришла ему в голову именно сейчас.

Сразу же после лекции мы, конечно, пошли в оптический спецпрактикум, выпросили у неумолимого И. Л. Фабелинского (ссылка на Леонтовича сделала свое дело) два николя и, стоя на дворе старого физфака, по очереди разглядывали небо во всех направлениях.

После этих лекций, несмотря на плохое зрение, я решил специализироваться по оптике. Но тут началась война... Осенью 1942 г. в Москве начались занятия в университете, хотя основной состав МГУ был эвакуирован в Ашхабад. На физфаке стала работать учебная часть, где иногда появлялись оказавшиеся в Москве профессора, преподаватели и небольшие кучки студентов. Среди последних было несколько моих однокурсников; мы учили по книгам и чужим конспектам положенные учебным планом предметы, а потом искали подходящего экзаменатора. Однажды я увидел на физфаке Леонтовича и, набравшись смелости, попросил принять экзамен по физической оптике.

– По оптике? Когда же вы ее у меня слушали? – Я объяснил.

– Так зачем же вам сдавать экзамен? – Я сказал, что хочу быть оптиком.

– Да? А разве оптику еще не закрыли?[2] Ну ладно, приходите сюда на следующей неделе в этот же день и в это же время.

Экзамен оказался неожиданно для меня очень долгим. Михаил Александрович дотошно гонял меня по всему курсу, задавал вопросы по электродинамике, уравнениям математической физики и даже по комплексной переменной. А когда все было кончено, вдруг откинулся в сторону, посмотрел сквозь стекла моих очков на линию щеки и сказал:

– Послушайте, да у вас же наверняка больше десяти диоптрий! Трудно вам будет оптиком... И вообще, чем ждать у моря погоды и ловить случайных экзаменаторов, может, вам лучше начать работать? И пользы больше, и сытнее. Вот мы с С. Э. Хайкиным развиваем сейчас некую деятельность в одной организации, и мне нужны хоть немного соображающие люди. Хотите заняться... скажем так... прикладной электродинамикой?

Так я начал работать в теоретической лаборатории М. А. Леонтовича, которая в конце концов разместилась в институте на Новой Басманной улице. Хотя слово "разместилась" тут не очень подходит. Нас было несколько человек, и мы занимали одну большую комнату с отгороженным фанерой закутком для начальника лаборатории. Ему, правда, полагался отдельный кабинет, но в нем сидел кто-то посторонний, пока в лаборатории не появился В. А. Фок...*[2] Обстановка была самая простая: конторские столы, стулья и книжный шкаф с двумя десятками библиотечных книг (главное сокровище – недавно вышедший американский "Стрэттон"), арифмометром "Феликс" и стопкой амбарных книг, в которых мы производили свои вычисления. Кроме того, Леонтович принес из дому немецкие таблицы Янке – Эмде и Хаяши и – для нашего образования – учебник электродинамики Эмиля Кона.

---

[2] С начала войны некоторые специальности закрывались как не имеющие практического значения. Одной из первых "закрыли" ядерную физику

Как все и всюду в то время, работали мы много. К плановым делам добавлялось неукоснительное соблюдение "городничего" правила, которое в редакции Леонтовича звучало так: "Наша обязанность помогать проезжающим и всем благородным людям". Так что посетителей у нас было навалом. Большинство, конечно, приходили по делу, но случалось разное... Например, нас долго мучил один изобретатель, требовавший создания теории решения уравнений с засекреченной правой частью. Левая часть была обычной для линейного осциллятора, но в правой сидел секрет изобретения (не то ракеты, не то торпеды), и о ее структуре и содержании автор упорно молчал. Мучился с ним больше всех сам Леонтович. Развязка была внезапной; мы услышали крик Леонтовича:

— Сам жулик! Вон! Вон! — и изобретатель пулей вылетел из закутка. Оказалось, что причиной молчания была не особая секретность, а боязнь, что теоретики его обокрадут...

Иногда Леонтович приглашал сотрудников в свой закуток, но чаще перемещался со стулом и пачкой папирос от стола к столу, обсуждая наши результаты и трудности или рассказывая свежее свое. Курил он много и очень стеснялся положенного ему академического "Казбека", в то время как остальные курильщики пробавлялись махоркой. Поэтому он всегда и всех настойчиво угощал "Казбеком", так что я — по мальчишеской глупости — начал баловаться табаком с его легкой руки.

На научные темы он всегда разговаривал "на равных", а если возникал (как часто было) отрыв в понимании, он почти незаметно спускался на пару ступенек ниже, но и тогда разговор продолжался на равных. Это действовало сильнее любых упреков и нравоучений, и мы, конечно, старались всеми способами заштопать дыры в нашем образовании. Но главным источником пополнения знаний и умений был, естественно, сам Михаил Александрович, учивший нас не рассказом, а показом.

Приведу один пример. Хотя тут встретятся формулы, я надеюсь, что они будут понятны большинству читателей, которым мне хотелось бы передать красоту и простоту вывода знаменитого параболического уравнения в том изложении, которое я услышал однажды утром от Леонтовича в его закутке. Вот оно.

— Начнем с простого. Над идеальной землей ($z \le 0$) бежит волна в вакууме. Очевидно, она устроена так: $E_z = -H_y = A\,e^{-ihx}$. Пусть теперь проводимость земли конечна, но велика, так что комплексная проницаемость $\varepsilon = -i\,4\pi\sigma/\omega$ по модулю гораздо больше единицы. Тогда глубина проникновения мала по сравнению с длиной волны, и локальная структура поля в земле будет, как у плоской волны, уходящей в толщу по нормали. В такой волне $\varepsilon E^2 = H^2$ и, следовательно, $E'_x = -\eta H'_y$ ($\eta = \sqrt{1/\varepsilon}$, $|\eta| << 1$). Но на границе касательные составляющие непрерывны, значит, и снаружи в вакууме $E_x = -\eta H_y$ на самой границе. Это мы проходили[3] в ФИАНе еще до войны! Ну-с. Для того, чтобы

[3] Это и есть "граничное условие Леонтовича", опубликованное автором лишь в 1948 г.

сверху появилась компонента E_x, зависимость от координат должна слегка измениться: не e^{-ikx}, а $e^{-i(hx+\varkappa z)}$, где $\varkappa$ — мало, а h слегка отличается от k. Тогда уравнение $\operatorname{div} \mathbf{E} = 0$ дает $\varkappa E_z + h E_x = 0$ или, так как по-прежнему $E_z \approx -H_y$, то $E_x = (\varkappa / h) H_y$. Таким образом, $\varkappa = -\eta h$. С другой стороны, из волнового уравнения следует $h^2 + \varkappa^2 = k^2$ и, значит, в первом приближении ($|\eta| \ll 1$) будет $\varkappa = -\eta k$, $h = k - \frac{1}{2}\eta^2 k$. Волновой фактор $e^{-i(hx+\varkappa z)}$ теперь принимает вид $e^{-ihx} \cdot e^{i(\frac{1}{2}k\eta^2 x + k\eta z)}$. Итак, из нашей простой задачи (ею еще Ценнек занимался!) мы заработали такой важный результат: учет конечной проводимости приводит к появлению дополнительного фактора, в котором зависимость от продольной x и поперечной z координат характеризуется разными масштабами $l_{\|}$ и $l_{\perp}$: $l_{\|}^{-1} = \frac{1}{2} k |\eta|^2$, $l_{\perp}^{-1} = k|\eta|$.

— А теперь займемся задачей Зоммерфельда. Если искать вектор Герца в виде произведения вакуумной функции Грина на функцию ослабления $W(r, z)$ и ввести только что найденные масштабы, т. е. положить $r = l_{\|}\rho$, $z = l_{\perp}\xi$, то в переменных ρ, ξ из волнового уравнения для вектора Герца получается — если отбросить малые по η поправки — простое параболическое уравнение для W. Берите из Гурса его решение, и вот вам формула Вейля — Ван-дер-Поля! Насчет граничных условий можете не сомневаться: там все в ажуре.

В лаборатории я находился на несколько особом положении, числясь юридически студентом МГУ, отданным на оброк в институт, где я должен был под руководством Леонтовича выполнить дипломную работу. И он не считал свои обязанности руководителя простой формальностью или куском лабораторной деятельности. В частности, для моего образования он принес из библиотеки МГУ все шесть томов трудов Рэлея, отметил статьи, которые мне надлежало прочесть (вместе с двумя томами "Теории звука"), и добавил:

— А если прочтете сверх того, то будете еще умнее!

Тут неожиданно обнаружилось, что Леонтович, при всем своем преклонении перед Рэлеем, считал его в некотором смысле нахалом. Дело в том, что немецкий и французский языки Леонтович знал с детства, а английский выучил уже взрослым человеком и читал на нем только научную литературу. Поэтому в эпиграфе к первым томам Рэлея:

> The works of the Lord are great,
> Sought out of all them that have
> pleasure therein, —

он упорно понимал *the Lord* как титул самого Рэлея. Впрочем, дело здесь, возможно, и не в тонкостях языка, скорее, он не допускал, что физик Рэлей мог считать Божественный промысел источником естествознания. Надо сказать, что в вопросах религиозных Леонтович до конца дней своих был непримирим, резок и "узок": он просто не мог понять и принять, что современный думающий человек может верить в существование чего-либо сверхъестественного.

Кстати, много лет спустя, перед поездкой в Англию, он решил усовершенствовать свой английский. Его стала обучать настоящая англичанка, для которой, естественно, эталоном красноречия был монолог Марка Антония из шекспировского "Юлия Цезаря".

И вот неделю подряд, сверяясь с магнитофонной записью, Михаил Александрович голосом, полным отчаяния, твердил:

Friends, Romans, countrymen,
Lend me your ears...

Ему очень нравилась озорная мысль потрясти англичан, он даже соглашался на легкую переделку стихотворного текста сообразно теме доклада, но трудности английских "тьюнов" оказались сильнее, и доклад его не стал самым заметным из выступлений наших физиков за рубежом.

Кроме чтения Рэлея и других книг и статей, мне предписывалось ходить на начавший читаться в университете курс лекций Н. Н. Боголюбова по статистической динамике (Леонтович очень советовал попросить у Боголюбова тему для самостоятельной работы), на последние четыре лекции Л. И. Мандельштама и на семинар[4] И. Е. Тамма.

Однажды я поленился идти на заседание семинара, мотивируя это неинтересностью объявленного доклада. Михаил Александрович сказал:

— Во-первых, по названию никогда нельзя сказать, интересно или неинтересно. В физике все может быть интересным. А во-вторых, главное не сам доклад, а то, что потом скажет Игорь Евгеньевич. И по теме, и не по теме. Работу вы, если надо, когда-нибудь прочтете, а вот слов Тамма уже нигде не услышите. Так что закругляйте свои дела и идите на Харитоньевский.

В каждом таком случае он выписывал разрешение-командировку, хотя дел в институте было много, и мы часто находились в цейтноте. И никаких лишних учебных льгот Леонтович давать не мог, ограничиваясь лишь теми, которые сам считал необходимыми. Так, например, когда закрыли специальность "оптика" и меня перевели на "радиотехнику", потребовалось срочно сдать экзамен по годовому курсу "теории колебаний". Я попросил несколько дней "декретного" отпуска для изучения "Андронова — Хайкина".

— Нет, — сказал Леонтович, — у нас сейчас работы невпроворот, как-нибудь сдадите экзамен. Линейную теорию вы знаете — вы же оптик! Что-то должны знать — по Рэлею и Мандельштаму (он приносил мне тетрадки с лекциями Мандельштама) — и из нелинейной. Я попрошу С. Э. Хайкина, чтобы он в основном гонял вас по линейной теории*[3].

Деловые разговоры и обсуждения иногда заканчивались или перемежались совсем не научными отступлениями. Память у Леонтовича была удивительная, интерес к людям в их конкретной неповторимости он пронес через всю жизнь, а повод для ассоциативного рассказа обычно находился.

Так, однажды, после долгого обсуждения кажущегося противоречия между физически правильной теорией молекулярного рассеяния Рэлея и логически

[4] Перед первым посещением семинара Леонтович объяснял мне, кто есть кто: "В бархатном кафтане — Е. Л. Фейнберг (кафтан оказался вельветовой толстовкой), тот, кто за все время не скажет ни слова, — Д. Е. Меньшов..." и т. д.

безукоризненными возражениями Мандельштама, он, улыбнувшись, вдруг добавил:

— А вы знаете, Л. И. Мандельштам не всегда приводил одни логические аргументы. Когда мы были еще аспирантами, А. А. Андронов ратовал за полную взаимозаменяемость женщин и мужчин во всех творческих сферах. А Леонид Исаакович считал, что математика и физика у мужчин получается лучше. Андронов, конечно, привел пример Ковалевской. Мандельштам сказал: "Знаете, Шура, Ковалевская была молодая красивая женщина, и старик Вейерштрасс под влиянием ее чар мог незаметно подвести ее к полуготовым для него самого результатам". (Сам Леонид Исаакович хорошо умел это делать!) Андронов: "Ну, а Эмми Нетер?" Мандельштам помолчал и неожиданно сказал: "А вы видели, Шура, какая у нее рожа?" Услышать от всегда деликатного Леонида Исааковича такое слово! Вы представляете, что с нами было?

Другое ассоциативное отступление чуть было не кончилось смертельной обидой. Во время совместного счета позвонили из проходной: пришел Лошаков, просит выписать пропуск. Михаил Александрович распорядился, после чего неожиданно возник спор о разнице между мулом и лошаком. В разгар этого спора входит Лошаков, и Леонтович, забыв о "первоначальном толчке", обращается к нему:

— Здравствуйте, Лев Николаевич! Может быть, вы помните: у лошака отец — осел, а мать — кобыла, или это у мула?

Гость побелел, но потом, слава богу, все образовалось...

Кроме большой истории (народов, государств и королей), которую Леонтович прекрасно знал, он любил и малые истории и родословные знакомых людей, относясь с явным одобрением к фамусовскому: "Кем вам доводится Настасья Николавна?" В частности, он с удовольствием описывал свое родословное древо, и еще студентом я узнал и о панычах, которые пасли свиней, и о легендарной помещице Леонтович, с которой Гоголь писал Плюшкина, и о совсем легендарном писаре Запорожской Сечи Леонтовиче, писавшем письмо турецкому султану, и о темнокожих родственниках Михаила Александровича на Гавайских островах. Все это рассказывалось урывками, и трудно было удержать в памяти, к какой именно киевской тетке лазил в окно молодой Толя Луначарский, какая кузина вышла замуж за сына "старого прелюбодея" и какая родственница перевозила через границу динамит, привязав его своим детям под шубки.

Была еще история об одном московском физике, дед которого выбился из крепостных в богатейшего фабриканта ситцев. Дед этот обучил своих сыновей в лучших европейских технологических институтах, и сыновья придумали очень дешевые яркие краски, не выгоравшие на солнце, но смываемые при первой стирке.

— Потому и дешевые! Но ведь на востоке халаты не стирают, и дед завоевал весь среднеазиатский рынок. А сыновья, несмотря на европейское образование, сохранили все замоскворецкие замашки. Одному из них какая-то знаменитая актриса отказала в благосклонности. Так он в день ее бенефиса или премьеры закупил кресла первых четырех рядов партера, нанял полторы сотни московских дворников, обрядил их во фраки, манишки, лакированные штиблеты и велел все пять действий сидеть неподвижно, уставившись на сцену. Представляете,

четыре ряда каменных бородачей, без единой улыбки и все в одинаковых манишках!

Когда я под влиянием подобных рассказов заикнулся о своем возможном императорском происхождении (моя бабка была со всеми своими предками родом из тех мест, где в 1812 г. Наполеон несколько дней нетерпеливо ждал графиню Валевскую), Михаил Александрович сперва очень заинтересовался моими претензиями, но потом потребовал дополнительных доказательств. Я сказал, что, по мнению некоторых друзей, мой профиль смахивает на наполеоновский.

— Ну разве через Чичикова! — отрезал Леонтович*[4].

В начале лета 1944 г. у нас пошла авральная тема. Даже на защиту диплома и госэкзамены, которые как раз пришлись на это время, я ездил в МГУ обыденкой, возвращаясь потом в институт. И вдруг, прямо перед последним экзаменом, меня среди бела дня перевезли с Басманной на Лубянку. Леонтович именно в этот час вернулся откуда-то в институт и встретил меня во дворе в сопровождении казенных спутников.

— Не уходите, Михаил Львович, вы сейчас мне нужны!

— Простите, Михаил Александрович, но я занят, — нелепо ответил я, уже предупрежденный о правилах игры. Гнев и недоумение на его лице — вот последнее, что я увидел на воле, перед тем как оказаться внутри ожидавшей во дворе "эмки".

Придя в лабораторию, Леонтович узнал, что к чему, и вскоре написал письмо в соответствующие инстанции, настаивая в нем на немедленном возвращении меня обратно на Басманную. Он писал о срочности и важности нашей темы, подчеркивая мою незаменимость и даже упоминая о принадлежности к младшему поколению школы Мандельштама.

Впоследствии он никогда не рассказывал мне об этом письме, но я сам прочитал его в 1956 г. в военной прокуратуре, когда меня ознакомили с материалами реабилитационного дела. В верхнем углу, наискосок, была резолюция: "Разъяснить".

Не знаю, получив разъяснение или независимо от него, но Леонтович взял мою рабочую тетрадку с решением задачи об электродинамике тонкого кольца (эта задача была открытым ответвлением нашей основной темы), сам написал все нужные для понимания выкладок слова, сделал рисунки и, превратив набор уравнений и формул в текст статьи, добился ее напечатания под моим именем в сборнике научных трудов института. Надо ли говорить, что и сейчас эта статья, в которой нет ни одного моего русского слова, является для меня самой дорогой. А упоминание в письме Михаила Александровича школы Мандельштама объяснило мне, почему полковник Родос (тот самый, о котором говорилось в докладе на XX съезде) в начале декабря 1944 г. вдруг сказал на допросе:

— Сдох твой Мандельштам!

Следующий раз я увидел Михаила Александровича не скоро, будучи в Москве, так сказать, проездом и имея в своем распоряжении 48 часов. Но эта встреча определила многое в моей жизни. Как раз в эти дни А. А. Андронов

уговаривал Леонтовича последовать примеру других московских физиков и согласиться наезжать в Горький для импульсного чтения лекций по современной прикладной электродинамике на недавно созданном радиофизическом факультете ГГУ. Он отказался из-за большой загруженности. Андронов попросил сосватать кого-нибудь из учеников, и именно тут подвернулся я. Леонтович с ходу предложил мою кандидатуру, Андронову удалось быстро выбить разрешение у местных властей (первый в стране радиофизический факультет был их гордостью), и без долгих проволочек я уехал в Горький.

При прощании Михаил Александрович сказал:

— Только не пишите там в анкетах и автобиографиях ничего лишнего. А то вот, когда стало ясно, что вы уже не вернетесь в институт, я хотел взять на вакантное место Малюженца. А у Георгия Даниловича за неделю до этого умерла теща и перед смертью уже в легком помрачении призналась дочери, что она в молодости имела роман с одним известным историком. И вот этот эфиоп, этот морской царь (Леонтович относился к Малюженцу с нежностью, а морским царем называл за некоторую выпученность глаз), никого не предупредив, в пункте "что еще хотите добавить" черным по белому ляпнул об этом. Наш Орлов только руками развел: "Такого, говорит, не могу оформлять, пока проверишь — год уйдет!"

— Да, а я вам еще не рассказал, как сам Орлов отличился. Тут привезли кучу трофейного телефункеновского оборудования и деталей и поставили прямо в ящиках во всех проходах и переходах. Ну, многие радиолюбители начали прихватывать. Орлов распорядился обыскивать на выходе. В первый день задержали человек 50, на другой — двоих, а в третий приехал в институт В. А. Фок. На выходе охранник видит, что у Фока из кармана проволочка выглядывает. Схватил. А Фок не дает. Тот силой, да и вытянул "немецкую штучку". Владимир Александрович рвется отнять свой слуховой аппарат. Ну, за такую дерзость его затолкали в темный чулан у вахты и тут же послали за Орловым. У нас ведь не постоянные вахтеры, а наряд от военного коменданта. Им что Фок, что не Фок — они никого не знают. А Орлов, как на грех, где-то уединился, так что Фок больше часа дубасил кулаком в стенку... Потом сам нарком ездил к нему извиняться. Еле уговорил.

Напоследок я полушутя помянул старое: мол, еду к Андронову в Горький, а "Андронова — Хайкина" из-за вас не читал.

— Ничего, — вдруг очень серьезно ответил Леонтович, — вряд ли он заведет с вами разговор об этой книге. Он не любит упоминать о ней, и, я думаю, она всегда его мучит... Из-за Витта...

И действительно, за все 6 лет жизни в Горьком я ни разу не слышал от А. А. Андронова ссылок на "Андронова — Хайкина". Ни на лекциях, ни в разговорах. Горько думать, что он так и не увидел этой книги с фамилиями всех трех авторов на обложке. Зато он не увидел и воспоминаний Л. С. Понтрягина, где (впрочем, по другим причинам) говорится просто о "книжке Андронова".

...А Михаил Александрович очень любил Витта, часто рассказывал о нем и даже изображал, как в горах, сорвавшись на леднике, Витт скользит, лежа на спине с ледорубом на вытянутых руках впереди себя (Леонтович выгибался и

вытягивал вперед руки, держащие логарифмическую линейку), и радостно кричит: "Я держусь, я держусь!"

И знаменитый виттовский девиз "все плохое сократится, все хорошее останется" звучал у нас в лаборатории не реже известных латинских изречений, которые были единственной направленной демонстрацией превосходства Леонтовича над всеми нами, не учившимися в классической гимназии.

Правда, и самому Леонтовичу было далеко до "золотой латыни", но что он действительно знал и любил — это латынь Линнея, язык натуралистов всех времен. Живой интерес к современной биологии (включая молекулярную) имел у него прочный фундамент почти профессионального знания обычных ботаники и зоологии. Деревья, цветы и травы, звери, рыбы, птицы и всякие жуки были его личными знакомыми с собственными латинскими именами, и одно из самых больших огорчений последних лет его жизни было то, что он перестал слышать пение птиц... Когда в разговоре возникало имя Б. Н. Делоне, Михаил Александрович, слегка зажмурившись, с удовольствием вспоминал, как еще в мальчишеские годы именно Борис Николаевич обучал его различать голоса птиц.

Будучи физиком и физиком-теоретиком, Леонтович по складу ума, по всему отношению к окружающему миру был прежде всего натуралистом-естествоиспытателем. Эта его особенность иногда проявлялась и при оценках поведения некоторых категорий людей. Много лет назад я услышал от него поразительную фразу из Тургенева: "Животное и впрямь оказалось гиеной по причине особого устройства хвоста". Так вот, обсуждая действия или высказывания людей "с особым устройством хвоста", он не негодовал и не морализировал, а оценивал их поступки с холодным любопытством натуралиста, точно так же, как зоолог описывает поведение настоящей гиены или акулы. Иное дело — обычнохвостые особи, которые ради выгоды, из-за страха или впадая в административный раж опускались ниже допускаемого Леонтовичем уровня... Удивлявшая многих и казавшаяся неадекватной, его ярость обычно индуцировалась произволом и хамством обладателя малой и средней власти, о которой точнее всех сказал поэт: "Власть отвратительна, как руки брадобрея".

Когда Леонтович впервые услышал этот стих, он поразился его точности и заметил:

— Мандельштам, очевидно, как и я, не переносил чужих пальцев на лице. Вот уже много лет, когда приходится идти стричься, я особо тщательно бреюсь дома, чтобы у парикмахера не было бы никаких поводов предложить свои услуги по части бритья.

Надо сказать, что Михаил Александрович, прекрасно знавший и помнивший классическую поэзию (он часто читал наизусть Пушкина, Некрасова, А. К. Толстого и — по-немецки — "Фауста" Гете, не гнушаясь бушевским Максом и Морицем), потом почти наотрез потерял интерес к поэзии. В 21-м году, слоняясь по городу, он случайно попал на вечер Блока, когда тот последний раз приезжал в Москву. Про этот исторический вечер есть много воспоминаний, но в памяти Леонтовича сохранился лишь внешний облик Блока, его больное измученное лицо и отрешенная манера чтения. На Блоке, видимо, кончилось активное знакомство его с русской лирикой (он, правда, любил обоих "Теркиных"

Твардовского), если не считать отдельных строк, которые он ценил за их точность.

...14 марта 1981 г. я читал ему в больнице утренние газеты. Вдруг он вспомнил:

— Ведь сегодня ровно 100 лет со дня 1-го марта. Есть что-нибудь в ваших газетах о Желябове, Перовской и вообще о столетии такого события? — В газетах ничего не было.

— Должно быть, из-за всей этой шумихи по поводу "международного терроризма", — заметил Леонтович. — Вот и два года назад не отметили 150 лет гибели Грибоедова, небось чтобы не раздражать этого Хомейни, расправа с Грибоедовым вполне в его духе.

Тут я вспомнил стихи Пастернака:

Это — народовольцы,
Перовская,
Первое марта,
Нигилисты в поддевках,
Застенки,
Студенты в пенсне.
Повесть наших отцов,
Точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится,
Точно во сне.

Михаил Александрович почти закричал на меня:

— Почему вы раньше не читали мне этих стихов? Это гениальная точность, я это чувствую по рассказам моего отца. Почему вы не прочли мне их, когда ехали в Переделкино?

Осенью 1958 г. я был проводником Леонтовича до дачи Б. Л. Пастернака (точнее, до трансформаторной будки) в Переделкине. Получилось это так. Свистопляска вокруг Нобелевской премии Б. Пастернака совпала с официальной радостью в связи с присуждением в тот же год Нобелевской премии по физике П. А. Черенкову, И. Е. Тамму и И. М. Франку. В тогдашних газетах и радиопередачах могучий поток грязи и оскорблений, выливаемый на голову Б. Л. Пастернака и Нобелевский комитет по литературе, сосуществовал с тонкой хвалебной струйкой, посвященной эффекту Черенкова. Эта струйка образовалась из заметок физиков и популяризаторов науки, в которых излагалась сущность эффекта, его значение для физики, история открытия, роль С. И. Вавилова. При этом, конечно, одобрялся Нобелевский комитет по физике, наконец-то удостоивший премии открытие советских физиков, но никаких упоминаний о другой Нобелевской премии этого года не делалось. В сочинениях же могучего мутного потока было более чем достаточно противопоставлений двух Нобелевских комитетов, но у тех сочинений были свои авторы... А физики, писавшие о черенковском эффекте, не выходили за рамки приличия. И вдруг в выступлении одного физика, работающего в ФИАНе (родине эффекта), в конце прозвучала фраза о достойном решении Нобелевского комитета по физике и о

подлом поведении комитета по литературе, присудившем премию отребью человечества, и прочее в этом роде. То, что это говорилось от имени физика, привело Михаила Александровича в ярость.

— Надо объяснить Борису Леонидовичу, что это — белая ворона, иначе он будет думать, что все физики — говно! (Даже в ярости Леонтович не доходил до мата, а оставался на экскрементальном уровне).

Он считал, что это следовало сделать И. Е. Тамму, знавшему и любившему поэзию Пастернака (сам Михаил Александрович читал только "Доктора Живаго") и оказавшемуся в положении контрпримера. Не знаю, говорил ли Леонтович с Игорем Евгеньевичем об этом, но вечером он сказал: "Едем". Он сам вел машину, и, не доезжая до дачи, мы увидели в свете фар Б. Л. Пастернака около трансформаторной будки. Мне показалось, что Борис Леонидович, думая о своем (он, оказалось, уже подписал отречение), сперва просто не понял, о чем идет речь (о выступлении того физика он, конечно, не знал), но вскоре, стоя в стороне, я услышал его гудение. Весь разговор на плохо освещенном перекрестке продолжался минут 15. На обратном пути Михаил Александрович молчал и только сказал:

— А ведь он чем-то похож на Блока.

Удивительно, что несколько месяцев спустя Пастернак, вспоминая эту встречу, заметил, что в полумраке лицо Леонтовича напоминало ему лицо Блока...

В этой давнишней истории с франовским физиком проявилась, как мне кажется, и характерная для Михаила Александровича "презумпция невиновности таланта". Он, например, на дух не переносил злобных замечаний и отзывов о своих коллегах по естественно-научным отделениям Академии наук, и поэтому некоторые обличители иногда упрекали его в кастовости и корпоративной солидарности (однажды такой упрек, к сожалению, привел к ссоре с человеком, которого он любил и уважал). Конечно, никакой кастовости не было и в помине, а была глубокая внутренняя вера, что талантливый человек, занимающийся настоящим интересным делом, просто не может быть подлецом.

— Но он же получил точное решение такой трудной задачи гидродинамики! — отвечал Леонтович обличителю некоей научной фигуры, которая впоследствии испортила немало крови и ему самому.

И все равно ему казалось дикостью, что человек, у которого есть божий дар в физике, механике или математике, может тратить время и силы на научные или карьерные интриги или совершить ради выгоды или удовольствия подлость. Поэтому он так болезненно переживал этические проступки знакомых ему ученых и очень радовался, когда узнавал, что их причиной была оплошность, а не злой умысел.

До конца жизни в нем сохранились и взволнованный интерес ко всему новому в науке, и почти юношеское восхищение людьми, добывшими это новое. Когда я раз или два в год приезжал в Москву из Тюмени, где в библиотеку поступал только журнал "Физика в школе" и лишь после моих уговоров был выписан УФН, Леонтович часами рассказывал, кто и что сделал в столицах. И сейчас, читая старые журналы, я будто снова слышу его оценки и характери-

стики, удивительно точно определяющие роль и место отдельных работ в общей картине. Во всем этом не было ничего местнического. Так, например, он больше гордился работами не своих учеников, а учеников И. Е. Тамма. А в феврале и марте 1981 г. Михаил Александрович, уже совсем плохой, с таким удовольствием пересказывал научные разговоры с Г. А. Аскарьяном, Б. М. Болотовским и А. Д. Линде, заходившими к нему в больницу, что я не смог признаться, что уже слышал это от его собеседников. Тем более, что в его изложении все выглядело иначе, не говоря уже о замечаниях, относящихся и к рассказываемому, и к рассказчикам.

Ценя талант превыше всего и считая его, кроме того, гарантом порядочности, Михаил Александрович, равнодушный ко всяким административным и общественным процедурам, всегда был очень озабочен вопросом пополнения Академии наук. Его тревожила и угнетала все более проявлявшаяся тенденция представительства в Академии наук тех или иных нужных отраслей науки, производства, народного хозяйства или регионов.

— Академия наук должна быть собранием ученых и только ученых, — говорил он, — а не теневым кабинетом министров от науки, удачливых администраторов или больших боссов.

Я пишу здесь об этом только потому, что все это очень мучило его и он много раз возвращался к "проклятому вопросу выборов", иногда из совершенно неожиданных начальных условий. Так, раз воскресным вечером на даче кто-то из внуков читал вслух стихи Заходера. По дороге на станцию Михаил Александрович вдруг сказал:

— Академик по котам, академик по китам! Вот, вот. Конечно, зоолог, превзошедший всю кошачью науку, может быть и должен стать академиком. Но если принято решение развернуть для населения производство ушанок из кошачьих шкур, то почему в Академии наук надо иметь академика по котам? А завтра снимут ограничение на забой китов, который тут же станет существенным источником валюты, и по их логике подавай академика по китам! И может, даже выберут бывшего членкора по котам, вовремя перешедшего на новую должность*[5].

Он болезненно переживал поведение своего младшего сотоварища по Отделению, когда тот, исходя из государственных соображений, выступил с поддержкой кандидатуры хозяина большой закрытой фирмы, мотивируя чрезвычайной важностью продукции этой фирмы, а потом, уже в личном разговоре с Леонтовичем, тем, что этот босс не только превосходный организатор, но даже понимает все, что делается в его хозяйстве.

— Он за это деньги и ордена получает, — говорил Леонтович. — Ну дайте ему премию, две премии, еще одну звезду навесьте, сделайте генеральным конструктором, министром, наконец. Но почему этот умный плантатор должен быть в Академии наук? Завенягина ведь не выбирали в академию!

Его озабоченность академическими делами относилась, однако, только к точным и естественным наукам, к тому, что англичане называют *science*. Что же касается наук общественных, деформированных культом личности, то на них он уже давно махнул рукой. Как-то раз я заговорил о достоинствах некоего историка.

— А ваш собственный рассказ о разговоре в ВАКе вы уже забыли? — прервал меня Михаил Александрович. — А вот я помню!

В конце 1955 г., приехав в Москву, я зашел по делу сослуживца в ВАК. И там при мне один перевозбужденный историк добивался ускорения утверждения своей диссертации.

— Вы поймите, — восклицал он, — скоро будет съезд, а после него, наверняка, некоторые тезисы моей работы станут ошибочными, и тогда уж диссертацию обязательно зарежут!

Вот эту историю и имел в виду Леонтович.

Но беспроигрышной картой в разговорах на подобные темы была история про учителя физики и Институт Маркса — Энгельса — Ленина. В "Диалектике природы" в разделе "теплота" приводилась матросская байка о свечении ядер, попадающих в борт броненосца. Энгельс предположил, что вся кинетическая энергия ядра превращается в тепло, и получил температуру нагрева, соответствующую малиновому свечению металла. Это место читали, конечно, сотни тысяч людей, но только один провинциальный учитель заметил, что в формуле $mv^2/2$ Энгельс берет массу в килограммах, скорость в м/с, а энергию получает в килограммометрах, т. е. делает ошибку, за которую учитель не раз ставил двойку (массу надо было, по понятиям того времени, брать в т. е. м.). Из-за этой ошибки температура получилась в 10 раз больше. Об этом учитель написал в ИМЭЛ. Ему ответили, что Энгельс — классик, так что у него ошибок нет и не может быть. Учитель переслал этот ответ вместе со своими расчетами президенту Академии наук. С. И. Вавилов попросил подготовить разумный ответ, что-де ошибка действительно есть, что при пересчетах систем единиц порой ошибаются и физики-профессионалы, что самого Энгельса вообще нечего упрекать: "Диалектика природы" — не книга, выпущенная автором, а изданное много лет спустя после смерти собрание черновых заготовок. Ответ был подготовлен, но С. И. Вавилов вскоре умер. Что стало с ответом и его копией в ИМЭЛ, неизвестно, но до сих пор новые издания "Диалектики природы" выходят без каких-либо примечаний к этому месту*[6].

Активная озабоченность Леонтовича академическими делами и бескомпромиссная позиция во всех больших и малых осложнениях и противоборствах привели к тому, что некоторые из его коллег стали называть его совестью Академии наук. Когда это дошло до Михаила Александровича, он буркнул:

— Мда. Им, конечно, виднее, но вряд ли члены конвента считали для себя похвалою прозвище Робеспьера "неподкупный".

О Леонтовиче еще при жизни ходило немало легенд. По одной из них он был эдаким Иваном Антикалитой, предлагавшим деньги направо и налево, не спрашивая даже, для чего эти деньги нужны. Это не совсем так. Из-за скромного уклада жизни и его самого ("у меня же уже есть два костюма и еще новые штаны"), и всей семьи у него, как правило, были свободные деньги. И одалживали у него многие: от лаборантов до академиков. Но сам он не навязывался и обычно интересовался, на что берут деньги. Я знаю лишь про одно исключение.

Еще при Сталине некий физик проявил чрезмерную ретивость, перешел предел упругости начальства, и в результате возникла реальная угроза увольнения. Михаил Александрович, ни о чем не спрашивая, одолжил ему значительную сумму, которая, как потом выяснилось, пошла на "постройку" мехового манто для одной из красавиц Вахтанговского театра. Узнав об этом, Леонтович только воскликнул некрасовское: "Не все ж читать вам Бокля!" — и поинтересовался, получил ли даритель желаемую награду. И хмыкал, когда шутили, что теперь у него есть актриса на содержании.

По другой легенде он был современным Дон Кихотом, бросавшимся с копьем наперевес всякий раз, когда узнавал о какой-либо несправедливости. Это тоже не совсем так, хотя бы потому, что никаких копий не хватило бы. Действительно, когда к нему обращались с просьбой о помощи или поддержке, он старался сделать все, что можно. Но на ветряные мельницы он не лез, и погонщики мулов ребер ему не ломали*[7]. Недовольству же властей он не придавал значения, а опалу, выразившуюся, главным образом, в прекращении положенных к круглым датам и табельным дням наград, он попросту не заметил[5]. Накануне 70-летия Леонтовича сотрудники его сектора очень переживали, что его опять обойдут предусмотренным академическим регламентом орденом, составляли какие-то бумаги, наводили справки о его работе в военные годы, где-то чего-то доказывали. Михаил Александрович почуял жареное, и пришлось ему объяснить, что вся эта экстраординарная суета имеет причиной его "неосторожные" поступки, нарушившие нормальное течение юбилейных действий. Вот если бы этих поступков не было, то нечего было бы и хлопотать.

— А мне рассказывали, — говорил потом Леонтович, — что Твардовскому тоже пеняли в его юбилей: "Мы готовили представление на Героя, а вы вздумали заступаться за этого Медведева, и вот больше Красного Знамени не получилось". А Твардовский ответил: "Не думал, что у нас Героя дают за трусость".

Мне всегда казалось, что Михаил Александрович начисто лишен чувства страха. Ни в критических ситуациях в горах и на порожистых реках, ни в водоворотах гражданской жизни я ни разу не замечал в нем никаких проявлений страха, даже на уровне инстинкта самосохранения. И в других людях его больше всего огорчала и разочаровывала трусость.

Впервые я услышал страх в его голосе за два дня до смерти, 28 марта. Но это не был страх самой смерти, к ней у него до конца было базаровское отношение. Это был другой страх... Последние четыре дня он иногда жил уже в двух временах: прошлое, которое раньше фигурировало лишь в рассказах о нем, вдруг становилось вторым настоящим.

Днем 27-го он начал говорить о делах в секторе:

---

[5] Он и прежних своих орденов не замечал и не помнил. Однажды, роясь в бумажном завале в ящике стола, он вытащил типографски напечатанное поздравление Президиума АН СССР с 50-летием и награждением орденом Ленина. "Вот этого ордена мне точно не вручали, — улыбаясь, сказал Леонтович. — Им тогда (7 марта 1953 г.) было не до указов! Но зато я получил хорошее отступное". Потом он и эту историю забыл.

— У меня еще будет куча хлопот с Володей[6] и этим его любимчиком... Но, может, я и не выйду отсюда... Ведь все хуже и хуже.

И тут же сразу об огорчениях прежних лет, как о свежих событиях, — и о А. М. Будкере, как о живом.

Поздно вечером он вдруг начал беспокоиться о будущем внуков и упрекать себя, что мало об этом заботился. Я, как мог, снял тревогу, и он заснул.

28 марта еще до полудня мне позвонили из больницы: Михаил Александрович волнуется и просит срочно приехать. Когда мы остались вдвоем, он сказал:

— Я очень боюсь. Сейчас я совсем беспомощный, и они смогут заставить.

— Что?

— Делать то, что им нужно.

— Кто? И что?

— Вы должны понимать, кто и что. Вот и Игорь Евгеньевич не гарантирует, что при повороте событий меня не будут пытаться привлечь и к этому.

Я понял и стал говорить ему, что Игорь Евгеньевич давно умер, что и время сейчас другое, и никто не сможет заставить, да и этим, небось, теперь занимаются не физики-теоретики, а практики.

Он спросил:

— Вы так думаете? — а потом замолчал и заснул. Но вечером, перед моим уходом, снова спросил:

— Вы уверены в том, что тогда сказали?

В начале ночи телефонный звонок из палаты. Дежуривший у постели студент-медик передает трубку Михаилу Александровичу.

— Очень волнуюсь. Приезжайте завтра с самого утра.

— Может быть, сейчас приехать?

— Нет, я устал. Буду спать. Вы ведь в самом деле уверены?

Мне придется рассказать о том, что я должен был понимать. Я знал, что Леонтович был привлечен к работе над проблемой управляемого термоядерного синтеза (УТС) по инициативе И. Е. Тамма. И он всегда помнил про это, потому что эта инициатива была проявлена в те дни, когда все исследования и разработки, связанные с любым освобождением ядерной энергии, курировал лично Берия[7], и люди его ведомства всюду плотно заполняли институты и заведения, связанные с "проблемой". Ходила легенда, что во время заседания на высшем уровне, где И. Е. Тамм приводил аргументы о целесообразности привлечения Михаила Александровича, референт положил перед Берией записку. Тот прочел и изрек:

— Будытэ слэдыт, не будэт врэдыт!

---

[6] Михаил Александрович всех своих сотрудников и учеников называл по имени-отчеству, но в третьем лице часто звал по имени. И в разговорах о них всегда чувствовалась почти отцовская забота ("Ну как мне отвадить Ленечку от ОТО. Не его это дело, вот и получается сплошное разочарование"). Одни были легкие и удачливые, другие — трудные и непутевые, но все — родные.

[7] Теперь об этом можно рассказать? Или мы до сих пор должны пробавляться гранинским сценарием "Выбор цели", где между И. В. Сталиным и И. В. Курчатовым есть место лишь для Кафтанова, неизвестного мужчины в полувоенной форме и двух театральных старцев — Вернадского и Иоффе?

И решение было принято.

Об истинности этого эпизода я узнал уже после смерти Леонтовича от А. Д. Сахарова, который присутствовал на заседании.

Так что начало деятельности Леонтовича в новой отрасли никак нельзя назвать идиллическим. Конечно, потом все обошлось наилучшим образом: Берия исчез, ЛИПАН (ИАЭ) стал для Леонтовича родным домом, где он обрел новых друзей, замечательных учеников и сотрудников, а сам оказался не только душою теоретических исследований по УТС, но и руководителем всесоюзного ликбеза по плазме, постоянным участником которого — до самой смерти — был И. В. Курчатов. Все это так, но у Михаила Александровича осталась горечь, что в начальное смутное время И. Е. Тамм заложил его для пользы дела, не спросив согласия и даже не предупредив. Наверное, он не имел на это права до принятия окончательного решения, но все-таки... после смерти Л. И. Мандельштама для Леонтовича не было, вероятно, физика ближе и дороже, чем И. Е. Тамм, дружба с которым началась в 20-х годах, когда аспиранты Андронов и Леонтович готовили задачи для "Теории электричества". Что же касается гарантий при повороте событий, то что мог обещать Игорь Евгеньевич?.. Когда на установке в ЛИПАНе зарегистрировали заметный выход нейтронов, не было уверенности в их термоядерном происхождении.

При обсуждении этого вопроса один из ветеранов-корифеев сказал:

— Бог с ним, с происхождением. Для наших целей важно, чтобы нейтронов было много.

Когда же Леонтович подчеркнул, что интерес представляют только термоядерные нейтроны, корифей назвал его не то "пацифиствующим интеллигентом", не то "интеллигентствующим пацифистом" — от возбуждения Леонтович забыл, что было существительным, а что — прилагательным.

...Утром 29-го марта:

— А если заставят. Запрут и заставят. Мне даже руку сейчас поднять трудно. У них же нет ни жалости, ни просто человеческого сочувствия.

Я уговариваю не волноваться, повторяю вчерашние доводы.

— Вы уверены, что меня не тронут?

— Уверен. И мы все не дадим!

— Ну, ладно...

Успокоившись, он задремал. Сознание постепенно уходило.

Потом в течение дня, когда кроме семьи были еще Шафранов и Русанов, он, по-моему, несколько раз произнес в ответ на вопросы и предложения только слово "нет".

30 марта в 6.30 утра он, не приходя больше в сознание, скончался.

Днем меня попросили принять участие в составлении некролога, а к вечеру я узнал в секретариате Президиума АН СССР, что некролог будет подписан — согласно указанию отдела науки ЦК — не людьми, знавшими и любившими Михаила Александровича, а организациями. Всемогущая референтша спокойно объяснила, что перед именами ученых должны быть имена хоть нескольких руководителей партии и правительства. А Леонтовичу это не положено.

Я обратил внимание на анатомическое противоречие слов "останется в наших сердцах" с перечнем ведомств, но у аппарата своя машинная логика.

Однако конец некролога все-таки переделали...

Однажды, рассказывая в больничной палате о своем деде — замечательном механике В. Л. Кирпичеве, Михаил Александрович закончил словами:

— Но я тогда, конечно, не мог понимать, какой он ученый. Мне ведь было всего 10 лет.

В день похорон вечером после поминок я уводил от друзей моего десятилетнего сына. И неожиданно, почти с текстуальной точностью он сказал эти же слова о своем деде.

Проходит время, и мы все лучше понимаем, каким физиком, учителем и человеком был Михаил Александрович Леонтович.

1990 г.

*[1] В оптическом разделе курса А. Б. Млодзеевского наиболее оригинальным местом был вывод формулы для фокусного расстояния толстых линз, принадлежащий математику Б. К. Млодзеевскому — на нашем тогдашнем жаргоне: "папин вывод", который обязательно нужно было знать на экзамене.

Надо сказать, что и А. К. Тимирязев не упускал возможности сослаться — в общефилософских отступлениях — на своего папу.

А Швидковский со страстью неофита пересказывал, как мы потом поняли, аксиоматическую термодинамику Каратеодори. Это было даже интересно, но с математической точки зрения.

*[2] Появление В. А. Фока было обставлено весьма торжественно. Еще бы — первый и единственный академик в институте! После приема в дирекции В. А. был доставлен на специально включенном для этого лифте на наш этаж и в сопровождении самого директора, его замов, главного инженера и начальника режима дошел до дверей предназначенного ему кабинета. Позади, прижимаясь к стенкам, тянулись сгоравшие от любопытства девицы из дирекции и других служб.

Именно для этих девиц я неожиданно стал "калифом на час". В. А. приехал без точного предварительного сговора, и М. А. в этот момент, к возмущению начальства, был где-то на стороне. Как только за Фоком закрылись двери его кабинета, заместитель директора вошел к нам и рявкнул: "Идите к академику и объясняйте ему, что к чему и где начальник лаборатории". Мы бросили жребий, и идти выпало мне. Потом одна из пристеночных девиц, широко раскрыв глаза, рассказывала: "Мы и не думали, что Левин такой отчаянный. Вошел и сразу начал орать на академика. А тот: бу-бу-бу. Левин опять орет. Тот снова: бу-бу-бу. Потом Левин вышел весь красный, злой..."

А В. А. не для каждого, тем более незваного посетителя, включал свою слуховую технику... Однажды меня занесло на какую-то околофизическую философскую дискуссию с участием главных диалектических корифеев, паразитирующих на науке. В. А., выдав с трибуны всем этим сестрам по серьгам, вернулся в президиум, снял слуховое устройство и блаженно улыбался, пока разозленные оппоненты поносили его в ответных выступлениях.

*[3] На экзамене я получил даже 5, но это отдельная история. Вместо С. Э. Хайкина экзамен принимал доцент кафедры Е. Я. Пумпер: "С. Э. уехал в командировку, но он передал мне, что вы придете сдавать экзамен. Садитесь".

Помолчав минуты две, Пумпер нарисовал на листочке LC-контур: "Какая у него собственная частота?" Я ответил.

"Вы можете привести механический аналог этой электрической системы?" Я нарисовал шарик на пружинке и написал формулу для частоты.

"Хорошо. А что будет, если еще есть сила трения о воздух?"

После того как я ответил и на этот вопрос, Е. Я. спросил: "А что является аналогом трения в электрическом случае?" Получив ответ, он помолчал, теперь уже минут пять, а потом сказал: "Ну, хорошо, идите". Я нахально протянул зачетку.

"Оставьте. С. Э. потом распишется и передаст зачетку в учебную часть".

На следующей неделе я получил в учебной части зачетку с "пятеркой" по годовому курсу "теории колебаний".

Только через несколько лет я узнал причины такого странного экзамена. Уезжая в Ленинград, уже на вокзале, С. Э. вспомнил о просьбе М. А. и наказал провожавшей его жене передать все Пумперу. Жена, не будучи физиком, научную часть просьбы, естественно, не поняла и не запомнила и в результате сделала ее более человечной.

Пумперу было сказано, что в лаборатории М. А. есть некто Левин, очень нужный человек, у которого все приборы сразу начинают работать. Но он тупой, в теории ничего не понимает и поэтому никак не может кончить университет. И вот М. А. просит натянуть ему положительную отметку: "Хоть дуб, но золотые руки".

Пумпер – предельно добросовестный человек – не мог поставить "три" ничего не знающему студенту и поэтому задал эти 4 вопроса. Получив же "блестящие ответы", он не решился рисковать дальше и оставил решение С. Э. Тот потом долго смеялся, но настоящего экзамена не устроил, сказав: "За один грех дважды не вешают".

Все это рассказал С. Э. на обеде, который устроил Г. С. Горелик по случаю приезда Н. Д. Папалекси на конференцию в Горький. Присутствовал и М. А., который очень веселился и, тыча меня пальцем в грудь, повторял: "Дуб, но золотые руки!"

Хозяину же было не до веселья. Домработница Гореликов говорила, что ей невозможно выговорить полностью "Габриэль Семенович", и называла его просто "Габа". Зато нахальную кошку Пупу она звала Пупа Пупалекси (моя вина: задолго до этого обеда я сочинил языколомку "Пупа Пупалекси прочла Апокалипсис", Горелики ее подхватили, и у кошки появилась расширенная кличка). За столом М. А. несколько раз спрашивал: "Что она говорит?" Подросток-сын Горелика давился от смеха, а из кухни доносилось:

– Брысь, Пупа Пупалекси! Я кому говорю, Пупа Пупалекси, брысь!

Когда жена Г. С. отправилась на кухню демпфировать ситуацию, оттуда напоследок прозвучало: "Тогда пусть Габа сам держит Пупу Пупалекси! (кошка была любимицей Г. С., и он не разрешал ее наказывать).

*[4] Существовала и более серьезная императорская проблема. Мне попались в руки изданные в 20-х годах дневники коменданта и комендантши Царскосельского дворца конца прошлого века, и там среди прочего материала, разоблачающего "их нравы", оказалась запись о том, что Николай II во всю ухлестывал за молодой баронессой Пистолькорс и что "крепость вот-вот сдастся". Не помню, был ли Николай уже царь или еще цесаревич, но дата записи хорошо совмещалась со сроком появления на свет А. А. Пистолькорса. Я поделился этим историческим разысканием с М. А., после чего он каждый раз внимательно приглядывался к А. А. П. и чувствовалось, как ему трудно удержаться от вопросов.

*[5] Думаю, что М. А. никогда бы не согласился с известной формулировкой в "Материализме и эмпириокритицизме" о дипломированных лакеях... Но он ее и не знал.

*[6] Тут было еще промежуточное звено. Получив ответ из ИМЭЛ, учитель написал подробный разбор по пунктам и снова послал в ИМЭЛ. Поскольку ошибка была в механической части расчета, ИМЭЛ послал все материалы на заключение академику по механике – Некрасову (точные решения задач о волновом движении тяжелой жидкости). А тот совсем недавно оттрубил срок в шараге и, умудренный опытом, ответил: ваши расчеты верны, но в данном случае Энгельс прав. Вот тогда уж озверелый учитель послал всю переписку Вавилову: смотрите, какие у Вас академики!

Но это звено М. А. обычно пропускал. Из жалости к Некрасову или из желания еще больше уязвить ИМЭЛ – не знаю.

*[7] На моей памяти М. А. только один раз был инициатором письма-протеста. В нем шла речь об исключении А. И. Солженицына из Союза писателей. М. А. был знаком с А. И. (знакомство произошло по желанию А. И.), читал его тогда еще не опубликованные произведения и относился к нему с большим уважением.

В более ранние времена, когда А. И. С. был "в моде", некоторые крупные ученые с удовольствием бахвалились знакомством с А. И. (и даже тем, что бывали в квартире, где тот, в бытность з/к, якобы настилал паркет). Поэтому им было теперь психологически трудно отказаться подписать письмо, составленное М. А. Но умный Л. А. Арцимович сразу придумал отвлекающий маневр: письмо в ЦК об угрозе возрождения сталинизма, проявившейся в романе Кочетова "Чего же ты хочешь?". Это был абсолютно безопасный номер, так как уже было известно, что роман осужден высшей идеологической инстанцией.

В результате этого маневра М. А. собрал всего две-три подписи. К неудаче он отнесся по-философски, но был ужасно огорчен, когда к нему пришел А. Б. Мигдал, бывший в его глазах воплощением всех истинно мужских качеств – талантливый физик, скульптор, отважный альпинист, лихой подводный стрелок, душа любого общества, кумир молоденьких девушек и умудренных жизнью академических дам – и смущенно попросил снять его подпись под письмом М. А., поскольку он только что подписал письмо Л. А., а подписывать сразу два письма против правил.

– Ну что ж, пускай лягает дохлого осла, – сказал М. А. – Оно спокойнее. Но от А. Б. я такого не ожидал.

ПРОГУЛКИ С ПУШКИНЫМ

I

До войны физфак был куда меньше, чем теперь, и к началу второго семестра мы все, поступившие в 1938 году, более или менее перезнакомились друг с другом. А тут еще начал работать физический кружок нашего курса, куда ходили человек 20 — 25. В их числе и Андрей Сахаров, который сразу выделился неумением ясно и доходчиво излагать свои соображения. Его рефераты никогда не сводились к пересказыванию рекомендованной литературы и по форме напоминали крупноблочную конструкцию, причем в логических связях между отдельными блоками были опущены промежуточные доказательства. Он в них не нуждался, но слушателям от этого было не легче. Один из таких рефератов (об оптической теореме Клаузиуса) был настолько глубок и темен, что руководителю нашего кружка С. Г. Калашникову пришлось потом переизлагать весь материал заново.

Мне кажется, что Андрей искренне и простодушно не осознавал этой своей особенности довольно долго. На учебных отметках она практически не отражалась, ибо глубина и обстоятельность его знаний все равно выпирали наружу. Но зато из-за нее он абсолютно не котировался у наших девочек во время предэкзаменационной горячки, когда другие мальчики вовсю натаскивали своих однокурсниц. Правда, был особый случай. Одна из наших девочек по уши влюбилась в молодого доцента-математика. Ей было мало его лекций и семинарских занятий, и она стала ходить на предусмотренные учебным регламентом еженедельные консультации, которые, естественно (в середине семестра!), никем не посещались. Загодя она разживалась "умными вопросами", и, когда подошла очередь Андрея, он придумал ей такой тонкий и нетривиальный вопрос, что консультация, вместо обычных 15 — 20 минут, растянулась — на радость нашей Кате — часа на полтора.

Сам Андрей вгрызался в науку (физику и математику) с необычайным упорством, копал глубоко, всегда стремясь дойти до дна, а все узнанное отлагалось в нем прочно и надолго.

Сейчас я, конечно, плохо помню, что рассказывалось на кружке, но он сыграл определяющую роль в наших отношениях с Андреем. Дело в том, что мы учились в разных группах и в обычные дни мало пересекались. А кружок начинался ближе к вечеру, и после окончания заседания все расходились по домам. Андрей и я жили неподалеку друг от друга, так что нередко шли вместе пешком от Моховой до "Тимирязева", иногда прихватывая бульвар или кусок

Спиридоньевки. И довольно скоро в тогдашних разговорах прорезалась тема, линия которой пунктирно протянулась на пятьдесят лет.

Началась эта линия так.

С. Г. Калашников, опытный педагог, предложил перечень докладов, имевший целью углубление и расширение лекционного курса. Нам же хотелось поскорее ворваться в новую физику — теорию относительности и квантовую механику. Калашников, ссылаясь на Эренфеста, втолковывал нам, что и Эйнштейн, и Бор любили и до тонкостей знали классическую физику и именно поэтому осознавали вынужденную необходимость отказаться от нее. Понимание новой физики не сводится к правилам и формулам, ее надо выстрадать и пережить, как говорил Ландау. Ворча про себя, мы покорились. По дороге домой Андрей сказал:

— Сергей Григорьевич прав. Не надо уподобляться Сальери.

— При чем тут Сальери?

— Вспомни:

...Когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?

Нельзя бросать, а потом бодро и безропотно следовать. Разрыв со старым должен быть мучительным.

Не будь этого случая, Пушкин все равно возник бы в наших разговорах. Еще не сошла на нет огромная волна пушкинского юбилея 1937 года. Печатался по кускам роман Тынянова, переиздавали пушкинского Вересаева, шел спектакль, в котором Пушкин говорил стихами Андрея Глобы; в другом спектакле пушкинский текст был подправлен Луговским. Зощенко написал целую повесть Белкина "Талисман". Все это занимало нас. В сборнике стихов, сочиненных учениками Антокольского, Андрей напоролся на обращение:

Ты долго ждал, чтоб сделаться счастливым...
Теперь сосредоточенны, тихи,
Районные партийные активы
До ночи слушают твои стихи.

Четверть века спустя он вспомнил это четверостишие:

— Драгоценное свидетельство современника, как сказал бы Пушкин. А ведь действительно в тот страшный год всюду проходили и такие активы. Единственные в своем роде — после них все участники расходились по домам.

В другом стихотворении описывалось, как Наталья Николаевна укатила во дворец на бал, а Пушкин остался дома поработать. Но ему не пишется, одолевают ревнивые мысли:

Сейчас идешь ты, снегу белей,
Гостиною голубой.
И светская стая лихих кобелей
Смыкается за тобой.

— Боже мой! — воскликнул Андрей. — Как мог Антокольский включить такое? И неужели он не знает, что жена камер-юнкера не могла быть на придворном балу без мужа?

Сам Андрей в свои 18 лет это хорошо знал. Он не просто читал и перечитывал Пушкина, он как-то изнутри вжился в то время. Много лет спустя он сказал мне, что кусок русской истории от Павла I и до "души моей" Павла Вяземского[1] существует для него в лицах. Но и 18-й век Андрей знал очень хорошо. Когда в 1940 году МГУ получил новое имя (мы поступали в "имени М. Н. Покровского"), Андрей сказал сразу, что основателем и куратором университета был граф И. И. Шувалов, хотя первоначальная идея шла, конечно, от Ломоносова.

Тогдашние суждения Андрея о Пушкине запомнились мне своею независимостью и нестандартностью. Он, например, категорически не соглашался с расширительным толкованием строк:

И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа, —

вырванных из реального контекста стихотворения, написанного в 1818 году. Эти две строки перекочевывали из одной юбилейной публикации в другую, а в наше время вошли уже в названия статей и книг, не говоря о миллионах школьных сочинений. Почему Пушкин, гордящийся 600-летним дворянством и столь щепетильный в вопросах чести, декларирует свою неподкупность? Откуда у 19-летнего юноши самоуверенная претензия быть эхом народа? На самом деле все объясняется просто. Стихотворение было написано в честь императрицы Елисаветы Алексеевны. Произведения подобного жанра обычно вознаграждались (скажем, табакерками с алмазами). Поэтому Пушкин сразу отметает такое оскорбительное предположение. Любовь народа к царствующим особам была общим местом мировоззрения того времени, и эту народную традицию отражает (эхо!) голос ни на что не претендующего молодого поэта. И нечего притягивать сюда замыслы будущих декабристов отдать Елисавете трон ее мужа.

Точно так же Андрей относился к рассуждениям о том, что заключительная ремарка "Бориса Годунова" передает навеянный сочинениями декабристов взгляд Пушкина на глубинную совесть и нравственные устои народа. В законченном накануне восстания и принятом с восторгом в Москве 26-го года "Борисе" народ не безмолвствовал, а кричал: "Да здравствует царь Дмитрий Иванович!" Такими были тогда взгляды Пушкина, и к такому финалу вели законы трагедии, которым он учился у "гениального мужичка" Шекспира[2]. А безмолвствие появилось лишь в беловой рукописи 30-го года, представленной цензору.

---

[1] "Душа моя" — из шуточного обращения Пушкина к маленькому сыну П. А. Вяземского: "Душа моя, Павел..."

[2] Слова А. С. Пушкина о Шекспире, записанные Кс. Полевым.

Кстати, много лет спустя по случаю очередного некруглого юбилея в газете напечатали "Слово о Пушкине", произнесенное одним из литературных генералов. И там были слова о народном осуждении убийства *детей* Бориса. Андрей засек этот ляп и с горечью сказал:

— Ну ладно, он может и не знать, что Ксения досталась на потеху Самозванцу. Но почему он не дал себе труда прочитать пушкинские тексты, мыслями о которых он счел нужным поделиться?

В "Юбилейном" Маяковского, которое тогда было у всех на слуху, Андрей с ехидством отметил, что предрекаемая Дантесу участь никак не связана с убийством Пушкина, а опирается только на происхождение ("Ваши кто родители") и занятия до 17-го года. По этим правилам отбора и Пушкина с Лермонтовым мы тоже "только бы и видели". И тут он вдруг добавил, что мальчиком долго не мог преодолеть барьер имени, начиная и бросая читать "Графа Монте-Кристо"[3].

Неожиданной для меня оказалась его неприязнь, переходящая в ненависть, к Данзасу. Как тот мог допустить?! Бывшие в то время в ходу объяснения и оправдания — доверие Пушкина, нехватка времени, дворянские понятия о дуэльной чести — Андрей отмел с порога:

— Иван Пущин был человек чести, а он уверенно писал, что не допустил бы дуэли. И особого ума тут не требуется. На Черной речке лежал глубокий снег. Данзас должен был подать Пушкину заряженный пистолет со взведенным курком. И тут он мог оступиться, падая, "нечаянно" спустить курок и ранить самого себя (в ляжку, а не в бок!). При кровоточащем секунданте дуэли не может быть, д'Аршиак бы не согласился. Поединок откладывается, потом друзья успевают вмешаться...[4]

Пожалуй, стоит упомянуть еще об одном литературном событии этого времени. В школе мы проходили "Сказки" Салтыкова-Щедрина и "Пошехонскую старину". Сверх того читали, конечно, "Помпадуров" и "Историю одного города". Но вот где-то на третьем курсе наш однокурсник и мой близкий друг Кот Туманов открыл "Современную идиллию". Читая ее каждый у себя дома, мы целую неделю обменивались в университете находками. Андрей гордился тем, что первым нашел в росписи расходов менялы Парамонова пятиалтынный "на памятник Пушкину" и больше тысячи "в квартал на потреотизм...". Лет двадцать тому назад, уже во времена опалы, мы смотрели телевизионное выступление некоего седовласого ученого мужа, несшего высокопарную ахинею. Андрей, тщательно выговаривая фонемы, сказал:

— Сумлеваюсь, штоп сей старик наказание шпицрутенами выдержал, — и был доволен, когда я сразу подхватил:

— Фтом же сумлеваюсь.

Еще раз вспомнил "Современную идиллию", прочитав "Зияющие высоты" А. Зиновьева. К сожалению, сделанное им тогда тонкое замечание полностью может быть оценено только физиками. Он сказал, что "Зияющие высоты"

---

[3] Настоящее имя героя романа Дюма — Эдмон Дантес.

[4] "Базовые" люди всегда отмечали редкое сочетание в Сахарове таланта физика-теоретика с гениальностью инженера-конструктора. Программа действия для Данзаса свидетельствует, что конструктивные решения были свойственны Андрею задолго до "базы".

обладают свойствами пластинки с голограммой и в этом (но не только в этом!) схожи с "Современной идиллией". Кусок в 30—40 страниц обеих книг дает хоть и бледноватую, но полную картину замысла и средств автора, а дальнейшее чтение лишь делает картину более четкой и яркой.

Однокурсников Сахарова часто спрашивают об его общественно-политических взглядах довоенных времен. В моей памяти сохранились только две истории, имеющие сюда отношение.

Главный инженер МГУ подрядил студента нашего курса Стасика Попеля выкопать большую яму на заднем дворе, а когда работа была кончена, отказался заплатить обещанные деньги (уговор был устный), утверждая, что яма рылась в порядке общественной нагрузки. Долгое препирательство кончилось тем, что Стасик врезал ему по морде. После этого деньги были сразу отданы, но инженер накатал телегу в партком, напирая на политическую окраску и разрыв в связи поколений строителей коммунизма: комсомолец избил и ограбил члена ВКП(б). Дело разбиралось на факультетском комсомольском собрании. Вузком настаивал на исключении, после чего, разумеется, автоматом следовало отчисление из студентов. Старшекурсники и аспиранты, пережившие собрания 37-го года, поддерживали вузком. Мы же вовсю отбивали Стаса, казуистически доказывая, что была пощечина, а не мордобой. Андрей очень переживал эту историю и, сидя в коридоре (он не был комсомольцем), расспрашивал выходящих покурить о ходе судилища. Еще перед началом собрания он предупредил об уязвимости нашей линии защиты: отрыв яму, Стасик настолько заматерел, что пощечина по намерению вполне могла оказаться мордобоем в исполнении. Но все кончилось благополучно. Стасик отделался строгачом с предупреждением, и больше всех радовался Андрей, поздравляя Кота Туманова и меня с тем, что нам удалось оттянуть часть наказания на себя (нам обоим влепили какой-то мелкий выговор за безобразное поведение на собрании).

...Летом 86-го года в первый час нашей встречи, когда мы укрывались от моросящего дождика под навесом почтового отделения в Щербинках и разговор был рваным и скачущим, Андрей засунул руку в карман моего плаща. Я крепко сжал его замерзшие пальцы и неожиданно для самого себя спросил:

— Что ты чувствовал после того, как врезал Яковлеву?[5]

Андрей ответил коротко:

— Знаешь, я вспомнил Стасика Попеля.

В физпрактикуме работал ассистент Туровский, резко отличавшийся от своих коллег непонятной робостью. Если по коридору шла навстречу ему ватага студентов, Туровский прижимался к стенке. Задачи практикума, даже явно сляпанные на халтуру, он всегда принимал с первого раза и всячески избегал и тени возможного конфликта со студентами. Кто-то из них однажды повел себя слишком нагло, вышла тягостная сцена, а потом Андрей со слов своего отца рассказал мне о тайне Туровского. Его родители были Троицкие, после революции эту поповскую фамилию поспешили сменить на "Троцкий", а десять лет спустя с еще большей поспешностью ее переменили на нейтральную "Туровский". И теперь он больше всего боится любых событий и обстоятельств, могущих

[5] Проф. Н. Н. Яковлев — автор книги "ЦРУ против СССР".

потревожить в отделе кадров его личное дело, содержащее графу об изменении фамилии. По этой причине он, кажется, и не пытался защитить диссертацию.

— Только ты никому не говори об этом. Не дай Бог оказаться камешком, породившим страшную лавину.

Я и не говорил все пятьдесят лет. Но теперь об этом можно рассказать.

В том, что наши разговоры происходили, как правило, на ходу, не было ничего удивительного. В довоенной Москве, с ее коммунальными квартирами, и товарищество, и долголетняя дружба завязывались и развивались во дворах и в переулках. За три года студенческой жизни я всего несколько раз забегал на Гранатный взять или отдать книгу из домашней научной библиотеки отца Андрея и из всего, сказанного мимоходом Дмитрием Ивановичем, запомнил только одно, поразившее меня сообщение: во двор моего дома, оказывается, выходили окна квартиры О. Н. Цубербиллер — составительницы знаменитого математического задачника! И Андрей тоже несколько раз заходил ко мне — у нас было довольно много книг о декабристах, в частности, успевшие выйти до разгрома "школы Покровского" первые тома Следственного дела... В сентябре 1968 года Андрей попросил меня рассказать о Вадиме Делоне и Павле Литвинове, которых я знал с их малолетства. Когда-то Вадим подарил мне тетрадочку своих стихов. В нее был вложен листок с переписанным от руки будущим знаменитым шлягером "Поручик Голицын". С орфографией у Вадима всегда были расхождения, и Андрей сразу же споткнулся о "корнет Абаленский". Потом сказал, что ведь некоторые декабристы, да и сам князь Оболенский в собственноручных ответах на вопросы следственной комиссии тоже писали кто — Аболенский, кто — Обаленский, а кто совсем как у Вадима. А Бестужев-Рюмин вообще просил разрешения писать ответы по-французски. То был век богатырей, слабых в русской грамоте.

И вдруг он взял несколькими октавами выше:

— Знаешь, я ведь имел дело и с генералами, и с маршалом. Все они жидковаты в сравнении с Алексей Петровичем Ермоловым. В сношениях с начальством застенчивы.

Андрею очень нравился этот ермоловский оборот, и он не раз метил им своих коллег по Академии наук. Например, после появления знаменитой статьи 11 прим. Уголовного кодекса.

В моем рассказе о студенческих годах Андрея Сахарова пропорции, конечно, не соблюдены. О физике и математике речь, разумеется, шла чаще, чем о Пушкине. Но разговоры о науке относились к ее учебно-методической стороне (за три года мы не дошли даже до классической электродинамики) и поэтому плохо удержались в памяти.

II

Война и судьба развели нас на пятнадцать лет. Встретились снова среди деревьев большого двора, окаймленного жилыми домами ЛИПАНа на 2-м Щукинском. Андрей быстро заметил, что мне мешает тактичное присутствие "секретаря", и повел к себе домой знакомить с женой и дочками. Тут разговор пошел вольный, вольнее даже, чем в былые времена, но Андрей больше

спрашивал, чем рассказывал сам. Сказал только: "Теперь я и академик, и герой. Такой герой, что о мореплавателе не может быть и речи".

И действительно, за морем он побывал лишь три десятка лет спустя. А данный им обет молчания свято исполнял до последнего дня жизни. И все, что я знаю о подводной части научного айсберга "Сахаров", имеет источником общефизический фон, начало которому положили слухи, возникшие сразу же после академических выборов 1953 года.

Андрей сказал, правда, что все последние годы он по горло в неотложных текущих делах, так что нет ни времени, ни сил на чистую теоретическую физику. А там есть чем заняться. Обнаружив мое дремучее невежество (в Тюмени не было никаких физических журналов, кроме "Физика в школе" и разрозненных тетрадей УФН), он объяснил мне сложное и запутанное положение вещей, существовавшее тогда, то есть до знаменитой работы Ли и Янга. Уже в середине этого объяснения, происходившего за чайным столом, я внезапно осознал, что манера изложения Андрея не имеет ничего общего с той старой, довоенной. Все было логично, последовательно, систематично, без столь характерных для молодого Сахарова спонтанных скачков мысли. Я подивился вслух такой перемене.

— Жизнь заставила, — ответил Андрей. — Чтобы добиться того, что я хотел, надо было многое объяснять и нашему брату физику, и исполнителям всех мастей, и, может быть, самое трудное, генералам разных родов войск. Пришлось научиться.

— В Ульяновске он этому еще не научился, — вмешалась Клава. — Он ведь предложил мне руку и сердце не на словах, а в письменном виде. Не от робости или застенчивости, а чтобы я все правильно поняла. Может быть, я единственная женщина в России, которой во время войны сделали предложение совсем как в старинных романах!

Потом Андрей подробно расспрашивал о Тобольске и Ялуторовске — декабристских городах Тюменской области. И по-свежему, как будто только вчера об этом узнал, огорчился из-за пушкинского "неразлучные понятия жида и шпиона" в дневниковой записи о встрече с Кюхельбекером.

— Слава Богу, это писано им только для себя. Это подкорка той эпохи, а не его светлый ум! Да и слово "шпион" звучало тогда иначе. Как у Фенимора Купера.

На моей памяти Андрей неоднократно возвращался к "черному пятну" (его слова) в дневнике Пушкина. Последний раз во время анти-Синявской кампании, раздутой Шафаревичем:

— Игорь Ростиславович и его журнальные друзья и единомышленники, видимо, давно не брали в руки Пушкина. А может быть, и вообще прочли только какой-нибудь однотомник. А то бы они не упустили возможности пойти с такого козыря.

Андрей был очень опечален деградацией И. Р. Шафаревича. Когда раскрылось авторство первоначально анонимной "Русофобии", я сочинил ехидные стишки. Прочитав их, Андрей сказал:

— Тебе что, у тебя с ним шапочное знакомство. А мне обидно и противно... "Он между нами жил..."

Публицистические страсти, в которых оба лагеря "пушкиноведов" размахивали как хоругвями каждый своим Пушкиным, вызывали у него грустную усмешку. Опять вырванные из реалий писем 1836 года цитаты. Одни повторяют: "Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом", не прочитавши начала предложения, говорящего о тяготах ремесла журналиста. Другие напирают на "Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество...", забыв, что письмо Чаадаеву могло, по расчетам Пушкина, пройти через перлюстраторов, а может быть, даже — не дай Бог! — попасть в руки жандармов. Так что в нем многое не сказано. Но никто не вспомнил про письмо Вяземскому 1826 года, посланное незадолго до казни декабристов. А в нем: "Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России?"

Сейчас передо мной томик Пушкина, а тогда Андрей наизусть проговаривал почти половину письма, вплоть до "удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница". И добавил, что это письмо ведь читали все охочие до подробностей интимной биографии Пушкина: в нем конец так называемой "крепостной любви". Или им остальное неинтересно?

А вот как читал пушкинский текст сам Сахаров. В конце 69-го года, когда Клавы уже не было в живых, я зашел к Андрею на Щукинский. При мне был недавно изданный том откомментированной пушкинской переписки 1834–1837 годов с закладкой на письме графу Толю, посланном за день до дуэли. Мои умствования, связанные с этим письмом, заинтересовали Андрея, и он внимательно прочитал его. Потом стал листать страницы и вдруг спросил:

— А ты заметил, что все январские письма этого и предыдущих годов Пушкин датирует "январем" и только в письме к Толю стоит "генварь"? Я уверен, что в письме Толя, на которое отвечал Пушкин, тоже стоит "генварь". Ведь генерал Толь учился русской орфографии у военных писарей!

Дома я заглянул в 16-й том Большого Академического Собрания, содержащего и письма к Пушкину. Толь действительно писал "генварь", а в ответе Пушкина первоначальное "январь" переправлено на "генварь". Андрей был очень доволен, когда я сообщил ему это по телефону. Мне кажется, что у него вообще был повышенный интерес к слову как к кирпичику мысли, к поворотам письма, связанным с игрою слов. Он был в восторге от набоковской находки: старый анекдот о двойной опечатке в газетном описании коронации (корона — ворона — корова) может быть один к одному переведен на английский язык (crown — crow — cow). Как-то в разговоре на тему "может ли машина мыслить?" Андрей заметил, что она может острить методом отсечения. Например, в четверостишии Веры Инбер времен нэпа:

Как это ни странно, но вобла была,
И даже довольно долго,
Живою рыбой, которая плыла
Вниз по матушке-Волге...

отсечение двух последних строк дает ехидно-ностальгическую сентенцию нашего

времени. Когда я безо всякой ЭВМ вырвал из некрасовской "Кому на Руси..." кусок:

...Поверишь ли? Вся партия
Передо мной трепещется!
Гортани перерезаны,
Кровь хлещет, а поют! –

он позавидовал моей находке и сказал, что короли эпиграфа – Вальтер Скотт и Пушкин купили бы эти строки за большие деньги, приведись им писать о 37-м годе. А потом добавил, что у Некрасова есть эпиграф к сочинениям о Дубне и других оазисах науки: "А под ногами-то косточки русские..."

Другой раз Андрей попросил рассказать о детской группе, в которой моя дочь занималась живописью. Услышав фамилию одного из мальчиков – Алеша Ханютин, он прервал меня на полуслове:

– Если бы нынешние драматурги давали, как это делалось в 18-м веке, смысловые имена, то герой-физик получил бы как раз такую фамилию[6].

Сразу же после появления письма сорока действительных членов АН я сочинил поэму "Сорокоуд". В ней было куда больше злости, чем таланта, и Андрею, как мне казалось, понравилось только примечание к названию: в допетровской Руси "сорок" – единица счета "мягкой рухляди" (мéха), а "уд" – член. Отдавая Андрею тетрадку с "Сорокоудом", я похвастался маленьким открытием: на листке календаря от 29 августа 1973 года отмечена юбилейная дата Ульриха фон Гуттена, одного из авторов "Писем темных людей". Обычно Андрей посмеивался над моей любовью к совпадениям подобного рода[7], но тут он сказал:

– Странные бывают сближения... А ты когда-нибудь задумывался, почему Пушкин, узнав о смерти Александра I в Таганроге, вдруг стал перечитывать "слабую поэму Шекспира"? Не хроники и не трагедии, где столько королей теряют короны и головы, а "Лукрецию". Потому что в них один король сменяет другого. А "Лукреция" о конце царства и начале республиканского правления. Пушкин хранил черновики, а вот от "Графа Нулина" их не осталось... Это неспроста.

Кстати, о "Графе Нулине". Андрей довольно равнодушно относился к актерскому чтению пушкинских стихов. Еще до войны он жаловался, что Качалов испортил ему "Вакхическую песнь". А вот "Нулина" в исполнении Сергея Юрского с озорным жестом в стихе "Стоит Параша перед ней" он вспоминал с удовольствием. В последние же годы ему очень нравилась Алла Демидова в телевизионной "Пиковой даме". Раньше он считал, что рассказчик в "Пиковой даме" обязательно должен быть мужчиной... Как читал стихи сам

---

[6] В формуле для энергии фотона $E = h\nu$ Андрей произносил постоянную Планка на немецкий лад – "ханю". Думаю, что это у него было от отца, получившего образование еще до первой мировой войны, когда международным языком физиков был немецкий. Л. И. Мандельштам тоже говорил "ха".

[7] Впрочем, его позабавил в марте 1980 года мой рассказ о статье к юбилею нижегородской ссылки Короленко, напечатанной в горьковской газете как раз 22 января 1980 года. А семь лет спустя я порадовал его указом о награждении Толстикова орденом, опубликованным сразу после присуждения Бродскому Нобелевской премии.

Сахаров? К счастью, я могу ответить на этот вопрос просто и коротко: очень похоже на то, как читает С. С. Аверинцев. Смысл и форма, без каких-либо фиоритур и педалирования. В молодости круг поэтического чтения Андрея определялся домашней библиотекой Дмитрия Ивановича. Во всяком случае, до войны ни Андрей, ни я не знали ни одного стихотворения Осипа Мандельштама. Новая поэзия его не занимала и, как мне кажется, пришла к нему только после женитьбы на Люсе. Но и тогда при упоминании того или иного имени Андрей обычно говорил:

— Это не по моей части. Вот Люся, она все знает.

Пушкин же всегда был совсем особая статья. Не кладовая памяти и не печка, к которой ему нравилось пританцовывать. Иногда у меня возникало ощущение, что, кроме реального пространства — времени, в котором мы жили, Андрей имел под боком еще один экземпляр, сдвинутый по времени на полтораста лет, где как раз и обитает Пушкин со своим окружением. И мне повезло, что еще в молодости Андрей впустил меня в этот свой укрытый от посторонних мир... В Горьком, после рассказа Андрея о злоключениях Бори (Бориса Львовича) Альтшулера, я мимоходом заметил:

— АДС своею кровью начертал он на щите.

И Андрей тут же откликнулся:

— Знаешь, когда я был мальчишкой, папа дразнил меня: "АСП своею кровью начертал ты на щите!"[8]

После случайного разговора о стихотворении Твардовского на смерть Сталина:

Покамест ты отца родного
Не проводил в последний путь,
Еще ты вроде молодого,
Хоть борода ползет на грудь... —

Андрей, пожалев, что слишком долго жил с моделью "царь-батюшка добрый, а министры — злые", спросил, когда у меня появился надлом в отношении к Сталину:

— В 44-м на Лубянке или в 48-м, когда арестовали твою маму?

— В 37-м.

— Неужели ты тогда был умнее Эренбурга и Симонова[9]? Или из-за расстрелянных полководцев гражданской?

Я объяснил, что ум и маршалы тут ни при чем. В 37-м погибла подруга моей мамы Ата Лихачева, женщина поразительной красоты и колдовского обаяния. И я в свои 16 лет, сам того не понимая (старше меня на 20 лет!), был безумно влюблен в нее. Помолчав, Андрей сказал:

— Как Пушкин в Катерину Андреевну... (Карамзину).

По-моему, это был наш первый и последний разговор "про любовь".

---

[8] Переделка стиха "А. М. Д. своею кровью..." из баллады Франца в "Сценах из рыцарских времен".

[9] При первой нашей встрече в 56-м году Андрей спросил, заметил ли я симоновский фортель на 150-летнем юбилее Пушкина. Чтобы не прогневить Сталина, Симонов, декламируя "Памятник", опустил "...друг степей калмык"

При всей внешней сдержанности Андрея его влюбленность в Люсю всегда выбивалась наружу. В начале семидесятых я случайно встретился с ними в Тбилиси. Побродили по городу, посидели в духане, а поздно вечером, уже в гостинице, я рассказал, как года за три до войны меня познакомили с Севой Багрицким, и возникла хрупкая, отрешенная от реальной жизни дружба. Мы шатались по московским переулкам, читали друг другу стихи (Севка иногда свои) и — совсем как Верлен! — заказывали в питейных подвалах за отсутствием абсента по стаканчику "Шато-Икема". И я узнал про ленинградскую девочку Люсю, раз в месяц приезжавшую в Москву делать тюремные передачи. Показав ее фотографию, Севка пожаловался, что у него гибнет стихотворение: он придумал великолепную рифму *parole d'honneur*[10] — Боннэ́р, но Люся наверняка не примет переноса ударения.

— Поэтам это разрешается, — утешил я. — В прошлом веке рифмовали Байро́н.

— Одно дело — Байро́н, другое — моя Люся! — ответил Севка.

Пошли воспоминания о довоенных годах. Потом Андрей сказал:

— Теперь в тебе я могу быть уверен. В отличие от многих, ты не ошибешься, произнося фамилию моей жены.

И вдруг добавил:

— Как жаль, что ты не рассказал мне про Севу еще тогда, где-нибудь на Спиридоньевке. И я узнал бы о тебе, — это уже к Люсе, — на тридцать лет раньше.

Столь свойственное Андрею высокое остроумие ломоносовского толка ("сближение далековатых понятий") поражало меня и в разговорах около физики. Не мне писать о научных достижениях Сахарова, тем более вряд ли кому интересно, что и как я понял в его объяснениях и рассказах. Поэтому ограничусь парой общедоступных примеров. Когда американцы долетели до Луны, Андрей сказал:

— Наконец-то $H \gg R$. А то было лишь соревнование титулов: астронавты, космонавты! Как "чемпионы мира" по французской борьбе в старом провинциальном цирке. Астрозвезды, космос, колумбы Вселенной... Это при $H \ll R$. В 15 веке было без бахвальства... Если $L \ll R$, то каботажное плавание, а вот у Колумба действительно $L \sim R$. (Здесь R — радиус Земли, H — высота, L — расстояние до материка).

Весною 1971 года (сужу по автореферату) мы оба были оппонентами на защите докторской диссертации[11]. Произошла какая-то задержка, и в ожидании начала мы болтали, сидя на подоконнике в широком коридоре МИФИ. А МИФИ — базовый институт Средмаша, так что добрая половина проходивших мимо нас профессоров и доцентов были совместителями и — хотя бы в лицо — знали Сахарова. Одни проходили, устремив взгляд строго вперед, другие — прижимаясь к дверям на противоположной стороне коридора, третьи (редкие) отклонялись в нашу сторону и здоровались с Андреем, кто за руку, кто кивком, а кто лишь движением глаз. Потом он заметил:

---

[10] Честное слово (фр.).

[11] Б. Болотовский обратил внимание составителей этого сборника, что это была защита Леонида Сергеевича Соловьева.

— Можно оценить не только знак и величину заряда, но и отношение e / m...

Диссертант нервничал, опасаясь срыва защиты, и Андрей стал его успокаивать:

— Все будет в порядке. Чтобы отвлечься, попробуйте решить задачку. Я ее придумал для нового издания задачника моего отца. Что будет происходить с цистерной при вытекании жидкости?

И нарисовал на чистом листе тетрадки с моим отзывом цистерну с дыркой в дне, но не посередине, а ближе к торцовой стенке. Слегка обалдевший диссертант убежал, не поняв, как мне кажется, о чем вообще идет речь, а Андрей сказал, что этой цистерной он уже загонял в тупик некоторых своих академических коллег, специалистов в области административной физики.

— Так какого черта ты дал ему задачу на засыпку?

— Ну, он же хороший физик. Я ведь прочитал его диссертацию.

Андрей всю жизнь любил придумывать задачи и испытывать на них собеседников. В этом было что-то от переписки ученых 18 века с их брахистохронами и цепными линиями. Однажды Люся позвала нас с женой на пироги, и Андрей похвастался, что, когда он рубил сечкой капусту для начинки, ему пришла в голову прекрасная задача о предельном значении среднего числа углов. (Она приведена в юбилейном сборнике, посвященном его 60-летию...)

Слово "однажды" надо здесь понимать в самом прямом смысле. За четверть века между XX съездом и началом афганской войны я был дома у Андрея считанное число раз, а он у меня и того меньше. Уже повсеместно господствовала культура кухонных посиделок, и мы оба по отдельности принадлежали этой культуре (см. стихотворение В. Корнилова про вечера на кухне у Андрея Дмитриевича), но наше приятельство оставалось уличным. Когда появились привезенные из-за бугра "Прогулки с Пушкиным", Сахаров заметил, что так можно было бы назвать наши студенческие хождения от Манежа до Бульварного кольца. Поэтому я позволил себе украсть у Синявского название. Надеюсь, что Андрей Донатович простит мне это.

III

В марте 1980 года в Горьком проходила конференция по нелинейной динамике. По старой памяти устроители пригласили и меня, и я поехал в надежде навестить Андрея. За два месяца, прошедшие с начала горьковского пленения, развеялись все иллюзии, первоначально созданные казенными источниками. Изоляция была полной: дверь квартиры охранялась милиционером, а контакты вне стен дома (в том числе и научные) подпадали под некий негласный, но высочайший запрет, которому без сопротивления покорствовали все тамошние ученые. Время же фиановских командировок к опальному старшему научному сотруднику теоротдела еще не наступило. А самодеятельных визитеров "фирма" перехватывала и отправляла назад, в Москву.

План мой был прост и бесхитростен. Мы должны были случайно встретиться у киоска "Союзпечати", в вестибюле Дома связи, что напротив мухинского памятника молодому Горькому. Там же находился и переговорный зал между-

городного телефона, откуда Сахаровым иногда удавалось поговорить с Москвой (домашнего телефона, как известно, не было). Так что поход Андрея на телеграф не нуждался в наружном сопровождении. Моя партия не уступала в естественности: где еще есть столько открыток с видами города для моего младшего сына? Все это я передал Люсе, которая тогда еще могла совершать челночные наезды в Москву. И единственная принятая предосторожность состояла в том, что я никому не похвастался своими намерениями.

В назначенное время, в предпоследний день работы конференции, я успел купить пять открыток, прежде чем почувствовал дыхание над ухом. Мы вышли на площадь, и я повел Андрея в сторону Ошары, потом переулками, и наконец в пустом проходном дворе мы обнялись и поцеловались. Первый раз в жизни, как заметил потом Андрей. Оба были взволнованы. Андрей вдруг начал бормотать: "Мой первый друг, мой друг бесценный..." Я неуклюже отшутился:

— Какой из меня Пущин? Да и тебе Бог не дал пушкинского таланта дружить. А если упорядочить наших физфаковских, то для тебя первым будет Петя Кунин. А я потяну разве что на Горчакова:

Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

— Горчакова надо еще заслужить, — неожиданно осадил Андрей. — Горчаков предложил Ивану Пущину заграничный паспорт и место на корабле! Да и "фортуны блеск холодный" совсем уж не про тебя.

Часа два мы пробродили по городу. Зашли в Кремль, Андрей купил билеты на концерт и окончательно уверился в том, что за нами нет хвоста: огромный кремлевский двор перед кассовой сторожкой был пуст. Разговор шел рваный, с перескоками и ассоциативными ходами. Я хорошо знал старую часть города и вполне справлялся с обязанностями гида. После какого-то моего воспоминания Андрей сказал:

— Вот сейчас я понял, какой я был сволочью, что даже не пытался найти тебя, когда проездом оказывался в Горьком. Как раз в твой последний, безнадежный год здешней жизни...

— У тебя тогда хлопот был полон рот... Это Женькины слова, он тоже казнился, что долг и запреты взяли верх.

— Когда ты видел Женю? Где?.. — вопросы Андрея поразили меня настойчивой заинтересованностью. Он ведь многие годы работал с Женей Забабахиным, а я после 1941 года видел Женю всего один раз. Позднею весною 57-го, когда Кот Туманов, случайно встретив, затащил его к себе и тут же вызвал меня по телефону. Андрей попросил подробностей. Среди них была и такая. В студенческие годы Женя жил в общежитии, иногда уезжая к родным в подмосковную Баковку ("Забабахин в Забабаковке живет..."). Во время застолья у Туманова, будучи уже навеселе, мы стали раскручивать футурологический сюжет: Забабахин получает вторую Звезду, на родине дважды Героя сооружают бронзовый бюст, и его имя присваивают единственному баковскому

предприятию союзного значения. Оно, конечно, печатает картинку этого бюста в качестве фабричного знака на бумажных упаковках своего изделия, и Забабахин становится самым популярным Героем для взрослого мужского населения страны...

— А в расширенном и пополненном издании бодуэновского словаря появится глагол "забабахнуть", — безынерционно завершил мой рассказ Андрей. Несмотря на уникальное воспитание, его не коробили ни истории боккачиевского жанра, ни, скажем, натуральная речь министра Ванникова. И в неделинской байке "укрепи и направь" его оскорбила не скабрезность, а наглая циничность отношения имеющих власть к создателям ее могущества. Однако его огорчала натужная и нарочитая матерщина Я. Б. Зельдовича. В ней Андрей видел, вспоминая при этом "Маугли", желание и цель показать генералам и иже с ними: "Я — ваш! Мы одной крови!"

От Забабахина разговор, естественно, перешел к "нашим". Андрей всегда жалел об обрыве непрочных связей университетской поры, но только здесь, в Горьком, стал расспрашивать про однокурсников. И тут меня, в который раз, поразила быстрота его реакции. Рассказывая о гибели в горах Кота Туманова, я упомянул, что потом при разборе его бумаг нашлась старая тетрадь с изложением нашей крамольной теории. Суть ее, в переводе с эзопова языка тетради на современный, состояла в следующем. Творцы научного коммунизма (да и утопического тоже) рассматривали лишь равновесное состояние "рая на земле", оставляя в покое — по причине математического невежества — вопрос об устойчивости этого состояния. Между тем, если в ансамбле идеальных людей, исповедующих принцип "человек человеку — друг, товарищ и брат", возникает как флуктуация злодей с тираническими намерениями, то все остальные своей доброжелательностью будут способствовать его возвышению, и от первоначального однородного благоденствия ничего не останется. С другой стороны, в мире, живущем по гоббсову закону "человек человеку — волк!", любой выскочка осаживается соседями и конкурентами, и ансамбль — хотя бы в малом — устойчив. Вся эта ересь камуфлировалась уравнениями, относящимися к перевернутому и обычному маятникам и к пучкам гравитирующих или отталкивающих, по Кулону, частиц.

Андрей сразу же обогатил наши аналогии. Перевернутый маятник можно сделать устойчивым динамической стабилизацией — принудительными осцилляциями точки опоры. А в случае пучка частиц нужен сверхсильный центр, заставляющий частицы двигаться по предписанным кругам. Как в кольцах Сатурна. И наоборот, прямолинейный пучок заряженных частиц при насильственном закручивании сильным магнитным полем теряет устойчивость из-за эффекта отрицательной массы.

Я рассказал, как мама Кота уговаривала его друзей кончать с альпинизмом, а потом, уже на улице, Рем Хохлов сказал:

— Чтобы выдержать год партийно-начальственной суеты, мне необходимо хотя бы полтора месяца побыть в горах.

— Хорошо, что ты запомнил эти слова, — обрадовался Андрей. — Теперь я понимаю, почему Хохлов показался мне белой вороной в высшем эшелоне управляющих наукой. Он был смелым человеком не только в горах.

Стоял сырой и промозглый мартовский день. Я пришел на свидание уже простуженным, Андрей тоже слегка продрог, а пойти было некуда[12]. В ресторан или кафе — если и попадешь — не рассидишься в обеденное время. Да и какой разговор, когда столы на четверых и рядом сидят чужие люди. Но тут меня осенило, и я повел Андрея во Дворец партпроса на улице Фигнер. Там не было ни души, и, не дойдя до библиотеки, куда нас с радостью пропустила вахтерша, мы нашли уютный загончик неработающего буфета с пустыми столиками и уютными полукреслами.

— Ты — гений! — воскликнул Андрей.

А когда позже мы спустились в кафельно-фарфоровое великолепие, рассчитанное чуть ли не на сто персон, он ахнул:

— Пятый сон Веры Павловны!

Поднимаясь обратно в цокольный этаж, я понял, что с сердцем у Андрея совсем неважно. По городу мы шли не торопясь, но без остановок, а тут ему требовалось постоять посреди лестничного марша.

В буфетном загоне было чисто, тепло, светло, и за все время — а мы просидели там часа три — мимо нас не прошло ни одного человека. Подкрепившись бутербродами, захваченными мной на случай возможного провала, мы наслаждались неторопливой беседой. Андрей похвастался изящным решением матричного уравнения, расспросил о моих занятиях и в ответ на мой вопрос сказал:

— Моя заветная мечта — дожить до того времени, когда все будет ясно с временем жизни протона... — и стал детально объяснять проекты гигантских экспериментов по определению этого времени.

Потом разговор снова перекинулся на людей. Его ужасно огорчал академический сервилизм, обусловленный не смертельным страхом, как в былые времена, а обычными карьерными соображениями, желанием обезопасить "выездной" статус или руководящее кресло.

— Тогда в ФИАНе обстановка напоминала контору домоуправления. В ЖЭКе не выдают никаких справок, пока не предъявишь расчетную книжку с уплаченной квартплатой. А у нас не выдавали характеристик ни для защиты диссертации, ни для загранкомандировок, пока не подмахнешь квитка с осуждением Сахарова. Только Виталию Лазаревичу удалось уберечь наш отдел от этого унижения.

Незадолго до нашей встречи проходило общее собрание АН, на котором, согласно уставу, члены АН обязаны присутствовать, и эта их обязанность всегда подчеркивается в пригласительном извещении. А тут Сахарову сообщили, что его участие не предусмотрено.

— Зачем президиум АН берет на себя полицейские функции? "Не предусмотрено" совсем иными инстанциями, а дело АН, четко определенное уставом, — известить!

Андрей стал обсуждать со мной придуманную им акцию. Пусть двенадцать академиков (ему почему-то хотелось, чтобы их было именно двенадцать) в

[12] Я вспомнил присловье моего горьковского друга Миши Миллера: "Кругом бардак, а пойти некуда". Очень оно понравилось Андрею.

официальном порядке возбудят чисто процедурный вопрос об отказе президиума выслать положенное уставом извещение действительному члену АН. Кто согласится? Капица, Леонтович, наши — Андрей и Женя (Боровик-Романов и Забабахин), еще несколько имен... Дюжина не набиралась. А в других городах? Вот в Ленинграде Жорес Алферов — прекрасный физик. Я засомневался, вспомнив казариновскую историю. Жена физтеховского теоретика устроила на квартире выставку работ левых художников. Сам Казаринов в дни выставки — от греха подальше — не жил дома. Руководство Физтеха (Тучкевич, Алферов и др.) не только уволило его, но и провело через ученый совет ходатайство в ВАК о лишении ученых степеней и звания. ВАК, правда, оказался менее кровожадным и не удовлетворил просьбу ленинградских физиков.

— Не угадали родители, — сказал Андрей. — Им следовало, раз уж так хотелось французского, назвать сына не в честь пацифиста Жореса, а дать ему стандартное имя Марат.

И снова, уже не неожиданный для меня, скачок в другое время:

— Какая жалость, что Пушкин сжег "Автобиографические записки". И есть только маленькая заметка о Будри. А в "Записках", небось, эта тема была развита со всей многогранностью. В Лицей, первоначально затеянный для обучения младших братьев царя, берут профессором брата цареубийцы Марата! Ты помнишь пушкинскую запись о Скарятине и Жуковском? Убийца отца императора мирно беседует с воспитателем наследника престола... А ведь Лицей ничем не был отгорожен от Царскосельской резиденции! У них, значит, совсем не было отдела кадров. А вот в ЛИПАНе кадровики в два счета уволили Давыдова только за то, что его жена была замужем за аккомпаниатором Вертинского. Не зря хлеб ели!

Разговор вернулся к двенадцати академикам. В глубине души Андрей любил свою Академию, и ему очень хотелось, чтобы к ней вернулось былое чувство собственного достоинства. Пусть она заступается за своих сочленов, а не спешит угодить начальству.

Я не разделял его надежд. В разгаре словопрения я неосторожно ляпнул, что оно напоминает исторический телефонный разговор Сталина с Пастернаком, когда Сталин говорил, что писательский союз должен грудью стать на защиту собрата по перу, а Пастернак отвечал, что этот союз уже давно таким делом не занимается. Андрей опешил:

— Значит, я в роли Сталина, а ты — Пастернак? Ну, спасибо. У юристов такое называется: добавить к ущербу оскорбление.

Часов в шесть мы покинули Дом партпроса. У Андрея была бумажка с адресом Марка Ковнера, там остановился приехавший из Москвы Алик Бабенышев. О его намерении прорваться к Сахарову я слыхал краем уха недели две тому назад. Андрей совсем не знал улиц Горького, и я проводил его до подъезда. Но мы не успели попрощаться. От дверей дома к нам подошел мужчина в коротком пальто. Это был, как потом объяснил мне Андрей, его куратор — капитан Шувалов. Шувалов сказал, что он не имеет права задерживать Андрея, но если тот войдет в квартиру Ковнера, то находящийся там москвич будет немедленно увезен на вокзал, так что встреча не состоится. Затем Шувалов повернулся ко мне, но Андрей мгновенно перехватил его:

— Тогда, конечно, я не пойду к Ковнеру. А могу я пригласить к себе домой старого друга... старого университетского товарища, — поправился Андрей, — которого я случайно встретил сегодня на улице?

— Вы специально приехали к Андрею Дмитриевичу? Вы работали вместе с ним в Москве?

— Нет, — не дал мне ответить Андрей. — Мы никогда вместе не работали. Мы вместе учились еще до войны, он — мой старый университетский товарищ, он приехал в Горький на конференцию, и мы случайно встретились на улице.

Шувалов попросил показать командировку, став под уличным фонарем, внимательно прочитал и ее, и пригласительный билет участника конференции, задал еще несколько уточняющих вопросов (тут уж отвечал я), а потом сказал, что не в его власти разрешить посещение. И отошел.

Ковнер жил рядом с магазином "Научная книга", и Андрей предложил мне зайти туда. Внутри, около книжных полок, Андрей сказал, что теперь понятно, почему не было хвоста. Они знали конечную цель его похода в город и спокойно ждали в точке прихода. Как в кинетической теории газов, неведомой для них, они законно пренебрегли возможностью двойного соударения!

Магазин закрывался, а у выхода нас поджидал Шувалов. Он попросил еще раз посмотреть мои бумаги и вдруг сказал, что мне разрешается посетить Андрея Дмитриевича дома.

— Спасибо, — ответил Андрей. — Но сегодня мы уже наговорились, да и время позднее. Так что Михаил Львович лучше воспользуется вашим разрешением завтра или в следующий приезд, когда моя жена будет в Горьком.

Шувалов ушел.

— Тут у него машина с рацией, — сказал Андрей. — Но хвост за нами, конечно, пойдет.

По дороге к остановке автобуса на Щербинки мы условились, что если я не разболеюсь за ночь, то утром в 11 буду внутри маленькой почты рядом с домом 214 на проспекте Гагарина. А уж оттуда Андрей поведет меня к себе домой. Так будет надежнее.

— А что тебе говорили Александры Ивановичи? — вдруг спросил Андрей.

— ?

— Ты что, забыл, как Александр Иванович Тургенев говорил Пущину: "Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским, и духовным?"

— У меня не было Александра Иваныча. Я даже Наташе не говорил о своих планах. Чтобы она не волновалась.

— А вот Бабенышев, к сожалению, рассказал, должно быть, самым близким друзьям. И пошла диффузия...

В последние минуты, на автобусной остановке, когда, казалось, все уже было сказано, Андрей как-то отстраненно произнес:

— Все-таки я был прав, и к тебе можно отнести стихи, написанные Пущину. Те, что до 14 декабря:

На стороне глухой и дальной
Ты день изгнанья, день печальный
С печальным другом разделил...
Где ж молодость? Где ты? Где я?

Ночью у меня было 38°, а утром, ни свет ни заря, примчался перепуганный заместитель директора института – организатора конференции. По его словам, некий высокий чин из КГБ устроил ему выволочку за то, что московский участник имел встречу с Сахаровым. И пригрозил прикрыть все последующие мероприятия с участием москвичей. Я ответил, что не считаю себя вправе разрушать научное благополучие горьковской физики. И поэтому не буду искать встреч с Сахаровым, находясь в Горьком по приглашению института. Это обещание я сдержал. Три последующие встречи с Андреем произошли в мое отпускное время, когда я гостил у друзей в деревне под Горьким.

В августе 1980-го наше свидание вначале в точности шло по мартовскому сценарию. Но потом пошли отступления. Андрей сказал, что Люсе очень хочется принять меня по-человечески, дома, и предложил такой план действий. Я еду автобусом до Щербинок, где Люся поджидает меня в открытой лоджии их квартиры на первом этаже. Она окликает, и мне остается лишь перемахнуть перила лоджии.

– Тут нет ничего незаконного. В любом государстве мужчина имеет право пройти к знакомой даме – если она его приглашает! – не в дверь, а через балкон. Как Ромео к Джульетте. Претензии могут быть только у мужа или родителей... А я приеду следующим автобусом.

Приехав в Щербинки, я обнаружил, что "донны Лючии на балконе" нет, а дверь из лоджии во внутренние покои закрыта. Оконные стекла неосвещенной квартиры не позволяли разглядеть, есть ли кто в комнатах, да и не для моих глаз такое занятие. Я вытащил данную мне Андреем бумажку с планом местности, но не успел свериться. Передо мной возник милиционер:

– Что вы здесь высматриваете?

– Пытаюсь понять, где живет мой знакомый.

– Кто?

– Андрей Дмитриевич Сахаров.

– Пройдите со мной в опорный пункт. Там вам все объяснят.

В опорном пункте милиции, окна которого выходили как раз на лоджию Сахарова, дежурный начальник, изучив все страницы паспорта, спросил:

– Вы что, не знаете, что к Сахарову нельзя?

– Слухи об этом до меня доходили. Но вот несколько месяцев тому назад мы с Сахаровым встретили на улице его куратора, и Шувалов сказал, что я могу навестить Андрея Дмитриевича дома.

– ?! Подождите... – и начальник с моим паспортом ушел в другую комнату.

Ждать пришлось около часа. Через окно я увидел подъехавшую машину, вошел сам Шувалов, узнающе кивнул головой и провел меня мимо вскочившего у своего столика милиционера в сахаровскую квартиру. И до сего дня я не знаю, как согласовать весенний испуг горьковских физиков и поведение "благородного злодея" Шувалова. Мне хотелось думать, что служебный долг не

смог помешать Шувалову испытывать к Сахарову чувство глубокого уважения. А может быть, и симпатии. Позже, уже в Москве, Андрей ответил мне так:

— Как некоторые чиновники, приставленные к Сперанскому во времена его ссылки? Может быть, ты и прав. Не только крестьянки чувствовать умеют.

Когда я, сидя на казенном стуле и у казенного стола в казенной сахаровской квартире, рассказывал о пребывании в опорном пункте (там и днем горел свет, так что они видели меня сквозь стекла окон), Андрей сказал, что он проиграл в уме всю ситуацию и процентов на 60 рассчитывал именно на такой исход. Только он не думал, что все будет так быстро. И упрекнул и меня, и себя в том, что мы с ходу не "продлили разрешения" на следующие разы.

— Ладно, будем считать, что тогда он сказал не "навестить", а "навещать".

Я не буду пытаться воспроизводить здесь беспорядочный разговор во время застолья. Тем более, что вели его в основном Люся и я, а Андрей явно наслаждался, слушая жену, и только изредка вставлял реплики. Не помню уж, в связи с чем я процитировал "Сон Попова", и вдруг выяснилось, что Андрей даже не слыхал раньше про это произведение. У них дома было лишь дореволюционное издание А. К. Толстого.

— Прочти, что помнишь, — попросил Андрей.

Я не раз читал "Сон..." моим и чужим детям и практически знал его наизусть. По окончании моего сольного выступления я еще раз подивился тому, что Андрей не знал "Сна", ведь его передают иногда по радио. Запись исполнения Игорем Ильинским.

— Теперь существует еще одна запись! — засмеялся Андрей и, показав пальцем в потолок, добавил, что и эта запись достойна широкой аудитории.

Нам было хорошо сидеть за столом, уставленным Люсиными выпечками и припасами, неспешно вспоминать старое, немного судачить об общих друзьях и не принимать в расчет реальность, дежурившую за дверью и окнами. Андрей удивительно точно выразил это:

— А помнишь, как в "Татьяниной Церкви" (старый клуб МГУ) Анатолий Доливо пел: "Миледи смерть, мы просим вас за дверью подождать..."

Мне надо было еще заехать за женой и детьми. Люся тоже в этот вечер уезжала в Москву, и они начали спорить: Андрей хотел посадить ее в поезд, Люся настаивала на проводах до автобуса — ей не хотелось, чтобы Андрей один возвращался ночью в Щербинки. Когда я уходил, спор еще не кончился.

На вокзале, выйдя из вагона покурить, я увидел у подножки Андрея и Люсю. Оказалось, что касса предварительной продажи в Москве и ветеранская броня Люси свели нас чуть ли не в соседние купе. Пришла Наташа, и мы вчетвером минут пятнадцать постояли на перроне. Остальные провожающие сидели внутри вагонов со своими уезжающими.

— Для меня такое "не предусмотрено", — сказал Андрей.

К 60-летию Андрея, уже зная, что летом буду снова гостить под Горьким, я послал ему через Люсю "Подражание Канцоне, написанной в мае 1931 года".

Неужели я увижу скоро —
Слева сердце бьется, лейся слава —
Прядь волос над полысевшим косогором
И услышу голос твой картавый?

Словно в перевернутом бинокле,
Еле различу я пункт опорный.
Красный цвет и желтый не поблекли,
Но всего устойчивей цвет черный.

Этот город был моей отрадой,
Несмотря на беды и обиды.
За окном видны дома-громады,
Где была лишь деревушка-гнида.

Не уложишь в ямбы и хореи
Тракт с тюрьмою старой, Арзамасский...
Я скажу "селям" куратору Андрея
За его малиновую ласку.

И припомню, чтобы подивиться,
Сколько у истории завалов, —
При Елисавет-императрице
Был уже куратором Шувалов.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

На столе фисташки, мед и творог —
Выложено все, что было в доме...
Неужели разменяли сорок,
Сорок лет, что мы с тобой знакомы?

Лишь держатель акций знает сроки
Птиц широкогрудых перелета.
От меня ж — на память эти строки,
Прозорливцу — дар от стихоплета.

— Никому, кроме нас с тобой, не понятно, — сказал при встрече Андрей, — но все равно возникает ощущение прошлогоднего чаепития в Щербинках.

Эта, третья встреча, летом 1981 года, тоже началась у киоска "Союзпечати". Только на этот раз со мною пришла жена, а на площади в перегнанной к тому времени из Москвы машине ждала Люся. Мы посидели часок в сквере у памятника Горькому, покатались по городу ("в пределах строгих известного размера бытия", — вспомнил Андрей Вяземского), а потом надолго, до глубокой темноты осели на Откосе. Если не ошибаюсь, Сахаровы были здесь в первый раз, они освоили лишь берег Оки в окрестностях Щербинок.

Андрей расспрашивал о последних месяцах жизни незадолго до этого скончавшегося Михаила Александровича Леонтовича, сам рассказал про привлечение Леонтовича к работам по управляемому термоядерному синтезу. Именно тогда, от Андрея, мы узнали, что Берия действительно произнес фразу: "Будытэ слэдыт, не будэт врэдыт", которую раньше считали апокрифом. Настроение у Андрея и Люси было подавленным. Их очень мучила вся ситуация

с Лизой Алексеевой, и мы долго проигрывали различные варианты ее вызволения. И для меня впервые прозвучала мысль о голодовке. Тогда, правда, еще в предположительном наклонении, как о возможном крайнем средстве.

На Запад уже полетели первые ласточки дезинформации о благоденствии Сахарова в Горьком. Андрей с горечью сказал мне:

— Не хватает, чтобы мы с Люсей стали распевать куплет Василия Львовича:

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов![13]

Дом, где мы с женой остановились в Горьком, стоял на Откосе, у меня в кармане лежали ключи, но... Я вспомнил "честное купеческое слово", данное на другом волжском откосе.

— Не переживай, — утешал меня Андрей. — Надо уметь входить в обстоятельства друзей. Особенно, если они для пользы Дела, а не личные, как у Якова Борисовича (Я. Б. Зельдовича. — *М. Л.*). Сейчас я, пожалуй, не подал бы ему руки...

Мы проводили Сахаровых до машины, оставленной на параллельной Откосу улице. Постояли около нее с полчаса. Кругом ни души.

— Будем считать, что на этот раз нас не зафиксировали, — сказал Андрей.

Через пять лет нас с женой снова пригласили провести часть отпуска под Горьким. За эти годы положение круто изменилось. Прошли голодовки. Несмотря на поездку для операции в Штаты, Люся оставалась ссыльной, и все каналы связи были наглухо перекрыты. Поэтому в день отъезда Наташа и я с утра поехали в Щербинки, надеясь на удачу. День был пасмурный, моросило. Улица и двор были пусты. Мы постояли около лоджии, обошли дом, понимая, что на втором круге нас скорее всего засекут из окна опорного пункта. И удача нам улыбнулась! Оса запуталась в веточках домашнего цветка, и Андрей вышел в лоджию, чтоб выпустить ее на волю. Наташа окликнула: "Андрей Дмитриевич!.." Он махнул рукой, и мы отошли под навес соседней почты, куда он выбежал в одной домашней куртке.

Минут сорок мы простояли незамеченные, беспорядочно разговаривая обо всем сразу. Андрей опасался, что нас могут растащить, и начал расспрашивать про Чернобыль. У него была лишь официальная информация[14]. Я мало что мог добавить к ней. Еще Андрей попросил исправить его ошибку: во время недавнего приезда фиановцев его спросили, не хочет ли он снова заняться термоядом. Он ответил отказом, мотивируя тем, что давно отстал от этого дела, а тем временем термоядерная наука ушла далеко вперед. Сейчас же, взвесив все, он принимает это предложение. (В теоротделе ФИАНа очень обрадовались, когда я сообщил им о согласии Сахарова).

Было сыро и зябко. Андрей пошел за теплой курткой и, вернувшись, сказал,

---

[13] Рефрен послания В. Л. Пушкина к нижегородцам в 1812 году.

[14] Сколько административного идиотизма в том, что в предельно "нештатной" ситуации в Чернобыле никто — ни министры, ни академики! — не подумали (или не решились?) привлечь к ликвидации аварии Сахарова — мастера нетривиальных технических решений. А вот во время армянского землетрясения выпускали ведь из тюрем. И ничего, потом все выпущенные вернулись.

что Люся, несмотря на нездоровье, сейчас выйдет. Но еще раньше появилась "обслуга". Они прошмыгивали около нас, некоторые с фото- и киноаппаратами, и, не таясь, в открытую щелкали и жужжали.

— Поставщики Виктора Луя, — определила Люся.

Сахаровы всегда произносили Виктора Луй на русский лад. Ударение, впрочем, иногда, ради рифмы, переносилось: Луя.

Обслуга не унималась, и Люся предложила попытаться сесть в машину и уехать. Нас не задержали, хотя плотно проводили до машины. Поехали в Зеленый Город — главную зону отдыха горьковчан. По дороге на маленьком рынке купили огурцы и помидоры, в магазине, кроме хлеба, нашлись и сметана с творогом. Дождь кончился. Сахаровы утром не успели поесть, и Андрей с удовольствием предвкушал "завтрак на траве". "Трава" обернулась грубо сколоченным столом с двумя лавками, такие столы заботами горсовета были раскиданы по роще Зеленого Города, слава Богу, на большом расстоянии друг от друга.

Наружное наблюдение утратило прежнюю наглость. В ближних кустах и за деревьями Андрей засек пару "статистиков". Время от времени мимо нас медленной походкой проходили какие-то штатские. Может быть, и обыкновенные прохожие. Парень приволок велосипед со спущенной камерой, выпросил у Люси автомобильный насос и, расположившись у нашего стола, полчаса "накачивал" камеру в режиме воздух — воздух.

В этой роще мы и провели несколько часов. Им было что рассказать о пяти прошедших годах... Сейчас обо всем этом можно почитать в двух книгах воспоминаний Андрея и в Люсином "Постскриптуме". Настроение шло по синусоиде. Радость встречи чередовалась с глухой тоской от нынешней безнадеги. У меня и сейчас звучат в ушах Люсины слова:

— Нас тут уморят до смерти, а на Западе все еще будут крутить проданные Луем кагэбиные фильмы. И зрители возрадуются — вот как хорошо живется Сахаровым в Горьком!

— Да и вас с Наташей могут теперь показать на американском экране. Так что и тебе недалече до Луевых гор! — добавил Андрей, и я обрадовался отсылу к Пушкину[15]. Значит, не сломали его эти годы.

Напоследок покатались в дозволенных режимом границах. Перед отъездом в Москву Наташе и мне надо было навестить больного М. Миллера. Сахаровы довезли нас до его дома. Прощание было долгим и трудным.

Мы сидели в машине, говоря какие-то отчаянные последние слова. Андрей опять, как при первой нашей встрече, повторял пушкинские строки к Пущину. У Наташи в глазах стояли слезы. У меня сорвалось: "Промчится год, и с вами снова я", — но тогда в это не верилось.

Мы пересекли улицу, прошли сквозь арку дома. Сахаровская машина оставалась на месте...

Через час, уйдя от Миллера, мы сразу напоролись на милиционера, сопровождаемого штатским. Милиционер проверил документы, штатский показал свою книжечку и без обиняков спросил:

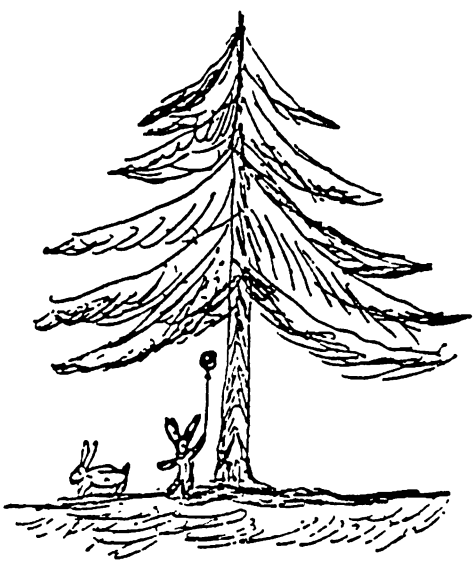
---

[15] Луевы горы недалече от корчмы на Литовской границе ("Борис Годунов").

— Есть ли у вас какие-нибудь бумаги, переданные Андреем Дмитриевичем и его женой?

— Есть. Елену Георгиевну выпроваживали из Москвы с такой поспешностью, что она не смогла взять ряд вещей домашнего обихода. Она передала мне их список. Для отправки почтой. И еще она впопыхах увезла с собой сберкнижку мужа, на которую перечисляется его академическое жалованье. Эта книжка живет в Москве, с нее снимаются деньги для больного брата Андрея Дмитриевича.

— Я не буду проверять, есть ли у вас еще что-нибудь, но хочу предупредить. Сейчас Сахаровы пытаются всеми правдами и неправдами передать за рубеж лживые и клеветнические сообщения и призывы. И если в ближайшее время на Западе появится что-нибудь новенькое, то у нас не будет сомнений относительно источника. Вы свободны. Можете идти.



В моем кармане лежала согнутая пополам трехкопеечная ученическая тетрадка. На ее внутренней обложке Андрей, сидя в роще, нарисовал картинку. По старой памяти, как в студенческие времена, когда я завидовал его умению рисовать. Вот эта картинка. Каждый волен понимать ее по своему разумению.

IV

На другой день после исторического звонка Горбачева я позвонил в Горький. Пересказав разговор, Андрей добавил:

— Сегодня у меня знаменательный день. Первый раз за семь лет без месяца я переступил порог научного учреждения. И не простого, а академического!

Привозили в Институт прикладной физики на свидание с Марчуком. Так что сдавал меня один президент, а принимает другой. Подробности при встрече.

— Когда?

— Боюсь, что не очень-то скоро. Надо ведь, чтобы Люсе отменили ссылку. А юристы торопиться не любят.

Получилось, конечно, скоро, и началась московская круговерть в жизни Сахаровых. Только через несколько недель они выкроили — уж не знаю как! — целый свободный вечер, и мы снова вчетвером сидели за столом, теперь уже в четырех стенах. Разговор был куда веселее, а харч побогаче, чем в Зеленом Городе, и Андрей мог подогревать свою долю на газовой плите. Сахаровы были полны планов и намерений. Люся даже показала длинный список неотложных дел, по моей оценке, месяца на три. Я пошутил, что им еще надо отдать мне четыре визита.

— Домашний только один! — осадил Андрей. — А уличные набегут сами, если считать поштучно.

— Нет уж, тогда считай по чистому времени.

— Дай Бог, наберу и по сумме всех t_i.

За отпущенные Андрею еще три года жизни сумма t_i, я думаю, набралась. А вот домашний визит так и не получился, хотя Андрей не раз вспоминал о своем "долге". И однажды, забежав ко мне на несколько минут, подчеркнул уходя, что "это не считается".

Речь за столом шла о Чернобыле. Андрей за это время сумел запастись кое-какой информацией, а я принес ему нечаянный плод моего касательства к предыстории катастрофы, о котором я говорил еще в Горьком. Летом 86-го дачные знакомые — механики Г. И. Баренблатт и А. А. Павельев — обратились ко мне с неожиданной просьбой найти у Шекспира слова леди Макбет: "Известно всем, что безопасность — всех смертных самый первый враг". Эта цитата, "подтверждая извечный принцип единства и борьбы противоположностей", венчала статью академика В. А. Легасова, В. Ф. Демина и Я. В. Шевелева "Нужно ли знать меру в обеспечении безопасности?", напечатанную в журнале "Энергия" в августе 1984 года. В статье утверждалось, что вовсе не следует стремиться к максимальной безопасности в ядерной энергетике. Безопасность, математически характеризуемая ценою риска, должна входить как слагаемое в суммарный баланс различных факторов (экономический эффект, расходы, зарплата и т. д.), и надо искать оптимум соответствующей суммы. Ведь люди ценят не только продолжительность жизни, но и ее полноту, приятность, качество. Иначе они не летали бы на самолетах, не занимались альпинизмом, не рисковали бы жизнью ради богатства. "Затраты на защитные мероприятия отвлекают средства из других областей, в частности, тех, где формируется качество жизни". Все эти рассуждения, разбавленные формулами, графиками и специальной терминологией, и подводили читателя к диалектической мудрости леди Макбет.

Но ни в одном русском переводе таких слов леди Макбет нет. Не говорила она их и по-английски. Однако в подлиннике есть эти слова: "*And you all know security Is mortals chiefest enemy*". Только произносит их не леди Макбет, желающая мужу успеха, а предводительница ведьм Геката, стремящаяся

погубить Макбета. И говорит она эти слова по делу: в любом комментированном издании Шекспира отмечается, что в его время *security* означало легкомыслие, самонадеянность, а вовсе не безопасность, как теперь.

Эти шекспировские изыскания сделали меня соавтором антилегасовской заметки, посланной нами под заголовком "Еще раз о культуре перевода" в "Литгазету". Там, конечно, учуяли мину и посоветовали обратиться в "Литучебу"...

Прочитав нашу заметку и ксерокс легасовской статьи, Андрей сказал, что рассуждения трех авторов — Легасова и соавторов — пошлый и подлый софизм. Человек вправе рисковать собственной жизнью ради удовольствия, наслаждения или выгоды. В "Египетских ночах" трое мужчин — у каждого своя причина! — даже не рискуют, а сразу отдают жизнь за ночь Клеопатры.

Другое дело — увеличивать "качество жизни" одной группы людей, в частности, свое (награды, звание, служебное положение), ценою риска для других людей. И даже если последние тоже что-то выигрывают, то все равно необходимо получить их согласие на риск. Смешивать это все в одну кучу — то же самое, что приравнять героев книги нашей юности "Охотники за микробами", рисковавших собственной жизнью, к "врачам" концентрационных лагерей, ставивших опыты на заключенных.

Особенно разозлила Андрея еще одна литературная аргументация статьи: "Человек, озабоченный исключительно своим здоровьем, уподобляется ворону из калмыцкой сказки, рассказанной Пугачевым в назидание молодому дворянину. Большинство людей отвергает такой стиль жизни".

— Как они смеют тянуть себе на подмогу Пушкина! Я бы на вашем месте включил в заметку ответ Гринева: "Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину". В назидание ученым мужам, привыкшим любое одеяло тянуть на себя.

— Но они хоть помнят "Капитанскую дочку". А я вот встречал академиков, полагавших, что "ежовы рукавицы" появились в русском языке лишь в 37-м году.

— Врешь! — и через минуту: — Послушай. Забавно, что истинный смысл "ежовых рукавиц" и лукавое толкование Петруши для немца-генерала относятся друг к другу так же, как истинные задачи III Отделения и наказ императора Бенкендорфу: "Утирай слезы вдов и сирот!"

Я не знаю, пригодилась ли Андрею наша заметка на тех заседаниях по ядерной энергетике, в которых он принимал участие. Но он вспомнил о ней, когда стало известно о самоубийстве Легасова:

— Хорошо, что тогда не напечатали вашу заметку. А то бы тебя мучило: вдруг она стала той маленькой гирькой, которая потянула коромысло весов в сторону страшного решения... Знаешь, у меня один раз был затяжной приступ черной тоски. Такой, что если бы не дети и жена...

Андрей не кончил фразы, а я не решился задать вопроса.

Не надо думать, что Пушкин был для Сахарова чем-то вроде иконы, на которую можно только молиться. Добросовестное неприятие пушкинских взглядов и осуждение его поступков всегда вызывали у Андрея глубокий интерес и желание отцедить для себя крупицы истины. Еще в юности он предпочитал язвительного Писарева восторженному Белинскому. Да и сам Андрей не раз спорил с Пушкиным.

Пока Андрей жил в Горьком, в Москве скончался знаменитый математик — академик Иван Матвеевич Виноградов. У него не было родных, и с его наследством вышла очень некрасивая полууголовная история. Часть утвари и библиотеки разобрали и разворовали, завещание оказалось сомнительным и чуть ли не подделанным. Личный архив покойного, состоявший в основном из писем, запихали в чемодан, отвезли в Стекловский институт, директором которого был Виноградов, а на другой день сожгли на заднем дворе.

Вернувшись в Москву, Андрей узнал все это от кого-то из академических знакомых и спросил меня, не знаю ли я подробности и причины. Его особенно возмущало сожжение архива. Жгли его не кадровики, для которых это занятие является рутинным, а доктора наук, причем, как выразился Андрей, "из хороших фамилий". Подробностей я не знал, а о причинах мне рассказывали приятели-математики. После войны Иван Матвеевич заболел антисемитизмом. Причем не абстрактным, а весьма действенным: Виноградов обладал огромной властью в научно-административной сфере, намного превосходившей его институт, стерильно очищенный не только от евреев, но и от мужей евреек. Люди, бывавшие у него дома, рассказывали, что зачастую, когда речь заходила о каком-нибудь математике, хозяин вытаскивал из ящика стола письмецо этого математика, сообщавшее, что автор — стопроцентно русский человек и крещен тем-то и тогда-то, а вот у его конкурента на должность или академическое место мать жены — еврейка. И только ради спасения чести цвета отечественной математики стекловские доктора наук сожгли — не читая! — все письма, хранившиеся Виноградовым.

— Собачья чушь! — отрезал Андрей. — Неужели эта кучка сикофантов составляла цвет нашей математики? Не Сергей же Новиков и Людвиг Фаддеев сочиняли такие доносы. Все куда проще. Небось у самих докторов или у их дружков-приятелей было рыльце в пушку! А ведь они сожгли, может быть, и письма великих: Харди и Литлвуда, Шнирельмана и Гельфонда. Но и блевотину эпохи нельзя жечь — она нужна истории. А те, кто придумал такое оправдание, они не ссылались на Пушкина? Мол, Пушкин радовался, что Мур сжег дневники Байрона. Тут Пушкин абсолютно не прав! Написал он это, я думаю, сгоряча, обидевшись на Левушку, читавшего в столичных салонах сугубо личные письма брата. И потом, за всю оставшуюся ему жизнь он ни разу не повторил эту мысль. Напротив, он больше всего ценил чужие дневники и воспоминания и кого только не тянул, чуть ли не силком, писать их. Слава Богу, Жуковский не сжег тетрадь, где написано, что дежурный офицер, увидевший голую жопу императрицы в ее последний час, имеет все основания писать мемуары... Забавно, в письме о Байроне Пушкин пишет, что не следует показывать великих людей на судне, а годы спустя сам каламбурит про Екатерину Великую:

...флоты жгла,
И умерла, садясь на судно.

Острое чувство слова проявлялось у Сахарова и в его интересе к каламбурам. В горьковские времена он получил записку с утешением: нет пророка в своем отечестве. Я тогда вспомнил два стиха из лагерной поэмы моих друзей:

Что ж, дайте срок, дождетеся пророка...
Пророку бы не дали только срока! —

и Андрей несколько раз повторил вслух эти строки, передвигая ударение каждый раз на другое место.

Были у него и куда более серьезные упреки Пушкину. За "Записки о народном воспитании" и стихотворения 31-го года, названные Вяземским "шинельными". Имперская позиция, по мнению Сахарова, как эстафетная палочка передавалась через поколения. От Пушкина и Тютчева до П. Л. Капицы.

— Имперский дух им всем подгадил! Но они всегда с уважением говорили о противниках. Как и "бард британского империализма" Киплинг. Ведь баллада о Востоке и Западе написана про Афганистан, войну с которым Англия проиграла. А наши теперешние доморощенные киплинги только и умеют что обливать врагов грязью и дерьмом. И все это в сочетании с глупой трусостью. Как в твоем рассказе о Шерлоке Холмсе[16].

А к антисемитизму была у Сахарова жесткая и абсолютно бескомпромиссная ненависть. Любое, даже косвенное или зачаточное его проявление вызывало мгновенный отпор. Тут и чувство юмора изменяло Андрею. Вскоре после начала работы Первого съезда он спросил меня: видел ли я по телевизору Станкевича? Говорят, что у него очень похожая картавость. Так ли это? Ведь человек своего голоса по-настоящему не знает. Я брякнул, что картавят люди моей породы, а они со Станкевичем грассируют. И получил от Андрея форменную выволочку.

К С. Станкевичу и еще нескольким молодым депутатам он относился с какой-то трогательной надеждой.

— Ведь он старше моего Димки всего на пару лет! Их поколению расхлебывать старое и сооружать новое. А наше долго не протянет... Помнишь, сразу после войны привезли песенку стариков-фольксштурмистов:

Wir, alten Affen,
Sind neue Waffen[17].

Впрочем, когда начали заниматься neue Waffen, я был вполне молодой обезьяной. Как нынешний Болдырев... А Пушкина в Лицее звали "смесь обезьяны с тигром"... — нырнул Андрей в начало прошлого века.

Модные сейчас рассуждения о глубокой религиозности позднего Пушкина Андрей не принимал всерьез. Конечно, Пушкин восхищался Библией, перечитывал ее и знал наизусть лучше иного богослова. Еще в Михайловском — "Шекспир и Библия". Без Библии не было бы не только стихотворений последних лет, но и "Анчара". Однако в 25 лет он написал цикл "Подражания Корану", а позже гениальное "Стамбул гяуры нынче славят...", пропитанное мусульманской нетерпимостью. Почему бы тогда не утверждать, что Пушкин склонялся к исламу?

[16] Во время одной из наших встреч в Горьком я рассказал Андрею, что в телевизионном "Шерлоке Холмсе" по требованию начальства произвели переозвучивание. При первом — хрестоматийно-знаменитом — знакомстве Холмс сразу угадывает, что Ватсон вернулся из Афганистана, где как раз идет война. Велено было заменить Афганистан на "восточные провинции".

[17] Мы, старые обезьяны, и есть новое оружие (нем.).

Когда аятолла Хомейни приговорил к смерти писателя Рушди, чем-то оскорбившего любимую жену Пророка, некоторые наши патриоты, считая, конечно, смертный приговор чрезмерным, с пониманием отнеслись к оскорбленным религиозным чувствам иранских фанатиков и полностью одобрили их праведный гнев, близкий по духу к инвективам литроссиян против Синявского.

В связи с одной из публикаций такого толка Андрей заметил:

— Рушди — теленок по сравнению с нашим Пушкиным. Во всей мировой литературе нет произведения более кощунственного для истинно верующего христианина, чем "Гавриилиада". Божия Матерь прямо перед тем, как понести от Святого Голубка, с охотою отдалась Лукавому и Архангелу! А у Рушди всего-навсего намек на неблаговидное поведение Айши. Нашим "хомейни" следовало бы предать сочинителя "Гавриилиады" вечному проклятию, а заодно пригрозить смертью всем издателям его сочинений. И я понимаю, что Пушкин был навсегда благодарен Николаю за то, что тот закрыл "Дело" и спас его от пожизненного заточения в монастырь. Полежаева ведь за обыкновенную студенческую похабщину отдали в солдаты... А какие стихи! Все гаремные описания в "Бахчисарайском фонтане" — бледная тень по сравнению с тем, что в "Гавриилиаде". И сколько озорства! Забавно[18], что почти в одно и то же время Пушкин одалживает у Крылова "самых честных правил" для "моего дяди", а "Шестнадцать лет... бровь темная..." в описании Марии заимствует из "Опасного соседа" своего дядюшки! И заметь, что Пушкин всюду снижает небесное начало Богородицы — "с сыном птички и Марии"! — и подчеркивает ее земную прелесть. Вот и в "Мадонне" ему хочется иметь картину "без ангелов". Само сравнение невесты с Пречистой Девой достаточно греховно. Пушкин страстно торопил свадьбу с Натальей Николаевной вовсе не для того, чтобы на нее молиться... В дневнике есть запись: "Я очень люблю царицу". Я думаю, что в приступах поэтического воображения он бывал неравнодушен и к Царице Небесной. Так что стихи:

Не путем-де волочился
Он за матушкой Христа... —

упрек не только рыцарю бедному, но, в какой-то степени, и самому Пушкину... А эти, вместо живого, противоречивого Пушкина, пытаются сотворить новый миф. Раньше все время напирали на народность. Теперь — на православие поэта. Того гляди дойдут и до последнего члена уваровской триады — самодержавия.

Кстати, о мифотворчестве. В "Книжном обозрении" напечатали статью Г. Ханина о пробуксовывании нашей науки, статью хорошую и дельную, но, к сожалению, с перехлестами. Например, утверждалось, что к антисахаровским заявлениям принудили практически всех членов АН, не поддались только П. Л. Капица, И. Е. Тамм, В. А. Энгельгардт и еще два-три академика. Я написал письмо в "КО": не замаралась большая часть списочного состава АН, что же касается поименно, то правильно указан лишь Капица. Конечно, Тамм не принял бы участия в такой недостойной кампании, но он умер за два года

[18] Андрей часто употреблял это слово. По его наблюдению, мы оба заразились "забавно" от М. А. Леонтовича.

до ее начала. А Энгельгардт подписал обе академические коллективки — "сороковку" и "нобелевскую".

Узнав, что моя заметка не пошла в печать (из-за переполненности портфеля редакции), Андрей сказал:

— Миф всегда выигрышней и понятнее действительности... "Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман..." Лет через десять станут писать, что Комитет поддержки объявившего голодовку астрофизика имел предметом не доктора Хайдера, а академика Сахарова. И что председатель этого Комитета не на командировочные тысячи летал в Вашингтон, а за свой, кровный четвертной купил туда-обратный билет в Горький... Я тогда очень переживал поведение Энгельгардта. Какой великолепный человек скурвился! Интеллигент высшей пробы. Патриций... Евгений Львович рассказывал прелестную историю. В газетах писали про открытие новой частицы, предсказанной теоретиками, и в перерыве общего собрания АН Энгельгардт спросил об этом Д. В. Скобельцына. Тот выставил замену — стоявшего неподалеку Е. Л. Фейнберга. Когда членкор Фейнберг закончил объяснения, академик Энгельгардт повернулся к академику Скобельцыну и с легким поклоном сказал: "Спасибо, Дмитрий Владимирович!.. Слава Богу, у "Илиады" не болел живот"[19].

Сахаров был прав, мифотворчество продолжается. Не прошло и года со дня его смерти, а уже в "Известиях" можно прочесть: "Николай Вавилов, Петр Капица, Николай Семенов, Андрей Сахаров своими позициями и поступками спасали честь отечественной науки". Семенов — великий ученый, на счету которого немало добрых дел, но его подпись стоит под обоими поносными письмами, в которых Сахаров клеймится как раз за то, что сейчас называется спасением чести нашей науки. Так что столь близкое соседство в обойме на четверых не удивит лишь людей с очень короткой памятью.

— Самое противное в академическом начальстве — это сочетание сервилизма по отношению к высшей власти со шляхетским высокомерием к тем, кто является настоящим костяком науки, — сказал Андрей, узнав о реплике "Чернь пытается навязать нам свою волю", отпущенной одним из вице-президентов во время мятежа академических институтов. И добавил:

— Сейчас у нас вместо кухарок вице-президенты Академии наук. Каждый рвется управлять государством. Лезут через все щели в народные депутаты. Один даже через Общество шведско-советской дружбы.

В разгар выборных баталий мне вспомнились пушкинские стихи:

Оратор Лужников, никем не замечаем,
Мне мало досаждал своим безвредным лаем.

— Времена меняются, — ответил Андрей. — Но все равно попридержи язык. "Сейчас не время помнить..." А то подхватит какой-нибудь газетчик.

В своих публичных выступлениях, в том числе с самых высоких трибун, Сахаров часто пользовался привычным обращением "товарищи!" Честно говоря, я не замечал этого, пока не начала жить "Московская трибуна". Уже на первом учредительном собрании, с легкой руки Л. М. Баткина, основной

[19] "У "Илиады" болит живот" — концовка античного анекдота о богаче, который завел живой цитатник из обученных рабов.

формой стали "коллеги!", иногда "друзья!", в особых случаях "господа!", а если кто и говорил "товарищи!", то сразу же поправлялся. Один только Андрей остался "со товарищи". Позже он ответил мне, что эмоциональная окраска слова, его ± значение образовались у него в детстве. И "товарищ" пришел к нему не с газетных страниц, а из "Капитанской дочки". "Судьбы 120 товарищей, братьев...", "К Чаадаеву"...

— Что ж, теперь прикажешь читать: "Коллега, верь: взойдет она..."?

А вот слово "патриот" до сих пор существует для него в двух ипостасях. Французская, из "Марсельезы" и Виктора Гюго, — со знаком плюс. А на русском стоит клеймо "Господина Искариотова" и щедринского "потреотизма".

Запинки и сбои в речах, принимаемые многими за легкое косноязычие, на самом деле всегда имели причиной поиск максимально точных слов для выражения мысли. Он стремился к этому даже в самых экстремальных ситуациях, например, в момент червонописской истерии зала. Задолго до нее, еще во время первых нападок на канадское интервью, Андрей заметил, что стрелять в сдающихся солдат могли, вообще говоря, и без особого приказа сверху. Потому как по военному Уставу и по Уголовному кодексу добровольная сдача в плен есть величайшее преступление. Недаром во всех художественных произведениях, очерках и статьях на темы последней войны все положительные персонажи не сдаются, а попадают в плен в бессознательном состоянии. Сразу же после ТВ-показа кремлевского заседания я вспомнил об этом разговоре и заглянул в старый УК, изданный в 1938 году. Там не оказалось отдельной статьи о плене, а в статье 193[22] была вполне разумная формулировка: "...самовольное оставление поля сражения во время боя, сдача в плен, не вызывавшаяся боевой обстановкой...", замененная сейчас на "добровольную сдачу в плен по трусости или малодушию".

Сообщив это по телефону Андрею, я справился о его самочувствии.

— Не волнуйся. Мне не привыкать к нападкам. Я же мог отбиваться и, по-моему, успел сказать главное. Не то что последние месяцы в Горьком, когда я чувствовал себя как мышь в стеклянной банке, из которой постепенно выкачивают воздух.

Стремление к предельной словесной точности никогда не оставляло Андрея. В газетах появились сообщения о том, что В. Боярский, пыточных дел мастер сталинских времен, после 53-го года с успехом подвизался в аппарате президиума АН. Причем не в отделе кадров или иностранном отделе — законных вотчинах органов, а в респектабельном редакционно-издательском совете, где он командовал научно-популярной литературой и даже достиг известных ученых степеней. Прочитав мне стишок:

АН была когда-то царской...
Теперь в ней дух царит боярский, —

Андрей извиняюще добавил:

— Тут, конечно, есть маленькая неточность. АН была не царской, а императорской. Но это простительная поэтическая вольность.

Приведу еще один стишок, сочиненный нами вместе после опубликования мерзкой карикатуры, на которой выдворенного А. И. Солженицына встречали

с распростертыми объятиями Иуда, Брут и Кассий. Автор ее явно подпал под влияние Данте, начисто забыв о традициях русских, да и не только русских романтиков, для которых Брут был героем-тираноборцем. Больше часа мы пыхтели над переделкой пушкинского "К портрету Чаадаева". Андрей придирчиво отбирал каждое слово из принадлежавших нам двух строк, и в результате получилось:

Он вышней волею Небес
Рожден в России. Выдворен оттуда.
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес.
У нас он тоже Брут... И Кассий, и Иуда.

Другой раз мне посчастливилось стать первоначальным толчком, вызвавшим поэтический порыв Андрея. Мы случайно встретились во дворе ФИАНа, зашли в "Академкнигу", где я купил том Б. Рыбакова об авторах "Слова о полку Игореве", а потом, не торопясь (Люся была в отъезде), побрели в сторону метро "Ленинский проспект". Дорога шла под горку и поэтому нравилась Андрею. Где-то на середине пути я вспомнил, что у меня в кармане лежит листок с текстом ходившей тогда по Москве эпиграммы. Вместе с листком наружу вытащились осводовские "корочки", служившие обложкой для проездного билета. Андрей поинтересовался:

— Что у тебя общего с ОСВОДом?

И я объяснил, что "корочки" — шальной подарок моего молодого приятеля, возглавляющего — для ради отметки об общественной работе — ОСВОД в своем научном заведении. Андрей стал расспрашивать, ему всегда хотелось побольше узнать о следующем за нами поколении. Потом мы несколько минут шли молча. Мне показалось, что губы Андрея слегка шевелятся, и я подумал, что он проговаривает про себя только что прочитанную эпиграмму. И тут он сказал:

— Смотри, что у меня получилось.

Ловкость, богиня, воспой Леонида, слуги Посейдона,
На Воробьевых горах он возглавляет ОСВОД.
Плещучи крыльями, Дева-Обида от Синего Дона
Мимо Каялы-реки мертвых ведет хоровод.

Части, правда, не стыкуются, но ведь и в самом "Слове" такое не редкость.

Я пришел в восторг: гекзаметр, да еще рифмованный, что на Руси большая редкость. А Андрей со скромной гордостью обратил мое внимание на то, что в четверостишии есть еще и внутренняя рифма!

Последняя наша встреча была 8 декабря, на похоронах Софьи Васильевны Каллистратовой. Из Коллегии адвокатов на Пушкинской, где проходила гражданская панихида, в церковь Илии Пророка в Обыденском переулке катафалк шел большой петлей, проезжая Никитские ворота. Андрей, Люся и я ехали сзади в одной машине, и всю дорогу продолжался рваный разговор, начатый еще на Пушкинской. Воспоминания о покойной перемежались спонтанными ассоциациями. Андрей пожаловался, что запамятовал прежнее название кинотеатра повторного фильма. "Унион", — подсказал я, и он как-то по-детски обрадовался. А в виду Мерзляковского переулка он сказал, что проучился в 110-й школе (тогда

10-й) совсем недолго, никого там толком не знал, но вот сейчас, как ему передавали, бывшие ученики этой школы вовсю рассказывают фантастические истории о маленьком Сахарове, его успехах и тогдашнем всеобщем восхищении. Вот так и рождаются мифы.

Я спросил, видели ли Андрей и Люся любимый мною памятник мальчикам из 110-й, погибшим на войне. Пять скульптурных портретов в полный рост, работы их одноклассника Даниэля Митлянского. Узнав, что доски с баснями Крылова на Патриках тоже его работы, Андрей стал уточнять местоположение памятника, и я объяснил, что он стоит не у старого здания школы в Мерзляковском, а около слепой стены нового — как раз напротив Храма Большого Вознесения. Тут Андрей прервал меня:

— В этой церкви не только Пушкин венчался с Натальей Николаевной. Там венчались и мои папа и мама. А маленьким мальчиком меня приводили сюда причащаться.

Должно быть, Андрею было приятно это легкое пересечение собственной жизненной линии с линией Пушкина. Так мне тогда показалось...

8-го декабря исполнилось три года со дня смерти Анатолия Марченко. Во время отпевания многократно повторялись имена новопреставленной рабы Божией Софии и приснопоминаемого раба Божия Анатолия... Позже, когда служба кончилась, Андрей сказал:

— Как хорошо это поминальное объединение Софьи Васильевны и Толи!.. Оба они... "за други своя"...

Через несколько дней, перебирая в памяти подробности похорон, я сообразил, что часа за три до отпевания было еще одно объединение Софьи и Анатолия. На гражданской панихиде один из выступавших очень правильно сравнил Софью Васильевну с великим русским юристом Анатолием Федоровичем Кони. Я решил обязательно сказать это Андрею. Но не успел...

Утром 15 декабря я последний раз видел вблизи лицо Андрея. Спокойное лицо спящего. Только лоб и губы были холодные. И в углу рта, а может быть, мне показалось, запеклось маленькое белое пятнышко. Когда тело увезли, мы с Наташей ушли из дома, где уже начались похоронные переговоры с начальством.

Вечером стало известно, что посмертную маску привезли снимать Митлянского. И я вдруг вспомнил, как еще в студенческие годы Андрей говорил, что он больше верит гипсу посмертной маски Пушкина, чем стихотворному описанию Жуковского. Ведь Пушкин так мучился перед кончиной...

Но я видел лицо Андрея и верю, что он умер легкой смертью.

Приложение

Ниже публикуется сокращенный текст передачи "Радио Свобода" от 13 февраля 1992 года в выпуске "Русская идея". При этом мы следуем записи, любезно предоставленной нам для сборника ведущим передачу **Борисом Парамоновым.**

В двенадцатом номере питерского журнала "Звезда" за прошлый год напечатаны замечательные воспоминания об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Их автор — старый друг знаменитого академика, сокурсник его по учебе на физическом факультете Московского университета Михаил Львович Левин — профессор и доктор физико-математических наук. Из текста мемуаров, между прочим, явствует, что их автор и широко известный московский эпиграммист — одно и то же лицо. Эпиграммы физика Левина давно уже вошли в русский интеллигентский обиход, он в этом отношении пользуется репутацией пушкинского современника и приятеля Соболевского, оставшегося в истории русской литературы именно в качестве автора знаменитых в свое время эпиграмм. Можно смело сказать, что, каковы бы ни были чисто научные заслуги физика Левина, в массовом сознании современников, а может быть и в памяти потомков — не физиков, он останется, скорее всего, автором остроумных эпиграмм. Тут у него есть заслуги эпохальные. Чего, например, стоит одна его эпиграмма на поэта Илью Сельвинского, клявшегося в стихах в своей любви к Пастернаку и в ученичестве у него, а потом по собственной воле присоединившегося к хору его поносителей во время известной нобелевской истории: Левин использовал в эпиграмме еще одну собственную строчку Сельвинского, где тот писал, что в жизни не забил гвоздя; эпиграмма приобрела следующий вид: "Все миновало — слава и опала, остались зависть и тупая злость. Когда толпа Учителя распяла, пришли и вы забить свой первый гвоздь".

Именно литературность Левина, авторская его умелость приобрели, как мне кажется, первостепенное значение в необходимом деле сохранения подлинного облика Андрея Дмитриевича Сахарова. Мемуары Левина написаны хорошо в чисто литературном смысле, — и у него получился, смею думать, адекватный образ его героя и друга. Сахаров стал не только понятен (думаю, что все и всегда понимали, что такое Сахаров), — но более того: он стал виден. Мы видим и ощущаем человека. Этого ощущения, к сожалению, не дают собственные мемуары Андрея Дмитриевича — те, что в России печатались в журнале "Знамя": в них, конечно, масса интересного и ценного, но написаны они суховато, я бы сказал, излишне документально, и главное — не дают образа самого автора (тут, может быть, сыграла роль и скромность Андрея Дмитриевича). Скажу еще раз уже сказанное, но в применении к самому себе: я, конечно, всегда понимал масштаб этого человека и всячески преклонялся перед ним, — но вот теперь,

прочитав мемуары Левина, я Сахарова просто-напросто полюбил, и скажу с полной ответственностью: этого человека нельзя не полюбить, увидев его глазами Левина. Андрей Дмитриевич Сахаров был не только человек великий и благородный — он еще вдобавок ко всему этому был человек очаровательный.

Стержень сахаровского обаяния, если можно так сказать, — в том, что он был человек старомодный, человек явно девятнадцатого века, а еще проще сказать — несоветский человек. Удивительно, как его миновало проклятие эпохи, едва ли не худшей в истории человечества, вся эта, по слову поэта, "грязь обстановки убогой"; и ведь не только о грязи тут надо говорить, но и о крови. Вот в том-то и, я бы сказал, урок Сахарова, что при всем своем личном обаянии, он являет еще — а может быть и преимущественно — образ иной, лучшей эпохи. В нем чувствуются некие родовые черты прежних поколений русских людей. Причем я бы не стал говорить о традициях так называемой интеллигенции: эти-то люди много горшков побили, за многое ответственны, тут без критического отношения, обозначенного сборником "Вехи", не обойтись. В Сахарове ощущается скорее иная традиция, иной набор качеств, заставляющих вспомнить, пожалуй, о духовном и душевном благородстве аристократического образца. Опять же имею в виду аристократизм не сословного характера, а какой-то общечеловеческий, если можно так сказать, — аристократизм как некую высшую антропологическую характеристику. Скажу так: благородство и честь — вот черты Сахарова, прежде всего выделяющиеся в его человеческом облике; мне не хотелось называть эти черты специфически сословно-дворянскими, вот почему я прибегнул к более абстрактному понятию аристократизма.

И с этим соединилась еще одна черта Сахарова, придававшая его облику особенное обаяние. Я не скажу, что мемуары Левина эту черту как-то выделяют, скорее наоборот, скрывают, затушевывают. Опять-таки трудно найти наиболее соответствующее слово. Наивность, простоватость — не идут сюда, этого в Сахарове не было, не стоит делать его ребенком, заблудившимся в дремучем лесу. Но почему-то иногда именно эти слова приходят на ум. Дело тут в том, что соблазняет, сбивает с толку первоначальный факт служения Сахарова нечеловеческому режиму, да еще какое служение: ведь он сделал для коммунистов больше, чем вся компартия вместе взятая. Левин действительно приводит сахаровские слова, что им владела иллюзия доброго царя Сталина, которому мешают злые слуги. Однако важнее другое: само его участие во всех этих зловещих программах. Но вот тот Сахаров, что виден в мемуарах Левина, и не мог не участвовать во всем этом, причем это обстоятельство никак не снижает его облика, а наоборот — как бы возвышает. Решусь назвать это так: сознание собственной ответственности и причастности к общей судьбе. Сахаров с водородной бомбой — это Блок, написавший поэму "Двенадцать". Это человек, который лучше и выше нас, но который нас, плохих и низких, не покинет. Но если Блок вместе со своим народом сорвался в бездну, то Сахаров из бездны восстал. Первый — персонификация русской трагедии, второй — воплощение русской надежды. В жизни Сахарова был, так сказать, второй акт; это позволяет надеяться на то, что и русская жизнь на большевизме не кончилась.

Вернусь к мемуарам Левина. Они называются "Прогулки с Пушкиным". Вот в этом и проявилась прежде всего литературная умелость и одаренность автора, делающая его мемуары, не боюсь этого сказать, событием. Тут, в этом названии, есть, конечно, и легко узнаваемая литературная аллюзия, но главное не в этом. Заголовок нужно понимать прежде всего буквально: Левин пишет, что их общение с Сахаровым с самой юности приняло форму прогулок по городу – сначала по Москве, потом и по Горькому, куда Левин умудрялся часто наведываться и, главное, каждый раз ухитрялся встретиться с тщательно охраняемым Сахаровым (как это делалось – узнаете, прочитав мемуары; напоминаю, что они напечатаны в двенадцатом номере петроградского журнала "Звезда" за прошлый, 91-й, год). И вот эти дружеские прогулки, пишет Левин, неизменно сопровождались цитацией и комментарием пушкинских стихов. Вот самое, я бы сказал, интересное и неожиданное в Сахарове для человека, его не знавшего: он, оказывается, был выдающимся знатоком пушкинской поэзии. Выдающимся – буквально на профессиональном уровне. Сахарова смело можно назвать специалистом-пушкинистом. Он мог дать исторический и реальный комментарий чуть ли не к каждой строчке Пушкина.

Ну а теперь раскроем второй смысл заглавия мемуаров Левина о Сахарове – "Прогулки с Пушкиным". Всем известно, думаю, что так называется книга Андрея Синявского, давшая очень неканонический подход к нашему величайшему классику. Известно также, что опубликование маленького отрывка из нее в журнале "Октябрь" вызвало необыкновенно острую реакцию со стороны людей почвеннической ориентации. Застрельщиком этих протестов был академик Шафаревич, в одном из своих выступлений вспомнивший – с одобрением! – какой суровой каре был подвергнут английский писатель мусульманин Салман Рушди со стороны высшего исламского руководства – самого Хомейни – за роман "Сатанинские стихи".

Но вот интересно, что книга Синявского никак не возмутила тонкого знатока и ценителя Пушкина Сахарова.

В мемуарах Левина приводится и такое суждение Сахарова о Шафаревиче. Цитирую:

"Андрей был очень опечален деградацией И. Р. Шафаревича. Когда раскрылось авторство первоначально анонимной "Русофобии", я сочинил ехидные стишки. Прочитав их, Андрей сказал:

– Тебе что, у тебя с ним шапочное знакомство. А мне обидно... "Он между нами жил"...

Последние слова здесь – это опять же цитата из Пушкина. Я выше приводил слова Сахарова в передаче мемуариста Левина, где он говорил, что Шафаревич и его единомышленники пытаются сотворить новый миф. Это очень точные слова, но вот какое бы я внес сюда уточнение.

И. Р. Шафаревич и сам осознает, что он строит мифы, а еще вернее – пытается вернуть само русское национальное сознание к архаическим мифотворческим образцам. Такие его работы, как статья "Что такое патриотизм" и недавнее интервью газете "День", явно о том свидетельствуют. В такой реставрации, в такой реакции Шафаревичу видится русский, да и вселенский путь восстановления духовного и психологического здоровья народа, народов. Он

знает, он уверен, что здоровая агрикультура лучше водородной бомбы. Шафаревич даже, собственно говоря, не реакционен, а реактивен — им владеет естественная реакция отторжения, отталкивания от таких реалий современности, как водородная бомба. И разве в этом его нельзя понять? Но он позволил этому в основе здоровому чувству захватить себя целиком, и в его реактивности, скажем так, не осталось места Пушкину, — он не имеет права заступаться за поэта, который написал не только "Песни западных славян" — архаическую стилизацию фольклора, но и был передовым человеком своего времени. Вот тут и коренится проблема нынешнего почвенничества: оно хочет спасти человечество, одновременно отказавшись от культуры. Здесь Шафаревич чего-то радикально недодумывает, — что и сказалось так поучительно на истории с защитой Пушкина. Я уверен, что он, Шафаревич, не откажется от своего права на Пушкина, даже вспомнив о "Гавриилиаде". Однако большее, так сказать, право на Пушкина имеет все-таки Сахаров — и не потому, что он знал его насквозь, а потому, что ближе подошел к истории своего народа, — более органичен в этой истории, знавшей не только фольклор, но и атомное оружие.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА САХАРОВСКИХ ЧТЕНИЯХ [1]

Мое выступление в самом начале чтений оправдано лишь тем, что я единственный среди сидящих в зале, кто знал Андрея Дмитриевича с самой юности. Общих, подобающих для научных чтений выступлений сегодня, как я понял из слов председательствующего, не предполагается, а будут выступления, похожие на воспоминания. Вот я хотел бы начать с молодых лет Сахарова.

И еще. За все семь лет пребывания Андрея Дмитриевича в Горьком среди присутствующих я — единственный физик, который был у него не по казенной надобности, не в командировке, не по поручению института, а сам по себе.

Я выступаю еще и потому, что это просьба вдовы Андрея Дмитриевича, Елены Георгиевны, — рассказать о горьковских годах их жизни. Как она сказала, "в поучение". Не знаю, какое здесь выйдет поучение, но, может быть, и правда, какая-то польза получится.

Великие люди не так часто рождаются не свет. Пример, который может быть извлечен из событий десятилетней давности, вряд ли понадобится ныне живущим. Когда умер Маяковский, случились какие-то накладки на похоронах, и милиционер успокоил писателей: не волнуйтесь, в следующий раз будет все в порядке. Он не знал, что великие поэты рождаются и умирают не так часто.

Я сейчас начну с молодых лет Андрея Дмитриевича, но сразу хочу предупредить: есть опасность некоего мифотворчества, оно уже началось при жизни Андрея Дмитриевича, продолжается после его смерти, и мне бы не хотелось принимать в этом участие. Хотя, сами понимаете, создать миф о юном гении, который сразу был понят как гений всеми окружающими, очень легко. Можно удариться в другую крайность, что он был "дуб двоечный", а потом вдруг стал замечательным ученым.

Андрей Дмитриевич не был ни "дубом", ни самым блестящим студентом на нашем курсе. Правда, необычайную силу его и преподаватели, и студенты поняли очень скоро. А вот его самого, пожалуй, не понимали. Просто не понимали, потому что способ рассуждений, его логические ступени, всегда были гораздо крупнее, чем ступени обычных людей. И только позднее, когда я взрослым человеком читал о замечательных математиках Галуа и Рамануджа-

[1] Выступление М. Л. Левина на Сахаровских чтениях в г. Горьком 27 января 1990 г. Текст печатается по книге "Андрей Дмитриевич. Воспоминания о Сахарове" (М.: ТЕРРА, "Книжное обозрение", 1991)

не, которых не понимали современники, я как-то соразмерил их немножко с Андреем Дмитриевичем. Приведу такой пример. Когда он рассуждал, то по отношению к нам (а у нас был сильный курс) он находился примерно в таком положении, как мы с вами по отношению к типичному философу, привыкшему рассуждать по закону формальной логики.

Скажем, для нас фраза "Петр смертен" кажется очевидной, а для философа она нуждается в ступеньках: Петр — человек, все люди смертны, следовательно, Петр смертен.

Многое, что для окружающих нуждалось в ступеньках, для Сахарова было очевидно.

Я бы не хотел возникновения еще одного малого мифа: я не был близким другом Андрея Дмитриевича. У меня такое ощущение, что в молодые годы и в средние годы у него близких друзей и не было. Были товарищи по работе, в последние годы были товарищи по борьбе. А вот по-настоящему близкого друга я знаю только одного — это его жена.

Я был для него старым университетским товарищем. Это жесткое определение принадлежит ему самому, и оно было сказано уполномоченному Госбезопасности, с которым мы столкнулись во время нашей первой встречи на улицах Горького.

Старый университетский товарищ — это на самом деле немало. Старые университетские товарищи, особенно если они потом не работали вместе, не толпились в каком-то деловом вареве или академических кулуарных или не кулуарных отношениях, остаются любимыми товарищами: ведь каждый любит свою молодость, каждый любит свою юность, и университетские друзья несут печать этой любви.

Не хочу сравнивать нас с лицеистами прошлого века, но что-то похожее есть. Думаю, именно это объясняет ту радость, которую мне посчастливилось ему доставить. Сам я был очень счастлив. Потому что здесь, в Горьком, четырежды мы с ним пересеклись, и с этим связано какое-то олицетворение возвращенной молодости.

Вернусь к тому, с чего начал. Андрей действительно был трудно понимаем, и это у него оставалось очень долго. Мог ли он научиться излагать свои мысли так, чтобы они были понятны окружающим? Видимо, да. Но это к нему не пришло. Результаты, окончательные выводы у него всегда были правильными, задачи он решал правильно, ответы на физические вопросы давал правильные. А понять его было трудно. Так все три университетских года. А когда я с ним встретился после довольно большого перерыва (мы с ним учились три года до войны, а потом встретились по-настоящему после XX съезда), я вдруг заметил, что он очень ясно излагает свои мысли. Он мне объяснил: да, научился, потому что пришлось иметь дело с большими начальниками с генеральскими погонами и вообще надо было говорить так, чтобы они делали то, что нужно. Пришлось научиться говорить на языке, понятном окружающим.

И сейчас в газетах иногда пишут, что он был косноязычным. Это неверно, это не косноязычие. Это поиск самых ясных слов: самому-то ему ведь ясно все сразу, заранее.

Когда я познакомился с его первой женой, Клавдией Алексеевной, она мне сказала, шутя или не шутя, с какой-то гордостью, что вот они встретились в конце войны и что она, может быть, единственная женщина в Советском Союзе, которая получила объяснение и предложение руки и сердца в письменном виде. Он написал. Не от застенчивости, а потому что боялся, что скажет непонятно, девушка не поймет, о чем идет речь.

Теперь о Горьком.

Для меня это по-настоящему больная, какая-то незаживающая рана. Когда 10 лет назад стало известно, что он оказался в Горьком, все, конечно, были огорчены и возмущены. Но для меня было некоторое облегчение от той мысли, что он оказался именно в Горьком, потому что я очень люблю этот город. Я провел в нем шесть лет своей жизни и поначалу тоже в непростых условиях.

Я приехал в Горький с правом преподавания в университете и с правом проживания на Бору, время было лихое и крутое, и, однако, в Горьком мне было очень хорошо. Было чувство воли после Бутырок и шараги. Появились друзья и ученики. И, не считая внешних огорчений, от жизни в Горьком остались самые светлые впечатления. И я думал: раз в Горьком столько замечательных физиков, столько настоящих людей, Сахарову будет хорошо.

Не знаю, как это случилось, и не мне вам пытаться это объяснять, но в день высылки Сахарова, 22 января 1980 года, по удивительному совпадению в вечерней газете, в "Горьковском рабочем", появилась заметка, посвященная какому-то полукруглому юбилею Короленко — 95 лет начала нижегородской ссылки. Я не думаю, что это было нарочно, иначе редактору не сносить бы головы. Но такое удивительное совпадение... Нормальная заметка: просто о том, как в 1885 году после долгой Якутской ссылки Короленко был переведен в ссылку сюда и как было все хорошо в Нижнем Новгороде.

Короленко оказался в Нижнем Новгороде, и сразу вокруг него стала группироваться передовая тамошняя интеллигенция. В Нижнем Новгороде не было ни университета, ни политехнического, ни академических институтов. Были гимназия, духовная семинария. Были чиновники прогрессивные, были врачи, адвокаты, и сразу вокруг Короленко образовалось такое интеллектуальное ядро. М. Горький именно в Нижнем Новгороде получил благословение от Короленко. Его слова приведены в заметке: можно, мол, говорить об эпохе Короленко в Нижнем.

Но Сахаровской эпохи в Горьком не было. Были горьковские годы в жизни Сахарова. И только.

Я тогда подсознательно надеялся, что через сто лет произойдет что-то аналогичное... Горьковская интеллигенция, ну и, прежде всего, физики... Ведь редкая, уникальная возможность — иметь в своей среде такого замечательного физика. И теоретика, и несравненного специалиста по прикладной физике. Я пребывал в такой надежде некоторое время, пока не выяснилось, что она бесплодна.

Это одни из самых горьких моих воспоминаний и переживаний. Потому что, понимаете, когда какое-то столичное академическое быдло, которое думает только о деньгах и поездках за границу, о власти и директорском кресле,

подписывает все эти гнусные бумаги и письма, это все очень противно, но меня лично по-настоящему не задевает.

Забегу немного вперед. Во время первой сахаровской голодовки наблюдалось очень большое волнение в коридорах президиума Академии наук. Разные бродили там люди. Но доминирующий тон среди тех, кто там роился, был такой: если Андрей Дмитриевич помрет, то нам за границей никто не подаст руки, и нам там делать нечего. Вот это их волновало!

А здесь ведь все не так. Здесь-то настоящие люди, которых я люблю и уважаю. Может быть, сегодня будут выступать и горьковские физики, они откроют свой секрет во имя гласности, свободы и плюрализма. Что же, в конце концов, их заставило принять условия, установленные начальством? Мне непонятно. Я понимаю, что с коллективом жить — по-волчьи выть, что нужно делать свое дело и, так сказать, жалует царь, а не жалует псарь... и приходится христарадничать. Но, может быть, стоило попробовать. Тем более я не уверен, что были какие-то запреты, распоряжения на бумаге. Похоже, рассчитывали на понятливость?..

У меня появилась большая надежда как раз в середине горьковского периода жизни Андрея Дмитриевича, когда на весь свет было объявлено президентом Академии наук о том, как гуманно поступило наше правительство, отправив Андрея Дмитриевича в Горький, где замечательные условия для работы, где очень много академических институтов и тамошние ученые академического ранга отнюдь не стремятся покинуть Горький.

Это было интервью журналу "Ньюс уик", то самое знаменитое интервью, в котором президент заявил, что у Андрея Дмитриевича серьезный психический сдвиг. Оно на совести Александрова. Утверждение президента Академии наук о райских условиях в Горьком неоднократно повторялось профессионально выездными учеными, когда их за границей спрашивали, что у вас там с Сахаровым.

На этом фоне, конечно, следовало попробовать: давайте приглашать Андрея Дмитриевича на свои конференции. Давайте приглашать его на совещания, пусть он принимает участие, давайте ходить к нему советоваться по науке. Надо было не улавливать с полуслова волю начальства, а с мудрой швейковской тупостью повторять и повторять опубликованное в печати утверждение президента.

Ничего такого, к сожалению, не произошло. Это меня мучает до сих пор. А тогда мне было просто тяжело — и за Сахарова, и потому что я в Москве имел репутацию горькофила. Все знали, что я работал в Горьком, знали, как я люблю этот город, и с меня спрашивали, что же у тебя там делается? А я на этот вопрос ответить не мог.

Я сегодня был на открытии памятной доски и внимательно слушал все выступления. Боюсь, создалась в каком-то смысле неправильная картина, оправдывающая непонятное поведение горьковчан. Андрей Дмитриевич, мол, был здесь в такой глухой осаде, что никак нам было к нему не прорваться. Что мы могли сделать? Хоть захватывай в горьковском гарнизоне танк и при на нем в Щербинки.

На самом деле, мне кажется, такая глухая облава шла на московских диссидентов. Вот их, действительно, старались не допускать и не допускали к Андрею Дмитриевичу, им трудно было прорваться.

Когда они отправлялись к Андрею Дмитриевичу в Горький, об их намерениях знали в Москве. Трудно удержаться и не сказать хотя бы двум самым близким друзьям: а вот я поеду к Андрею Дмитриевичу. Даже я знал, хотя и не являюсь профессиональным диссидентом, о том, что такой-то едет и такой-то едет... А я первые три раза был по предварительному уговору, но заранее об этом никому не говорил.

Первый раз, правда, совершил ошибку. Не сообразил, что могу подвести моих хозяев. Я встретился с Андреем Дмитриевичем в конце конференции. Это произошло через два месяца после его высылки сюда. И потом устроителям конференции, по их словам, был "втык" и предупреждение, что если это еще раз повторится, не то москвичей не будут пускать, не то конференции вообще прикроют. После этого я никогда не приезжал сюда, чтобы повидать Андрея Дмитриевича, за казенный счет, а приезжал на свои во время отпуска и никого не подводил, и перед Горьким моя совесть чиста.

Так вот, максимум, что грозило большинству тех, кто посещал Андрея Дмитриевича или пытался посетить, по-моему, была отправка в Москву. И даже иногда бесплатно. Вряд ли такая мера пресечения могла угрожать жителям Горького.

Со мной было проще. Убедившись, что я не представитель, не эмиссар той или иной группы, а действительно старый университетский товарищ Андрея Дмитриевича, меня никуда не отправили, и я уехал сам. А потом ни на улицах, ни в Зеленом Городе мне с ним никто общаться не мешал. Правда, фото- и кинопленку расходовали, не жалея. Мне кажется, и этот поздний урок имела в виду Елена Георгиевна, когда просила меня выступить в Горьком.

Я расскажу напоследок про удивительное пересечение двух разнесенных во времени и пространстве событий, о котором я не успел спросить Сахарова.

Последний раз я разговаривал с Андреем Дмитриевичем 8 декабря, за шесть дней до его смерти. Грустный был день. Похороны замечательной женщины, адвоката Софьи Васильевны Каллистратовой, которая участвовала в процессах 60-х годов, и одновременно это была третья годовщина смерти Анатолия Марченко. Гражданская панихида проходила в коллегии адвокатов на Пушкинской, а отпевали ее в Обыденском переулке, около метро Кропоткинская. Мы вместе ехали туда на машине и проезжали через район нашей общей юности.

В те давние времена нас дополнительно сближало то, что мы жили в одном районе и иногда после факультативных курсов или семинаров вместе шли по Моховой до Никитских Ворот, разговаривая на разные темы. И тут, в машине, возникли студенческие воспоминания об этих местах, о том, что было в наше время. Речь, в частности, зашла о 110-й школе. И тут Андрей сказал, что начинается мифотворчество. Он в 110-й московской школе учился не очень долго и толком мало кого знал и помнил. Но уже какие-то старые ученики этой школы рассказывали, какой гениальный ученик был Андрей Сахаров, и как все преподаватели на него молились, и как все девочки им восхищались, и как все мальчики ему завидовали.

Так что он меня вроде предупредил, чтобы я не занимался мифотворчеством, и я, по-моему, от этого удержался.

До войны нас в университете очень серьезно учили астрономии. Сейчас ее на физфаке совсем не преподают, а у нас читали курс, велись семинарские занятия, и мы отрабатывали практику в институте Штернберга, и вел ее у нас замечательный наблюдатель (потом он уехал в Пулково), Митрофан Степанович Зверев. А работа на телескопе зависит от погоды.

Сидели мы в обсерватории довольно долго, ждали, когда небо станет ясным, и как-то одна из наших девочек пожаловалась, что никак не может запомнить порядок спектральных классов Дрэпера по температуре. Они идут в таком порядке — O, B, A, F, G, K, M, N. Запомнить трудно, а экзаменаторы требуют. Зверев сказал, что есть ключевые фразы, мнемонические слова, тогда этим очень увлекались. У нас даже по истории партии были ключевые слова. Вот у англичан есть очень хорошая фраза для того, чтобы запомнить эти спектральные классы: O Be A Fine Girl Kiss Me Now. А когда Зверев учился в университете в начале двадцатых годов, у них была еще лучше фраза, правда, не очень осмысленная, но зато в ней одно слово содержит подряд три нужные буквы: О Боже, АФГанистан! Куда Мы Несемся?

И вот вечером 8 декабря, возвращаясь домой, я вдруг вспомнил эту ключевую фразу, получившую сорок лет спустя безнадежно ясный смысл, тесно связанный с высылкой Андрея Дмитриевича в Горький...

ВОСПОМИНАНИЯ О ПАСТЕРНАКЕ

I

Ранней осенью 1942 года, приехав из Ташкента в Москву, я привез Борису Леонидовичу письма Евгении Владимировны и Жени вместе с небольшой посылкой: сушеные ломти дыни и еще какие-то сухофрукты. По телефону он назначил мне встречу у станции метро, сказав, что живет сейчас не у себя, а в доме у друзей. По-видимому, он знал, что я плохо вижу, так как дотошно выспрашивал мои особые приметы, несмотря на заверения, что я сам его узнаю. И действительно узнал, хотя уже наступал пасмурный моросящий вечер, а Пастернак был в низко надвинутой кепке и с поднятым воротником макинтоша. Шли недолго и молча. В комнате, куда он меня провел, горела настольная лампа и было полутемно. По контрасту с уличным молчанием меня сперва ошеломил обвал слов. Тут были и радость получения писем, и восторг предвкушения подробного рассказа, и еще что-то праздничное, но уже совсем непонятное.

Борису Леонидовичу хотелось детально узнать о жизни, быте и занятиях Евгении Владимировны и Жени, и он часто перебивал меня вопросами. Когда я упомянул, что по просьбе Е. В. позировал ей для портрета, Пастернак спросил, что она рассказывала во время сеансов. Ведь художники не любят, объяснил он, когда модель скучает (если только это не глупая красавица), им нужно живое лицо с игрою ума и чувств. Вот они и заводят долгий монолог, а так как другая часть мозга занята делом, то в таком монологе бывает много подсознательного. И это самое интересное.

Бориса Леонидовича волновала настоящесть склонности сына к занятиям физикой (Женя учился на первом курсе физфака, а я был двумя курсами старше), и он опасался, что Женино увлечение увянет в бронетанковой академии, куда тот был зачислен после мобилизации. Но тут Пастернак улыбнулся и сказал, что ведь многие знаменитые французские математики и физики прошлого века были по образованию инженерами. И явно обрадовался, услышав от меня, что и Майкельсон обучался в военно-морском заведении.

Затем пошли расспросы о писательской колонии в Ташкенте. К его удивлению, я мало кого знал лично. И он даже по-детски как-то обиделся, узнав, что я не был знаком с А. А. Ахматовой и могу рассказать о ней только с чужих слов.

Зато о В. В. Ива́нове и его семье выспросил все... Однажды Всеволод Вячеславович проигрывал на своих сыновьях и на мне сочетание: "Сокровища Александра Македонского" и "Средняя Азия". Мы должны были безо всякой его подсказки придумывать разные сюжеты и варианты. Услышав про эту игру, Борис Леонидович сказал, что речь может идти, конечно, не о золоте и драгоценностях. Их бы давно разворовали, и потом это просто не интересно. Сокровища — походная библиотека Александра, составленная, может быть, Аристотелем. И в ней не дошедшие до нас трагедии Эсхила и Софокла, стихи, известные сейчас лишь по фрагментам, утерянные сочинения Платона и самого Аристотеля!

В Ташкенте я несколько раз слышал в авторском исполнении военную поэму К. И. Чуковского, которая тогда еще не имела названия "Одолеем Бармалея". Сообщение Звериного Информбюро:

Наши потери —
Четыре тетери
И эскадрон
Ворон, —

привело Бориса Леонидовича в восторг.

— Тетери — это генералы?

Я ответил, что именно так спрашивали во всех аудиториях, где читал Корней Иванович. От малолеток до академиков на Пушкинской, 84.

— Это не удивительно, — сказал Пастернак, — ибо тут абсолютно басенная точность, как у дедушки Крылова. И строки эти, конечно, навсегда останутся в нашей литературе.

Рассказывал я и о другом чтении — пьесы А. Н. Толстого про Ивана Грозного, сочиненной в соответствии с тогдашним направлением умов. Она была шумно одобрена и писателями и историками.

— Неужели никто не остался верен Алексею Константиновичу Толстому? — спросил Пастернак.

— Один только С. Б. Веселовский.

Борис Леонидович раньше не слыхал об этом замечательном нашем историке, а мне посчастливилось быть его собеседником, точнее, слушателем в Ташкенте. Пастернак потребовал пересказа. Достоверность и выпуклость подробностей Опричнины и Смуты — даже в моем переложении — мучительно приворожили Бориса Леонидовича. Он не давал мне комкать рассказ, переспрашивал имена и страшные цифры. И сейчас каждый раз, раскрывая книги С. Б. Веселовского, напечатанные уже после смерти Пастернака, я снова вижу перед собой возбужденное лицо Бориса Леонидовича, переживающего дела почти четырехсотлетней давности как события, случившиеся вчера.

Еще в середине рассказов и расспросов время стало приближаться к комендантскому часу. Борис Леонидович попросил остаться, предложив переночевать на диване. Поужинали холодными картофелинами и несколькими ломтиками хлеба. К чаю из термоса Пастернак нарезал ровными квадратиками пластину сушеной дыни, и я подивился прозекторской верности его ножа.

Утром Борис Леонидович спохватился и стал расспрашивать о моих обстоятельствах и планах. При упоминании о работе на раман-спектрографе в карповском институте он очень заинтересовался сутью дела, а потом сказал, что в молодости знавал Л. Я. Карпова... Но не стал распространяться, мне показалось, что эти слова предназначались не мне, а были меткой каких-то воспоминаний.

В передней Борис Леонидович стал подавать мне пальто. Бормоча: "Не надо! Не надо!" — я пытался его отнять, потом не попадал в рукава и ушел в полном смятении, толком не попрощавшись.

II

За год или два до смерти Сталина я приехал в зимние каникулы на несколько дней из Тюмени в Москву. Мой паспорт внешне выглядел довольно пристойно, но нарываться не стоило, и я ночевал каждый раз в новом месте. Поэтому однажды Миша и Кома Ива́новы отвезли меня в Переделкино и поместили на дачу, где в одиночестве маялся И. Л. Андронников. Из-за поврежденной ноги он не мог выходить наружу и очень страдал без человеческого общества. Разговор затянулся до поздней ночи. Говорил, конечно, в основном он, и больше всего о Лермонтове, а я наслаждался его рассказами.

Утром на улице я встретил Бориса Леонидовича, удивившегося моему появлению в Переделкине. Объясняясь, я коснулся рассказа Андронникова, и Борис Леонидович сказал, что Лермонтов — единственный писатель, которого он прочитал всего подряд, еще мальчиком, в иллюстрированном издании, вышедшем под наблюдением Л. О. Пастернака. И Лермонтов явился весь сразу, как море при повороте горной дороги.

Борис Леонидович справился о моей матери, наглухо исчезнувшей после ареста в 1948 году. Эта сторона тогдашней жизни мучила его, как мне кажется, всегда. Еще раньше, когда я сам после освобождения первый раз встретился с Борисом Леонидовичем, он со множеством извинений выспрашивал подробности следствия, тюрем и шарашки. Спрашивал он и о тюремных стихах. Он считал их средством сохранения памяти и сравнивал с поэзией бесписьменных народов. И добавил, что это относится именно к стихам нашего времени, потому что в прошлом веке одному лишь Шевченко запретили писать, а, скажем, Кюхельбекер исписывал в Свеаборгской крепости одну сотню листов за другой.

Отвечая на вопросы Пастернака о жизни в Тюмени, я поведал главную тайну, которой тщеславились горожане. В начале войны в Тюмень вывезли саркофаг Ленина, вместе с ним отца и сына Збарских. Оба жили под видом обычных эвакуированных, и для пущей маскировки начальство распространяло слухи, что у них неприятности из-за подпольной частной деятельности.

Сравнение Лермонтова с морем вызвало у меня воспоминание о летнем переходе из Домбая в Сухуми, когда за Клухорским перевалом я впервые увидел такое большое море. Кстати, сказал я, там в Домбае я познакомился с В. Л. Карповым, сыном Л. Я. Карпова.

Тут неожиданно для меня произошел кумулятивный эффект. Вдруг Борис Леонидович почти закричал, что он и я во времени, по окружению и обстоятель-

ствам принадлежим к абсолютно разным пластам, в жизни у нас было всего пять-шесть встреч, и однако, я столько раз вступал в оставленный им след.

Семилетним мальчиком я поселился с мамой в доме, где когда-то жил он, и кусок улицы от Пречистенской пожарной части до выхода на храм Христа Спасителя становится для меня главным местом Москвы. На Староконюшенном переулке я разглядываю найденные за школьными шкафами большие глянцевые картонки, оставшиеся от Медведниковской гимназии. На них античные сюжеты, императоры, а именно такие учебные пособия немецкой работы запомнились Пастернаку. Через несколько лет с хоров Колонного зала, рассматривая в полевой бинокль президиум съезда писателей, я узнаю именно его — по карикатуре, вывешенной в фойе. Еще позже, приехав на полдня в дорогое его памяти Узкое, случайно знакомлюсь с Сигурдом Шмидтом, который потом сводит меня в Ташкенте с Женей. И там из институтской хроники извлекаю сведения о Л. Я. Карпове. В горах знакомлюсь с В. Л. Карповым, Володей Карповым, чьим домашним учителем был когда-то Пастернак. А теперь еще тюменская легенда о Збарских, роль которых в жизни Бориса Леонидовича была мне в то время, конечно, неизвестна. Такой букет пересечений не прощали в старину даже дамам-писательницам!

Сейчас я могу добавить, что моя однокурсница вышла замуж за Никиту Живаго, сына московского профессора. И еще, что и в моей судьбе некоторую роль сыграл Поликарпов. Но тут я опередил Пастернака на четыре года.

III

В январские каникулы 1955 года я навестил в Инте моих друзей и однодельцев Юлия Дунского и Валерия Фрида, незадолго до этого отбывших десятилетний срок и оставленных на вечное поселение. Возвращаясь в Тюмень через Москву, я вез, среди прочего, пунктирную запись стихотворного обзора журнальных публикаций, прочитанных в КВЧ спецлагеря, где судьба свела их на одном ОЛПе. Обзор был сложен еще в зоне. Именно сложен, первую запись с многочисленными пропусками слов и строк сделал я. В обзоре были две строфы, относящиеся к Пастернаку. Они шли непосредственно за "симоновским" куском:

...И Русским занимается вопросом,
Как подобает всем великороссам.

Совсем другое дело Пастернак...
Тот поступил как истинный философ:
Не ставит, чтобы не попасть впросак,
Ни русских, ни еврейских он вопросов,
Уйдя в Шекспира от житейских гроз.
To be or not to be — вот в чем вопрос!
Я не могу похвастаться знакомством
Ни с автором — самим Пастернаком,
Ни с творчеством его. С его потомством

Я был, по воле случая, знаком,
И, признаюсь, мне нравится Евгений
Сильней других его произведений.

Перед отъездом из Москвы я успел проговорить эти строфы Жене, а в следующий приезд мне передали желание Бориса Леонидовича повидаться. Первым делом он порадовался освобождению моей матери и попросил рассказать подробности почти сказочного вызволения ее из Казанской тюремной больницы.

Мою мать арестовали по "аллилуевскому" делу, делу вдовы сталинского шурина. Сперва взяли всех друзей вдовы, а по второму заходу загребли знакомых этих друзей, в том числе и мою мать. Следствие шло в Лефортове, и оставшихся в живых, по решению ОСО, поместили в одиночки Владимирского изолятора. Однако после смерти Сталина режим стал мягче, и подельцы Л. А. Тумерман (физик) и Г. А. Угер (военный радист) очутились в одной камере. По нарезанным газетным кускам, выдаваемым для сортирных надобностей и предварительно вычитываемым охраной, им удалось вычислить, что уже нет ни Сталина, ни Берии. Подняли шум, потребовали прокурора. Начальство тогда еще не оправилось от растерянности, и после долгих проволочек обоих актировали. Угер раньше был профессором военной академии (именно он обучал Гризодубову, Осипенко и Раскову[1] работе с передатчиком, неполадки в котором стали десять лет спустя дополнительной статьей обвинения) и дружил с одним из отцов нашей радиолокации Ю. Б. Кобзаревым. В рассказе о своем деле, многие из участников которого не знали друг друга, Угер упомянул и совершенно неизвестную ему Левину. А Кобзарев слыхал про меня, потому что во время войны я работал в НИИ локации в лаборатории моего учителя М. А. Леонтовича. Кобзарев связался с Леонтовичем, тот сообщил моему отцу, и так, после шести лет полного неведения, мы вышли на след. Во Владимире удалось узнать, что из-за перенесенного там инсульта мать перевели в казанскую тюремную больницу. Главврач этой больницы оказался бывшим студентом отца и с редким в таких заведениях сочувствием быстро оформил нужные для актирования бумаги.

Борис Леонидович умел и любил слушать, и в разные времена мне случалось подолгу занимать его внимание. Здесь я привожу скелет моего тогдашнего рассказа лишь потому, что, жадно выслушав всю историю ареста, чудовищных обвинений, методов следствия, Пастернак потом, уже остыв, сам выделил, несколько раз переспрашивая, всю цепочку "счастливых совпадений", разделенных в моем не слишком упорядоченном рассказе большими промежутками. И мне показалось, что он нашел в этой цепочке подтверждение какой-то важной для него общей позиции.

Интинские строфы развеселили Бориса Леонидовича. Приятно услышать похвалу людей, декларирующих незнание его стихов. Попросил прочесть еще что-нибудь, но большинство персоналий остались ему непонятными: он не читал ряд произведений, отделанных в обзоре, а иногда и не слыхал про их авторов

[1] В этом месте рассказа Пастернак спросил: могли ли летчицы рожать после экстремальных перегрузок того полета.

(Саксе, Суров, Мальц, Рыклин...). Резонанс вызвала строфа, выделявшаяся своей сравнительной безобидностью:

Чуковский мемуары пишет снова.
Расскажет многопомнящий старик
Про файвоклок на кухне у Толстого
И преферанс с мужьями Лили Брик.
— Ну как, брат Пушкин? Что, брат Маяковский?
Со всеми был приятель брат Чуковский...

Пастернак сказал, что он сам изумлялся неисчерпаемому кругу знакомств Корнея Ивановича, но кто посмеет упрекнуть в непочтительности зеков, окунувшихся после трелевки леса в тогдашнюю изящную словесность. И, похвалив версификаторский профессионализм авторов[2], добавил, что злободневность и локальные привязки — опасная ловушка. Через несколько лет они уже нуждаются в комментариях. Так получилось у него самого с "Лопатками". Гениальный конец "Возмездия" портит стих "Quantum satis Бранда воли", теперь мало кому понятный. Зато, может быть, "Брантов бот" до сих пор на плаву как раз из-за пушкинского стихотворения...

Среди прочих интинских сюжетов я рассказал Борису Леонидовичу историю Ярослава Смелякова, находившегося в то время еще в зоне. Там он писал поэму о своей фезеушной юности (позже она получила название "Строгая любовь"), а готовые главы переправлял на волю. У меня были при себе списки этих главок, и Пастернаку захотелось послушать. Потом он попросил прочесть, что я помню из молодого Смелякова, и поразился, насколько расширился духовный горизонт этого поэта. Даже такая малость: в "Любке" почти с афишной тумбы — "Опера "Русалка", пьеса "Ревизор"...", а сейчас: "Не знала улыбки твоей, Джиоконда, и розы твоей не видала, Кармен!" И так естественно было бы обыграть, что героиня поэмы — тезка Джиоконды, но Смеляков, к счастью, предоставил додуматься до этого читателю.

Главки поэмы были привезены не только для домашнего пользования. Интинские друзья Смелякова считали, что поэма может изменить его положение, и поэтому пытались по разным каналам переправить ее в столицу. Вот и мне надлежало передать перепечатанный текст[3] А. Я. Каплеру, который к тому времени уже жил в Москве. Мой пересказ ныне хорошо известной истории его арестов завершился неожиданным вопросом: как мог такой, по моим словам,

---

[2] Восток и Запад. Вас поссорил Киплинг.
Его уж нет... На Запад, обнаглев,
И Лев Никулин рыкает, как Рыклин,
И Рыклин, аки рыкающий лев.
Никулин — лев, но следует, однако,
На нем писать: се лев, а не собака.

[3] Еще один экземпляр предназначался жене Ярослава Васильевича — Дусе. Пастернак с волнением слушал обращенное к ней стихотворение и о строках:

Как младший лейтенант на спецзаданье,
Я бросил все и прилетел в Москву, —

одобрительно сказал, что вот Чацкому не пришло в голову сравнивать свой стремительный 700-верстный полет с фельдъегерским...

умный, добрый и талантливый человек сочинить запомнившуюся Пастернаку и показавшуюся ему отвратительной сцену, где Ленин, умиляясь распашонкам будущего младенца, спокойно одобряет известие из деревни о том, что мужики поубивали всех помещиков (фильм Ромма "Ленин в Октябре", по сценарию Каплера). И все это еще до Октября и всеобщего ожесточения гражданской войны. Прямо какой-то, как писал Пушкин, сентиментальный тигр!..

Интерес Пастернака к Смелякову оказался устойчивым. После XX съезда, когда уже в Москве меня познакомили с Ярославом Васильевичем, мои ответы на вопросы Бориса Леонидовича стали более содержательными. Однажды он спросил об отношении Смелякова к самодеятельной лагерной поэзии. Этого я не знал, но сказал, что Смеляков суров к дилетантам и вот, например, изругал мое подражание асеевской "Песне о Гарсии Лорке". Оно начиналось словами:

Почему ж ты, Россия, в небо смотрела,
Когда Павла Васильева увели для расстрела... —

и было полно упреков нынешним поэтам, которые "до сих пор дальнозорки, и молчат о своих, вспоминая о Лорке". Смелякова оскорбила риторическая бесплотность Павла Васильева и Бориса Корнилова в моем опусе. Пастернак был того же мнения. Для меня тогда было совершенно неожиданным его какое-то совсем личное отношение к Васильеву и слова, что в редком у нас жанре комических поэм с организованной строфикой "Принц Фома" может быть поставлен в один ряд с "Домиком в Коломне" и "Тамбовской казначейшей".

Потом последовал вопрос: почему я плохо отношусь к Асееву. В моем ответе фигурировало среди прочего асеевское стихотворение с примерно таким текстом: "Судят Райка и сообщников Райка... преступная шайка".

— Этого не могло быть, — резко возразил Пастернак. — Для поэтов есть запрет, идущий от Пушкина: "Риэго был пред Фердинандом грешен"... — И предположил, что, должно быть, у меня просто поскользнулся взгляд на подписях к соседним колонкам газеты.

До последнего времени я надеялся, что Борис Леонидович был прав, понимая, однако, ничтожность вероятности найти автора: стихи такого сорта не включают в сборники и собрания сочинений. Но недавно мне попал в руки томик стихов и поэм Н. Асеева, где напечатано "Нерушим союз демократий". Там есть и Райк, и многое другое...

IV

Весной 1956 года Леня Пастернак решил поступить на физфак, и Борис Леонидович попросил меня приехать в Переделкино. Едва войдя в дом, я был огорошен вопросом: можно ли в наше время заниматься физикой, оставаясь порядочным человеком? Я ответил, что физика не клином сошлась на прикладных ядерных проблемах и что не только к занятиям этими проблемами готовят на физическом факультете. Есть, скажем, оптика и многое другое. На это Борис Леонидович сказал, что оптику, небось, просто проходят, ведь там все давным-давно сделано и открыто, а сам предмет кажется ему несколько скучноватым.

Заступаясь за любимую оптику, я упомянул эффект Черенкова, и разговор вышел на конусы в оптике.

Пастернаку очень понравились и объяснение эффекта Черенкова (прекрасно, что для излучения надо двигаться по прямой быстрее, чем скорость света, а вилять можно по-всякому), и коническая рефракция Гамильтона. Он завистливо спросил, видел ли я сам это чудо превращения тонкого луча в коническую воронку. Тут я заметил, что одно из крупнейших достижений старой геометрической оптики — декартова теория радуги — тоже связано с конусом повышенной концентрации лучей, дважды испытавших преломление на поверхности дождевых капель.

Слова о радуге необычно взволновали Пастернака. Могу ли я объяснить ему, почему возникает радуга? То, что она цветная, — понятно, это из-за ньютоновской дисперсии. Но почему светится только узкая дуга, опирающаяся на землю? И, главное, почему радуга всегда одна и та же? Последний вопрос я сперва не понял, и Борис Леонидович пояснил, что и большая, высокая радуга — куски одной и той же окружности[4]. Я сказал, что сейчас мы с Леней получим все эти результаты. Только честно, потребовал Пастернак, а не "ученые доказали", как пишут в нынешних книгах.

Так началось наше первое занятие физикой. Под моим присмотром Леня вывел формулу Декарта $\Delta = 180^\circ - 2i + 4r$ для угла поворота луча и с помощью школьных таблиц Брадиса и логарифмической линейки вычислил значения Δ для нескольких углов падения i. Убедившись в немонотонности Δ, мы приступили к нахождению минимума. Я вспомнил, что сам Декарт рассчитал ход нескольких тысяч лучей.

— Неужели у него хватило терпения, — сказал Пастернак, — ведь он же был француз!

В те годы элементы высшей математики еще не проходились в школе, но многие мальчики, и Леня в их числе, постигали их самоучкой. По словам Бориса Леонидовича, он в молодые годы вполне сносно дифференцировал, хотя, конечно, не столь лихо, как Брюсов. Техническую сторону дела Пастернак, естественно, позабыл, но у Лени оказался листок фотобумаги с основными формулами. Держа перед собой этот листок, Борис Леонидович внимательно следил за нашими выкладками, закончившимися конусом лучей радуги полураствором в 42 градуса. Глядя на выведенные формулы, Леня сам сообразил, что в южных широтах радуга бывает реже и что для капель жидкости с показателем преломления больше двух ее вообще не может быть. Пастернак был очень доволен и, кажется, поверил, что сын годится в физики.

По мнению Бориса Леонидовича, постоянство угла раствора радуги имело для древних колоссальное значение. Договор Бога с людьми был скреплен Его печатью на небесной тверди как раз напротив Солнца. И кусок этой неизменной печати высвечивается, как напоминание о договоре или же как его подтверждение.

Позже, за ужином опять зашла речь о роли различных неизменяемых величин и объектов в жизни и понятиях людей и народов. Пастернака очень

[4] Мне кажется, что никто из поэтов и прозаиков, описавших радугу, не заметил этого.

заинтересовала информация о корабельных волнах Кельвина: при любой скорости корабля волновое возмущение за кормой локализовано в узком секторе с углом в вершине около 39 градусов. Почему об этом нет у древних авторов? Ни в одной из великих "морских поэм"! Леня пошутил, что все мореплаватели смотрели вперед, не замечая того, что делается за кормой.

— А Одиссей, — ответил Пастернак. — Когда уплывали от сирен. Впрочем, ему было тогда не до созерцания следа корабля. И потом, надо ведь наблюдать при разных скоростях. Но у царя Соломона есть "след корабля в море"... Хотя это не то. Может быть, что-то упоминается у финикийцев, надо спросить у Комы. А в чем особенность этого угла, откуда он?

Я сказал, что косинус угла равен 7/9, а синус половинного угла — 1/3.

— Ну вот! — торжествующе заявил Пастернак. — Небось, все это есть в каких-нибудь текстах, а переводчики и комментаторы придали цифрам кабалистический смысл или даже заменили их другими, для размера. Как это было при переводе киплинговских "Boots"[5].

Последующие занятия с Леней носили более упорядоченный характер. Иногда Борис Леонидович подсаживался к нам, но, как мне кажется, его больше интересовало Ленино отношение к физике, чем предмет разговора. Уже под конец, при прогоне программных билетов, я объяснял, что законы Ньютона — это физические законы, а не аксиомы философского толка, имеющие универсальный смысл. В иных сферах действие не равно противодействию. Леня стал развивать эту мысль: поэтическое произведение приходит в движение под действием лишь внутренних сил. Пастернак уточнил, что так бывает только в лирике, а вещи эпического склада, от маленьких баллад до грандиозных поэм, нуждаются во внешних силах.

Я позволю себе добавить несколько слов о познаниях Бориса Леонидовича в математике и физике. Высшую математику в юности он изучил довольно обстоятельно и суть "исчисления бесконечно малых" помнил хорошо. Штудировал он и теорию функций комплексной переменной, так что с полным пониманием приводил сравнение Коши (определение функции в области по ее значениям на границе) с Кювье (восстановление всего скелета по нескольким косточкам). С физикой было хуже, но интерес к ней был, пожалуй, больше. Я привез Лене "Оптику" Эдсера (дореволюционное издание с белыми лучами света на черном фоне), и ею сразу завладел Борис Леонидович, унеся к себе наверх. В те годы физика была в моде, но подавляющее большинство гуманитариев интересовали два вопроса: бомба и парадокс близнецов в теории относительности. Из моих знакомых только Пастернак и Вс. Вяч. Иванов хотели узнать, как устроен мир и что случилось с его законами со времен их детства. Однажды я принес Борису Леонидовичу знаменитую книгу Г. Вейля "Raum-zeit-materie" (тогда еще не было русского перевода), и, судя по вопросам, она не просто пролежала у него на столе.

Как-то он попросил рассказать о работах П. Л. Капицы и был чрезвычайно удивлен, узнав о суммировании ряда обратных степеней корней бесселевых

[5] В оригинале сумма чисел равна полному числу миль каждого дневного перехода. В переводе (русское название стихотворения "Пыль") арифметика нарушена.

функций. Почему он занялся этим вопросом, не имеющим никакого отношения ко всей его деятельности? Или просто "Ветру и орлу и сердцу девы нет закона"?

Много лет спустя я рассказал об этом П. Л. Капице, и тот сказал:

— Жаль, что он не спросил меня...

V

В марте 1959 года "Огонек" напечатал подборку новых стихотворений Ильи Сельвинского, одно из которых ("Отцы, не раздражайте ваших чад!") оканчивалось обвинением Пастернака: "... теперь для лавров Герострата Вы Родину поставили под свист! " Надо сказать, что к этому времени нобелевская истерика полностью сошла на нет, и это стихотворение было не голосом из хора, а сольным выступлением некогда знаменитого поэта, тридцать лет тому назад находившегося вместе с Пастернаком и Тихоновым в походной сумке военспеца Эдуарда Багрицкого.

Я сочинил что-то вроде эпиграммы, опираясь на две цитаты:

...всех учителей моих —
От Пушкина до Пастернака!

(Из старых стихов Сельвинского)

Человечье упустил я счастье —
Не забил ни одного гвоздя.

(Из новых стихов Сельвинского)

Все позади — и слава и опала,
Остались зависть и тупая злость...
Когда толпа Учителя распяла,
Пришли и Вы забить свой первый гвоздь.

Здесь первый эпиграф — ныряющий кусок стихотворения "России", который сейчас, кажется, окончательно вынырнул. Второй — из нейтрального стихотворения "Карусель", напечатанного в той же огоньковской подборке, служил одновременно отсылом к изюминке цикла.

Реакция Бориса Леонидовича оказалась для меня абсолютно непредсказуемой. Евангельский мотив предательства он объявил совершенно безосновательным. Сельвинский никогда не считал себя, да и никем не считался, учеником Пастернака. В этом четверостишии, написанном, кстати, ради красного словца, Сельвинскому нужен был поэт двадцатого века достаточно крупного калибра, а главное, подходящего размера. "До Гумилева" или "до Мандельштама" было бы куда выигрышнее в смысле набора рифм, но чего говорить о невозможном в то время. А, скажем, Луговской не годился, ибо раньше ходил под началом у Сельвинского.

Помолчав, Пастернак добавил, что и Пушкину Сельвинский не ученик. Пушкин у него, кажется, только раз упоминается в том стихотворении, где тепловатый пушкинский стих соседствует с пресной лужей и вяловатой сливой, на фоне которых кипящим диким источником (ну, прямо лейтенантский гейзер в песенке Вертинского!) бурлит поэзия Сельвинского. Ни Писарев, ни футуристы с их "кораблем современности" не посмели охаивать стих Пушкина. Так что у Сельвинского только один предшественник — пресловутый Борис Федоров, назвавший, кстати, и своего тезку "Бориса Годунова" убогой обновой[6]. Сельвинский — сам себя сделавший поэт, и, может быть, только Маяковский как-то повлиял на него.

Не знаю, жалел ли потом Сельвинский об огоньковской публикации. Во всяком случае, во время похорон Пастернака он, по свидетельству Т. Глушковой, не прервал занятий своего учебного литинститутского семинара, проходивших на переделкинской даче.

Немного погодя Борис Леонидович спросил, не сочинил ли я еще чего-нибудь на эту тему. Нехотя я прочитал ему "Гамлета" с шиллеровским эпиграфом:

Для мальчиков не умирают Позы...

Шум затих. Газет умолкла свора.
Мир вокруг все глуше и тесней...
Чаша отреченья и позора,
Как кошмар в сыпнотифозном сне.

А давно ль холодной анакондой
Извивалась подлости река...
Утром — гильденстерны из Литфонда,
В полдень — розенкранцы из ЦК.

В предзакатном свете день алеет.
Веря в ясность завтрашнего дня,
Сочиняют фразы Галилея
Мальчики, влюбленные в меня.

Борис Леонидович был огорчен.

Мне самому не нравилась эта горькая "вариация", но она передавала мое тогдашнее убеждение, что вой и визг нобелевской травли не были артподготовкой к выдворению, а имели единственную цель — добиться отречения. Объясняясь, я даже употребил полублатное: "Вас взяли на бас", — и Пастернаку понравилось это выражение. Потом он спросил, встречал ли я таких мальчиков,

---

[6] Речь идет о приписываемом Б. Федорову стишке 1831 года:
И Пушкин стал нам скучен,
И Пушкин надоел.
И стих его не звучен,
И гений охладел
Бориса Годунова
Он выпустил в народ:
Убогая обнова,
Увы! на новый год.

может, мальчиков на самом деле нет? Я ответил, что мальчики есть, правда, не такие молодые, скорее пожилые мальчики моих лет. Но есть.

При жизни Пастернака я никому не читал это стихотворение.

Напоследок Борис Леонидович спросил, читал ли я "Дон Карлоса" в подлиннике. Я до сих пор жалею, что не решился тогда узнать подоплеку этого вопроса.

Приложение

Из письма М. Л. Левина И. В. Ракобольской

...К вечеру 30-го кончилось второе вливание крови, которое — в отличие от первого — ничем не помогло: столько же вылилось кровотечением. В двенадцатом часу ночи Б. Л. скончался. В полном сознании, попрощавшись с родными. Сестра так и не прилетела — не дали визу... "Хорошо бы перед смертью увидеть людей, воспоминания о которых не омрачены отношениями последующих лет..." Когда Женя и Леня в 3 часа ночи звонили ей в Оксфорд, она уже знала: тамошнее радио...

В 6 утра прикатила свора корреспондентов. Пытались проникнуть на дачу, хотели интервьюировать родных, медсестер, соседей... Сфотографировали собак (в буквальном смысле слова, в переносном — приехали позже) и отбыли, не солоно хлебавши.

Днем рыли могилу на переделкинском кладбище. Представитель Литфонда сказал рабочим: "Гроб будет большой, то, что у нас называется колода. Так что ройте просторно..." Уже когда вырыли — подошли переделкинские мужики, осмотрели, сказали: "Ему такая не годится," — час расширяли и углубляли.

Вечером привезли "колоду"... Даже в этом "литераторы" остались на прежней высоте.

Было многое. Меня потрясло последнее целование баб из соседних деревень. А рядом бегали возбужденные маленькие дети, для которых всякие похороны — немного праздник: "А я уже видел! А ты?"

Первые дни он лежал — весь в цветах — в маленькой комнате, в которой скончался. В день похорон гроб перенесли в большую комнату, смежную с гостиной, где, чередуясь, играли Нейгауз, Рихтер, Юдина и Волконский. Измученное исхудавшее лицо (он стал похожим на отца) и страдание в пальцах на груди.

Весь двор заполнен людьми, а по шоссе все подходят, подходят... Старые и молодые. Студенты, художники, артисты. Рабочие, мужики — целыми семьями. То, что называется научной интеллигенцией. Музыканты, очень много музыкантов. Учителя. Юродивые, пьяные. И, конечно, легавые. Просто и в фотокорреспондентской личине. Одного из них чуть не побили, когда он пытался через окно заснять Рихтера за фортепиано. Пенсионеры и ремесленники. Словом, самые разные люди. Только поэтов не было. Тех, которые признанные. У поэтов ведь свои законы...

Литфондовские боссы хотели отвезти гроб на кладбище на специально пригнанном автобусе. Но не дали им — донесли, меняясь, на плечах.

Когда мы добрались с гробом до кладбища (2 км), там уже стояли толпы — еле пробились. В ногах ямы уже пристроился розовый лощеный — галстук бабочкой — корреспондент с микрофоном и набедренным магнитофоном...

Говорил Асмус. О величии поэзии Пастернака, об искренности, без которой нет литературы и которая была у покойного и у Толстого.

Потом прочли старое стихотворение о поэзии. И хотя я сам в эти дни не раз вспоминал его, но прозвучало оно — особенно конец — над открытой могилой неожиданно и больно.

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели — всерьез.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышит почва и судьба.

...А потом, когда опущенный гроб был засыпан землей и цветами, снова читали стихи и долго не расходились.

Говорят, было несколько тысяч, я не считал.

И на даче, и когда несли гроб, и у могилы все время трещали киноаппараты и лейки: кто интересовался композицией кадра, кто норовил отснять побольше крупного плана — платят, небось, поштучно... А литфондовцы призывали не толпиться и расходиться...

За несколько дней до смерти он сказал, что смысл жизни в борьбе светлой поэзии с торжествующей пошлостью.

И еще он чувствовал себя виноватым перед сестрами, врачами и всеми, кому со своей болезнью доставил столько хлопот и тягот.

Когда начали засыпать, один рабочий крикнул: "Спасибо тебе, Борис, от рабочих. Ты нас любил, и мы тебя не забудем".

А похожий на Диму летчик, с горя пьяный, все время читал куски стихов и повторял:

"Кого хороним? Такие поэты рождаются раз в столетие".

Всего не расскажешь...

И он правильно напророчил себе тридцать лет тому назад:

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

Так и вышло.

Вот, брат Ира, куски того, что было в эти дни.

8 июня 1960 г.

ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ О ПОХОРОНАХ НАДЕЖДЫ ЯКОВЛЕВНЫ МАНДЕЛЬШТАМ

Михаил Львович Левин входил в число тех друзей Н. Я. Мандельштам, которые заботливо и уважительно поддерживали ее вплоть до последних дней жизни. Возможно, он даже намеревался со временем описать памятные многим вечерения, проведенные в маленькой квартирке за чаями и в беседах. Увы, это не успело случиться. Но в архиве МЛ остались дневниковые записи, сделанные сразу после ее кончины и похорон. Мы сочли возможным их опубликовать.

29 дек<абря 1980 года> в 6 вечера звонок Бобра[1]: папа просил передать, что умерла Надежда Яковлевна. Утром в 11 часов. Они с мамой сейчас там.

Оставил Ташке[2] записку и поехал. Полная кухня людей и дыму. В комнате на столе с иконкой на груди Н. Я. Свечи. Никита Шкловский[3] читает Псалтырь. Лицо Н. Я. спокойное, строгое. Дантовский профиль. Ни улыбки, ни всегдашнего нетерпения уже никогда не увидеть.

На кухне Варя Шк<ловская>[4], Коля Панченко[5], Женя Левитин[6], "девки", как их называла Н. Я., Вера Лашкова[7], 2–3 мужика, потом Юра Фр<ейдин>[8]. Гдаль[9] уехал к Ел<ене> Мих<айловне>[10] — просить место на участке, где похоронены ее родители и Евг<ений> Як<овлевич>[11].

---

[1] Бобер — Борис Евгеньевич Пастернак — внук поэта, архитектор.

[2] Ташка — Татьяна Михайловна Левина — дочь М. Л. Левина, искусствовед.

[3] Никита Шкловский — внук Виктора Борисовича Шкловского, филолог и писатель.

[4] Варя Шкловская — Варвара Викторовна Шкловская, дочь Виктора Борисовича Шкловского, мать Никиты.

[5] Коля Панченко — Николай Васильевич Панченко, поэт.

[6] Женя Левитин — Евгений Семенович Левитин, искусствовед.

[7] Вера Лашкова — Вера Иосифовна Лашкова, диссидент, шла по процессу "Гинзбург, Галансков, Добровольский, Лашкова" 1967 г.

[8] Юра Фрейдин — Юрий Львович Фрейдин, врач-невропатолог.

[9] Гдаль — Гдаль Григорьевич Гельштейн, врач-кардиолог.

[10] Елена Михайловна — Елена Михайловна Фрадкина, жена брата Н. Я. М. — Хазина Евгения Яковлевича, художник.

[11] Евгений Яковлевич — Евгений Яковлевич Хазин, брат Н. Я. М.

Курю снаружи. Вера Л<ашкова> рассказывает, как Н. Я. с вечера мерещилась то кошка, то шум машины в комнате.

"Я устала так жить. Лежать, лежать, лежать..." "Ты только не пугайся ".

Утром Вера сперва думала, что Н. Я. просто еще спит. Но потом поняла...

Звонит Гдаль. Ел<ена> Мих<айловна> отказывает — там только одно место для нее самой. Надо доставать разрешение на Ваганьковское или Переделкино. Приезжает Нат<алья> Ив<ановна> Ст<олярова>[12]. Тут нужно ходатайство самого Михалкова или хлопоты Евт<ушенко>, Вознесенского... Но Евт<ушенко> в Лондоне, Возн<есенский> — в Париже. М<ожет> б<ыть>, Межиров?

А в комнате, теперь только при свечах (чтобы не было лишнего тепла — слава Богу, батареи не греют), читают Псалтырь.

Приезжает Ташка, пытается рисовать. Завтра Л. Мурина[13] приведет делать маску.

Ищут отца Александра[14]. Врач "скорой" подбивал милиционера всех разогнать и опечатать. А то, может, у старухи тысячи под подушкой.

В комнате пусто. Не те книги... учебник итальянского. Только на стенах картины и на книжной полке фотография нашего Пети, еще совсем маленького.

На кухне дым коромыслом. Юра Фр<ейдин> привез нотариальное завещание на 5 человек без подробностей. Надеется, что сыграет роль охранной грамоты против милиции. А у Жени Лев<итина> бумажка с распоряжениями, кому что. Кому-то картина Фалька, но "с нагрузкой" — работой Ел<ены> Мих<айловны>. Распоряжения о мебели почти шекспировские.

Уезжаем в 12-м часу в полной неясности. Отпевать хотят в Пушкине (у отца Ал<ександра> Меня), а где хоронить, непонятно — м<ожет> б<ыть>, на новом кладбище в Пушкине. Завтра утром приедет похоронный агент и профессионал из Литфонда (Лев Наумович) со своими предложениями — тогда будем решать. Все ругают Ел<ену> Мих<айловну>.

30.XII. До 12 все неясно. Отпевать в Пушкине нельзя: катафалки за город не ходят, а перевозить гроб можно только в катафалке. Наконец, решено, что отпевать будут в церкви у Речного вокзала 1-го, где же хоронить — еще не решено. Уезжаю в Абр<амцево>.

1-го в 6 утра собираюсь в Москву. Приезжает Мила[15]. Все сдвигается на сутки: отпевание 2-го в 11 утра. Ночью вспоминались "предвестники": 28-го купил № 12 "Вопр<осы> лит<ературы>" с мандельштамовскими публикациями (для Н. Я.!), а 29-го утром в "Правде" статья Евг<ения> Сидорова о Дне поэзии с похвалами Н. Панченко (опять для Н. Я.!). И заехал бы из ФИАНа к ней (днем 29-го!), если бы не забыл дома Воплей. Последний раз видел ее 17-го (после обид Г<даля> Г<ельштейна>) — разговор о профессорских самолюбиях, о верности

[12] Наталья Ивановна Столярова — переводчик, секретарь И. Эренбурга.

[13] Л. Мурина — Елена Борисовна Мурина, искусствовед.

[14] Отец Александр — Александр Мень, священник.

[15] Мила — Людмила Алексеевна Леонтович, жена Александра Михайловича Леонтовича, врач.

и о том, что красота поэзии все же выше красоты математики (ссылка на Гельфанда[16]). Так и не допустила она Гельфанда... Ругала "девок" за глупость и жадность. Вдруг вспомнила про Баратынского (читал ей прошлый раз), спросила подробности его юношеской "шалости"[17]. Как всегда, хвалит пастернаковских детей и спрашивает про Ташку. Обещаю привести Петьку, как только выздоровеет.

2 января. К 10.50 добрался. Церковь набита, но войти еще можно. Рядом прижаты Липкины[18] и Белла Ах<мадулина>. Отпевает местный священник, сослужит отец Александр. Раз 15 повторяется: новопреставл<енная> раба Божия Надежда, новопрест<авленная> раба Божия Анна и еще рабы Божии Михаил, Владимир и Евдокия. Стоят два гроба: Надежды и Анны. Священник служит скороговоркой и абы как, но хор великолепен. Зачем столько раз повторяют имена отпеваемых?

После отпевания ждем около часу в притворе, пока все попрощаются. Миша Поливанов[19] курит у паперти, а я выхожу за ограду. Впрочем, сторож перестает делать замечания: уж больно много нарушителей.

В церковном дворе — "вся Москва". Многие так и не попали внутрь. Лазарь[20] (недавно у В. В.), Кика и Юня[21], Володя Корнилов[22], много бород. Инкорры с кино- и фототехникой работают с земли и с изгороди. Больной Гдаль в машине Бори Мес<серера>[23].

Молодые и старые выносят гроб. Едем на Кунцевское кладбище. (Говорят, что заезжал Б. Биргер[24] с Петрухиным и уехали в Малеевку).

По гололеду "молодые дьяконы" с пением молитв несут гроб. У могилы последнюю молитву творит Саша Борисов[25]. Могильщики быстро делают свое дело. Ветки, цветы, свечи. Все.

Похоронили рабу Божию Надежду. А для меня Н. Я. не была никогда ничьей рабой. Даже Божьей. Не была и все. Для меня: у нее был с Богом уговор (завет!), почти на равных: Ты мне — Оську, а я тебе все, что положено по правилам. И она соблюдала условия договора по-честному, но рабьего в ней не было ни грамма.

И начальство, я думаю, было очень довольно таким оборотом событий: чисто церковные похороны рабы Божией Надежды и ни слова о Надежде Мандельштам, о вдове Осипа Мандельштама.

---

[16] Гельфанд — Израиль Моисеевич Гельфанд, математик.

[17] Юношеская "шалость" Баратынского — шестнадцати лет Баратынский участвовал в краже золотой табакерки. За это был исключен из Пажеского корпуса, где он тогда учился, и, по личному приказу Александра I, мог служить только в армии рядовым.

[18] Липкины — Семен Израилевич Липкин, поэт и переводчик, Инна Львовна Лиснянская, поэт.

[19] Миша Поливанов — Михаил Константинович Поливанов, физик.

[20] Лазарь — Лазарь Ильич Лазарев, критик, редактор журнала "Вопросы литературы".

[21] Кика и Юня — Акива Моисеевич Яглом, математик, Юня Яглом — его жена, переводчик.

[22] Володя Корнилов — Владимир Николаевич Корнилов, поэт и прозаик.

[23] Боря Мессерер — Борис Асафович Мессерер, художник.

[24] Б. Биргер — Борис Георгиевич Биргер, художник.

[25] Саша Борисов — отец Александр Борисов, священник.

Варя Шк<ловская>, когда шли назад, сказала, что в гробу остаток пледа. Того пледа:

Есть у нас паутинка шотландского старого пледа, —
Ты меня им укроешь, как флагом военным,
Когда я умру.

Кажется, как всегда, опоздал Гельфанд...
Что было (рассказ Жени Л<евитина> и Юры Ф<рейдина>.)
30-го к вечеру опечатали квартиру и увезли гроб в морг. Сперва даже хотели везти тело без гроба. Но потом начальство выдало разрешение-команду и отвезли гроб.
Тем временем секретарь не то РСФСР, не то СП Москвы Карелин[26] подписал ходатайство и начали готовить могилу на Ваганьковском (к 1-му янв<аря>). Но тут вдруг последовал высочайший запрет (КГБ) с подтекстом: хватит с нас Высоцкого, и директор Ваг<аньковского> сам позвонил (ему было неловко) директору Кунцевского, чтобы тот выбрал хорошее место в старой части кладбища, а не в новой, номенклатурной части.

...А Евтушенко Новый год встречал в Переделкине...
Где был Вознесенский?
.....

[26] Карелин — Лазарь Викторович Карелин, прозаик.

С. Б. ВЕСЕЛОВСКИЙ

Поздней осенью 1941 года студентом третьего курса физфака, не взятым в военную академию из-за близорукости, я догонял МГУ, который не смог зацепиться в Алма-Ате и Ташкенте и в конце концов обосновался в Ашхабаде. По следам университета двигался и я, но не доехал до Ташкента — меня подсекла тропическая малярия, и врачи запретили мне Ашхабад. Поэтому я записался в Ташкентский университет и одновременно начал работать в Карповском институте на новеньком раман-спектрографе, который институт успел получить из Германии в обмен на зерно, нефть и прочие стратегические товары. Жил я в Ташкенте размеренной жизнью: три дня работал, четвертый трясся в малярийном приступе, укрытый всеми доступными одеялами. Сеансы съемки на раман-спектрографе длились несколько часов из-за низкой чувствительности пластин, и хотя он работал в режиме автомата, рядом для страховки должен был находиться человек, который мог заниматься вычислениями или просто читать книгу. Одной из таких книг я и обязан знакомству с С. Б. Веселовским.

Точное название этой книги я не помню, что-то вроде трудов Института истории — толстый том, вышедший в начале 30-х годов. Дал мне его приятель-историк (тоже студент), чтобы я прочел статью "Евреи в Запорожской Сечи".

Было это раннею весною 1942 года. В теплый воскресный день я сидел на берегу арыка рядом с домом на Пушкинской улице, где жили эвакуированные светила из АН СССР, и, поджидая приятеля, которому должен был отдать книгу, перелистывал непрочитанные страницы. И вдруг в специальной, сухой и для меня скучной статье о совмещении родовых и феодальных укладов то ли у чувашей, то ли у мордвы я наткнулся на рассуждение автора о том, что часть племенных старшин занимала прогрессивную позицию, а другая — реакционную: первая была на стороне крестьянско-казачьей революционной массы, вторая поддерживала контрреволюционное ополчение Минина и Пожарского. Причем это была не доказываемая автором новая точка зрения, а избитая истина, нужная только для дифференциации старшины.

Должно быть, я слишком громко захихикал (мое тогдашнее образование ограничивалось соловьевской "Историей"), потому что сидевший неподалеку старик поинтересовался причиной моего веселья.

"Это еще ягодки, — сказал он после моего ответа, — вот вы почитайте, что сейчас пишут. Недавно, например, граф Алексей Толстой читал куски из пьесы про Ивана Васильевича Грозного". "Вы были на этом чтении? — спросил я (мне

про него рассказывали). — О чем там и какая речь?" Я не помню точно слов ответа старика, но помню тон, вернее, однозначную ассоциацию с известным ответом Пушкина молодому Соллогубу: "С тех пор, как я женился, я в такие дома не езжу".

Дальнейший разговор продолжался уже на ходу. Старик спросил, кто я и что читал по русской истории. Знание Соловьева (о Валишевском и т. п. я промолчал) и разделение взглядов А. К. Толстого (тут он, правда, фыркнул), видимо, его удовлетворило. А может быть, он просто изголодался по обыкновенному разговору, без задних мыслей и будущих последствий. Во всяком случае говорил он (я, естественно, больше слушал и только задавал вопросы) свободно и раскованно, то есть по тем временам рискованно.

Вечером зашел мой приятель. Оказалось, что он опоздал днем минут на 20, и увидев меня беседующим с самим Веселовским (а я, к стыду своему, знал тогда лишь про А. Веселовских), не решился подойти ближе. Причем не из-за робости, а по причине особого положения С. Б. в их науке. Так я узнал, что Веселовский, говоря языком 20-х годов, был "спецом": диалектикой и марксизмом не владел и даже не хотел овладевать, но был "кладезем знаний", из коего можно было черпать. Только с умом и обязательно тщательно фильтруя. А нерегламентированные встречи и беседы с ним могли даже помешать успешной карьере будущего историка.

Сейчас, после сорока с лишним лет, когда я вдобавок прочитал все доступные мне книги С. Б. Веселовского, мне, конечно, трудно отделить услышанное от прочитанного. Поэтому напишу лишь то, что наверняка связано с Ташкентом.

Первое, и главное — это удивительное знание людей XVI века, дотошное человеческое знание каждого персонажа, его прихотей, слабостей, норова, его друзей и родных. С. Б. рассказывал об этих людях так, как Собакевич описывал Чичикову продаваемых мертвых мужиков. Хотя со времени последней "ревизской сказки" прошло не три года, а почти 400 лет.

Второе — неугасшая за эти 400 лет личная ненависть к Ивану IV, переплетенная с брезгливым презрением к историческим и художественно-творческим воспеваниям Грозного.

Третье — стремление к абсолютной точности и справедливости, справедливости даже к Ивану. С. Б. приводил только факты, отметая сразу любые слухи, порочащие Ивана. Когда я по молодости лет полюбопытствовал, не был ли князь Иван Овчина любовником Елены Глинской еще при жизни Василия III, а следовательно, и возможным отцом Ивана, С. Б. четко сказал, что подтверждений этой заманчивой точке зрения он не знает. Конечно, характер Ивана совсем не походил на характер и отца и деда (уж скорее Василия Шемяки).

Конечно, 20-летний неудачный первый бесплодный брак Василия может иметь причиной не бесплодие Сабуровой, а Василия, но это все для романиста, а не историка. А вот письма Василия жене — это довод в пользу его отцовства. Но и тут можно объяснить искореженное детство. Во всяком случае трусость Ивана имеет больше общего с осторожностью и скупостью Василия, нежели с лихостью Овчины, напоминающей Ваньку Ключника.

С. Б. обратил внимание на редкое в истории совмещение безудержной охочести (яр был) Ивана к женскому полу с басмановской историей.

ИЗ ПИСЬМА ВЯЧ. ВС. ИВАНОВУ (21 февраля 1975 г.)

Дорогой Комка! Вот что неожиданно вспомнил, прочитав утром "Пространством и временем полный..." Это было вечером в горах. Вс. Вяч. продолжал играть со мной в "сокровища Ал. Мак.". Он в те годы перебирал кучу сюжетных ходов и втравлял Мишку и меня в придумывание новых вариантов. Во время вечернего разговора он заметил, что у восточных народов — в отличие от европейских — было отдельное слово для 10.000 — *тьма* (отсюда — темник у татар). Я сказал, что жаль, что это слово не сохранилось у нас: тогда бы предельная скорость в физике была бы 30 темь километров в секунду.

Вс. Вяч.: Меня всегда мучило, что есть предельная скорость. Конечно, она очень большая, но обидно, что наука ставит предел воображению. Ведь скорость — это отношение пространства ко времени, и тут не должно быть ограничений*.

Я сказал, что это предельная скорость для тел, что она может быть объяснена ростом массы и т. д., а так вообще может быть и есть $v > c$, например фазовая скорость.

Вс. Вяч.: Меня это всегда возмущало именно как предел воображению**. А забавно, что предельная скорость есть именно 30 этих темь (тьмов?). Удивительное дело — игра чисел. Ведь предельная цена тоже 30.

Я не понял. Тогда он сказал, что в старых балладах на вопрос короля о его цене пастух называет 29, ибо Спасителя оценили в 30***.

Тут я придумал еще один (достаточно пошловатый) 30-предел: у светской красавицы годы идут, а сумма их всегда меньше 30. В ответ на это...

Вс. Вяч.: Вы еще очень молоды, Миша, это у Вас из книг. (Кстати, сейчас бальзаковский возраст уже не 30, а 40). А меня магия чисел всегда волновала!

Я рассказал Вс. Вяч. про Рамануджана, про то как он был лично знаком со всеми числами и как Харди и Литтлвуд учили его думать по-европейски.

Вс. Вяч.: Большинство людей не понимает разницы между восточным и западным складом ума, логикой, образом мышления. Вот Сталин — восточный человек, а все пытаются объяснить его по европейским шаблонам. (Это я слышал от Вс. Вяч. и потом, но первый раз — тогда, в горах).

А о различии между Востоком и Западом применительно к физике он говорил еще раньше, в самом Ташкенте, когда узнал, чем я занимаюсь (я тогда работал на раман-спектрографе в Карповском институте). После моего рассказа

о Рамане и его легендарной фразе в Москве, — "наконец-то я в лаборатории, где был открыт раман-эффект!", Вс. Вяч. сказал: Вот видите. Никогда никакой европеец так не скажет! А для индуса это естественно, а вовсе не "мо", как небось воспринимают его окружающие...

Потом я изложил Вс. Вяч. классическое и квантовое объяснения раман-эффекта. Классическое оставило его равнодушным, а квантовое очень понравилось, и он сразу спросил: А сам Раман как объяснял?

Я ответил, что в статье Рамана было только описание эффекта без объяснения.

Вс. Вяч.: Уверен, что для себя Раман понимал это квантово.

P.S. Через 2 года, весной 1944 г., я зашел на Лаврушенский после лекции Л. И. Мандельштама в МГУ. Вс. Вяч.: Небось опять он объяснял квантовый эффект... как это Вы называли (я подсказал — классически). Странное у вас, физиков, употребление этого слова.

---

* Интересно, что сейчас тема $v > c$ весьма занимает физиков.

** Между прочим, я несколько раз говорил с режиссером Наумовым о Теории Относительности. Его интересовал только парадокс близнецов, причем в очень конкретном варианте: Алов улетит на ракете и вернется молодым, а он, Наумов, к этому времени будет уже стариком. Это его возмущало.

*** Маршак заменил ответ пастуха на идейно выдержанный:

"А сколько ты стоишь —
Спроси свою знать,
Которой случалось
Тебя продавать".

О ФОРТИНБРАСЕ

Исходное положение Довера Вилсона[1]: чтобы понять трагедию Гамлета, надо на нее посмотреть глазами елизаветинца. По английским законам Гамлет — наследник престола, а Клавдий — узурпатор. Только так мог воспринимать пьесу зритель, воспитанный, в частности, на хрониках, в которых куда более слабые династические притязания были причиной многолетней резни.

Но это — тема "Гамлета" Кида, а не Шекспира. У Шекспира Клавдий — если старший Гамлет умер своею смертью — законный король Дании, занявший престол по скандинавским (и древне-германским и кельтским) правилам наследования[2]. Все это знали Шекспир и та ничтожная часть его современников, которые читали Самсона Грамматика в переложениях. Но как быть с рядовым зрителем, привыкшим сравнивать права короля, происходящего от третьего сына Эдуарда III, с правами претендента, происходящего по отцу от пятого сына, а по женской линии — от второго?

В чем трагедия Гамлета у Шекспира? Об этом написаны тысячи страниц, но во всяком случае она не в том, что его престол узурпирован. Об этом нет ни слова в тексте. Сам Гамлет всего лишь два раза упоминает о своих видах на престол: в разговоре с Розенкранцем —

"Sir, I lacke advancement...
(III,2)

и в разговоре с Горацио —

"He that hath kil'd my King, and whor'd my Mother
Popt in betweene th'election and my hopes..." (V,2)

Но оба раза речь идет о видах, а не о правах. И эти два места ни по содержанию, ни по силе чувства, ни по развитию не идут ни в какое сравнение с тем, что по-настоящему волнует и занимает Гамлета на протяжении 5 актов трагедии.

---

[1] J. Dover Wilson: What happens in "Hamlet" (Cambridge, 1935).

[2] Кстати, таков был порядок наследования великокняжеского стола в Киевской Руси после Ярослава Мудрого, и русский зритель той поры отнесся бы к Клавдию на троне, как к совершенно естественному явлению (как сказал А. К. Толстой: "So ging die Reihenfolge..."), когда при прочих равных условиях младший брат имел больше прав, чем старший сын, а воля самого короля (в нашем случае, когда король был убит в расцвете сил, ее вообще не было!) имела большое, но не решающее значение.

Шекспир в отличие от Довера Вилсона не хочет[3] смотреть на свою пьесу глазами елизаветинца! Сохранив сюжет первоисточника и трагедии Кида, Шекспир наполнил его совершенно новым содержанием. Но, повторяю, как быть с рядовым елизаветинским зрителем? Как сразу выбить его из привычной колеи пьес с борьбою за корону? Шекспир мог написать пролог с фактической справкой о правилах престолонаследования в Датском королевстве. Но он решил эту задачу как драматург.

Его решение — Фортинбрас.

Как начинается пьеса? Взбудораженный появлением Призрака зритель — из рассказа Горацио — узнает, что король Дании Гамлет убил на поединке норвежского короля Фортинбраса, а сейчас после смерти Гамлета молодой Фортинбрас хочет силой вернуть потерянные отцом земли. В конце первого явления упоминается молодой Гамлет.

Таким образом, зритель знает, что были два короля: Гамлет и Фортинбрас, а сейчас есть молодые Фортинбрас и Гамлет, сыновья покойных королей. Кто они? Нынешние короли? Пока ничего не знаем, но для елизаветинца это очевидно. Во всяком случае, о том, кто сейчас правит в Дании и Норвегии, в первом явлении речи нет.

Начинается второе явление, и мы сразу узнаем, что король Дании Клавдий — брат покойного Гамлета — шлет послов к норвежскому королю — дяде нынешнего Фортинбраса — с требованием утихомирить племянника.

Итак, первое явление: были отцы-короли и их сыновья, теперь дяди-короли и их племянники. Вот так устроены эти скандинавские королевства, такие там порядки и никого это не удивляет. Вот данность. Дикие порядки? Конечно. Но небось и им английские правила кажутся сумасшедшими. Вот и шут датский говорит:

"...there the men are as mad as he..."

(V,1)

Хотя Фортинбрас появляется в пьесе всего два раза (27 стихов в пьесе), его партия разработана весьма обстоятельно. Недаром он — как чеховское ружье — будучи упомянут в первом действии, стреляет (и как!) в финале.

Очень часто в литературе о Шекспире можно встретить утверждение, что Фортинбрас есть пример-параллель Гамлету, что в трагедии есть три сына-мстителя: два решительных — Фортинбрас и Лаэрт и один — какой именно, тут тьма суждений — но во всяком случае необычный — Гамлет.

Применительно к Фортинбрасу это утверждение есть явное недоразумение. Фортинбрас вообще никому не мстит. Пока был жив старый Гамлет, убивший его отца, Фортинбрас не рыпался. И теперь он не жаждет мести. Тем более кому? Он просто хочет вернуть себе потерянные отцом в поединке земли.

---

[3] Поэтому вместо

"What would he do and if he had my losse?
His father murdred, and a Crowne bereft him..."

первого кварто, в фолио читаем:

"Had he the Motiue and the Cue for passion
That I haue?" (II,2)

Тут возникают два вопроса: что это за земли, и есть ли какое-нибудь основание для претензий Фортинбраса?

Уже в эпоху раннего феодализма было различие между коронными землями и королевскими землями (crown land and king's land). Последние принадлежали лично королю, как феодалу, и в случае перехода короны в чужие руки оставались собственностью семьи покойного короля. Часто они составляли вдовью долю или шли в приданое дочерям. Так было и с землями, находившимися во владении собственников различного ранга[4].

Очевидно, именно king's land пошла с обеих сторон в заклад поединка между королями. Вряд ли они могли так просто распоряжаться землями, принадлежащими королевству как таковому (crown land)? Да и стал ли бы молодой Фортинбрас отвоевывать коронные земли не для себя, а для дяди, да еще без его ведома?

О закладе короля Гамлета Горацио говорит:

> "...a Moity competent
> Was gaged by our King; which had return'd
> To the Inheritance of Fortinbras,
> Had he bin Vanquisher..."
> (I,1)

После смерти короля его king's land, в том числе и бывшие владения Фортинбраса, стали собственностью его вдовы Гертруды. Именно так, мне кажется, следует понимать слова Клавдия (I,2):

> "Th'Imperial Ioyntresse of this warlike State...",

толкуя слово state[5] не как все королевство (Клавдий не в консорты пошел, а был выбран королем), а как владения, принадлежавшие покойному королю лично.

Таким образом, молодой Фортинбрас жил трудной жизнью[6]: трон отошел к дяде, а родовое именье было у датского короля. И при этом он беспрекословно подчиняется своему немощному — Impotent and Bedrid — дяде (вот пример для подражания!) и терпеливо ждет смерти старого короля Гамлета.

Почему же он начал действовать после этой смерти? Только ли по причинам, о которых говорит Клавдий в своей тронной речи? Ведь перед тем, как тайком от дяди собирать войско, Фортинбрас

> "... hath not fail'd to pester vs with Message,
> Importing the surrender of those lands
> Lost by his Father..."

По мнению Горацио он пытается

---

[4] См.: F. W. Maitland "Book land and folk land... in England before the Conquest", Domesday Book and Beyond (Cambridge, 1897).

[5] У Лозинского: "Наследницу воинственной страны..." У Пастернака лучше: "Наследницу военных рубежей..." А у старика Кетчера совсем хорошо: "Царственную владелицу..." Лучше бы перевести Imperial — "верховную".

[6] Если в I.1 принять прочтение фолио Landless Resolutes, то Фортинбрас — один из них.

"...to recouer of vs by strong hand
And termes Compulsatiue, those foresaid Lands
So by his Father lost..."

О чем пишет Фортинбрас?

Мы не знаем условий поединка. Может быть, какая-нибудь из статей договора допускала толкование лишь о пожизненном владении? Или о праве на реванш в следующем поколении?

То немногое, что есть в тексте:

"...who by a Seal'd Compact
Well ratified by Law and Heraldrie,
Did forfeite (with his life) all those his Lands
Which he stood seiz'd on, to the conqueror..."

(I.1)

И даже:

"Lost by his Father: with all Bonds of Law"

(I.2)

не исключает такой возможности[7]. И кроме того, это лишь точка зрения одной стороны.

Наконец, в условиях поединка могла быть и статья о судьбе владений в случае пресечения одного из домов. Именно такая ситуация возникла после смерти Гертруды и Гамлета, и не ее ли имеет в виду Фортинбрас, говоря:

"I have some Rites of memory in this Kingdome
Which [now] to claim, my vantage doth
Inuite me".

(V.ii.3885-7, supplemented by Q2)

Получая обратно свои владения, а возможно и king's land Гамлета (немалый кусок), Фортинбрас становится автоматически крупным датским феодалом с неменьшим формальным правом на выбор в короли, чем остальные. Да тут еще голос Гамлета и большое войско под рукой... Но пока Фортинбрас говорит лишь о том, что ему положено по закону: "Rites of memory in this kingdome", – in, а не on или at!

И в заключение. Шекспир снимает тему борьбы за трон и языковыми средствами. В "Трагедии о Гамлете, принце Датском" слово "принц" применительно к Гамлету встречается всего два раза. Первый раз (II,2), когда Полоний пересказывает свой разговор с Офелией: "Lord Hamlet is a Prince out of the Starre..."; второй раз, уже над умершим Гамлетом, Горацио говорит "Good night

[7] Поведение дяди Фортинбраса не противоречит нашей точке зрения. Ведь речь идет не о коронных норвежских землях, а о потерянных личных землях Фортинбраса, из-за которых норвежский король не хочет портить отношений с сильным соседом.

sweet Prince..." (V,2). Уж не поэтому ли в составленном Роу перечне действующих лиц Гамлет — в отличие от Фортинбраса — назван не принцем, а "son to the late, and nephew to the present King"?

Веселые дружки будущего Генриха V в нескольких сценах "Короля Генриха IV" называют товарища своих забав принцем, а тут на протяжении пяти действий только "my lord", "Lord Hamlet" или (если король) "cousin". Никто из всего окружения в Эльсиноре ни разу не обратился к нему: принц.

К сожалению, почти все русские переводы (за исключением Радловского) набиты "принцами". Может быть, просто "лорд" не звучит, а "милорд" загублен глупым некрасовским милордом.

Во всяком случае насыщенность "принцами" в русских "Гамлетах" невольно работает на мотив узурпации, которого так старательно избегал Шекспир.

Часть V

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПИСЕМ М. Л. ЛЕВИНА

Есть люди эпистолярного образа жизни. (Скорее, были, чем есть — сейчас они массово предпочитают — если могут, конечно, — "электронные связи"...). М. Л. к ним не относился. Он предпочтительно любил разговорные и близкодействующие обмены, не регламентированные жесткими грамматическими формами, да при том еще и мгновенные, не растянутые во времени при переброске. Правда, подробности таких взаимодействий во многом не удерживаются в памяти, но, наверное благодаря этому, они бывают небоязливо экспромтными и разнообразнее по своей выразительности. А письма, известно, требуют других качеств, поскольку в них все передается лишь словами и знаками. Но зато они, как правило, организованнее и продуманнее разговоров... А еще могут подолгу сохранять "содержимость"., и даже переживать своих авторов и адресатов, и увы (или не увы?), но попадаться под посторонний подгляд — хорошо, если дружеский.

М. Л. часто отлынивал от писания писем; однако у каждого человека в жизни случаются разлучения, когда переписка неизбежна и пересылка себя по почте является единственной возможностью общения. Тогда МЛ уже вкладывался по-настоящему; речь, конечно, не идет о чисто житейских посланиях — жив, здоров, ближайшие планы и т. п. — они не требуют какой-либо оригинальности и, кстати, не очень интересны для потомков... это относится к письмам иного толка, к своего рода "этюдным письмам", письмам-зарисовкам, которые, по-видимому, служили для него иногда еще и распахнутыми дневниковыми откровениями, наполненными тревогами, надеждами, ожиданиями... любовью. И хотя в них было много личного, даже интимного, нам, составителям этого сборника, некоторые места показались вполне публикуемыми (посмертно публикуемыми и потому, естественно, — без дозволения автора); ибо они обладают "общечеловеческими ценностями" (кажется, так теперь принято говорить) и вполне характеризуют не только самого автора, но и нравы тех времен и пространств, по которым довелось протянуться его линии судьбы. ("Мировой линии М. Л."!). Иногда он даже оставлял себе копии таких писем... зачем?... неизвестно, может быть, чтобы потом по забывчивости не утомлять адресатов повторами... нет, нет, вряд ли, скорее всего, чтобы при случае попереживать эти тексты еще и еще разок.

Ниже приводятся "избранные места из переписки М. Л. с друзьями". К сожалению, удалось отыскать только отдельные группки содержательных писем. Большею частью это письма к его жене — Наталии Михайловне Леонтович, написанные при вынужденном удалении от нее: когда она жила в

Москве, а он был как бы выпровожен в Тюмень. Это состояние сосланности несомненно сказалось на настроении текстов, ибо, как учил один из думающих классиков, всякое наблюдение страдает от личных свойств наблюдателя и, разумеется, от обстоятельств, принуждающих этими свойствами обладать.

Письма приводятся с купюрами. Мы позволяли себе делать выборки по своему усмотрению, отстраиваясь от многих "изысканностей", в том числе иногда даже от личных обращений, т. е. от непременных атрибутов любых корреспонденций. Отнюдь не из неуважения к документам. Просто был принят такой принцип пересказа, руководствуясь соображениями такта и отчасти сюжетности... В письмах фигурируют имена, многие из которых упоминаются выше в биографической справке и примечаниях к ней. Но не все — кое-какие остались не раскрытыми; впрочем, к счастью, это не должно — так нам кажется — раздражать читателей, ну, по крайней мере, не мешать им вживаться в ту душевность, из которой они произошли... Некоторые пояснения мы все же сочли возможным вставлять непосредственно в текст и выделять квадратными скобками.

Итак...

ВОЕННЫЕ ГОДЫ

Только вчера вечером вернулся из Васильсурска. Ездил туда и обратно на пароходе. Кроме того, был обут в дедовы сапоги. А они на мои богатырские икры не лезут. Так что носил их внизу гармошкой — ни дать ни взять московский пижон. Ездил за маминой подругой. Приключений тьма. Прежде всего я окаю почище местных. Потом я знаком с капитаном теплохода. Потом я осмотрел окрестности Васильсурска (там сам Репин рисовал). Только там сказалась моя волжская натура (я, чай, не в пример некоторым, родился на Волге). Несмотря на снег и слякоть, Волга хороша красотой необычайной. От снега и близорукости все окрест было подернуто дымкой светло-сизого цвета, как у линялых голубей, но об этом в открытке не напишешь, а конверта тут нет[1].

Так вот продолжаю, невыспатый, голодный, мокрый. Туда пароход шел как престарелая улитка, обратно чуточку быстрее. Так что измучиться времени было достаточно. Одно хорошо — я уверовал в себя. Завтра пойду в Ф.И.А.Н. Может быть, на что-нибудь сгожусь...[2]

Сегодня праздник, а на душе у меня кошки скребут. Мы еще сидим в Казани — маме нездоровится, но она все-таки сегодня едет. Васька тоже хворает, я чихаю, и все это совсем не весело. Мать должна везти институт в Алма-Ату, брата Ваську она оставлять боится... и мне ехать. Сегодня с мамой утром был сердечный припадок, конечно, я не оставлю их до Ср. Азии. ...Все смутно и неопределенно... А мне ехать на восток. Теперь вряд ли от меня будет какая польза — с глазами хуже — 1,5 лишних диоптрии, или всего 0,01 нормального зрения[3].

Вот я и еду в Среднюю Азию. Именно в Алма-Ату. Подробнее: 18-го приехали в Казань моя мама *and* Варга. Их институт волею судеб и иными обстоятельствами покинул Москву и получил дирекцию на восток. Попервоначалу в Казань. Здесь они получили приемник С.В.D.9 и слушали все, что можно. Здесь не глушат. Поскольку и меня допускали до оного, то находился я в прострации, усугубляемой мамашиными и Варгиными рассказами о действительной ситуации. Однако сие любопытство почтовой переписки не терпит. 23-го числа в Казань прибыл Фрид в чужих сапогах и с запасом хлеба, паюсной икры и снатки. Он оказался истинным другом. Находясь в вагоне, державшем путь в Куйбышев, где обретается старый Фрид, он пересел в Рузаевке в Казанский поезд, дабы облобызать меня. На руках у него был официальный документ, в коем студенту ГИКа В. С. Фриду предписывалось в пешем порядке добираться до Алма-Аты, куда переводится ГИК (день его исхода 17-е)...

---

1 Из открытки И. В. Ракобольской, Казань, 2 октября 1941 г. (эвакуация).

2 Из письма И. В. Ракобольской 3 октября 1941 г.

3 Из письма И. В. Ракобольской 7 ноября 1941 г.

А тем временем сионские мудрецы в Куйбышеве порешили, что быть институту в Алме. Старый Варга по дряхлости остался в Казани, а мать везет институт. Вот и я еду... Что буду делать в Алме тоже не знаю. Вся беда в том, что за казанский период у меня набралось лишних 2 диоптрии, и все домашние меня попрекают и следят, как за малым дитем...[4]

Волею судеб 30 ноября я попал в Ташкент, где пока и пребываю по адресу: Ташкент, Пушкинская, 84, чл. корр. Р. С. Левиной (для меня). Что дальше, пока не знаю, т. к. Васька заболел, и я исполняю медицинские функции. Адрес этот мамин верный, постоянный, хороший. За два месяца у меня прибавилось 2 диоптрии, и отношение к моей умственной деятельности в нашем семействе вполне однозначное. Однако думаю сходить к местной медицине. На всякий случай сообщи мне мое юридическое положение (отчислен или нет) и вообще[5].

Еще есть в Ташкенте САГУ и даже кафедра теоретической физики, каковая выпустила за три года 6 с половиной физиков. Туда-то метит Пейсах, в надежде заполучить там через 2 года ту же кафедру теоретической физики. А я, грешный, никак не могу сыскать какого ни есть окулиста. Вдобавок хриплю, как тень отца Гамлета. И вообще тошно. Читать много не получается. От силы часа два, а потом или читай Васькины книги с аршинными буквами, или ложись да помирай, или меси грязь ташкентскую. Вот. Как видишь, интеллекту моему грозят страшные беды[6].

Только в таком городе, как Ташкент, могут быть на одной улице два дома с одинаковым номером. Очевидно, в другом доме читают твои письма, любуются твоим остроумием, а быть может и вывешивают их в золоченых рамках на стенку. А мне остается сидеть и ждать. А быть может, ты и забыл про меня, и зря я ругаю ташкентскую почту. Тогда бог тебе судия. Вот сейчас сижу я у Петьки Кунина в гостях, слушаю песни, внимаю звукам классической и иной музыки, а хотелось бы услышать твое мурлыканье. Мне здорово тебя не хватает. Ведь я, по существу, тут сейчас совсем один. И со всей очевидностью в положении сукиного сына. Только это не так. Просто не повезло.

А живем мы в доме Н.К.В.Д. По ночам в комнаты заходят духи и призраки замученных. Ныне живущие Н.К.В.Д.ы проявляют о нас трогательную заботливость. Вчера к вечеру учинили нечто совсем необычайное — дали сласть к празднику. А мою плитку шоколада ешьте вы. Отказываю ее тебе и Мухе.

Мои дела малость ухудшились. Очевидно, тактика последней недели — лучше 33 года орлом, чем 333 вороном — дала себя знать. И здорово. Однако Петькин дядюшка, хотя он и гинеколог, устроит мне перед новым годом рандеву с глазником. Значит, и мне будет подарок к празднику. Одно слово "суприз". Вот.

Если будете что отмечать 31-го, то помяните и мя, выпейте за мое здоровье — может, поможет. О моих планах на будущее Пейсах расскажет, а то очень трудно писать. Желаю тебе счастья в сорок втором году[7].

Ехали мы со многими приключениями и довольно долго, так что окуляры мои протрясло основательно. Теперь это сказывается. Ну а 1 декабря приехали мы в Ташкент. Здесь я веду, как говорится, разумный образ жизни. Немного занимаюсь (2–3 часа в день). Воспитываю Ваську. На мое счастье в Ташкенте оказался давний мой знакомый и московский математик Мейман — из "молодых талантливых профессоров". Он большой

[4] Из письма К. А. Туманову 21 ноября 1941 г.
[5] Записка с оказией К. А. Туманову.
[6] Из письма К А. Туманову 12 декабря 1941 г
[7] Записка с оказией К. А. Туманову 26 декабря 1941 г

приятель Ландау и вообще здорово знает теоретическую физику, не говоря уже о математике. И очень хороший парень. Так вот я его обучаю английскому, а он меня мудрым наукам. И получается. Я даже начал умнеть и знаю квантовую механику. Это, должно быть, кажется диким, но, очевидно, это единственное, что я могу сейчас делать. В Ташкенте военфак связи (со Львом Буняком), я туда пробовал податься, но там только взглянули на мои воинские документы и турнули прочь. Еще хожу по ташкентским улицам и хочу видеть все, понять все и ничего, ничего не позабыть. Должно быть, и это кажется диким. Зато я теперь очень хорошо знаю, что значат слова мочь и не мочь. Одна беда, что это не только слова.

Знаешь, брат Ира, мне иногда кажется, что тебе за меня бывает очень стыдно. За то, что я такой. Трусики против комбинезона, и вообще. Как говорили в старину, мезальянс (это глупое слово). Я уверен, что скручу свою бесталанную планиду, но сейчас я в сравнении с тобой нищий. Сейчас, когда надо отдавать все и все равно будет мало. И то, что будущее наше счастье решается сейчас без меня — это все. Ну вот. В Ташкенте сейчас зима: на улицах грязь, на тополях снег, маленькие ослики, укрытые попонками, равнодушно месят мостовую. Глаза у осликов совсем человеческие. А на горизонте горы. За горами ты, за горами все. Письмо получилось печальным, в Ташкенте у нас большое горе: от сыпного тифа умер замечательной души человек — мамин товарищ, который знал меня еще маленьким и был моим "крестным" в комсомоле. Самое глупое помереть от тифа.

Может быть, я поеду в Ашхабад на сессию, т. к. сдавать сейчас надо только теоретические курсы, которые я знаю, а может быть и не поеду, т. к. потом там заниматься спецкурсами я не смогу. И потом после Казани я боюсь железных дорог. А мать боится, что я заболею тифом и помру. Ан я живучий...[8]

В Ташкенте обретается Лев Буняк со своим военфаком связи, куда я безуспешно пытался попасть. У них был карантин, и я иногда ездил по вечерам туда в гости. Последний раз мы гуляли с Левкой около их здания, а затем Буняк пошел отпроситься у дежурного еще на полчасика. Я продолжал бродить один. Сначала под ногами у меня была светлая дорожка цемента, впереди она кончалась, и начиналась темная почва. Хоть было совсем темно, но дорожка почему-то мне страшно напоминала пыльную дорогу в камнях, по которой мы шли в конце июня на Ленину дачу. И показалось, что у тебя попал камень в туфлю, но ты говоришь, чтобы я не ждал и что ты меня нагонишь. Вот я и решил дойти до конца светлой дорожки и подождать тебя там. Ждал минут пять, а тебя все нету. Потом слышу — сзади кто-то несется. Ну, думаю, можно идти дальше, а потом какая-то странная мысль — ждать так ждать, где начал. И вдруг меня хватает сзади Левка за плечи и орет: "Ты что, опупел". Оказывается, впереди была не темная грязь, а просто обрыв парапета вышиной в 7—8 метров. В Ташкенте темень, вот я по близорукости не разобрал этого. И до сих пор не могу успокоиться. Ведь мы "Анти-Дюринга" читали. А выходит, что ты мой ангел-хранитель. В пудовых унтах и комбинезоне. Ума не приложу как это возможно. Вот какие вещи бывают на этом свете[9].

Васька ходит по комнате в своих валенках и моих галошах, шмыгает носом (как это ни странно, у него нос малость курносый) и поет:

В Сингапуре жарко очень,
Даже сердце плавится,
В Сингапуре, между прочим,
Девушки красавицы.

Это он у меня научился. А мать говорит, что я его плохо воспитываю.

[8] Из письма И. В. Ракобольской, Ташкент, 15 января 1942 г.
[9] Открытка И. В. Ракобольской, Ташкент, 23 января 1942 г.

На дворе февраль. Это значит — грязь по колено и с неба капает. И на душе у меня что-то капает. И булькает. Что-то муторно на 22-м году жизни. Малярия, что ли, замучила.

Меня недели три тому назад познакомили с одним мальчиком. Зовут его Женя Пастернак. Он сын Бориса Пастернака, и ему 18 лет. А мать его художница. Помнишь — "художницы робкой, как сон, крутолобость". Сам Женька, как это ни странно, физик 1-го курса. И он очень хороший. Весь какой-то звенящий, и страшно похож на отца. Даже головой и движениями. Мы с ним очень подружились за это время. Вот сегодня утром он принес мне томик Блока. Вот сейчас я читаю "Родину". Маленький чудный томик...

Я вот думаю ехать в Ашхабад. Все равно без толку — заниматься я не могу, но одному быть здесь в Ташкенте страшно. Плохо одно — мне запретили передвигаться по ж. д. Однако надеюсь, что два дня пути большой беды не наделают. Во всяком случае, относительная поправка будет невелика.

Сейчас пришел Женька и сказал, что В.А.М.М. (моторизации и механизации) объявил набор на все курсы. Он сейчас идет туда. И я иду. Может быть, возьмут? Тогда я тоже буду ходить в сапогах и галифях. Вот. Женька торопит...

В.А.М.М. белобилетников не берут. Даже разговаривать не стали. А Женьку, должно быть, возьмут. Почему они меня так обидели?[10]

Может быть, я поеду в Москву. Может быть, помру под Москвой. Дело в том, что в Москве начала работать комиссия (кажется, это слово) по истории Отечественной войны. Председатель ее Минц. Он хороший мамин товарищ и, по ее словам, явно ко мне неравнодушен. В Москве я часто бывал у него, даже про физику рассказывал, а он обратно мне про историю и показывал записи разговоров с Горьким. Конечно, радостей ему от полуслепого физика будет мало. Но, может быть, на какое-нибудь дело я и сгожусь. Буду писать о том, что увижу, о том, что услышу. Буду обрабатывать рассказы тех, кто видел. Что угодно буду делать — только пускай возьмет.

Я ему написал письмо и жду, жду ответа. Шесть месяцев тому назад мне, правда, отказали примерно в такой же просьбе, причем очень резко и определенно, но время идет, и люди меняются со временем. Дай бог, у Минца сердце окажется мягким. Вот было бы славно. А не возьмет, плюну и уеду в Ашхабад и помру там от пендинки. И тоже будет трогательно.

Время мое протекает все в прежних эмпиреях. Мейман рассказывает мне математику, я рассказываю ему английский, Женя читает мне отцовы стихи, я читаю ему что в голову придет и в довершение поучаю ребенка физике. Еще пишу. Мемуары. Я писал тебе еще из Казани, что мин херц (Шурка) и я уговорились вместе писать повесть о герое нашего времени. Повесть о друзьях наших, о тех, кто, кончив школу, пошел в армию, о тех, кто учился в институтах и потом пошли в армию, о девушках. Но чтобы было все.

Когда-то у нас с Шуром кое-что получалось, авось выйдет и сейчас. Моя часть, как это ни печально, в этой повести почти вся штатская. Время: 1939-й — конец войны. Думаю, что память моя поможет. Только тут дело не в памяти.

Вот тебе моя сегодняшняя жизнь. Радуюсь сводкам и очень опечален Сингапуром. Неужели возьмут его проклятые макаки? Как-никак почти вторая родина. Я как-то свыкся с мыслью, что ехать нам с тобой в Сингапур...[11]

Пришел с концерта растроганный и умиленный и уже совершил одну глупость: отослал Михалычу старое, недельной давности, письмо. Сейчас, очевидно, совершу вторую: буду писать тебе влюбленное послание. Но ты терпи.

---

[10] Из письма И. В Ракобольской, Ташкент, февраль 1942 г.

[11] Из письма И. В. Ракобольской, февраль 1942 г.

Последние дни нестерпимо хочется тебя увидеть. Т. е. хочется увидеть всех вас, но тебя особенно. До боли зубовной. Послушать твое мурлыканье. Потом "Котик-умница", "Котика надо любить". Даже облобызаться хочется. Ей-богу. Ты прости, Кот, до сих пор наша дружба обходилась без словопрений, да и вышел я из того возраста, когда дозволено писать такие письма. Больше не буду. На сей раз не совладал, музыка разбередила. Шопен. Все-таки до чего погано быть одному. Иногда охота волком выть. А иногда, как сказал поэт, "хочу на грудь беспомощно нагую свою седую молодость склонить". А кругом один Васька...

Дабы ты не очень огорчался моими сантиментами, расскажу тебе страшный случай, имевший место неделю тому. Утром нам позвонили, что ночью маму будет вызывать Куйбышев. Я, значит, дежурю у телефона (3-й этаж — наш). Вдруг слышу на 4-м этаже шум. Поднимаюсь и вижу: навстречу мне бежит девица в чулках и панталонах (иного дезабелья нет), а за ней джентельмен в сподниках и с бутылкой в руках. Дело в том, что в нашем аристократическом доме сейчас проживает зам. наркома по минометам, к которому регулярно ходят бляди и к ним приравненные. Увидя меня, девица начала приводить в порядок свой бюст и поспешила куда-то скрыться (очень это обидно). Джентельмен же спрятал бутылку за спину и, забыв, верно, про недостаточность своего туалета, начал набирать № телефона. Убедившись, что юная фея больше не появится, я ретировался, ибо синие сподники не вызывали во мне никакого энтузиазма. Вот ведь куда занесла меня нелегкая...[12]

Нынче получил ваши открытки и будто окунулся в воды прозрачной Юрезани. Был уже близок к отчаянию, пораженный вашим молчанием, но ныне опять бодр духом. Из открытки (кстати, что за похабная манера писать карандашом — все стирается) К. А. Туманяна я понял, что узы, вас соединяющие, настолько сильны и что духовное ваше сродство достигло такой высоты, что (третье по счету) писать вам раздельные письма было бы бесцельной тратой денег на марки. Кроме того, при этом даже такой неистощимый ум, как мой, был бы вынужден повторяться. Поэтому я буду писать вам письма удвоенной интеллектуальной мощности при минимуме финансовых затрат. Вам же я рекомендую писать раздельные письма (которые можно также класть в один конверт), ибо вас двое, и мысли у вас хоть немного, но различаются. И обратно, если дурное настроение или дурная консистенция (я допускаю невозможное) пробегут между вами черной кошкой, то не мои ли письма, адресованные вам обоим, вынудят вас снова пасть в объятия друг друга. Я уже плачу от умиления...

События политические. Граф Толстой читал "Ивана Грозного". Здорово выдумано. Царь-демократ, первый русский Гуманист. Графу только про Ежова теперь писать.

События художественные. Чудо чуд! М. Левин — деятель изоискусства. Вот вам крест. Слушайте. Удивляйтесь. В Ташкенте проживает великий писатель земли русской Всеволод Иванов, дочь коего Таня обучалась во время оно со мной в школе, а теперь снова познакомилась. У нее ходит в братьях Мишка Иванов, долгоносый отрок 16 лет. Т. к. в Ташкенте не было открыток и т. к. почта ташкентская — учреждение преподлое, начали мы с Мишкой раздражать эту почту посредством самодельных открыток с идиотскими антифашистскими картинками с соответствующими подписями. К примеру:

Хилый их ерзац-солдат
Весь изранен и дегенерат,

Наш боец широкоплечий
Не имеет тех увечий.

И т. д. Михалычу так не сочинить. Рисовал Мишка, а колер клал я. Отменный колер! Как у Рембрандта. Так вот, кажется, наши картинки берут в окна ТАСС. Слава! Успех! Кукрыниксы включают меня в свою бригаду. Аж голова кружится.

[12] Из письма К. А. Туманову, март 1942 г.

Но это все не то. Сердце мое с вами. И помыслы все. Поэтому жажду писем. Больших, как ваша ко мне любовь (о таких больших, как моя к вам, не смею и просить). Может быть, мне все-таки можно к вам. Узнайте. Я с собой бутылку спирта (96) привезу.

А пока кончаю. Пишите, бродяги[13].

4-й день витаю в небесах, нахожусь между 40 и 41 — малярия. Медицина ее не берет. Сейчас временно опустился на землю (37,9) и пользуюсь случаем послать весточку. Лечит меня отменный врач: по его понятиям, если термометр вначале показывал 37, а не был спущен до конца, т. е. до 35, и под конец +40, то на самом деле это не 40 а 38. Во! Остальные его понятия на том же теоретическом уровне. Заявил, что многие болезни так начинаются, с явным намеком на то, что лечение сальварсаном было бы небесполезно. Во всяком случае, запретил есть что бы то ни было за исключением чая с лимоном. А лимоны в Тбилиси. Хины в Ташкенте нет. Видно, залечат меня до смерти. Помирать же здесь никак нельзя — дерева нет, и хоронят поэтому в гробах из папье-маше. Не могу же я принять такой позор. Особенно после того позора, с которого начался этот приступ: я словно институтка грохнулся на пол в присутственном месте.

Срок мой пребывания на земле истекает, чувствую, как незримые руки подхватывают меня и несут в заоблачные дали, откуда нет возврата.

Молитесь за меня[14].

Видно, и впрямь любовь слепа — в сердце моем нет более обиды и зла. А может быть, просто приятно, что двое друзей самолично признали себя свиньями. Во всяком случае, на земле ты прощен.

К сожалению, письмо твое пришло на день позже, чем следовало, и застало меня в миноре, вызванном мыслями об ушедших юношеских грезах и пришедших взамен них двух лишних диоптриях. Словом, я только что от самого Филатова, а число моих диоптрий делится и на три, и на пять сразу. Вот тебе задачка к госэкзаменам по политэкономии. Итого, с начала заработал 4 штучки... Про себя из-за одесского прохвоста писать не хочется, да ты небось и без того все знаешь.

Может быть, поеду я в Москву, но пока это дело настолько темное, что писать о нем не имеет смысла...[15]

Расписуюсь в получении открытки. Не писал потому, что, спасаясь от малярии, ползал по горам и скалам, окружающим город Ташкент. При этом находился в весьма избранном обществе палатки, сухарей, ружжа, 25 патронов, Мишки Иванова и самого ВсеВолода иВаноВа. Во. Через все это похудел, обобрался, облез и, тьфу-тьфу не сглазить, не маялся малярией.

Ну а т. к. местность кругом Ташкента обычно крестьянская, то и читал я гениальный сценарий Эрмлера "Крестьяне". И даже засыпая, прижимал его к груди. А кругом сияли звезды, луна, и всевозможные узбеки кричали на своем крестьянском языке "Майбор! Голова имеешь — сымай штаны!" (Это в смысле товарообмена). А я стыдливо запахивался в остатки оных и читал дивные строки Эрмлера про крестьянскую жизнь[16].

---

[13] Из письма К. А. Туманову, Г. Г. Иордану, апрель 1942 г.

[14] Открытка Г. Г Иордану, апрель 1942 г.

[15] Из письма К. А. Туманову, июнь — июль 1942 г.

[16] Открытка О Н. Косорез, сентябрь 1942 г.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ГОРЬКИЙ

Буду краток, дабы не быть сентиментальным. Доехал я благополучно. Андроновы и Горелики приняли меня как родного, и теперь я прописан у Горелика по адресу: Университетская, 5, кв. 5.

Живу, как у Христа за пазухой, в отдельной комнате. Горелик — человек очень милый и трогательный, считает своим долгом занимать меня и вообще ублажать, будто я Макс Борн.

Вообще мое биографическое пятно до сих пор мне не мешало. Все, включая чинов милиции, чувствуют себя несколько виноватыми передо мной и содействуют мне всяческими способами. Таким образом, не дожидаясь прописки, мне выдали карточки, не дожидаясь военкомата, прописали и т. д. Завтра пойду на мед. комиссию в военкомат.

Официальное мое положение: ассистент кафедры общей физики Г.Г.У. По плану у меня 800 часов в этом учебном году, но часть из них липа для Наркомпроса. Кроме того, буду заниматься научной работой в ГИФТИ. Чем именно, выяснится по возвращении Греховой из Москвы. Рассчитывать на это особо не приходится, так как секретить меня нельзя. Сама Грехова мила, но недосягаема, как и подобает декану и директору ГИФТИ.

Зато Андронов — душка и обаятелен. Сидел у него до трех ночи и нашел, что он очень похож на Бориса Пастернака.

Студенты и аспиранты пока в разъезде, так что серьезных знакомств среди молодежи у меня пока еще нет. Ан нет! В качестве ассистента присутствовал на приемных экзаменах на биофаке и бессовестно подсказывал абитуриенточкам. В известном отношении здешний биофак не уступает нашему.

Однако совету твоему относительно новых друзей последую вряд ли. Во-первых, доволен теми, которые есть, а во-вторых, стар я стал на чужой стороне настоящих друзей заводить. Впрочем, не закаиваюсь...

И еще просьба: ежели вспомнишь, то пришли Женькин гимн полностью, меня теперь очень трогают воспоминания нашего героического детства.

До отцовской поездки не пиши, потерплю, а потом будь мудр как змий. Мои письма, в частности и это, уничтожай, незачем давать пищу праздным умам. Помни, что меня интересует все связанное с тобой и пиши обстоятельно, не обижаясь на возможную краткость и редкость моих ответов.

И про свои научные радости пиши — в этом отношении для меня вернулись отчасти времена Декарта и Ферма...

Что Пэнг? Что говорят в капичнике за атомную бомбу?

И еще раз будь мудр как змий.

P.S. О деталях быта скажет мама[1].

---

[1] Из письма К. А. Туманову, Горький, 9 сентября 1945 г.

Отец сегодня уезжает, а я еще не ответил ни на одно письмо. Все читал "Двух капитанов". По этой причине настроен возвышенно и томно. Имей это в виду при чтении дальнейшего.

Жизнь моя протекает в тех же направлениях. С новой ролью профессора (как меня пробует звать одна из моих слушательниц) я уже свыкся и бодро вставляю всякие бутырские словечки к восторгу моей немногочисленной аудитории. Курс большой и пестрый, до сих пор нигде не читался. Поэтому читаю как хочу и что хочу. При этом инстинктивно соблюдаю все правила педагогики, как то: доски корпусом не закрываю, локтем написанного не стираю, в тряпку не сморкаюсь. И это несмотря на то, что нахожусь в позиции Эльсгольца, окруженного 5-ю Катями Скубер. Слава богу, только одна из них обладает душевными и телесными прелестями Кати, а не то я, в силу присущего мне альтруизма, рисковал бы обратиться в некое подобие Сашунчика (по внешности, конечно). А при статус-кво у меня находится даже время для написания ученых статей.

Послезавтра начну вести практикум на третьем курсе. Если тебе известны тайны ремесла, то сообщи фототелеграммой...

Сообщаю, что вчера был свидетелем зрелища, возможного только в Горьком, — именно традиционной эстафеты на приз "Горьковской коммуны". Так как день был холодный, то дамы бежали в трусиках и в шелковых чулках, причем первые были явно не физкультурного типа, а вторые не доходили до первых. Форма подвязок обыкновенная. Господа офицеры жадно пожирали глазами все это богатство форм и красок. Вдобавок, некоторые особы, верные своей женской природе, были намазаны и носили высококаблучные туфли. По всему по этому момент передачи эстафетных палочек больше всего напоминал пожар в публичном доме. И все это на виду у многотысячной толпы под охраной конной милиции (явно завидовавшей пешей, укрывавшей финишировавших дев шинельками) длилось более 3 часов.

Теперь разговор по существу. Не знаю, чего тебе наговорила моя маман. Я просто считал своим долгом спустить ее с небес на землю. А соблюдаю я себя перед собой, потому что мне хочется и нужно учиться, ибо даже то, что я знал, я за это время порядком призабыл. И потом, что ты там мелешь о каком-то пересмотре дела? Никаких пересмотров не будет, во всяком случае по моей инициативе.

Далее очередная просьба. Я посылаю с отцом опус про эндовибраторы. Если шеф одобрит и найдет нужным напечатать, то отец перепечатает на машинке. Вписать же формулы ему не под силу, ибо для него это сведется к перерисовыванию, т. е. к куче ошибок. Поэтому прошу тебя вписать формулы. Это работа на два часа. Сочтемся когда-нибудь. А пока можешь приписать в конце благодарность К. А. Туманяну за ценные дискуссии...

Вот, собственно говоря, и все. Следующий раз пришлю краткую программу курса, сейчас лень писать.

P.S. Самое главное забыл. Здешнее партийно-профсоюзное начальство решило про себя, что я сидел за поножовщину! Каково какаво! Оно поделилось своими соображениями с Андроновым, и тот не стал их разуверять. Отсюда: уважение ко мне, смешанное с понятной боязнью[2].

Долго не отвечал, ибо был погружен в изучение бессмертных творений Дюма-пера. Ситуация такова: ты (несмотря на внешнюю фотогеничность) благородством характера, рыцарским отношением к прекрасному полу и склонностью к мрачному запою являешь собой второго графа де ля Фера. Меня сама судьба поставила в положение д'Артаньяна. Но мы с тобой, так сказать, первое приближение. Зато Дим, с его таинственными

[2] Из письма К. А. Туманову, Горький, 1 октября 1945 г.

вечерними свиданиями, неожиданными отъездами, надушенными платочками и вечными разговорами о монашеской жизни, Дим это точный Арамис. Странно, что до сих пор нам не приходило это в голову. Теперь кончаю с литературными реминисценциями (кажется, по-русски это означает кражу).

Жизнь моя протекает в прежних эмпиреях. Два часа в неделю – лекция, два раза по 4 часа – спецпрактикум. Спецпрактикующихся у меня 16 человек. Оборудование из рук вон плохое – все схемы на соплях и рваных проводах. Поэтому мое положение лучше других, ибо студент знает, что я московский (для них Москва – столица мира) и, следовательно, не отвечаю за здешний бардак. Студентов жаль. Живут по-собачьи и учатся в хлеву. (Это буквально – уборные тут такие, что гадят в пустых аудиториях). Европа-Б! Вдобавок идиотский патриотизм местного начальства (единственный в Союзе радиофизический факультет!). Что касается лекций, то проф. д-р В. Л. Гинзбург просил предоставить ему программу оных. Черновик же предоставляю тебе. Замечания, примечания и поправки будут приняты с благодарностью. Кстати, ежели в *Rev. Mod. Phys.* появится продолжение *Condon*'а (3-я и 4-я главы), извести. Таковы дела учебные. Дела хозяйственные сведены к минимуму: обедаю в столовой, ужинаю с хозяевами. Базар тут рядом, так что в походах туда нет ничего героического.

Личной жизнью занимаюсь вне дома в самое неподходящее время. Ежели судьба столкнет тебя с Гореликом, то изволь поддакивать его рассказам о моих добродетелях. В остальном жизнь скучна. Ветер эпохи, он же дух времени, делает свое черное дело. Вместе мы как-нибудь перебились бы, а порознь трудновато. Только ты не погрязни. Женись, черт с тобой, но не предавай идеалов.

Кстати, о моих перспективах. В. Гинзбург и иже с ним сказывают, что 5 тысяч физиков мобилизуют на атомную бомбу. Далее, помимо всего прочего, органы организуют свой институт на эту тему. И, наконец, здесь органы запросили характеристики на всех физиков. Сопоставляя эти факты, я заключаю, что вероятность мне пройти в ближайшем будущем мандаринской тропой весьма велика. Вот тебе лишний резон уничтожать мои письма. Что касается самой бомбы, то очень тебе признателен за Дау-частицы. Ежели есть что интересное, то отпиши в подробности и с самого начала. А то тут Андронов кормится лекциями, и для него это вопрос совсем не платонический.

Перечел и удивился сухости письма. Не придавай этому значения – я и разговариваю сейчас с трудом.

Теперь провинциальные просьбы. Ежели будешь покупать себе что-нибудь ученое, то покупай и мне. Потом сочтемся. Ежели попадется Рыжик (справочник), то пришли с первой оказией. (Я с горя начал сочинять новый ученый труд по антеннам, а Рыжик в ГИФТИ один). Мне совестно и стыдно затруднять тебя всякой дребеденью, но ты не суди меня строго и вини во всем подлый век.

Письмо придет накануне твоего юбилея. Четверть века бессменно на одном и том же посту! Прими мои поздравления и пожелания и поздравь от меня маму и папу. Подарки вручу лично. Пока передаю чужой комплимент: Дау сказал Гинзбургу, что купил Кота в мешке.

P.S. Письмо, как водится, изничтожь[3].

Я порвал с прошлым, отдав его в печать, и теперь жду твоих руководящих указаний. В ожидании оных буду пробавляться Шпольским.

Новостей, как у утопленника. На Красной горке собираюсь гулять на свадьбе в Бору у хозяйской дочки. Тут два момента. Во-первых, жених – лейтенант Н.К.В.Д. (пардон, М.В.Д.). Во-вторых, подруги невесты просили быть. (Молодой, и уже физик. И еще холостой).

[3] Из письма К. А. Туманову, Горький, 19 ноября 1945 г.

Так что идеальное сочетание *Geist*'а и *Fleisch*'а. Не хватает только тебя. Причем не хватает все время. Друзьями я тут не обзавелся — есть только знакомые (Михаил Львович!), знакомые доктора наук (Миша и Михаил Львович!) и несколько знакомцев (Миша!), с которыми ни поговорить, ни выпить. Одна утеха — моя *principal gerl*...

Но женский ум — это все-таки не то, тем более, что трудно долго разговаривать с хорошенькой девушкой в наши лета. Так сказать, духовная близость остается на втором плане[4].

Твое заказное письмо с ног до головы, то есть с адреса до приписки, такое совершенство, что у меня вот уже три дня не поднимается рука писать тебе ответ. Но мысли не идут, тем не видно, а писать между тем надо и хочется. Поэтому не посетуй на дальнейшее.

Моя жизнь пошла по второму кругу горьковского существования, отличаясь от первого круга главным образом отсутствием новизны, а также общим для всех нас возрастанием энтропии. Я полтора месяца (а для меня это много) пребывал в состоянии беспробудной меланхолии и чуть не дошел до кронродовского уровня, то есть до отыскания смысла жизни. О причинах, низведших меня до такого состояния, равно как и о тех мыслях, которые меня изредка посещали, ты вскорости, может быть, узнаешь, если только получится подходящий разговор.

А вскорости потому, что я собираюсь во второй половине ноября — точнее, после долгожданной защиты, которая состоится 15 ноября, — совершить вояж в Москву. Желаю рассеяться, покутить с друзьями и набраться так называемых впечатлений. Однако, как ты сам понимаешь, в предварительной прессе я особенно не заинтересован.

Что касается подробностей моей жизни, то они стандартны и не выходят за рамки тебе известного. Делом я никаким не занимался вплоть до последней недели. На последней же неделе московские штучки Рытов и Гинзбург (это молодой д-р физ.-мат. наук — муж Нины Ермаковой) рассказывали про излучение релятивистского электрона. (Это сделал Чук, Рытов довел расчет до количественных формул с Бесселями, а Витя засунул все это в диэлектрик). Так вот Рытов рассказал мне про это до доклада и жаловался на судьбу из-за трудностей счета. А так как человек, считавший антенны, имеет некоторое право говорить: "Мы считали все на свете, кроме шила и гвоздя!", а излучение релятивистского электрона, как это ни странно, сводится на антенные формулы, то я и полез с кувшинным рылом в суконный ряд. Или, говоря прозой, проявил гениальность в импульсе и сосчитал излучение в трубе и между параллельными плоскостями, что больше подходит к реальным условиям, чем излучение в свободном пространстве, исследованное предыдущими товарищами. Вот и все, чем могу похвастать на сегодняшний день. Во всяком случае, релятивистский электрон вывел меня из состояния транса, и я теперь снова улыбаюсь восходу солнца и возмущаюсь салом на Волге. И читаю 7-й том Мопассана и стихи Киплинга, украденные у Женьки.

Кстати, о поэзии. В день моего отъезда Капа исполнял сочиненную вами песню, усиленно подчеркивая твое соавторство, чему я слабо верил по причине капчинности стихов. Так как я и сам мальчик резвый и обладаю бойким даром, ценимым некогда такими людьми, как Шурка и Фрид, то во время прочувствованного Капиного исполнения мне в голову пришел дополнительный куплет. Однако исполнить его я не мог из-за окружавших нас дам и девиц. Так как даже мои творения не должны пропадать втуне, то сообщаю тебе, как соавтору:

Мы, друзья, перелетные птицы,
Холостой беспокойный народ:
Под горой не успели жениться,

[4] Из письма К. А. Туманову 23 апреля 1946 г.

Влезли на гору — хер не встает.
Вот поэтому, друзья, мы альпинисты,
Гималайка для нас родимый дом,
Первым делом одолеем путь кремнистый,
Ну а девушек ... когда-нибудь потом.
Надеюсь, что это потом уже не потом[5].

В моей жизни никаких внешних перемен нет, но я здорово выдохся. Меньше всего я хочу жаловаться, но просто сейчас ты единственный человек, которому я могу сообщить эту печальную истину, не боясь, что меня поймут ложно. Может быть, поэтому и хорошо, что я сейчас нахожусь в интеллектуальном одиночестве. Не то чтоб в этом была сермяжная правда, но в теперешнем своем юморе я и собеседник-то не слишком занимательный, а в регулярные спутники и вовсе не гожусь.

То, что я сам дошел до этой философской мысли, и то, что мне еще доступны простые желания предков вроде

Жить на вершине голой,
Писать простые сонеты
И брать от людей из дола
Хлеб, вино и котлеты,

доказывает, что я еще не совсем конченый человек. Не знаю только, следует ли этому радоваться[6].

Жизнь моя пошла в последнее время весьма неожиданным аллюром, и поэтому ее подробности я откладываю до следующего письма — думаю, что тебе не придется его долго ждать. Словом, не удивляйся ничему. За меня же не беспокойся.

Во-первых, как любил говорить один из моих случайных друзей, с которым судьба меня свела три с лишним года тому назад, "при такой ситуации я не намерен помирать просто из принципа". Во-вторых, мне нагадала цыганка, что я буду женат 4 раза, так что так или иначе ты еще успеешь погулять у меня на свадьбе...

Не знаю, когда нам удастся свидеться — очень хотелось бы. Надо по крайней мере отпраздновать юбилей нашего знакомства — 10 лет вполне солидная дата...

P.S. Третьего дня был на собачьей выставке. Цитирую из каталога оценку одной собаки на прошлогодней выставке и думаю, что многие красотки были бы рады получить такую же.

"Породная и нарядная, очень хорошая по легким и просторным движениям, хорошо несущая голову на очень хорошей шее, в общем, очень правильно сложенная, небольшая женственная сука, в упрек сложки которой можно поставить лишь некоторую лещеватость да чуть недостаточный спуск груди"[7].

Надеюсь, что это письмо также удивит тебя, хотя и не тем удивлением, на которое ты законно рассчитывал. Дело в том, что я, начитавшись твоих писем, решил ехать в горы. Во-первых, я там никогда не был. Во-вторых, может быть, во мне скрыты таланты, и я еще имею шанс когда-нибудь попутешествовать в твоем высококвалифицированном обществе. И вот я теперь есть обладатель путевки в Алибек. Так как в свое время я поделился своими намерениями с пером, фисом и мадам Гореликами, то они тоже обладатели таких же путевок, купленных на всю компанию Габой в Москве. Мы

5 Из письма К. А. Туманову, Горький, осень 1946 г.
6 Из письма К. А. Туманову, Горький, 28 марта 1948 г.
7 Из письма К. А. Туманову 1 июня 1948 г.

собираемся из Алибека идти в Сухум и поэтому, помятуя твой опыт, я не в восторге от наличия мадам, да и дофин личность весьма избалованная. Буду вырабатывать характер. Вообще я теперь отношусь к твоему позапрошлогоднему письму, как мистер Беттеридж из "Лунного камня" к Робинзону Крузо – ищу в нем мудрость на все случаи жизни.

В Алибеке мы пробудем 12–15 ден с 22 июля, а затем пойдем великой тропой. Так как я намерен за эти 12 дней овладевать техникой, то жажду твоих советов. К примеру, что лучше: лыжные ботинки или спецобувь (с учетом похода к морю). Так как сейчас у меня нет ни того ни другого, то вопрос этот носит не совсем академический характер. Словом, советы и пожелания будут приняты с благодарностью.

Теперешняя моя жизнь состоит в жизни сегодняшним днем. Этим отчасти объясняется и посещение собачьей выставки, а также несколько неосторожных фраз в предыдущем письме. Назревавшая было ситуация разрешилась в мою пользу, и я остался при прежних неголономных связях. Кроме того, усиленно купаюсь и малость погребываю, надеясь всеми этими мирскими радостями заполнить душевную пустоту. *Ales!*

Работать же сейчас из-за жары практически невозможно, да и имеет ли смысл. Куда и, главное, зачем торопиться. Впрочем, не буду капать и портить твой преддиссертационный экстаз...

Привет всем приветствовавшим меня[8].

Подробностям моей жизни придется, к сожалению, дожидаться нашей встречи, возможные обстоятельства которой явятся, как я надеюсь, предметом настоящего и последующего писем.

Смысл этой эвфуистической фразы прост. Приближается лето и мне хотелось бы знать твои планы. Суждено ли нам быть вместе в Алибеке или ты уже запродан? Я пока ничего не предпринимал, ибо у нас здесь альпинизма нет, и путевку все равно придется доставать через Москву. Тем более, что одному мне ехать не хочется, а найти достойных спутников здесь практически невозможно.

Так что подожду ответа от тебя и Дока, а затем начну, если понадобится, размышлять.

Надеюсь, что у тебя повсеместно все обстоит благополучно. К сожалению, я за эти три месяца получил лишь одно письмо (от Кики Яглома) и поэтому мало что знаю о вашей жизни.

Привет всем знакомцам[9].

Великий или Тихий переулок
Шлет улице Воровского привет!

[*См. раздел V, где этот стишок приведен целиком.*]

...перестаю испытывать твое терпение и перехожу на презренную прозу. Прозаические мои успехи куда бедней поэтических. Правда, я, наконец, прописался по новому адресу: Горький 6, Тихий пер., 8, кв. 3... Но это все, что есть в активе.

В университете – кабак. Неясно даже, останусь ли я в нем до конца семестра. Кругом все ходят как в воду опущенные. По всему по этому (+ московские мои дела) настроение томное, и проза, которая состоит из пяти ненаписанных глав, получается вялой или попросту никудышной. Это я не жалуюсь, а просто надо же хоть раз отписать истинное положение вещей[10].

---

8 Из письма К. А. Туманову 26 июня 1948 г.

9 Из письма К. А Туманову 15 мая 1949 г.

10 Из письма К. А. Туманову 25 сентября 1949 г.

О моих новостях красноречиво говорит мое молчание, объясняя тем самым себя самое. По приезде выяснилось, что люди нужны во многих местах, но вот я как раз не нужен. На этом пока я и стою, веселя душу толстовским "образуется".

Держит же меня в Горьком документ, называемый характеристикой. Его сочиняли три недели (ровно), и его собственная характеристическая часть состояла из трех фраз (ровно), каждая из которых грешила против истины и русской грамматики.

Сейчас ее пересоставляют, и это длится уже две недели.

Таким образом, я веду регулярный образ жизни. С утра работаю над собой. Затем иду обедать. После обеда захожу в университет справиться о характеристике и попутно выслушиваю некоторое количество прочувствованных сочувствий. Далее: прогулка, библиотека, личная жизнь или иные утехи, простокваша перед сном (по Мечникову) и, наконец, сам сон на правом боку. Для того чтобы дожить до ста лет, не хватает только утренней зарядки.

Кстати, за это время я просмотрел 11 томов истории Англии Давида Юма (того самого) и составил подробные генеалогические таблицы, выяснив, наконец, права Тюдоров на престол.

Алма-Ата всегда казалась мне самым правильным городом, но тут нужна взаимность. Надеюсь в октябре обсудить с вами этот вариант.

Привет твоим и знакомцам[11].

Я тут получил весьма сумбурное письмо от Кунина о том, что в Риге, по-видимому, ничего не выйдет. Так что алма-атинский "план" снова приобретает смысл. В Горьком ситуация мертвая, и так или иначе (вернее, туда или иначе) отсюда придется выбираться. Поэтому я решил понемногу рассасываться и, пользуясь случаем, посылаю сейчас в Москву малый эпсилон книг...

После выборов я собираюсь в ваши края[12].

Мои дела прежние. Занимаюсь самообразованием и нравственным усовершенствованием. С работой пока ничего не получается: с одной стороны я хорош, но с другой плох, и почему-то вторая перевешивает.

В ожидании перемен пребываю в Горьком (Главный почтамт, до востребования). Ежели же будут перемены — уеду и затеряюсь в космосе. Там и встретимся.

А пока желаю всякого счастья де-факто и де-юре[13].

---

11 Из письма К. А. Туманову 10 декабря 1950 г.

12 Из письма К. А. Туманову, декабрь 1950 г.

13 Из письма О. Н. Косорез 31 декабря 1950 г.

ИЗ ТЮМЕНИ

Дорогие Михаил Александрович и Татьяна Петровна!

Вот уже три недели имею быть тюменским жителем, и это состояние мне нравится. Город небольшой, но аккуратный, стоит по-над Турой (той частью, где я живу); улицы с деревянными тротуарами и старомодными названиями, три главные магистрали покрыты асфальтом, остальные рю — сравнительно умеренной грязью. Очень много всякой зелени и дерев, огороженных добротными чугунными решетками. В городских садах чирикают всякие певчие и не певчие птицы, во дворах брешут псы, на крышах и под крышами орут коты и радио. Весною же и летом город, по уверениям старожилов, просто цветет. В окрестностях богатейшая охота и рыбная ловля, а на севере нашей области песцов палками отгоняют от помойных ям.

Приняли меня хорошо. Поместили в обещанную комнату (≈15 м^2) с казенной мебелью, находящуюся в жилом доме для преподавателей института, поставили на казенное дровяное довольствие.

Механизм моего появления в Тюмени таков.

Директор института одновременно является зав. кафедрой физики и именно ему, как единственному физику с университетским образованием, приходилось читать теор. физику. Такое занятие не соответствовало ни его интересам (по специальности он физик-методист) ни, главное, бюджету времени (директор!), так что в конечном итоге курс просто срывался. Поэтому-то он и добился в здешних высших сферах согласия на мое приглашение. Возможно, что на каких-то условиях, так как при первом же разговоре со мной он сказал, что сделает со своей стороны все нужное, чтобы я мог защитить диссертацию (разговор на эту тему начал, конечно, не я), ибо, к огорчению его и отцов города и области, в областном городе — Тюмени — ни одного доктора наук.

Пединститут — единственный вуз области — занимает собою бывшее школьное здание, расположенное как раз насупротив действующего Божьего храма. Поэтому часто читаю лекции под колокольный звон. Так как у меня 20 лекционных часов в неделю, а пономарь, звонарь и отец диакон, видимо, подогнали свое расписание к моему, то я уже привык к аккомпанементу, приноровился к нему и даже стал говорить каким-то вергилиевским гекзаметром, с цезурами, приходящимися на удары колокола.

То, что директор — физик, причем человек вполне симпатичный и любящий преподавание физики, сказывается и в библиотеке: есть вся основная отечественная периодика послевоенных лет и приходит много новых книг. Торкин собирается провести в этом году гореликизацию курса общей физики (раздел "Колебания и волны") с моим участием в качестве очевидца и консультанта. Студенты вполне толковые (единственный вуз), но подготовка у них скудная, особенно по математике. Приходится все рассказывать самому. Среди преподавателей же наблюдается необычайный интерес к астрономии. Вчера, например, объяснял одному географу, как Н. Н. Парийский окончательно истребил Джинса!

Таковы первые впечатления и новости. Надеюсь зимой под тем или иным предлогом выбраться к Вам, а пока остаюсь Вашим... Мой адрес: Тюмень, ул. Урицкого, 12, кв. 7[1].

Как известно, сумлевавшийся Алексий Аракчеев приказывал у себя в Грузине сажать всех кошек на цепь. Только здесь я оценил мудрость покойного графа: в нашем небольшом доме 17 кошек и 6 собак, к которым каждый божий день ходят многочисленные друзья и недруги. Лично мне симпатичны — в основном своими именами и умеренностью — пес Кирилл и кот Репа, с которыми я поддерживаю добрососедские отношения.

На службе же у меня есть знакомая лошадь Тюря, доставлявшая мое имущество в город и являющаяся старейшим сотрудником института: она работает в нем со дня основания. Отсюда видно, что наш институт еще молодой вуз без вековых традиций. Однако в нем уже есть непризнанный гений — биолог Б. В. Кудряшов, доказавший Великую теорему Ферма. Причем он доказал ее чисто биологическим методом: скрещивая кукурузу с каким-то другим злаком! Детали этого доказательства он вскорости доложит на заседании кафедры математики, куда я зван. Поскольку раньше математики не смогли понять биологического метода — ему пришлось выучить математику ("до тригонометрии включительно") и доказывать теорему Ферма "обычным способом", что он с успехом и проделал. Но и тут математики проявили свойственную им кастовую тупость и не смогли понять, например, что

$$3^2 + 4^2 \neq 4^2 + 3^2,$$

хотя 9 + 16 = 16 + 9. Признаться, и я оказался малость дубоват. Во всяком случае, доказанная им теорема Ферма подводит прочный фундамент под его биологические исследования, и, в частности, опираясь именно на эту теорему, он намерен в ближайшее время вывести "здесь, Вы подумайте, здесь в Тюмени!" курицу о двух головах.

Одноголовые курицы в Тюмени уже имеются, и из них делают специальные куриные рамитаки в облюбованном мной харчевом заведении "Волна". Как объяснил мне один старожил, оно славится своею "домашней русской и французской кухней" и — я бы добавил — домашней непринужденностью: клиенты делятся с директрисой своими невзгодами и радостями, а персонал выясняет свои отношения на людях и часто

При подсчете наличности
Переходят на личности.

Словом, обедать здесь весело. А так как вообще в Тюмени веселья мало, то это вдвойне ценно.

Вот как складывается жизнь.

Писано ручкой с утопленным пером, чего желаю и ее создателю — подлая течет. Расстановка знаков препинания, возможно, отличается от общепринятой, но, как говорил Сэм Уэллер: в правописании многое зависит от вкуса и охоты пищущего. Жаль, что твои экзаменаторы не знали этих золотых слов![2]

Последние дни я подряд читал Фаддея Булгарина, и поэтому письмо должно получиться по твоему вкусу — реалистическим. Кстати, что за прелесть Фаддей — пророк и предтеча!

Итак, о себе. Каждый божий день у меня 4 часа лекций (иногда с окнами), и хотя мне нравится обучать хорошеньких девушек теоретической физике, но жаль, что все это происходит по утрам. А я привык работать утром. Вдобавок тут утром плохой накал, так что и мои ранние вставания не помогают. По всему поэтому работаю мало и как-то невпопад.

После лекций я посещаю ипподром, любуюсь лошадками и наблюдаю нравы. Дважды в неделю хожу в баню, по воскресеньям — в церковь, где наслаждаюсь пением —

[1] Из письма М. А. и Т. П. Леонтовичам, Тюмень, 29 сентября 1951 г.
[2] Из письма Н. М. Леонтович, Тюмень, 29 сентября 1951 г.

хор здесь великолепный. Прошлое воскресенье была Казанская Богоматерь — чудо что за музыка! А светской музыки здесь нет. Зато мои институтские красавицы и красавцы лихо отплясывают кадрили. Приятно и то, что в меня еще могут влюбляться молоденькие девчонки.

"Мягкую и ласковую, нежную и порывистую, прелестную и смелую, с лучистыми и сияющими глазами утешительницу скорбей" (Ф.Я.) зовут Любой, Любовью Флорентьевной (папу звать Флорентий), и именно папе обязана ты знанием сей тайны моего сердца. Будь достойна их (папы и сердца и тайны!). Она, конечно, хороша собой и хотя

Ее жестоко осуждают:
Она проста, она пуста;
Но эти перси и уста,
Чего ж они не заменяют?

Так было сказано еще в прошлом веке. Читаю, как всегда, много и, как всегда, беспорядочно. Новых книг здесь мало, но есть много раритетов осьмнадцатого века, в частности, мемуары современников Елизаветы Петровны и Екатерины. Очень поучительное чтение!

Домашние лары и пенаты вполне хороши. Соседи — милые люди, и по четвергам я принимаю участие в традиционном кун-кене (есть такая карточная игра), запивая вишневой наливкой. А в это время на дворе пенатов снег и собаки — пенатские и их гости (от 6 до 15), занимающиеся своими собачьими делами. Вот тебе реалистические картинки моей жизни. Откуда тут взяться грусти? Суди сама: лошади, женщины, вино, карты, собаки, книги вольнодумцев 18 века, по воскресеньям — церковная служба. Чем не русский помещик? (Известно ли тебе, что в Алфавите Декабристов есть тамбовский помещик Левин!?) См. И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма из Сибири. Москва, 1925 г. Издание общества Политкаторжан[3].

На праздниках я полтора дня гулял у моих сослуживиц (как говаривал Лев Буняк) сестриц-девиц Лены и Майи Осенниковых, чем-то напоминающих твоих килек. Пил водку, пел песни, ел пельмени и вообще. Гуляние было сибирское: с кадрилью (выломали три половицы), умыканием девок, боем петухов и прочими эффектами. Особенно резвился папа Осенников, норовивший ввести в дом и общество корову Нитку. При второй попытке он заснул в коровнике, а проснувшись, вошел в зало с песней "Раз в поезде сидел один военный". Оказалось, что только я один знал дальнейший текст (остальные мужики и дамы поощрительно улыбались), и поэтому мне пришлось срочно обращать его мысли к покинутой Нитке. Так что твое описание шульбертовского вечера пришлось очень кстати.

Вообще же каждодневные 4 часа лекций, многочисленные методические совещания и кафедры и отсутствие достойного мужского общества не способствуют развороту событий, дающих пищу уму и материал для писем. В институте все идет рутинной чередой, я естественно обрастаю "водорослями" и даже получил общественную нагрузку по профсоюзной линии.

Так как пью я редко и мало, то кузенова участь мне не угрожает. Скорее я мог бы стать лошадником, ибо регулярно посещаю ипподром и уже могу здраво судить о достоинствах и недостатках различных рысаков и рысачих. Но для этого у меня не хватает темперамента и азарта. Посещения Божьего храма тоже сильно развивают мои умственные способности, и я рад сообщить тебе, что твое дорогое имячко поминается по церквам в следующие дни (стиль — новый, цени):

27 февр., 18, 19 марта, 24 мая, 3, 18, 21 июня, 16 июля,11, 17 авг., 2, 15 окт., 4, 23 ноября, 8 января, причем 17 авг. и 4 ноября (на этом богослужении я присутствовал!)

[3] Из письма Ф. П. Ясиновской 11 ноября 1951 г.

речь идет о святом отроке Ефесском Ексакустодиане (Константине), так что в ответственные моменты ты можешь звать себя Ексакустодиан Арташесович.

Лично я могу праздновать тезоименитство 18 раз в году, в том числе (чем горжусь!) три раза совместно с тобой: 27 февр., 3 июня, 11 авг. и, кроме того, 31 декабря (преподобный Михаил Исповедник), что оправдывает присылку новогодних телеграмм.

Чудесное обращение Наташи Артоболевской в альпинистскую веру позволяет надеяться на дальнейшее расширение месяцеслова и вообще на дальнейшее. Кстати, об альпинизме. Позапрошлым летом я срочно покинул Терскол, и у Капиного дружка Мигулина осталась подписанная Сидоренкой справка о восхождении. Нельзя ли через Капу получить на dt эту бумажку и оформить ее в виде стандартной справки? Альпинистская карьера моя, конечно, кончена, но все-таки приятно иметь тукумен о руководстве при восхождении на пятитысячник! Для будущих биографов...[4]

А в Тюмени лепота и благодать. Три улицы заасфальтированы, у остальных громкие названия, репертуар театра не уступает московским, в кино по залу бегают бурундуки, в концертном же зале до сих пор выступали заезжие ансамбли прибалтийских потаскух, но вскоре пожалует и московская штучка — Марина Ладынина. Но главное — это бани. По форме — правильный трехэтажный цилиндр, по содержанию — пересыщенный пар; нет, в Европе нет таких бань! Я бы сказал: финско-афинские бани! Финские, ибо вместо банщиков — фрекен-банщицы, афинские, ибо предрасполагают к философским раздумьям. Кроме того, на недосягаемо высокий уровень поднят культ номеров, куда принято ходить с чужими женами, своими невестами, добрыми приятельницами или, на худой конец, законными половинами.

Работаю мало — у меня привычка работать в утренние часы, что контрадиктирует расписанию. Вообще же науками в Тюмени никто не занимается. В институте засилье методики, приходится бывать на всяких методических совещаниях, где, впрочем, иногда обсуждаются актуальные вопросы. Например, вчера — что делать учителю, если ученики кидают в него кусками штукатурки? Подумай сама.

On toto. Сибирь мне нравится. Красотой жителей, их кержацкими именами (кстати, у зверей тут тоже необычные имена — мои соседи: пес Кирилл и кот Репа), ранней снежной зимой. А у вас небось совсем красота — верю Ив. Ив. Пущину, который прожил в наших краях 15 лет своей азийской жизни и говорил, что по красоте Западная Сибирь в подметки не годится Восточной. Так ли? В смысле — нет ли изменений за прошедшие 100 лет.

Вот почти полный отчет о моих делах и днях. Как писал Богданович, дни среди утех свои имели скуки.

21 ноября — Собор св. Архистратига Михаила etc.

P.S. 31 дек. — преподобный Михаил Исповедник. Учти![5]

И хоть будь начальства
В десять раз умней —
Ихнего нахальства
Осуждать не смей!..
(солдатская песня того века)

Не знаю, поможет ли эта запоздалая мудрость... Со своей стороны сообщаю, что силою обстоятельств я стал фаталистом. Тому множество причин, одна другой значительней. Даже твое письмо вместо положенных 5–6 дней шло 9 и пришло как раз 20-го вечером, прозвучав этаким *Memento mori*, ибо назавтра 21-го мне предстояло делать на

[4] Из письма К. А. Туманову 18 ноября 1951 г.

[5] Из письма О. Н. Косорез 21 ноября 1951 г.

общеинститутской юбилейной теоретической конференции доклад: борьба двух идеологий в современной физике. Узнал же я об этой чести только 19-го. В библиотеке все нумера Вопросов Философии на руках. Последние мои публичные выступления на гуманные темы относятся ко временам Бахнева и Марехиной. Далее, абсолютное неумение читать цитаты — гнусная привычка все рассказывать своими словами. И вообще неясно: не выпускают ли меня, как Акелу, на недозагнанного самбура. Потому как ужасно, как вежливо со мной разговаривали, а это первый признак направленности мысли. Здешний же отец и благодетель мой отбыл в командировку, и вся власть перешла к представителю межфакультетской кафедры. Вот ситуация. Как сказал бы Пастернак: дрожанье губ имелось. Но не у меня! — стихийный материализм естествоиспытателя, вышеупомянутый фатализм и вещая песенка одной моей приятельницы:

Если девку повенчать,
Девка будет дамою,
Если девку не венчать —
Будет то же самое, —

убедили меня в том, что от судьбы не уйдешь. Поэтому я нахально решил познакомить публику с *dxdp* etc... и пришел в конференц-зал, вооруженный только двумя цитатами. И что ж? Истомленная докладами предыдущих товарищей (в первом я насчитал 53 цитаты, остальные два слушал с тупою покорностью) аудитория потребовала, чтобы мой специальный и 4-й по счету доклад был перенесен на заседание физ.-мат. секции. А физ.-мат. секция в свою очередь попросила меня не углубляться в борьбу, а рассказать именно про *dxdp*. Что я и буду делать 25-го. Вот.

Числа 16-го надеюсь быть в Москве. Возможно, что со мной прибудет 20 (двадцать) девиц, оканчивающих в этом году курс наук и потому посылаемых на каникулы в столицу (формально — для ознакомления с Политехническим музеем). Так что всем гидам-любителям имеет смысл встречать меня с цветами[6].

Вот только сейчас узнал о смерти М. М. [*Речь идет о смерти Максима Максимовича Литвинова*]. И как-то неожиданно сильно отуманило меня это известие, хотя само и не было неожиданным. Такая, брат, тоска... Покойник был одним из тех, кому мы верили и кого мы уважали в дни нашей юности, и силою обстоятельств эти наши юношеские чувства не прошли и не увяли. Для меня его имя — часть молодости, и, верно, в этом причина (грусть всегда эгоистична) нахлынувшего сейчас на меня.

И, конечно, ни к чему было мне писать это бестолковое письмо и думать о неудачных судьбах наших. Но ты поймешь и простишь[7].

Недавно мне попались басни Ивана Хемницера, и в них стихи, напоминающие мехматовцев былых времен:

А что у мух всегда вид пасмурный бывает,
И часто голова ногою подперта,
И бровь насуплена, тому причина та,
Что много мухи разумеют
И в глубину вещей стараются входить,
А не одни вершки учености схватить.

Может, и у вас такие есть? Стишку-то ведь почти 200 лет — что для него 10—15 лет разницы.

---

6 Из письма К. А. Туманову 23 декабря 1951 г.

7 Из письма К. А. Туманову 2 января 1952 г.

Черкни хоть несколько строк о своей ученой жизни. Потому как я вряд ли до лета выберусь в Европу[8].

Вот и кончилась методическая барщина: вчера была итоговая конференция по педпрактике с рассуждениями, обсуждениями и выставлением отметок. И я еще раз подивился твоей юной мудрости: очень это интересно и приятно работать в школе с детьми. Даже я – "опытный методист" – предпочитал наблюдать за классом, чем слушать своих третьекурсников. Скажем, заглянешь в тетрадь к соседке (я всегда садился к кому-нибудь за парту), а там написано: закон Джоуля-Ленского. И сразу все ясно... Но и ученицы относились ко мне с повышенным вниманием и восторгом, ибо на стене физического кабинета среди прочих, писанных местными художницами портретов висит и мой довольно похожий портрет с подписью "Изобретатель телеграфа Шиллинг" (Тут же висит портрет "Кеплера" – Сервантеса). Поэтому девочки прониклись ко мне доверием – какие могут быть тайны от покойника! – и сообщили всякие нехитрые свои секреты. Например, я узнал, что "немка" Фредерика Петровна зовется Придерихой Петровной! Здорово? Словом, времени даром я не терял.

Между тем в институте шло распределение 4-го курса. Лужи слез и море всевозможных бумаг. Одних брачных приказов (о смене фамилии) было около пятидесяти. Женихи из пехотного училища приходили даже на лекции и лихо щелкнув каблуками просили разрешения присутствовать. Начальство днем подписывало все и вся бумаги, а вечером сидело в качестве посаженных отцов на свадьбах – такова традиция (!) института, даже мне пришлось быть свадебным кандидатом. Кроме того, институт с небывалой помпой (3 вечера) отметил гоголевские дни. Среди прочих был доклад под названием "Гоголь – создатель русского литературного языка", после которого между докладчиком и любознательными студентами произошел забавный разговор, прозвучавший если не по форме, то по существу примерно так:

– Маменька, а в книжке написано, что это Пушкин создал...

– Ах да, это правда, это точно Пушкин; а есть другой современный русский язык, так тот уж Гоголя.

По всем по этим причинам начальству все не удавалось сочинить достойную меня характеристику, и только вчера я получил ее на руки. Теперь вместе с остальными бумагами переправляю моему другу и твоему коллеге Кике. Вообще же у меня открылся мощный организаторский талант. Суди сама. Случилось так, что 4 экземпляра диссертации оказались равномерно распределенными между 4 городами: Горьким, Рязанью, Тюменью и Ленинградом (Фок). И что ж? Сейчас нужные 3 уже лежат в шкафу у Кики Яглома. Каково?!

Остатнее от наук и дел время я делил, как всегда, между лыжами и историческими разысканиями. В частности, в "Сенатских ведомостях" я наткнулся на потрясающий по драматизму документ, относящийся к далекой предшественнице А. Н. Несмеянова. Вот его название:

"Дело о зарублании 28 октября 1788 г. на даче ее Сиятельства двора Е. И. Величества статс-дамы, Академии Наук Директора, Императорской Российской Академии Президента и Кавалера княгини Е. Р. Дашковой принадлежащих обер-шенку, сенатору, действительному Камергеру и Кавалеру А. А. Нарышкину голландских борова и свиньи".

А вот решение по этому делу:

"...выписав приличные узаконения, благопристойно объявить ее Сиятельству, дабы впредь в подобных случаях от управления собою изволили воздержаться".

Тарзаном увлекаются и у нас. Сейчас все с нетерпением ждут третьей серии, а группа преподавателей-химиков очень просили меня вспомнить читанный в раннем

[8] Из письма Н. М. Леонтович 25 февраля 1952 г.

детстве отрывок из романа "Сын Тарзана". А я не могу. Зато знакомого пса Терзая (когда он пристает к чужим, хозяин кричит: "Терзай!" – после чего пес и прохожий со страшными скоростями разбегаются в разные стороны – один к хозяину, другой в суд или милицию) теперь зовут Тарзаном и по этой причине закармливают костями и прочей собачьей радостью.

Письмо получилось длинным и, кажется, бестолковым. Но мне просто захотелось поболтать с тобой, как бывало, а это ведь трудно разговаривать монологом. Так что не обессудь и пиши. Обязательно![9]

Дорогой Сергей Михайлович!

На днях мой директор вылетает в Москву с намерением вручить Вам свою диссертацию (я видел только прелестные картинки) на предмет обещанного отзыва. Вот повод для нарушения молчания, вызванного в основном легким переутомлением и отсутствием достойных новостей. В этом семестре я дебютировал как методист – руководил педпрактикой 20 девиц и Ивана Шаламова в 21 школе. Это почти геркулесов подвиг (не соображу, какой именно), тем более, что всю практику я продолжал безо всяких скидок читать лекции в институте. Через это я даже впал в некую меланхолию, свидетельством которой служит сочиненный в то время цикл робайев, посвященный известным Вам Ягломам. Вот, например,

И если уж по прихоти Творца
Есть два однояйцовых близнеца –
Пей! Книга жизни кончится печально...
Не стоит мир и одного яйца!

Остальное время ходил на лыжах (февраль – апрель), принимал участие в юбилейных торжествах Гоголя и Леонардо (март – апрель) и гулял вброд по весенним тюменским улицам (апрель – май). Впрочем, последние дни у нас устойчивый снегопад ("люблю мятель в начале мая"), и даже коты перестали шкодить.

О моих внешних делах, идущих по синусоиде, Вам, верно, все известно. Сейчас Пединститут им. Ленина стал волынить – просит отложить подачу работы до сентября, а то может произойти преступление – диссертация пробудет в недрах Пединститута больше положенных 4 месяцев. Торкин обещал оказать всяческое содействие... Боюсь только, что дело кончится ничем.

Москвичи не балуют меня письмами, а известия из Горького, в совокупности своей образующие некую слегка бестолковую Габрилиаду, тревожат и огорчают. Очень обидно за Г. С. и за книгу, которую я недавно прочел с истинным наслаждением. [*Речь идет о дискуссии в Горьковском университете по книге Габриэля Семеновича Горелика "Колебания и волны". См. комментарии к воспоминаниям Л. М. Горбунова*].

Поэтому откопанная мною в 3 томах Вяземского жемчужина вызвала настолько заметный резонанс, что я бессовестно переписываю Вам все ее начало:

Я пережил и многое, и многих,
И многому изведал цену я;
Теперь влачусь в одних пределах строгих
Известного размера бытия.
Мой горизонт и сумрачен, и близок,
И с каждым днем все ближе и темней,
Усталых дум моих полет стал низок,
И мир души безлюдней и бедней.
Не заношусь вперед мечтою жадной,

[9] Из письма Н. М. Леонтович 2 апреля 1952 г.

Надежды глас замолк — и на пути,
Протоптанном действительностью хладной,
Уж новых мне следов не провести.

Конечно, это не Пушкин, но для водянистого Вяземского просто хорошо...[10]

Последние недели я что-то скис, ничего не делал и растравлял себя стишками вроде Языковских:

Мне свет, как дикая пустыня;
Я гибну жизни на заре,
Как на морозе в пустыре
Забытый огурец иль дыня.

Новое не придумывалось, старое не записывалось, а чтение изредка приходящих ЖЭТФ и ЖТФ почему-то не вдохновляло. Теперь же у меня снова острое чувство — как в университетские годы — интересности нашей науки; несмотря на тюменские 37°С в тени, мир кажется мне свежим и умытым, и я даже верю, что и сам выдумаю что-нибудь удивительное. И если в прошлом своем настроении я непременно бы отреагировал на Ваше письмо... высокой цитатой (есть грех!): *Ave Caesar, morituri...* etc... то сейчас...

Сегодня, плавая в мутной Туре, я пел на манер Еронимуса Амалии Курцгалопа:

За здравье феноменологии,
Мудрейшей из наук!
Хоть ей не верят многие,
Но, знать, их разум туг!
Виват феноменологии,
Ура науке сей!
До капли нашей кровию
Пожертвуем мы ей!

И при этом не обращал внимания на рифмы и купающихся мальчишек.

Воображаю, как вкусно будет читать где-нибудь в Отдыхе эти 10—12 листов! [*Речь идет о совместном проекте книги по статистической электродинамике*]. Получится цельная монография. Насколько я понимаю, и в авторском смысле это — монография, а не парнография (каковой являются, например, творения Ильфа и Петрова — из покойников, и Ландау и Лифшица — из ныне живущих)? Да, теперь у Вас золотые россыпи, и так тянет гнать собак через пол-Европы — успеть забить хоть маленький заявочный столбик... Словом, я очень рад, что на свете есть Общая Феноменологическая Статистическая Электродинамика (с удовольствием выписываю это название)[11].

Ревела буря, дождь шумел, во мраке молния блистала, когда я прибыл в Быково и оказался десятым Левиным за дежурство и третьим в нашем самолете. Потом при проверках нас называли: Левин-Омский, Левин-Новосибирский и Левин-Тюменский! Впрочем, откликались только два последних: Левин-Омский, поддерживая славу своего города, напился сразу в Быкове и вплоть до Тюмени вел себя (до самолета его вели бортмеханики) как предмет неодушевленный. Новосибирский же Левин удивил меня признанием — оказывается, до сих пор он ни разу не встречал однофамильцев, и вот такая радость (это он обо мне). Для поддержания разговора я любезно ответил, что хотя мне и приходилось встречать однофамильцев (последний — Инверсия, предпоследний — студент с оскорбительной двойной фамилией Левин-Пшонник), но только на земле, а в воздухе — он первый! Однако хватит об этом, а то получается целая диссертация про Левиных — предмет достойный, но для тебя, конечно, не слишком интересный.

[10] Из письма С. М. Рытову 15 мая 1952 г.
[11] Из письма С. М. Рытову, Тюмень, 28 мая 1952 г.

В полете – из-за дождя самолет был почтовый, и мы спали на газетах – меня снова посетило вдохновение (как жаль, что Пушкин никогда не летал!), и я, наконец, сочинил песню про 4 сванов...

Прибыв в Тюмень, я сразу попал в мощный переплет: пока мы гуляли по Кавказу, тут шла заочная сессия; сейчас, следовательно, половина преподавателей еще в отпуску, и вот я уже три недели читаю по 6 часов ежедневно. Все на свете и топор! Одной теор. механики по 12 часов в неделю. (Кстати, Леонардо говаривал: "Механика – рай для математиков". Судя по твоему письму, ваш курс думает иначе). А так как сейчас начало учебного года, то подряд идут разные Советы, заседания, совещания etc., на которых надо непременно присутствовать. Кроме того, я теперь член библиотечного совета. Между прочим, разбирая в этом качестве некий пыльный книжный завал, я нашел лондонскую газетку "Таймс" за 1852 г. и в ней среди объявлений патетическое родительское послание, кончающееся так:

"Если ты не желаешь вернуться к своему любящему отцу, то по крайней мере пришли с кем-нибудь ключ от сахарного ящика".

На фоне всех этих дел и делишек (у меня есть и другие высокие посты и звания, не упоминаемые лишь из скромности!) особенно приятной была воскресная поездка на Пыжму в обществе математических супругов и их младенца Веркиного возраста. Младенец этот всю дорогу испускал Тарзаньи крики, а на Пыжме ухитрился разом утопить очки обоих родителей, чем окончательно покорил мое сердце. Обратно же нас вез великолепный рыжий мерин Барбарис – гордость и украшение притюменского дома отдыха (К какому семейству принадлежит барбарис?). Когда мы подъезжали к этому дому отдыха, навстречу понеслись какие-то "страдания", исполняемые на баяне или аккордеоне, и вот тут-то... заросший до самых глаз бородой кучер дядя Костя вынул изо рта козью ножку, сплюнул и мрачно произнес:

– Опять Вагнер, задери его коза!

Сама понимаешь, насколько я был удивлен и потрясен собственным невежеством – принял Вагнера за "страдания", – переложением Вагнера для баяна, эрудицией дяди Кости и, главное, тем, что его отношение к Вагнеру совпадает с отношением ведущих музыкальных руководителей. Но все было куда проще. Оказалось, что тюменский архитектор Ал. Ал. Вагнер проводит в доме отдыха отпуск, со скуки выучился играть на аккордеоне и вот уже вторую неделю портит настроение дяде Косте и Барбарису, чья конюшня соседствует с его комнатой. Словом, сюжета не вышло...

Теперь это все позади: на дворе дождь и грязь, за город можно идти только в болотных сапогах – остается философствовать, читать книги или ездить на тракторе вдоль наших литературных улиц. Не работать же в воскресенье!

Пиши обязательно! Жизнь складывается из мелочей, и они не менее интересны (во всяком случае для меня), чем события крупного калибра. "Талант – это подробность", – писал еще Тургенев[12].

....Сам же продолжаю читать лекции (много) и книги (меньше). Был такой английский историк – Макколей, ухитрившийся написать про 40 лет английской истории (1660–1700) целых 6 томов. Вот их я сейчас и читаю. А недавно мне попалась книжка Т. Леонтьевой "Будущее принадлежит им" – про ремесленников, и, несмотря на название, очень понравилась. Спроси у вас в биб-ке. Стоит.

О диссертации ничего не знаю. Когда я уезжал, ситуация была такова. Мои душеприказчики – Ягломы – должны были подавать ее 1 окт., предварительно справившись у М. А. о результатах его переговоров. Пока от них ни слуху ни духу. Видимо, опять ничего не получается...

---

[12] Из письма Н. М. Леонтович 20 сентября 1952 г.

P.S. Тут внезапно произошла легкая побелка, и только сегодня конверт с письмом вынырнул на поверхность. За это время я говорил с Москвой. Слышимость была отвратительной, но все-таки я понял, что диссертацию опять не взяли. Вот такие дела...[13]

Сразу после праздников я отбыл в ученую командировку в Свердловск, а по возвращении меня уже ждало твое письмо. Казалось бы — "вот как все разумно устроено в этом мире!" (Г. Х. Андерсен), но увы — Тюмень встретила меня и другими абсолютно неразумными, какими-то мамино-сибиряковскими новостями. На праздниках наш директор мощно запил (он это умеет), совершил некое количество бесчинств и по совокупности грехов был снят с должности. Теперь тут легкий кавардак, борьба за власть, черный передел и прочие прелести. Боюсь, что сорвется моя январская поездка в Москву. Разве придумаю что-нибудь гениальное, и меня вызовет Академия Наук! Но гениальное выдумать не так-то просто, хотя я и стараюсь. Вот какая ситуация.

Известие о смерти Ал. Ал. дошло до меня только в Свердловске [*Речь идет о кончине в Горьком Александра Александровича Андронова.*] и как-то совсем выбило из колеи. Правда, за неделю до отъезда я получил Г.С.ово письмо о болезни Ал. Ал., но никак не мог поверить, что это конец... Что тут сказать? Горько и обидно...

Из-за всего этого мне не хотелось смотреть свердловские премьеры и посещать тамошние ассамблеи (еще в Тюмени была заранее разработана программа увеселений — мой сокомандировочник оказался туземцем), и я был только на двух концертах: Уральского Народного Хора (черемуха!) и симфонического оркестра, исполнявшего произведения композиторов стран народной демократии (в том числе — Ференца Листа). Остальные вечера провел в салоне гостиницы, читая невесть откуда взявшиеся древние книги и общаясь с соседом по номеру. Из древних книг я узнал, что среди присланных Ивану Грозному в подарок слонов один был необученный и не стал перед царем на колени. За что и был казнен по приказу Ивана...

Однако возвращаюсь в Тюмень, тем более, что сейчас она очень хороша: снег, солнце, по улицам носятся санки с колокольчиками и ходят дамы с коромыслами. Я же хожу в свободные часы (увы, их мало) на лыжах, изучаю старославянскую азбуку (самая главная буква называется — юс. Есть юс малый и юс большой). (Пусть об этом узнает Саша-философ!) [*Саша-философ — это А. М. Пятигорский.*], читаю воспоминания и записки трех Глинок (в том числе и композитора)...[14]

Пока у нас продолжается все та же неразбериха, и трудно сказать, как и на ком (в частности, на мне) отразятся все местные завороты. На нынешний момент определилось только одно — причем приятное — числа 15—17 января я поеду в Москву докладывать у прошлогоднего зятя свои новые результаты. В этом заинтересованы вожди всех кланов...

Облизывался, читая про органный вечер. У нас вместо этого был вечер ленинградского джаза, подыгрывавшего Зое Рождественской (одна из королев патефона) — все вместе приводило на память слова Томаса Мура: как часто аккомпанементы к ариям напоминают собою боевых слонов древности, иногда дававших те самые войска, к которым принадлежали. Зато хор северной песни потряс необыкновенной мощью и чистотой голосов! Пел ли он у вас?..

Наконец, заключительная (эффект под занавес!) новость: у меня теперь мастерские лыжи! Подробности при встрече!! А то все письмо получается состоящим из одних "я", "мой", "меня" и т. д.

Сегодня же через два часа мне предстоит принять участие в другом увеселении. Для сплочения преподавательского коллектива нашего института местком поручил одной из

[13] Из письма Н. М. Леонтович 28 октября 1952 г.

[14] Из письма Н. М. Леонтович 29 ноября 1952 г.

своих членов – Нине Варфоломеевне Клюшник – организовать совместную встречу Нового года. Что и будет, что-то будет... Продолжающееся бездиректорство породило наряду с междувидовой борьбой и внутривидовую (кажется, одну из них наука отрицает– тем хуже для науки!). Так что есть основания опасаться, что из-за высокой температуры страстей эта затея Варфоломеевской дочки может кончиться легкой Варфоломеевской ночкой. Однако надеюсь выжить. Тем более я не намерен там долго задерживаться: с часу до трех меня обещали катать на Барбарисе!..

Это письмо – последнее, написанное мною в уходящем году... Поздравляю тебя с Новым годом! 31 дек. 1952, 10 часов вечера. Будь счастлива!

...А это – первые слова, написанные мною в 1953 г. Только что простился с Барбарисом. Шпаги гугенотов и Лиги меня миновали. Следственно, мы увидимся.

1 янв. 1953 г. 3 ч. 20 мин[15].

В нашем купе не пьют, не вякают и даже не играют в преферанс. Но зато каждый час – а перед и после еды особливо – три моих спутника (две "цы" и один "ик") обмывают руки и обливают организм духами и одеколонами 3 систем. Так что нахожусь в абсолютно обалделом состоянии днем и в полуобморочном сне ночью. Инстинкт самосохранения гонит меня из купе, но по коридору: влево – идут в ..., вправо – ведут из... вагона-ресторана, кроме того, ходят казенные дамы с корзинками и кричат: апельсины, лимоны, двести грамм – по мозгам!

Однако я ухитряюсь читать Вонсовского вперемежку с Киплингом. Оказывается, второй писал куда лучше первого!

Провожали меня Кот (Туманян), Дог (Мейман), два Яглома и бутылка цинандали, из которой Кот лихо выбивал пробку прямо на перроне. Пили за мое счастье, то есть за тебя (интересно, что имели в виду остальные?). Потом не знали, что делать с бутылкой, но ее – слава богу – вдруг украли. Все смеялись, и всем было невесело. Так уж водится на моих проводах.

Ночью же снилось страшное: ты и я сидим рядом, надушенные каким-то адским составчиком, и боимся пошевелиться – при каждом шевелении поднимается мощная волна одеколонного духа. Проснулся: напротив сосед проснулся от головной боли и трет виски одеколончиком. Вот гад!

От всей этой одури письмо получилось абсолютно бестолковым. Но ведь дело не в этом. Правда?

P.S. Кроме того, в купе играет радио, и звуки свободно проникают в мой организм, отравленный (снаружи!?!) алкоголем. Лично мне сейчас кажется, что лучше употреблять о-де-колонь как внутреннее.

P.P.S. Сосед – муж кожевенной науки – сообщил мне, что

Московский "Скороход"
теперь уже не тот,
и вот уж третий год
совсем наоборот.

Так что остерегайся покупать "танкетки" этой марки. Он же принимает меня за студента, возвращающегося с практики. Я не препятствую[16].

Вот уже и кончается февраль... А там, глядишь, и марту конец. Далее, по индукции...

Эта неделя была продолжением двух первых запойных, следственно я читал кучу лекций по общей физике. Вдобавок, совет факультета поручил мне курс "Истории

[15] Из письма Н М Леонтович 31 декабря 1952 – 1 января 1953 гг.

[16] Из письма Н М. Леонтович, поезд Москва – Тюмень, 22 февраля 1953 г.

физики", но я ухитрился превратить его в семинар со студенческими докладами и моими вводными лекциями. Вот какой я умный!

Совещания продолжают иметь быть, в том числе и вчерашнее профсоюзное собрание с великолепной повесткой дня:

О пережитках капитализма в сознании людей,

Об огородах..,

причем разыгравшиеся при обсуждении второго вопроса мелкобуржуазные собственнические страсти служили наглядной агитацией к пункту первому. Лично меня на этом собрании постигло малое горе: кончились чернила в Иване Паркере (отсюда видно, сколько у нас было заседаний! – дома я пишу простой ручкой), а в Тюмени, оказывается, нет авточернил. Обещали привезти из Свердловска.

При такой жизни едва успеваю ходить на лыжах и заниматься наукой. Однако успеваю! В частности, вымучил из себя историческое введение к статье, на которое меня спровоцировал Рытов.

Мой отчет о поездке прошел вполне успешно, все были довольны новым вкладом в сокровищницу тюменской науки и "лишних" вопросов не задавали. Кстати, в отзывах Мих. Ал., даже на мой взгляд, не хватало запятых, и я – сознавая ответственность – добавил их сам!..

У моих ног лежит 4-ногий пережиток капитализма, о котором говорили на вчерашнем собрании. Это – Альба, белая институтская собака. В январе месяце она – по утверждению лаборанта кафедры химии – забежала в лабораторию и разбила литровую банку со спиртом. Что и рассказывалось в прениях по первому пункту.

Сейчас придет целая группа 1-курсников (только что ушел делегат), жаждущих узнать смысл интеграла. А потом я пойду спать. Завтра мы с Сашей с утра идем на лыжах. Ты тоже? Мне всякий раз, когда я иду лесом, чудится, что ты где-то рядом за поворотом[17].

Третьего же дня пришла потрясающая телеграмма: "Выезжаю Читу первого марта поезд восемь вагон три хочу встретиться = Жена". Внизу листка прилеплена корректорская наклейка: "Женя". Так что сегодня в одиннадцать вечера пойду смотреть Женьку Пастернака. Мы не виделись ведь почитай 2,5 года!

Вечером того же дня после лыж (мы с Сашкой заблудились в пересеченной местности, километров в 15 от Тюмени!) я попал на фест к знаменитому тюменскому математику – Петру Ивановичу Титову (Пит – старший, а его братец Павел – Пит младший), знаменитому тем, что он решает все задачи из журнала "Математика в школе", потрясающе играет на баяне и собирает старые книги (совсем древние) по математике и вообще. Он – приятель Карнацевича, каковой и затащил меня к нему. Хозяин (валенки, ковбойка, галстух бабочкой, маленькие очки – как у Грибоедова, только в светлой никелированной оправе) играл от Мендельсона до Прокофьева со всеми остановками, а я изучал под этот аккомпанемент книги с автографами князя Багратиона и графа Аракчеева. И вспоминал, как мы слушали гедиковскую игру[18].

В эти дни слова трудно ложатся на бумагу. Да и как писать о мелочах своей жизни? [*5 марта умер И. В. Сталин.*] Так что это письмо будет коротким – в следующем наверстаю[19].

---

17 Из письма Н. М. Леонтович 28 февраля 1953 г.

18 Из письма Н. М. Леонтович 3 марта 1953 г.

19 Из письма Н. М. Леонтович 7 марта 1953 г.

В этом семестре я читаю теор. физику и теор. механику на 3-м курсе и сам же веду упражнения по этим наукам. На 4-м же курсе читаю легкий спецкурс по магнетизму + известный тебе семинар по истории физики. В среднем набегает 18–20 часов в неделю. Но иногда приходится (и не слишком редко) подменять организм, отравленный алкоголем. А это морока, ибо перед каждой лекцией надо проверять опыты – это тебе не теор. физика.

Математических курсов сейчас у меня нет. Однако по-прежнему посещаю все их кафедры и семинары и даже кооптирован в оргкомитет математической олимпиады города Тюмени (и мы не лыком шиты!). Педпрактику я не веду, ее ведут Ирод и Организм, следовательно, иногда приходится бывать в школе. Но тут уж действительно "иногда". Интереса нету: студенты – выпускники учительского института – личности мне неведомые.

Расписание у нас непостоянное, и это очень хорошо, так как, во-первых, именно поэтому у меня чистая неделя 27–30 апр., а во-вторых, в предыдущей неделе мне все часы обещали устроить в первые дни! Но свободные дни бывают. Кроме того, иногда у меня лекции не с самого утра. Тогда перед институтом я успеваю по-настоящему работать.

Устаю же я не от лекций и не от работы, а от бестолковых и бесконечных собраний и заседаний. На одном из них мне пришлось выступать. Я сообщил аудитории, что уравнения классической и квантовой электродинамики инвариантны относительно лоренцевых преобразований и, следовательно, выражают собой объективный закон природы. Это конкретное сообщение, продолжавшееся 3 минуты, потрясло аудиторию (они поняли, что я сказал!), и поэтому я удостоился быть упомянутым в списке выступавших (они-то, сердешные, говорили минут по 20, точнее говоря, не говорили, а читали по тетрадкам) в областной прессе! О чем и сообщаю тебе с чеховской гордостью.

Теперь пойдут новости без пунктов. Первая – не новость: за суматохой тех дней я забыл отписать тебе про Женьку. Он проехал все такой же симпатичный и конопатый куда-то за Читу. И с ним ехала его жена (телеграф ошибся не зря!), которую я раньше не видел – Женька женился год тому назад. Она тоже симпатичная, ростом с Мих. Ал., зовут ее Таней, учится в МАИ на 4-м курсе. Она взяла 3-недельный отпуск и провожает Женьку туда-обратно. Оба уговаривали меня жениться и пили за это сухое московское вино! В общем уговорили. Теперь дело за тобой: ты все еще согласная или передумала? Потому, как объяснил Женька, тут важен глас народа. Впрочем, мы можем обойтись и без гласа. Правда?..

А вот в воскресенье было не +15, а –6 и свежий снег! С восторгом ходил на лыжах. Видел непонятные следы: кто-то из семейства четвероногих.

Пока у вас в Москве спорят об освоении традиций Маяковского, я тут в Тюмени открыл поэтессу, продолжающую его линию. На окошке газетного киоска появилась надпись: "Газет с таблицей нет. Закрыто на обед!"

Напротив же киоска сидит чистильщик сапог и сообщает клиентам, что он афганский подданный. Только в Афганистане капитализм и плохо – вот он и живет здесь; но с иностранцев меньше берут налогов – вот он и афганский ситизен. Как тебе это нравится?..[20]

Твое письмо пришло необыкновенно быстро и небось часа три дожидалось моего возвращения с заседания кафедры. А кафедра заседает у нас 4-й день подряд, так как нашему факультету вообще, и кафедре физики в частности, поручено устроить всеинститутский электротехнический вечер с демонстрациями и проч. Словом, не было у бабы хлопот... Вечера же бывают у нас всякие, но обязательно с танцами, а иногда и с кровопролитием.

[20] Из письма Н. М. Леонтович 15 марта 1953 г.

Кстати, о сражениях. На днях после обеда я забрел в кино и в *n*-раз (кажется, *n* = 3) видел "Путешествие будет опасным". Это довоенный голливудский фильм "Дилижанс", который у нас крутят уже 4–5 лет. Посмотри, если попадется: он сделан в благородной брет-гартовской манере (благородный разбойник, благородный пьяница, благородный шулер, благородная шлюха, великодушный шериф и т. д.), и очень хорошо подобраны типажи. Вообще же с зрелищами в этот сезон в Тюмени плохо. Сейчас, скажем, на всех тумбах афиша: "Вечер лирики. Анна Снегина. Последнее (автобиографическое) произведение Сергея Есенина. Исполнитель артист Александр Омский". А этому Омскому только Лебедева-Кумача читать.

У меня мощно дырявое расписание и эти дни в "окнах" я подбирал литературу для докладчиков на семинаре по истории физики. Тут попались мне воспоминания П. А. Каратыгина (того, который рисовал портретик с персидского принца в Вазир-Мухтаре). Там эта история рассказана (Тынянов переписал почти дословно), а вообще книга очень забавная и поучительная. Оказывается, в те времена (20-е годы) почти все первые певцы и певицы СПБ-оперы не понимали нот и их учили петь с голосу, как канареек. У драматических же актеров в училище были учителя танцев, пения, музыки, фехтования и т. д., не было только учителя драматического искусства. Командовал этими актерами отставной гвардейский полковник, который особым умом не отличался. Так, заметив, что старший капельдинер пьян, он стал его распекать: "Ну, боишься ли ты Бога? есть ли в тебе совесть? На масленице, когда у нас и утром и вечером спектакли, ты пьянехонек?! Не мог подождать. Ну вот, придет великий пост, и пей себе сколько хочешь, никто тебя не осудит!"

Чтобы окончательно тебя умилостивить, выпишу еще одну каратыгинскую историю. Знаменитая Катерина Семенова и Софья Самойлова уже в пожилых летах и объемистой полноте взяли в бенефис комедию И. А. Крылова "Урок дочкам". Крылов не поленился прийти посмотреть своих раздобревших дочек, а посмотрев, сказал: "Они обе, как опытные актрисы, сыграли очень хорошо; только название комедии следовало бы переменить: это был урок не дочкам, а бочкам!"

Вчера я был на дне рождения у Карнацевича. Там был и его зять (муж сестры), известный тюменский шахматист, с которым произошла следующая поучительная история. Его дочка 5-летняя Тоня страшно испугалась таракана. Тогда отец сунул таракана себе в рот (силён!) и обратно, дабы наглядно показать его безвредность. Спустя неделю городское начальство (высшее!) вдруг посещает Тонин детский сад и присутствует при трапезе. Зав. Гороно, заметив плохо едящую девочку, сообщил детям, что он в их годы ел и кашу, и хлеб с маслом, и суп, и котлеты. И тут вдруг Тонька заявляет: "Подумаешь! Мой папа ест и тараканов, и пауков, и мух, и все что угодно!"

– А кто твой папа?

– Николай Константинович Моношкин!

Теперь бедному зятю нет нигде проходу[21].

Как и полагается, жизнь складывается из неудач и удач. Основная неудача последних дней – приезд на производственную практику студентов (или курсантов) свердловской парикмахерской школы. К одному из них я и попал 3-го дня в лапы – мне просто везет на такие оказии! И хотя достригал меня сам мэтр, былая красота утрачена! И почему они не могут практиковаться у себя в Свердловске?

Кстати, о практикантах. Вчера мне рассказали, что выпускница учительского института на зачетном уроке в базовой школе, объясняя про то, что после каких-то букв надо писать не *ы*, а *и*, привела пример: не инж*ы*нер, а инж*и*нер. Вот как у нас теорию знают!

Все эти дни я пропадаю в институте: лаборатория + подготовка к электротехническому вечеру. Вчера утром ходил часа 2 на лыжах, к вечеру же стало таять...

[21] Из письма Н. М. Леонтович 21 марта 1953 г.

Еще я читал записки Вырубовой (фрейлины последней царицы) и среди поклонниц Распутина обнаружил полтавскую помещицу Веру Викторовну Леонтович. Что ты на это скажешь?

Кроме того, я мощно образовался в вопросах харакири, а из биографии Макколея узнал, что когда в 1840 г. он вошел в состав английского правительства, "Таймс" – тогда орган оппозиции – писал про новый кабинет: "Им не только не следовало бы быть министрами, но они едва ли способны занять вакантные места, открывшиеся вследствие достойной всякого сожаления кончины двух любимых обезьян ее величества". Каково? (хурко? – по-ненецки). Так обстоит дело с изящной словесностью[22].

Ну был денек! Сквозь дым летучий
Виднелся Я грознее тучи
На фоне двух щитов.
Мелькали перья, кисти, краски,
И несмотря на все опаски,
Наш фильм был в срок готов!

Началось с того, что в четверг на очередном Совете (где я писал для тебя очередного рака) слегка ругали Торкина за отсутствие работы на кафедре. Поэтому в пятницу днем состоялось чрезвычайное заседание этой кафедры. Обсуждался вопрос о предстоящем в субботу электротехническом вечере нашего факультета для гуманитарных студентов. В его программе 5 (пять) докладов и демонстрации применений электричества, так что естественно заговорили и о более легких увеселениях. Тут я неосторожно предложил устроить рисованный фильм о педпрактике. Все обрадовались и поручили это дело мне, придав в помощь Ирода, двух лучших художников факультета и штатного поэта 4-го курса. Остаток пятницы ушел на собирание материалов по факультетам – тут особенно отличился Ирод!

А вчера, то есть в субботу, после двух лекций моя команда забралась в магнитную лабораторию (два распределительных щита на стене) и началась работа! В углу поэт кропал вирши и басни. В красном углу под сенью упомянутых щитов я давал темы художникам, обсуждал композиции рисунков, консультировал в вопросах колера (я всегда был великим колористом!) и, наконец, придумывал тексты к этим рисункам. Художники – как им положено – прикуривали папиросу от папиросы (дым летучий), поэт слегка подвывал в своем углу, в передней Ирод отбивался от прототипов фильма и согласовывал материал с начальством. В такой творческой обстановке к 6 часам вечера были изготовлены 20 рисунков и началась звукозапись (новый, цветной, звуковой художественный фильм "Всякое бывает (на педпрактике)". Производство студии Физматфильм, Тюмень, 1953 – вот полный титул!). Набрали случайных певцов, актеров, диктора и стали записывать – тут уж не до репетиций: начало в 7.30 – текст с песнями, музыкой и диалогом на магнитофон. Кончили запись в 7.25. Пока шли доклады, прокрутили для себя один раз, остались довольны и уж было почили на лаврах, но... начальство потребовало, чтобы были упомянуты и положительные моменты педпрактики. Ссылки на особенности жанра не помогли, и пришлось сочинять предфильмовый текст – вроде тех, что предшествуют трофейным фильмам (скажем "Королевским пиратам").

В 10 начался сеанс! Успех небывалый!! Впервые в истории искусства на бис повторялись не ария, сцена или вокальный номер в концерте, а целая кинокартина!!! Может быть, мне имеет смысл бросить науку и заняться режиссерской деятельностью? Что ты на это скажешь? Я буду ходить в гольфах, шляпах, манишках, в галстухах несказанных расцветок. В зубах трубка. А тебе придется стать киноактрисой: уважаю-

[22] Из письма Н М Леонтович 25 марта 1953 г.

щий себя режиссер может снимать в главной роли только свою жену — такова традиция. Поэтому решающее слово принадлежит тебе. Взвесь все "за" и "против", посоветуйся с родителями (дело нешуточное!) и отпиши свое окончательное решение[23].

А в постели я теперь читаю *Martyrdom of Man* (красную книгу, которую я привез из Москвы). Удивительно умная книга! В частности, автор походя доказывает, что Магомет и Иисус были юродивыми (книга издана в Англии в 1872 г.) и что последний, кроме того, совершил предусмотренное законом уголовное преступление, за что и был наказан по заслугам. Прелестная книга. Приеду — расскажу...[24]

Это будет самое бестолковое из моих писем, потому что: Торкин ушел вдруг в отпуск (дописывать диссертацию), и на меня свалились лекции по физике (общей) на 2-м выпускном курсе учительского института — они кончают 1 мая, так что перенос невозможен. Но я кончу им читать не 1, а 18 апреля. Отсюда соответствующая плотность лекций. Читать им трудно: они знают дедекиндовы сечения, но путают производную с дифференциалом. Кроме того, многие просто не верят в то, что есть молекулы и атомы — "нам их никто не показывал".

В Тюмени вообще, а в нашем доме в частности, все время — очевидно, по случаю пасхи — что-то пекут и жарят. Следовательно, топят печь. Следовательно, жарко. Прямо хоть беги. Кстати, тут намечаются летом всякие переселения народов: институту дают три квартиры в новом доме и начнутся всякие транспозиции. Может быть, и мне переехать? Обсуди это в Москве?! Хорошо? Если будет комната с удобствами (водопровод, центр. отопление!) и без неудобств (комендантша!), то я, конечно, возьму. И даже попрошу!

Тюменские учителя физики потребовали через Гороно, чтобы им прочли легкий цикл из *n* лекций про современную физику. Начальство — кафедра физики — я. Я согласился опять-таки с условием, что все кончу 18-го. Вот и кончаю.

Вчера утром Кирилла забрали собачники. Днем состоялось чрезвычайное совещание жильцов нашего дома, выделившее специальную комиссию, в которую я тоже попал. Кирилл где-то посеял ошейник с бляхой, что существенно осложняло дело. Только сегодня привели мы бедного пса домой. Он скулил всю дорогу, а сейчас безвыходно сидит в передней и общается с моими калошами (сам я хожу в сапогах!).

Но среди двуногих тоже не все благополучно. Вчера 4-й математ. сдавали экзамен по диамату и из 22 возможных получили 9 троек и 3 двойки. Это в последнюю-то сессию! (1 мая у них начнутся госэкзамены). По этому поводу сегодня состоялся экстренный Совет факультета на 3,5 часа. Так как студенты утверждали, что их резали (в чем я не сомневаюсь), то Совет решил выделить на следующий экзамен по этой науке (4-е физики) представителей кафедр. От кафедры физики — меня. Экзамен будет 16-го, а завтра я сам экзаменую этот 4-й физ. курс.

Вот причины — довольно толково изложенные — обязательной бестолковости письма. Дело в том, что из-за всевозможных скользящих и переменных расписаний я никогда не знаю (или не помню), что именно будет через 2 часа.

А потом мне попалась в руки книжка стишков Грибачева, и в ней весьма лестное для Эльбруса сравнение:

Как над Москвой дворец высотный,
Эльбрус сияет вдалеке[25].

---

23 Из письма Н. М. Леонтович 29 марта 1953 г.

24 Из письма Н. М. Леонтович 3 апреля 1953 г.

25 Из письма Н. М. Леонтович 8 апреля 1953 г.

Сегодня после лекций имел место совершенно необыкновенный разговор. Я юстировал в лаборатории спектрограф. Вдруг входит секретарь комс. бюро института Коренева (3-я физ., следовательно, моя студентка) и:

– М. Л., мне нужно поговорить с Вами по одному весьма щекотливому вопросу.

– Пожалуйста.

– М. Л., нам, т. е. членам бюро, кажется что И. З. (Ирод – он секретарь преподават. комс. группы) неравнодушен к Жене Лобановой (член бюро – 3 физ.). Он теперь регулярно ходит на бюро, а потом как бы случайно провожает Женю. И нам – членам бюро – кажется, что и Жене это приятно и что он ей тоже нравится.

– ??!?? (Это у меня на морде.)

– Я пришла к Вам, М. Л., потому что И. З. Вас слушается. Он сам говорил, что кафедра поручила Вам шефствовать над ним.

– Так в чем он должен меня послушаться?

– Этого мы сами не знаем. И вообще: хорошо ли все это или плохо. Как Вы думаете?

– Я думаю, что хуже всего бюро вмешиваться в это дело.

Потом она еще минут 5 жевала мочалу. Каковы нравы и морали? Мне под конец надоело, и я пошел обедать.

...Зато я был вознагражден обществом: со мной за столиком, кроме злодея-Ирода, сидел институтский биолог – специалист по рыбам – и рассказывал кучу интересных вещей. Я жалел, что Мих. Ал. не может слушать – ему бы тоже понравилось. Изя очень удивился, узнав что мы произошли от рыб.

Твои сомнения напрасны. Фотогеничную жену снять – вещь немудреная. Мерой весомости и значимости режиссера является именно нефотогеничность жены, снимаемой в первых ролях. И потом – с чего ты взяла, что ты нефотогенична. Ты, скорее, непроявляема и непечатна – если судить по брату Сашке. Что же касается сестры жены, то ее я, конечно, тоже буду снимать. Это входит в традицию. Туда же входят и вообще все родственники и домочадцы, желающие быть кинозвездами. От лорда Касльвуда до Марфеи [*Марфа – няня Наташи, фактически член семьи Леонтовичей*]. Можешь их порадовать[26].

Я нарисовал по памяти цветными карандашами твой портрет (в профиль) и повесил рядом с Веркиным львом. Получилось настолько здорово, что пришедший сегодня утром Изя (у него не получалась задачка) и только что бывший в гостях Дон Пабло Дон Жуанович Рощевский (второэтажный историк, написавший целую монографию о забытом тобольском художнике) решили, что оба портрета принадлежат одному и тому же мастеру! Хурко! (Каково!) Правда, они оба подумали, что на втором портрете Верка изобразила Мао-Дзе-Дуна, но это, я думаю, по причине одинаковой длины волос у него и у тебя.

Рисовал я этот портрет вчера, во время предварительного заседания ГЭКа (Гос. Экз. Комиссии!), членом коей я имею честь быть. Оно состояло в показывании толстого синего тома с пронумерованными страницами (для записи протоколов) и в чтении инструкций и указаний министерства. Вся эта петрушка длилась около часу, и за это время я успел: нарисовать упомянутый портрет, сочинить прилагаемые стансы, составить зачетные задачи по механике – при этом постигая не только дух, но и букву читаемых документов. Такой мощности не было даже у Пушкина в Болдинскую осень!..[27]

Сейчас я нахожусь в магнитном кабинете, одной рукой пишу тебе письмо, а другой отбиваю аккомпанемент к арии:

---

[26] Из письма Н. М. Леонтович 11 апреля 1953 г.

[27] Из письма Н. М. Леонтович 9 мая 1953 г.

Вот я сижу в стенах Пединститута,
И близится минута,
Когда наступит час...
Час кой-каких заумных выступлений
И вымученных прений...
Да минует он нас!

Это надо петь на мотив Вердиевской арии Филиппа ("Вот я стою под сводом Эскуриала").

Означает же все это то, что через малое *dt* начнется 4-е заседание конференции, о первом заседании коей у тебя имеется газетное сообщение. Там я попытаюсь записать для тебя рака. Заседание заключительное, следственно, будет посторонний народ — всякие там щелкоперы. Так что надо будет выдерживать ученый вид, и поэтому за рака я не вполне уверен.

Вчера был день примечательных событий. После хождения по лесу я оказался среди судей(!) "первой традиционной" (так было напечатано на всех афишах!) эстафеты на приз газеты "Тюменский Комсомолец". На 5-м этапе за первую команду Пединститута бежал второразрядный (и в спортивном, и в научном отношении) диаматчик института Г. А. (Жора) Образцов. Забыв про единую дисциплину, он ушел разминаться в соседний переулок. И вдруг прибегает обошедшая всех Колмакова (2 физ.!). Жоры нет. Слезы. Только через две минуты появился Жора, и в результате мы упустили верное первое место. Каково? Лишь преподавательская неприкосновенность спасла Жору от заслуженных побоев.

С горя я зашел в книжный магазин и увидел — вдруг! — на полке Сонеты Шекспира. Купил[28].

Откуда усталость? А это мы все заседаем. Я, кажется, писал тебе, что собираюсь на этой неделе работать. Не тут-то было! Кафедра всех наук, кроме нашей конференции, учинила еще студенческую (это в самую горячую пору зачетов!) на три заседания: вчера, сегодня и завтра, и "пригласила" на нее под расписку всех преподавателей.

Вчера пришлось до 11 слушать, как бедные студенты читали из тетрадок, а их консультанты ухмылялись самодовольно в президиуме. Весело было только один раз: докладчица замешкалась и сказала консультанту: "Тут неразборчиво!" А так была такая скука, что я вместо Рака записал для тебя Тунгузский вариант сказки про двух гусей. Он как-то больше соответствовал обстановке.

А Торкин отбыл до 15-го в район делать доклады на научные темы. Его видели пьяного на вокзале, где он вел себя — правда, по другим причинам — почти как А. А. Каренина.

Вот тебе светская хроника города Тюмени.

Сам же я — несмотря на легкую обалделость — остался все тем же[29].

Сегодня ты останешься без рака. Да-с. Потому что я пишу про раков только на заседаниях, а вчера заседание студенческой конференции сорвалось. *Why?* У нас началась встреча городов Уральской зоны по легкой атлетике! И все (в том числе и я) ушли вчера на стадион. Надо сказать, что кафедра всех наук приложила все усилия. Были даже оптические эффекты. Внизу около входа стоит большое трюмо, возле которого всегда толпятся девчонки. Так вот на этом зеркале написали белой масляной краской "Сегодня ровно в 6 часов заседание конференции". И все равно, кроме консультантов,

[28] Из письма Н. М. Леонтович 11 мая 1953 г.

[29] Из письма Н. М. Леонтович 13 мая 1953 г.

никого не было. Вот почему нету и раков. Но ты не огорчайся — впереди еще достаточно заседаний.

На стадионе же было мощное веселье. Неорганизованная публика сперва заполнила всю внутренность, и великолепная наша милиция выдворяла всех наружу. А так как "наружа" отделялась от "внутри" барьерчиком, то менты просто кричали "барьер!", после чего следовал прыжок.

Похвастаться? В то время как обыкновенные смертные брали барьер, я общался в качестве "известного тюменского судьи-общественника" с судейской коллегией матча, после чего смотрел соревнования изнутри. Во! Ты, конечно, не поверишь такой чести, выпавшей на мою долю. Но это так! Все могут подтвердить, что среди белых судейских штанов серели мои брюки.

Сегодня же два раза шел мощный дождь, а в перерыве по главной улице шла поливальная машина — гордость и нежность тюменцев — и пускала струю в зеленые насаждения. Их высадили всюду. Прямо против моего окна прелестная юная березка. Каждое утро я выливаю под нее целое ведро воды. Через это она зеленая.

Сейчас у нас произойдет некое подобие кафедры — приехал Торкин (никто его не видел еще), вот мы сидим в институте и ждем его. Но тут будет не до раков! В частности, речь будет идти и о моей диссертации — так он сказал по телефону Изе[30].

Вчера происходило экстренное совещание физмата, и естественно на тему "Основные законы биологии". Оказывается, это совещание давно назревало в недрах деканата и только для меня было неожиданным. Заседали мы в аудитории ботаники, так что я смог устроиться за каким-то фикусом (название — условно) и накатать для тебя длинного-предлинного рака. Кажется, это последний рак! *Ales!!* Потом я слушал мощный доклад о применении мичуринских методов в молочном животноводстве[31].

Вот уже второй день я принимаю зачеты: вчера за Ирода, сегодня — свои. Только что дал задачки по механике, а сам сел писать тебе. При этом образе жизни новостей, конечно, мало. Главное вот что: свой последний экзамен я разными происками перенес с 27-го на 22-е. Так что если я отмотаюсь от заочников и последних экзаменов ГЭКа, то 23—24 смогу вылететь.

А на последнем совещании я читал Киплинга. И прочел такой стишок про рыбку:

Little Blind Fish, thou art marvellous wise!
Little Blind Fish? who put out thy eyes?
Open thy ears while I whisper my wish:
Bring me a lover, thou little Blind Fish!

Так как все мои раки кончились, а на безракьи и рыба рак — посылаю тебе кустарный перевод этого стишка, сделанный на том же совещании:

Рыбка слепая, ты мудрее всех нас!
Рыбка слепая, кто лишил тебя глаз?
Открой свои уши для просьбы моей:
Принеси мне дружка из-за синих морей!

Сойдет?..

Так как сегодня четверг и у тебя зачет по анализу, то я буду сейчас либеральничать. Помогло? Видишь, я для тебя способен даже нарушить обязательные инструкции министерства!

Кстати, знаешь ли ты историю про поэта Олина и цензора Красовского? Во времена Пушкина поэт Олин сочинил стишок "К Элизе". Он попал к Красовскому. Против слов

30 Из письма Н. М. Леонтович 15 мая 1953 г.
31 Из письма Н. М. Леонтович 19 мая 1953 г.

...Один твой нежный взгляд
Дороже для меня вниманья всей вселенной...

цензор написал:

"Сильно сказано; к тому же во вселенной есть и цари и законные власти, вниманием которых дорожить должно".

А против:

...О, как бы я желал пустынных стран в тиши
Безвестный близь тебя к блаженству приучаться,—

"автор не хочет продолжить своей службы государю для того только, чтобы всегда быть со своею любовницею; сверх того к блаженству надлежит приучаться близь Евангелия, а не близь женщины".

Учти, однако, что мое Евангелие находится в твоей комнате (вот как все разумно устроено в этом мире!), и поэтому, кроме как близ тебя (во времена Пушкина писали "близь"), мне просто негде приучаться к блаженству. Даже в смысле Красовского![32]

...И когда наступил 68-й Ученый Совет и члены президиума заняли свои места, М.Л. вырвал из тетради лист бумаги и написал так:

Свет мой, Наташенька!

Сейчас действительно имеет быть внеочередной Совет, посвященный предстоящему празднику песни. Как сказал поэт (в данном случае я):

Ты хоть лопни, ты хоть тресни,
А иди на праздник песни,

который состоится 14-го июня. Горком принял специальное решение: наш институт должен выставить 500 глоток. Факультетские спевки каждый день, институтские — через день, общегородские — по воскресеньям на стадионе. Освобождены только школы. Экзамены же в институте и техникумах признаны делом второстепенным по сравнению с выполнением этого исторического решения горкома. Вчера первый раз в 1953 г. секретарь комс. комитета отчитывался в горкоме ВЛКСМ. Его спрашивали только о празднике песни. О сессии ни слова! Здорово?! Всем преподавателям вменено в обязанность быть на общегородских спевках. Кроме того, мы должны разъяснять студентам, что ежедневное пение благотворно повлияет на усвоение экзаменационного материала. Как только что выразился представитель горкома: "Оно выработает чувство локтя, столь необходимое на экзамене".

Словом, предстоит мощная потеха. Завтра в 11 на стадионе первая общегородская спевка.

Последнее сообщение!! Мой сосед — пожилой (55 лет) филолог Борисевич послал записку: "Должны ли преподаватели петь сами?"

Ответ: "Могут не петь, но рекомендуется раскрывать рот!"

Вообрази: сплоченной группой стоят преподаватели и молча открывают и закрывают рты! А может, и у вас такое? Отпиши. Письмо — я понимаю — очень бестолковое, но ведь это первый Совет, на котором я все слушаю!

Вот сейчас выступал от студентов председатель профкома, говорил что у них вынесено на сессию 4 годовых и один семестровый, а перед ними 5 зачетов, просил ослобонить их курс. На это ему было сказано, что решение партийных органов закон для комсомольцев, что в войну молодогвардейцы отдали жизнь, а тут речь идет о таком приятном занятии.

Самое забавное то, что неделю тому назад было обнародовано специальное решение Совета о сессии, в котором категорически запрещалось загружать студентов какими-либо общественными поручениями. И решение это прорабатывали во всех группах.

А студентов очень жаль. Весь семестр они конспектировали, а теперь вот будут петь...

[32] Из письма Н. М. Леонтович 21 мая 1953 г.

P.S. Дополнительный вопрос в повестку дня Совета, вынесенный деканом истфака. В их здании испортилась канализация и студенты вывесили лозунг-плакат:

Нет цивилизации
Без канализации.

Совет осудил эту поэзию. Как идеологически невыдержанную! Комитету ВЛКСМ поручено разъяснить решение Совета массам!![33]

Вчера полдня лил дождь, и поэтому — к моему величайшему сожалению — спевка не состоялась. До обеда я сидел дома, читал "Дипломата" Олдриджа. Книга слабая, но поучительная. Еще я читал "Быстроногого Оленя" сочинения Шпундика и "Молодую Россию" (наоборот, "Россию Молодую") Германа — роман про Петра 1-го на 900 стр.

Сегодня началась последняя неделя лекций. Через 6 дней я — вольный казак и могу почти каждый день (кроме экзаменов) до обеда работать! Пока же я делаю это урывками. Вот, например, сегодня утром я два часа брал какой-то гнусный интеграл, на лекции сообразил, сейчас буду добирать. (Нынче нет совещаний и заседаний!)

Между лекциями было окно, и я пошел в биб-ку смотреть новые журналы. Заодно полистал том Рылеева. И обнаружил, что его жену звали Наталией Михайловной. Вот как он писал о ней своей матери, когда сватался:

"... милая Наталия, воспитанная в доме своих родителей, под собственным их присмотром, и не видавшая никогда большого света, имеет только тот порок, что не говорит по-французски". Ну, прямо про тебя!

Сегодня в деканат пришли приказы Облоно и там есть такой пункт:

"Выпускнице историко-филологического факультета Журавлевой А. Н., как вышедшей замуж задним числом, в просьбе о назначении на работу в город Тюмень отказать". Здорово сказано? Оказывается, она через месяц после распределения принесла бумажку о выходе замуж до этого распределения. Мне нравится сама формулировка: выйти замуж задним числом.

Кстати, сейчас в деканате составлялись характеристики на выпускников. Почти у всех стоит: незамужняя (о семейном положении), а у 5—6 — девица. Это наш декан — человек старомодный — так написал по старой привычке. В связи с этим студентки устроили внутреннюю дискуссию о различии этих понятий, кончившуюся слезами и обидами. Мирить их пришлось тому же декану[34].

К нам приехал ревизор! Как ревизор? Так ревизор, даже ревизоры, все из Москвы и все с чрезвычайными предписаниями! И ведут себя в точности, как Иван Александрович: сидят в гостинице, да ходят на рынок насчет съестного. В институте еще не были. Однако начальство волнуется, переживает и проявляет деятельность: в общежитиях сменили постельное белье, и. о. и. о. директора затребовал меню институтской столовой (положено кормить габер-супом!), произведены нужные транспозиции портретов в зале.

Со мною, как с регулярно обедающим в "Сибири", конфиденциально беседовали на эту щекотливую тему. Дескать, не замечал ли я высоких гостей или, может даже, часом общался с ними за бутылкой-толстобрюшкой? Увы, мне нечем было порадовать начальство!

Словом, ситуация гоголевская. По этой причине отложены все текущие дела. В частности, вопрос об отпусках. Оно и лучше. Чем позже захотят менять (если захотят) мой срок — июль-август — тем больше у меня резонов вставать на дыбы...

6-го у меня тоже первый экзамен — теор. мех. у физиков. Так что им повезло. 6-го день рождения Жени Лобановой (она сообщила Изе!), и он просил меня ради него не слишком терзать "члена комитета ВЛКСМ". Гнусный лицемер!

---

[33] Из письма Н. М. Леонтович 23 мая 1953 г.

[34] Из письма Н. М. Леонтович 25 мая 1953 г.

А вообще экзамены приносят кучу огорчений. Третьего дня просыпался по геометрии в вечерней школе наш морячок Саша ("слегка пьян, чисто выбрит и беспощаден с женщинами"). На этот раз женщина была беспощадна с ним. Сегодня же он сбежал с контрольной по алгебре ко мне домой, и я довольно быстро и успешно смог решить все задачи для 8-го класса! Даже сам удивился. Так что по алгебре письменной у Саши верная пятерка, а я — мерзавец, конечно — абсолютно не мучаюсь совестью. Тем более, что знают об этом только трое: я, Саша (могила!), и ты (болтушка, но до Москвы далеко).

В институте же начались ГОСы. Сегодня был первый по ОМЛ у естественников — я отпросился.

Но главная рубка идет на татарском отделении. Приехали два ученых молодых татарина из Казани. Их поселили в физической препараторской, где они — к ужасу лаборантов — целыми днями крутят электростат. машины и пускают искры. На этой почве я вчера с ними и познакомился. Даже поговорил о Гамлете (оба — филологи). Сегодня же ко мне в коридоре подскочили два синеголовых абрека, в которых я с трудом признал вчерашних знакомцев. Они выбрили головы. "Понимаешь, много думать надо. Бритой головой легче!" Может, и мне последовать их примеру? Жду от тебя руководящих указаний.

У Торкина сегодня начался легкий запой. Поэтому мне завтра придется вместо него читать лекцию по астрономии про теорию Шмидта и работы Н. Н. Парийского.

Помяни меня в своих святых молитвах. (Посмотри, как это по-татарски)[35].

А последний ГЭК — это вот что такое. Оказывается, членов ГЭКа утверждает Москва, куда были посланы характеристики, составленные деканом. Так вот, вчера пришел из Москвы утвержденный список ГЭКа, и меня там нет. С одной стороны, это хорошо — одним барьером перед отъездом 24-го меньше. С другой, не очень — аналогично Москва может вести себя и в других, более важных случаях. Дело в том, что наш декан вписывает в х-ку всю автобиографию (Изе он вписал даже № школы!), взятую из старого личного дела. Ну, да ладно...

Теперь буду отвечать по порядку.

Твой вопрос о шпингалете лишний раз демонстрирует твое деревенское воспитание. Да будет тебе известно, что в городах РСФСР молодые люди в возрасте 7—11 лет именуются шпингалетами (по-видимому, из-за вертлявости и тех и тех), а в возрасте 10—14 лет шкетами (понятия перекрываются). Эти названия общерусские. Кроме того, существуют, конечно, и локальные термины. Например, в Горьком говорят: лощ = 1/2(шкет+шпингалет). И чему вас учат в Университете?..

На насмешки о судействе не отвечаю. Я выше этого! Знай, что только вчера я судил две встречи по пинг-понгу и одну волейбольную игру!! Просто ты завидуешь!!! Что же касается мест, то наша 2-я команда заняла 4-е место, а 1-я — предпоследнее. Как видишь, я объективен!

Да, пришло письмо из Тавды от Ирода. Он ведет себя точно так же, как его библейский тезка. Комиссия хотела натянуть 4 выпускникам "тройки", но он настоял на двойках (представитель Облоно!). Каков сукин сын? Напишу ему, чтобы он перестал безобразничать. Экой кровопийца.

Кстати, вчера же я вдруг — сам не понимаю почему — купил халву с витамином. Оказалось, что есть витаминно-кондитерская фабрика "Марат". Бедный Жан-Поль! После крови аристократов довольствоваться какими-то витаминами! А может быть, есть сосисочная фабрика "Сен-Жюст"? Было бы недурно.

Перечел письмо и ужаснулся его скучности. Но ведь письмо может быть и не веселым. Правда...

---

[35] Из письма Н. М. Леонтович 27 мая 1953 г.

P.S. Смотрел только что у "Ушакова". Там нет "шпингалета". Впрочем, чего ждать от словаря, изданного Академией Наук !?![36]

Третьего дня из купания ничего не вышло: пошел мощный дождь и вообще вдруг стало холодно. Поэтому я вместо Туры попал в библиотеку, где вместе с Ватсоном ("Бесселевы функции" — видишь, я уже тружусь!) взял с полки семизначные таблицы логарифмов барона Георга Веги, изданные еще при его жизни (меня заинтересовал переплет). Оказалось, что и логарифмы могут быть источником вдохновения: со свойственной мне легкостью (чего скромничать?) я вдруг сочинил стишок в благородной манере Козьмы Пруткова. Выписываю его на отдельном листке: мне кажется, что это единственное мое произведение, которое, может быть, имеет шанс понравиться М. А. Сочинив стишок, я заинтересовался настоящей биографией Веги. После неких поисков и справок (бедный Ватсон!) выяснилось, что титул барона Вега получил за свою научную и инженерскую деятельность (он был военным инженером и артиллеристом). Папа же его был простой русинский крестьянин, а само слово "Вега" по-русински значит "дырка". Правда интересно? Чтобы покончить с Вегами сообщаю, что в нашем театре скоро пойдет "Хитроумная возлюбленная" Лопа де Веги. А чтобы и баронам не было обидно, добавляю: Непер тоже был барон — барон Маристон. И почему этих баронов так тянуло на логарифмы? Жаль, что Горький не знал про эту роковую особенность бароньего звания — мог бы обыграть в "На дне".

Пойдем дальше. Дождь кончился, и я — отобедав — отправился было домой. Но не тут-то было. Меня поймали 4-курсники и повели фотографироваться. На этот раз "овалом" в отличие от давешнего "навала". Снялся. Вышел. Вдруг погоня — возвращают назад. Оказывается, фотограф из-за ковбойки принял меня за студента и снял не тем форматом (потом все "овалы" монтируются на большом листе). Пересняли. Интересно, что получится? Помнишь стишок: "Я не эллипс, не окружность — просто так, простой овал — я бы сам свою наружность благородной не назвал"?

Наконец, пришел домой (со справочником Ватсона в портфеле!). А там письмо от Флоры с описанием кандидатской защиты Ольги Грабарь, имевшей быть 19 мая. Чинная академическая обстановка была прелестным фоном для супруга с сослуживцами, пришедшими прямо из питейного заведения. Бедная Ольга!

А дальше Флора пишет: "Кстати, абрамцевские аборигены тебя уже оженили — я не хотела поверить в такое вероломство с твоей стороны — что ты ничего не сказал". Мне кажется, что источники этой информации — Верка и Маша. А ты как думаешь? Не случайно Верка отдала мне горбушку.

Перед сном читал воспоминания Блоковой тетки и вычитал, что по русскому обычаю мать невесты не должна присутствовать в церкви во время венчания. А вдруг Марфея [*няня Наташи*] потребует, чтобы мы приняли закон (не зря же тебя крестили!). Как тогда быть? Я просто не представляю венчания без Т. П.

Читая книги, я посматривал на твой портрет (моей работы) и размышлял о твоей просьбе. Видишь ли, если я привезу портрет в Москву, то ты его, конечно, замотаешь. А у меня в комнате не так уж много произведений искусства, чтобы я мог примириться с такой утратой. Даже ради тебя. Поэтому я решил так: портрета я не привезу, но закажу с него копию в ТХО, каковую тебе и подарю. Ладно?..[37]

Отпиши подробно о горьковской поездке. Как ехали? Что видели? Не встречала ли там моих мальчишек (Андрея и Мишку)? Что *m-me A. Gorelik* (дофинесса)? Словом, тут хватит на два письма...

---

[36] Из письма Н. М. Леонтович 29 мая 1953 г.

[37] Из письма Н. М Леонтович 1 июня 1953 г.

Главная новость в Тюмени: нам назначили нового директора. Фамилия — Дунаев, специальность — политэконом, профессия — сперва партработник, потом директор Учит. института в Златоусте. Он уже приезжал, оказывается, сюда инкогнитой (помнишь: инкогнида — враг народа, действует за сценой), представлялся высшему начальству (в и-те не был!) и, получив одобрение, отбыл восвояси. В июне-июле он должен защитить кандидат. диссертацию, после чего в конце июля примет бразды правления. Весь институт только об этом и говорит. Уже ходят легенды: одни говорят, что он страстный охотник, другие, что он, напротив, кабинетный житель и развлекается только преферансом, третьи, что он любит красивых секретарш! Словом, полный букет. Так как я не принадлежу к числу красивых секретарш, равно как и не охочусь, и не играю в карты, то в любом случае мне не приходится рассчитывать на любовь нового начальника.

Одно хорошо: старый политэконом (тот самый, с коровой, эксплуататор студентов) уходит. А так как он был редкая сволочь, то суммарный эффект будет, возможно, положительным. Кроме того, продолжаю надеяться, что моей жизни в Тюмени остался один год. Надо ли говорить, что по причине назначения нового начальника у Торкина был внеочередной запой.

Вчера ревизоры дошли до нашей кафедры (тебе не скучно читать провинциальную прозу?). Узрев из ведомостей и расписаний, что я читал математ. курс, ревизор спросил: "Значит Вы и математику знаете?" И получив утвердительный ответ: "И высшую тоже?". (Сам ревизор по профессии педагог-психолог). После чего он завел со мною интеллигентный разговор про Понтрягина. Я со страшной силой сохранял серьезную мину. Потом Саша Овсянников (моряк) показывал ему пылесос в действии (эта гениальная идея полностью принадлежит мне: я вспомнил, как в Горьком все начальство — при осмотре лабораторий — сильнее всего реагировало на пылесос), а потом под нашим руководством ревизор пускал монетку между башмаками электромагнита и потрясался медленностью и плавностью ее падения. При этом присутствовали все институтские чины и тоже ахали. Так что я вчера изрядно повеселился. Под конец Саша галантно предложил графин с ледяной водой и замороженный нарзан из холодильника, чем и кончился первый визит ревизора на нашу кафедру.

Вчера же мне в руки попался журнал "Театр". Странно было читать: "Февраль 1952 г. В Бетховенском зале Большого театра идет отчетно-выборное партийное собрание". Или: "члены нового партбюро: Нэлепп, Лемешев, Давыдова, Кондрашин и др..." Театральные психопатки дежурят у подъезда, а их Лоэнгрина песочат за неуплату членских взносов... Вот тебе и Собинов!..[38]

У нас произошло очень печальное событие: погиб биолог Ягодников — тот самый, который рассказывал нам про рыб. Он гнал на мотоцикле в 8 утра в деревню Падерино (там биопрактика). На главной тюменской улице ему навстречу шел автобус, из-за которого вдруг вынырнул "москвич". Мотоцикл врезался в автобус, и через 2 часа Ягодников скончался. Такая нелепая смерть. Вчера мы его хоронили. Даже у гроба начальство пороло какую-то казенную чушь, но от студентов — студенты любили покойника — выступали не по бумажке, а от души. Из-за похорон перенесли консультацию, и я еле управился к 9 часам (нашего времени).

Сейчас идет экзамен по теор. механике. Они готовятся, а я в красной ковбойке (чем экзаменатор хуже палача) сижу насупротив и пишу тебе письмо... За дверью переживают остальные студенты и, кроме них, Борис Иваныч Фоминых. Это только что окончивший наш институт филолог — поклонник Жени Лобановой. Другой поклонник — Ирод — сидит в своей Тавде и, по моей оценке, имеет мало шансов на успех. Сама Женя в полном параде (кроме всего прочего, сегодня ее день рождения!) слева от меня выписывает на доске канонические уравнения Гамильтона.

[38] Из письма Н. М. Леонтович 4 июня 1953 г.

Рядом идет экзамен по химии. Сейчас ко мне заходил декан и рассказал, что он только что был у химиков (у нас декан общий). В момент его появления раздался крик: "Руки на стол!" – это экзаменатор заподозрил шпаргалку. К сожалению, декан только от меня узнал про "доп-доп", а то бы он дополнительно повеселился...

Тут начался сплошной экзамен, и стало не до писания! Продолжаю на Ученом Совете, который имеет быть уже вечером (экзамен кончился в 4 дня), соответственно авторучкой. Обсуждается вопрос о работе наших бывших выпускников. Тоска. По дороге на Совет я захватил в библиотеке несколько томиков стишков и вот обнаружил у однофамильца Сашкиного фаворита – ленинградского поэта Александра Прокофьева – куплет про рыбку, абсолютно затыкающий за пояс нас с Киплингом:

Минуй ряды улыбок,
Оторви глазища от афиш –
Между всяких утлых рыбок
Плавает особенная фиш.

Правда здорово?..

Сейчас выступал я. О том, что студенты на всех курсах должны решать элементарные задачи. И т. д. и т. п. Дело в том, что по мнению докладчика основной причиной неумения решать школьные задачи является плохая идейно-воспитательная работа!

Выступив, я, конечно, почил на лаврах. В числе лавров оказался томик стихов Матусовского и томик стихов Сулеймана Стальского. У Матусовского тоже нашелся малый перл. Дело в том, что до сих пор в русской и мировой поэзии Тюмень почти не упоминается. Стишок Асеева, песенка Исаковского – вот и все, что я знал. Третье упоминание о Тюмени имеется у Матусовского:

То встретишься с дядей, попав в Ашхабад,
То встретишь сестру, возвращаясь назад,
То вдруг под Тюменью найдется случайно
Довольно приличный двоюродный брат.

Поскольку у меня в Москве есть две кузины, я законно отношу последние две строки к себе.

А Стальский не казенный. Этого Стальского я подарил когда-то в день рождения Карнацевичу, и он взял его из-за карманного формата на Совет. Я был приятно изумлен, увидев на первом листе сочиненную мною (все я, да я!) тогда стихотворную надпись. Переписываю для тебя – хоть плохая, но поэзия. Заодно познакомишься со стилем Стальского (или вы проходили в школе?)

Из западно-сибирских стран
Приветный знак ашугу дан,
И вот я, Стальский Сулейман,
Пришел к тебе, о Карнацевич!
Нас разлучить хотел Шамиль,
Но пусть он ищет простофиль!
А я за сотни верст и миль
Пришел к тебе, о Карнацевич!
В благословенный этот день
Одежды пышные надень,
И пусть кунак твой и уздень
Придут к тебе, о Карнацевич!
Да будет жизнь твоя полна,
Как дагестанская луна,
Пусть счастье, слава и казна
Придут к тебе, о Карнацевич![39]

[39] Из письма Н. М. Леонтович 6 июня 1953 г.

Сегодня в 7 утра Карнацевич, Петр Иванович (грибоедовские очки), и я на лодке отправились вверх по Туре, купаясь по пути с различных плотов. В час пристали к берегу и стали варить кашу. К 2-м небо затянулось и началась долгожданная гроза (неделю стояла жара), перешедшая затем в регулярный, но весьма мощный дождь. Под этим дождем мы и гребли 2 часа назад. Бр-р-р! Конечно, это не Чипе-пе-пер-Азау, но все равно замерзли мы основательно. Содержатель лодочной конторы флегматично сказал: "А я думал, что вы уже не вернетесь" — ?? — "Я думал, лодку захлестнуло (по Туре шли большие волны) и вы утопли".

Надо сказать, что Карнацевич находится здесь незаконно. Ему положено быть в райцентре — Велижанах — на выпускных экзаменах, но... открылся сезон бегов, и он на 10 дней сбежал в Тюмень. Фаворитом ипподромной публики сейчас является новичок — Аккордеон от Адлера и Кефали (я думал от Баяна и Гармонии), обошедший Кручину (от Жгучего и Критики!) и Трепета (от Журнала и Червонной Дамы) — можешь при случае поразить кого-нибудь эрудицией!

Дорогой Карнацевич рассказывал страсти про велижанскую школу. Приеду — расскажу. Например, ученица отвечает на экзамене: "Печорин был бродягой с длинными руками ниже колен. Сперва он жил с княжной Мэри, а потом с дикой женщиной Бэлой".

А так плыли очень хорошо. Навстречу нам шла целая флотилия барж, с бортов раздавались приветственные выкрики, а вместо флагов было вывешено самое разнообразное белье. Кстати, о флотилиях. Как у вас отнеслись к коронации Лизаветы и к посылке корабля? У нас на празднике песни собираются петь *God save the Queen* (это он врет — в Сибири такого не поют!). Остановка только за русским текстом, мотивчик всем известен. Выпускники, конечно, тоже поют. Аж за душу берут. Сибирские голоса на всю Россию славятся...

Гордился ли я горьковской лестницей? Конечно! Учти, что ее строительство, длившееся больше 4 лет, было связано с бурным просветительством: поколение горьковских лощей обязано этой лестнице положительными отметками по немецкому языку. Частая картина: фриц жует школьный завтрак и диктует *Ubung* или Юберзетцен. Впрочем, может, и египетские мальчишки изучали какой-нибудь финикийский язык с помощью строителей Хеопсовой пирамиды? Ничто не ново под луной!

Обратила ли ты внимание на другую горьковскую достопримечательность: решетку Откоса? Она сделана по указанию одного из мэров города вместо ремонта крыш, за что впоследствии этот мэр чуть было сам не угодил за решетку. Впрочем, и после этого крыши текли. Но я жил в домах с новыми крышами. И не в Канавине. Два года я жил у Гореликов. В той комнате, где ныне обитают дофины. Потом я жил на Оперной улице, рядом с таким же театром. Последнее мое жилье было в Тихом переулке (действительно тихом). Я как-то писал дофину, чтобы он заснял для благородных потомков эти исторические места, но он, кажется, поленился. Однако о Тихом переулке они все равно узнают — он упомянут в моих виршах. Например, одно из моих писем Коту начиналось так... [*См. Письмо Туманову из Горького — "Великий или Тихий переулок..."*].

...Перестаю мучить тебя литературным старьем (беда с этими виршеплетами: разреши им слово сказать, так они норовят целый стишок выпалить!) и возвращаюсь в город Горький. Где вы там жили? У Андроновых или вас развели по разным квартирам? Огорчилась ли Ирина, узнав, что ты вышла замуж раньше нее (все-таки она старше тебя на три года) или вы не ...поверяли нараспев —

Сердечны тайны, тайны дев,

как это полагается кузинам? Она была на дофинячьей свадьбе?[40]

[40] Из письма Н. М. Леонтович 9 июня 1953 г.

Эти дни я подряд принимал чужие экзамены. Вчера и третьего дня по общей физике, а сегодня пришлось замещать Торкина на ГОСах. Хоть я и не член ГЭКа, но пришлось. Сдавали 2 уч., довольно бездарно, но без завалов. Тем временем я сочинил стишок — пожалуй, самый серьезный за всю мою поэтическую карьеру и даже с неким философским душком:

Судьба швыряет человека:
Сегодня — царь, а завтра — тлен...
Давно ли был я членом ГЭКа?
А нынче я уже не член!

А всего только экзаменатор. Вот. После экзаменов пошел домой за твоим письмом (оно действительно пришло), но дорогу мне переехала пожарная машина, тут же остановившаяся возле большой толпы, радостно хихикающей. Оказалось, что во время известной тебе грозы в доме сорвало водосточную трубу; ее стали водворять назад, и в самый критический момент лебедку заело. Водворитель повис в люльке между двумя этажами, где и провисел больше часу. Потому как пожарные никак не соглашались ехать. Сверху ему спускали на веревочке булку и курево. Внизу ликовали люди без различия пола, возраста и социального положения. Много ли нужно для счастья? В толпе находились две дюжины наших студентов (рассказавших всю историю) и несколько преподавателей. Прочая интеллигенция тоже была вполне представлена. Пожарные лихо подняли лестницу (что значит автоматизм: один начал разворачивать шланг!) и через пять минут веселие кончилось, краски поблекли, улыбки погасли, и все разошлись по домам. А мне вспомнилась липаевская история: в Алибеке нас четыре дня не выпускали в горы; ребята подвесили Володьку Липаева на грудной обвязке к дереву и прицепили дощечку: "Во всем виновато начальство, помираю от тоски, не пускают в горы". Что-то в этом роде. Полчаса все (включая инструкторов) веселились, потом прибежал политрук Кост, расшвырял резвящихся вокруг детишек и со всей силой ударил по пуйве беднягу Липаева, бравшего в этот момент самую высокую ноту в арии герцога. Затем следствие, падение нравов, деградация личности, и все наше отделение чуть-чуть не выгнали из лагеря. (А может, ты все это знаешь? А?). Тогда я сочинил сонет с эпиграфом, и он — несмотря на тяжеловесность — имел некий успех. Наберись терпения — сейчас я тебе его напишу (не кажется ли тебе, что я норовлю всучить залежалый товар?)

...И сколько весит этот зад
Узнает скоро шея...

Франсуа Вийон

Пронырства гнусного прохвоста
Подчас губили королей...
(Эпитет с рифмою для Коста —
Эпиграф повести моей.)
Вдали от отчего погоста,
В тени развесистых ветвей
Висел живой Липаев. Просто
Висел для счастия друзей!
Мужчины, женщины и дети
Кругом резвились, все на свете
Забыв. Фотографов не счесть!
Явился Кост. Вмешались власти.
И начались такие страсти,
Что в пору вправду в петлю лезть!

Что касается фотографов, то начальство приказало засветить все пленки (Кажется, я сам — старый дурак — рассказывал тебе эту историю!?)[41].

За эти три дня в Тюмени произошли мощные события, вполне достойные твоего внимания. Буду рассказывать по порядку. Событие первое — драка двух студенток. На 3-м историческом 13 июня во время экзамена по диамату экзаменатор обнаружил в рукаве студентки Потаповой шпаргалку (подробностей и технику обнаружения, к сожалению, не знаю!), поставил ей тут же двойку и передал в руки светской власти, сиречь деканы. Декана (дама) начала читать мораль и употребила библейское сравнение, сказав, что Потапова подобна паршивой овце в стаде (эта группа и правда максимально идейная в институте). Потапова — не зная библии — восприняла сравнение как определение, заревела и, потеряв контроль над собой (ведь она как-никак потеряла стипендию), закричала: "Я паршивая?! А Ваша фискалка Зуева передо мной готовилась по шпаргалке, так она не паршивая?!" Зуева, действительно, весьма мерзкая личность, наушничающая начальству и равномерно презираемая своим курсом. Что, конечно, отнюдь не оправдывает недостойный поступок Потаповой. Зуева тут же была вызвана к декане, после чего и произошла драка. Причем настоящая. Они не царапались, визжа, и не драли друг друга за волосы, как это принято у прекрасного пола, а катались в обхватку по земле, тузя друг друга кулаками. Их с трудом разняли три лучших наших баскетболиста (физики), которые и рассказали мне эту историю. Однако начальство дело замяло: декана боится, что при разборе и ей может попасть за паршивую овцу.

Другое событие случилось тоже 13-го. Я сочинил оду, первую оду в своей жизни. Называется она "Поэтам Москвы" и является реакцией на чтение стишков во время ученых советов и заседаний. Однако я тебя небось совсем замучил своими виршами. Поэтому наступаю на горло собственной песне и избавляю тебя от чтения очередной порции поэтических бредней. Цени!..

Очередное событие — праздник песни — состоялось вчера утром на стадионе. Хотя студентов и агитировали, и стращали, и прельщали, но пришла только треть. Ее раз пять строили, считали, пересчитывали и, наконец, повели на стадион (впереди — все начальство в черных костюмах). Пришли как раз к фанфарам, и мильтоны не пустили ("не велено пущать") колонну пединститута на поле, где был построен сводный хор. Студенты тут же разошлись, начальство же окаменело от горя и предвкушения выволочки. Вдобавок его наказал бог, но об этом расскажу при встрече. Веселие напоминало пейзанские игрища прошлого века, но потом начались спортивные соревнования, и все вошло в норму.

Пришед домой, получил письмо М. А. — это было пятое событие. За эту неделю организую документы. Кроме того, это — основание для немедленного отъезда в Москву после последнего экзамена.

Еще событие — я вчера ходил в театр. Смотрел "Хитроумную влюбленную" Лопе де Веги. Однако тут длинная предистория. Третьего дня, отправившись обедать, я обнаружил дверь "Сибири" запертой. Пока я соображал, в чем дело, подошла группа мужчин и один из них постучал: тук-тук, тук-тук, тук-тук. Дверь отворилась, и мы вошли, пройдя мимо мрачного субъекта, раздевавшего нас глазами. Оказалось, что происходит совещание председателей колхозов, для харчевания коих арендована "Сибирь" с 2-х до 4-х каждого дня. Посторонних в это время не пущают, для чего и заперта дверь и стоит субъект. Таким образом, меня уже нельзя отличить от кондиционного председателя колхоза, чему я, конечно, весьма рад! ...Вчера после стадиона я сам сделал тук-тук, тук-тук, тук-тук и был беспрепятственно пропущен. В середине пиршества появился какой-то культур-трегер и стал продавать билеты в театр, начав с нашего столика.

[41] Из письма Н. М. Леонтович 12 июня 1953 г.

Соседи-председатели и я (не позорить же своего колхоза!) взяли места в 1-м ряду. Откуда и смотрели пьесу. Вещь нормальная, Лоповская, с большим количеством песен и танцев, чего наши артисты не умеют. Зато декорации работы А. А. Вагнера (того самого) очень хороши — у них запил художник, и Вагнер выручил театр! Тема: благородная девица, влюбившись в кабальеро, отбивает его у куртизанки, влюбляет в себя, первая открывается и вообще пускается во все тяжкие для того, чтобы выйти замуж. В связи с этим сосед справа заметил: "Когда мужиков мало, такое завсегда бывает. Вот у нас девки выкамаривали штуки почище этой Фенисы! Даже мне куры строили!"

Событие сегодняшнее. С утра я работал (наконец-то), затем пошел обедать. Кроме нашего брата председателя, в зале два столика занимали военные. Под шафе. Встает лейтенант, пьяный в дрезину, и начинает орать, что он любил и любит русский народ, каковой за это должен вечно его помнить. Затем: "Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана-главаря..." Тут на него цыкнул лейтенант с другого столика. Первый лейтенант мигом отреагировал: "А вы, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов". Второй лейтенант взревел: "Ты моих родителей не задевай" и кинул в него пустую бутылку. Началась потасовка, официантка с криком: "Лейтенант лейтенанта бьет!" побежала за милицией, каковая переписала всех паспортизированных председателей (у меня не было пасса) в качестве свидетелей. Лейтенантов же потянули на цугундер. Вот тебе — вред образования.

Седьмое событие: с завтрашнего дня Ал. Бриллиантов будет поднимать 2 лошадей!

Событие осьмое: в будущем году к нам поступает сразу на третий курс Лоэнгрин Викторович Барсуков.

Самое главное событие — девятое. Оказывается, есть такой зверь — кидус. Помесь соболя и куницы. А так как соболь водится к востоку от Урала, а куница только недавно перевалила с запада через Уральский хребет, то этот кидус имеется лишь в Тюменской области! Во!! И еще: только в Тюменском музее есть скелет какого-то древнего бизона. Даже из Бельгии шлют просьбы прислать фотографии. Вот что такое Тюмень! И вот каковы главнейшие в ней событья[42].

Пришло время писать последнее письмо, а что имеется налицо? И кто имеется? На второй вопрос ответить просто: никого! И. о. директора пребывает в Москве, вернется только послезавтра. Торкин позавчера отнюдь не вернулся. В Тобольске он, ревизор и Варфоломеевская дочка прокутили почти все командировочные, оставив самую толику на попутный грузовик (аванс — остальное дома). А тут пошли дожди, тракт накрылся, на самолет же им денег не хватило. Сегодня выслали, ждут послезавтра. Итак, нет ни директора, ни зав. кафедрой — некому решать вопрос об отпусках.

Далее. Раз Торкина нет, то экзамены по общей физике + консультации на мне. И ГОСы по физике тоже на мне. Вот только что принимал свой экзамен по теор. механике, а часа через два пойду консультировать ГОСы. Завтра же буду принимать на 2-м курсе.

Таков фон. Что же происходит на этом фоне? Имеющееся в наличности начальство (декан, и. о. и. о. директора) сочиняют мне диссертационные документы. Институт мощно ругали за недостаточную научную работу, и поэтому они идут мне навстречу.

С этими документами я вылечу как только приму последний экзамен с тем, чтобы сдать их в Москве до начала каникул.

Так что письмо М. А. пришло и в этом смысле очень кстати. Конечно, возможны еще завороты, особенно когда вернется и. о. и. о. Что может случиться... Затянут выдачу х-ки... Предложат вернуться из Москвы для чтения заочникам (маловероятно!). Тогда я припугну расходами: потребую, чтобы поездка Москва-обратно была бы командировкой (они давали командировки даже для сдачи кандидат. экзаменов), а у них сейчас нет денег.

[42] Из письма Н. М. Леонтович, июнь 1953 г.

Словом, я думаю, что благополучно вылечу 24-го (23-го вряд ли — ученый совет, на котором мне надо быть. Да и куча предотъездных формальностей). Если же все-таки придется остаться, то я тебе вышлю телеграмму. Если телеграммы нет — значит, все в порядке: жди в день моего вылета...

Кажется, с "еслями" и деловой частью письма все. Эта деловая часть бестолкова прежде всего из-за бестолковости ситуации — а уж потом из-за собственных моих качеств.

И еще огорчение. Александр Бриллиантов кончил свои гастроли в Тюмени, а я его так и не посмотрел. В последний день 30 человек согнули рельсу на плечах атлета, а меня не было в их числе...

P. S. Сидя на "Горелике" с заклеенным конвертом, я насчитал по Журналу, что это мое 44-е письмо к тебе из Тюмени. Цифра 44 сразу подействовала на воображение и вот что получилось:

Было в квартире
Сорок четыре,
Сорок четыре
Веселых письма!
Не из Армении,
А из Тюмени,
Но тем не менее
Глупых весьма!

В письмах есть раки,
В письмах есть драки,
В письмах есть враки
(Кто, брат, не врал?).
Прятал их Нулик
Внуторь шкатулек
Так, чтобы жулик
Их не украл!

[*Нулик — ласковое обращение к Наташе*]. К последней строфе два примечания: "внуторь" вместо "внутрь" — обычный в поэзии архаизм. Сравни у Пушкина: "вихорь вальса" вместо "вихрь"... "Шкатулек" — тоже архаизм. Во времена Державина писали и "шкатулка" и "шкатулька".

P. S. Пока я считал и сочинял, конверт заклеился намертво и его пришлось разорвать. А цена ему — 44 коп. Вот какое удивительное число![43]

В деканате уже было легкое беспокойство: завтра у меня 6 часов, и так каждый день. Я буду читать две теор. физики (3 и 4 курсы) и две теор. механики (3 физ. и 3 мат.). Торкин отбыл в шестимесячный отпуск (для окончания диссертации) в Москву, где его уже видели под забором у Ярославского вокзала. Вместо него общую физику будет читать некто Белянский, выписанный из Симферополя. Я его еще не видел. Директора я тоже еще не видел. И вообще мало кого видел, так как появился в ин-те в седьмом часу. Застал только секретаря факультета — твою тезку и мою благодетельницу, которая обещала грузить меня весь сентябрь. Тут же позвонил декан, сообщил, что он болен и просил кого-нибудь побеседовать с первокурсниками о сущности их наук. Вот я был кем-нибудь. В 7 общался с физиками, в 9 с математиками.

Сейчас буду спать. Вот что имело быть в этот длинный день. Очевидно, завтра и послезавтра узнаю много нового и новых[44].

---

[43] Из письма Н. М. Леонтович 18 июня 1953 г

[44] Из письма Н. М. Леонтович 31 августа 1953 г.

Вот я прочитал очередные 6 часов, слегка поел и теперь жду совета факультета. Очевидно, бурного: 740 часов разных нагрузок (в основном упражнения) еще не распределены. Может быть, придет директор и произойдет наше знакомство. Ах! Ах!!

После летнего перерыва у меня после 6 часов малость устает глотка. Надо будет потише орать.

Сегодня говорил с зам. дир. (бывший и. о.), сообщил о своем намерении в начале октября отбыть в Москву. Он сказал, что в принципе он согласен, вопрос только в часах...[45]

Я напропалую читаю лекции. Сегодня 8 часов. Но Его я все еще не видел. Говорят, что он похож на худую рыбу, однако не указывают ни названия, ни семейства. Еще говорят, что он безвыходно сидит в кабинете, осажденный абитуриентами и абитуриентками. Дело в том, что начальство поторопилось зачислить в студенты первопоточников, с трудом сдавших на 3, а потом валом повалили конкурсные недоборы из Москвы и Ленинграда (средн. 4,3), но мест для них уже почти не было...

В городе висят афиши: ... В антрактах танцы... Ф. Шиллер... В антрактах танцы... Мария Стюарт... В антрактах танцы под оркестр!!

Это прогорает приехавший на гастроли Тобольский театр. Афиши напечатаны типографски, а "в антрактах танцы" выведено тушью разных цветов. Еще идет кино "Три товарища", а с понедельника "Их было пятеро без детей до 16 лет" (так написано около клуба "Пластмасс")...

Впрочем,

Хоть мне и горький хрен — малина
(Другим и помидор — полынь!),
Но я завял от нафталина,
И в комнате моей — теплынь:
Соседи — лютые враги
Пекут с начинкой пироги!

... и хотя меня и угощают этими пирогами, спать от этого не легче. Но тут уж ничего не поделаешь. Сейчас отправлю письмо, глотну эпсилон воздуха и... в 725 градусов (по Фаренгейту). А к утру — пожалуйста — тушеный медведь! Раз бывает гусь с яблоками, то почему не быть медведю с помидорами[46].

Я продолжаю вести бездарно однообразную жизнь — до одурения читаю лекции, а потом редактирую и проверяю описания задач в практикуме. Там куча ошибок — вот мне и приходится исправлять чужие грехи.

Зато сегодня ухожу в лес. Скоро придет Карнацевич с ПИТом, и мы отправимся по грибы! В некий лес за 15 км от города. Для успешного руководства я беру английские стишки про зверей, и, кроме того, Карнацевич обещал захватить русское чтиво. Так что улов (какое тут правильное слово?) должен быть богатым...

Вот я вернулся, убедившись, что успех дела решает не руководство, а рядовые участники, винтики-шпунтики. Хотя я сделал все от меня зависящее: прочел стишки и книгу Карнацевича, мои массы не нашли ни одного гриба! Впрочем, это было ясно заранее — какие уж тут грибы в сухом сосновом бору. Зато ПИТ набрел на какую-то деревню, откуда принес литру. Видишь, какой у тебя идеальный муж — выпил и сам сразу в этом признается.

Злодей Карнацевич вместо бель-леттра принес мне "Руководство для повивальных бабок", изданное в 1790 г. Каковое руководство я с пользой и удовольствием изучил и

[45] Из письма Н. М. Леонтович 2 сентября 1953 г.
[46] Из письма Н. М. Леонтович 2 сентября 1953 г.

теперь вполне могу сдавать экзамен на повивального деда. Как-никак — ремесло на черный день. В предисловии сказано, что своим ошибкам бабки обязаны: надменности, невежеству, и дальше все в таком же стиле. Адрес мой меняться не будет. Слишком это хлопотно. Надо днями околачивать начальственные пороги, доставать дрова и т. д. Как-нибудь проживу еще год на старом месте[47].

Твои жалкие 29–33 часа могут вызвать только усмешку. У меня 36–38 в неделю. Чистых! Ни тебе прогулять, ни с соседом поболтать, ни зайца нарисовать, ни даже конфету пососать. Вчера, 7 сентября, уже было 38 часов, т. е. на 2 часа больше, чем прочтет твой Габа во всем первом семестре! Но этот факт остался незамеченным, ибо вчера развернулись события космического масштаба.

Повесь свое внимание на гвоздь терпения. Я поведаю тебе сагу о ПАУ.

Все началось с того, что в субботу к 3 часам в институтской столовой кончились достойные харчи. Поэтому я пошел в "Волну". За мной — ПАУ (Пайвин А. У., канд. физ.-мат. наук, 1920 г. рождения, блондин, пьет редко, но проникновенно, в пьяном виде ухаживает за дамами, ломясь к ним в дверь между часом и двумя ночи. Словом — типичный математик. Я тебе, кажется, о нем рассказывал. 3-го он переехал в одну из комнат кабино-владельца). Я запивал обед чаем, он — полуторастами коньяку. Засим он отправился спать. Что же было дальше? Проснувшись, он выпил еще, потом — еще, потом пошел на вечер встречи, нашел там некоего студента в летах из учителей и вместе с ним гулял всю ночь. (Все это выяснилось в понедельник). Что они делали утром, неизвестно. Днем в Тюмень приехала новая "англичанка", только что окончившая Свердловский иноинститут. Она прямо с вокзала поехала в наш институт, нашла директора, выяснила все технические вопросы, а потом, запинаясь и краснея (девушке 22 года), промямлила: "Я не знаю... я тут первый день... может, тут так принято... в главном здании ко мне подошел мужчина... без брюк... но в кальсонах и в галстуке... он, кажется, был пьян... он хотел, чтобы я была с ним приветливее".

Директор, вот уже неделю насаждающий дисциплину, ринулся со своим замом в главное здание. Оказалось, что это был Пау, который более часу ходил в таком дезабилье среди студенток и студентов. Вскоре в одной из аудиторий нашлись и штаны. Все это я узнал вчера утром в деканате, куда пришел приказ не допускать Пау к чтению лекции. Сам Пау был тут же, ругал себя идиотом и порывался читать лекции. Тут его вызвали к директору. Через час он появился снова, произнес речь о произволе начальства и заявил зам. директору, что подштанники были абсолютно чистые, "почище Вашей сорочки!" "И вообще я имею право ходить в воскресенье как мне угодно". После чего он опять пошел пить коньяк и — не будучи Мигдалом — к 4 часам нагрузился так, что, будучи снова вызванным к директору, лег у начальственных ног на пол и оттуда произносил фразы о том, что его никто не понимает. В результате вчера же вечером возник приказ, прочитанный сегодня утром во всех ротах, эскадронах, экипажах и батареях всем преподавателям. Вот он (нарочно списал, как документ эпохи) — на отдельном листке. Поскольку он написан весьма высоким штилем, нам прочли его с комментарием, что де нельзя ходить без штанов — это есть "несоблюдение чести высокого звания преподавателя Вуза".

Но это еще не все. Сегодня утром Пау пришел "прощаться с учениками". У тех была лекция по политэкономии (сводная — для всех факультетов). В перерыв Пау вышел на помост, поклонился толпе, сказал: "Вот я выпил, а они меня уволили. Подумаешь, штаны! Прощайте!" — и заплакал. Девчонки тоже заревели и сочинили петицию к директору с просьбой оставить Пау. Директор петицию не принял, все остальные перерывы начальство выпытывало зачинщиков, а сейчас в институте экстренное собрание

[47] Из письма Н. М. Леонтович 6 сентября 1953 г.

3-го и 2-го курсов (он у них читал анализ) с участием всех замов, завов и секретарей. Сам же Пау после прощания опять нарезался, был приведен студентами (тоже пьяными) домой и сейчас лежит у себя в комнате все в тех же подштанниках. (Мораль – носи только трусы!) В институте полный разброд. Кто-то предложил взять Пау на поруки (по мне, его надо брать не на поруки, а на подтяжки). Все потрясены быстротой, с которой Рябова получила комнату (я бы дал "первооткрывательнице" в компенсацию за потрясение. Представь себе ее первое письмо маме!). Теперь остальные "иностранщики" будут сознательно спаивать математиков! Словом, конец света. Как там у Пушкина:

Прибежали в избу дети ...в штанах
Второпях зовут отца ...без штанов... и т. д.,

в связи с чем Гоголь сказал: "Скучно, господа"[48].

Тут опять понаехало кой-какого народу. Вчера утром приехал из Свердловска папа Пау. А перед этим Пау все время пил со студентами. Поэтому вчера же ЭКХ (его портрет я тебе посылал) попросил Карнацевича и меня зайти к Пау, объяснить ему неуместность такого поведения и посоветовать ехать в Москву в министерство для определения на новое место. Мы пришли. Папа и сын сидят за столом и пьют коньяк из большого никелированного чайника. Папа еле сидит. Карнацевич изложил пожелания оригинала портрета. Папа: "Терпи, сынок. Мы, русские, завсегда от этих полячишек (ЭКХ!) одни обиды видели. Такая уж их порода!". Пау: "Не надо так говорить, папочка, а то Владислав Станиславович может обидеться". Карнацевич делает ручкой: дескать, пожалуйста, я не в обиде. Снова папа: "Но ты, сынок, не унывай – найдешь другую работу. Тебя всюду возьмут, ты ведь не жид какой-нибудь, а русский человек". Пау: "Не надо так говорить, папочка, а то Михаил Львович может обидеться". Я тоже делаю ручкой, а папа продолжает: "А что ему обижаться, чать он православный. Или он их любит?"

Продолжить мысль дальше папа не успел, так как присосался к носику чайника, после чего упал с табурета на пол и заснул...

Наконец, вчера же состоялся ученый совет про Льва Толстого. Демонстрируя непротивление злу, я присутствовал на докладе, но не слушал его, а переписывал Любку – у нас в библиотеке нашелся Смеляков. Кроме того, я исподтишка наблюдал Его (видел первый раз). Действительно, похож на рыбу миногу (семейство круглоротых). Остальное не разглядел....

Мне сейчас опять идти в институт. Снова бибсовет. Там завал старых научных книг и надо решать, что с ними делать. Но тут могут оказаться и оказываются жемчужные зерна. Поэтому я в общем получаю удовольствие[49].

Вот кончилась вторая неделя, а в ней 38 часов. На следующей неделе будет столько же, причем даже без моих просьб, потому что некому читать. Из не имеющих быть в отпуску декан болен, а оригиналу портрета вчера раздуло портрет на 72%. Как сказал Пау (он каждый день ходит в гости в деканат): "Это его Бог наказал за меня".

Вчера пришло большое письмо от папы. Грустное до безнадежности. Оказывается, его водили за нос, и вся та история была просто комедией. Очень это плохо, когда ничем не можешь помочь. И почему-то вспомнилось, как Сашка обвинял меня в пристрастном отношении.

Письмо непутевое. От дождя, от отсутствия мыслей и новостей, от настроения[50].

---

48 Из письма Н. М. Леонтович 8 сентября 1953 г.

49 Из письма Н М Леонтович 10 сентября 1953 г.

50 Из письма Н М. Леонтович 12 сентября 1953 г.

Произошло вот что. В 5 часов начался ученый совет. Открыл директор. Сказал, что совет реорганизуется, будет малый ученый совет, состоящий из деканов, завкафедров и кандидатов наук. Остальные преподаватели института будут иногда приглашаться на расширенные советы с правом совещательного голоса. В связи с этой реформой учреждается Ученый Секретарь Ученого Совета с особыми функциями, о которых он, директор, сообщит позже. "Какие имеются предложения? Слово предоставляется доценту Борисевичу". Борисевич: "Я предлагаю выбрать Ученым Секретарем Ученого Совета кандидата физ.-мат. наук М. Л. Левина" (при этом он сперва оговорился: "Ленина"). Директор: "Возражений против этого кандидата нет? Итак, М. Л. Левин — Ученый Секретарь Ученого Совета". Аплодисменты.

Я даже ахнуть не успел. Сперва почувствовал себя Пушкиным, упеченным в камер-пажи. А потом получил записку от Борисевича, что это самая подходящая для меня обществ. работа (не пыльная и не слишком обременительная — но вместе с тем почетная и громкая!). Что вопрос этот появился за полчаса до Совета, когда Дунаев заявил, что ему нужен ученый Ученый Секретарь. Словом, все к лучшему в этом лучшем из миров. После доклада — перерыв, после перерыва начались неудобства. Сижу в президиуме: директор, зам. директора и я. Ни посчитать, ни книжку почитать, ни письмишко написать, ни стишок сочинить. Впереди, следовательно, резкий упадок творчества и вообще умственной деятельности... Зато какие перспективы в смысле карьеры. Сегодня — я Ученый Секретарь Ученого Совета, через 10 лет — может быть, новый ГУСАК! Тебе просто здорово повезло: в 30 лет стать гусыней!

Кстати, не нашлась ли моя ручка? У той, что ты мне дала, кривое перо и трещина в организме. А нашему брату, Ученому Секретарю, авторучка нужнее штанов!..

Вот что было вчера вечером. А днем между лекциями и советом мы с Изей смотрели "Пармскую обитель". Очень хорошие актеры, но роман все равно лучше. Ты видела? А Изя вообще не читал Стендаля и думал, что это какой-то немецкий классик. Впрочем, так же думали и современники Анри Бейля. Все повторяется...

На днях директор будет общаться со мной на предмет объяснения функций Ученого Секретаря. Тут я и подам ему заявление о поездке в Москву (очень удобный случай) и заодно поговорю о научной работе в этом году, каковую я намерен проводить вкупе с старшим научным сотрудником Геофиана А. М. Ягломом. Для чего мне, хочешь-нехочешь, придется наезжать в Москву. Речь идет об одном нашем юношеском счете (1944 г.), который можно оформить в виде заметки для "Ученых Записок" Тюменского Пединститута. Эта мысль пришла мне вчера в голову, и пока я ими (мыслью и головой) вполне доволен. Каков гусь этот будущий гусак!..[51]

Возможно, что это письмо окажется скучным, но надеюсь, что несмотря на это, оно будет приятным.

Почему скучным? Потому что я непрерывно заседаю. И письмо пишу на очередном внеочередном заседании кафедры. А еще были: совет факультета и комсомольское собрание физмата, на котором должны были присутствовать все классные мужики и дамы. Так что дома я теперь только ночую и читаю твои письма...

Почему приятным? Потому что кафедра ОМЛ выдала свой график, и Н.В.Ш. устроила мне три совсем пустых недели с 4 по 25 октября. Здорово? Зато после 25-го уйдет в отпуск декан, и тут я опять буду читать свыше нормы. Сегодня между лекциями я сочинил заявление о поездке в Москву и зав. каф., декан и ЭКХ наложили визы о согласии на все три недели. Завтра дам на подпись директору...

Тут еще новость! На обратном пути я зашел в деканат, и Н.В.Ш. сказала, что она дополнительно устроила мне пустую субботу 3 октября. Поэтому я выеду 2-го (самолет

[51] Из письма Н. М. Леонтович 22 сентября 1953 г

при наших дождях сейчас вещь нереальная) сразу после лекций (поезд отойдет через 45 минут после звонка). Дело в том, что 2-го в Москву едет Борисевич (тот самый), и он возьмет мне билет (их начинают продавать лишь за 1,5 часа). Я пять минут назад с ним об этом договорился. От института до вокзала 20 минут, так что я вполне успею. Видишь, как хорошо получается. И ехать с Борисевичем приятно. Он мужик умный и до тонкостей знает русскую словесность 13–14 веков (про это его диссертация). Он меня тоже попросил об одолжении: директор просил его отвезти чемодан для его (директоровой) тещи. Так вот Борисевич просил меня принять в этом деле участие. Мы решили так: прямо на вокзале берем такси, везем чемодан теще, а потом разъезжаемся[52].

Итак, я еду в пятницу и приеду в воскресенье. Директор вчера дал свое согласие и заодно препоручил, как Гусю, некое дельце в министерстве. В деканат приходят разные люди с разными просьбами (тут ты должна пустить реплику Анны Андреевны из "Ревизора"), а новая зав. кафедрой иноязыков Баранова, которую, кстати, наш старичок-декан принял при первом знакомстве за профессиональную шлюху (!), просила привезти ей 300 г. копченой колбасы[53].

События начались третьего дня. После инструктажа классных дам объявили, что в институт приехали московские поэты (!!), прибывшие в Тюмень неделю тому назад для работы среди наших литераторов. Я, конечно, пошел их смотреть и слушать. Бог мой! Корчили львов и читали "голубую" лирику про любовь (только к женам или абсолютным невестам, никаких-таких пушкинско-лермонтовско-блоко-есенинских неопределенностей). В перерыве ко мне подошел Э.К.Х. и просил от имени комитета В.Л.К.С.М. (ему 60 лет) судить на завтрашних соревнованиях учебных заведений (участники не уедут на картошку). А после поэтов мы с Сашей Лебедевым пошли в гости к живущим во дворе англосаксам есть мед: саксе папа прислал ведро меду, и у нее сплошной *honey moon*.

Вчера же я судил высоту у мужчин, длину у женщин и копье у обоих полов. Опытное судейство сразу дало результаты. рекорд области по прыжкам в высоту улучшен на 5 см! После успешного судейства я вместе с другими судьями направился во вновь открытую "Сибирь", где ел бульон с *three*каделькаами (по числу каделек) и рамитаки с пивом. А потом... потом я пошел домой и попал на новоселье к соседям. Тут мне пришлось почти без перерыва хлопнуть три стакана водки и тоже почти без перерыва трижды прослушать пластинку с "Голубкой сизокрылой". Но я стойко перенес все эти испытания, так как перед этим прочел твое письмо. Вот тебе иллюстрация положения о роли морального фактора![54]

Дома во дворе резвятся три террибльных инфанта: два философических младенца и гибрид инструктора обкома с преподавательницей немецкого языка. Они ведут себя как младенчики-сваны в известной песне: скручивают руки назад, кидаются грязью в жильцов, науськивают собак на почтальона и т. д. Сегодня гибрид (6 лет) заявила мне, что "я маму уже давно не слушаюсь, потому что моя мама – б...". "Так папа сказал", – быстро добавила она, увидев недоумение в моих глазах. Учитывая высокий сан папы, я не стал спорить, но посоветовал ей исключить сей термин из своего словаря.

А у нас вчера был вечер отдыха, организованный физматом. Пришлось присутствовать. Перед концертом новый председатель месткома – З. М. Ефимова (с кафедры педагогики) – прочла лекцию – так сказать, тронная речь! – на тему "О дружбе и любви". Надо ли говорить, что я был весь слух и даже (после стольколетнего перерыва!) слегка конспектировал.

52 Из письма Н. М. Леонтович 24 сентября 1953 г.

53 Из письма Н М Леонтович 26 сентября 1953 г.

54 Из письма Н М Леонтович 28 сентября 1953 г

Вот основные руководящие положения:

Чувство дружбы давно имеет хождение в русском народе...

Советская дружба, как правило, коллективная...

Советская дружба неотделима от критики и самокритики...

В основе дружбы лежит принципиальность и преданность идее коммунизма...

Настоящий друг не даст списать конспект или перевод. Настоящий друг не утаит прогул друга...

Но настоящий друг не должен дожидаться собрания, чтобы раскритиковать друга. Он должен заранее предостеречь друга. Но если тот упорствует — тогда надо быть беспощадным!..

Советская дружба скромна: не говори о себе, говори только о друге...

Это о дружбе. Теперь о любви.

Советская любовь окрыляет человека...

Советские люди от любви не умирают...

Советская любовь основана на общей заинтересованности в строительстве коммунизма...

Любовь связана с мышлением: влюбленный размышляет о качествах предмета своей страсти...

Любовь связана с моралью: любовь к невесте не то, что любовь к жене (я не понял, какая из них аморальна)...

Влюбленный не замечает курносого носа!..

Советская любовь — учит нас партия — любовь на всю жизнь, любовь идейная (записал дословно)...

Для любви на всю жизнь необходим идейно-политический рост. Только он может заменить уходящую красоту...

И в любви есть пережитки капитализма: слово "секретарша" все еще звучит как "содержанка"...

Дальше были вопросы.

1. Можно ли любить двоих, если да, то как тогда быть?

Ответ: Надо подождать, пока не определишь: кого любишь, а кем просто увлекаешься. Нравственный человек сильнее увлечений.

2. Сколько раз человек может влюбляться и как отличить настоящую любовь от увлечения?

Путного ответа не последовало.

3. Стоит ли читать "Трактат о любви" Стендаля?

Ответ: Лучше начать с "Книги для родителей" Макаренко.

4. Как быть девушке, если она влюбилась, а он об этом не знает?

Ответ: Самой не открываться, ибо скромность — первая женская добродетель. Лучше работать над собой, становиться все лучше и лучше — пока он не заметит.

5. Как нам быть, если мы два друга любим одну, а она относится к нам одинаково?

Ответ: Подождать — может, она любит третьего!

6. Он на 2 года младше меня, а говорит, что любит. А я его не люблю. Как быть?

Ответ: Продолжать не любить[55].

Глубокоуважаемый Евгений Викторович!

Перечитывая Вашу книгу "Адмирал Ушаков на Средиземном море", я натолкнулся на досадную неточность.

На стр. 192 Вы пишете, что английское слово *the ruffian* обязано своим происхождением кардиналу Руффо.

[55] Из письма Н. М. Леонтович 1 ноября 1953 г.

Однако это слово встречается у Шекспира. Например:
Iago: *...Because we come to you servise, and you think we are ruffians, you'll have your daughter.* (Othello 1,1).
С уважением Левин[56].

Было заседание кафедры, на котором я весьма туманно осветил свою деятельность в Москве. После чего мне сообщили ряд неприятных вещей.

Во-первых, лекция является основным звеном процесса обучения в ВУЗе. Поэтому был без меня целый Ученый Совет, на котором говорилось о недостатках лекций. После чего вышел мощный приказ: все преподаватели, читающие лекции, должны представлять декану подробные планы-конспекты каждой лекции. С методической раскадровкой и оттушевкой, туда их в качель. Я брыкался, как мог, но безуспешно. У нас чтут начальственные приказы, как во времена Павла Петровича. Единственное, чего я добился: я буду подавать план-конспекты не до лекций, а после. Вчера я взял студенческие конспекты лекций и, пользуясь ими, составил план-конспекты вчерашних лекций. На это у меня ушло почти два часа. Черт знает что такое!

Во-вторых, проверка показала, что Л. А. Васильев, читающий электро- и радиотехнику, опускает всю теорию по причине неумения дифференцировать $\cos(t)$, $\sin(t)$ и e^t. Поэтому дирекция и кафедра поручили мне прочесть всю теоретическую часть курса, от чего мне тоже не удалось отбояриться.

В-третьих, зав. кафедрой надлежит наблюдать за качеством и уровнем лекций и занятий, для чего он должен периодически посещать эти лекции и занятия. Так вот, пока меня не было, баба Капа выплакала у директора указание, чтобы на нашей кафедре эти обязанности выполнял я, как старший по чину (в научном смысле).

Прочтя твое письмо, я вытащил из чемодана фрагменты, стал их перебирать и просматривать и совсем расстроился. Весь текст, конечно, надо переписывать заново. Он мне и раньше не нравился, а теперь и подавно. Будь у меня 4–6 свободных месяцев, я бы успел и переписать, и подновить (я ведь 2,5 года не читал заморских журналов, а там небось появилась уйма новых вещей) написанное и написать ненаписанное. А сейчас я просто боюсь, что не вытяну: все-таки я каждый день провожу 8–10 часов в институте. Но, конечно, я пытаюсь заставить себя по вечерам заняться этой литературой. Ясное дело, только для книг. От науки этой я уже давно отошел, лекции читал последний раз почитай 4 года тому назад и поэтому никакой толстовской жажды "сказать людям правду" у меня нет. [*По-видимому, речь идет о написании книги по электродинамике, см. далее*][57].

Вчера после лекций я заскочил домой за твоим письмом (интуиция) и отправился обедать в "Сибирь". Вдруг к столу подходит бородатый старик с сумасшедшим блеском в глазах, кричит: "Слушайте, товарищи-потомки, агитатора-горлана-главаря etc" и спрашивает, люблю ли я Маяковского. Получив утвердительный ответ, он читает: "Издревле сладостный союз поэтов меж собой связует...", – после чего мне остается только предложить ему разделить со мной общество и трапезу (мне: борщ и бефстроганов; ему: 100 г. и беляши – это такие пирожки с мясом). Обсудив со мной насущные вопросы поэзии, старик снова зарычал про потомков и пустился путешествовать по другим столам. Тут пришел Женя Шерман (журналист-теннисист, слегка напоминающий марк-твеновских журналистов из Теннесси) и объяснил, что это знаменитый некогда в Западной Сибири чтец-декламатор, свихнувшийся после конкурса исполнителей Маяковского. Он забыл на эстраде конец "Во-весь-голоса" и до сих пор не может вспомнить.

---

56 Письмо акад. Е. В. Тарле, Тюмень, 2 ноября 1953 г.
57 Из письма Н. М. Леонтович 3 ноября 1953 г.

Пока Шерман объяснял, старик очутился неподалеку от нас в компании каких-то инженеров, коим он сразу заявил (после обязательных "потомков"): "Вот этими глазами я видел Римского-Корсакова". Затем старик и один инженер начали играть в знакомую тебе игру: по очереди мурлыкали мотивчики и узнавали, что это такое. Все было такой великолепной пародией на Сашек (точно так же, как и их музыка была пародией — выше полонеза Огинского они не поднимались), что я невольно представил себе возможную ситуацию. Вот отменили логику, и Сашка Пятигорский остался безработным. Вдобавок выяснилось, что старуха Мерварт вместо томильского выучила его по рассеянности какому-то мелкому языку, на котором говорит всего 137 человек у подножия Эвереста. И Сашка запил, отрастил бороду и ходит по ресторанам. И играет в эту игру. Очень правдоподобно. Старик был удивительно похож на обоих Сашек сразу. Только что не говорил "тезка!".

После обеда я пошел на консультацию... по тригонометрии. Дело в том, что в пединститут принимают выпускников педучилищ, а там тригонометрию не проходят. Вместо того чтобы доучивать этих выпускников организованным порядком, начальство спихнуло это дело комитету ВЛКСМ. Тот выделил нескольких старшекурсников, которые несли в массы синусы и косинусы в порядке общественной работы. И вот Карнацевичу и мне поручили произвести проверку. Бог мой, что это было! Например: "Ученые доказали, что

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1".$$

Вот что было вчера. Сегодня же мне рассказали потрясающую историю. На рынке в одном киоске должны были продавать валенки. И у входа толпились алчущие, в основном дамы. Один хитрый мужик залез на крышу и встал на балку над дверью с тем, чтобы спрыгнуть вниз, как только откроют дверь. Так вот, разъяренные дамы сперва стащили с него штаны, потом исщипали пуйву и, наконец, стащили вниз самого. И он бегал вокруг без штанов, умоляя отдать оные. Вот какие нравы в нашем городе!

У папы пока никаких новостей[58].

Вот я вернулся с демонстрации: 1,5 часа сидели в институте, 1,5 часа прыгали на морозе (сегодня 20 по "Кельсию", вчера было 27) и 15 минут дефилировали по главной улице мимо трибуны и гражданского населения. А потом меня затащили к себе соседи пить чай со степкой-растрепкой (это самодельный сибирский "наполеон" — очень вкусный).

Ты, конечно, сейчас в Абрамцеве. Или ты попала в число представителей трудящихся и топ-топ-топаешь от Ленинских гор до Красной площади?

Кстати, эта Баранова до того насолила своим англосаксам, что они устроили ей детский праздник. Третьего дня у них была кафедра на тему помощи базовой школе. Ну, конечно, куча всяких разговоров. Сашка Лебедев, докладывая о познаниях учеников в области грамматики, по поводу каждого правила говорил: ребята смотрят на это правило, как баран на новые ворота. Соня Метелина на каждое конструктивное предложение начальства лениво роняла: овчинка выделки не стоит. Майя Гутман всякий раз, как разговор уходил в сторону (а это происходило ежеминутно), восклицала по-французски (университетское образование!): вернемся к нашим баранам! А новенькие Карташова и Писанько учинили провокационное шушуканье, и когда Баранова ехидно спросила их, чем это они так увлечены, Варя Карташова невинно сказала: "Ах, простите, Валентина Иосифовна, но послезавтра праздник, и вот мы договаривались в складчину варить баранью ногу". И вот, баранесса (ума-палата!) пришла вчера ко мне как к ученому секретарю (!) жаловаться на подрыв ее научного авторитета. Выяснив обстоятельства, я посоветовал ей прекратить и замять это дело, так как обсуждение его на ученом совете (так она хотела) сделает ее всеобщим посмешищем. Теперь ты видишь, как развито во

[58] Из письма Н. М. Леонтович 5 ноября 1953 г.

мне чувство долга: если бы я думал только о своем удовольствии, я бы, конечно, довел бы все до полного блеска на совете.

Вчера же я снова обедал в "Сибири" в обществе двух молодых людей, подсевших к моему столику. Употребляя пельмени и водку, они вели необычайно содержательный разговор о смысле жизни. Разговор был вполне национальным по форме и социалистическим по содержанию. Причем содержание было абсолютно неотделимо от формы, почему я и не в состоянии сообщить тебе их взгляды на смысл жизни (помнишь беседу с Мишей в пржевальском грузовике?).

Еще я написал письмо ученому соседу – Е. В. Тарле – насчет происхождения слова *ruffian*. Дело в том, что вчера я купил пастернаковский однотомник Шекспира (Ромео и Джульетта, обе части Генриха 4-го, Гамлет, Отелло, Лир, Макбет, Антоний и Клеопатра + Много шума из ничего в переводе Щепкиной-Куперник). И поэтому вспомнил про свой долг перед исторической наукой[59].

Только что вернулся домой. Ходил на лыжах (первый раз) и вполне доволен, хотя снегу мало, температура –23 и гнусный ветер в поле.

С книгой будет вот что. Она (книга) примет форму полузадачника: много (~ 500) задач, часть с решениями + компактная теория. И писать я буду не один, а вместе с Мишкой Миллером. Летом у нас был платонический разговор о том, что сейчас целесообразен не учебник (их уже много), а именно такой полузадачник с ответами. И о том, что когда-нибудь мы такой полузадачник напишем. И вот на днях пришло Мишкино письмо: он напоминает об этом разговоре, пишет, что до него дошли слухи о том, что я вскорости возможно перееду и стану заниматься другими вещами (небось Г. С. – дофин или С. М. Р. – Андрей). Поэтому сейчас самое время подытожить старые вещи и т. д. и т. п. Получится идеальное сочетание старых и молодых кадров. Вдобавок у Мишки под рукой вся новейшая литература. И вообще лучше работать вдвоем. Словом, я ответил ему согласием. В январе мы встретимся в Москве, уточним план и сроки, поделим теорет. главки (задачи будем составлять каждый сколько может) и попытаемся заключить договор в Гостехиздате. [*К сожалению, этот проект не был тогда осуществлен, однако в 80-х годах, как бы в память о нем, появился задачник, составленный учениками М. Л. (Гильденбург В. Б., Миллер М. А. Сборник задач по электродинамике. Н. Новгород: ННГУ, 1993)*].

Твоя колбасная протеже (Сашка теперь зовет ее за глаза только первой буквой. Получается вполне эффектно: "Наша б. опять пошла к директору") собрала студентов и предложила им подавать жалобы на преподавателей. Группа "немцев" заявила, что их преподавательница (новенькая) произносит слово "Ich" не как "ихь", а с неким присвистом на конце. Б. дала жалобе законный ход. В результате ЭКХ (зам. дир.) вызвал к себе новенькую и старуху Шульц (главная немка), усадил их по бокам и долго слушал как они по очереди говорят "ich, mich, sich, etc." После чего новенькой было велено прекратить присвист и следовать в произношении за старухой Шульц. Тем более что Шульц недавно наградили медалью за выслугу лет. Вот так[60].

Пришло письмо от папы: он получил вторую мамину открытку. Это ответ на наши письма из Рязани. Тогда я, не зная о болезни, написал маме про нас с тобой: что мы любим друг друга. Мама пишет, что мне и тебе написано "отдельное письмо по адресу отца Наташи". Не уверен, что это так (мамино письмо от 3-го), но не удивляйся, если такое письмо придет. Ладно? Тут ничего не поделаешь. Но я думаю, что его не будет – тамошнее начальство не любит лишних писем.

---

59 Из письма Н. М. Леонтович 7 ноября 1953 г.

60 Из письма Н. М. Леонтович 15 ноября 1953 г.

Пока я с тобой разговаривал, у директора было заседание месткома. Делили новые квартиры и распределяли освобождающиеся. Борисевич (тот, что произвел меня в Гусаки) хотел перевести меня в такую же комнату на втором этаже, но директор сказал: "Нет! Эта комната без перспективы! Вот поставим вскорости финский домик и дадим там Левину большую комнату с кухней. А то он потом будет жаловаться на нас и использовать маленькую комнату как повод для ухода". Вот что мне сегодня рассказал Борисевич. Я, конечно, сказал ему, что пока никуда уходить не собираюсь, на что он ответил: "Во-первых, все мы собираемся. Во-вторых, директор — тонкая штука и кандидату наук от него уйти будет трудно. Видите, он заранее принимает меры".

Так что весной придется попотеть. Я, конечно, пока сам ничего просить не буду, как не просил все это время. А что творилось! Люди часами просиживали в кабинетах у начальства. Переставали разговаривать. Только что поджогов не было.

Еще я купил кучу маленьких папок (они называются "папка для школьных тетрадей") и раскладываю в них материалы и задачи для книги и другие бумаги. При этом нахожу черновики стишков. В основном тебе известные. Впрочем, попадаются и неприличные. Я даже подумал: не переписать ли мне всю поэзию в отдельную тетрадку, снабдив соответствующими комментариями (вроде дантовой *Vita Nova* — стихи с объяснениями, про Беатриче, написанные Данте в молодости). Для удобства моих будущих биографов. Что ты на это скажешь, милый? Беда в том, что ты не будешь ее читать: не могу же я допустить чтобы моя жена читала всякое неприличие. Правда, там есть весьма остроумные стишки — например, поздравительно-философские робайи ко дню рождения Ягломов. Но все равно — принцип выше всего![61]

Можешь не задаваться. Я тоже заболел. Вчера. Болезнь моя называется "грипп". Но это было вчера. А сегодня я уже почти выздоровел. Ей-Богу!

История моей болезни "грипп" такова. Этот грипп давно гуляет по нашему городу. И вот он проник в институт и нанес удар в самое сердце: третьего дня заболел директор. Тут стало ясно, что во всех нас имеются зловредные бациллы (это такие мелкие насекомые из класса круглоротых) и вирусы (что это такое, никто не знает, по-латыни *vir* — муж, триумвират — троемужество; почему-то римляне считали сие понятие политическим), которые не дремлют! А вчера утром мне пришлось читать в аудитории с выбитым окном, и я мощно промерз (студенты сидели в шубах). Этим и воспользовались вышеупомянутые бациллы и вирусы. К концу занятий меня совсем развезло и — взяв в библиотеке несколько книг — я отправился болеть. Пришла врач и выписала на три дня бюллетень, после чего температура подскочила — на радостях — до 31,6 по Реомюру (достаточно для здоровости организма?). Обваниленная тобой старушка принесла мне пирожок и малиновое варенье, я все это слопал, и вот результат: сегодня утром у меня было 37,3 (уже по Кельсию!). А сейчас (3 часа дня) 37,1.

С утра я читал Данте. Чтобы вдохновиться! Но вместо вдохновления я заснул. Очевидно, повлияла дантовская мистика. Кроме того, у него все крутится вокруг числа 9. Поэтому, проснувшись, я стал размышлять на пифагорейский лад. Вдобавок бюллетень мне выписали на три дня, а Ирод принес из "Сибири" куриную ногу и бульон с каноническими тремя фрикадами. Отсюда уже легко было перейти к 33-летию Кота, имеющему быть 27 ноября.

И что же? $27 = 3^3$ ... ноябрь — девятый месяц (3x3) у римлян... Спустя 3 дня и 3 месяца мне тоже будет 33 года.

Из этих изумительных фактов сразу следует, что нынешний год для Кота является неповторимым, о чем я ему только что написал. И еще я счел нужным сочинить к этому юбилею стишок в форме триолета. Вот такой:

---

[61] Из письма Н. М. Леонтович 19 ноября 1953 г

Тебе сегодня стукнет тридцать три.
Пусть трижды тридцать три твои продлятся годы!
Когда бы жили Гайдн, Рамо, Гретри* –
Тебе сегодня стукнет тридцать три!
Уверенней в грядущее смотри,
Еще далек контрольный срок природы –
Тебе сегодня стукнет тридцать три!
Пусть трижды тридцать три твои продлятся годы!

(* Все три – справься у Сашки – славились умением сочинять музыку к юбилеям etc.).

Это мой первый в жизни триолет. И будет лучше, если ты меня похвалишь. Потому как нашему брату поощрение – все одно что канифоль смычку (см. К. Пруткова). И еще я в конце письма сделал тонкий намек. Грибоедов (тоже умница!) женился как раз 33 лет и не жалел об этом до самой смерти.

И еще одно письмо я получил. От "ученого соседа" Е. В. Тарле. Большое (3 стр.) и очень любезное. Он пишет, что хотя слово *ruffian* было и в шекспировские времена, но теперешний смысл оно приняло именно после зверств кардинала Руффи в Неаполе. И приводит всякие ссылки и цитаты. Ужасно милое письмо![62]

Продолжаю после получасового перерыва. Во-первых, зашла опять Лариса и сообщила, что в 21-й школе слово "ИДИОТ" расшифровывают так: Идеальный Друг И Отличный Товарищ. Ты знала это раньше? Во-вторых, заглянул Саша Овсянников (беспощадный моряк) и сообщил последнюю новость. Сегодня в институте заколотили все туалетные комнаты. А на дворе –26. Какая-то девчонка на истфаке запела частушку:

Прошла почти полмира я,
Но не нашла сортира я –
Какой дурак додумался
Заколотить тебя.

(это пародия на весьма популярную песню:

Прошел почти полмира я,
Нигде с тобой не встретился
И думал не додумался,
Что встречу я тебя).

Дальше она сочинить не успела, так как ее потащили на расправу к начальству, принявшего "дурака" на свой счет. В-третьих, верхняя старушка принесла мне том Жорж Санд. Но хотя

У Авроры Дюдевань
Было много Дядя-Вань,

я ее читать не буду.

Стоп. Что-то шуршит в ящике...

Это было письмо от папы. Он получил мамину открытку: у нее обострение гипертонии, и она все время лежит. Вот[63].

Твой вызов помешал мне самому услышать своими ушами три необходимых и достаточных условия гениальности, сформулированные вторым докладчиком. Так как гас свет то я успел прослушать только первый доклад и анонс второго: "Об уничтожении противоположности между мужчиной и женщиной", вызвавший бурную реакцию в зале.

[62] Из письма Н. М. Леонтович 21 ноября 1953 г.

[63] Из письма Н. М. Леонтович 23 ноября 1953 г.

Дело в том, что первый доклад про уничтожение противоположности между городом и деревней делала дама, а второй – то же самое между умственным и физическим трудом – должен был делать мужик – наш психолог Васильев, известный в Тюмени покоритель сердец. Поэтому в президиуме шел легкий разговор, что вот дама и мужик делают доклады на близкие темы и т. д. Вот председательствующий и зарапортовался (так он объяснял сегодня в лекторской). А что касается высказанных Васильевым трех условий гениальности, то – в передаче Белянского – они сводятся к: 1. Большим знаниям... 2. Большим способностям... 3. Умению включить способности в характер. Причем третье является самым главным. Так что теперь я займусь включением способностей в характер. Одобряешь?

Но даже еще не зная про эти условия, я успел сделать одно гениальное наблюдение: усмотрел сходство между размещением наших преподавателей на скамьях амфитеатра в аудитории и Таблицей Менделеева. В частности, открыл группу редких земель в предпоследнем ряду, водород и гелий в первом, несколько эка-элементов и многое другое.

Вот. Сегодня я купил Табель-календарь на 1954 г. и повесил его над 1953 г. Изучение этих двух документов дало следующий результат: я страшно ошибся (грипп!) – нас с Котом разделяют не 3 месяца и 3 дня, а всего 2 месяца и 3 дня. Какая роковая ошибка! Подумать только!! И заметить ее именно сегодня – 27 ноября! Так что я зря пытался примазаться к Кошкиному исключительному юбилею. Что же касается третьей пифагорейщины, то она есть

$$1953 \Rightarrow 1 + 9 + 5 + 3 = 18 \Rightarrow 1 + 8 = 9 = (3 \times 3)\ (*)$$

Мне совестно писать Коту про такой ляпсус. Может, ты сообщишь ему при случае, передав заодно и (*)?[64]

Я каждый день любуюсь в магазине книгой Лаптева "Как рисовать лошадь". Боюсь, дело кончится тем, что я куплю эту книгу, хотя, конечно, она мне без пользы – смотря на жизнь без розовых очков, я понимаю, что мне не суждено нарисовать лошадь!

А соблазн велик... Там столько всяких ракурсов, картинок, методических указаний! Может, Андрею нужна такая книга? Тогда сразу сообщи – куплю и привезу зимой. Все-таки искусство имеет надо мной необычайную власть: когда-то с такой же дьявольской силой меня манил "Самоучитель игры на баяне". Ты довольна, что у твоего мужа такая тонкая артистическая натура?[65]

У меня невеселые новости. Говорил по телефону с папой. Он приезжал узнать о судьбе того заявления, которое мы с ним тогда вместе составляли. Ему сообщили, что заявление достигло адресата, каковой наложил резолюцию: отказать. Вот тебе и чудо говорящих обезьян! Папа, конечно, будет писать еще. Но никакой веры у него, естественно, нет. Да и чего ждать от бандерлогов?

Вдобавок, папа общался по телефону с Флорой. А ей незадолго перед этим Дог (очевидно, со слов Лифшица) сообщил про тот ученый совет. Флора возьми и расскажи все это (насколько все-таки ваша сестра не сообразительней нашего брата!) отцу. Будто ему своих огорчений мало.

Тут в Тюмени за эти два дня ничего не случилось. А может, и случилось, только я не заметил: с утра до вечера сижу в институте – то ученый совет, то кафедра, то совещание школьных учителей. Потом эта идиотская инвентаризация. Хоть я и председатель, но времени уходит уйма. Вот сейчас проверил три акта, подписал их, поругался из-за этих актов с главбухом и пошел домой. Сейчас ко мне заходил Кирилл (он стучит

[64] Из письма Н. М. Леонтович 27 ноября 1953 г.
[65] Из письма Н. М. Леонтович 29 ноября 1953 г.

лапой в дверь), угостился куском колбасы и снова убежал на улицу. А я перебирал твои письма и смотрел на фотографии. Твой Сашка – свинья.

Письмо получилось коротким. Это потому, что мне сейчас грустно. И слова не ложатся на бумагу...[66]

Как ваши топ-олухи играют на бутылке Клейна? (По мне, нормальнее играть на бутылку пива, чем на бутылке Клейна!) В уме? Или рисуют? А что делают топологи-девицы? Или таковых нет? Надеюсь, что вскорости на мехмате начнут играть в бутылочку Клейна. А летом вместо плавок или старомодного фигового листа будут носить лист Мёбиуса. Не зря же вас учат!

Сегодня кое-что случилось! Что? Я печатал! Обстоятельства сложились так. После лекций не полагалось нынче ни совещаний, ни заседаний, и я собирался работать. Для этого зашел из "Сибири" в институт за некой книгой. В вестибюле встречаю Сашу: "М. Л., вы не видели Анну Мих.? (это секретарь кафедры педагогики)" – "Нет". – "Она вас всюду ищет, пришло какое-то инструктивное письмо из министерства, и кафедра срочно созывает методистов(!). Только что послали курьера к вам домой".

Что делать? Идти домой бесполезно – соседи сразу передадут кафедральное послание (оно лежало в почтовом ящике). Гулять – холодно (34°), да и обязательно нарвешься на кого-нибудь. В кино не прорвешься – всюду идет "Застава в горах", и на нее идут как на "Тарзана".

Все это промелькнуло в голове за несколько секунд. Затем – гениальное решение! Я взял пленки (они лежали в моем лабораторном столе), бумагу, химикалии и заперся в фотокомнате. Где и пробыл до тех пор, пока не выдохся проявитель. А тем временем кончилась кафедра (верный Саша регулярно информировал меня о событиях внешнего мира). Я, конечно, посокрушался, удивился, что меня не нашли, и за 5 минут прочел письмо, каковое они жевали 3,5 часа. Что сказать? Можно повторить с Есениным:

Письмо как письмо.
Беспричинно
Я вжись бы таких не писал.

Напоминаю еще раз: на карточки надо смотреть попиндикулярно! А если тебе придет охота сравнивать мою продукцию с работами иных мастеров, то вспомни Шекспира:

...Во мне любовь, в них мастерство цени!

Ничего, что письмо такое длинное и бестолковое?

По-английски *top* – главный, высший. Отсюда топ-олух. Можешь порадовать АПСа[67].

Ужасный пассаж или справедливая повесть о том, как один философ, известных лет и известной наружности, провалился в известное место и что из этого вышло (отнюдь не подражание Ф. М. Достоевскому).

6 декабря сего, 1953 года, около пяти часов пополудни после неудачного лыжного похода (была оттепель +1°С – это существенно для дальнейшего) сидел я дома и упоенно читал "Статьи по медиумизму" нашего великого химика-материалиста А. М. Бутлерова. Вдруг крики и вопли. Напялив шапку, я выбегаю во двор и...

За три часа до этого у проживающего в нашем доме философа Фомина начался званый обед с напитками. Кажется, по случаю имянин его супруги. И спустя некое время наш философ, испытывая известную нужду, покинул гостей и отправился в известное место...

[66] Из письма Н. М. Леонтович 1 декабря 1953 г.
[67] Из письма Н. М. Леонтович 3 декабря 1953 г.

Между тем еще 4 декабря наш двор посетила золотарная команда. Она выломала для своих золотарных надобностей часть пола в известном павильоне и, выполнив большую часть работы, отправилась восвояси. В порядке сервиса над бездной положили доску, соединяющую кабинеты с внешним миром (см. рисунок) [*рисунок не приводится за очевидностью*]. Тем, кто считает схемы неуместными в лирическом повествовании, напомню, что почти ко всем изданиям дантовой "Божественной комедии" прилагаются подробные схемы и планы потустороннего мира!

Идучи по этой доске, хмельной философ потерял равновесие и плашмя полетел в бездну, оттаявшее дно которой — глубиною около метра — сделало это падение безболезненным.

Когда я появился во дворе, то там уже находились гости, услыхавшие через форточку крики хозяина, и почти все имевшиеся в наличии соседи. Все вопили, а незримый философ гремел как уайльдовский пророк в "Саломее". А тут как раз выбежала жена, которая

...узнавши про беду,
Удостовериться хотела,
Но, милого узрев в "пруду",
Она тотчас окаменела...

Однако вскорости окаменелость прошла, и супруга — тоже под градусом — начала причитать по супругу, как по покойнику. Под такой супружеский (двойной) аккомпанемент присутствующие обсуждали возможности извлечения пророка. Приняли мое альпинистское предложение: сделать из бельевой веревки грудную обвязку, перекинуть через перекладину и тащить. Давши такие руководящие указания, я сам, конечно, удалился на некое расстояние, предоставив гостям сомнительное удовольствие вытаскивания своего амфитриона. Но они это делали с азартом! Сперва петля срывалась, а потом все приноровились, и через какие-нибудь двадцать минут философ уже был на поверхности. Бог мой, что это была за картина! Перо бессильно, только кистью можно было бы передать потрясающее впечатление, до сих пор свежее в моей памяти! Ошалевший философ бросился — волоча за собой бельевую веревку — к супруге, видимо, желая выплакаться на ее груди. Но не тут-то было! Супруга завизжала: "Не смей подходить ко мне!" — и бросилась прочь. Ее примеру последовали остальные. Так как конец веревки захлестнулся за перекладину, то метания философа были локализованы в пространстве, но что делать с ним во времени, никто не знал. В дом вести нельзя, в баню такого не пустят. Для чего же вытаскивали? Трудно сказать, чем бы все это могло кончиться, ибо тут как раз подоспела казенная помощь.

При первом же известии о случившемся жена НСТ — единственная телефоновладелица в нашем доме — позвонила в скорую помощь. Там сказали, что это не по их части. В пожарную команду — тоже отказ. В управление милиции — вот тут обещали прислать спасателей. И действительно прислали. Во двор въехала стандартная телега с бочкой, управляемая старым, матёрым золотарем. "Нечего реветь! — сказал он сурово супруге. — Собери лучше своему мужику одежонку. У нас все есть — и мыльня и портомойня. К ночи придет чистенький! А в субботу можешь приходить за выстиранным. Деньги давай сейчас". Получив 50 р., золотарь отвязал философа, усадил его в телегу, поставил под козлы узел с чистой одеждой, и лошадка рысцой побежала по тюменским улицам.

А несчастная жена пошла к моим соседкам — светским старушкам, дабы узнать, что ей делать. Может ли она, не роняя своего женского достоинства, продолжать жить с таким мужем? Или ей остается только забрать детей и бежать куда глаза глядят? Старушки сказали, что жить можно, но лучше в другом городе.

И в самом деле! О путешествии в телеге (160 лет тому назад философов тоже возили на телегах, только это было в городе Париже) и о причинах этого путешествия рано или поздно узнают студенты... Впрочем, в таких случаях нынешние философы ведут себя как философы — всё божья роса! Но мне кажется, что переезд в другой город не поможет —

все равно узнают. Лучше переменить специальность, и самому стать золотарем. Только так он может сделать себя абсолютно неуязвимым!

Поздно вечером протрезвившийся философ вернулся домой, а утром жена сообщила старушкам: "Он всю ночь плакал, но от него почти не пахло. Честное слово!"

Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о философе в клозете.

P.S. Примечательно, что нашего философа погубила та самая философическая субстанция, из которой некогда алхимики пытались выкристаллизовать философский камень. И которой сейчас опытные диалектики успешно пользуются для наглядной интерпретации даже таких отвлеченных понятий, как шовинизм[68]. [*Весьма точно (и сочно!) формулировал суть различия между национализмом и шовинизмом М. А. Леонтович: "...национализм утверждает: свое г... хорошо пахнет; шовинизм же: только свое г... хорошо пахнет". – См.: Коган В. И. // Воспоминания об академике М. А. Леонтовиче. М.: Наука, 1996. С. 271*].

Вчера я взял и заболел. Ночью плохо спал. В 10 утра на заседании кафедры начало болеть и пухнуть под правой скулой. Я кое-как прочел одну лекцию, а потом пошел домой и залег. Температура около 39. Сегодня утром пришел Карнацевич и выдвинул гипотезу, что я заразился на фесте от его дочки Машки свинкой. Как сын своего отца, он важно сказал, что к вечеру меня разнесет. И я сочинил тебе телеграмму. Но судьба Ландау меня миновала. Только что была врачиха и сказала, что у меня фолликулярная (кажется, так. По-английски *folly* – глупость) ангина. И велела сидеть до субботы дома, полоскать горло и есть порошки. Ты, пожалуйста, не беспокойся. За мной всячески ухаживают соседские старушки. Кормят и поят меня. Есть мне не хочется (сейчас 39,6 – вот какой здоровый организм!), а пью я все время. То какао, то чай с малиной, то молоко с медом.

Третьего дня пришло твое письмо от 30-го, а вчера сразу два – от 2-го и 3-го. И письмо Кота. Но про это я напишу следующий раз. Потому как очень неудобно писать лежа на брюхе и вообще все-таки слабость есть. Лежу, смотрю в потолок и даже Бутлерова читать не хочется.

Тут был перерыв – приходил Изя. Сказал, что из бывших на новоселье еще двое заболели ангиной. Там был такой врач – Толечка... Словом, все зло от врачей[69].

По свойственной почти всем больным эгоистичности я буду писать только о своей болезни. "Почти всем" потому, что ты составляешь исключение: я перечел твои письма начала ноября и не нашел там никаких руководящих указаний об ангине.

Каким будет это письмо, не знаю – оно тоже пишется на брюхе. А в брюхе кисель. Однако по порядку. Впрочем, сперва лирическое отступление (если я правильно понимаю это слово). Во мне принимают участие все обитатели нашего дома. Кто чем горазд. Я писал тебе, что теперь у меня новые соседи за капитальной стеной? Супруги Писанко (он – физкультурник, она – англичанка). Оба из Томска. Так вот Писанко – он носит мне воду, выносит поганое ведро, а в первый день моей болезни перешел со мной на "ты" при следующих знаменательных обстоятельствах. Он вошел в комнату в позе "вольно" и сказал: "Ты только не корчи из себя святого" ... и извлек из-за спины потрясающей красоты старинный урыльник с герметической крышкой и инкрустациями! Бенвенуто Челлини!! Забавно! Все имущество Писанков в двух чемоданах и в двух рюкзаках: и вот... Впрочем, может это семейная реликвия. Скажем, тот самый урыльник, который сам

[68] Из письма Н. М. Леонтович, декабрь 1953 г.
[69] Из письма Н. М. Леонтович 9 декабря 1953 г.

Николай Павлович переменил на "будильник". Во всяком случае, Наталья Ивановна Писанко, по-моему, шокирована поведением супруга — меня она ни разу не навестила.

На смежную тему. Марина Рябова (6 лет) сказала Саше Фомину (4 года): Твой папа — говноед!.. — Нет, говнопроб! — ответил находчивый Саша (я считаю речи интеллигентных детей печатными по определению! Вот!). Обрати внимание на *ewigweibliche* стремление к обобщениям и на свойственную мужскому уму точность...

Теперь вернемся к нашему больному барану. Мы оставили его после ухода казенного врача и Ирода с температурой 39,6. Что же было дальше? Утром ЭКХ справился у Изи о моем здоровье и спросил, был ли врач из спецбольницы (местная "кремлевка" для номенклатурных лиц. Я, как кандидат, имею право, но никогда не был). Потом ЭКХ забеспокоился: а вдруг я не оформлен? Позвонил туда (после истории с комнатой он чувствует себя виноватым) и оказалось, что в карточке стоит Левина М. Л. (так спьяну написал подававший заявку Торкин)... и что эта Левина М. Л., единственная из клиентов, ни разу не болевшая за эти два года, является гордостью заведения, о каковой гордости рапортовали в вышестоящие медицинские инстанции... и что... так как Торкин написал, что Левина М. Л. занимается лыжами, то Левину М. Л. в спецбольнице называли таинственной или ученой амазонкой.

Несчастная! За кого ты вышла замуж? И кто ты теперь? Вдова? Нет! Ну как ты скажешь подругам, Кате, танте кузины Тани и другим близким людям: "Мой муж — Левина М. Л.".

Насколько я понимаю, у нас в деканате главным образом треплются на тему: Левина М. Л. В спецбольнице жутко огорчились, узнав что я не дама, но врача прислали. Небо и земля! Амбулаториха левой рукой смотрела в рот, правой писала рецепт и, несмотря на 39,6, велела в субботу к 9 утра прийти в больницу. Спецврачиха сказала, что недельку мне придется пробыть дома (было 38,5) и что вечером она пришлет сестру для введения пенициллина. (Это только так говорится — введение, а на самом деле вкалывают шприц, причем в пуйву! Уй!!).

После ухода спецврачихи я стал придумывать причины, по которым мне противопоказано введение (т. е. вкалывание) пенициллина. Оказалось, что мне как бывшему малярику вообще воспрещены всякие вливания, о чем бы спецврачиха могла бы и знать.

Тут ко мне в гости пришел старик Чернецкий (ИБЧ — математик) с бутылкой виноградного вина — его жена послала лечить меня старым методом. Я пил чай с вином, он — вино без чая и все шло к лучшему. Даже t° — к концу бутылки она стала равной 37,4°. В беседе с ИБЧ я, естественно, коснулся введения (вкалывания), и старик подошел к нему с историко-эстетических позиций.

"Раньше мы, поляки, пили из туфелек дам. Это было красиво. А поворачиваться к даме таким местом, да еще голым — это некрасиво".

Поэтому вкалывание отменилось.

Ночью дул ветер под особым углом. Поэтому изо всех щелей моего пола тянуло, и я почти не спал.

Утром пришли Карнацевичи и принесли подушку и лимон. Они считают, что у меня низко лежит голова. И весь день я продремал. Иногда вставал, полоскал глотку, что-нибудь пил и снова дремал. И не писал тебе. Ты ведь не сердишься? Потому что я болен. А сегодня у меня 37,5. Самая гнусная температура! И вообще плохо болеть на чужой стороне.

Вот так обстоит дело с нашим бараном. Всю следующую неделю я просижу дома — это как раз та ангина, которая дает осложнения. Педпрактику уже отдали Изе. А лекции просто — Соломоново решение — сняли[70].

[70] Из письма Н. М. Леонтович 12 декабря 1953 г.

Меня привезли в инфекционную больницу, и врачиха только что сказала, что отсюда писать нельзя. И. З. напишет тебе, как было. А меня ведут мыть[71].

Это письмо совершенно незаконное — я попытаюсь передать его И. З. под видом деловой бумаги. Прямо как в романе.

Итак, в воскресенье вечером меня вымыли и увели в изолятор — комнату для личностей с неопределенными болезнями. Там уже были три такие личности. Они курили в рукав и с удовольствием рассказывали, что в этом изоляторе померло вот уже 5 человек, так и не установив своей болезни...

Наутро пришла медицина и установила обыкновенный дифтерит. Мне тут же "ввели" сыворотку и, надо сказать, вовремя: к тому моменту, когда она сработала, я уже дышал с присвистом и бульканьем. Странно, что дома врачи прозевали дифтерит, хотя и брали мазок. Впрочем, всех бы этих врачей в мешок да в воду...

Затем меня одели, посадили в сани и повезли в дифтерийное отделение. Тут меня определили — учитывая возраст! — в так называемую "старшую палату", где я оказался третьим. Двое других: 7-летний Вовка (знает 19 букв) и 4-летняя Людмила (неграмотная, но зато имеет здесь двух кукол, попугая и корову!). Однако сейчас образовательный ценз нашей палаты сильно повысился — поступили новенькие: Вовка-большой (4-й класс!) и Наташа (3-й класс). И у нас даже была дискуссия о неком грамматическом правиле!

Вчера с утра у меня все пришло в норму. И температура, и горло etc. И меня больше не лечат. Только — как и всем детям — дают шиповник. Теперь меня будут "выдерживать". Так полагается, чтобы не было осложнений. "В самом лучшем случае, — сказала сегодня врачиха, — мы вас выпустим числа 27-го... Или на парочку дней позже..." "Или на парочку раньше..." — вякнул я, умильно глядя ей в рот. "Нет, только позже!" Черт знает что!

Практически может получиться вот что. В лучшем случае я впаду в детство. Буду играть оставшимся после Людмилы (ее выпустят через 3 дня) попугаем. Но есть худший случай...

Вчера, ввиду наступления нормы, главная сестра принесла мне единственную "взрослую" книгу в нашем отделении "Художественное слово" — сборник стишков и прозы для чтения с эстрады. Так вот я могу выучить эту книгу, а потом беспрестанно читать оттуда гражданам. И меня побьют камнями...

А еще мне, может быть, принесут чтиво. Тогда я сохраню свои способности и напишу тебе еще[72].

Я продолжаю украшать своей особой дифтерийное отделение больницы. Надоело до чертиков! Здоровый мужик лежит среди вякающих младенцев. При этом я напоминаю известную картинку в учебнике естествознания: круговорот воздуха в природе. Дело в том, что рядом с моей кроватью (около окна) стоит на столике некий баобаб в горшке. Так вот я вдыхаю кислород и выдыхаю углекислоту. А баобаб под влиянием поступающих через окно солнечных лучей делает обратное. Тут как-то еще замешан хлорофилл, но я не помню как именно. Совсем как на картинке. Прилагаю баобабий листик, может быть, М. А. определит отряд и семейство.

Умственное мое развитие происходит во всех намеченных направлениях. Я уже два раза играл с попугаем и выучил один стишок Сергея Васильева "Кремль ночью". Но потом сердобольные врачи принесли мне две книги: "Отцы и дети" и "Люди с чистой совестью". И я их сейчас читаю-перечитываю. Кроме того, иногда приносят газеты, но с большим опозданием. Подумай, сегодня 22-е, а я еще не знаю, кого во Франции выбрали президентом! Впрочем, ты верно тоже не знаешь. Или знаешь? Сумлеваюсь.

---

[71] Записка, пересланная Н. М. Леонтович, 13 декабря 1953 г.

[72] Из письма Н. М. Леонтович 18 декабря 1953 г.

Когда лежать надоедает, я встаю. Для этого у меня есть казенная пижама. Штаны в этой пижаме необъятной ширины, причем без какой-либо резинки или тесемки. Я их просто завязываю узлом на брюхе, но они все равно сваливаются. Поддерживая штанцы, я гуляю по коридору, стараясь не наступить в какого-нибудь ползающего младенца. Или захожу в дежурную и общаюсь с сестрами на медицинские темы. Например, я узнал, что, кроме обычных дифтерий зева и гортани, бывает дифтерия глаза! В дежурке стоит телефон, по которому я иногда общаюсь с коллегами. Вот и сейчас я сижу в дежурке и пишу чернилами это письмо-"инструкцию". Может, на днях зайдет И. З. и захватит ее. Следующее письмо, очевидно, отправлю уже сам. А напротив сидит главная сестра и вышивает зайца болгарским крестом. Идиллия. Вид у меня вполне приличный: третьего дня И. З. принес бритву (и взял то мое письмо), так что моя восьмидневная борода уже сбрита. Респектабельность портят только сваливающиеся штаны. Кстати, мне снился страшный сон. Будто я попал в этих штанах на фест к Сашке. Кругом философы-стиляги в серых костюмах и поголовные красавицы-армянки. Злодей Сашка со всеми меня знакомит, а я не могу подать руки, потому как надо поддерживать штаны. Ужасно! Проснулся в холодном поту. Спроси няню, что может означать такой сон.

Однако я сумел занять своей особой целых полторы страницы! Это при полном однообразии больничной жизни. Каково!

Что у тебя? Зашиваешься? Как планируется январь? Мне в больницу писем не передают, так как их тут потом уничтожают (бациллоносители). А я не хочу, тем более что в письме может оказаться что-нибудь документально-фундаментальное. Так что меня дожидается некое количество разных писем. И я скоро узнаю много нового (через 5 дней!). Кстати, мысль. Билеты для Васьки (если их удалось достать), можно оставить у Ягломов. Тогда — телеграфируй мне, а я сообщу папе.

Хоть я и болел, но память по-прежнему в полном порядке. Приветы и поклоны.

P. S. Вернулось с конференции глав. дифт. начальство. Нашла у меня все в порядке и сказала (она — дама): я враг либерализма и буду держать вас до 2-го. Я заплакал, но она осталась неумолимой. "Это мои подчиненные — либералы, а я — зверь!" Все потому что я большой![73]

Из-за отсутствия бумаги пишу на обороте мужичьей челобитной. У нас — полная военно-медицинская диктатура. Всем бывшим ходячим велено лежать пластом и не велено рассуждать. При встречах с начальством я говорю что-нибудь вроде: "Вы — наши отцы, мы — ваши дети" или "отчего мужика не посечь..." За такое отменное подхалимство и примерное поведение меня, может быть, отпустят не 2-го, а 1-го или даже 31-го! Мораль ясна. За это время я два дня болел сывороточной болезнью. Ею положено болеть всем, особенно страдают блондины (а рыжие в превосходной степени), которые маются и бурно, и долго. Болезнь эта состоит в том, что ты (в данном случае — я) или чешешься, или стараешься не чесаться. Чем я с успехом занимался, попивая в перерывах хлористый кальций.

Что говорит Москва (!) о моем дифтерите? Или Сашка никого не встретил в консерватории? Как перенес Кот такое известие? Вам бы собраться да отслужить молебен о моем здравии... Хотя я пока и так пребываю в добром здоровьи и твердой памяти.

P. S. Баобаб оказался лимоном. О французском же президенте все еще ничего не знаю. В газете прочитал только, что в Молотовской области играют Лопе де Вегу под баян[74].

---

[73] Из письма Н. М. Леонтович 22 декабря 1953 г.

[74] Из письма Н. М. Леонтович 25 декабря 1953 г.

Вместе с Белянским я отправился осматривать "Дом, который построил Джек". Пошли до почты пешком, а оттуда на автобусе почти до самого дома (видишь, как я берегу сердце!). Демонстрировал дом сам комендант общежития, являющийся по совместительству и нашим начальством. Дом вполне правильный: стены в обоях, пол без щелей, сырости нет, розеток тоже.

Попутно комендант разрешил и основной философский вопрос, сообщив нам, что у него имеется персональная уборная (про себя я тут же назвал ее комендатурой), к каковой он нас и прикрепляет. До нас такой чести удостоился только директор, раньше проживавший в женском общежитии. Гордись мужем!

На обратном пути мы заглянули на толкучий рынок, где Белянский купил себе плюшевую скатерть, а я — "Давида Копперфильда". Кто умнее?

Вернувшись домой, я стал отвечать на письма. Привожу интересующие тебя места.

Мишке:

...о своих намерениях и возможностях пишите мне уже в Москву по адресу: Москва, 98 etc. Нат. Мих. Леонтович (можете считать это "официальным сведением")...

Женьке:

Д-7-etc — телефон Леонтовичей. Последние годы я ходил в горах вместе с Наташей Леонтович. Она провожала меня в день отъезда. И тут даже ты был бы лишним. Надеюсь, ты рад этому, ты ведь всегда хотел моего счастья.

Мих. Мих.а я поблагодарил за второе поздравление, сообщил, что пожелания (супруге!) переданы по адресу, а затем выписал такую цитату из Мельникова-Печерского: "А жену называют у нас фамилиею ради деликатства; знаете, сказать жена — по-мужицки будет, сожительница — по-купечески, а супруга — слишком высоко, куда уж нам, михрюткам этаким, супруг иметь. Так вот и зовется фамилиею — это, знаете, по модному"... и добавил, что михрютка есть уменьшительное от нашего благородного имени.

Вечером с тем же Белянским ходил в кино: "Честь товарища". Голубая мура — Чарская в галифе.

А сегодня с утра был в дирекции. Сперва общался с ЭКаХой. После долгого и ненужного разговора он все-таки оттяпал 12 дней и написал на полях моего заявления проект приказа: до 6 марта я числюсь в творческом отпуску, а с 8-го по 20-е в очередном, причем если летом заочников поделят без меня, то эти 12 дней тоже станут творческими, а весь отпуск будет летом. Во всяком случае, до 20 марта я в Москве.

Затем я был у директора. Он благосклонно прочел мое заявление, сказал, что на неделе отдаст общий приказ о творческих отпусках (еду не я один, только другие на меньшие сроки), а потом сообщил, что получил запрос из московского пединститута, в котором, во-первых, интересуются историей моего появления в Тюмени, и, во-вторых, просят сообщить все, что так или иначе меня компрометирует (здорово!? Каков гусь Куприянов). Запрос пришел во время моей болезни. Было отвечено: 1) что поступил я по конкурсу... 2) ничего компрометирующего меня нет, напротив, я добросовестно отношусь к своим обязанностям, читаю лекции на высоком уровне, двигаю вперед науку и лихо охраняю труд и технику безопасности.

Директор посоветовал мне лично поговорить с московским начальством и обещал всяческое содействие. Чувствуется, что он действительно хочет, чтобы в его институте был доктор... Хотя наши желания не вполне совпадают (впрочем, его ведь могут перевести в подмосковный вуз), но сегодня сам он мне вполне понравился.

Вот, кажется, и все выдающиеся события этих дней[75].

Сегодня дир., зам. дир. и парт. сек. решали вопрос о научных командировках. В результате стараниями последнего мне вставили в срок с 17 янв. по 20 марта 24 дня

[75] Из письма Н. М. Леонтович 11 января 1954 г.

очередного отпуска. То есть летом у меня будет только месяц. После такого свинства я, конечно, имею все законные основания добиваться того, чтобы после лета меня самого не было в Тюмени. Я был на этом совещании – приеду расскажу, а писать неохота: лучше уж описывать философа в павильоне.

Чтобы восстановить веру в человека, я прямо из института пошел в кино: "Неаполь – город миллионеров". Очень хорошая картина. Особенно мне понравился теленок, замаскированный под ослика. Перед картиной был журнал: Ворошилов вручает ордена. Ужасно мило! Со старичками Кржижановским и Гольденвейзером он обнимается и целуется, причем у Крж. сбивается на бок академическая ермолка, и то он, то К. Е. ее поправляют. Удивительно человечно и симпатично.

В институте было совещание о работе молодых преподавателей. Пред. месткома сказала: "Как контролировать преподавателей инфака? Мало ли что они говорят студентам на своем иностранном языке!"

А когда я был у директора, туда ворвалась пожилая "англичанка" Кощеева и стала требовать, чтобы ей сменили комнату: сосед, когда работает (он – ОМЛщик), напевает неприличные песни. – Он что, громко поет? – Нет, но у нас такие стенки, если приложить ухо, то даже шепот слышно!

Тут я фыркнул, она смешалась, но тут же нашлась:

– Но ведь он не шепотом поет, так что незачем и ухо прикладывать.

Так приятно, что скоро все эти институтские дела и делишки останутся позади. Может быть, даже я опережу это письмо[76].

Я приеду раньше этого письма, но зато оно придет, когда я буду в Рязани...

Письмо будет абсолютно интеллектуальным. Ведь о тюменских новостях и событиях ты узнаешь раньше от мужа дочери моего учителя (кто бы это мог быть?). Вдобавок, я принимаю сейчас экзамен, дико тягучий и медленный. Вчера Варвара Карташова сказала, что у нее есть студенческий альбомчик с английскими стишками. Нынче утром она его принесла. Так вот, пока студенты готовились (почему-то первыми сегодня пришли самые слабые), прошло полтора часа, и я успел перевести единственное жемчужное зерно, найденное в этом альбомчике. А потом пошли просветы между ответами, так что я не спеша перебелил для тебя перевод, переписал текст оригинала и вот пишу письмо. Беда в том, что вчера начальство ловило шпаргалочников, кого-то поймало и распорядилось, чтобы одновременно готовились не больше 3 человек. А я спрашиваю быстро – вот и получаются разрывы. Недавно заходил декан, спрашивал, не шпаргалят ли? Я показал ему сломанный лорнет и повторил ответ Сэма Уэллера судье (помнишь, насчет сверхмикроскопов).

Теперь я буду комментировать перевод. Ладно? Перевод, конечно, слабый, но мне хотелось поспеть раньше студентов – тут уж не до отделки! Перевод – вольный. Во-первых, у Честертона рифмуются подряд первые 4 строки, а у меня попарно. Это не от лени подбирать рифмы, а совершенно сознательно: по-моему, 4 строки в одну рифму действуют усыпляюще. Правда, так рифмовал Руставели, но я не могу прочесть более двух страниц подряд нового перевода "Витязя", а старый – бальмонтовский – с измененной системой рифм могут читать даже несовершеннолетние. Несмотря на общую бальмонтовскую небрежность и разухабистость.

Во-вторых, я переделал последний секстет. У Честертона не все понятно (что такое *PSA, Eisteddfod*?), а что понятно – звучит лишь для английского читателя, да еще двадцатых годов, когда, верно, был написан стишок. Вот я и решил слегка русифицировать текст. Маршак и не такое делал!

---

[76] Из письма Н. М. Леонтович 13 января 1954 г

По той же причине я переменил порядок Ноевых блюд. Слоновий суп по-русски не звучит ("Ной ел суп со слоном" – тоже плохо: можно подумать, что они вдвоем хлебали из одной миски). У нас вообще редко говорят, какое мясо положено в суп. А для англичанина это звучит как пародия на Черепаховый Суп (см. Алису!). Наоборот, и у англичан, и у нас рыба на второе обычно идет без названия. Но у нас всегда говорится, из чего сварена уха. Поэтому перемена блюд вполне уместна. Тем более, слоновий бок с кашей вызывает мощные ассоциации. Мне даже кажется, что у меня еды звучат куда эффектней, чем в оригинале.

Так как *Matterhorn* понятен только для эрудитов вроде Сашки или Андрея, то и он заменен (вместе с *Mendip mine*?) общеизвестными понятиями.

Наконец, если исполнитель будет под надлежащим градусом, то последнюю строку он может читать так:

Мне наплевать, куда льется вода... etc.

[*См. стихотворение "Вино и вода", с. 365*]

Я совсем замучил тебя псевдоучеными комметариями? Прости.

Экзамен кончается – осталось 3 человека.

На закуску – частушка:

Милый пишет из Тюмени,
А я знаю тем не менее:
Он сейчас сидит в Рязани –
Не любовь, а наказанье![77]

Итак, я приехал в Тюмень. Умылся, побрился и сейчас пойду ужинать к Белянским. Со своим вином – той бутылкой, которую ты привезла – в мое отсутствие она не раз была предметом обсуждений и предвкушений.

Пока мне начерно успели сообщить только одну новость. Наш сосед по финскому домику – "тихий большеголовый химик" Цеханский – на прошлой неделе запил и середь ночи гонялся за женой с топором. Черт знает что такое! Пока мы ужинали, пьяный Цеханский дубасил в стенку кулаками (слава Богу, у меня с ним только общее ребро!), а потом прибежала вся в слезах его жена...

У нас тут случилось страшное событие: в субботу убили студентку 3-го курса инфака Галкину. Два ее брата – бандиты, и сейчас сидят. Сама она, учась в школе, якшалась с компанией своих братьев, а потом порвала. Думают, что убийца или мстил, или боялся, что она может выдать. Во всяком случае, она – умирая в полном сознании – никого не назвала и ничего не сказала. Завтра будут хоронить. Начальство и тут сумело отличиться: руководящие городские органы сочли неуместным, чтобы похороны были от института ввиду темных обстоятельств смерти. По-видимому, аналогичными соображениями руководствовалась церковь, хороня самоубийц.

Все, конечно, потрясены этой историей. Не унимается только Цеханский. Оказывается, в ту ночь на виду у всего общежития (решившего, что это громилы) он рубал топором наружную дверь Аникина, куда укрылась его жена. А когда Аникин и Белянский вызвали милицию – благо отделение рядом – он гордо заявил: "Прежде всего запишите: я член КПСС, а они отсталые элементы и чуждые люди!" В результате он получил "строгач", снова запил и сегодня ночью испускал тарзаньи крики и перебил всю посуду. Днем же – когда люди были заняты организацией похорон – устроил в лекторской митинг а-ля-фуршет, плакал, бил себя в грудь и вдруг закричал: "Аникин соблазняет мою жену! Поэтому я и пью!!" Мерзко и противно. А рядом ревут девчонки из группы Галкиной[78].

---

[77] Из письма Н. М. Леонтович 15 января 1954 г.

[78] Из письма Н. М. Леонтович 21 и 23 марта 1954 г

А я только что всухую принимал гостя. Кого? Самого коменданта! Эти два дня я выбирался домой раньше и — только успеешь разбивуачиться — пожалуйста, комендант жалует в гости! Конечно, ему нелегко круглосуточно вращаться промеж дам — вот он и ходит по гостям. То к Аникину, то к Белянским, а вот эти два дня ко мне. Сперва молчит. Минут 20. Потом начинает разговор о своем здоровье. "Дескать, не могу низко наклонить голову — нервы не пущают. У меня в подзвоночнике нервы укоротились (хорошо, что я все-таки прочел Будденброков!), и поэтому голова до конца не наклоняется. А настоящего врача, чтобы насчет подзвоночника, в Тюмени нет".

Обзвонив свой подзвоночник и дельта помолчав, он переводит разговор на институтские темы. Не ценит его директор, нет, не ценит. Не создает авторитета. Скорее, подрывает. Например, дней 10 тому назад утром в часы "пик" какая-то девица для экономии времени заскочила не куда ей положено, а в "комендатуру". Комендант — рапорт директору. А тот — представь себе! — оставил без внимания. Каково!

"Или вот. Я им не велю солдатов в общежитие приводить. Они мне кричат: ты тут монастырь хочешь устроить! Я им на это: а вы — публичный дом? Они возьми и пожалуйся директору. Я ему толком объясняю: они меня первые монастырем оскорбили, а я их уже потом в ответ. Так что винить меня нечего. А он не понимает. Говорит: монастырь не оскорбление, а публичный дом — видите ли — оскорбление, а почему — сам объяснить не может. Смех".

Потом я зван на обед. К Изе! Раньше он снимал за 200 р. маленькую комнатку у старинной знакомой своих родителей. А теперь он снимает за 150 р. хорошую комнату у прежде совсем не знакомой русской дамы, которая вдобавок варит ему по желанию обед из его продуктов (практически по воскресеньям). В связи с этим (бытие определяет сознание!) Изя стал отчаянным юдофобом, а мне приходится умерять его погромные порывы.

Кстати, он рассказал мне свердловский анекдот про ГУМ. Посетители ГУМа — гуманисты, бывают трех сортов:

1) гуманисты-морганисты ходят около прилавков и только моргают...

2) гуманисты-утописты надеются купить шерсть...

3) гуманисты-реалисты покупают нужное за углом ГУМа у спекулянтов...[79]

Телеграмма от папы:

"Со дня на день жду полета Казань связи решения освобождения дальнейшего пребывания больнице. Подробности письмом".

До чего ж хорошо! Я, конечно, не усидел дома — пошел бродить. Ходил, улыбался небу, снегу, тюменским домам. Думал о будущем. О нас. У меня очень счастливая жизнь, и это потому, что ты любишь меня. А сейчас, когда свалился такой камень, когда такое вышло счастье, еще лучше видно и просто ощутимо, как чудесно нам будет эти 50 лет. Ты ведь все знаешь и все понимаешь...

Мне сейчас очень трудно писать толком: сегодня был ужасный день — 6 часов лекций, а потом 6 часов заседания совета при моем ученом секретарстве. Только что пришел домой, а на часах полдвенадцатого.

Завтра опять такие же, а вот послезавтра легче. Так что следующее письмо будет правильное. Но ведь это не так важно. Ты понимаешь и без слов, как мне сейчас. Ведь только ты знала, как мне было без мамы...[80]

В Москве происходит что-то хорошее — это я знаю. А что именно — не знаю. Небось завтра придет папино письмо. А ты все знаешь. Потому что ты в Москве. Думаю, что

[79] Из письма Н. М. Леонтович 27 марта 1954 г.

[80] Из письма Н. М. Леонтович 29 марта 11.55 вечера 1954 г.

мама сейчас уже или в Москве или в Рязани. Главное, что не в Казани – остальное не столь важно.

Теперь по порядку о моих новостях. На ученом совете я сидел рядом с директором и вел с ним под сурдинку президиумиальный разговор. Он сказал, что новую х-ку мне сделают без промедления. Потом: "Вас, конечно, будут приглашать в другие места. Может, Вы сами об этом подумываете. Но сейчас мы Вас не отпустим и будем драться за Вас. И в нашем м-ве и в М-ве высшего образования. Хоть пару лет Вы должны у нас поработать доктором". Я, натурально, слушал и молчал. Так что выбираться придется с боем. Впрочем, это было ясно и раньше.

Кстати, о языке. Аникин провел на 4-м (выпускном!) курсе факультета литературы и языка (!) диктант 7 класса по трудности. Результат: из 37 чел. 2 – двойки, 35 колы. Минимальное число ошибок – 9, максимальное – 31. Через полгода эти люди будут ставить отметки за сочинения в 8–10 классах. Аникин в ужасе, но начальство спокойно: студенты назубок знают все решения и постановления о повышении качества обучения. А выпускной диктант с какого-нибудь раза напишут – в прошлом году было 8 передиктовок.

Так как заседание длилось 6 часов, а я сидел в президиуме и вел протокол, то особой траты серого вещества не было Если не считать небольшого, но гениального вклада в языкознание. Я вскрыл классовый смысл хеттского слова панкуш (парламент), о котором Комка (Вяч. Иванов) написал свою диссертацию. Смысл такой

панкуш = пан + куш,

т. е. члены парламента – паны, причем все взяточники и хапуги. Правда, убедительно? Но я не гонюсь за славой и плюю на приоритет. Напишу Комке – может, ему тогда сразу дадут доктора ихних наук[81].

Вчера я облагодетельствовал целый институт. Кассир ушел в банк, и все ждали получки. Я возвращался из "Сибири", и ко мне подскакивает наш главбух: "М. Л.! Огромная просьба!!" Оказалось, что в это время финансы института ревизовались неким фин-чином, от которого зависело, дадут нам сейчас в банке денег или нет. А чин этот – заочник московского фин-института, и ему надо сделать две контрольные: по анализу и по теории вероятностей. Сам же он ни бум-бум. Дальнейшее понятно. Жаждущие получки смотрели на меня (когда я шел в кабинет главбуха), как смотрят родственники тяжело больного на знаменитого профессора-хирурга. Слава Богу, чин оказался хорошим парнем, я в полчаса нащелкал ему с удовольствием 12 задач, и он распорядился выдать деньги, хотя наше бух. хозяйство было и не в полном порядке (Кстати, есть такое понятие: бухгалтер-аналитик – высший класс бухгалтерии, так сказать, Наполеон). Насколько я понимаю, благородный чин желает меня угостить напитками, чего я обратно не желаю. А еще он может всегда достать билеты на любой поезд. Это уже лучше.

По дошедшим до Тюмени непроверенным слухам новый министр высшего образования сказал. "Я хочу, чтоб у каждого кандидата наук по воскресеньям была курица в супе".

Во исполнение этого министершего пожелания сегодняшний второй традиционный обед у Изи был насквозь курицын. На первое – суп куриный с рысью (как сказано в Сологубьем Тарантасе), на второе – жареная кура с жареным же картофелем. Вкусно! Между прочим, Изина хозяйка – мощный садовод-мичуринец. У нее какой-то потрясающий сад, а в комнате на подоконниках стоят в обыкновенных (не торфоперегнойных) горшках среди прочих злаков и дерев маленький кипарис и маленькая туя. И она знает про растительные семейства не меньше, чем сам М. А.!

[81] Из письма Н М Леонтович 31 марта 1954 г

Так как сейчас Тюмень утопает в водах и грязях, а резиновые сапоги находились у старой Изиной хозяйки (сегодня мы их забрали), то с утра я гулять не пошел. Читал неслыханный роман Фенимора Купера "Моникины". Нечто гулливероподобное: автор попадает в страну обезьян в Антарктике и наблюдает тамошние нравы и обычаи. Вещь не слишком сильная — о сравнении со Свифтом, Щедриным или Франсом говорить не приходится. Но очень хорош эпиграф из Дон Кихота. Настолько хорош, что я выписываю его полностью:

"— Так ты знал ее? — спросил рыцарь.

— Я — нет, — ответил оруженосец. — Но человек, который рассказывал мне эту историю, считал ее настолько достоверной, что я, по его словам, могу, пересказывая ее, клясться, будто видел все своими глазами".

Что же касается интересующего тебя кандидата хим. наук Цеханского, то он сам попал как кур во щи: вчера директор подписал приказ об его увольнении. На днях он уедет. Поэтому происходит легкая распродажа лишнего имущества. Сегодня все соседи поочередно приглашались к Цеханскому, где подвергались уговорам. В частности, меня он уговаривал купить кастрюли, корыто, тумбочку, трюмо, топор (!) и маленький круглый стол. Я купил круглый стол (40 р.), дабы поставить его в кухне. Стол сработан нашим комендантом (с укороченными нервами), что сообщает ему (столу) дополнительный шарм.

А мармит — слово абсолютно приличное (иных, как тебе известно, я даже не знаю). Это — вокзальная штучка с большими кастрюлями для горячих харчей и боковыми стеклянными ящиками для холодных харчей и водки. Видела? Интересно, откуда взялось такое слово. мармит, мармитка? Что-то среднее между мормоном и маркитанткой. Покойный Маяковский мог бы петь:

Ты — мой мармит,
Я — твоя мармитка.
Приходи со мною пить
Разные напитки![82]

Нынче в лекторской зашел разговор о доме на улице Урицкого и его обитателях. А потом, идучи обедать, я на ходу общался с нашей саксой — Соней Метлиной (Софьей Ивановной!), которая бывает в бывшей Белянской комнате. И она сообщила мне нечто о моем наследнике Борисе Фоминых. Говоря кратко, это "нечто" сводится к следующим трем утверждениям (привычка — вторая натура, и я, следуя примеру М. Ю. Л., переложил их на рифмы):

Борис Иваныч Фоминых
Любил пощупать фам иных.

И прелести шершавых фам
Расписывал он по графам.

Но приходили фамы в ярость
Узнав про эту фамильярность.

Кажется, факты точнее рифм. Первое утверждение не нуждается в комментариях; как сказал в свое время М. А. о друге двух Саш: и в Москве, и в Мокром эти вещи понимают одинаково. Второе же утверждение означает, что у Фоминых имеется разграфленная тетрадь, куда он записывает качества и стати приглянувшихся ему фам, прогнозы на успех и конечные результаты. Так сказать, приходно-расходная книга провинциального Дон-Жуана. Книги этой пока никто не видел, но Фоминых, подвыпивши, похвалялся. Удивительно, до какой степени может иссукинсыниться человек! А ведь парню всего 23 года. Что касается третьего утверждения, то оно означает вот что: когда подвыпивший

[82] Из письма Н. М. Леонтович 6 апреля 1954 г.

Фоминых сообщил Метлиной и еще одной девушке (дело было на вечеринке), что они занесены в "книгу" (какая честь!), он натурально тут же схлопотал по морде. Как с одной, так и с другой стороны. Правда, молодцы![83]

Валерка и Юлька, дорогие друзья!

Я тут совсем замотался и целую неделю никак не собрался ответить. Сидел в институте по 12 часов – у нас в Тюмени сейчас грипп, и приходится замещать болезных. Сегодня первый свободный вечер – предпраздничный, и, как 10 лет назад (ровно 10!), думается о скорой встрече. Только теперь она будет радостной.

Отец привез маму 5 апреля. У нее куча остаточных явлений, в частности психические, но в Рязани все постепенно должно пройти – так пишет отец. Дай бог. Насколько я могу судить по отдельным фразам в письмах (главное письмо отца с изложением обстоятельств до меня не дошло), маму сактировали по здоровью. Так что впереди еще куча хлопот.

Ну вот, а теперь о себе. Не мне вам объяснять, как трудно писать после 9 лет молчания, особенно когда о многом не напишешь. Тут поневоле охромеешь.

Начну с настоящего. Живу я в Тюмени почти три года, читаю умные лекции глупым и невежественным девицам – чем и зарабатываю на хлеб себе и родным. Конечно, хотелось бы заняться настоящим делом – не подпускают. Вот и утешаюсь некими холодно-абстрактными теориями. Скажем, вроде сонетов и рондо супротив теперешной поэзии. Диссертация (она докторская) поинтереснее, но это потому, что она делалась 5 лет тому назад, когда я еще был как-то связан с физикой и физиками. А в Тюмени мои коллеги разрабатывали и -вают проблемы вроде. "Физический кружок в 6-м классе". Есть о чем поговорить!

Студенты (и -тки) меня любят, ибо я их не слишком мучаю на экзамене и по возможности рассказываю интересные вещи. Как это ни странно, но у меня есть некий педагогический талант – в Горьком я даже получал удовольствие от чтения лекций. Но о Горьком в другой раз. Что же касается любви, вызванной другими моими качествами, то сейчас это меня не занимает. Потому что хоть в одном мне повезло – у меня чудесная жена. Вот уже скоро год. Оглашения, правда, не было – по причинам тактическим, но от вас мне грех таиться. Наташе 20 лет (разница лет, как у Пушкина, но вы все равно скажете: старый черт!), и она обучается в МГУ математике (нечто байроническое). Так что пока мы видимся не так уж часто. Надо ли говорить, что на вас она смотрит моими глазами. Ах, до чего хочется самому посмотреть на вас своими глазами!

Вместо этого смотрю в окно на наших студенток и их кавалеров. Ведь наш дом (финско-тюменский) воздвигнут во дворе институтского общежития (80% студентов – девицы), и весь кобеляж курсантов соседнего пехотного училища попадает в зону прямого видения. Скоро начнутся выпускные свадьбы: училищный духовой оркестр + полковник и наш директор в качестве посаженых отцов.

Сам домик сооружен зимой, на скорую руку и довольно паршив. Барачных свойств стены, фанерная акустика, и все на честном слове. Но зато хоть комната и кухня с отдельным входом. Из-за всяких недоделок его до сих пор не приняла главная комиссия, почему он и не занесен в поулошную книгу, а мы не платим пока податей. Адрес у него есть: Казанская ул., 14а, кв. 1... но не слишком хорош – письма проходят через руки коменданта общежития (14 без а), а у него любопытная жена...

А каково ваше жилье? Ел. П. пишет [*Елена Петровна – мать В. С. Фрида*], что вы переехали в свою халупу. Что это такое?

Отпишите про задуманную пьесу. Если, конечно, охота. Может, вам нужны какие-нибудь книги и проч? А? ...На днях я зашел в нашу биб-ку поискать послевоенный сборник Я. С. [*Ярослава Смелякова*] И что ж? Он уже месяца три не возвращается на полку –

[83] Из письма Н М. Леонтович 8 апреля 1954 г.

переписывается с абонемента на абонемент. Литфак у нас самый умный факультет. Книги же там читают цепной реакцией: одна прочтет, а потом наваливается весь курс.

По соседству с поэтическими полками стояли томики сочинений Фаддея Булгарина (1832 г.), а еще дальше – "Избранные сценарии советского кино". Среди них и сценарии, записанные по фильмам М. Роммом. Хорошая формула! Интересно, это его изобретение или, может быть, раньше в немецких хрестоматиях печатали Лорелею по записям с патефонной пластинки?

Ты спрашивал о Горьком. Что сказать? Ну, я работал там 5 лет, год был безработным, жил с Таней, после истории с мамой жил один. Все эти 6 лет в Горьком была Нина. Но ведь об этом обо всем на бумаге не напишешь! Вот увидимся, тогда расскажу все как было. Если ты захочешь. Я знаю – ты захочешь. Что ж – просидим, как бывало, ночь. А о собственной моей жизни в Горьком я, конечно, напишу, если хочешь. Только боюсь, это для тебя не так уж сейчас интересно.

Что у вас там есть хорошие умные люди – это очень здорово. А есть ли настоящие женщины? Настоящие, а не просто девицы для контакта. Чтоб можно было и душу отвести.

Не обращайте внимания на некую нудность моих писем и пишите. Чаще. Ладно? Напишите про здоровье. Особенно Юлькино.

Крепко обнимаю вас и целую.

Ваш Мишка.

Юлик! Черкни хоть 3 строки своей рукой![84]

А у нас сногсшибательная новость. К нам едет ревизор. Как? Так. Из Москвы. С предписанием. Причем не инкогнито, а вполне когнито: Суворов! Не какой-нибудь генералиссимус или гуманный внук воинственного деда, а сам С. Г. Суворов – гроза Копенгагена и Пасадены, покоритель Вены и Ростока! Подробнее о нем спроси у папы – что узнаешь, напиши мне – интересно. Сегодня утром Хиля официально сообщил бабе Капе, что числа 5–6 мая к нам на месяц (!) приедет Суворов. Выяснять политехнизацию физики и вообще. Почему? Дело в том, что в Москве было про это совещание. Там выступил Торкин. В легком подпитии. И сказал, что в политехнической подготовке учителя Тюмень оставила позади другие педвузы (в том числе и московские), что и составляет содержание его (торкинской) диссертации. Я видел картинки к его диссертации работы Васильева. Сплошной габер-суп, имеющий мало общего с известной тебе капустой! Вот Суворов и едет перенимать опыт! Представляешь, какой будет скандал и в какой панике начальство? Сегодня после лекций учинили срочное заседание кафедры с участием Хили. Баба Капа сказала: "Вам хорошо, М. Л., у вас столько формул, а нам-то каково? Но и вам следует принять меры: заклеймить в присутствии гостя физиков-идеалистов. Он (Суворов) ведь про всех все знает: от Ньютона до наших дней".

Хиля добавил: сейчас страна отмечает 300-летие воссоединения Украины. Надо бы откликнуться и на это. Дальнейшее сильно смахивало на 1-й акт "Ревизора". Разметали заборчик, устроили выставку одноламповых приемников etc, etc.

Я натурально веселился и даже – вспомнив, что пиит Хвостов был племянником того Суворова – сочинил обрывки вирш вроде:

И публично, и келейно
Нам придется очень скоро
Лить помои на Эйнштейна,
Звать собакой Нильса Бора

[84] Письмо В. С. Фриду и Ю. Т. Дунскому из Тюмени в Инту 29 апреля 1954 г.

или

С начальством не борись,
Поль-Адриен-Морис

или

И Галилей, и сэр Исак
Несли Суворову ясак

или, наконец,

Великому Богдану
Несем почтенья дань
А гаду-Иордану
Мы учиним Иордань –

в смысле опустим в прорубь!

А так – это довольно противно, что приезжает такой гусь. Будет ходить на лекции, придираться, требовать идеологии etc. Мне все-таки не верится, что сам Суворов поедет на месяц в Тюмень. Может, обойдется[85].

А я проводил эти дни вполне прозаически. Вчера с утра моросил легкий дождичек, под который мы и демонстрировали мимо известной тебе трибуны. Впереди мы – научные работники (именно, а не преподаватели – так сказал сам Гуляев), потом пофакультетно студенты. Литфак возглавлялся дивчинами и парубками с цифрами 300, а наш физмат нес большой глобус, на котором стояла синяя (от холода) полуголая девица в очках. С глобусом была целая история. Когда он уже был совсем готов, начальство указало на непорядок: Африка > СССР. Мастеровые стали ссылаться на справочники, но ничего не вышло. Пришлось утопить часть Африки в соседних океанах, а территорию СССР, наоборот, округлить за счет соседей. Теперь ты будешь знать, как фактически перекраивают карту мира.

Наконец под вечер пришел домой. А на крыльце дожидается Аникин. Они с Борькой пригласили 2 каких-то прекрасных поселянок и нужна посуда. Выдал. Аникин все время бормотал: "Ты прости, М. Л., что я тебя не приглашаю, но они очень пугливые и при появлении незнакомого человека могут убежать". Так я и не видел этих прелестниц. Через час Аникин зашел за вилкой и снова долго-долго извинялся. Мне даже стало любопытно, но ничего не поделаешь: не спугивать же гостий.

Пугливые поселянки часов до 2 орали песни и частушки, пили шампанское и водили с хозяевами хороводы. Заснул я под крики Аникина: "А теперь пусть Борька пойдет вприсядку!"

Вот как твой безалаберный муж провел 1 мая. Под звуки плясок и песен из-за стены он читал "Народные драмы 17–20 вв.". В общем мура, но есть забавные места. Одно, например, выдержано полностью в стиле тюменского галантного разговора:

Богиня (поет):

Любила я, любила я
Гусара одного;
Теперя я, теперя я
Осталась без него...

(увидев Гусара, перестает петь и вскрикивает)

О боже, мечтания прелестные...

[85] Из письма Н. М. Леонтович 30 апреля 1954 г.

Гусар:

Позвольте мне час с вами любовью
наслаждаться, прелестная Богиня!

Богиня:

Можете, душечка, можете...

Правда хорошо?[86]

Купил хлеба, поел и до 11 не вставал. В 11 во дворе появились какие-то пижоны в шляпах, оказавшиеся при подробном рассмотрении Директором и Гуляевым. Сперва они зашли в общежитие, а потом посетили и нас, грешных. Посмотрев мои покои, начальство заметило: для холостяка порядок хороший, но чувствуется отсутствие женской руки. Придется поставить этот вопрос на Совете, раз сам не женится. Я молчал в тряпочку. Затем начальство посоветовало переменить обои (такие отпугнут невест) и отбыло к Аникину, где лицезрело Андрея и Борю среди остатков вчерашнего феста. По контрасту оно должно считать меня теперь полным аскетом и игуменом. Как ты думаешь?[87]

Сегодня ночью выпал снег. Много — сантиметров 8. Прямо хоть на лыжах ходи. Все белым-бело, стоят пушистые деревья, и мальчишки вместо пристенка играют в снежки. А у вас? Не замерзли ли вы ночью на лодках, милый? Днем, конечно, все растаяло, с крыши натекла вода в почтовый ящик, и газеты были совсем всмятку. Намокло и письмо из Рязани, но только конверт.

Папа пишет вот что. В ту субботу (24-го) он был в Москве, общался с очень мощными юристами и, получив вполне авторитетную консультацию, начинает действовать на предмет полной реабилитации: 8 мая он выедет в Москву с соответствующими заявлениями и суммами для юристов. Насколько я понимаю — это дело весьма денежное — так что хорошо, что у меня лежат тысячи на срочном вкладе. Дай-то бог все получится. Меня очень радует тон папиного письма — "считаю, что моя поездка удачна" и т. п. Еще папа говорил с Котом. Тот сказал, "что будто бы на июнь намечена защита, но это возможно лишь, если в начале мая будут все три отзыва". А вдруг? Рытов уже написал. Может, и Малов с Фельдом расстарались. Но это все я узнаю послезавтра от тебя. Вот здорово бы было, если бы я в начале июня прикатил в Москву![88]

...И потом меня расстроил Борисевич. Он слушал наши препирательства с Хилей (мы — баба Капа, Белянский и я), а спустя часа два на перерыве сказал мне:

— Вам, М. Л., надо защищаться и уходить. Какая вам радость сидеть тут?

Я уклончиво ответил, что уходить пока не собираюсь И спросил: почему он говорит о сперва защите — ведь теоретически мыслим, скажем, такой вариант: летом я ухожу, а в сентябре-октябре защищаю (все это я изложил лишь как кинематически возможный случай).

— Ан нет, — заявил Борисевич, — если вы уйдете, то дирекция пошлет (а Хиля обязательно так поступит!) письмо в МГПИ, аннулирующее выданные документы, и защита сорвется. На новом же месте вам дадут к-ку не раньше, чем через год.

Я подивился: ужель дирекция способна на такую подлость.

— Хиля вполне, — ответил Борисевич, — лет пять тому назад из и-та ушел один

[86] Из письма Н. М. Леонтович 1 мая 1954 г.
[87] Из письма Н. М. Леонтович 2 мая 1954 г.
[88] Из письма Н. М. Леонтович 4 мая 1954 г.

недокандидат, и Хиля послал вдогонку письмо, что тот-де дезертир с педфронта (а вы тоже защищаете в Пединституте!), и защита сорвалась.

Вот почему я так разозлился на упомянутую Лидию: обидно, прорвавшись сквозь Куприянова etc., запороться на глупой секретарше. Особенно теперь, когда папа надеется, что его новые хлопоты приведут к успеху.

Что же было сегодня. В институте все кончилось к трем, и после обеда (там же! такого же!) я сидел дома и табулировал для Рытова. Плохо, когда нет арифмометра. Особенно трудно вычитать! Так что придется тебе ждать следующего письма. Потерпишь?

Вдруг приходит комендант. Надо подписать счет за дрова (кстати, своим преподавателям институт продает дрова за двойную цену против казенной!). Подписал. А он не уходит, мнется, сопит, а потом говорит: что ж теперь делать? А что? Оказалось, вот что. Поклонник одной студентки, сидя у нее в комнате, или чем-то ей досадил, или как-то не так себя повел (детали не известны). Она взбесилась, схватила его пояс (военный), выбежала вон и кинула этот пояс туда, куда отваживаются спускаться лишь философы. Вот какие бывают сильные чувства! (Я тебе рассказывал горьковскую историю с часиками?). Однако парень не может без пояса возвращаться в училище. Поглупев от такого горя, несчастный курсант пришел к коменданту и сказал, что без пояса он от него (коменданта) не уйдет. Так он и сидит в 23-й комнате.

Это было часа два тому назад. Что там сейчас — не знаю, новых сведений не поступало[89].

А папино письмо опять грустное. С работой все так же. Поэтому он думает, что Тучково — это нереально. Посмотрим. Вчера я говорил с ним по телефону. Он сказал, что консультант вполне одобрил его сочинение, и оно пошло в ход. Дай-то бог.

Прочел "Дочь прокурора" Яновского (мура) и "Годы странствий" Арбузова (есть изюминка!). И еще прочел стандартный фельетон про то, что режиссеры дают молодые роли своим пожилым женам, затирая юные дарования. Но в фельетоне есть одна действительно смешная вещь. Учительница задала на каникулы прочесть "Бесприданницу" и изложить ее своими словами. А двое лентяев вместо чтения пробрались на репетицию в городской театр. Посмотрев прогон пьесы — без костюмов и грима — с женой глав. режа в роли Ларисы, они накатали такое сочинение.

В условиях капиталистического общества, растущего обнищания трудящегося класса и загнивания морали гибнущее общество вконец разлагается и приходит в упадок — пьет шампанское из чайника, ездит на острова нещадно эксплуатировать цыган и живет только во имя наживы. Для наживы используются самые звериные способы, как это талантливо показал нам великий драматург — излюбленным методом увеличения богатств была женитьба на богатых старухах (так называемых "бесприданницах").

Но уже в то мрачное время существовали отдельные светлые личности, которые поддавались всеобщим порокам только в силу своего капиталистического окружения, убивающего все живое в человеке. Вот, например, Паратов. В свое время он решил закрыть глаза на старость и уродство Ларисы Дмитриевны и, желая, конечно, увеличить свои доходы, сватался к ней. Но положительные стороны его характера восторжествовали, и он благоразумно скрылся, не сказав даже "прощай" — он понял, до какой степени морального падения дошел...

Карандышев — самый положительный герой знаменитой пьесы. Его толкает на женитьбу бедность. Путем женитьбы он хотел бы получить возможность избавиться от ига Ефросиньи Потаповны, своей жадной тетки, а потом уехать в деревню, чтобы изучать сельское хозяйство. Нелегко ему примириться с ролью молодого мужа при старой жене.

[89] Из письма Н. М. Леонтович 8 мая 1954 г.

В нем происходит борьба чувств, которая и приводит его к правильному решению — пристрелить алчную старуху, типичную представительницу загнивающего общества...

Правда хорошо?[90]

Весна же у нас в полном цвету. Рубенс! На днях, например, по середине улицы Республики (наша главная улица) шла пьяная молодка и пела:

Голова моя не крынка —
Что-нибудь да выдумат,
Пойду лягу на дороге —
Кто-нибудь да вы...!

С другой стороны, Гегель сказал (это я вычитал в дореволюционной биографии) одному молодому сочинителю: "В вашей книге много нового и интересного. Но, увы, то, что ново — неинтересно, а то что интересно — не ново"[91].

В субботу после лекции я был приглашен к Хиле. В его кабинет. Помолчав положенное число минут, Хиля спросил меня (вечером я записал разговор по возможности точно):

Хиля: Я хотел узнать у вас, М. Л., кто такой В. Л. Гинзбург?

Я натурально рассыпал бисер: выдающийся, талантливейший, растущий etc.

Хиля: Он — профессор?

Я: Да, конечно. На последних выборах в А. Н. его избрали член-корром.

Хиля: Он профессор МГУ?

Я: Нет, ГГУ. Кроме того, он зав. теор. отделом ФИАН.

Хиля: Вам известно, что профессор В. Л. Гинзбург ставит вас в один ряд с защитниками "тепловой смерти"?

Я: ???

Тут Хиля протягивает мне № УФН с моей статьей и ответом В. Л. (Журнал пришел в прошлую субботу и целую неделю был у начальства — это мне потом сказала библиотекарша, приносившая все новые журналы — таков порядок — Хиле.) [*Речь идет о научной дискуссии о природе электрических флуктуаций и применимости формулы Найквиста для тепловых шумов в квантовом пределе. Не касаясь полемического задора, с которым она велась, отметим лишь, что сама по себе дискуссия не выходила за рамки нормальной физики. И упоминание В. Л. Гинзбургом "проблемы тепловой смерти Вселенной" не имело никакого отношения к существу обсуждаемой задачи, — он просто призывал к осторожности в пользовании феноменологической термодинамикой в квантовом пределе и, в частности, писал, что ... "достаточно вспомнить о "тепловой смерти Вселенной" и об ограниченности трактовки второго начала". Однако, по-видимому, это оказалось единственным местом, доступным пониманию тамошних "науковедов в штатском", причем пониманию в самом, увы, "невеселом" для Левина смысле. Самого же его довольно долго не подпускали к ознакомлению со статьей В. Л. И, как будет ясно из последующих писем, только разумное поведение директора института спасло МЛ от административных — мягко говоря — неприятностей. С научных позиций обсуждаемая проблема относится к весьма важному разделу физики существенно диссипативных систем, исследование которых далеко до завершения. С сутью этих проблем читатели-физики могут ознакомиться в журнале "Успехи Физических Наук", 1987, т. 151, вып. 2*].

Просмотрев бегло ответ В. Л. (3—4 минуты), я обращаю внимание Хили на абсолютную голословность указанного утверждения. В ответ на это Хиля вдруг спраши-

[90] Из письма Н. М. Леонтович 10 мая 1954 г.

[91] Из письма К. А Туманову 11 мая 1954 г.

вает: Скажите, Гинзбург – член партии?

Я: Да.

Хиля: Я так и думал. Так вот, М. Л., я не специалист в теор. физике и не могу судить, правы ли вы или он в вопросе о том, как зависит сопротивление от частоты. Но когда такой авторитетный теоретик (так сказали вы!), член КПСС утверждает, что вы подходите ко всей проблеме с позиции сторонников теории "тепловой смерти", когда он по существу подозревает вас в том, что вы принадлежите к их числу, когда он пишет, что вы вообще схоласт, – тогда я обязан принять меры.

Я: Именно?

Хиля: Я взял студенческие конспекты ваших лекций по термодинамике. И что ж? Вы в самом деле замалчиваете вопрос о критике "тепловой смерти". А об этом столько писал Энгельс!

Я: Вопрос о теории "тепловой смерти" и ее критика будут рассмотрены, где им положено – в курсе "стат. физики".

Хиля: Сравнение ваших лекций с программой и книгой профессора Самойловича (пришла!) говорит не в вашу пользу. Мы не можем предоставить пособнику идеалистов – сторонников теории "тепловой смерти" – трибуну в нашем институте. Самое важное в преподавании – идеологическая сторона, а проф. В. Л. Гинзбург, член-корр. АН, сигнализирует (так Хиля и сказал) о том, что у вас тут катастрофическое неблагополучие. В понедельник будет совещание у директора, где мы и решим этот вопрос.

Я: Не знаю, что и, главное, на основании чего тут обсуждать. Дайте, пожалуйста, мне УФН – я хотел бы внимательно прочесть статью.

Хиля: Сейчас не могу. Меня просили передать журнал нашим философам.

Вот какой прелестный разговор. Надо ли говорить, что я был абсолютно потрясен этой историей. Понимаешь, у меня не было никакого чувства страха (честное слово), хотя я прекрасно понимал, что увольнение за "тепловую смерть" для физика эквивалентно волчьему билету. Было другое. Горечь и страшное чувство стыда...

Вот такие мысли – справедливые или несправедливые – прыгали в голове, когда я шел от Хили на консультацию. А потом стало больно и беспомощно при мысли: как это подействует на папу.

Вчера было совещание у директора. Присутствовали: Дир., Хиля, секретарь бюро, баба Капа и два философа. Хиля, делая ударения на профессор, член КПСС, член-корр, повторил вышеизложенное и поставил вопрос: могу ли я преподавать в пединституте. Попутно он коснулся и анкетных старых данных.

Затем выступили философы, привели прорву цитат из Энгельса и заключили так: нельзя доверять сторонникам "тепловой смерти" подготовку будущих учителей.

Потом выступил я и в довольно резкой форме выразил согласие с Энгельсом и Больцманом и абсолютное несогласие с Хилей и В. Л. Тут наступило молчание. Насколько я понимаю, Хиля рассчитывал, что я в каком-то смысле признаюсь и покаюсь – для этого он меня и запугивал в субботу. А тогда можно было бы вязать из меня разное лыко.

Тогда встал директор. Перед ним стояла дилемма: или увольнять меня как закоренелого грешника, или признать обвинения В. Л. недостаточными. Руководствуясь хозяйственными соображениями, он выбрал второе и сказал:

"Во-первых, статья В. Л. Гинзбурга является ответом на критику Левина. Естественно, что Гинзбург стремится опорочить своего критика. Поэтому его мнение нельзя рассматривать как беспристрастное и объективное суждение.

Во-вторых, в тексте статьи Левина нет никаких явных упоминаний о теории тепловой смерти. [*Кстати, В. Л. Гинзбург, узнав о "философских последствиях" дискуссии, опубликовал специальное разъяснение (УФН, 1955, т. 56, с. 146), снимающее все неосторожные оговорки про тепловую смерть Вселенной. Однако к этому времени тюменское "дело о спасении Вселенной" от посягательства М. Л. Левина затухло само собой.*]

В-третьих, несколько лет тому назад самого В. Л. Гинзбурга ругали в "Правде", кажется, за идеализм. Точно не помню, но в том институте, где я тогда работал, было специальное заседание с обсуждением этой статьи. Естественно, что теперь Гинзбург сам выискивает идеалист. ошибки у других, впадая в противоположную крайность".

Как тебе нравятся эти два "естественно"?

В конце концов совещание решило: 1. Предложить Левину усилить борьбу с идеализмом на лекциях... 2. Устроить на следующей неделе расширенное заседание кафедры физики с докладом Левина "Критика теории тепловой смерти" (Может, Хиля рассчитывает, что произойдет галилеевское "А все-таки...")... 3. Воздержаться от избрания Левина доцентом (что должно было быть на следующей неделе) и оставить его в и. о. доцентах впредь до полного очищения от подозрений.

Так что есть и оргвывод! У главного идеалиста — Гегеля — где-то сказано: В истории все повторяется дважды — первый раз как трагедия, второй — как фарс. Так вот сейчас имеет место фарс. А трагедия происходила 7 лет тому назад, когда самого В. Л. не утверждали в профессорах по наветам Иваненко. Но за 7 лет в человеке обновляются все клетки (эту истину сообщил мне тот же В. Л.).

Вот и вся история. Журнал еще у философов, и статьи я толком не читал. Это удовольствие у меня еще впереди.

Конечно, я хочу, чтобы в Рязани обо всей этой истории ничего не знали.

Кстати. В связи с предстоящим приездом Суворова Белянский сообщил мне, что у них в Симферополе уволили одного доцента за несогласие с суворовской статьей в УФН о толковании слова "материя" в физике. Вот. Однако хватит об этом. Правда? И так письмо получается слишком содержательным[92].

Пришед домой, я получил письмо от Габы. Но самое неожиданное письмо пришло сегодня на институтский адрес. На большом казенном типографском бланке с разными надписями и такого содержания: (выписываю на отдельной бумажке)...

Государственный Союзный Научно-Исследовательский Институт. Абонементный ящик 446 450.

Уважаемый Михаил Львович!

Научно-Исследовательский Институт п/я 446 МРТП в гор. Горьком, зная Вас по Вашей работе в Горьковском Университете, приглашает Вас на работу в нашем Институте, которому Вы можете оказать большую пользу в постановке и проведении научных работ.

Нам кажется, что для Вашей плодотворной работы могут быть созданы все необходимые условия, о которых мы готовы переговорить с Вами.

Было бы желательно, чтобы Вы приехали в гор. Горький для переговоров.

Все связанные с Вашей поездкой затраты будут оплачены Институтом.

Главный Инженер НИИ А. Горшков.

Что ты на это скажешь? Прежде всего формальный момент: это первое за всю мою жизнь приглашение на работу. К М. А. Леонтовичу я пришел недоученным мальчишкой, потом же меня со скрипом брали. А тут такое приглашение! По первому разряду (прочти и прочувствуй текст!). Теперь я понимаю чувства девушки, когда ей делают предложение (даже нелюбимый человек). Приятно.

А по существу. Если в Москве ничего не выгорит, то, по-моему, имеет смысл на будущий год переехать в Горький. Правда? Ночь езды от Москвы, Университет (Сигалов — сильный математик), твои родные, мои друзья — словом, стоит ли перечислять плюсы. Кроме того, в числе условий (всех необходимых!) для моей плодотворной работы — а судя по письму, я их могу формулировать — могут быть частые поездки в Москву для научных общений.

[92] Из письма Н. М. Леонтович 18 мая 1954 г.

Заведение это богатое (если я не ошибаюсь, в нем работал Мишка Миллер сразу после окончания), и жилье, конечно, входит в число "всех необходимых".

Наконец, я никуда не дезертирую, а наоборот, меня приглашают для "оказать большую пользу". Так что здешним сволочам не удастся устроить скандал в Министерстве или при защите. Тем более, что они меня держат на ролях и. о. доцента.

Что я думаю делать? Сегодня напишу письма Мишке и Андрею (возможно, что они меня сосватали) и Габе с просьбой прислать информацию об этом заведении. К этому времени придет и письмо от тебя + мнение М. А. Тогда я напишу ответ Горшкову (с принципиальным условным согласием или нет) и сообщу ему, что в июле смогу приехать для переговоров. Вот. А к июлю, я думаю, ситуация с Москвой определится. Правда?

Знаешь, что приятно? Что приглашают меня как такового. Без рекомендательных писем от "тузов" etc. (сватанье Мишки козырем не является!).

А может, не соглашаться, а? Вдруг продешевлю — дам согласие, а на другой день придет приглашение от Несмеянова стать Гусаком!

Сейчас я кончу письмо. Ладно? Про свои мелкие новости напишу следующий раз. Потому что уже 11, а я хочу написать еще Габе и ребятам. Я хочу как можно скорее получить информацию, а завтра мне надо идти на стадион — как прикрепленному преподавателю[93].

Теперь о пище духовной. Вчера до обеда все преподаватели присутствовали на стадионе, где отмечалось 300-летие. Были интересные соревнования, остальное тоска. Но я не о том. На стадионе я оказался в обществе Карнацевича и старухи Шульц — нашей немки (кстати, среди наших заочников есть Григорий Старуха! — представляешь, какое у него было детство? Да и отрочество с юностью). Так вот Шульц рассказала нам, что она разбирала книги в музее и нашла там кучу интересного. Например:

1. Все 35 томов энциклопедии Дидро-Даламбера...
2. Изданные в 18 веке 5 томов "Римский сад" с 500 картинками, выполненными акварелью от руки!..
3. Книга про бабочек (тот же век) с картинками акварелью и гуашью...
4. Паллас "Флора России"...
5. Французский перевод "Илиады" 1765 г. с великолепными картинками. Тираж издания 140 экз., из коих 100 — королю!

И еще много мемуаров 18 и 19 веков и всякой беллетристики. Вот тебе и Тюмень![94]

Еще я получил письмо от Валерика и Юлика. Они одолжили 4,5 тысячи с рассрочкой на год и купили глиняную халупу 6 х 3 покосившихся метров. Сейчас они ее приводят в порядок и не моют полов в ожидании разлива. Вода слегка все зальет, постоит день-два и сойдет, оставив идеально вымытый пол. Юлька сильно хандрит. Они собираются написать сценарий мультипликационного "Левши" (правда, хорошая мысль!), а потом пьесу — цитирую — "о грустной и не совсем несчастной любви хорошего, но слишком прямодушного человека к хорошей, но не слишком умной девушке, которая слишком долго смотрела на него чужими глазами". Сказано не слишком много!

Объяснить, чем Хэм хорош, трудно. Если человек сам этого не понимает, то объяснить нельзя. Так же как нельзя объяснить, почему Грибачев ничтожество, а Блок — гений. Ренар писал, что искусственные цветы отличаются от настоящих только запахом. А если у человека нет обоняния, то объяснить — невозможно. Вот у Мишки Белецкого как раз и нет обоняния[95].

---

93 Из письма Н. М. Леонтович 22 мая 1954 г.

94 Из письма Н. М. Леонтович 24 мая 1954 г.

95 Из письма Н. М. Леонтович 26 мая 1954 г.

Однако буду писать по порядку. До кино была расширенная кафедра с моим докладом. О ней было заранее объявлено на доске у входа, и пришло довольно много народу. Наши, философы, еще 5–7 разных преподавателей и штук 30 студентов старших курсов. Почти полная аудитория. За суконным столом сидела баба Капа и председательствовала.

Знаешь, в воспоминаниях разных актеров и у историков театра часто рассказывается про актерские накладки: актер случайно оговорится на репетиции, потом все время думает – как бы не сорваться на премьере, и в результате повторяет на премьере оговорку. Так вот у меня эти дни было неукротимое желание выкинуть какое-нибудь хулиганское коленце. Скажем, продекламировать во время доклада стишок. Причем не ортодоксальный, вроде:

Прекратите, девки, вой –
Нету смерти тепловой:
В могилке очень холодно
И, вдобавок, голодно.

а наоборот, реакционное:

Двум смертям не бывать,
А тепловой – не миновать!
Даже Папа Римский Пий
Бессилен против энтропий!

или под Маяковского.

Жуя ананасы,
ситро пия,
Помни:
растет энтропия!

Правда, сегодня в "окно" (11–1) я придумал прогрессивный лубок:

Леригия – для народа опий!
Бей жидов и ихних энтропий!!

но для кафедры он не годился.

Так как были студенты, то я подробно рассказал историю и существо вопроса, чтобы им было интересно. Рассказал и про закон сохранения энергии (тут это вполне уместно) и привел известную цитату из Энгельса (последние годы ее регулярно старались не замечать). Цитата такая:

"Когда механическая теория теплоты привела новые доказательства в подтверждение положения о сохранении энергии и снова выдвинула его на передний план, то это несомненно было огромным ее успехом; но могло ли бы это положение фигурировать в качестве чего-то столь абсолютно нового, если бы господа физики вспомнили, что оно было выдвинуто еще Декартом".

Энгельс имеет в виду, – сказал я, – следующее место из Трактата о Свете:

"...если одно тело сталкивается с другим, оно не может сообщить ему никакого другого движения, кроме того, которое потеряет во время этого столкновения, как не может и отнять у него больше, чем одновременно приобрести себе".

Потерпи, сейчас будет веселее. Никаких комментариев я не делал, а потом в своем месте привел и знаменитую цитату из Ломоносова. Все было абсолютно аккуратно.

Я, конечно, ожидал некой реакции и поэтому не делал никаких комментариев. Но эффект превзошел все мои ожидания. Говорил я немногим больше часа, слушали очень хорошо, а когда я кончил, баба Капа предложила задавать вопросы. Сперва студенты задали несколько разумных вопросов, а потом поднялся Дерябин. Наш логик, который

бреет лоб, велит смотреть в зрачки, рассуждает о суждении и предложении и, выставляя грудь с университетским ромбом, заявляет, что в Тюмени он может только учить других. Ему же учиться не у кого!.. Так вот, встает Дерябин и говорит буквально следующее:

"Энгельс в силу исторических условий не знал о работах Ломоносова. Поэтому докладчик был обязан прокомментировать цитату из Энгельса и объяснить, что впервые закон сохр. энергии высказал Ломоносов. Как известно, многие открытия Ломоносова были присвоены западно-европейскими учеными. Так, доказано, что Лавуазье знал о работах Ломоносова. Бесспорно, что и Декарт, будучи образованным человеком своего времени, знал о работах Ломоносова. О них ему мог сообщить хотя бы Эйлер, бывший, как и Декарт, математиком. О том, что Декарт знал о открытии Лом., красноречиво говорит тот факт, что высказывание Декарта почти дословно повторяет Ломоносова, только Декарт, как сухой математик, опустил поэтические День и Ночь у Ломоносова. Так вот, я считаю основным пороком доклада — в остальном весьма интересного — объективистское изложение вопроса о приоритете Ломоносова".

Страшным усилием воли я заставил себя не улыбаться и вообще не рыпаться во время этого выступления — оно длилось минут 10, ибо Дерябин жевал мочалу и повторялся. А когда он кончил и мне дали слово для ответа на вопросы (формально говоря, Деряба выскочил раньше срока — сперва полагается задавать вопросы и получать ответы, а уже потом идут выступления), я сказал так:

"Я совершенно согласен с И. И. Дерябиным (довольная ухмылка Дерябы), что Декарт был образованным человеком своего времени. Именно поэтому он не мог знать о работах Ломоносова, ибо умер примерно за 60 лет до рождения и Ломоносова и Эйлера".

Поднялся дикий хохот, и бабе Капе пришлось успокаивать аудиторию. На красного Дерябу нельзя было смотреть без жалости. Он ведь, действительно, единственный философ в институте с университетским образованием!

Когда все успокоились, баба Капа спросила: кто желает выступить. Но после такого дебюта никто выступать не пожелал. Тогда встал директор и сказал. "Я думаю, что выражу общее мнение, если поблагодарю М. Л. за интересный и содержательный доклад". И... раздались аплодисменты! Так что я прочел идеальную лекцию. Вот.

А потом я пошел с 4-м курсом в кино — у них был лишний билет.

Вот какие были сегодня события. Еще я читал газеты и размышлял о литературе. Но об этом я напишу тебе завтра[96].

Сегодня произошло много событий. Во-первых, у меня украли ручку... С горя я ушел в темную комнату и смотрел там фильмик "Рукописи Толстого". Очень интересно! Показано, как от варианта к варианту (всего 20!) Толстой создает портрет Катюши Масловой. При этом показаны известные иллюстрации Л. Пастернака к "Воскресенью". Прямо чувствуешь, как и сколько Толстой работал. Я бы в каждом Доме Писателя наряду с вытрезвителем устроил бы темную комнату, где бы показывались фильмы про то, как работали над рукописями Толстой, Пушкин и другие настоящие писатели. И обязал бы нынешних машинописцев и "диктаторов" еженедельно посещать эту комнату. Знаешь, как работники "гастрономов" и детских яслей проходят регулярную медицинскую проверку. Литература от этого только бы выиграла!

А вообще в литературе происходят мощные события. Во-первых, в "Правде" появился руководящий подвал Суркова. Через день там же "Времена года" были квалифицированы как мещанский роман (читала эти "Правды"?). И, наконец, пьеса "Гости", еще недавно бывшая >> 1 и приводимая как образец критики (в отличие от "Наследного принца"), теперь <<-1 и полностью изничтожена. В Литературке редакционная статья, в которой подчеркиваются именно те положения, о которых я тогда тебе писал. И им дается мощная

[96] Из письма Н. М. Леонтович 28 мая 1954 г.

оценка. Ясно, что это не из Союза Писателей, а из верхов. Прилагаю эту статью. Только ты ее сохрани. Ладно? Потому как все, что в ней есть, я сформулировал сам еще 3 недели тому назад. И следовательно, гожусь в Добролюбовы. Только знак у меня не тот. Но это не столь важно. Насколько я понимаю, литература сейчас быстро переходит в 3-ю четверть, и скоро из нее исчезнут отрицательные номенклатурные лица. По-своему статья абсолютно верна. Мысли, на которые может навести пьеса Зорина, куда хуже, чем 100 наследных принцев. Так что будем следить за событиями и надеяться, что дело ограничится литературой[97].

Судя по словам Жоры Образцова, который пересказывал мне (!) статью В. Л., там нет прямого утверждения, что я сторонник "тепловой смерти" (мои 5-минутные впечатления тоже такие), — такой вывод может сделать только вдумчивый и направленный читатель. А может и не сделать... Поэтому начальство сейчас находится в несколько виноватой позиции ("может, мальчика-то и не было..."), раздув эту историю. Это чувствуется по поведению директора. Что сделает письмо из Москвы? (Кстати, что В. Л. может написать?) Оно, конечно, очистит меня от подозрений, но, с другой стороны, сделает абсолютно невиновным начальство: мы были правы, что поставили этот вопрос, — В. Л. действительно утверждал, мы понимали его так, как следовало, и поэтому нам ничего не оставалось. Виноватым будет только... Понимаешь? Если бы я собирался оставаться, то такое очищение дало бы некий +, впрочем, перекрываемый минусом первой причины.

В институте произошло мощное событие, и с нынешнего дня твой муж окончательно прекратился как герой. Пришел новый номер (№ 7, май) журнала "Коммунист" (это тебе не УФН!), и там на стр. 87 сказано про одного из наших комментаторов В. Л. нечто обидное. Так как ты читаешь "Коммунист" нерегулярно, то выписываю для тебя это нечто:

"На теоретическом семинаре, прошедшем недавно в Свердловске, выяснилось, что присутствовавший здесь преподаватель Тюменского пединститута не понимает давно разработанных марксистско-ленинской наукой положений о союзе рабочего класса и крестьянства как необходимом условии победы коммунизма, не разобрался в ленинском положении о неизбежности войн при империализме".

Это тебе не энтропия! На ихней кафедре натурально переполох. У других высматривали соломинки, а у себя прозевали такое бревно! Словом, я окончательно сошел с исторической арены. Тебе обидно?

Я не совсем понял, что от тебя скрывали? И кто? Ведь не мое же письмо. А УФН ты сама не читала. Или до получения моего письма у М. А. была мысль о возможном завороте? И что вообще происходит сейчас? Ты называла имена Тамма и Дау. Как это понимать? Отпиши.

В пальто я даже очень понимаю. Когда мне шили серый костюм (в жилете от которого ты ходишь), а еще раньше синий, я в ожидании примерок внимательно изучал "журнал мод". Далее, как тебе известно, теща Соля Боровицкого — портниха, и, бывая в гостях, я повышал свой швейно-теоретический уровень. Наконец, я изучал монографию о женском платье, откуда, в частности, почерпнул такое абстрактное понятие как "перегибистая фигура" и узнал, что бедрами называют пуйву. Мне даже известно загадочное слово "гульфик", хотя что оно обозначает в дамском туалете, я точно не знаю. Лет 400 тому так называлась некая часть мужского туалета, дамам не нужная. Поэтому я был весьма удивлен, прочтя в "Журнале мод" — пальто с гульфиком. Что бы это могло быть?

Так что твой муж вполне подкован по части теории! Вот[98].

---

[97] Из письма Н. М. Леонтович 29 мая 1954 г.

[98] Из письма Н. М. Леонтович 31 мая 1954 г.

Сегодня наш флот пел частушку:

Танк танкетку полюбил,
В рощицу гулять водил:
От такого романа
Вся роща переломана!

Ты слыхала раньше? Они говорят, что вычитали ее у Маршака!

Кстати, сегодня я сообщил Б. Фоминых стишки про фам иных. И он обещал исправиться и больше их не щупать. Вот какова сила поэзии...[99]

Кстати, о начальстве. В субботу на соответствующем собрании разбирался вопрос о том типе. Он сказал так: я сперва подробно изложил неправильную точку зрения (сразу по двум вопросам!), чтобы затем ее раскритиковать, но меня прервали как раз тогда, когда я собирался приступить к этой критике. (Ну прямо фейхтвангеровский Бертольд Оппенгейм!). И собрание этим удовлетворилось! Вот что значит отношение! Разве можно сравнить "удивление" в УФН с прямым утверждением в "Коммунисте" – органе ЦК КПСС? Однако, видишь...[100]

Сегодня та самая кафедра сдала в библиотеку "эйнштейновский" номер УФН (в марте Эйнштейну стукнуло 75 лет), и я, наконец, смог толком прочесть ответ В. Л. И знаешь, что? Приводимый им пример (демонстрирующий мою схоластичность) не имеет физического смысла. Он сам об этом писал три года назад в том же УФН. Может быть, я еще не во всем до конца разобрался, но первое впечатление такое. Я хочу написать ответ в УФН. Несколько строк – больше не надо. УФН, конечно, не захочет напечатать, но все равно. Пусть грех будет на их совести. Так что в Москву я поеду с ответом, покажу его М. А., С. М., Г. С. и пошлю в УФН вместе с обидным письмом: сами виноваты – не надо было скрывать от меня ответ В. Л.[101]

Обстановка мощно изменилась. Обо мне говорят языком некрологов (до чего замечателен был покойник!). Борисевич сказал: это величайшая потеря института со времени его основания! Баба Капа почти буквально повторила речь Феофана Прокоповича над гробом Петра 1. Изя (он приехал вчера вечером) безутешен. Один Белянский верен себе и поставил на экзамене по физике в 2 мат. (32 человека) 13 "посов" и 4 двойки! (теперь эти бедняжки аннулируют подписку на заем). Сегодня днем в лекторской, где мы все сидели и трепались, была даже мелодрама. Вошел литератор Вепренский и с пафосом воскликнул: "Только вчера, М. Л.!, я до конца понял ваше значение! Вчера я получил 24 том БСЭ и там есть Вы!!" Я, натурально, заметил, что Левиных много, и речь идет о моем однофамильце. "Нет, о Вас!" Оказалось, действительно обо мне: в томе статья о М. А., и я назван в числе соавторов. Нетривиально то, что литератор, получив БСЭ, сразу же читает в нем не статью о писателе Леонове, а о физике Леонтовиче. Вот наглядная демонстрация пользы анонимных писем!

Сегодня на экзамене я читал стишки Радищева. И вычитал такое примечание:

"Лада – богиня киевская, подобящаяся во всем Венере. Славяне признавали ее богинею браков и веселия любовного".

А поэт Радищев – слабый. Язык сломаешь. Проза у него куда лучше. Знаешь, у него где-то (сейчас не помню – кажется, в Путешествии) сказано: "...как свинец, нависла над

[99] Из письма Н. М. Леонтович 3 июня 1954 г.
[100] Из письма Н. М. Леонтович 7 июня 1954 г.
[101] Из письма Н. М. Леонтович 8 июня 1954 г.

государством тоска миллионного крестьянства". Правда, здорово? Особенно хорошо: "тоска" – удивительно выразительно! В стихах такого не найдешь[102].

К сожалению, мне не удалось дождаться тебя в Москве: руководствуясь указаниями Уголовного Кодекса, я отбыл в Тюмень. Дело в том, что сватавший меня институт не проявил настойчивости и ограничился лишь письмом от министерства к министерству. Наше м-во это письмо благоразумно похоронило в архиве, мое личное общение с зам. министра кончилось ничем ("отказать вам нет оснований, отпустить – не хочу: сделаю все возможное, чтобы помешать вашему уходу"), и к 1 сентября вопрос оставался нерешенным. Между тем казенный юрист сообщил, что закон о самовольном уходе (1940 г.) в моем случае сохраняет пока силу. Вот и пришлось мне не солоно хлебавши ехать в Тюмень. Правда, сейчас гл. инж. НИИ поехал в Москву отбивать меня, но после начала учебного года это куда трудней. Со своей стороны я сразу же по приезде сюда насмерть разругался с начальством, настаивая на увольнении. Вместо оного начальство пригрозило отдать меня под суд, что и сделает при первом удобном случае. Кроме того – пылая местию – оно хочет поломать мою защиту. Скажем, дезавуировать характеристику etc. Когда я уезжал, в МГПИ никого не было. Я рассчитывал числа 12–16 сент. приехать в Москву и толкать защиту. Но теперь мало вероятно, что начальство меня отпустит. И неясно – удастся ли уехать тихой сапой (у нас 1–3 курсы отбыли на уборку, и часов пока у меня мало). Поэтому снова – прости! – прошу тебя связаться с Андреевым (он должен был 4-го вернуться из отпуска), секретаршей Лидией и узнать ситуацию с отзывами. Вообще, убедить Андреева начать рассылку авторефератов. Тогда труднее будет ломать.

Извини занудливый тон. Во-первых, пропавший Юрьев день, во-вторых, в нашем финском бараке течет крыша, а на дворе дождь, сижу меж двух тазов с капелью и мечтаю об унитазе вместо отдельного павильона во дворе.

Что New-физфак и каково твое место в нем? М. А. намечал Ю. Широкова в кафедральные функционалы. So? Словом, что и как происходило и происходит?[103]

...А у нас с утра шел дождь. До обеда. Я сидел дома и читал Мериме и Маленького Оборвыша. Потом доказал одну симпатичную формулу и снова читал...

...Пришлось сидеть в гостях. Карнацевичи угощали меня помидорами и Всемирным Следопытом за 1928 г. Помидоры обыкновенные, а в Следопыте я прочел про удивительную муху *cephenomyia* (я даже выписал название – для М. А.), которая летает со скоростью 1300 (тысяча триста) км/час. Быстрее звука! Непонятно, для чего ей такая скорость и как она себя при этом чувствует.

Узнав про муху и переждав дождь, вернулся домой[104].

Вернулся в Тюмень и получил Валеркино письмо от 23 июля. Предыдущее, очевидно, отбыло восвояси, пролежав тут положенный срок. А мои письма? Одного вы – судя по этому письму – просто не получили. А другое? Я послал его из Москвы в самых последних числах июля, через два-три дня после того, как был у Е. П. [*Елена Петровна – мать В. С. Фрида*]. С обещанием добыть Вийона.

Перед отъездом был опять у Е. П. и узнал последние новости. Очень обидно. Может, стоит написать еще раз, максимально подробно. Чтобы могла возникнуть формулировка "по вновь открытым обстоятельствам". Особой веры у меня нет, но чем черт не шутит – убытка ведь от этого быть не может.

[102] Из письма Н. М. Леонтович 11 июня 1954 г

[103] Из письма К. А. Туманову 4 сентября 1954 г.

[104] Из письма Н. М. Леонтович 5 сентября 1954 г.

Что у меня? Все лето провел с мамой под Москвой. К сожалению, здоровье ее улучшилось не очень. Плохо с сердцем и не проходят слуховые галлюцинации. Зато всякие формальности, вызванные упомянутой формулировкой, постепенно продвигаются. У меня самого все еще неопределенно. Горьковскому заведению пока не удалось отбить меня. Здесь не хотят отпускать. Но отбивание продолжается, и я надеюсь все-таки покинуть Тюмень в этом году. Пока же я окончательно испортил отношения с начальством, так что рассчитывать на поездку из Тюмени (а она от вас весьма далеко) не приходится. Из Горького будет легче. Кстати, пока отвечайте на Е. П. – надеюсь, в Тюмени не задержаться. Как только произойдет стабилизация – сообщу.

Других новостей нет. Понемногу занимаюсь наукой, помногу читаю лекции. Как только все определится, буду вместе с Наташей (в Горьком ли, в Тюмени ли).

У отца все без перемен: сидит в пиявочной лаборатории. Ничего не получается. А уезжать за тридевять земель при нынешнем мамином состоянии (и ситуации) он не может. Ну, дай бог, все еще обойдется.

Как вы? Как Юлькино здоровье? Как живется, как кормится? Надеюсь, вы не поголадываете из-за домового долга. Каков он? Это я спрашиваю потому, что тут мне подворачивается некая редакционная халтура, доход с коей я хочу поместить в вашу недвижимость. И вы будете последние сволочи, если станете кобениться.

Меня, конечно, интересует все, вас касающееся. Расписать по пунктам не могу. Пиши обо всем. Как вы делаете Левшу? Только текст или и исходные рисунки? Какой масти и какого обличья ваш Левша? Каковы планы его пристройства к делу?

Что вы читаете, и как в Инте с книгами? Вчера купил для вас новое издание Бернса (только в Тюмени!) и китайские новеллы Пу-Сун-Лина. Последние – судя по рисунку у Е. П. – должны понравиться Юльке. Завтра-послезавтра вышлю эти книги бандеролью.

До встречи, теперь, надеюсь, скорой[105].

Приехал на неделю по диссертационным делам. С Горьким ничего не вышло – придется этот год снова просидеть в Тюмени.

Перед отъездом подвернулась фантастическая халтура (надо было устранить физическую чушь из одного казенного прожекта), выручку с которой посылаю вам. Е. П. уверяет, что это вызовет взрыв вашего возмущения, что вы будете бить мне морду.

Но, во-первых, я согласен на битую морду из ваших собственных ручек. Во-вторых, уверен, что вы на моем месте поступили бы точно так же.

На днях выслал вам бандерольку: Бернс, китаец-лисописатель и Гринвуд. На всякий случай сообщаю, что перед этим послал вам письмо, а еще одно послал в самых последних числах июля. Неужели они не достигли вас? Пишите мне на Тюмень – до января я там при всех условиях. А в феврале – марте надеюсь быть у вас. Ладно?

Дома у нас без перемен. Мама расклеилась физически (сердце), но психика лучше. Она просила передать вам привет и надежды. Дело ее пока еще не решено – надеемся, что в 1–1,5 месяца окончится. Дай-то Бог[106]...

Пока меня не было, пришли 2 твои письма и письмо Андрея и Мишки. Они пишут: "После получения твоей телеграммы мы атаковали Горшкова. В беседе с нами он обещал предпринять попытки продвинуть дело в Москве, а относительно телеграммного вызова обещал завтра (дело было 31 авг.) уточнить состояние дела, позвонив в Москву. Куда он звонил – неизвестно, но вскоре он поставил информацию М. Т. [*Марии Тихоновне Греховой*], что вопрос о твоем переводе накрылся. Из его слов можно было заключить, что препятствия местного характера. Он говорил еще о каких-то возможных действиях

[105] Из письма Ю. Т. Дунскому и В. С. Фриду в Инту 5 сентября 1954 г.

[106] Из письма Ю. Т. Дунскому и В. С. Фриду в Инту 11 сентября 1954 г.

через Москву, но мы так думаем, что это из жалкой вежливости".

Дальше идут всякие обидные слова про Горшкова.

Вот пока и все мои новости. Завтра лекция и возможные разговоры с каким-нибудь начальством. Завтра же начну покупать предметы по списку. А скоро приедешь ты...[107]

Вот что было сегодня. С утра я общался с коллегами и читал лекцию. Автореферат сюда уже пришел, так что даже принимал поздравления. НВШ спросила, когда именно защита и, узнав, сказала (сама): значит, я вам освобождаю от часов неделю 25–30 и неделю 1–6 (она снова ведает расписанием). Так что мы выедем в субботу 23 октября. Что касается дальнейшего, то я заявил декану: защита происходит в два приема и, возможно, мне придется дожидаться в Москве Большого Совета. Тогда я дам телеграмму. Так что, возможно, нам удастся задержаться и на праздники, а может быть и после них. Посмотрим.

Потом я смотрел книги. Есть все, кроме Натансона... Потом ходил по магазинам: есть все, кроме простых чайника и кофейника. Они тоже есть, но никелированные. Чайник стоит 100 р. (нормальный – 30 р.), а главное, он бесперспективен: внутри лежит бумажка, на которой написано: нельзя ставить на газ. А я собираюсь следующий год жить с тобой в газовой местности...

Потом я пришел домой и считал...[108]

После полуторамесячного отсутствия вернулся в Тюмень, где меня уже ждало Юлькино письмо (дома) и телеграмма. Кроме того, куча "долгов" и дел. С утра лекции в институте, после полудня (*afternoon*) педпрактика в школе. Дома только ночую и обедаю. Вот почему и пишу вам только сегодня (воскресенье).

Из этих $1\frac{1}{2}$ месяца я три часа защищался, а остальное время ждал и исполнял функции курьера: носил бумажки из одного здания в другое, собирал подписи, относил объявление в газету etc. В день приезда в Москву защиту с 1-го перенесли на 15-е. 9-го помер председатель Ученого Совета. До 12-го никто ничего не знал. 15-го все-таки произошло. Я был в черном (пасторском) костюме, рыжих ботинках и в галстухе с чужого плеча. Публика ожидала, что я получу – 5 черных шаров (из 16) – такой там Совет – но неожиданно оказалось, что только 1. Так что все обошлось вполне благополучно. Затем я дожидался Большого Совета, который и произошел 29-го. Но как раз в этот день исполнилось ровно 80 лет И. И. Соколову – автору школьной "физики". Поэтому начальство отменило деловое заседание и устроило чествование. Пришлось возвращаться в Тюмень "недоделанным". В конце декабря поеду на несколько дней на Большой Совет, затем вернусь принимать экзамены, а затем – *via* Москва – к вам. Надеюсь выехать отсюда 24–25 января и хотел бы до этого получить подробное инструктивное письмо. О маршруте, о встрече на месте, об оптимальном дне (недели) приезда etc. О ваших вкусах и духовных запросах.

Узнав про существование "Рекорда", я решил привести вам проигрыватель с набором пластинок. Теперь появилось много долгоиграющих: большая пластинка – симфонии. В основном это классика: симфонии, оперы, вообще серьезная музыка. Народные песни. Так вот, каковы ваши вкусы. У меня в памяти остались только синкопические дуэты Валерки и Кота. Такая музыка, впрочем, тоже есть, только на обычных пластинках. Жду прямого ответа – без жеманных отказов: время не терпит.

Еще я собираюсь привезти томик Киплинга, томик детских стишков Стивенсона (тезки вашего Рабиновича) и томик Вийона, последний если достану. Чего бы еще? Напишите обязательно и это! С немецкими книгами в Москве сейчас хорошо (есть спец.

[107] Из письма Н. М. Леонтович 21 сентября 1954 г.

[108] Из письма Н. М. Леонтович 22 сентября 1954 г.

магазин народных демократий — я там неуспешно пытался купить Тувима), английские тоже есть. Пришлите список побольше — чтобы хоть что-нибудь из него удалось достать. Ладно?

В Москве видел Моньку Когана и Витьку Шенберга. Витька оброс литературными знакомствами (Борис Ласкин, Цезарь Солодарь) и в другое время стал бы великосветским дантистом — вроде папы Уайльда. Но пока он ограничивается библиоманией. А у Моньки уже совсем длинный сын. С денис-давыдовской сивостью на затылке и монькиной отроческой прелестью. Сам Монька потолстел, посолиднел. Ну и, конечно, полысел. Ел. П. показывала Валеркины фото и сообщила, что у вас наступил творческий застой. Точнее, отказ от дальнейшего литературного труда, связанный, по ее мнению, с некой шершавой фамой, очаровавшей ее сына. Допуская последнее, я огорчен самим фактом отказа. Какого черта? Я понимаю, что тут трудно говорить об энтузиазме, возлагать надежды на скорый успех. Но все равно вам надо писать, хотя бы для себя, назло тем, кто сделал все, чтобы этого не могло быть. И потом я, я! верю в будущее, может быть, не близкое, но на нашем веку...

Приеду — поговорим, а пока посылаю вам: Чапека — как руководство, Бруно — как допинг, Шекспира — как образец. Читайте и трудитесь, трудитесь. И если вам даже осточертело это сейчас, все равно. Верю в вас. Правильно?

На Чапеке сделал надпись в соответствии с Юлькиными указаниями. Остальные книги надпишу по приезде. Так хочется вас повидать.

Присланные поэтические фрагменты мне очень понравились. Пришлите еще. А то, может, приготовите к приезду списки — я ведь стихи лучше всего воспринимаю на глаз, а не на слух. А? Не забывайте, что я самый старый и самый постоянный почитатель ваших талантов.

В Рязани пока перемен нет. Маме делают массаж, она стала лучше ходить. Но других улучшений нет. Васька рвется в математики.

Наташа сейчас со мной в Тюмени. Готовится к январской сессии. И топит — во время моей просветительской деятельности — печь: не знаю, как ваша хижина, а здешний баракко тепла не держит. Пишите сами, пишите мне. Напоминаю еще раз: письмо с инструкциями и запросами должно прийти до 23 января. (Чем раньше, тем лучше).

Крепко обнимаю вас и целую.

Сердечный привет Минне Соломоновне [*Минна Соломоновна — мать Ю. Т. Дунского*][109].

...А я читаю Диккенса и слушаю, как новосибирский старичок расспрашивает славгородскую девицу. Один ее дед был золотоискателем, другой — владимирским богомазом, а сама она собирается поступать в институт цветных металлов. В ее большом чемодане находятся: 4 кг. конфет, 3 кг. зефира, 2 кг. печенья и 3 бутылки водки — Славгород стоит в районе целинных земель, куда теперь не возят ни водки, ни вина. Вот она и везет папе и знакомым!

Теперь старик рассказывает про себя: как его 40 лет назад за бутылку водки поп венчал с некрещеной татарочкой.

Теперь (я пишу с перерывами) разговор пошел о литературе. Девица не читала ни одного стихотворения Есенина, а о существовании Блока не слыхала. Поэтому старик прочел вслух "Незнакомку" и два "персидских мотива". Через 10 минут за ним пришли из другого купе и увели читать. Вот он сейчас читает "Пускай ты выпита другим". Прямо как в средние века читали менестрели[110].

---

[109] Из письма Ю. Т. Дунскому и В. С Фриду 12 декабря 1954 г.

[110] Из письма Н. М. Леонтович, поезд Тюмень — Москва, 8 января 1955 г.

Печка истоплена, и я сел писать тебе... Пока я общался с Белянским и Травиатой, по радио пели пародию на нынешние детские песенки:

Землю солнышко печет,
Вышел дворник из ворот:
Из своей прямой кишки
Поливает камушки!

Каково? Среди газет на полу оказалось Юлькино письмо.

Цитирую:

"Проигрыватель не привози. Таково наше единодушное (столь редкое, увы!) мнение. Лучше вместо этого увези отсюда наш приемник".

Далее:

"Для нас привези, если можно достать, следующие вещи: 1. Отрез на брюки (повседневные, не дороже 100 р. метр) – 1м. 25 см. – для меня. Цвет предпочтительно серый или любой. ... 2. Рубашку – для Валерика. Повседневную. Размер воротничка – 37. ... 3. 4 пестрых носовых платка – для обоих.

Вот все, что нам нужно для счастья. (Меньше, чем Шуре Балаганову)".

Что такое повседневная рубашка и можно ли купить отрез на брюки?

"С огромным нетерпением предвкушаю нашу трогательную встречу и поцелуи (носы будут стукаться об очки, как мечи о щиты)".

Вот такое письмо[111].

Сегодня был насквозь трудовой день. С утра читал 6 часов. Потом вводно консультировал 4-й курс. Потом быстро пообедал и мучительно долго (готовились!) экзаменовал заочников. Из 5 трое абсолютно ничего не знали, а двое знали теор. механику на уровне ученика 9-го класса. Потом я около часа ждал разговора с мамой. Она общалась с еще одной подругой, та надавала ей советов, и мама собирается активно действовать. Как? – я не понял – было очень плохо слышно. В общем грустно и беспокойно. То ее заявление отвезено по адресу. Я просил подождать моего приезда, но вряд ли так будет.

Вот как прошел день. Я с отвычки малость даже устал[112].

Кстати, начальство сочинило приказ о неграмотности студентов литфака (одного перевели на 1-й курс, двух допустили условно до экзаменов etc.), и в этом приказе я (я!) нашел 5 ошибок! Интересно, сколько их на самом деле?

В антрактах между лекциями я читал исландского сочинителя Лакснесса: "Атомная станция". Там некий дикий туземец разводит и обожает лошадей, а кроме того, собирает деньги на строительство церкви. Он дает такое определение:

"Человек – это земное животное, которое ездит верхом на лошадях и имеет бога".

А на вопрос: почему он строит церковь для бога, а своих возлюбленных лошадей оставляет под открытым небом, он отвечает:

"Лошади сами о себе позаботятся, а бог – это домашнее животное".

Правда хорошо?

Вот какие были события. Сегодня 11-е – через две недели я тебя увижу[113].

В 0.41 поезд подошел к Инте. Около ступенек прыгали Валерка и Юлька, сбоку чинно стоял Жорка Быстров. Как и предсказывал Юлька, носы стукнулись об очки, а через 30 минут попутная "победа" доставила нас в город.

111 Из письма Н. М. Леонтович 9 января 1955 г.

112 Из письма Н. М. Леонтович 12 января 1955 г.

113 Из письма Н. М. Леонтович 11 января 1955 г.

На пороге дома нас встретил Робин — помесь овчарки и лайки, сразу признавший во мне друга хозяев. Вошли — и началась бестолковая сумятица. Говорили все сразу, хлопали по плечам и спинам, задавали вопросы и не отвечали на них. Сплошная неразбериха. Потом началось ликование из-за подарков. Юлька тут же влез в серые брюки (в самую точку!). Валерка в рубаху (тоже!), и, не вылезая из них, хвалили твой покупательский талант. Жорка примерял ботинки. Робин и Каца ели колбасные остатки (котенок, как это всегда бывает, оказался кошкой). Потом появились книги и тетради, что вызвало новый приступ восторга. Детского Тувима решили оставить в доме. Потом сели за стол, открыли вино и просидели до 4-х.

В пятом часу легли спать. К восьми Валерка ушел трудиться (он уже снова бух.), а мы с Юлькой поболтали и пошли в город — Юльке сегодня разрешили явиться к 12. Вот недавно я нашел дом (один!) и сел писать тебе письмо, поболтав сперва часа два с Минной Соломоновной.

О доме и городе я напишу тебе следующий раз — сейчас пойду колоть дрова. Правильно?

Ребята сперва были в унынии — они поняли со слов Жорки, что я смогу приехать всего на 2—3 дня.

А теперь они очень довольны, что я пробуду неделю[114].

Вчера весь день — с 8 утра до 2 ночи общался с ребятами и их знакомцами. Сегодня в 8 проводил Валерку на работу, вернулся, разбудил Юльку (ему можно было к 11), накормил и проводил его, купил булок и лекарства для Минны Соломоновны, а теперь жду ребят — скоро обеденный перерыв.

Говорим мы как заведенные. В душе и ребята, и я слегка побаивались, что за 10 лет могла образоваться корочка привычек, вкусов, укладов жизни и т. д., но на деле не оказалось даже и намека на такую корочку — будто и не было этих 10 лет врозь.

Валерка, как малое дитя, увлекается фотографией. Вчера притащил 3 пятьсотсвечовых лампы и больше часа мучил Юльку, меня, Яшку и его жену (которым я вез посылку), снимая и снимаясь в разных позах. Например, композиция по Ге: я — Пущин, Валерка и Юлька — два Пушкина в одинаковых позах, Яшкина жена в платочке — Арина Родионовна.

Живут они вот как. Инта (с нового года — город) состоит из центральной части, застроенной стандартными 3-этажными каменными домами и разнокалиберными 2—3-этажными деревянными. Вокруг центра лепятся шанхайчики и полушанхайчики хибарок, построенных из всевозможных материалов. Наша хибара состоит из 2 комнаток по 8 метров — гостиная (где сейчас спят трое хозяев — Валерка, Юлька и Жорка — и я) и такая же "кухня", где спит Минна Соломоновна — удивительная по бодрости духа женщина, не чающая в ребятах души. Там же спит глупый щенок Робин и самая философически настроенная кошка на свете — Каца. В хибаре — тепло, сухо, висят коврики и миниатюры Юлькиной работы. Стоит шикарная двуспальная кровать благородного дерева, обмененная на литр водки у какого-то отъезжающего. На ней располагаются Вал. и Ю. Еще стоит металлическая никелированная кровать, на которой сплю я. Жорка — на раскладушке. У Минны Соломоновны кровать даже с медными шишечками. В углу гардероб (другой литр водки), этажерка с книгами и приемник. Холодные сени, сарай для дров и индивидуальный павильон, для строительства которого был устроен дружеский субботник.

Атмосфера человеческих отношений в Инте — замечательная. Никаких церемоний, никакого эгоизма. Но люди тут самые разные.

[114] Из письма Н. М. Леонтович из Инты 9 февраля 1955 г.

Вчера был "прием" у нас. Сегодня идем в гости. И ребята и я предпочли бы посидеть дома, но ничего не поделаешь.

Такова внешняя сторона моей здешней жизни[115].

Вчера мы ходили в гости в трехэтажный дом — там живут супруги Шварц, друзья и некогда благодетели ребят. Среди угощения на столе стояло блюдце с семечками — еще до моего приезда Юлька распустил слух, что московская штучка дня не может прожить без семечек. Мы же принесли бутылку Витькиного вина. Супруги оказались весьма милыми людьми, и вечер прошел хорошо: пили водку под пельмени и говорили о разных материях.

Юлька, правда, был немного грустный: ему вчера нафитиляло начальство за гуманизм. Он занизил нормы бродячей бригаде плотников — а то они почти ничего не вырабатывали.

А сегодня у него что-то шалит сердце. Он, черт, выкуривает в день 40 сигарет!

Ребятами можно гордиться. Ясность ума, блеск юмора, благородство, стойкость и мужество — все в изобилии. Не хватает только веры и оптимизма. Ну, и здоровья, конечно.

Может быть, Валерке дадут с понедельника 2–3 дня отпуска. Тогда я раньше среды не выеду. Ребята с ужасом думают о дне моего отъезда. Что говорить. Наукой я, конечно, не занимаюсь. У ребят, слава богу, разный распорядок дня. То же время, что их нет, я покупаю хлеб, колю дрова, общаюсь с Минной Соломоновной. И как-то утрясаю в голове услышанное и увиденное. Тут не до работы.

...Я очень соскучился по тебе, но постараюсь задержаться здесь насколько можно... Ребята относятся к тебе просто трогательно. Они купили тебе очень милый подарок, но не успокоились и надеются достать еще что-нибудь. Тут это сложно. Так что у тебя появилось двое — пока незнакомых — новых друзей[116].

Где я? На заседании кафедры... Чтобы не уснуть, читал автобиографию Иоффе. Там такой забавный факт. До поступления в реальное училище он как-то по-своему решал арифметические задачи. Когда в школе его обучили правилам арифметики, то эти правила казались ему каким-то не очень честным способом, с помощью которого можно, не думая, давать правильный ответ. Забавно, что именно такое же отношение было у современников Ньютона к дифф. и интегр. исчислениям! А вообще он учился в той школе! Когда они сдали выпускные экзамены, их собрал классный наставник, математик, и произнес такую напутственную речь: "Я знаю, что вы хотите меня убить, так знайте, что со мной всегда ходит Гордей (шпик) и вы попадете на каторгу". Здорово?!

Вчера я сел вечером считать и досчитался до часу ночи. Теперь клюю носом. Период — 3 минуты[117].

Только что послал вам телеграмму. У нас есть спецкомендатура, у которой есть клиентура. В частности, некоторые студенты нашего института регулярно там отмечаются. Так что с этой стороной дела все в полном порядке.

По пути сюда и на обратном пути будет — как я уже писал — остановка на даче у Наташиных родителей. Все это сговорено, и Елена Петровна это знает и обещала вам написать. На сколько дней нужно, на столько дней можно остановиться. Понятно!

Полная неясность в Юлькиных возможных сроках и планах. Когда могут дать отпуск? Если одновременный отпуск невозможен, то приезжайте порознь. Со второй половины июня (в самом худшем случае, с 1 июля) и до конца августа мы будем под

[115] Из письма Н. М. Леонтович, Инта, 11 февраля 1955 г.

[116] Из письма Н. М. Леонтович, Инта, 12 февраля 1955 г.

[117] Из письма Н. М. Леонтович, Тюмень, 23 марта 1955 г.

Москвой, и, если это подходит, то надо выяснить комендатурность Александрова или другого аналогичного пункта. По-моему, Ел. П. может получить об этом сведения в официальном порядке. Как мать. А жить будем в Тучкове, среди лесов, полей, Москва-реки и земляники. Насчет путевых расходов. Конечно, это вопрос деликатный, но вы будете последние сволочи, если не поедете из-за идальговатистого отношения к так называемым моим деньгам. Ни я, ни Наташа не простим вам этого никогда. И меня интересует только одно: выслать деньги сейчас или вам проще подбить баланс при встрече.

На этом деловая часть письма кончается. Подробности моих московских дел таковы. Никаких конкретных перспектив. Но в 2–3 местах закинут — как говорил Сен-Жюст — якорь в будущее. Боюсь, что он окажется не надежнее сен-жюстова.

Мама продолжает лечиться в стационаре. Наташа перед отъездом была у нее — особых улучшений пока нет.

Тюменская лямка все та же. Правда, со следующей недели будет меньше часов. Тогда займусь печатанием и своей наукой.

Посылаю говоренные стихи. Следующий раз пошлю еще. А может, следующего раза не будет — вы приедете раньше?

Обнимаю вас и жду.

Привет Минне Соломоновне и Жоре. Наташа кланяется и просит передать, что совсем не умеет писать писем, а особенно до очного знакомства. Вот после — другое дело. Так что вам обязательно надо приехать[118].

И Наташа, и я очень опечалились, узнав, что сейчас с поездкой ничего не выйдет. А мы уже распланировали ваше времяпровождение. И наметили, что нужно добавить к *plate, linen and society*, чтобы не ударить лицом в грязь.

Что ж, придется подождать до осени. А может, все-таки получится летом? Мне представляется просто противоестественным теперь, после нашей встречи, всякое продолжительное пребывание врозь.

Насчет осени. Тут вот какая тонкость. Пока ничего конкретного нет, но я не оставляю надежды будущий учебный год начать не в Тюмени, а где-нибудь под Москвой. Можно будет тогда переадресовать ваши направления? И каково время срабатывания Сыктывкара? Скажем, если в июле появится ясность — это уже поздно?

Эти недели я со страшной силой трудился: писал три статьи. Я откладывал это дело с лета, а сейчас пришлось поднажать — их результаты были рассказаны в обзорном докладе, и мое неписание ставило автора доклада в неудобное положение.

Еще я проявил ленту. Получилось хорошо. Теперь осталось собраться с духом и отпечатать все картинки. Так что не теряйте веры в своевременное (или несколько позже) получение художественно исполненных фотографий. Юлька угадал правильно — зверей (и домашних, и диких) покупала Наташа. Она рада, что звери вам понравились. И плащи — мы огорчились, что не удалось достать двух синих и пришлось взять коричневый. Кстати, сейчас в Тюмени есть коричневый двойной сатин (типа саржи) — 60 р. метр. Широкий — продавщица говорит (как вы понимаете, не мне, а Наташе), что на подкладку нужно 2,5 м.

Если нужно — телеграфируй число метров.

Дабы покончить с прозой, сообщаю, что перед отъездом из Москвы Витька Ш. заштопал руками своих подручных мои зубы, а один даже собственноручно выдрал. И что ж? На второй неделе тюменской жизни у меня образовался роскошный флюс. Наташа говорит, что большего разочарования в человеке (конечно, не во мне, а в Витьке) ей еще не приходилось испытывать.

[118] Из письма Ю. Т. Дунскому и В. С. Фриду, Тюмень, 31 марта 1955 г.

О поэзии. Рад, что вам понравился Б. П. и посылаю еще. Как Яр. Вас. [*Ярослав Васильевич Смеляков*], продолжает? Как у него дела? Списать и прислать вам "Любку"? Что вы теперь делаете, в смысле работаете? О "Спартаке" Фаста я мало что знаю. Читал кусок в "Огоньке". Вы хотите делать из него сценарий? Идея хороша! Если это так, дайте знать, и я постараюсь организовать вам книгу, хотя бы месяца на два. Ее, конечно, переведут, но тут важно иметь фору. А у Ягломов есть какие-то мощные связи в Инобиблиотеке.

Достиг ли уже "Левша" Алекс. Яковл. [*Алексей Яковлевич Каплер*] и каково его мнение об английских сценах, всей штуке вообще и перспективах?

Что пишет Ел. П., и есть ли хоть какие-нибудь новости из Москвы? Я получил неожиданное письмо от Юркиной матери. Она пишет, что мне надо срочно требовать переследствия и передопроса. К сожалению, у меня нет оснований требовать последнего — что я могу добавить к старым показаниям и от чего я могу отказаться? Вы что-нибудь еще писали туда?

Пишите чаще. Вот я следующее письмо напишу в майские дни, не дожидаясь ваших ответов. Только (это относится к Юльке) пусть на конверте будет 14а, кв. 1 — я ведь живу в 1/4 дома. Еще напишите, высылать ли вам сейчас всякие книги или подождать до лета?

Какого черта вы купили шляпы? Впрочем, как украшение комнаты они еще терпимы. Но на голове... В этом смысле они подобны рогам[119].

Надеюсь, что сегодня и вы — после положенных рашен брашен — пишете мне хоть какое письмецо. Как вы провели эти дни. Ходили на демонстрацию? Где она проходила? Где потом пировали?

А я прошел положенные восемьдесят метров от института до трибуны, прослушал и прокричал "ура", после чего мы с Наташей просидели до вечера у бывших квартирных соседок. Тихо, мирно. Я ведь танцам не обучен.

До праздников же я был занят страшным делом: вписывал формулы в машинопись всех трех статей. Это у вашего брата: написано — так с плеч долой! — пусть дальше думает машинистка. А у нас главные страдания как раз начинаются после машинистки. Вот и пришлось всю неделю до позднего вечера вписывать формулы и вырисовывать каждую букву. А потом еще разрисовывать их цветными карандашами.

Не дожидаясь заказа посылаю вам "Любку Фейгельман". Авось пригодится. Своих новостей нет — возмещаю литературой. Еще выписываю завалявшееся вместе с "Любкой" восьмистишие князя Вяземского.

Что вы сейчас читаете, а главное, что работаете или собираетесь работать? Вы прочли "В родном городе" Некрасова? (New World, Peace 10, 11 54).

Роясь в книгах у здешнего знакомца филолога, наткнулся на отдельный оттиск из Изв. АН за 1915 г. под названием "Галиванские Аламаны". Автор — Ник. Виноградов. Это про условный язык галичан (Костромской губернии). Надеюсь выпросить этот оттиск для вас, а пока выписываю кое-что (там — словарик на 270 слов):

бир, бирс — рубль...	менд — тюремный надзиратель...
бока — карманные часы...	одёр, фрайер — нечаянно попавший в тюрьму человек...
декан — десять...	дубак — ночной сторож...
кимать — спать...	кич — тюрьма...
ксива — письмо...	рыжовьё — золото...
тур — penis...	ширма — карман...
шкары — штаны...	юсы — деньги...

Это по записям середины 19-го века.

[119] Из письма Ю. Т. Дунскому и В. С. Фриду, Тюмень, 22 апреля 1955 г.

У другого же знакомца я выудил самоучитель бальных танцев, изданный в 90-х годах Ступиным. В конце – проспект издательства (Похождения холостяка, Супружеские тайны, Плутовка Надя etc.), и в том числе, Жидок – Юмористический сборник еврейских песен, куплетов, басен, арий и романсов... Соч. Пушкина, 5-е дополн. издание, с фотографич. портретом автора. ...Не читали?

Вот и я тоже.

Пишите и пишите мне. Так хочется поскорей увидеться[120].

Еду обратно в Тюмень и в Ярославле брошу это письмо. В Москве же я очутился вот как. Левка Некрасов, занимающий высокий пост начальника учебной части МГУ, прислал в Тюмень на мое имя роскошное персональное приглашение (шрифт эльзевир) принять участие в юбилее МГУ. В Москве бы, конечно, под такую бумажку не отпустили с работы и на два часа, а в Тюмени неожиданно клюнули. Выдали командировочные, и я отправился представлять на фесте Тюменскую науку!

Кроме меня, на юбилее были представители разных европейских университетов. В мантиях и средневековых беретах, брыжжах и набрюшных золотых цепях. Болонец говорил латынью. Немец из университета Мартина Лютера зачитал характеристику на М. В. Ломоносова (выражаясь современным слогом), написанную Христианом Вольфом. Немец из университета Гумбольдта бойко лопотал по-русски, однако развивал мысль, что родиной русской науки является Германия. От Сорбонны был знаменитый математик – старик Данжуа, чьи теоремы я учил еще на 1-м курсе. В перерыве он подошел ко мне, одиноко подпиравшему мраморные перила, и через переводчика (ср.: Дельвиг и Державин!) спросил: где тут мужской туалет? Есть о чем писать мемуары.

Был и англичанин Поуэлл, тот самый, который оказался не лакеем империализма, а совсем наоборот. Не хватало только Левши и жестяной блохи. Ел. П. дала мне перепечатанный сценарий. Ей Богу, хорошо! Леонтовичам тоже очень понравилось. Я говорил по телефону с Ал. Як. Хвалил и вас, и вещь – написана на высоком профессиональном уровне. Он, между прочим, думает, что ее можно ставить и не мульти. Есть что играть. Конечно, в лубковой манере. Поэтому он передал сейчас сценарий Ромму – что он скажет. Если же тот скажет: нет, то будет действовать через влиятельного мультиудея.

С Ел. П. посылаю книги, в том числе 6 томиков Шекспира – дар амбассадорши [*речь идет об Айви Вальтеровне – жене М. М. Литвинова, некогда посла в США*]. Она очень просила послать именно их. Уверена, что будете читать и перечитывать. Она собирается подобрать еще кое-что для вас. Еще посылаю непроявленные пленки, Киплинг и феня 19-го века. Не успел проявить. Как получилось?

Надеюсь, что в Тюмени меня дожидаются ваши письма. И на это письмо можно отвечать в Тюмень – раньше 11 июня я не уеду[121].

Кстати, о морали. Без меня в институте был вечер о красоте человека. Выступила Madame и осветила вопрос о идейной стороне этой красоты. Вполне конкретно. У нее в институте была подруга, которая не хотела идейно расти, а наоборот, интересовалась лишь подходящими женихами. И быстро вышла за зажиточного инженера. Потом подруга – растеряв остатки идей – вышла за дирижера джаза. А недавно Madame ее встретила – вконец опустившуюся и опустошенную, с третьим мужем – генералом. Понятно, какие выводы сделали наши стрекозы, мечтающие – как о счастье – выскочить за лейтенанта.

[120] Из письма В. С. Фриду и Ю. Т. Дунскому 2 мая 1955 г

[121] Из письма Ю. Т. Дунскому и В. С. Фриду, поезд Москва – Тюмень, 16 мая 1955 г

Шубинок пока нет. Вместо них я купил книжку И. Фейнберга о незавершенных работах Пушкина. Интересно[122].

Сегодня я почти не был дома. С утра 6 часов. Потом консультировал госэкзаменных студентов. Потом обедал. Потом смотрел новые журналы в биб-ке. Потом смотрел в клубе железнодорожников (рядом с вокзалом) "Милый друг". На главных экранах он уже сошел. Не очень. Во-первых, скомкано, но этого надо было ожидать. Во-вторых, типажи не те. Мадлена Форестье – старая грымза. Сюзанна – не куколка, а глуповатая и восторженная провинциальная девица. Но Булонский лес – хорош! Ради него одного стоит смотреть картину.

Вот. А сейчас я дома, только что кончил консультировать соседа Мацнева по электротехнике. Кстати, у него на стене висит репродукция репинских "запорожцев", а под ней машинописный экземпляр письма, писанного твоим предком. Но текст – неточный, особенно в части слов, не удобных для печати. Вот и все события сего дня[123].

Только что вернулся домой. Был на Парфеновском кладбище, бродил в Мысьих краях, доехал до "Сибири", съел шницель – и круг замкнулся.

Трава в лесу сухая-сухая. И густой хвойный дух. Я растянулся на лужайке и дочитал И. Фейнберга. Интересная книга, хотя местами логика дамская – как у Нечкиной. Он брат или кузен Е. Л.? [*Речь идет о физике Евгении Львовиче Фейнберге*]. В автобусе туда везли велосипед (это вам не Москва!), а обратно – свинью. Не поросенка, а взрослую свинью, причем не в мешке! Владелец сидел на кондукторском месте и попирал свинку ногами. Вот.

Сегодня спевки, предусмотренной указом, не было – студенты поехали сажать □-гнездовым методом qq-рузу.

Еще я сделал эпохальное историческое открытие – в 9 томе Карамзина обнаружил кусочек бересты новгородского происхождения (см. работы Арциховского). А на ней – то, что до сих пор называли теоремой Муавра. На самом же деле теорему доказал известный Садко, от него узнал индийский гость (см. либретто оперы "Садко"); Марко Поло привез теорему в Европу, а нахальный Муавр... Кажется, ясно... Но я пренебрегаю мировой славой и отдаю бересту тебе под сочинение по истории математики! Только поблагодари меня в самом конце. Ладно?[124]

Странно, что Юлька не любит ни Ирэн, ни Анну. Тем более что у обеих "великолепное тело", не хуже, чем у ее любимой Надежды. А говоря серьезно – это не удивительно. Дух времени. Так сказать, борьба за здоровый быт и крепкую семью.

Шубинок пока нет. Ни у нас, ни в центре. Зато я купил томик стихов китайского поэта Цюй Юаня, помершего 2230 лет тому назад. Хорошие стихи.

Например:

Обычно деревенские собаки
Встречают злобным лаем незнакомца.
Чернить людей, талантом одаренных –
Вот свойство подлое людей ничтожных.

Видишь, сколько лет уже существуют деревенские собаки.

Японским поэтом стать очень просто. У них всего два основных типа стишка. Один – длинный из 5 (пяти) строк и называется "танка".

---

122 Из письма Н. М. Леонтович 20 мая 1955 г.

123 Из письма Н. М. Леонтович 21 мая 1955 г.

124 Из письма Н. М. Леонтович 22 мая 1955 г.

Например,

Пути в столицу — как вы далеки!
И далека любимая моя...
Пусть каждый вечер ей клянусь в любви,
Но в сновидениях —
и то не вижу я!

или:

Осенней ночью темен небосвод,
Чуть слышны крики перелетных птиц...
Со мною снова ты,
и трепетной щекой
Я чувствую движение ресниц...

Угадай, что сочинил я, а что Отомо Якамоти, живший в 8-м веке?

Вторая форма еще короче — всего три строки — и поэтому называется "хокку". Например:

* * *

Пятилетний ребенок
Услыхал и запомнил такие слова:
"Революция" и "рабочий"!

* * *

Кошка съела мясо,
Напилась молока —
И снова стала ловить маленькую мышку.

* * *

Далеко небо родины моей...
На дом высокий молча я забрался
И вниз потом спускался, полный грусти.

Угадай, что сочинил я. Может, мне податься в японские поэты?[125]

За окном начинает темнеть — скоро 10. А мы все заседаем... Новый парторг Фомин проявил себя абсолютным идиотом. Видно, сказываются последствия прошлогоднего отхожего купания.

Мы сидели вместе с В. С. и резвились вовсю. Например, В. С. говорит, что старик Чернецкий — человек гуманный и поэтому предложил снять задачи. Чтоб студенты не резались. Тут встает Фомин и говорит буквально следующее: "Какой же он гуманный — он ведь хороший математик..." Тогда прошу слова я и подробно объясняю Фомину (без тени улыбки на полном серьезе) разницу между "гуманный" и "гуманитарий". В заключение замечаю, что большинство математиков и физиков имеют отношение и к гуманитарностям, и к гуманности, в то время как гуманитарии обычно замкнуты сами на себя.

Вот так идет совещание. Кончится, как водится, ничем[126].

[125] Из письма Н. М. Леонтович 29 мая 1955 г.
[126] Из письма Н. М. Леонтович 30 мая 1955 г.

Через два часа приедет поезд с Еленой Петровной, и я получу какую-нибудь записочку от вас. Или не получу — не в этом, в конце концов, дело. Главное узнаю — что вы и как вы. Вечером буду кончать это письмо обогащенный новостями, а пока отпишу о себе. Этот месяц ушел на выяснение московских возможностей для меня. Пока ничего определенного нет, так что наша совместная тюменская жизнь осенью становится вполне реальной. Еще хлопотал по маминым квартирным делам. Мама сейчас в подмосковном санатории АН. Ждет квартиры. Начальство, как водится, водит за нос, а мама нервничает. Утешает ее только то, что Ваську (он кончил школу с золотой медалью) приняли на мехмат МГУ. Таковы дела семейные.

Вскоре после отъезда Ел. П. в Москве появился Монька. Он решил перебираться в Москву и уже сжег алма-атинские мосты: прописался в Москве, после чего отправился восвояси ставить начальство перед фактом. В связи с пропиской ему пришлось зайти в секретариат бывшего министерства. Там ему сказали, что теперь все пересматривает сама прокуратура, причем не по комитетским резюме, а по подлинным делам. Посмотрим.

Вместе с Монькой встречал Юрку Михайлова. Вид у него был совсем атрофированный. Но в Москве он малость отошел. Сейчас Юрка в туберкулезном заведении в самой Москве. Кстати, Юрка весьма огорчился, получив письмо Валерки, с припиской старого знакомца. Он, как и Монька, предпочел, чтобы вы с ним не якшались. Словом, ясно... Но об этом, да и об остальных делах, и Монька и Юрка вам, верно, писали — повторяю на всякий случай. И на всякий же случай сообщаю, что Витька достиг зубоврачебного кандидатства — защищал 20 июня.

Это письмо поедет в большом конверте вместе с последней повестью Хэма — удалось достать (правда, сырой) перевод. Братья Ягломы перепечатали его, а я конфисковал экземпляр для вас. К сожалению, в тексте несколько пропусков — не вписаны испанские слова. Отпишите, как вам понравился "Старик"; нам всем тут — очень.

Ну, вот. Мы ездили встречать Ел. П. и не встретили. Вал. П. перепутала — поезд придет завтра (15-го). Пришлось везти жениховский букет домой. Какого черта вы не прислали человеческой телеграммы с числом и номером вагона?

Отсылаю письмо сейчас — после приезда Е. П., боюсь, будет цейтнот, нам надо будет ехать за город, а задерживать отсылку Хэма неохота. Тем более что посланный сейчас, он может успеть к Юлькиному дню рождения — нам не удалось раздобыть другой достойный подарок. Подарок, конечно, обоим вам, но Юльке — больше.

Днями напишу еще[127].

Основная вчерашняя новость — ночная телеграмма от ребят: "Имеем отпуск на октябрь. Сообщи, куда ехать. Целуем — Юлий, Валерий, Робин".

Вчера утром послал ответную телеграмму: "Семнадцатого определится Тюмень или Иваново. Срочно телеграфируйте возможность последний срок замены назначения. Случае любой сложности выезжайте Тюмень. Переезд Иваново отложу ноябрь. Главное встреча".

Если замена возможна, то я тут же иду к директору и требую предоставления квартиры на этой неделе. Или же освобождения от работы. Никакие временные комнаты меня не устраивают, так как вместе с женой ко мне в гости собирается теща! Последний срок — четверг, после чего я даю телеграмму в Иваново, Арсеньеву, организую контейнер и отбываю.

Если же ребята менять назначение не могут, то все это произойдет в конце октября, перед их отъездом. Настроение у меня хорошее — какая-то уверенность, что с квартирой все выйдет (в смысле, что квартира не выйдет!)[128].

---

[127] Из письма Ю. Т. Дунскому и В. С. Фриду 14 июля 1955 г.

[128] Из письма Н. М. Леонтович 10 сентября 1955 г.

Только что вернулся от Карнацевичей: завтра он уезжает в Москву (ему дали годичное откомандирование для окончания диссертации), и сегодня были проводы. Кроме родных, были только два старых поклонника Ванды-Люси по имени Геннадий и Иннокентий (Гена и Кеша!) да я. Папа Карнацевич рассказал интересную историю про встречу с братом. В мае 1945 г. он (папа) был начальником военного госпиталя в Данциге. Бешеная собака покусала двух бойцов и штатского. Выяснилось, что сыворотка есть только в Кракове. Для ускорения он полетел в Краков сам и встретил там старшего брата, которого не видел с 22-го года и в душе похоронил. Вот какая история.

Более современны истории Андрея. Помнишь, мы видели у него молчаливую такую девушку. Ее фамилия Михайлова, она перешла на третий курс. Так вот в конце июня одна выпускница, получившая у Андрея тройку и поэтому потерявшая право на диплом с отличием, написала по наущению Гуляева донос в обком: де Михайлова — любовница Андрея, и она раз не ночевала в общежитии etc. И поэтому Андрей ставил ей повышенные оценки за диктанты, а другим ставил двойки. Вот такое гнусное сочинение. И что ты думаешь? Была назначена комиссия, которая опрашивала подруг Михайловой и проверяла ее диктанты. Ничего, конечно, комиссия не нашла. Хороша история!

А вот другая. У нашего политэконома — сикофанта Григорьева — жена (бывшая подруга его дочери) числилась заочницей на филфаке. К госам ее не допустили, так как все диктанты она писала на 2. Григорьев добился, чтобы ей разрешили сдавать, и — для верности — за день до экзамена выклянчил у директора приказ: основного экзаменатора, Андрея, числить в отпуску! Андрей заявил: я уйду в отпуск завтра, если мне одновременно дадут приказ о моем освобождении от работы с 1 сентября. Оба экзаменатора (Андрей и Саморуков) поставили ей 2 (она, например, говорила, что "я" — вопросительное местоимение), но три остальных члена ГЭК, не специалисты по русскому языку (в том числе и холуй Полонский) голосовали за тройку. Вот как дела делаются.

Вчера я взял в библиотеке "Неву" с новой повестью Ажаева "Творческая личность". Удивительное дерьмо! Актер радиокомитета крутит роман с девицей-инженером (она влюбилась в него по голосу!), скрыв от нее наличие жены. Узнав про эту жену: "...говорят, нет людей без недостатков, поэтому их надо прощать, — думала девушка. — А что такое обман? Черный непростительный обман — это что, недостаток, с которым можно мириться? Но разве советский человек может, разве он имеет право обманывать другого советского человека?"

Еще я прочел пьеску Жан-Поль Сартра "Только правда (Некрасов)". Не Бог весть что, но немного забавно. Это в 8-м номере "Знамя".

Завтра вечером жду телеграмму от ребят.

Вообще я все время нахожусь в ожидательном состоянии. Как сжатая пружина. Скорее бы разжаться и хлопнуть всех по лбу[129].

Сегодня были вот какие события. После лекции я погулял, пообедал, зашел по пути домой в институт и узнал: а) На 4 часа назначен уч. совет, на котором меня намерены выбирать в профессоры. б) Приехала челябинская кандидатка в аспирантки. Будет ждать меня после совета. Приемная комиссия уже назначена. Вот какая ситуация. А телеграммы от ребят еще нет, и неясно, в каком тоне говорить — немедленном или ноябрьском.

Что ж, начинается совет. Балдаев сообщает о том, что надо выбрать нескольких доцентов, нескольких зав. каф-ов и одного профессора. Есть ли вопросы. Я спрашиваю, дано ли объявление и когда срок? Отвечают: объявление будет напечатано завтра-послезавтра.

[129] Из письма Н. М. Леонтович 11 сентября 1955 г.

Я: бессмысленно обсуждать сегодня кандидатуры, чьи дела пойдут потом в ВАК. Там теперь очень строго следят за формальностями и забракуют конкурс, проведенный до его объявления. Все со мной согласились, и вопрос был снят с повестки дня. Вот какой я хитрый!

Потом разговаривал с челябинской девицей. Оказалась очень слабо подготовленной. Даже в объеме пединститута мало что помнит — только общие идеи. Но так — соображает. Я ей посоветовал год позаниматься самой, а через год снова подавать. Завтра все это будет оформляться официально. Так что вопрос с аспирантурой исчерпан[130].

Тюмень улица Казанская 14а кв. 1 Левину Михаилу Львовичу. Замена невозможна переезд не задерживай заедем Иваново пару дней целуем —Валерий Юлий [*Телеграмма из Инты 13 сентября 1955 г.*]

Я не писал вам эти дни в ожидании второго разговора с начальством. Третьего дня он свелся к телефонному общению. Однако по порядку. 2-го января я был принят полковником Занчевским, который бегло расспросил меня о деле и дал письменное указание (на обороте моего заявления) майору Данилову опросить меня обо мне и (самое главное — на чем я особенно настаивал) о том, что мне рассказывали покойные Сухов и Сулимов. Было сказано, что Данилов вызовет меня в ближайшее время, может быть на следующей неделе. Вообще разговор шел в благожелательном тоне, в частности, не оспаривалась моя точка зрения: нет надобности перечитывать 4000 стр., достаточно заново передопросить живых.

Прождав 4 недели, я позвонил Данилову сам. Он сказал, что ему для разборки дела нет надобности в опросе или допросе меня, но он согласен принять от меня готовые письменные показания, каковые я сегодня и начал составлять. Следующим письмом пришлю вам экземпляр. Е. П. огорчена таким оборотом дела, я же нет, ибо вижу тут обычную человеческую лень. Главное — это попадет в надзорную папку, а сформулировать я смогу не хуже Данилова.

Таковы дела казенные.

Мы с Наташей и все Леонтовичи с восторгом приняли известие об апреле-мае-июне. Абрамцевская мансарда ждет вас, тамошние белки срочно шьют себе новые шубки, деревья заказали полный комплект почек и листьев, волейбольная сетка дрожит от нетерпения. Приезжайте. Мы поняли, что речь идет о 3 (трех) месяцах. Вот будет здорово! 10-го апреля Наташино рожденье, на которое вы официально приглашены. Фрак, галстух, щиблеты.

Вчера было мое рожденье. На квартире у мамы. Пили ваше здоровье и ваше возвращение. То же делали и в Новый год. В остальном оба празднества прошли без особого веселия, если не считать веселия в желудках.

Вот приедете — тогда повеселимся.

Ждем вас! А пока отпишите о ситуации. Как работается?

Крепко целую и обнимаю вас. Большущий привет М. С. и Жорке.

Наташа передает самый большой привет.

Все Леонтовичи и Ягломы кланяются.

Ждем[131].

На прошлой неделе: 1. Я передал майору Данилову свои показания, копию коих прилагаю. Никакого при этом особого разговора не произошло — он сказал только, что это ему нужно, а я сам — пока нет. 2. Произошло знакомство с Виктором Дунским. Я провел у них вечер, очень мило побеседовали за жизнь, юриспруденцию и науку.

[130] Из письма Н. М. Леонтович 12 сентября 1955 г.

[131] Из письма Ю. Т. Дунскому и В. С. Фриду, Москва, 2 февраля 1956 г.

Следующий раз мне дадут на прочтение рукопись из моей жизни – главный герой (как, верно, вам известно) прозывается Михаил Левин. Это вам не какой-нибудь Бруснецов!.. 3. Наташа купила для ваших свитхартов карандашики (один подарили Ел. П. – так что получается виртуальное полутароженство), а я – каравеллы с поднятым и календарь с опущенным такелажем ("Жанетта распускала такелаж...") Надеюсь, все дошло в целости[132].

На этом заканчивается наша композиция из писем МЛ, в основном относящаяся к 50-м годам. Вскоре он вернулся в Москву и тем произвел, как теперь принято говорить, "воссоединение своей семьи". Поток писем к жене, естественно, иссяк, да и драматизм бытия стал более обыденным. Так уж устроена эта жизнь: она всеприродно тянется к состоянию разумности, а интерес к ней, равно как и его воплощение в искусстве красок, звуков и слов, предпочитает времена неустройств и нелепостей...

[132] Из письма Ю Т. Дунскому и В С. Фриду, февраль 1956 г.

Часть VI

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

М. Левин для Т. Левиной

КАК ПАПА БЫЛ МАЛЕНЬКИМ
(самое начало)

Дондышу
ко дню рождения

Если верить метрическому свидетельству, то я родился 1 февраля 1921 года в городе Саратове. Но тут возможны варианты, вернее вариант, о котором будет потом особый рассказ. Хотя в Саратове я прожил 5 лет, но запомнил только мотоцикл на улице и юношу (именно юношу, а не парня) во всем белом с копьем в руке. Юношу звали Олегом, и он был сыном профессора Богомольца – учителя моего отца.

Мое рождение совпало с началом научной карьеры отца (он стал аспирантом) и прикончило политическую карьеру мамы: недавняя завженотделом Саратовского губкома РКП(б) стала слушательницей исторического отделения Комуниверситета. Мамины подруги никогда не могли простить ей этого падения.

Виною всему был, конечно, я. Через несколько лет после маминой смерти меня позвали на "девичьи посиделки" на квартире Анки Шуцкевер – той самой Анки, которая вернула на свет божий XI армию Левандовского (это тоже особый рассказ). Приняв по маленькой, старушки ударились в воспоминания.

– Если бы не ты, Рива с ее умом и талантом стала бы членом ЦК.

– А может быть, и завотделом ЦК. Например, идеологическим. Ведь она была умнее Стецкого и Мехлиса вместе взятых.

– Мы так уговаривали ее сделать аборт. (Это говорилось мне!)

Еще они осуждали маму за выбор имени: старорежимного и даже черносотенного. Вот Анкин сын звался Орел Шуцкевер, дочь Сони Коптиевской Неля была Нинель (Ленин наоборот). Кстати, Нинель эту я помню сам. Она была моложе меня на 2 года. Летом мы жили вместе на даче, и она все время сидела на лужайке рядом с кухней, откуда неслись крики ее бабки: "Пока не покакаешь – не пущу гулять! Если не покакаешь – напишу маме, чтоб не привозила конфет! Даю тебе 15 минут, а потом высеку. Крапивой!"

Мамины занятия историей шли настолько успешно, что ее направили доучиваться в Москву, в Комакадемию. Отец еще год или полтора оставался в Саратове, а мама со мною поселилась в боковом крыле Комакадемии, где было что-то вроде общежития. Дом Комакадемии – это здание нынешнего МИМО у Крымского моста. Не знаю, как сейчас, но тогда вокруг здания был парк с

теннисным кортом и гротами. В одном из таких гротов я, в качестве белолицего, был пытаем "краснокожими" оболтусами, уже знавшими грамоту и поэтому игравшими в "последних из могикан". В азарте игры они сперва хотели поджарить меня на медленном огне. Но огня не хватило, и дело кончилось тем, что мне приложили к щеке раскаленную шляпку гвоздя. Потом я много лет гордился этой меткой — она рассосалась уже годам к тридцати.

Хозяйство вела (на примусе!) или бабушка, или (когда бабушка уезжала к другим своим детям) очередная нянька. Няньки менялись, они приезжали из деревни и месяца через 2–3 поступали или на "фабрику", или в "настоящие дома". Двоих из них я вспоминаю с благодарностью. Первая крутила любовь с красноармейцем (тогда слово "солдат" имело белогвардейский смысл) и водила меня в казарму на Хамовническом плацу. Пока она нежничала со своим милым, его товарищи развлекали меня: разрешали брать винтовку из пирамиды, играли в войну и рассказывали сказки не хуже афанасьевских. Тогда Красная Армия была демократичной, вне строя все были равны, и в наших забавах участвовали комвзвода и комроты (по-нынешнему лейтенант и капитан). Но следующая (или через следующая) нянька побила все рекорды. Ее кавалер был пожарным в Пречистенской части! Недавно в Третьяковке на выставке, посвященной Москве, я увидел картину неизвестного (но великого!) художника 19 века, на которой маслом написана Пречистенская пожарная часть! И сразу вспомнилась каска, из-под которой я ничего уже не видел, багры, шланги, насосы — царство медного блеска, пожарные линейки с лестницами и скамейками и — как апофеоз — я верхом на лошади, а по бокам брезентовые телохранители в медных касках и пряжках. Должно быть, так чувствовал себя маленький Калигула среди солдат своего отца Германика!

В дом у Крымского моста иногда приезжали большие люди. Но их я, конечно, не помню. Часто заходила новая мамина подруга Фира Гурвич с дочкой Светланой, рыженькой скучной девочкой моложе меня года на два. Мама и Фира хотели, чтобы мы подружились, но из этого, как и следовало ожидать, ничего не вышло, и по-настоящему мы познакомились уже во время войны, в Ташкенте, когда Светлана еще больше стала похожа и на лисичку, и на своего отца — Н. И. Бухарина. Он тоже бывал у мамы и любил дарить ей книги. Их, а не его самого, я помню. Особенно многотомную соловьевскую историю России, которую я начал читать лет в 8 и успел несколько раз перечитать, пока учился в школе. Из-за дарственной надписи почти на каждом томе всю ее забрали при мамином аресте.

Именно в Комакадемии и произошла моя историческая встреча с тогдашним Генеральным секретарем. Говорю сразу: я эту встречу начисто не помню, да и не было для меня в ней тогда ничего особенного, стоящего запоминания. По рассказам маминых друзей, часто дразнивших потом маму и меня этой историей, дело было так. Вернувшись из парка домой, я обнаружил дверь нашей комнаты на запоре (бабушка ушла за продуктами) и отправился искать маму в центральную часть здания, где находились все институты, составлявшие Комакадемию. Никаких вахтеров или пропусков тогда не было и в помине, а внутреннюю топографию я знал хорошо. На обычном месте мамы не оказалось, и мне сказали, что она в большом зале. Я — туда. Вхожу в зал и иду по ковровой дорожке в

среднем проходе, высматривая направо и налево, где тут моя мама. Где-то впереди на трибуне какой-то дядька чего-то говорит. А я уже прошел почти весь зал, но мамы не видно. Вдруг человек на трибуне поднимает голову, отрывая взгляд от разложенных бумаг, и, увидев меня (тут очередной рассказчик делает зловещую качаловскую паузу), говорит:

— Убэритэ малчика!

Меня берут под мышки и тихо выносят из зала.

Конечно, обидно, что я ничего этого не помню. Да и он, небось, забыл, хотя еще очень соблазнительно связать последующие события моей жизни с этой встречей.

Летом мы жили под Москвой на даче в Кратове. Приехал отец из Саратова. С нами жила моя двоюродная сестра Валька — ей было тогда года два, и бабушка пасла ее, пока Рахиль — мамина сестра — проходила летнюю практику на стекольном заводе. Тетя Рахиль вместе с мужем — обожаемым мной дядей Шурой (Пантелеевым) — были тогда студентами Менделеевского института, только что кончившими рабфак, где они сперва подружились, а потом поженились. Главной причиной моего обожания был голос дяди Шуры, великолепный баритон. Рязанский парень (изо всей большой крестьянской семьи он один получил образование) с копною каштановых волос, удивительным грудным голосом и абсолютным слухом мог бы запросто пойти по пути своего приятеля Александра Пирогова (знаменитого тогдашнего баса), но вот стал химиком-силикатчиком, передав весь свой артистизм младшей кузине — Марине. А пел он замечательно и щедро — часами — и русские песни, и романсы, и даже арии из опер, которые тогда можно было услышать лишь на старых граммофонных пластинках.

По воскресеньям Шура с Рахилью вместе с компанией своих однокурсников приезжали на дачу, и мы все вместе уходили купаться на Москву-реку, километров 4—5 от дома. Обратно, уже разморенный, я ехал на плечах самого здоровенного парня, на две головы выше всех остальных (сам дядя Шура нес Вальку). Звали этого парня Сергей и любили его дразнить так: "Тебе, Серега, по росту и статьям министром быть. Да вот головкой не вышел".

А Серега вышел! И стал министром высшей школы С. В. Кафтановым. Тем самым. Так что, если не в науку, то в дошкольное образование я въехал на плечах самого Кафтанова!

Б. М. Болотовский

УЧЕНЫЙ, ЧЕЛОВЕК, ДРУГ[1]

1 августа 1992 года умер Михаил Львович Левин, один из ведущих сотрудников Московского радиотехнического института, профессор Московского физико-технического института. Работы М. Л. Левина по теории антенн, по взаимодействию электронной плазмы с высокочастотным электромагнитным полем, по теории теплового излучения, по физике ускорителей и по другим проблемам широко известны.

Но в лице М. Л. Левина мы потеряли не только специалиста высочайшего класса по теоретической физике. Он был неповторимый в своеобразии, один из лучших представителей русской интеллигенции.

С ним дружили и его любили очень многие. Он был одним из самых близких друзей А. Д. Сахарова. Дружеские отношения связывали его с Б. Л. Пастернаком и его семейством. Его близким другом был известный художник Б. Г. Биргер. На протяжении многих лет М. Л. Левин поддерживал дружеские отношения со многими представителями правозащитного движения (Павел Литвинов и его семья, Сергей Ковалев, Лариса Богораз). Я привел лишь малую часть достаточно большого списка друзей Михаила Львовича, но эта более или менее случайная выборка показывает, насколько широк был круг его дружеских связей. Все его друзья любили его и восхищались им.

М. Л. Левин родился 1 февраля 1921 года. Его родители целиком посвятили себя науке. Мать — Р. С. Левина — экономист, впоследствии член-корреспондент Академии наук, отец — Л. Н. Карлик — физиолог.

В раннем детстве М. Л. Левин жил вместе с родителями в общежитии института красной профессуры, где тогда училась мать. Рассказывают, что именно там у него состоялась знаменательная встреча со Сталиным.

Однажды маленький Миша разгуливал по коридорам института и зашел в одну из аудиторий. Там в это время шла лекция. На кафедре стоял невысокий усатый человек в кителе защитного цвета и неторопливо говорил о чем-то с заметным акцентом. Это был Сталин.

Аудитория была полна, люди внимательно слушали и записывали. Маленький Миша Левин постоял у двери, а потом пошел по проходу к кафедре. Сталин прервал свою речь и сказал: "Уберите мальчика!"

Мальчика убрали. Лекция была продолжена.

---

[1] Впервые опубликовано в газете "Русская мысль" (1992, 28 августа).

Эти слова Сталина "Уберите мальчика!" М. Л. Левин неоднократно вспоминал.

После окончания школы М. Л. Левин поступил на физико-математический факультет Московского университета. Его однокурсником был Андрей Дмитриевич Сахаров, с которым его еще в те годы связала дружба.

Друзьями М. Л. Левина стали также братья-близнецы Ягломы, впоследствии известные математики.

В годы Отечественной войны М. Л. Левин продолжал учебу в университете (в армию его не взяли из-за плохого зрения) и одновременно начал исследовательскую работу в теоретической лаборатории М. А. Леонтовича. Замечательный физик, широко образованный интеллигент и отважный правдолюбец, Михаил Александрович Леонтович оказал влияние на научное развитие М. Л. Левина. В чисто человеческом плане учитель и ученик быстро сблизились, имея много общего во взглядах на жизнь.

Весной 1944 года М. Л. Левин должен был закончить университет. Но перед последним экзаменом он был арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Одновременно были арестованы и несколько его друзей – юношей и девушек. Это была молодежная компания, с которой М. Л. Левин проводил свободное время. Поводом для ареста, как это тогда часто бывало, послужил ложный донос. Кроме обвинения в антисоветской агитации и пропаганде, молодых людей обвинили еще в подготовке покушения на Сталина. Дело в том, что компания иногда собиралась в комнате на Арбате, а дорога, по которой Сталин ездил из Кремля на свою загородную дачу, пролегала как раз по Арбату. Но окно в комнате, где собирались молодые люди, выходило не на Арбат, а во двор, и это обстоятельство в конце концов вынудило следователя снять обвинение в террористической деятельности.

М. Л. Левин был приговорен к трем годам заключения. Срок он отбыл не полностью, его освободили по амнистии.

О своем пребывании в тюрьме М. Л. Левин не любил рассказывать. Однако несколько очень ярких историй я от него слышал. Он был великолепным рассказчиком, и есть еще надежда, что хотя бы часть из того, что он рассказывал, кто-то записал. Из его немногих упоминаний о лагерной жизни я понял, что неизбежные горькие переживания, которые любой человек испытывает в тюрьме и лагере, для него умерялись интересом исследователя. Однако возможно, что с годами горькие воспоминания слабели (Миша был по натуре своей оптимистом) и даже приобретали в его рассказах оптимистическую окраску.

После освобождения М. Л. Левин не имел права работать в Москве. По рекомендации М. А. Леонтовича А. А. Андронов пригласил Левина на работу преподавателем в Горьковский университет на вновь создаваемый радиофизический факультет. Для того чтобы Левин, бывший зэк, мог жить и работать в Горьком, требовалось особое разрешение. А. А. Андронову, ученику Л. И. Мандельштама и основателю горьковской физической школы, удалось добиться такого разрешения. Работал М. Л. Левин в Горьком вполне успешно, воспитал немало хороших физиков и приобрел много друзей.

В 1948 году была арестована мать М. Л. Левина, Ревекка Сауловна, работавшая заместителем директора Института мировой экономики. Миша

потерял работу. Полтора года он не мог нигде устроиться, затем ему удалось найти место преподавателя в педагогическом институте в Тюмени.

В 1956 году, уже после окончательной реабилитации, М. Л. Левин вернулся в Москву, где жил и работал до последних дней своей жизни.

Он был хорошим физиком. Но и здесь его удивительные человеческие качества существенно определили особенности его научной работы. Он был начисто лишен авторского самолюбия, его не волновали приоритетные споры, и он никогда не отстаивал своего первенства. Он бывал полностью удовлетворен, если находил решение сложной физической проблемы, и для него на первом месте было то, что он нашел решение, разобрался и понял, а признание со стороны ему было более или менее безразлично. Еще более он бывал удовлетворен, когда своими советами открывал глаза физикам, приходившим к нему со своими затруднениями.

Он прекрасно знал научную классику — работы Фарадея, Рэлея, Максвелла, Гамильтона, Кирхгофа, Гельмгольца. Из современных исследователей мало кто знает классику (почти никто ее не знает), и нередко бывает так, что это незнание заставляет повторять (иногда на более низком уровне) то, что уже давно сделано, изобретать давно уже изобретенный велосипед.

Знания М. Л. Левина избавляли его и многих других от этой лишней работы. Кстати сказать, под его редакцией был издан впервые в полном переводе на русский язык знаменитый "Трактат об электричестве и магнетизме" Максвелла. Бригада переводчиков состояла из четырех человек, М. Л. Левин был "верховным редактором". Как член бригады переводчиков, могу сказать, что авторитет Миши как редактора был непререкаем.

М. Л. Левин был великим знатоком русской поэзии и вообще русской словесности. Он был носителем русской культуры. Он помнил наизусть огромное количество стихотворений, мог часами читать их вслух и комментировать каждое слово. Он без подготовки мог прочитать лекцию о сравнительно мало известном поэте, причем говорил не только о его творчестве, но и о его времени, приводил множество других подробностей.

Русскую историю он знал столь же хорошо. Мне казалось иногда, что он знал намного больше, чем некоторые из тех, для кого литература и история являются специальностью.

Михаил Львович был веселым человеком, часто шутил, и это привлекало к нему людей. Шутки его были не обидные, они были скорее ласковые, как и он сам. Он вообще никогда не злословил, даже по адресу тех людей, чьи действия осуждал.

Во множестве писал он стихотворные надписи, эпиграммы, посвящения, отклики на самые разные события. Он читал свои стихи вслух, дарил листочки со стихами друзьям, дарил книги со стихотворными дарственными надписями. Если собрать воедино и опубликовать только эту часть им написанного, то получилась бы умная, добрая, веселая и интересная книга. (Об этом, кстати, говорила на похоронах Елена Георгиевна Боннэр).

Он очень любил книги. Собственно, он любил книгу вообще, любил то, что мы называем книгой, — произведение печати, стопку листов бумаги с отпечатанным текстом, заключенных в корочку переплета. Когда, бывало, в дружеской компании в руки к нему попадала незнакомая книга, он сначала любовно

поглаживал переплет, не раскрывая книги и продолжая принимать участие в общем разговоре.

Но через несколько минут он не выдерживал — обязательно раскрывал книгу и погружался в нее, выпадая из общего разговора. Он был очень близорук и, когда читал, придвигал лицо почти вплотную к тексту. Было такое впечатление, что он не вчитывается, а внюхивается в текст. Время от времени он отвлекался от чтения и, глядя на собеседника, говорил: "Извини, я отвлекся. Тебе это не обидно?" Никто на него не обижался, да и кто мог на него обидеться? Бывало, что он открывал книгу не на первой странице и начинал ее читать откуда-то с середины. Так, в несколько приемов, он прочитывал книгу с начала до конца, а потом всегда выяснялось, что он знал в ней каждое слово.

Он написал прекрасные воспоминания о Б. Л. Пастернаке, М. А. Леонтовиче, А. Д. Сахарове. Часть его воспоминаний об Андрее Сахарове, озаглавленная "Прогулки с Пушкиным", опубликована в журналах "Звезда" и "Синтаксис".

Друзья М. Л. Левина попадали нередко в немилость всемогущей власти, их шельмовали в печати, арестовывали, судили, высылали, давали сроки. М. Л. Левин не только не сторонился тех, за кем велась слежка, кому угрожал арест, но старался, чем мог, облегчить положение людей, попавших в беду. Когда А. Д. Сахаров был выслан в Горький и там изолирован, М. Л. Левин, вопреки всем запретам, четыре раза навестил своего товарища. День и место встречи друзья устанавливали заранее. Оба они хорошо знали город. Их выслеживали, М. Л. Левина задерживали, проверяли документы, запугивали, но это его не останавливало.

У М. Л. Левина была прекрасная, дружная семья, любящая, понимающая и заботливая жена Наталья Михайловна, трое детей, теперь уже взрослых, — два сына и дочь. Удивительная атмосфера оптимизма, доброты и согласия захватывала всех, приходивших в этот гостеприимный дом, и делала памятным каждое посещение.

Память о светлом человеке Михаиле Львовиче Левине будет придавать нам силы в этой трудной жизни.

В. Е. Захаров

РЕКВИЕМ ПО М. Л. ЛЕВИНУ[1]

Михаил Львович Левин был известным в стране ученым-радиофизиком, доктором физико-математических наук, сотрудником теоретического отдела Радиотехнического института АН СССР, профессором МФТИ. Ему принадлежит более сотни научных работ. Эти формальные данные — самое меньшее, что можно сказать о М. Л. К ним можно добавить, что по уровню своей гуманитарной эрудиции он легко мог быть профессором русской истории, русской или английской литературы, равно как и, скажем, истории физики. А еще он был поэтом, пародистом и эпиграммистом. И все-таки даже это — не самое главное.

Главное состояло в том, что М. Л. обладал таким набором душевных качеств, что людей, чьи пути соприкасались с его путями, неудержимо тянуло к нему. И в том, что сотни человеческих существ (включая автора этих строк) могли с достаточным основанием считать его своим другом. Во многих случаях он был больше, чем другом — советчиком в трудной ситуации, арбитром в моральных спорах, образцом всяческого достойного и благородного поведения. В нем было нечто от духовного, религиозного лидера, хотя М. Л. не только не принадлежал ни к какой конфессии, но и вообще не считал себя религиозным человеком.

Среди людей, входивших в орбиту М. Л., — многие выдающиеся личности недавнего прошлого, включая таких гигантов, как Б. Л. Пастернак (отец близкого друга М. Л.) или А. Д. Сахаров (университетский товарищ М. Л.). Поэтому книга о Михаиле Львовиче, отвечающая более всего жанру "портрета в интерьере", создает столь живое ощущение прикосновения к нервным центрам интеллектуальной жизни минувшей эпохи, что знакомство с ней даст очень многое для любого, кто желал бы эту эпоху осмыслить.

Родители М. Л. "были вполне партийные большевики", входили в элиту "партийной интеллигенции", привлекавшей самое пристальное внимание НКВД. Обстановка, в которой вырос мальчик Миша, хотя и считалась привилегированной, была по нынешним понятиям весьма скромной. Она, впрочем, позволила ему получить в детские годы хорошее образование и завести дружбу с детьми многих заметных деятелей того периода. Время от времени кое-кто из его друзей оказывался сыном или дочерью "врага народа". Миша очень рано, раньше своих родителей, сориентировался в ситуации и уже в 37 году, в возрасте 16 лет, не

[1] Из рецензии на первое издание книги ("Природа", №7, 1996).

имел никаких иллюзий относительно происходящего. Уже тогда у него сложилось весьма эмоциональное, бескомпромиссно негативное отношение к личности Сталина. Можно представить, как психологически нелегко было юноше нести в себе это чувство, прекрасно понимая, что намекнуть о нем даже самым ближайшим друзьям смертельно опасно.

В 1938 г. М. Л. поступил на физфак Московского университета. В МГУ М. Л. сделался учеником М. А. Леонтовича. Ближайшие отношения с Михаилом Александровичем он сохранил до самой его смерти в 1981 г. На всю жизнь "экологической нишей" М. Л. стала научная школа Леонтовича, тесно переплетенная с Горьковской школой А. А. Андронова. Роль этих школ, ведущих свое начало от Л. И. Мандельштама, в отечественной науке хорошо известна. М. Л. дружил со многими членами обеих школ, но отношения с М. А. Леонтовичем были особыми. Однако, несмотря на теснейшее сотрудничество в течение четырех десятилетий, М. Л. Левин и М. А. Леонтович опубликовали совместно только две статьи (обе в 1944 г.). Может быть, это как-то связано с тем обстоятельством, что в 1953 г. М. Л. стал мужем Наташи, дочери Леонтовича...[2]

В Москву М. Л. вернулся лишь в 1956 г. После защиты докторской диссертации, получив, наконец, достойную работу в Радиотехническом институте АН СССР. Вернулся умудренным жизнью, человеком твердых принципов, сочетавшим разумную осторожность и бесстрашие, едкий критический ум и огромную доброжелательность к близким. В течение последующих тридцати лет дом Левина был одним из центров интеллектуальной жизни Москвы, а сам он — нравственным и культурным ориентиром для членов интеллектуального сообщества, принадлежащих к нескольким поколениям. Воспоминания об этом дают возможность почувствовать дух ушедших времен, ощутить стиль жизни высокого интеллигентного круга, вынужденного постоянно быть готовым к обороне, но не терявшего оптимизма и веры в нечто лучшее — не сейчас, так в будущем. В этом круге были приняты четкие нравственные стандарты, была развита взаимопомощь и взаимоподдержка, очень ценилась дружба. Весьма уважались ценности культуры, считалась абсолютно необходимой образованность и эрудиция. Наука пользовалась здесь безусловным престижем, и даже намек на антинауку, вроде астрологии, был совершенно невозможен. Теперь, когда "начала разложения и разврата" (слова Е. Б. Пастернака), можно сказать, торжествуют, когда общественный авторитет науки упал до нуля, а астрологические прогнозы публикуют в серьезных газетах, о той духовной обстановке можно вспоминать как о потерянном рае. И М. Л. был одной из самых светлых фигур в этом раю...

И ведь, несмотря на все ужасы тех времен, мы имели великую науку, расплескавшуюся сегодня тонким слоем по разным университетам мира. И данная книга — это не только реквием по М. Л. Левину, но и по "прекрасной эпохе" в истории нашей науки...

...М. Л. Левин был незаурядным литератором — главным образом, в шуточных стихах и мемуарной прозе. Он мог бы стать знаменитым в этой

[2] Далее опущена история ареста и сфабрикования обвинений, подробно рассказанная в других местах книги.

области, если бы однажды сделал литературу главным для себя делом. У него были для этого все данные: блестящее владение стилем, наблюдательность, остроумие, ставшая легендарной литературная эрудиция. Объем собранного в настоящей книге материала мог оказаться много больше, если бы не трагические обстоятельства его жизни. Автор этих строк слышал непосредственно от М. Л. очень грустную историю о том, как он в 1952 г. в Тюмени уничтожил целый чемодан своих рукописей — множество толстых тетрадей, исписанных каллиграфическим, квазипечатным почерком. В то время его мать находилась в заключении, а отец, профессор медицины, подвергался гонениям. В разгаре было "дело врачей".

Собранные в книге воспоминания М. Л. — воспоминания особого рода, в которых личность автора сознательно находится на втором плане. Это очерки о выдающихся людях, эссе, посвященные тем, соприкосновение жизненных путей с которыми М. Л. считал подарком судьбы. Первым в этом списке стоит, конечно, Михаил Александрович Леонтович. Все эссе Левина о замечательных людях написаны с любовью, но воспоминания о Леонтовиче выделяются даже на этом фоне...

В своей точной, скупой, почти минималистской манере М. Л. рисует портрет человека, принадлежащего к тому типу людей, которых так не хватает сегодня. Это человек, который предан науке, потому что убежден в ее изначальной необсуждаемой ценности. Это благородный, деятельный, полностью сохраняющий здравый смысл идеалист. В самом деле, на таких людях держится всякое нормально функционирующее общество. Такие люди не совершают громких подвигов, не делают сенсационных политических заявлений, вообще предпочитают держаться вдали от всечеловеческого базара. Но они становятся центрами кристаллизации, вокруг них возникают невидимые поверхностному взгляду неформальные социальные структуры, которые в будущем определяют жизнь целых поколений. Сам косвенно принадлежа к школе Леонтовича, я могу свидетельствовать об этом с полным основанием. Такие люди придают смысл существованию общества. Они и есть та соль земли, о которой говорится в Евангелии, и вместе с тем это люди во плоти и крови, не защищенные ни от внешнего трамвайного хамства, ни от внутренних неустройств. Слава Богу, их проблемы никогда не становятся добычей журналистов.

Следующий цикл воспоминаний М. Л. — это эссе о Сахарове, с которым Левин учился на физфаке Московского университета. Несмотря на сегодняшнее обилие мемуарной литературы о Сахарове, воспоминания М. Л. много дают для понимания его личности. Большая часть мемуаров об Андрее Дмитриевиче страдает некоторой сухостью и схематизмом, может быть потому, что это воспоминания не столько друзей, сколько соратников — сначала по работе над атомным оружием, потом по диссидентству и по государственной деятельности. По свидетельству М. Л., у Сахарова вообще было мало друзей (как и учеников по науке). Может быть, здесь сказывалось то отчуждающе исключительное, уникальное положение, которое с молодых лет Андрей Дмитриевич занимал в нашем обществе. Даже М. Л., несмотря на свою огромную открытость дружбе, называет себя только его "старым университетским товарищем". Скорее всего это излишняя скромность. Во всяком случае ни один другой "старый универси-

тетский товарищ" не нашел в себе смелости четырежды навестить опального Сахарова во время его ссылки в Горький.

В своих воспоминаниях М. Л. мало касается научной и общественной деятельности Сахарова. Но зато из них мы узнаем, что, несмотря на некоторую замкнутость, Андрей Дмитриевич был обаятельным и не только благородным, но и отчасти наивным и трогательным человеком, обладавшим знаниями, о которых трудно было догадаться. Например, он был, можно сказать, профессиональным пушкинистом. Знал всего Пушкина наизусть, был осведомлен о подробностях его жизни, прекрасно представлял себе обстановку и быт пушкинского времени.

Примечательная особенность нашей культуры — ее "избыточность", стремление самых ярких ее представителей приобретать огромные объемы знаний, которые они не надеются и не стремятся использовать каким-либо прагматическим образом. Эта "избыточность" в высшей степени была характерна для Левина и — как мы узнаем из его воспоминаний — для Сахарова. Сохранится ли традиция такого рода "избыточности" в последующих поколениях? От этого на самом деле зависит наше будущее.

В жизни Михаила Львовича немалую роль сыграл короткий, но очень насыщенный ташкентский период. В Ташкент была эвакуирована большая часть столичной литературно-художественной и научной элиты. Здесь жили Михоэлс, Алексей Толстой и Всеволод Иванов, а также Анна Ахматова, Надежда Мандельштам и многие другие. Молодому Мише Левину посчастливилось быть интегрированным в жизнь этого круга, и можно предположить, что именно воспоминания о Ташкенте составляли основную массу уничтоженного в Тюмени литературного материала. О том, что там могло содержаться, нетрудно догадаться, прочтя более поздние, краткие, но очень насыщенные воспоминания о Б. Л. Пастернаке и С. Б. Веселовском, в которых звучит ташкентская тема.

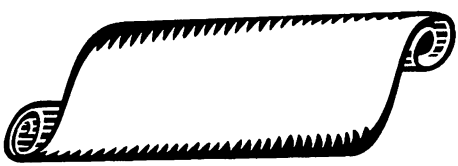
Прекрасные воспоминания о Пастернаке не стоит комментировать. Их просто должен прочесть каждый, кто любит поэта. Лаконичные же воспоминания о знаменитом историке С. Б. Веселовском вызывают размышления.

Веселовский известен прежде всего как историк, досконально знавший эпоху Ивана Грозного и люто его ненавидевший. Эту ненависть, как и интерес к той эпохе, разделял и М. Л. Все его разговоры с Веселовским — об Иване Грозном. Но в то время любой разговор о Грозном косвенно был разговором о Сталине. На экране шел "Иван Грозный" Эйзенштейна. А. Н. Толстой написал пьесу "Орел и Орлица". В угоду Сталину шла перелицовка в общественном сознании традиционного образа безрассудного тирана в образ мудрого, хотя и по необходимости крутого, государственного мужа, на которого Сталин хотел быть похожим. Поэтому разговоры с Веселовским были в сущности разговорами о тиранах, о происхождении тирании. Этот вопрос вызывал у М. Л. жгучий интерес. В книге как-то не отражена еще одна сторона "избыточности" Левина. Он был блестящим знатоком истории революционного движения в России, в том числе и так называемой истории ВКПб, которую он знал в лицах. Особенно его интересовало все, что касалось Сталина и этапов его восхождения к власти. Несомненно, что М. Л. стремился осмыслить происшедший в России трагический разворот истории, ответить на вечно мучающий нас вопрос: могло ли быть иначе?

Остается только жалеть, что М. Л. ничего не написал по этому поводу.

Возвращаясь к "избыточности" Михаила Львовича, невозможно не упомянуть еще одну грань его бесконечной образованности, приводившую всех в изумление. М. Л. был прекрасным знатоком английской истории и литературы, английской поэзии в особенности. Он даже сочинял шутливые стихи, лимерики, на английском языке. Уровень его знания Шекспира был вполне профессионален. Доказательством тому служит небольшая заметка "Фортинбрас", содержащая оригинальный взгляд на интригу трагедии "Гамлет" и опубликованная в Англии в литературоведческом журнале "Бард". [*Перевод этой статьи приведен выше*]. При всей широте традиции российской образованности вряд ли кто из членов естественнонаучного сообщества может похвастаться подобным достижением.

Жизнь, которую прожил Михаил Львович, нельзя назвать короткой, но он занимал такое место в сердцах, что множество людей восприняли его уход из жизни как невосполнимую утрату...



Этими словами завершается наше повествование о Левине. Мы старались придать ему характер полифонизма, не страшась повторений некоторых "канонов" и возвращений к наиболее впечатляющим эпизодам... А под конец снова прошлись по всей прожитой им жизни – прожитой тем более не напрасно, если читатель, добравшись до эпилога, не только проникнется сожалением о невозможности живого общения с таким человеком, но и сумеет что-то позаимствовать у него через открытое, ничем не стесняемое наследование.

Коротко об авторах

Аскарьян Гурген Ашотович (1928–1997), доктор физико-математических наук.

Богораз Лариса Иосифовна (р. 1927), филолог, известный правозащитник.

Болотовский Борис Михайлович (р. 1928), доктор физико-математических наук.

Гельштейн Вита Ильинична (р. 1921) – доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Российского онкологического научного центра.

Горбунов Леонид Михайлович (р. 1929), доктор физико-математических наук.

Гутерман Ася Моисеевна (р. 1919), математик, одноклассница М. Л. Левина.

Захаров Владимир Евгеньевич (р. 1939), физик, академик РАН.

Иванова Тамара Владимировна (1900–1995), жена писателя Вс. Иванова, переводчик.

Иванов Вячеслав Всеволодович (р. 1929), лингвист, литератор, член Российской академии естественных наук и многих зарубежных академий.

Искандер Фазиль Абдулович (р. 1929), писатель.

Капчинский Илья Михайлович (1920–1993), доктор физико-математических наук, однокурсник М. Л. Левина.

Ковалев Сергей Адамович (р. 1930), биолог, кандидат биологических наук, известный правозащитник.

Коган Марк Иосифович (р. 1922), член Московской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук.

Копелев Лев Зиновьевич (1912–1997), известный германист. Отсидел 10 лет в советских лагерях и шарашках. В 1980 году по приглашению Г. Белля уехал в ФРГ и был лишен гражданства. Умер в Германии.

Левин Владимир Львович (р. 1938), брат М. Л. Левина. Математик, доктор физико-математических наук.

Литвинов Павел Михайлович (р. 1940), известный правозащитник. Живет в США.

Литвак Александр Григорьевич (р. 1940), доктор физико-математических наук.

Марголис Аня (р. 1981), московская школьница.

Миллер Михаил Адольфович (р. 1924), доктор физико-математических наук, ученик М. Л. Левина.

Муратов Родес Зинятович (р. 1937), доктор физико-математических наук, ученик М. Л. Левина.

Незлин Михаил Вениаминович (р. 1928), доктор физико-математических наук.

Островский Лев Аронович (р. 1934), доктор физико-математических наук.

Павельев Анатолий Абрамович (р. 1938), доктор физико-математических наук.

Пастернак Евгений Борисович (р. 1923), сын Б. Л. Пастернака, кандидат технических наук, литератор.

Пермитин Герман Вячеславович (р. 1941), кандидат физико-математических наук.

Пятигорский Александр Моисеевич (р. 1928), специалист по индийской философии. Живет в Англии.

Рабинович Михаил Израилевич (р. 1941), физик, член-корреспондент РАН.

Рытов Сергей Михайлович (1908–1996), член-корреспондент РАН, работал вместе с М. Л. Левиным в Радиотехническом институте им. А. Л. Минца.

Синай Яков Григорьевич (р. 1934), математик, академик РАН.

Фрид Валерий Семенович (1922–1998), известный кинодраматург, заслуженный деятель искусств РСФСР. По его сценариям (в соавторстве с Ю. Дунским) поставлено 35 фильмов, в т. ч. "Жили-были старик со старухой", "Служили два товарища", "Гори, гори, моя звезда", "Затерянный в Сибири".

Хижинская Юлия Васильевна (р. 1933), математик.

Шапир Максим Ильич (р. 1962), муж Т. М. Левиной, филолог.

Яглом Акива Моисеевич (р. 1921), доктор физико-математических наук, однокурсник М. Л. Левина. Живет в США.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ко второму изданию 3
Предисловие 5

Часть I. Жизнеописание

Автобиография 9
Пояснения к автобиографии (некоторые даты, события и факты) 11
Документы жизни 19
Письмо М. Л. Левина о своих предках 19
Заявление М. Л. Левина генеральному прокурору СССР 20
Показания 21
Заявление Р. С. Левиной председателю Верховного Суда СССР 24
Памяти Льва Наумовича Карлика (некролог) 27

Часть II. Воспоминания

М. А. Миллер. Негрустный портрет 31
В. Л. Левин. Воспоминания о Мише, наши предки и родственники 46
Приложение. Письмо В. Т. Шаламова Л. Н. Карлику 56
Л. З. Копелев. Мудрость, печаль и мужество 57
В. С. Фрид. О нем, не самое главное 59
М. И. Коган. Прогулки с Левиным 75
Вячеслав В. Иванов. Из воспоминаний о М. Л. Левине 112
Е. Б. Пастернак. Неотпразднованный юбилей 129
Т. В. Иванова. Миша Левин 147
С. М. Рытов. К воспоминаниям о Левине 150
А. М. Пятигорский. Он был человеком дружбы... 161
Ю. В. Хижинская. Он заслужил свет 163
Л. И. Богораз. Встречи с Мишей Левиным 170
П. М. Литвинов. О Михаиле Львовиче Левине 174
Я. Г. Синай. М. Л. Левин в нашей жизни 177
Г. А. Аскарьян. Встречи с Левиным 180
М. В. Незлин. Капельки воспоминаний 185
М. А. Миллер. Учитель 190
А. Г. Литвак. Память дружбы 200
М. И. Рабинович. Короткий рассказ о встречах с Михаилом Львовичем 214
Л. А. Островский. Немного о Левине 217
Г. В. Пермитин. Признание в любви 222
А. Марголис. Выписки из прошлого, которое было так недавно 237
Из воспоминаний А. М. Яглома, А. М. Гутерман, И. М. Капчинского, А. А. Павельева, Ф. А. Искандера, С. А. Ковалева, В. И. Гельштейн, Л. М. Горбунова 239
М. И. Шапир. Михаил Львович Левин 249

Часть III. О научном творчестве М. Л. Левина

М. А. Миллер. Леонтович – Левин. Творческое взаимодействие 253
Р. З. Муратов. В маленькой лаборатории 288
Научные труды М. Л. Левина 298

Часть IV. М. Л. Левин. Стихи и проза (избранное)

Вступительное слово 305
Сочинителям 307
Ученым 318
Друзьям, близким, себе 334
Разное... 356
Комментарии к стихам 369
Сорокоуд 373
Сцены из Рыцарских времен 377
Михаил Александрович Леонтович 386
Прогулки с Пушкиным 405
Приложение. Парамонов Б. Текст передачи... 437
Выступление на Сахаровских чтениях 441
Воспоминания о Пастернаке 447
Приложение. Из письма М. Л. Левина И. В. Ракобольской 458
Дневниковые записи о похоронах Надежды Яковлевны Мандельштам 460
С. Б. Веселовский 464
Из письма Вяч. Вс. Иванову (21 февраля 1975 г.) 466
О Фортинбрасе 468

Часть V. Извлечения из писем М. Л. Левина

Пояснительное слово 475
Военные годы 477
Послевоенный Горький 483
Из Тюмени 490

Часть VI. Вместо эпилога

М. Левин для Т. Левиной. Как папа был маленьким (самое начало) 575
Б. М. Болотовский. Ученый, Человек, Друг 578
В. Е. Захаров. Реквием по М. Л. Левину 582

Коротко об авторах 587

Mikhail L'vovich Levin. Life, reminiscences, creativity /Compiled by N. M. Leontovich and M. A. Miller; edited by A. G. Litvak and M. A. Miller; Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Science. Nizhny Novgorod, 1998. - 592 p.

The book gets the reader to know an extremely impressive representative of "the world of people of the XX-th century" – Mikhail L'vovich Levin, a physicist and a man of letters. This is the second edition of the book, slightly renewed and more precise, but without any change of architectonics.

Levin's life was consonant with the epoch that fell to his lot. Born in the family of scientists he got a proper education and devoted himself to fundamental physics. However, the KGB interfered in his life and research: he was arrested and accused indiscriminately. On the victory amnesty granted in 1945 he was allowed to work in the University of Gorky where he played an important role in the formation of the Department of Radio Physics (the first one in our country). Publication of the memorial book was initiated by his friends and disciples working in Gorky (now Nizhny Novgorod).

The book comprises several parts. The first one includes a short biography of M. L. Levin as well as the documents related to the most dramatic events of his life. The second part contains reminiscences of his friends and acquaintances. The third part gives a brief survey of purely scientific achievements and is intended primarily for physics although a curious outside reader can find something useful here too. The fourth part is devoted to the creative work of M. L. Levin in literature (poetry, prose, essays). One can discover here, in particular, the memoirs about M. A. Leontovich, B. L. Pasternak, A. D. Sakharov, S. B. Veselovsky, Vs. Ivanov... The fifth part comprises selected excerpts from the letters of M. L. Levin containing etude pictures of the life in the past. The book is crowned with the epilogue where his life is scanned again from his delightful childhood to inevitably sorrowful ending.

The purpose of the book is transparent: it gives one an opportunity to get to know what people are the intellectual power of the society and to be imbued with a filling of deep gratitude to them.

МИХАИЛ
ЛЬВОВИЧ
ЛЕВИН

Жизнь,
воспоминания,
творчество

Издание второе, дополненное

Редактор *Н. Н. Кралина*
Корректор *О. В. Куранова*

Компьютерная верстка *Н. Н. Кралиной*

Издательство Института прикладной физики РАН
ЛР №040840 от 22 августа 1997 г.

Подписано к печати 30.10.98.
Формат 70 × 90 1/16. Бумага писчая № 1.
Усл. печ. л. 38,0 + вклейка. Уч.-изд. л. 47,0.
План 1998 г. Поз. 5. Тираж 1500 экз.

Отпечатано в Типографии №2 издательства "Наука",
121099 Москва, Шубинский переулок, 6

Заказ № 141

«Может быть,
в длиннейшем списке
всевозможных
очарований жизни
на одно из первых мест
надо ставить
открытие Человека.
Здесь и живые знакомства,
и никогда не бывшие встречи –
лишь письма,
и люди,
встающие с книжных страниц,
из чужих воспоминаний.
Одно из таких
недавних моих
счастливых открытий –
Михаил Львович Левин,
которого я никогда
не встречала
и теперь не встречу».

Татьяна Иванова,
литературовед

«Книга
уникальна в двух смыслах –
сама по себе,
как научное исследование,
и как великолепный образец
жанра воспоминаний.
Не преувеличивая,
можно сказать,
что она
обладает толстовской силой.
Эффект живого Левина,
вернее, продолжающего жить
Михаила Львовича,
жить для других,
достигнут.
Дай Бог всем
иметь таких друзей,
каких имел он!»

Б. Л. Лихтерман,
доктор медицинских наук

Книга (второе, дополненное, издание) знакомит читателей с необычайно выразительным представителем «мира людей XX века» – Михаилом Львовичем Левиным (1921–1992).

Он прожил жизнь, в чем-то созвучную доставшейся ему эпохе. Родился в семье научных работников, получил разумное образование и начал серьезно заниматься физикой, но был приторможен властями через арест и огульные обвинения. После освобождения по победной амнистии (1945) ему разрешили работать в Горьковском университете, где он сыграл важную роль в становлении первого в стране радиофизического факультета. Книга памяти издается по инициативе его горьковских (нижегородских) друзей и учеников.

Она открывается кратким жизнеописанием, снабженным некоторыми документами, относящимися к наиболее драматическим временам и событиям. Далее собраны воспоминания друзей и близких, дан обзор научных достижений, предназначенный в основном для физиков, хотя и здесь кое-что доступно полезное может извлечь любознательный читатель со стороны. Последующие разделы вобрали в себя некоторые литературные произведения М. Л. Левина (стихи, проза, публицистика); сюда, в частности, помещены его очерки о М. А. Леонтовиче, Б. Л. Пастернаке, А. Д. Сахарове, С. Б. Веселовском... Кое-что публиковалось и ранее, но разрозненно. Приведены избранные места из писем М. Л. Левина – своеобразные этюдные зарисовки жизни российской провинции 50-х годов. И все это завершается эпилогом, где снова делается обзор событий его жизни – от наполненного восторгами детства до неизбежно грустного конца.

Назначение книги очевидно: она предоставляет возможность узнать, какие люди составляют интеллектуальное богатство общества, и проникнуться к ним чувством благодарности.